СЕРИЯ

Неизвестный XX век

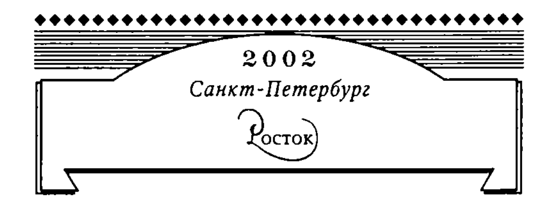
Российская академия наук
Институт научной информации по общественным наукам

З. Н. ГИППИУС

Неизвестная проза

В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ II

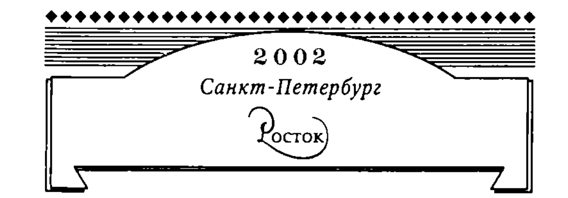

2002
Санкт-Петербург
Росток

Российская академия наук
Институт научной информации по общественным наукам

З. Н. ГИППИУС

ЧЕГО НЕ БЫЛО И ЧТО БЫЛО

*Неизвестная проза
1926–1930 годов*



ББК 83.3Р
Г50

Под общей редакцией
доктора филологических наук
А. Н. Николюкина

Г50 **Гиппиус З. Н.** Чего не было и что было. *Неизвестная проза* (1926— 1930 гг.) / Сост., вступ. статья, комментарии А. Н. Николюкина. – СПб.: ООО «Издательство «Росток», 2002. – 592 с.

Проза З. Н. Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно.

Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.

ISBN 5-94668-010-2

З. Н. Гиппиус

ЧЕГО НЕ БЫЛО И ЧТО БЫЛО (1926—1930)

Корректор: *А. А. Виноградова*
Верстка: *С. Б. Трофимов*
Художественное оформление: *С. А. Гаврилова*
Компьютерный набор: *М. В. Толмачева*

Лицензия ИД № 02417
от 20.07.2000 г.

Сдано в набор 07.07.02. Подписано в печать 14.10.02. Формат 60 × 88 1/16. Бум. офсетная. Гарнитура Optima. Печать офсетная. Усл. печ. л. 37,00. Тираж 2000 экз. Зак. № 3664
ООО «Издательство «Росток»
197755, Санкт-Петербург, а/я 25

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Академической типографии «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12.

РАССКАЗЫ

ТИХОЕ. СТРАШНОЕ

Один из моих молодых приятелей отличается странной спеленутостью, связанностью, — она его самого, видимо, тяготит. И хотел бы поговорить о себе, и не может. Я пытаюсь вытащить его из коробки (совсем точно в коробке!) и тогда применяю к нему систему наводящих вопросов. Что, например, он любит? Это очень открывает человека, только надо, конечно, разбивать вопрос на множество частных. Но с моим приятелем и это не вышло, или, впрочем, вышло, но неожиданно.

На все окольные вопросы отвечал: «нет» и вдруг определенно заявил:

— Я ничего не люблю.

После этого мы замолчали. Что же дальше спрашивать? Надо подождать.

Но, к удивлению, он заговорил снова:

— У нас слово «любить» разное значит. Я, по-своему если, — правда, ничего не люблю. А если хотите — могу сказать, что я недавно любил старух.

— Как это, старух? Каких старух?

— Вот, вы уже не понимаете. А я любил. То есть опять не «любил», а другое: влекся к ним, потрясался, что ли, ими. Оне преследовали меня, — и я их преследовал.

— Да, не понимаю...

— Это надо выдумать такое слово, как французское fascination *. По-русски перевести — выйдет все не то. А затем надо знать, какие старухи на меня так действовали.

— Не все значит?

— Конечно, не все. Во-первых, моя старуха — незнакомая, я ее встречал на улице, обыкновенно. За ней-то и шел, остановиться не мог, преследовал. Старуха подтянутая, накрашенная, еще «не отказавшаяся», хотя уж с неуверенными глазами, — конечно, не моя старуха. Деловая, с корзинкой, с пакетами, с другой старухой, — тоже не моя. Не любил я и «бабушек», около детских колясочек, с дочкой, с нисходящим поколением, — опять не та.

— Какая же та, ваша?

— Я вам расскажу. Она — праздная, и непременно одна. Одета в черном или темном, не то, что оборвано, но бедно и как-то без «любви», без внимания, точно без сознания. А вместе с тем кажется, что ее одежда и есть она, а она — вот эта одежда. Юбка полудлинная, сбоку немножко висит, чулки черные и ужасно плоские башмаки, носами чуть вверх. Кофта какая-то, — редко пальто; на шейке бывает шерстяная косынка; шляпа тускленькая, приплюснутый бант, или без банта. Руки в черных нитяных перчатках, и на каждом пальце, на конце, камушек свалялся. Иногда в руках зонтик, рыжий, довольно большой и ридикюль. Старушка моя сухонькая и очень часто совсем маленькая. Горбится, но бывает и прямая. Она идет...

— А какое у нее лицо?

— Подождите, не перебивайте. Она идет медленно и... как бы сказать? идет — никуда. Это сейчас видно, что никуда. Может остановиться у витрины, долго стоять неподвижно и смотреть — все равно на что: на колбасу, на аптекарские принадлежности, на антикварную мебель, на гору булок, на чулки, на электрические лампы, на чемоданы, на челюсти, на бутылки с

* обаяние *(фр.)*.

шампанским, на галстуки и рубашки, на образцы антрацита — ей все равно. Стоит тихо и смотрит, и подол у нее также висит, и ручками черными прижимает к себе тихо зонтик или ридикюль. Вы спросите, какое лицо. Такое, как она вся: отсутствующее. Посветлее ее всей, пожелтее, с глазами, может быть, видящими (видит же, идет же), а, может быть, и нет. И глаза «отсутствуют». Меня это отсутствие и тянуло, прямо втягивало. Оно — тишина. Понимаете, на улице шум, грохот, вскрики автомобилей, звонки, спешка... А моя царственная, отсутствующая старуха в тишине — как в облаке, стоит — или идет, неторопливо, одинаково, именно как идут — никуда. С таким лицом, с таким зонтиком нельзя не идти — никуда. И я за ней шел, не мог тоже не идти; в ее облако тихое старался попасть — и не попадал, хотя почти вплотную шел, у тех же витрин с нею останавливался, смотрел на аптекарские банки, на пустые перчатки в красильне, на чемоданы... Она двигалась — и я двигался. Потом или темнело, и я, в огнях, сам не знаю, как терял ее, или она за угол заворачивала, и я тоже терял ее; но непременно терял, когда в меня уж начинала входить ее тихость, беззвучность, ее отсутствие. В тихом этом страшное, но упоительно-страшное, такое, которое влечет, справиться нельзя.

— Это были же разные старухи?

— Не знаю. Конечно, разные. Одна была в чепчике вместо шляпы. Волосы седые или с большой проседью. У одной очень мало волос. И руки без перчаток, цепкие. Но не в том же дело, что разные. В том дело, что одна, что она здесь, — и уже не здесь; а в тихом своем облаке. И даже нельзя сказать *уже* не здесь: если «уже» — значит время, а про время невозможно думать, когда видишь страшное облако. Тогда только «нет», только «отсутствие»... Впрочем, я напрасно... Я плохо рассказываю. И как рассказать. Ведь похоже — просто неврастенические бредни. Да я уж теперь и не люблю ее больше.

— Нет, постойте. Ну бредни неврастенические, это своим чередом. А как же вы ее разлюбили? Забыли? Постепенно?

— Сразу разлюбил. Опять будет никому непонятно, так что я в двух словах скажу, все равно. Шел раз по улице, широкой и нешумной, обсаженной деревьями, чуть-чуть в зеленом пуху. Было позднее, очень светлое, утро. И вдруг, навстречу — она! Прямо навстречу, прямо на меня.

— Она?

— Да. И плоские башмаки, и юбка, и шляпочка приплюснутая, и ридикюль. Но только... она была такая — хорошенькая, именно хорошенькая, ну вот как бывает пятнадцатилетняя девочка «хорошенькая», но в ее лице и это «отсутствие» тоже было; ведь это — она. Но тогда, прежде, когда я ее в темном облаке встречал, — в облако, в него, все точно вбиралось (и я); а теперь само ее тихое облако из себя излучало и свет весенний, утренний, и все, что вокруг было. Она — была ужасно здесь, но и ужасно не здесь, и шла с этим на меня. Я даже не знаю, может быть, она улыбалась. А, может быть, сама была — вся, — как улыбка. Тут-то я ее и не захотел.

— Не захотели?

— Нет. Я испугался и возмутился. Так испугался, что прежний мой страх был ничто, но гораздо больше мне нравился, был мне больше по плечу. А этого — я не понимал, не желал выдерживать, потому и возмутился. Нечего ей, такой, мне навстречу идти, когда еще прежнюю не долюбил, не доследил, не добоялся ее. Но уж чувствовал, прежнюю я потерял-таки без возврата. И я, двух—трех шагов не дойдя до нее новой, — круто повернулся и пошел назад, быстро, скоро... Ни разу не оглянулся. Так моя любовь кончилась.

— Кончилась, однако?

— Именно как я предчувствовал, кончилась. В ней, в них, в старухах. Их я уже не встречаю. Или не вижу. То есть, вернее, я от них мою любовь отвеял. Любовь-то осталась. Она ведь моя. Какая мне подобает, ну в мой рост, что ли, подходящая мне, или какая там. И я нашел... Я ее отдал...

— Господи! Кому еще? И что же это за любовь?

— Влечение. **Fascination**. Бредни неврастенические. Как хотите. Влечение к страшному — тихому.

— Где же вы его нашли? В ком?

— В кошках. Теперь люблю кошек. Вы усмехаетесь? Вам кажется это «банально»? Пусть банально, и что угодно, я ведь не для вас и ни для кого, — для себя люблю. Вижу мое страшное-тихое и влекусь. Позволяю себе. Впрочем, если бы и не позволил, ничего бы не вышло. В первый раз я увидел его, — страшное-тихое — в маленькой, черной кошке, когда проходил по широкой, пустынной улице, в сумерки. Было прохладно. Кошка сидела, подогнув передние лапки, тихим, черным комочком, на пороге входной двери, открытой. Вероятно, это была кошка консьержки. Я прошел близко и оглянулся. Черный, пушистый комок не двинулся ни шерстинкой. Но я увидел огромные, круглые бледные глаза из черного; живые — и отсутствующие. Я понял, что не знаю, *где* эта кошка, и что, вероятно, она сидит — нигде. Тогда меня и повлекло.

— Опять так же.

— Нет, не совсем. Ведь там — через человека, значит, ближе мне, человеку. Ухватывается, что ли, скорее. А тут немножко иначе. Тут я различаю, кошек, то есть персонально, все — разные, а там было главное в единстве, что всякая такая — она. Кошки же замечательно разделяются — по физиономии, по положению, по манерам; все субъективные, и очень много зависит у каждой от ее биографии. Я знаю, например, кошку, которая ощущает себя «богатой»; я вижу, как она сидит иногда на стуле у входа в очень хороший отель, по воскресеньям: она явно и родилась в отличных условиях. А другая... Впрочем, это неинтересно. Суть не в том. Суть, вы знаете, в чем. Но меня поражает, — а ведь какие любители кошек есть, — что никто не заметил, прежде всего, их тихости. Все звери шумят, от человека до канарейки. Собака трясется, суетится, визжит, носом сопит, хвостом стучит... не правда ли? А кошка движется, точно в безвоздушном пространстве. От нее нет звука, мурлыканье — это сама подчеркнутая тишина, а мяуканье — разве не видали

вы, как она рот раскрывает, а звука нет? Кошка кричит только, когда уж смерть... или страсть, любовь, а это ведь одно и то же. Когда поймешь кошкину тихость, можно понять и ее отсутствие... чего, вот, вы и не понимаете.

— Я для себя, пожалуй, не понимаю... Но для вас...

Мы замолчали опять, и молчали долго оба. Дошли, может быть, и с этой стороны до какого-то предела, словам положенного. Откуда не иди, хоть от кошек, в эту стенку стукнешься.

Но приятель мой сделал какой-то, неизвестный мне, душевномысленный, круг и сказал:

— А я ее два раза во сне видел.

— Кого?

— Ее, ну вот, что утром, в последний раз, мне навстречу шла. Глупый сон, и оба раза одинаковый.

— Сны все глупые, умные только выдуманные. Расскажите.

— А всего глупее рассказывать. Сон живет, и тогда до него дотронуться нельзя. Умрет — тогда рассказываешь не его, а воспоминание о нем, но он уже мертвый. Я могу, — в трех словах, но увидите сами — ничего нет. А было. Вот, будто та же улица, или вроде, и светло, и она так же идет навстречу. Во сне, вы знаете, далеко все видно так же, как вблизи, и я отлично различаю всякую ее черточку, и руки, и ридикюль, и лицо. И вдруг, будто вижу, что старушка моя хорошенькая уж вовсе и не старушка, а с каждым моим и ее шагом она все моложе, и вот сейчас вправду, в настоящую пятнадцатилетнюю девочку превратится... Замечательно, что я не удивился нисколько, но почему-то схватила меня тревога ужасная от соображения: если так пойдет, так раньше, чем мы встретимся, — она, она сделается совсем маленькой, маленькой, а, может быть, и совсем успеет исчезнуть... От этого опасенья я заплакал, кинулся бежать ей навстречу. Ну, вы знаете, как во сне бегают, плачу, бегу и не двигаюсь...

— И что же потом?

— Ничего, конечно. Проснулся в слезах, и долго еще, наяву, плакал. Оба раза. Но слезы были ничего, не неприятные. Сон-

ные слезы двух сортов бывают, как и сны двух сортов, большей частью. Один – «да», другие «нет». Независимо от содержания. По содержанию-то все – глупые.

– Это правда.

– Так вот этот мой сон – был сон «да». Второй раз я помнил, видя его, что он уж был, и когда плакал, проснувшись, но еще под сном, говорил себе: ну, в третий раз увижу – тогда уж добегу, уж во что бы то ни стало добегу, жить не буду, а добегу... Потом, утром, смеялся. И в третий раз не видал.

– А кошки вам не снятся?

– Нет, не снятся, – быстро проговорил мой приятель и встал.

– Простите меня, до свиданья. Простите всю эту чепуху, что я молол. Это редко со мной случается, – никогда. Это вам в наказанье, – прибавил он, усмехнувшись. – Сами хотели выпытать, что я люблю. Ну вот я и стал... сочинять, насколько воображенья хватило. Я не Сологуб, не могу вам предложить более пышной «творимой легенды»...

– Бросьте кривляться. Не обижайтесь на себя, не ежьтесь. Да ведь я слушаю, а если хотите – забуду. Если хотите.

Он ушел. Знаю ли я теперь моего приятеля больше, чем прежде?

Не знаю, может быть, и знаю.

ДО ВОСКРЕСЕНЬЯ

...На «рю Дарю» слишком хорошо поют. Слишком! Ах, знаю, чего вы от меня ждете: начну сейчас вспоминать деревенскую церквушку на родине, да как я туда к Светлой заутрени ходил, да как талой землей пахло, а народ, в это время, со свечечками... Но у меня никаких подобных воспоминаний нет. В деревне я ранней весной не бывал, в церковь меня в детстве не водили, только с гимназии, в гимназическую; а там какая уж трогательность! Рос в городской, интеллигентско-обыва-

тельской, семье и сам вышел таким же интеллигентом-обывателем: всем интересовался — понемногу; в университете преимущественно политикой (в такой кружок попал), но тоже не до самозабвенья. Церковью и религиозными вопросами не интересовался никогда. На этот счет уж было установленное мнение, его мы и держались.

Кончил университет, надо было в военную школу идти, но тут как раз случилась революция, я и остался. И почему-то мы, т. е. я и некоторые из нашего кружка, очутились в левых эсерах. Главный был Гросман, а другие, особенно я, так, с боку припеку. После октября завертело, и вскоре я всех из виду потерял. Долго рассказывать, ну, словом, через год, или меньше, — я и сам не знал, кто я такой, не до левого уж эсерства, а просто чувствовал себя зайцем, которого травят и все равно затравят. Два раза ловили, сидел подолгу и как-то, случайностью чистой, опять оказывался на улице. Но теперь знал: попаду в третий раз — кончено. А не попасть было нельзя: такое время наступило, что брать стали решительно всех и отовсюду, из домов, с улиц, с базара, из-под моста, из театра, — значит, не скроешься. Я уж почти и не скрывался. Не жил, правда. Нигде, — то на барке заночую, а то попросился раз к хозяйке знакомой, девицы у нее разбежались, — а ее еще не трогали. Во второй раз, впрочем, не пустила.

И завяз я в тоске. Такая тоска, и не она во мне, а именно я в ней сидел. Смотрю сквозь нее на все, как сквозь желатин, — и все мне омерзительно, и панель, и дома, и большевики... Хожу тоже как в густом желатине: ноги едва двигаются. Раз подумалось: это предсмертная тоска; верно, такая она и бывает.

Наконец, взяли.

Я предположил, что сейчас и конец. Однако держат. Допросов не было, время уж очень горячее, некогда. Такое горячее, что в камеру к нам все подваливали, да подваливали, без всякой меры. Я привык за прежние разы, — и ко всему уж привык: меня никто не мог бы от прочих оборванцев отличить, а главное, я сам себя как-то не отличал; но тут становилось тяж-

ко. Они и сами, верно, увидали, что некуда: начались выводы. Я опять подумал, что в первую партию угожу, – давно сидел, – да они, черт их знает, по какому порядку выбирали, заметить было нельзя.

Сначала разгружали тихо, только чтоб с новыми не прибавлялось, но зато после как пошло, как пошло, – беда. Камера, конечно, стала бешеная, не выдерживали. Утром еще туда-сюда, а ближе к ночи – вой, плач, хохот. Были и совсем помешанные. Это всегда так, это и раньше я видел, но тут уж дошло до чрезвычайности.

В крайнем углу было нас трое тихих. Один большевик, столяр, толстоносый: все шепотом, страшно, ругался и повторял: «Это не большевики. Я сам большевик, это живорезы! Сказал – и еще скажу!» Но тут же плакал. Другой – мальчик, паршивенький, дикий. Молчал, как немой, озирался, и вдруг задрожит – целый час продрожит.

Из новых сначала ничего, а осмотрятся – и они взбесятся.

Вдруг прошел слух один: будто из выводных, кое-кого, по строгому отбору, ведут не прямо, а сначала в «кабинет». А там уж будто судьба твоя в твоих руках... Что ж вы думаете, повеселела камера. Всякий стал надеяться, без малейших даже оснований, – вдруг попадет в отбор? А там уж...

Основания были – у меня, потому что отбор-то, по дополнительному слуху, делает товарищ Гросман, и я догадался: мой Гросман. Давно потерял его из виду, а говорили, как будто: пошел в гору. Вот она где, гора: в здешнем кабинете. Но мне было все равно. Тоска все завалила. Скорей бы уж; вызовет Гросман – пусть. Не вызовет – тоже пусть. Скорей бы только.

Но все – нет. Очищали же сильно: десять новых, а берут по двадцати и больше. Раз навели новых порядочно, разношерстные какие-то, всякие. Сунули одного в наш угол, сверх комплекта. Смотрю – старик. Полненький, лысина, а сзади седоватые волосы длинные. Поп! Бывали у нас и попы, да не помнилось особенно. Этот, как новенький, сейчас разговари-

вать. Глазами моргает, но ничего, не беспокоится. Мне стало досадно, что он, видимо, не понимает, куда попал. Рассказываю ему, в трех словах: на допрос вряд ли попадете, и так далее. Он ничего. Тулупчишка у него был, мешок небольшой, — с краю стал пристраиваться. Я, говорит, ненадолго, так много места не надо. — Почему уверены? — спрашиваю. — Да из ваших же слов заключаю. А мое дело прямое.

За что кто взят — у нас не говорили. Уж по той причине, что никто этого не знал. Попик же мой словоохотливо стал мне объяснять, — камера гамела, так он мне почти в ухо, — что взяли его будто за рыжую кобылу. Рассказывал пространно, я, от нечего делать, прислушался и стал понимать.

Из села привезли, откуда-то из-под Вышнего Волочка. Там он попил двадцать лет, со всеми жил хорошо, и будто привыкли к нему. Потом, началась эта, как он выразился, «будораж», и свои, на местах, еще ничего, а наезды хуже, наезжать стали беспрестанно. Как третьего дня служил — налетела их туча, пьяные, верхами; спешились и лезут в шапках в церковь. Его схватили, — тут он что-то долго рассказывал, поиздевались, должно быть, изрядно, — вывели на паперть.

— Гляжу я, середь них наш же Федька Босмаников, солдатом уходил, ничего был парень, теперь шапка на затылке, комиссар, и орет: докажи, что не контрреволюционер, богам накланялся, поклонись моей рыжей кобыле! Ну и все за ним невозбранно, — поклонись да поклонись, а нет — у нас мандат, нам тоже строго, хоть и наша власть.

— Ну, и что же?

— А что же? Мандат так мандат. Они не разумеют.

— Да кобыле-то вы поклонились? Ведь они только всего и требовали?

— Только всего. А что вы думаете, господин, или как вас величать, товарищ, — достойно мне, алтарю предстоящему, рыжей кобыле кланяться?

Я ничего не ответил. Дико мне это было. Столяр-большевик, рядом скорчившись, захохотал шепотом: «А стенке пред-

стояще хочешь? Вместо кобылы на живопырню. Большевики тут, что ли? Живорезы!»

Попик очень серьезно на него поглядел, очень серьезно, и как-то совсем просто, сказал:

— Мне что хотеть; что Господь хочет. Не хочет Господь, чтоб я рыжей кобыле кланялся, так я и не кланяюсь.

Поп этот, — отцом Виринеем (Иринеем?) он назвался, — сильно стал меня изумлять. Главное, совершенным своим уверенным спокойствием, веселостью даже. Я все-таки думал: не понимает. Ведь чепуха же, пьяные, рыжая кобыла... и сюда. Эдакая чепуха!

Но он отлично понимал. Он каждый день, — я видел, — готовился. Придут в камеру — он ничего. Уйдут (еще не сегодня, значит!), он опять ничего. Я все ждал: посидит, осмотрится, схватится?.. Нисколько. В грязи нашей, в духоте, в вони, в гаме, в вое, — сидит себе на полу, на мешенке (тулуп у него не то свистнули, не то сам отдал кому-то), шепчет, — молитвы, очевидно, читает, — а лицо приятное, будто так и надо.

Теперь позвольте досказать кратко, впрочем, и время было краткое: может, неделя, а может, дней десять. Заинтересовало меня чрезвычайно, как он не поберег себя из-за такого вздора, да мало себя — старуху-попадью бросил, прихожан своих покинул, — а хорошие, говорит, были из них, жалко! — и теперь так умеренно готовится, не боится.

Выспрашивал; но он немногословен был насчет этого, точно не понимал, чего тут можно не понимать. «Да меня же, — говорит, — Сын человеческий постыдился бы; какая же мне была бы польза?» «Это вы про Христа, что ли, отец Виринеи?» «А про кого же? Никакому человеку нет пользы сберегать себя, хуже потеряет».

Через краткие слова, а больше через то, что я воочию видел, какая ему польза, — вошло все это в меня клином. Так занялся, что и тоска — ничего, и камера — ничего; все слышу, вижу, понимаю, как оно ужасно, а ужаса не чувствую. Даже

сроднились они у меня, и Вириней, и гам, и ожидание, — не сегодня ли? Столяр будто не слушал нас, но, должно быть, слушал: затих ругаться. И про других я стал замечать, которые дольше сидели; нет-нет — тянутся в наш угол.

Под конец, как вспоминаю, я совсем утерял время: будто это навсегда, и камера, и выводы, и Вириней, и я. Между тем не удивился, когда пришли, — спешкой, как обычно, — и в счет попал Вириней. Я только вскочил за ним, и, когда солдат оттолкнул меня прикладом от него и от столяра (столяр тоже попал), я остался в каком-то недоумении. Виринеева лысая голова была еще близко, обернулся ко мне, ручкой помахал: «Прощай, миленький! Я ведь ненадолго! Прощай, до воскресенья!» Кричу ему — что? когда? А он опять, уж из толпы, сквозь стук и вой: «До воскресенья! До воскресенья только!»

Мальчишка дикий так тут завизжал пронзительно, по-бабьи, что все заглушил, да визжал, без перерыва, минут десять. Уж давно ушли, а он все визжит. Я уши сначала заткнул, а потом привык, — хоть бы и навсегда это визжанье около меня.

Хорошенько не помню, а, кажется, на другой же день попал в партию и я.

Подробно не рассказываю, не стоит; действительно, по дороге ввели меня к Гросману: только вышло это молниеносно; он на меня взглянул, я на него, и сказал ему всего два слова — он тотчас дверь открыл: «Присоединить!» и меня присоединили.

Думал, поведут нас куда-нибудь в подвал.... Нет, наружу вывели, на грузовик, и повезли. Ночь была теплая, весенняя, воздух меня почти обезпамятил. Везли долго, я мало что понимал, от воздуха. Кто-то сказал рядом: «Теперь до воскресенья последние...» И я обрадовался, что «до воскресенья»...

Помню едва-едва, что ужасная была спешка; сырая земля; густые кусты. Потом мелькнули огоньки; и все.

Вам неизвестно, но поверить мне можете: существовали тогда такие люди, — разные, между ними девушки интеллигент-

ные, – которые брали на себя опасное дело, прямо смертельное: где расстрел (тогда часто это под городом, в укромных местах) – они, при малейшей возможности, старались пробраться туда – сейчас после. Потому что в горячие времена, при спешке, ночью, – постоянно оставались недостреленные. Забросают пока валежником, или чем, – и назад. Чтобы как следует – приезжали потом.

Было излюбленное место, – мое, – там кустов много. Туда и ходили эти, у кого я, после, раненый лежал, в домишке ихнем, в поселке, недалеко. Выжил, без доктора, и ничего, по веснам только грудь болит.

Их – не семья, разные люди; профессор был, две курсистки. Одна барышня с архитектурных курсов, дьякон кладбищенский... Но поверьте, никогда я таких людей ни раньше, ни после не видал. В ихней лачужке я окончательно и привел в порядок все, что с собой из камеры унес и через кусты протащил. Без них... да что говорить, что было бы без них! А они еще помогли, – научили.

Летом, едва поправился, ушел на Финляндию. Нельзя было, ради них. И так двое, еще при мне, пропало.

Вот я и говорю: что клином вошло, того выбить нельзя. И уж оттуда, где мой Вириней, я не уйду до самой... до самого воскресенья, как он говорил. То есть из церкви православной. Я и здесь-то осел, хотя трудно было устроиться, потому что здесь храм. Но скажу вам по совести: в здешнем храме не все мое сердце. Я начал с того, что слишком хорошо поют на «рю Дарю». И повторяю: слишком. Для меня, по крайней мере. Как вам выразить? Сидел Вириней на полу, на асфальте черном, камера гамела, выла, ревела, выводов ждала, безумствовала, – и осталось это во мне цельно; но не ужасом осталось, а так – будто прислушаться... и где-то под визгом, под ревом, услышишь ангельское пение...

Здесь же оно, почти что ангельское, прямо дается, не нужно и прислушиваться: всякий сразу тронут. Камеры никакой буд-

то на свете не бывало. А ведь она есть. И все мне чудится, что сторонкой ее не обойти, не сделать, как ни старайся, чтоб ангелы с неба прямым путем нисходили...

Может, искушение, но вам признаюсь: когда уж очень хорошо поют, душа в горния унесется, — вдруг я, сквозь ангельское то пение, начинаю тот вой и рев слышать. И ужасаюсь...

Вы улыбнетесь, а я раз даже сон видел: стою будто, в храме, благолепие; поют — ну, концертно. А рядом Ириней, как был, в дырявом ватном подряснике, и лысой головой качает, шепчет мне в ухо, чего ты, маленький, здесь, ведь некогда! А слушать — лучше услышишь, потерпи до воскресенья...

МЕМУАРЫ МАРТЫНОВА

Писать я никогда не пробовал. Бывало, конечно, гимназистом, стишки, потом доклады по специальности, но чтобы историю какую-нибудь написать, повесть, — нет, этого не приходилось. Но разве так трудно? Выдумай, представь себе что-нибудь — и пиши.

А мемуары еще того легче, не нужно и выдумывать. Теперь все пишут мемуары, мне тоже захотелось. Но если приняться всю жизнь свою описывать, себя, — невозможно! Никакого терпения не хватит. И я, поразмыслив, решил сделать выбор: ограничиться моими любовными историями. Тоже будет длинновато, хоть и не все записывать, но сюжет веселее, а, главное, о себе можно не так распространяться. Сказать только, что вот, Иван Леонидович Мартынов, человек обыкновенной наружности, долговязый, из интеллигентной семьи и сам интеллигент, по профессии... ну хоть свободный философ, — и довольно. Остальное не важно. Не в том ведь какой я — дело. И вообще не во мне. И даже не в тех, кого я любил.

В самой любви дело.

I
Сашенька

Это, первое, — не история, конечно. Так, эпизод. Но уж начинать, так сначала.

Сижу за столом за книжками. Но смотрю не в книжку, а прямо перед собой, — в окно, окно деревянного домика нашего выходит в палисадник. Там высокий снег, неровные сугробы, серовато-белые, со звездистыми, слабыми птичьими следами. Потом забор, над забором прутья акации, над акациями крест нашей остоженской церкви и белое, зимнее, бесцветное небо. Оно похоже на палисадничные сугробы, только ровное. Крест, хотя и золотой, тоже какой-то мутный: все мутное, скучное и даже страшное.

Впрочем, страшно оно стало тогда, когда я подумал: а вдруг бы так навеки осталось: небо вроде земли, земля вроде неба, крест над забором, я за окном? Все так — без конца?

Да страшно... А, может, и ничего бы? Может, если не останется, еще страшнее? Ведь неизвестно, что еще будет. Мне только двенадцать лет, жизни ужасно много, совсем неизвестной. Положим, могу скоро умереть. Я часто болен, в гимназию даже не хожу, только весной сдаю экзамены, а занимаюсь дома. Ну, если умру — другое дело. И отлично бы! Все тогда разъясняется.

Я об этой смерти думаю теперь часто; неподолгу, правда, но с удовольствием. Именно потому, что тогда все разъясняется. А то все путаница; если хорошее — из него ничего не выходит; даже вообразить нельзя, что из него может выйти. Даже вообразить!

Ну, это небо со снегом я решил запомнить. Хотя не знаю, для чего.

Дверь отворилась, срыву. Конечно, Надя. И чего лезет?

Я младший. Вова уже студент, а Надя весной кончила гимназию. Воображает. Кривляется. О, как я ее ненавижу!

— Ваничка, Иванушка-дурачок, опять сычом сидишь?

— А тебе что нужно?

— Ничего. Пойди туда. Там Сашенька.

Я чувствую, что краснею, оттого еще больше краснею, уши даже заливает. Но смотрю строго и зло на круглое Надино лицо с ямочками на щеках, на розовое жемчужное ожерелье (фальшивое) и спрашиваю:

— Гатмазов, что ли, явился?

— Не говори глупостей, вихры лучше пригладь.

У меня не вихры, а локоны. Она это знает. Завидует.

— Я решаю задачу. Убирайся, пожалуйста. Я и так бьюсь с этой задачей, а ты лезешь. И наверно Гатмазов. Не там, так у Вовы сидит.

— А я почем знаю? Вот прекрасно! — Она лживо и противно захохотала. — Не можешь задачу решить — умен, видно, очень! — так я тебе Сашеньку сюда на помощь пришлю. И мне, и тебе веселее.

— Убирайся! — заорал я и вскочил со стула.

Но проклятая Надя уже перекрутилась на каблуках и вылетела за дверь, а я остался посреди комнаты. Стою столбом, в душе ужас и безысходное мое страдание, смешанное с блаженством.

Я все, все знаю. Сашеньку люблю давно... с каких пор? Теперь мне кажется, что всегда любил, раньше даже первой встречи. Но, конечно, не понимал сначала. Первую встречу я даже не помню. А вот, раз мы все сидели вечером за чаем (давно), и мама была, и Надя, и Вова со своими товарищами-студентами (Гатмазов тоже, но я еще ничего не знал; и вдруг я взглянул на Сашеньку, как раз против меня. Взглянул на серенькую его студенческую тужурку, на локоны под лампой (совсем как у меня, только у меня черные, а у него золотые) — и тут же навеки понял, что люблю его, всегда любил.

Должно быть, у меня было дикое лицо, потому что Сашенька посмотрел на меня, улыбнулся (ох, какой он, когда улыбается!) и спросил, о чем это я так задумался? А я вспоминал всю свою любовь, все, что было раньше, как он приходил, что го-

ворил с другими и со мной, все, словом, вспоминал, — только уж по-иному, по-новому.

С тех пор новое и наступило. Моя безнадежная блаженность, — любовь к Сашеньке. Что любовь, как говорится, безнадежная, — это нисколько у нее блаженства не отнимало. Даже напротив. Таинственнее. И знал же я, какая же тут надежда? Какая? Если вообразить глупое чудо, что Сашенька меня так же полюбил, как я его, ну к чему бы это было? Что могло бы из этого выйти? Я и не думал о глупом чуде, не хотел его... но того, что потом случилось — я ж, конечно, ни за что не хотел и не хочу.

Опять не помню, в какой момент мне все стало ясно, и наступили мои страдания, окончательно безысходные. Я в них бьюсь, как муха в тенетах, а в то же время и блаженствую. Так вот она, любовь! Не хочу ее! Или все-таки хочу?

Сашенька — влюблен в Надю. Я это понял, когда он раз с ней говорил, и у него глаза были с сиянием и задумчивые (в Сашеньке все замечаю). Потом уже и дома стали об этом говорить, и Вова с Надей шутил (Господи, какие проклятые, могут про это — шутить!). А потом... Вот потом и главный ужас — Гатмазов...

Я Надю вначале нисколько не возненавидел за то, что Сашенька в нее влюблен. На Надю мне было наплевать. А что у Сашеньки глаза такие стали, сиянием светят, что в нем — любовь, это его ко мне приближало по-какому-то.

Гатмазов не может любить. Надя — тоже. Оттого между ними и началось... это. Хохотки, любезничанье разное... У Гатмазова такие плечи (и тоже под серой тужуркой!), такие щеки, усики короткие щеточкой, масляные вишни вместо глаз, а голос густой, как малага, — весь он такой по-моему, что и должен именно... «ухаживать». А барышням, вроде Нади, — нравиться. Он и стал Наде «нравиться».

Да пусть бы нравился. Оба проклятые. Но... Сашенька? У него глаза стали печальные-печальные. Лицо побледнело. Все-

таки приходит, но видит же, что Надя хочет от него отделаться и тянет к своему Гатмазову.

Убить, что ли, Гатмазова? Или Надю? Мне не жаль для Сашеньки, да будет ли для него толк?

Когда я стою посреди своей комнаты, в блаженстве, что там, за стеной, Сашенька, в ужасе, что Надя опять хочет от него отделаться и, чего доброго, впрямь пришлет его ко мне — я просто сгибаюсь под навалившейся на меня тяжестью. Ну чего, чего бы я хотел? Чтобы Наде разонравился Гатмазов и понравился Сашенька? Или чтоб Сашенька так же не умел никого любить как... эти?

Нет, не знаю, чего мне надо. Не понимаю. Хорошо, убежать... Умереть...

Но я не умер, а убежать не успел: в дверь стукнули, она приоткрылась, и я на пороге увидел высокую-высокую, тонкую-тонкую фигуру Сашеньки. Не глазами только увидел его, всем собой почувствовал, и весь сжался, поник неизъяснимо.

— Ваничка, задача нейдет? Что ж, давайте. Посмотрим.

Он говорил тихим, как всегда, голосом. Странную рассеянную улыбку точно забыл на губах. Двинулся к окну, к моему столику.

Так как мне казалось, что все равно все потеряно, то и я пошел за ним и сел тоже за стол.

Сашенька больше не спросил о задаче. Словно забыл и о ней, и обо мне. Смотрел в окно, как я недавно, один. Теперь вместе мы смотрели на сугробы в палисаднике, с птичьими следами, на забор с прутьями акаций, на мутный крест остоженской церкви в бело-мутном небе. Но я уж ни о чем не думал. Отчаяние, смешанное с восторгом, все росло, и уж почти выдержать было нельзя.

Тогда я отвел глаза от снега и взглянул на Сашенькино лицо.

Спокойное, с той же застывшей улыбкой на губах. Что я увидел в этом лице? Я не знал. Я не знал, что я сейчас сделаю или скажу, и заговорил — будто не я. Вспоминаю даже те-

перь — только приблизительно; оно кажется глупостями, невероятностями; а, должно быть, как раз так и нужно было.

Я говорил шепотом, грозным шепотом:

— Александр Александрович. Так нельзя. Я знаю. Я вас люблю. Посмотрите на меня. Я знаю, знаю. Я вас люблю. Посмотрите на меня!

Он вздрогнул, точно проснулся, хотел сказать что-то, но не сказал, удивленным взором, молча, стал глядеть мне в глаза. А я понесся дальше, быстро шептал, не помня что — меня уж совсем точно не было:

— Это все ничего не стоит, потому и нельзя. Жизни много, пустяки, что она неизвестная, будет, как вы захотите. Они не знают, а вы знаете, и я тоже. Я вас люблю за то, что... ну не за что, а просто так люблю. Это страшно важно. И что вы — тоже. Это все равно, кого. А они там — пустяки все. Она не понимает...

Зачем-то еще прибавил (чего никогда не думал):

— Она потом, после должна же когда-нибудь понять, вот увидите. Вот увидите, все будет хорошо, отлично. Уж как там — а будет. Я-то знаю. Я все знаю! Я все, все знаю!

Должно быть, со стороны взглянуть — было это комично. Взъерошенный мальчишка, в исступлении, уверяет длинного влюбленного студента, что «все знает»... что?

Но студент не со стороны смотрел, — и не засмеялся. Я видел, как глаза его до самых краев наполнились слезами: а дальше уж ничего не видел, потому что он охватил рукой мою голову и прижал меня к себе, к своей тужурке. Там, в темноте, где пахло теплым сукном, я и плакал неслыханно-блаженными, всеразрешающими, всерастворяющими слезами. Так я потом плакал только во сне.

Что же еще?

Сашенька, после этого, перестал бывать у нас, сразу, — как отрезал. Я не только не огорчился, а ходил именинником. Ведь так и хорошо, так и нужно, чтоб «все стало хорошо». Потом Вова раз сказал: «А Сашенька-то в Петербург перевелся! Видел

его перед отъездом: очень веселый, и, вообрази, Надежда, велел Ваньке нашему кланяться. О тебе — ни слова!»

Ненавистная Надя только плечи вздернула. Она через год вышла за своего Гатмазова, который, еще через год, — ее бросил. Ну, да что о ней!

А Сашенька — я только потом, вдолге, это с ясностью понял, — был в тот день на краю самоубийства. И я его спас. То есть, конечно, конечно, не я! Любовь, сама.

II
Скандал

— Никак не могу прийти в себя! Этот молодой человек — это Ваничка? Я помню маленького болезненного мальчика... И вдруг передо мной — молодой гвардеец...

— Да, вытянулся, — сказала мама, вздохнув. — Гимназию кончил, слава Богу, хорошо, теперь, с осени, на математический. Да еще филологический хочет захватить; не знаю уж, что будет, не слишком ли...

Мама всегда теперь была или в кислых, или в панических настроениях.

Разговор происходил на круглом балконе нашей дачи, старинного барского домика, где мы жили по летам очень давно, с тех пор, как я себя помнил. Мы его считали почти своим. В имении был и настоящий барский дом — дворец, с белыми колоннами, почти всегда пустой: владельцы наезжали редко. С нашим деревянным домом он соединялся громадным парком, из-за деревьев его и видно не было.

Я совсем не помнил эту даму, Магдалину Кирилловну, которая уверяла, что помнит меня «болезненным мальчиком», а что теперь я похож на гвардейца. Смутно знал, что она какая-то очень дальняя мамина родственница, или что-то вроде. Слышал (все в последнее время), что после развода она уехала из России. Шесть лет прожила в Париже. Теперь вернулась, по делам, в Москву. Время стояло жаркое (июль), и мама позвала ее к нам погостить.

Дом наш велик теперь, когда нет ни Нади, ни Вовы: только я, да мама, да вечный дядя Одя, старший мамин брат, генерал в отставке: из него уже песок сыплется, ноги ходят криво. Он большей частью строго, почти грозно, молчит, и, конечно, далеко не все понимает.

Гостья оперлась полным, голым локтем о перила балкона.

— Ах, как мне нравится ваша «глушь»! Cela me repose *. Как хороша эта зеленая полянка, уходящая вниз, и эти столетние деревья парка за нею! Ваничка, — обернулась она ко мне, — вы должны мне здесь все, все показать. Вы много, конечно, гуляете?

— Он все нынче верхом, да верхом... Новое увлечение, — сказала мама. — На грех только управляющий лошадей ему дает, молодые...

Магдалина Кирилловна даже подскочила.

— О, как чудесно! Я обожаю верховую езду! У меня нет амазонки, но здесь, в глуши, можно в чем угодно. Ваничка, вы будете моим кавалером?

Она снова посмотрела на меня тем взглядом темно-блещущих глаз (я не знал, что они подмазаны), который я уже заметил и который меня смущал. Я почувствовал, что опять краснею и пробормотал:

— Кажется, дамское седло есть...

— Я отвыкла от старого дамского, но не беда, привыкну! Решено, Ваничка? И не будем откладывать, завтра же это устроим. Знайте, я никаких лошадей не боюсь, ни молодых, ни самых злых.

Я устыдился своего глупого смущения, усилием воли сбросил его и сказал с нарочитой развязностью:

— О, так и думал, что вы великолепная наездница! Я счастлив быть вашим кавалером. Сегодня же разузнаю насчет седла. Лошадь у вас будет прекрасная...

---

* Это мой отдых *(фр.)*.

Тонкий слух позволил мне, когда я был уже далеко от балкона, уловить слова Магдалины Кирилловны: «...он очарователен, ваш Ваня... как красив... смуглый румянец и...»

Реплику мамы я не слышал. Да и не интересовался. Что я красив — я подозревал. Но слова Магдалины Кирилловны меня взволновали. Вообще, эта женщина меня волновала. Не нравилась нисколько. Не толстая, но все-таки слишком полная, на мой взгляд. Темно-рыжие волосы лежат какими-то деревянными волнами. Странно-матовое, ровное лицо... Алый рот, пожалуй, красив... Но все равно, дело не в этом. Она меня беспокоила каждым движением, каждым взглядом, каждой мелочью: парижским, иначе стянутым платьем, тем, что лицо у нее короткое, как у кошки; тем, что из ее комнаты наверху, если я прохожу мимо, а дверь полуотворена, меня обдает таким новым, душно-пыльным и сладким ароматом. И от нее самой, даже на воздухе, на балконе, пахнет так же беспокойно-сладко.

Я, конечно, с первых же дней поставил себе прямой вопрос: а вдруг она захочет меня соблазнить? Второго вопроса: хочу ли я соблазниться или не хочу, — я еще не решил. Был им как раз занят.

Здесь необходимы пояснения.

Дело в том, что седьмой и восьмой класс я уже прошел не дома, а в гимназии, и хотя особенно ни с кем не дружил — зимы эти меня переменили. Я отделался от всех своих, как я говорил, «небесных миндалей». Приобрел реальный взгляд на вещи. Но самое странное, что хотя я и «отделался» от миндалей, — я от них не отделался: они как-то сбоку зашли, контрабандой, и отлично существовали рядом с моим «реализмом». Тогда я первый раз заметил, что все у меня «вдвойне». Смутно чувствовал (и не ошибался), что это, вероятно, у всех так. Но я усиленно разгадывал эту странность, мучился над ней, пытался вложить в математические формулы (очень любил формулы) — и ничего, конечно, не выходило. Так, «вдвойне» и оставался, неразгаданно.

Я шалил с горничными, с девками-пололками на ближних огородах, и шалил весьма недвусмысленно, слишком грубо, к пололкам раз даже в шалаш забрался (до решительного, впрочем, дело не доходило). А в то же самое время, — в то же самое, — я блуждал по парку лунными ночами, о чем-то неясном и легком думая, чуть ли не о барышне с длинными, до подола, русыми косами, которую иногда видел издали, в роще; не то что познакомиться с ней, я даже нарочно не хотел имени ее узнавать, ни кто она. И... я писал стихи. Бродя по лунным аллеям парка, я эти стихи повторял, и они мне казались прекрасными...

До сих пор запомнилось одно, самое мое любимое, — может быть, оно и характерно для тогдашней моей борьбы с двойственной путаницей и для мечтаний о любви.

Моей любви, моим стихам,
О строгий дух, — не прекословь!
Живого сердца не предам:
Любовь — стихи. Стихи — любовь.

Все в нераздельности дано,
Печаль, и тайна, и грехи,
И все с любовью сплетено:
Стихи — любовь. Любовь — стихи.

В эдакие мои настроения и упала камнем Магдалина Кирилловна. Я сразу почуял, что с ней, пожалуй, и не шалости; но... ведь она мне не нравится вовсе? Наша русокудренькая Домняшка, вот эта мне нравится и вправду... Куда же Магдалину Кирилловну поместить? Не к барышне же в роще, не к стихам ее отнести, — даже смешно! Есть тут речь о любви, подумаешь, обыденщина, банальность: дама на склоне, я свеженький мальчик, ну и конечно... Тут я влез в свой полный реализм, но вдруг опомнился: ничего еще нет, во-первых; может быть, она и не думает?.. Во-вторых, я все-таки не знаю, как буду себя с ней вести, если?.. В-третьих — она меня волнует, это факт (гораздо

больше, чем Домняшка, которая мне нравится) и что назвала меня красивым — мне страшно приятно.

Достаточно поразмыслив, я решил, что наплевать, как будет — так и ладно. В свое время посмотрим.

С лошадьми и с дамским седлом я живо устроил, и стали мы почти ежедневно кататься.

Магдалина Кирилловна и вправду ездила недурно, ловко держалась на лошади; но от чересчур обтянутого лифа казалась полнее, да и на ярком солнце я рассмотрел, что ровная матовость ее лица — тонкий слой чего-то на коже, а около глаз проведены синенькие и коричневые полоски. Это, впрочем, ничего не изменило: она так же мне не нравилась и так же я волновался, когда, например, мы едем шагом, близко, и она вдруг положит руку без перчатки на луку моего седла. Много болтала, часто заглядывая мне в лицо, но я не слушал. Думал о своем волнении, о том, что она его замечает, — это волновало еще больше.

На третий или четвертый день Магдалина Кирилловна мне показалась нервной, словно чем-то раздосадованной. Не хохотала и руку мне на седло ни разу не положила, и все будто ко мне приглядывалась. Было жарко, мы скоро вернулись. А вечером, когда уж чай отпили, дядю Одю спать Домняшка увела, да и мама собралась, Магдалина Кирилловна вдруг сказала:

— Ваничка, хотите пробежимся немножко, хоть по этой дорожке, до больших кленов? Жалко спать ложиться: прохлада, и такая луна!

Луна, действительно, была громадная, медная с зеленью, как часто в летние ночи. Меня она не трогала: я все последнее время ни ею, ни мечтаньями никакими не занимался, и стихов не писал. Не то, что забыл, а в какой-то ящичек бережно спрятал на время, и ящичек запер.

Я тотчас же встал, однако, и предложил Магдалине Кирилловне руку.

Мы спустились со ступенек балкона и пошли по боковой аллее.

Спутница моя закутана была во что-то легкое, голубое, но закутана, против обыкновения, с ног до головы. Шла она медленно, молча. Дойдя до скамейки под ближним кленом, сказала тихо: «Сядем». Мы сели.

— Вы романтик, Ваня? — вдруг сказала Магдалина Кирилловна, как будто даже со вздохом. — Вы любите так сидеть, смотреть в бесконечное ночное небо, на эту, всегда безответную луну? Я могу часами мечтать... о чем? Сама не знаю. А, может быть, и знаю. Куда уноситесь вы на крыльях мечтаний, мой чернокудрый паж?

Я и изумлением поглядел на соседку. Лицо ее было поднято к луне, шарф на голове казался серым. Да и лицо тоже. «Эге-ге, — подумал я. — Вот ты куда метнулась! Ну, этот номер не пройдет. Тут тебе не место».

Такой — она даже не волновала меня. Мне было и волнения этого жаль; и я поспешно, с некоторой грубоватой наглостью, сказал:

— Представьте себе, прекрасная дама, ваш паж совсем не романтичен. Мечтать не умеет, а луна ему кажется зачастую просто медным тазом.

— О, я не поверю, не поверю, что вы не умеете мечтать, — сказала Магдалина Кирилловна, гораздо, однако, веселее. — Все юноши на свете мечтают... хотя бы о любви.

— Значит, я исключение. Мечтать, да еще о таких вещах... Жизнь так прекрасна в своей простоте, вы не находите? (Тут я подвинулся к ней ближе.) Надо ловить дары жизни, ее минуты, не тратя времени на какие-то мечты. Зачем мне холодная луна, когда есть горячее солнце?

Подбирая эти пошлости, я, чтобы не портить тона, схватил Магдалину Кирилловну за руку. Немножко резко, — не рассчитал, — но ничего. Она руки не отняла. Чувствуя, что надо продолжать, я медленно поднес ее руку к губам и поцеловал в ладонь. Ладонь была теплая, мягкая и пахла знакомо-сладко. Я невольно поцеловал ее еще и еще раз. Магдалина Кирилловна прижалась, было, ко мне, но тотчас встала.

— Так вот вы какой, Ваничка... Довольно, довольно, скрытник! Солнце больше луны любить. А я все люблю... мало ли что я люблю! Ну, вот, завтра поедем опять по солнышку кататься. Я жары не боюсь. А теперь домой. Анна Львовна не спит, верно, ждет, когда мы вернемся.

Говорила уже совсем своим голосом, без томности этой лунной.

Я не знал, что думать. И на другой день поехал как-то тупо. Жара была томящая. Я дурно провел ночь, мгновеньями меня схватывало острое, знакомое волнение и гасло. Магдалина Кирилловна, когда я на нее посмотрел (долго не смотрел), тоже показалась мне взволнованной, или вообще странной.

— Пойдемте не далеко, — сказала она. — Вот туда, знаете, мимо порубки, дорожка есть в лес, по ручью.

Мимо порубки ехать было очень жарко. Но дорога шла ровная, и мы взяли крупной рысью. У Магдалины Кирилловны ее капризная гнедая Ласка — резва, резвее моего Рыжего. Когда мы свернули в лес и пошли шагом — так и охватило нас еловым, словно яблочным, духом, теплым и влажным. Справа лепетал ручеек, обведенный кустами. Место очень глухое, лес тянулся на версты. Еловый мы скоро проехали, пошел смешанный, и все густел, дорожка теснела.

— Знаете, Ваня, — сказала вдруг Магдалина Кирилловна слабо. — Тут так хорошо... Но я, кажется, понадеялась на свои силы...

— Можно отдохнуть. Вот, за поворотом, сейчас, будет маленькая полянка... Под горкой... Хотите?

Я снял ее с лошади и осторожно усадил на мох, на мягкие палые листья. Она прислонилась к толстому стволу дерева и закрыла глаза. Я привязал лошадей и опустился рядом с ней.

— Вам нехорошо? — растерянно пролепетал я, обнимая ее плечи. — Уж не обморок ли с ней?

Но она вдруг вся подалась ко мне, нашла губами мои губы... и мне действительно показалось, что я куда-то проваливаюсь: погибаю; уже погиб. Сколько секунд длился этот поцелуй? Ос-

трота их была так безмерна, что она же себя и переломила. Возвратясь из одного безумия, я погрузился в другое, — по-новому, внезапно, обезумел. С потрясающей противностью ощутил я полную грудь на моей груди, ощутил запах горячего пота сквозь запах духов, всю ее взбудораженную тяжесть на мне; полуощутил-полуувидел дремные от похоти глаза, кошачье короткое лицо с бессмысленной улыбкой-гримасой на губах, которые тянулись к моим для нового поцелуя. Я перестал отвечать за себя, да и не мог: я сделался голой физиономией... как, впрочем, и она.

Но все-таки человек, все-таки мальчишка, я и повел себя, как идиотический мальчишка.

— Оставьте меня! — крикнул я срывающимся голосом, отцепливая от шеи ее руки и вскочив. — Как вам не стыдно! Вы старая, развратная женщина. Вы бы посмотрели на себя! Вы мне никогда, ни минуты не нравились! Никогда! Я не из добродетели говорю, мне наплевать, но вы мне противны! Противны!

Я мог бы прибавить все, что угодно, — хоть «маме скажу»! Мог бы зареветь в голос, как пятилетний, — все было возможно. Топал, кажется, и ногами.

Она встала, бледная, со сжатыми губами прошла мимо меня, к лошадям. Кажется, проходя, сделала движение хлыстом, точно ударить хотела... но не ударила (жалел я потом, следовало бы).

Отвязала свою лошадь, вскочила на нее, довольно легко, только вуаль разорвала, зацепила за сучок, и сразу взяла рысью по узкой дорожке. А я все стоял на месте и смотрел, не понимая.

Не скоро пришло понимание.

Таки заревел и долго сморкался, сидя на пригорке. Потом сошел к ручью, умылся, всю голову водой облил. А потом увидел, что и моей лошади нет. Конечно, отвязывая свою, Магдалина Кирилловна отвязала и Рыжего нечаянно, и он ушел за ней, домой.

Что там подумают, дома? Что скажет она? Что, вообще, будет, когда я доберусь домой?

Но мне это длинное путешествие пешком, по вечереющему лесу, было очень полезно. Вот когда я окончательно пришел в себя и понял весь мой стыд.

Ну, не то, что понял, — где же мне? А предчувственно, восчувствовал многое. Я мог поддаться соблазну Магдалины Кирилловны; мог не поддаться; противность ее ощутить мог; но вести себя, как я вел, *сказать* ей все, что сказал, — я не мог. Мужчина не может. Он оскорбляет тогда не женщину, а «женское» вообще. И теряет свою «мужскую» честь.

Стыд потери этой мужской чести меня и глодал, прямо ел, пока я пробирался домой целинами, спотыкаясь о пни, застревая в кучах валежника.

На дворе, у крыльца, уже в полных сумерках, я натолкнулся на горничную Домняшку.

— Ах, барин, — затараторила она, лукаво блестя глазами (явно что-то чуяла), — вот мы напугались, лошадь-то ваша на усадьбу одна прибежала, управляющий сюда, не иначе, мол, как несчастье, да тут, слава Богу, барыня подъехала, очень уставши и порванная, мамаше разъяснила. Мамаша вышли к управляющему, так и так, мол, случай незначительный и благополучно. Управляющий хотел вам встречу выехать, где вы остались, да мамаша говорят не надо, что вы пешком придете. А вы вон как запоздали... И не кушамши... Генерал с мамашей в гостиной вас дожидаются, а барыня у себя, нездоровы, и ехать, слышно, завтра в Москву им надо...

Не дослушав, я прямо пошел в гостиную. Там горела высокая лампа (ее зажигали только в торжественных случаях). На диване с прямой спинкой сидела мама, сложа руки на коленях, рядом, в кресле, генерал. Лицо его было грозно.

Я остановился на пороге.

— Поди сюда, — сказала мама. — И затвори двери.

Дверей в гостиной было три, я все их затворил, подошел к маме.

— Ты хулиган, — сказала она. — Тебя надо связать, запереть... Ты осмелился, в доме своей матери...

Я еще не понимал. Думал еще свое. Неужели Магдалина Кирилловна рассказала?..

Но генерал, уставив на меня седые брови, угрожающе прошамкал:

— Ты посягнул...

Мгновенно мне стало все ясно. Прилив глупого смеха сдавил горло. Сдержал его, конечно. Надо быстро сообразить, как дальше, и я почти не слушал маминого рыдающего голоса:

— Она приехала, как сумасшедшая. Вуаль разорван... Я заставила ее сказать мне правду. Это несчастная женщина, едва вырвавшаяся из рук насильника... И кто же этот насильник? Кто этот развратник? Мой сын!

Задохнулась, прибавила вдруг, менее патетически:

— Теперь она по всей Москве этот скандал расславит... Показаться никуда нельзя...

Но я уже сообразил план действий. План отчаянный, но я чувствовал в себе необыкновенную силу. А тем, что выдумала Магдалина Кирилловна, я невольно восхищался. Вот какие оне хитрые! Никогда бы не придумал — я! А так и надо.

— Мама. Послушайте. Это глубокое недоразумение. Магдалина Кирилловна человек очень нервный. Она, Бог знает, что вообразила, я не успел отцепить и вуаля от сучка — ускакала, как безумная... Да, я не скрою, я чуть-чуть ухаживал за ней... Но, мама! да похоже ли на меня, чтобы я?.. Да ведь это смеяться бы надо, если б не огорчение ваше и Магдалины Кирилловны, которую я глубоко уважаю!

В голосе моем была такая разумная твердость (при слове «смеяться» я слегка усмехнулся), что мама поглядела растерянно. А я продолжал:

— В две минуты я могу разъяснить это самой Магдалине Кирилловне. Каково ей терпеть такое недоразумение! Вы увидите...

— Ах, нет, нет, не ходи к ней! — заметив мое движение, воскликнула мама. — С ней опять будет истерика, и то едва я каплями отпоила.

Дядя Одя, генерал, вздремнувший было, издал тоже грозное ворчание.

Но меня уже несла моя новая сила. Крикнув маме: «Сидите здесь, подождите, вы увидите!», я вихрем кинулся по лестнице и буквально ворвался в комнату Магдалины Кирилловны. Самый настоящий насильник не мог бы лучше сделать. При малейшем рассуждении я, конечно, поколебался бы с такой бурностью приступить к исполнению моего плана. Не естественно ли, когда так врывается в комнату только что оклеветанный человек, испугаться? Подумать, что я-то, уж наверно, явлюсь, чтобы осыпать ее новыми оскорблениями?

Но тут была иная естественность, безрассудительная. Ворвавшись, я сразу грохнулся на колени перед кушеткой, где лежала Магдалина Кирилловна. Сразу схватил ее за руки, целовал их, потом и ее обнимал, бессвязно лепеча:

— Простите меня... Прости меня, милая, дорогая... Я был в безумии... вы меня свели с ума вашим поцелуем... Я умер, я погиб... Милая, жизнь моя, счастье мое... Ведь ты поняла — же?.. Колдунья... Просто все... Прости, прости...

Мы, кажется, целовались опять, но я уже не чувствовал этих поцелуев: никакой гибели — и никакого отвращения. Если она не заметила, — то ведь поцелуи не равнодушные же были, только иного полные волнения. Но я до сих пор не знаю, поверила она мне тогда или не поверила. Может быть, вид сделала, что поверила? Но для меня вид, или и для себя тоже? Захотела. Для себя, чтоб вправду было так?

Посреди поцелуев, я, помнится, уверял, даже, что без нее «теперь больше жить не могу»... Она вскользь, но довольно твердо заметила:

— Я, все-таки, завтра должна поехать в Москву...

Я не протестовал, я лишь с великой поспешностью стал говорить, что сам туда поеду, там мы и увидимся, и что это

уже решено, не правда ли? Она не прогонит меня? Не забудет?

Она улыбалась: впрочем — я мало ее видел; все это произошло очень быстро, и главное, что я помню — это, что от нее, и в комнате, сильно пахло валерианом.

С мамой, конечно, устроилось, — она в подробности не входила, скандала нет — и слава Богу. Дядя Одя все заспал. А что болтали на кухне — кому дело?

Само собой разумеется, ни в какую Москву я и носу до сентября не показал. Хорошо отдохнул. Когда, первое время, вспоминалась эта история, я облегченно думал, что все-таки, как умел, а исправил свой грех против мужской чести.

III
Смирение

Петербург.

Долго рассказывать, почему я из Московского университета перевелся в Петербургский, да и не важно. Мама осталась в Москве, с дядей Одей, генералом, из которого теперь от старости уж и песок весь высыпался.

Я живу один. У меня маленькая, но очень уютная квартира. Много занимаюсь, немало и веселюсь. Товарищей — куча, есть и друзья.

В нашем кружке я пользуюсь некоторой известностью. Меня называют — да и сам я себя называю, — «убежденным идеалистом». В шутку зовут меня «Ромео без Джульетты», а то еще «брат Иоанн». Но последнее неостроумно, я менее всего монах. Я очень элегантен, люблю хороший стол и красивые вещи, занимаюсь спортом. Мало того: весь мой шик в том, что я будучи «идеалистом», ни от чего не отказываюсь, ни от какой товарищеской пирушки, да и кутежа, самого не идеального: «убежденный девственник» — я, не стесняясь и не скрываясь, безбоязненно прогуливаю эту свою девственность по самым неподходящим местам. Счастливое свойство пить, — при случае не меньше других, — не пьянея, очень мне помога-

ло. Я никому не навязывал своих убеждений, ничего не проповедовал; напротив, я, смеясь, просил мне отнюдь не подражать, потому что, мол, «убеждения» мои годятся для меня одного, у другого все равно ничего не выйдет. Но, конечно, не мог же я удержаться от чувства своего превосходства где-нибудь, в тесном вонючем кабинете, среди ночи, глядя на красные лица вокруг, на потные руки, тянущиеся к голым плечам или ногам тут же орущих девок. Я не позволял себе никого осуждать. Только взгляд ласкового сожаления, не больше; да и его друзья не замечали — ils avaient autre chose à faire*.

Самыми близкими товарищами моими были Нивинский и Дорн. Разные по всем — от наружности, манер, характера, до социального положения, — оба считались, однако, главарями нашего веселого кружка, первыми выдумщиками. Нивинский, плотный жизнерадостный купчик, тянул кверху, чтобы все поизысканнее, девицы подороже; длинный барон Дорн, напротив, книзу, и вовсе не от скупости, а так, чем сортом ниже и грязнее — тем ему слаще.

Сходились, обыкновенно, на том, что в случаях пограндиознее начинали, для Нивинского, сверху, а под утро, для Дорна, скатывались всей компанией в любезные ему низы. Да тогда уж, к утру-то, и другие, вместе с Нивинским, мало что разбирали.

Оба наши главные дебоширы — никуда без меня. Уверяли, хохоча, что я всей компании «даю тон»; что в ней «от идеалиста — все чисто»; под шутками я чувствовал какое-то завистливо-уважительное ко мне отношение, что, конечно, было приятно. Раз только у Нивинского вырвалась грубость, непонятная и неожиданная. Но случилось это среди пьяных слез; в таком он был виде, что я не обратил внимания.

На Рождестве, после небольшого перерыва (занятия!), мы решили покутить.

* у них были другие дела *(фр.)*.

Человек шесть—семь. Начали и в тот раз, по Нивинскому. Но все как-то спешили, все меняли места. Может быть, Дорн торопил. Но хотя он и торопил, и хотя подолгу мы нигде не засиживались, до настоящих дорновских уголков не успели докатиться. От спешки и от постоянных переездов по холоду (ночь стояло жестоко-морозная) вино особенно ударило всем в голову: редко я так чувствовал себя одним трезвым среди пьяных.

Ввалились, почти случайно, по дороге, в один из захудаленьких домиков на 15-й линии, у Малого Проспекта. Ни чистенький, ни грязненький домик, — так себе; кажется, наши уж там бывали.

Ввалились «погреться»; но вдруг все, даже Нивинский, бурно запротестовали: да куда еще опять сейчас на мороз? Останемся пока; чего еще надо? Вина, что ли, здесь не хватит? Молоденький белобрысый Ладин даже крикнул: скачем-скачем, везде только воздушные пироги! Пора и остановочку сделать, ради насущного!

Посыпались пьяные одобрения: речь пришлась по сердцу... или по возбужденью. Кто-то даже сказал, трудно ворочая языком: убежденных-то у нас... только один идеалист... А мы убежденные... реалисты... (сказал не «реалисты», а другое слово, понравилось и оно).

Мы все были в штатском, но хозяйка, сохлая немка с висячими брылами на шее, мадам Амели, тотчас догадалась, что это компания студентов, притом богатеньких. В зале посетителей было не густо, да и все не нам чета, — средней руки, и мы немедля сделались центром. Натащили нам бутылок, застучал угодливый тапер (еще были «таперные», не грамофонные, домишки), закружились барышни.

Барышень порядочно. Какие — не вглядывался. Наших, между тем, все больше развозило. Громко хохоча, они ловили барышень за подолы, а то и за ноги. Под крики, впрочем, стали, выбрав, исчезать парочками.

— Идеалист! Братень Иоаннушка! — заорал Нивинский. — Не могу решиться, хоть бес и борет мя! Укажи, какая лучше! Тебе виднее. Да и себе избери, для поучения в тишине кельи, чтоб от компании не отставать. Какую... мне?

— Да вот эту! — сказал я, взяв за руку первую попавшуюся: она стояла у стола.

— Ммаришка? Ну ее к собакам! Худа, стерва. Я вон ту... бархатистую...

Он встал и, покачиваясь, оглядываясь на меня, пошел к бархатистой.

Я иногда, в случаях подобных нынешнему, любил показать, что не желаю смущать компании, «отставать» от нее. Тоже брал девицу, почтительно доводил до ее двери, у двери или за дверью советовал воспользоваться отдыхом, прикурнуть минут двадцать, щедро награждал — и уходил. Компания это знала и, конечно, ценила такой товарищеский жест.

— Ты Маришка? — сказал я девушке, которую еще продолжал держать за руку. — Пойдем.

Она ничего не ответила и пошла вперед. Действительно, худенькая. Темные, слабо вьющиеся, волосы, тонкий затылок...

Дверь ее, по коридору, оказалась чуть не первой. Маришка отворила ее передо мною. В это время по узенькому коридору еще шли какие-то, и я отступил за Маришкину дверь. Да почему и не войти? К нескольким, помню, заходил. Я ей не помешаю. А, лучше, пожалуй, здесь подождать, чем в зале.

Комната обыкновенная, небольшая. Против постели, к окну — стол, на нем довольно тусклая лампа. У стола грязноватенькое кресло. Маришка быстро копошилась у постели, что-то с себя стаскивая.

А я, по возможности удобно, уселся в кресло, вытянул ноги и закурил.

Вино не пьянило меня, я уж сказал. Но все-таки оно на меня действовало, и странным образом. Если б никак не действовало, я, пожалуй, давно отстал бы от нашей компании. Постоянно быть трезвому среди пьяных — утомляет. Забавно,

конечно, многое и просто. Забавно и наблюдать других, глядеть, что с ними делается, сознавая, что с тобою этого не делается, что ты не таков. Но даже это — одно — могло бы à la longue* надоесть. У меня было и другое.

Я заметил, что иногда вино приводит меня в особое настроение... или состояние. Вино действовало не опьяняюще, не затуманивающе, а как бы обратно: проясняюще. Я чувствовал всего себя стянутым в один крепкий узел; чувствовал — трудно это объяснить! — и упругим, готовым к прыжку, и прозрачным. Внутри тоже прозрачнело: словно мутная, мокрая бумажка с калькоманийной картинки начинала соскальзывать. Вот-вот казалось, она соскользнет... я готов, я жду. Вино *хрусталило* меня: чувства и мысли, опрозрачненные, становились совсем приготовленными... к чему — я не знал, к тому, что, обыкновенно, не являлось.

Это настроение было беспокойно, а я его любил, даже мимолетное. Приходило оно и не от вина, так, неизвестно от чего. Но в последнее время чаще «хрусталило» меня именно вино.

Я задумался, курил и чуть не вздрогнул, когда рядом раздался настойчивый, грубоватый шепот:

— Что ж ты?

С Маришкиной кровати на меня глядели два черные, круглые глаза.

— Ах, да! — Я потянулся в кресле, закурил новую папиросу и небрежно-ласково стал говорить девочке привычные слова: пусть она воспользуется отдыхом... пусть будет покойна, я заплачу хорошо... ну и так далее.

Но она слушала сидя, молча, и все глядела на меня круглыми глазами.

— Спи же! — сказал я. — Еще наработаешься.

Нет, не понимала.

— А ты что?

* в конце концов *(фр.)*.

— А то же!

Я немножко нетерпеливо объяснил ей, что «этим не занимаюсь», что езжу просто с товарищами забавляться, а больше ничего, что я «не такой».

Старался говорить применительно к ее пониманию, но она — не понимала.

— Какой не такой?

Немигающие глаза были устремлены на меня, глаза не то ребенка, не то зверенка. Пристальность взора возбуждала беспокойство.

— А, не понимаешь? Ну так вот тебе!

И я, уже не только не применяясь к ней, а нарочно выбирая совсем ей чуждые выражения, стал объяснять, что я «убежденный идеалист», что я «девственник по принципу», но не «анахорет», измены своим принципам нигде не боюсь, не только вот в таких заведениях, как здешнее убогое прибежище... Достаточно иметь, при серьезных убеждениях, чуть-чуть силы воли... Товарищи мои славные малые, но они не притязательны... Я, впрочем, воздерживаюсь от всякого суда. Если барышня не поняла — вина не моя. Я даю все объяснения...

Долго еще болтал, скрестив небрежно вытянутые ноги и покуривая. Она не прервала меня ни разу, все так же смотрела, не мигая, прямо мне в лицо беспокоящим пристальным взором.

Наконец и я умолк, и тоже стал смотреть на нее, на утомленное лицо со впалыми щеками, на худенькие голые руки, на все ее маленькое тело, прижавшееся в углу широкой кровати.

Несколько секунд длилось наше странное молчание.

Вдруг она проговорила:

— Какая же ты дрянь...

И потом опять, еще раз, с тихой убедительностью:

— Дрянь ты какая...

Слова упали прямо на меня, — в мою опрозрачненную, приготовленную душу, — не в душу, во всего меня. Мутная калькоманийная бумажка соскользнула.

Я сел на край широкой кровати и поцеловал худые Маришкины руки.

Так, в эту ночь, с маленькой смиренной проституткой, я смиренно потерял свою девственность.

IV

Ты – ты

Выздоровление после серьезной болезни – с первого дня праздник. А я еще поехал выздоравливать в самую праздничную страну – на веселый «Лазурный» юг Франции.

Впрочем, был уже здоров. Или почти совсем здоров: еще чувствовал, что каждый день вливаются в меня, растут во мне новые силы и растет, с ними, веселая радость тела. Точно в детстве: бездумье, светлая дрожь внутри, и хочется... сам не знаешь, чего хочется, просто бежать бы, бежать вперед, раскинув руки, смеяться, и чтобы ветер бил в лицо.

Но худой, моложавый (после болезни мне разве лет двадцать на вид) я все-таки слишком долговяз; что бы сказали элегантные англичанки, если б я вдруг так помчался по Променаде? Пришлось беганье заменить сначала велосипедом, а потом я взял понедельно маленький «Рено» и ездил один, порой как бешеный, просто чтобы мчаться.

Жил в ментонском «Паласе», но, можно сказать, жил везде: и в Ницце, и в Монте-Карло, и в Каннах. Все это, казалось мне, был один нескончаемый веселый пляж с одними и теми же нарядными дамами. Я был влюблен, – о, конечно! только не знал, в которую. Еще не решил, и пока был влюблен – во всех.

Игорный зал совсем не прельщал меня. Свет, движение, постоянное предчувствие какой-то неизвестной, тайной, радости, – что тут слушать монотонные переплески жетонов в полутемной духоте! Если Монте-Карло – я уж предпочитал цветы и пальмы парка, а вечером сверканье «Café de Paris».

Дни карнавала совсем меня закружили. Хотелось быть сразу во всех местах, и в Каннах, и в Ментоне, и в Ницце.

Я и поездил всюду, всего посмотрел, и по улицам набегался, засыпанным конфетти. Мешался в толпу масок, хотя сам был одет обыкновенно. Со мною весело заговаривали, болтал и я. К концу дня, усталый и радостный, оказался-таки в Ницце (шумнее и веселее всего!) и решил пообедать... где? да вот хоть в этом ресторане, около площади. Потом можно еще на бал...

Впереди меня в ресторан вошла веселая группа ряженых, — ну как всегда, Пьеро, цыган, маркитантка... Уселись за большой стол, неподалеку от меня.

Я заметил, что костюмированы — не все: несколько дам и мужчин одеты обыкновенно, только в масках.

Им было весело: я пожалел, что сижу один и стал придумывать, как поудобнее с ними познакомиться. Все-таки это, должно быть, своя компания...

Понемногу маски снимались. Вот эти двое, в смокингах, — довольно почтенного возраста. Другие — молодежь. Дамы, — о, конечно, не строгого поведения, это сразу видно, — все миленькие. Одна, в розовом, сбросила пуховую накидку с голых плеч и рук, но маску, тоже розовую, не снимала. Я почему-то засмотрелся на худенькие стройные руки, на глаза, сверкавшие из розового бархата. Они тоже глядели на меня, эти глаза.

Но вот она медленно подняла маску...

Только что это случилось — я понял, почему не мог от нее оторваться: потому, что был влюблен, да, влюблен, именно в нее, и ни в кого больше. Именно она и была тайной радостью, которой я все время ждал. Мне казалось, что я уже видел где-то ее лицо: должно быть, оно мне снилось.

Головы я, однако, не потерял. Влюбленность моя была не мечтательная: остро-нежная — но и страстная до бурности, до изнеможения. Розовая радость сидела, смеялась в такой легкой компании: и явная ее нестрогость, ее... *«возможность»* (слова «доступность» я и мысленно не произнес) еще, кажется, увеличивала любовь. Ведь я *могу* обнять это худенькое тело завтра... нет, сегодня... нет, через час, через полчаса... Я — могу!

Не знаю, что было бы, если б я встретил ее утром, на пляже с гувернанткой.

А, пожалуй, и гувернантке никто бы не удивился, так моя Розовая была юна. Совсем девочка: чуть подведенные глаза и тронутые алым губы казались накрашенными нарочно, в шутку.

Красива? Не знаю. Кажется, красива. Темные, коротко остриженные, волнистые волосы. Темные глаза. Ямочка на подбородке... Ах, все равно! Ничто не важно. Важно, что я влюблен, что меня влечет к ней до дрожи, до боли, до слез, так, — что если б она тут же вдруг провалилась сквозь землю, я бы, кажется, пустил себе пулю в висок.

О том, что она может сейчас встать, уехать со всей компанией или с кем-нибудь одним, с ее возлюбленным каким-нибудь, — я даже и не помышлял. Я бы отбил ее мгновенно у ста возлюбленных. Что и она смотрит на меня тоже, пристально и неотрывно, — казалось мне естественным. Еще бы она не чувствовала, *как* я смотрю!

Я ждал только подходящей минуты. К обеду почти и не притронулся, не заметил его. Минуты, однако, шли, ждать становилось все труднее. Задал себе просчитать до ста, и тогда действовать, что бы там ни было.

Не дошел и до пятидесяти, как в ресторан влетела другая компания, очевидно знакомая: первые вскочили из-за стола навстречу. Все заговорили сразу: смех, слова прорывались клочками сквозь музыку.

Да я слов не слушал. Я тоже встал. Теперь не трудно, вмешавшись в толпу, пробраться к Розовой.

Но этого не понадобилось, она предупредила меня: блестящие глаза, розовый бархат (она снова в маске), теплое дыхание около моего уха, шепот:

— Выйдите. Ждите меня у входа.

Я повиновался, как автомат. На тротуаре стоял неподвижно, ничего не замечая вокруг. Ждал, кажется, недолго. Но вздрогнул, когда тонкая ручка просунулась под мою руку.

— Пойдем отсюда, скорее, здесь слишком светло.

Мы куда-то пошли, почти побежали. Куда-то свернули, в боковой переулочек, потемнее. Я уже обнимал ее, — как она тонка под мягкой пуховой накидкой! И высока: я лишь чуть-чуть наклоняю голову к ее блестящим глазам.

— Маску! Маску! — умоляю тихонько (розовый бархат мне мешает).

Не знаю, говорить ли ей «ты» или «вы». Нежность влюбленности не хочет грубого, простого «ты». А не грубое кажется ей... преждевременным. Но впрочем — какое тут время! И я шепчу прерывисто:

— Люблю тебя... Люблю, люблю...

Она засмеялась, остановилась. Сняла маску, но в то же время нежно высвободилась из моих объятий.

— О! и я... люблю. Но подожди, подожди. Послушай.

— Поедем куда-нибудь. Поедем скорее...

— Нет, послушай... Хорошо, поедем. Ты живешь в Ментоне?

— Почем ты знаешь?

Опять засмеялась.

— Конечно, я знаю. Я тебя давно знаю, давно... люблю. Ты мой béguin *.

— Неправда! Если б я увидел тебя хоть раз... Я увидел тебя — и тотчас влюбился. Раньше... Нет, раньше ты мне только снилась. Я помню твое лицо... только это было во сне. Скажи, как тебя зовут?

— Марсель. А ты итальянец? Джанино? Видишь, я твое имя знаю.

— Да знаешь. Только я не итальянец. Ну, пусть я буду Джанино. Почему ты отдаляешься, если любишь? Марсель, милая, люблю тебя, люблю тебя...

— Нельзя, нельзя, — прошептала она, закутываясь в свое пушистое пальто. — Ну, поедем. Куда хочешь... К тебе.

* милый *(фр.)*.

Я забыл, буквально забыл о своем «Рено», оставленном у ресторана. Да это и к лучшему: вряд ли бы доехали мы благополучно до Ментоны, если б у руля сидел я, а рядом — она, Марсель. Двойное изнеможение — влюбленности и страсти, которые еще не слились, а как-то боролись во мне друг с другом, — глушило и слепило меня: видел только «ее», слышал только «ее».

Быстро, должно быть, не без помощи Марсель, мы нашли широкий лимузин. Входя, Марсель обернулась ко мне, взглянула умоляюще и прошептала:

— Mais... vous serez sage pendant le trajet, n'est pas? Vous me le promettez? *

Сделалась совсем похожа на девочку, на робкого подростка. О, я ей, конечно, все обещал, да и нежность, влюбленность взяли у меня на эту минуту верх над страстью. Я только обнял ее, баюкал ее, как ребенка, сам — точно в золотом облаке полусонном... и обоих нас укачивал, баюкая, мягкий бег лимузин.

Лишь перед самой Ментоной это облако стало горячеть, алеть, меняться. В пробегающих светах ее лицо мне показалось тоже изменившимся.

— Марсель, скажи, сколько тебе лет?

— Шестнадцать...

Лицо ее, полуоткрытые губы, подбородок с ямочкой, — лицо ее было так близко... И первый поцелуй, когда уста ее нашли мои, показался мне действительно моим первым поцелуем. Но второй, третий, все остальные, — я уже не мог оторваться от ее губ, — такие же были первые, и такими же огненными зигзагами чертили тьму передо мной.

— Chéri... chéri... assez... ** — чуть слышно пролепетала Марсель. — Nous arrivons ***. Умоляю тебя...

* Но... вы должны быть разумны во время пути. Вы обещаете? *(фр.)*.

** Милый, милый, погоди *(фр.)*.

*** Мы приехали *(фр.)*.

Мы в самом деле уже были около моего отеля, даже въехали в ворота парка, на круглую, его огибающую, дорогу.

Который час? Я понятия не имел. Может быть, поздно, может быть, рано. Отель был освещен.

— Я надену маску, — сказала Марсель. — Так лучше. И сегодня все можно. Мы, ведь, не останемся внизу?

Внизу! Очень мне нужны отельные залы! И зачем маска? Впрочем, как она хочет.

Спокойствие было необходимо — и оно явилось. Я вышел, расплатился с шофером, и мы, через широкую, ярко-светлую, переднюю прошли прямо к лифту.

Откуда-то, из зал ресторана, должно быть, заглушенно-нежно, еще слышалась музыка. Значит, не поздно...

В отеле ко мне относились с почтительностью. Я занимал одну из самых дорогих комнат и вообще не смотрел на расходы. Меня удивила немножко боязливость Марсель: в маске, и все же кутает лицо, отвертывается от шассера в освещенном лифте.

— Ты ничего больше не будешь заказывать? — спросила она, когда мы вошли в мою большую, прохладную комнату; из открытой на балкон, в ночь, двери пахло мимозами.

— Хочешь, я закажу что-нибудь холодное, вина, — принесут в одну минуту...

— О, нет, нет! Прошу тебя, не надо! Ничего не надо, я не хочу. Запри двери.

— Милая, любовь моя, да чего ты боишься? Ведь я с тобой, мы одни...

Я запер двери, окно, задернул занавесы, потушил яркую люстру. Только маленькая лампочка с розовым колпаком горела в алькове.

Марсель свернулась на диване, в уголке, подобрав под себя ноги в светлых туфлях. Комната быстро теплела. От затененного света сделалась уютной.

Я опустился на ковер, на колени, перед диваном, и обнял мою девочку. Она опять казалась маленькой робкой девочкой,

но... я помнил автомобиль; усилие воли к спокойствию стало ненужным; и кровь все сильнее стучит в виски.

— Милая, милая, я не знаю, что со мной. Я еще никогда, никого... так, как тебя. Как тебя, только тебя...

Отбросил ее накидку. Худенькие ручки обняли меня. Улыбнулась в первый раз почти шаловливо.

— Правда? Правда? А я? Разве ты не чувствуешь, Джанино, что я давно.... Что ты мой béguin? И сколько раз, глядя на тебя...

— Ты меня тоже видела во сне?

— Нет, постой... Ты этого не поймешь. Тут была даже клятва... И если бы не... Но ты не поймешь...

— Не пойму? Если бы не... что? Что?

Я спрашивал, но, по правде сказать, об ответах не заботился, да и не ждал их. Опять поцелуи, опять эти неизведанные, все тело плавящие, «первые» поцелуи. Ведь это была *«она»*, та, которая вся «нравилась» мне: не что-то в ней, а вся она — всему мне. Я говорю «нравилась», но это стертое слово: каждая клеточка моего тела влеклась к ней, к ее худенькому, длинному телу подростка. И было в этом даже что-то жестокое.

Под легким платьем я чувствовал ее хрупкую наготу. Слышал, как быстро-быстро стучит ее сердце.

— Джанино, о милый... Так правда? Нет, нет, подожди... Ты знаешь?..

Она выпрямилась, откинула голову, взглянула мне в глаза:

— Ты знаешь? Знаешь?

— Ничего не знаю, Марсель, — пролепетал я полусознательно. — И ничего не хочу, кроме тебя. Ты — ты, больше ничего я не знаю. Не уходи, не уходи...

Она опять наклонилась к моим губам, в бессилии опустив ресницы.

И вдруг — я понял.

По этой секунде моей недвижности она поняла, что я — понял. Тонкое тело вздрогнуло в моих руках. Глаза открылись и тотчас закрылись опять.

Это были те же глаза, те же губы, то же тело, к каждой клеточке которого влеклось мое. Секунда недвижности — это как будто холодная проволока проскользнула. Проскользнула... и не изменила — ничего.

Опять вместе, в один и тот же миг мы это почувствовали, стеснив объятия.

— Марсель, не бойся... Не думай. Разве не все равно? Разве не все равно, если ты — ты?

ГОРНЫЙ КИЗИЛ

(Из мемуаров И. Л. Мартынова)

...Иногда мне кажется: уж не прекрасно ли я выдумал писать также странные мемуары — любовные истории? Если бы я еще был знаменитостью или истории любовные у меня были бы какие-нибудь необыкновенные! А то человек я средний, те, кого я любил и кто меня любил — тоже; да и писание не моя специальность: могу только рассказывать по простоте, было и было.

Одно утешает: дело не в человеке, а, — как я уж говорил, — в любви. Сама любовь такая не «средняя вещь», что чуть она где хоть перышком коснулась — все делается особенным. Тогда, если верить Владимиру Соловьеву, за каждым человеком начинают внимательно следить «и небеса, и преисподняя». И выясняется лицо человеческое, его собственное, какого другого нет.

Мои любовные истории, конечно, похожи на истории многих Иванов Леонидовичей, Петровичей, Сергеевичей... Но пусть Иван Петрович поглядит, в чем похож на меня, в чем нет: он лучше себя узнает. Я бы с удовольствием слушал любезные истории Иванов Петровичей, если б они их, как я, откровенно рассказывали: очень интересуюсь всеми людьми... и необыкновенными, и обыкновенными.

История, которую сейчас расскажу, пожалуй, и не история вовсе... а впрочем, это как взглянуть.

* * *

Сижу на длинной веранде курзала недалеко от источника, в парке, с новым моим здешним приятелем – Николаем Даниловичем. Время к полудню, в парке пусто.

Я – щеголеватый, довольно красивый, петербургский студент. Занесло меня в этот горный курорт, – провинциальное захолустье! – весьма неожиданно. Поссорился с Ниной... не то, что поссорился, а как-то так... (эту историю о Нине, вряд ли рассказывать буду: очень уж не «любовная»). Слово за слово, я сказал, что мне Ялта надоела, а если еще сцены, так я уеду. Кстати, и муж Нины должен был в Ялту на десять дней прибыть. Нина, с глупой женской манерой: «Вы не уедете!». На другой день утром рано я сел на пароход и уехал... как можно дальше, с чувством свободы и с удовольствием. Попал сюда, и очень здесь мне нравится. А Нина пусть на досуге подумает. Ничего с ней не случится, если подождет. Пока не до нее.

– Ах, так вы знакомы? – говорит Николай Данилович, глядя на меня радостно.

– В ротонде, на детском вечере нас познакомили... брат ее, кажется.

– Старший? Или Митя? Ну, этот шалопай. Верзила, а в четвертом классе застрял. Да, вот вся она тут: на детский вечер пойдет, на полчасика, а чтобы в воскресенье и танцовать – ни за что! Посмотрите, наши барышни здешние: только на музыку, дальше главной аллеи ни шагу, – и окружены! Оля Гвоздева, например, вот кокетка! И что в ней, спрашивается? Совсем не интересна.

Я не находил Олю Гвоздеву интересной, но она мне казалась забавной, как и вся эта куча провинциальных барышень. А та, о ком мы говорили, совсем не остановила моего внимания.

– Здешняя молодежь, конечно, не считает ее интересной, – продолжал Николай Данилович. – Много они понимают! Если девушка скромна, гуляет вдали, с книжкой, не хохо-

чет, не вертится — они ее не заметят, хоть первая будь красавица. Вот она второй год здесь на курорте, а смело скажу: самая красивая из всех.

— Да вы влюблены, Николай Данилович! Если б я знал! Нас мельком познакомили... не успел и взглянуть, как следует.

— Я давно ее люблю, — признался Николай Данилович. — И все как-то... не сладилось еще.

Пощипал круглую рыжеватую бородку и задумался. У него были доверчивые, кроткие голубые глаза. Я спросил с участием: почему же не сладилось?

— А видите... из-за меня тоже. Не решаюсь. Она не разговорчива, и я не мастер... подойти. И соображения: ей девятнадцать, а мне уже тридцать пять. Семья, по-здешнему, знатная, хотя не богаты; живут в Тифлисе. А здесь глушь; музыка и все такое — в сезон, сезон короткий, я же и от курорта этого в десяти верстах. Да и что я такое? Младший управляющий великокняжеского имения, где и князья-то никогда не бывают... Вот и все.

— Ну, какие пустяки! Сами же себе противоречите. Если она и здесь вдалеке держится — что ей глушь? Только бы любила!

— Любила! А любит ли?

Я хотел засмеяться, но он так был мил, искренний до наивности, что мне стало жалко.

— Вы только не бойтесь. Вот, встречусь еще с ней... Я вам хорошо нагадаю: может уж давно любит...

Николай Данилович расцвел улыбкой. Подвинулся ко мне и заговорил поспешно:

— Я жду, что она пройдет. Часто уходит после завтрака туда, в ущелье. Да, вы не знаете: а здешние девушки, южанки, из хороших, старых семейств особенно, — бывают такие: скрытные, а быстрые... Мне сейчас несчастье — ехать пора, и лошадь у сторожа. Хотел сегодня на минутку повидать: завтра должен отлучиться на ацхельскую лесопильню, раньше трех—четырех дней не вернусь...

— Сегодня и поговорить хотели.

— Нет, что вы! — испугался Николай Данилович. — Я, может, и не пойду к ней. Или только поздороваюсь. Что вы! Просто увидеть.

Он был трогателен, этот крепкий, плотный человек, с добрым лицом. И любовь его, очевидно, такая же крепкая, от крепости и робкая.

Мне он нравится. Нравится и парк, и веранда в диком винограде, и небо. Какое оно яркое и нежное! Какая листва, какая прохлада в ущельях, как реченька горная лепечет громко и шелково! А теплые дорожки вверху, где с одной стороны — скала, а с другой — пушистое море зеленых верхушек, до самого края неба...

Люблю и скромный курзал, и милых барышень-кокеток на музыке с их кавалерами, великовозрастными гимназистами. Как это я не рассмотрел Беатриче Николая Даниловича — Соничку Еникадзе?

— Вот она! — громко прошептал Николай Данилович и вскочил.

Он приметил ее раньше, а я — когда она уже шла по веранде, по теневой стороне; ей надо было пройти в парк мимо нас.

Темная, гладкая головка без шляпы, голубое платье с красными цветочками, в одной руке шарф и книга, через другую перекинута ее коса, такая длинная, что если бы она ее не подбирала — коричневая ленточка приплётки была бы ниже подола. Ресницы опущены, черными полукругами лежат на смуглых, свежих, без румянца, щеках.

Николай Данилович, вскочив, стоял как вкопанный. Я, было, не хотел мешать им. Но увидел, что он, от нерешительности, совсем к ней, пожалуй, не подойдет, и тоже встал. Когда она была уже близко, мы двинулись вместе вперед.

— Софья Львовна... Добрый день... Ах, я вас испугал?

Но она не испугалась. Подняла ресницы, свежее лицо тонко заалело.

— Значит, вы идете гулять? — откашлянувшись, довольно глупо спросил Николай Данилович. — Как я несчастлив. Сейчас вот еду домой. А то теперь в парке так прелестно. Да вы, впрочем, любите всегда одна гулять...

— Ах, нет... — сказала она, смешавшись. — Я ведь недалеко... Немножко в ущелье...

— Так, значит, вы мне позволите, в другой раз, нарушить ваше уединение? — настаивал осмелевший (от моего, вероятно, присутствия) Николай Данилович. — Как я, право, несчастлив, сейчас, вот, и лошадь у сторожки, а завтра на лесопильню... Такое несчастье!

Соничка, не улыбаясь, краснела, видимо, не зная, что сказать. Шептала: конечно, я ведь всегда... Я совсем недалеко... У меня тут одна любимая скамеечка...

— Может быть, сегодня вы позволите — мне дойти с вами до вашей скамеечки? — вдруг сказал я. — Очень досадно, что друг мой так спешит... А час, действительно, славный...

Говоря это, я бросил значительный взгляд на Николая Даниловича; в ответ получил благодарный и мощное рукопожатие на прощанье. Он понял, что я хочу ему помогать.

Мы с Соничкой скоро свернули в зеленую глубь ущелья. То лепет, то гул речки, прыгающей по камням, не нарушал, только вил, кудрявил тишину. Теплой сыростью пахнуло и какими-то мхами или травами — пронзительно нежно. Я смотрел на глубокую тень Соничкиных опущенных ресниц, на свежее, полудетское личико, и мне казалось, что это от нее, от ее голубого платьица, идет этот нежно-волнующий, травяной аромат.

Что-то говорил, простое, безразличное: решил, что она дикарка, что ей надо, прежде всего, дать отдохнуть от смущенья. Но когда мы дошли до «ее» скамейки — под выступом скалы, как под сводом, — я увидел, что моя спутница совсем не очень дичится. Часто подымала ресницы, — а глаза у нее удивительные: темные, без малейшего блеска; робкие? не знаю; непонятные.

Даже улыбнулась. Даже засмеялась раз, показав ряд очень тесных, белых зубов. Я попробовал, было, заговорить о Николае Даниловиче. Но она перестала улыбаться, словно закрылась. И я снова принялся что-то пустое рассказывать. Спросил, что она читает. Ответила: «Нет, так» и книжки не показала. Впрочем, я уже заметил: стихи одного современного поэта, не из важных.

Мы прогуляли часа два.

— Я обойду круговой дорожкой, — сказала Соничка, когда мы приблизились к главной аллее. — Теперь там сейчас будет музыка, я не хочу. А вы идите на музыку.

Подала мне маленькую, смуглую руку, обмотанную выше кисти ее изумительной косой. Только что я хотел сказать ей, что надеюсь, мол, еще скоро повторить нашу «дивную» прогулку... или что-то вроде, — как она внезапно прибавила (и, признаться, потрясла меня неожиданностью):

— Завтра приходите на ту же скамейку.

Сказала так просто, без улыбки, без смущенья, и так невинно ушла, качнув мне головой, что я сначала подумал, не ослышался ли? А потом: не дурное ли у меня воображенье? Не сказала ли она это с детскостью, как дети говорят: и завтра гулять тоже пойдем?

Пора бы мне, впрочем, привыкнуть к женской непонятности. Долго она меня изумляла, потрясала. Но разве не решил я, не обещал себе, не удивляться ничему, всего всегда ждать и даже не пробовать найти какую-нибудь разгадку.

Решение мудрое. Только я-то, увы, до мудрости еще не дорос. Я лишь предчувствовал, но не знал, что есть в женщине для нас вечная тайна; допытываться о ней — бесполезно, потому что она и для самой женщины такая же тайна...

А всего лучше — об этом не думать.

На другой день отправился, конечно, на Соничкину скамейку. Хотя пошел раньше — Соничка уже была там.

В голубом своем платьице, шарф, но без книжки. Солнечные блики опять дрожали сквозь чащу, так же пахло, — еще

пронзительнее, — травяной, влажной теплотой. Соня еще прелестнее была сегодня, свежая, точно высокий синий колокольчик в траве.

Я даже не нашелся сразу ничего сказать, молча поцеловал руку (она не удивилась) и сел рядом. Потом заговорил, — не очень связно, горячо, — о солнце, о зелени, о шепотливой речке по камням, о том, кажется, что вот это и есть настоящее, главное, и ничего я раньше такого не видел, так остро не чувствовал.

Она не прерывала, смотрела прямо перед собою, не опуская ресниц. Не опустила их, и даже на меня тихий взор перевела, когда я заговорил о ней: о том, как она похожа на всю эту летнюю, свежую прелесть; и о синем колокольчике упомянул.

И вдруг я сам прервал свою горячую речь. Остановился. Что это?..

— Пройдемся, — сказала Соничка. — Только немного. Мне сегодня надо раньше домой.

По скользким зеленым камням мы перешли на другую сторону речки и направились к выходу из ущелья.

Стараясь переменить тон, я принялся рассказывать ей о Петербурге, о том, о сем... Но она слушала с прежней серьезностью и вниманием. Сказала:

— Верно там одиноко очень вам... Да, впрочем, везде бывает одиноко...

Я стал расспрашивать, как она живет, есть ли у нее друзья... Но все почему-то боялся сбиться с легкого тона, который и не очень-то выходил.

— Вы дикарка, все только с книжкой...

— Да, право, нет... Но какие же у меня друзья?

На одну секунду я вспомнил о Николае Даниловиче и тотчас же забыл. У дверей парка, прощаясь, я уже сам спросил:

— Вы завтра придете?

Милые, непонятные глаза взглянули на меня с удивлением:

— Конечно.

Я оглянулся — никого не было — и опять поцеловал ей руку.

— А хотите... — вдруг прибавила задумчиво, — там, у нижнего парка, есть дорожка в гору, в лес, к заводу кирпичному, — он внизу остается... Хотите туда? Тоже любимое мое место...

Мы условились сойтись в нижнем парке.

Домой я пришел в веселом и ужасно беспечном настроении. Ничему не удивлялся, ни о чем не думал, все было великолепно. Передо мной лежал бесконечный ряд прекрасных дней, ряд душистых прогулок с Соничкой. Даже смешно, что люди о чем-то думают, о чем-то заботятся: стоит подойти к жизни просто — и как она приятна!

Попозже отправился в курзал, ухаживал за барышнями, даже Оле Гвоздевой наговорил кучу полукомплиментов-полудерзостей (по-здешнему, здесь это принято). Но долго не остался, а возвращаясь к себе чернильно-черной ночью, слушая голос воды из темноты, все хотел разглядеть меж невидными ветвями, — звезды. Почему-то было важно увидеть хоть одну. У самой гостиницы увидал их много, больших, простых, — и успокоился.

* *
*

Горная дорожка. Белый Сонин шарф. Зеленые волны сплошных древесных вершин по склону, — над ними точно летишь. Солнце, солнце... Вот, уже пологие лучи скользят по зеленому морю. Кусты кизиловые, высокие густые, темные. Под ними — прогретые солнцем, малиново-алые, палые ягоды. Они тогда и хороши, когда солнце насквозь процелует их нежное тело, убаюкает во мху, в темной колыбели.

Словно в шалаше мы, под кизиловыми кустами. Смуглая щека девическая, губы, невинные и алые, как солнечный кизил. Я наклоняюсь, низко, близко, ближе... Целую ли нежную щеку? Может быть, да... Кажется, да...

И вдруг доверчивые руки обнимают меня, коса, прильнув, щекочет, вижу бессветные глаза, – непонятные? понятные? страстные? невинные?

— Я вас так буду любить... Так буду любить...

Кто во мне разъял эти обнимавшие руки? Я встал, поднял её. Послушно поднялась, черной головкой прижалась ко мне, с детским доверием. Я должен был охватить ее плечи, итак, вместе, мы пошли вниз. Молча. Я все ускорял шаг, поддерживая легкое тело.

Когда показались первые дома, я осторожно отнял руку. Взглянул. Глаза опущены, почти закрыты. Какая серьезность счастья в этом лице... Из нижнего парка вдруг запела музыка зорь, хрупким стеклом рассыпалась в горах.

— Завтра... вы придете к нам? — сказала Соня.

Подняла ресницы. Милые глаза были полны счастьем и слезами.

— К вам? Да, да, конечно, – залепетал я. – Завтра приду. Непременно приду.

Спеша и теряясь, повторил:

— Завтра к вам, как же... Да, да...

Хотел, кажется, улыбнуться, но не улыбнулся; сияние слез все стояло в глазах. Рядом стукнула калитка. Нельзя было и руки поцеловать. Соня набросила белый шарф на голову и быстро скользнула в переулок. Там был ее дом.

Я остался.

* *
*

«Дорогая Софья Львовна...» Нет... «Дорогая, милая Соня...» «Нет, просто: «Ради Бога, на коленях умоляю вас...» Нет, лучше сухо: «Я не знаю, я не уверен, что люблю вас, вы того заслуживаете. Я должен уехать, и в одиночестве...» Что – в одиночестве? Чепуха, ничего не надо. Пойти к ней – и сказать... Ах, лермонтовским «героем нашего времени»? Знал, что не могу.

К утру только заснул. Разбудил меня знакомый голос.

— Простите, ради Бога, что я так врываюсь. Я думал... Ведь уже поздно. Я думал, вместе позавтракаем, потом погуляем. Счастливо так освободился с лесопилки...

Николай Данилович! Вспомнил все. Сияние и слезы в глазах... К Николаю Даниловичу у меня холодная злоба.

— Ах, дорогой мой, — говорю (сам себе удивляясь) лицемерно-грустным тоном. — Вы счастливы, а я несчастен. Получил телеграмму, сегодня в четыре уезжаю! Ничего, оставляю вам свое благословение.

— Да нет? Вот горе! А... какое благословенье?

— Она вас... если еще не любит, то готова полюбить. Только будьте очень, очень осторожны. Она дикарка, не спешите. Все можете испортить.

Николай Данилович даже на стул опустился.

— Правда? Ах, как мне благодарить... Мне, главное, надежда, а я терпелив. Горе, что вы-то уезжаете. Но до четырех, может, еще все-таки успеем и в курзале позавтракать, и пройдемся...

Насилу я его выжил, уверив, что мне нужно еще собраться, уложиться. Он обещал быть к четырем на вокзале, – проводить.

Да только уехал я не в четыре, а с трехчасовым.

Не в Ялту, конечно: ну их, и Ялту, и Нину, ко всем чертям! А прямо в Петербург.

ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ

Что она вторая — само по себе было печально, и меня беспокоило.

Насчет первой я твердо знал: о ней и ангелы радуются, и она там у них записана, так что даже когда из нее ничего не выходит (у меня уже было подозрение, что ни из какой любви

«здесь» ничего не выходит) — она не потеряна, и впоследствии, «там», даст свои результаты. Но вторая? О второй я не имел никаких сведений, и было похоже, что она ни к чему. Страданий же терпеть от нее приходилось не меньше, чем от первой. Положим, и радость была не меньшая, и я заранее жалел себя: как мне будет, когда разлюблю?

Вторая любовь моя — Марья Ивановна, поповна. Дочь нашего гимназического преподавателя, — он же наш приходский, остоженский, священник, — протоирей о. Иоанн.

Марью Ивановну я вижу часто: и в учительской иногда (приходит за отцом), и в церкви, но это что! А главное — она бывает в доме у моих кузин, где я гость постоянный. Кузины живут в двух шагах от церкви, по Остоженке. И я невдалеке, и в гимназию иду мимо... мимо всех этих заветных домов: Марья Ивановна живет в церковном.

Ходит в черном платье, с черной широкой бархаткой на шее. Лицо очень круглое, полное, серые глаза навыкате, притом косые, так что нельзя угадать, смотрит она на вас, или не смотрит. И вся она кругленькая, полненькая. Вид у нее всегда равнодушный (или гордый?). За спиной — две длинные, ровные, русые косы, связанные вверху ленточкой.

Я ничего о ней не знаю. Кузины никогда о ней не говорят. И она почти ничего не говорит, когда сидит у них. И я молчу, только смотрю на нее и... сам про нее думаю, догадываюсь про нее. На кого она может быть похожа? Вдруг она — Мелитта из «Загадочных натур» Шпильгагена? В таком случае я — Освальд, но я совсем не Освальд, и даже не хочу быть Освальдом. Я скорее Жюльен из «Rouge et Noir» *. Во всяком случае я пламенно желаю быть Жюльеном, а это уж много: очевидно, у меня есть к тому данные.

Впрочем, насчет Жюльена мне пришли в голову соображенья далеко не сразу, потом (влюбившись второй любовью, я стал пожирать всякие романы, какие только под руку попада-

* «Красное и черное» *(фр.)*.

лись, жадно там ища сведений о любви, — психологических, конечно; физиологические мне были известны от товарищей, но как-то странно меня не интересовали в то время, несмотря на мои, слава Богу, пятнадцать лет).

Итак, начал я нисколько не с Жюльена, а с того, что принялся учить уроки нашему законоучителю — назубок. И не то, что рассуждения заводить, а просто жарил по-славянски наизусть целые страницы, чего даже и не требовалось.

У меня не было расчета понравиться папаше. Да и какой тут расчет? Что-то было, впрочем: смутное ощущение какой-то связи через Закон Божий — с ней. Отец — священник, значит и она тут тоже причастна. Ведь и она, может быть, все это знает наизусть? Пытался смутную эту связь себе выяснить, определить, — но ничего не выходило.

Однажды, у кузин, при ней, когда меня спрашивали о гимназии, — рискнул. Пренебрежительно объявил, что по греческому у меня двойка, но мне наплевать, так как интересуюсь исключительно Законом Божьим. И тут же, одним духом, прочел по-славянски всю главу с Нагорной проповедью.

Бабушка кузин слушала с умилением и вздохнула. Старшая кузина, Юля, показала головой: да ты уж не в дьячки ли собрался? А она, — Марья Ивановна, — хоть бы что. Я задыхался от волнения; взглянул на нее... ничего. И смотрит в сторону (впрочем, может быть, и на меня, только выходило, что в сторону).

Уроков я учить не прекратил (подземная-то связь осталась же), но к своей любви стал искать и других подходов.

Не правда ли, странно, что с любовью всегда хочется что-то делать? Зачем? Разве не блаженство просто сидеть у кузин в темненькой столовой, смотреть украдкой на черную бархатку, на серые глаза, или даже не смотреть, только знать, только всем собой до дна чувствовать, что она — здесь? И разве не блаженство дома, в постели, в темноте, плакать от сладкой боли своего одиночества и от непонятности, невыразимости любви?

Конечно, блаженство. Но свойство любви, должно быть, никаким блаженством не удовлетворяться. Любовь не стоит на месте. А так как я не знал, что с ней делать, и ровно ничего от Марьи Ивановны не желал, то поневоле и обратился на себя: тут, как раз, и Жюльен Сорель стендалевский подвернулся.

А вдруг эта любовь (недаром — вторая!) дана мне для выработки характера? Как испытанье себя дана, а вовсе не для того, чтоб млеть и робко пылать, утопая в мальчишеском блаженстве? Я должен — действовать, во всем побеждая себя, наперекор себе. Не могу слова сказать Марье Ивановне — должен! Не могу подумать ей руку поцеловать (да и не хочу вовсе) — заставлю себя! И наконец — (это уж последнее, о чем я помышлял с дрожью отчаянья, самое немыслимое) — может быть, я и признаюсь ей, что люблю?..

Дальше не шел, но и этого было достаточно, чтобы погрузиться в полный ужас. Задача, которую я себе задал просто придавила меня. Даже показалось вдруг, что я Марью Ивановну немножко разлюбил. Но нет, брат, шалишь! это хитрость перед собою, чтобы увильнуть. Жюльен бы постыдился... Уж как решил — так и сделаю. Умру, а сделаю... ну если не до последнего, т. е. не до признания, то все-таки...

Нас распустили на две недели, на Пасху. Весна стояла гадкая, холодная, серая; коричневый снег — каша с водой, и сверху что-то падало тонкое, острое. Я шлялся по улицам, затуманенный своими мыслями; проваливался в лужи; шел — неизвестно куда; и назад возвращался.

У церкви, у посудной лавки, вдруг меня что-то как бы толкнуло: она! Ведь вот, никогда раньше не встречался на улице. Явное указание.

В черной барашковой шапочке, косы поверх шубы, щеки красные.

— Марья Ивановна! — сказал я твердо и громко (ужасно громко). — Мое почтение. И всего вам хорошего. То есть, простите, как поживаете?

Снял фуражку с низким поклоном.

Марья Ивановна удивленно взглянула в сторону, на улыбку не ответила, протянула руку.

— Куда путь держите? — продолжал я. — Не к моим ли кузинам?

— Нет, домой, — сказала она. Удивленье не сходило у нее с лица. Помолчав, прибавила:

— А вы от них?

— Юличка нездорова, — внезапно прилгнул я, сам не знаю, для чего.

Марья Ивановна скосила глаза:

— Неужели? Ну до свиданья.

И мы разошлись. Я, на первый раз, был очень доволен собой. А вечером отправился к кузинам, смутно предполагая застать там ее — и тайно надеясь не застать.

Но застал. Вместо прежнего блаженства почувствовал, однако, оторопь. Да и Юличка, действительно, оказалась нездорова — опять явное указание.

Принялся неестественно болтать, заплетаясь в чепуху, потому что думал о другом. Думал: что же я могу, когда ни минуты не остаюсь с ней наедине? И тотчас: ведь и Жюльен не оставался, ведь он и за руку ее брал при подруге: в темноте, правда, в саду...

Вызваться проводить — нельзя, не принято. От кузин вечером ее провожала прислуга. Да и что в грязи, — улица не сад...

Я встал раньше. Поцеловался с кузинами, как всегда. А руку Марьи Ивановны пожал особенно крепко и задержал в своей на мгновенье. Заставил себя.

Это было, — честное слово! — хотя она и не заметила.

А что, если я в церкви, после заутрени, ее поцелую?

Но эта дерзкая мысль привела меня в такое состояние, что я вовсе к заутрени не пошел. Сказался дома больным и не пошел. Чувствовал, что не могу и что будет катастрофа. По той же гнусной слабости не пошел и к сестрам двоюродным в пер-

вый день праздника. Только на третий решился... Если даже и встречу, так на третий — не обязательно же христосоваться. Да и вряд ли она будет...

Ее там не было; но... вскоре она-таки пришла. Христосоваться было ненужно, однако, увидав опять «указание» — я почувствовал в себе прилив силы и железную твердость. Блаженства — никакого. Едва заметил бархатку и то, что «она» была не в черном, а в светло-сером платье.

Поздравил с праздником, сел рядом. Объявил, что был болен.

— Даже заутреню пропустил. А вы?

— Я здорова, — сказала Марья Ивановна, удивляясь. — Мы были у нас. Погода плохая, а то мы и в Кремль ходим.

— Вы любите это ночное небо в огнях? Любите этот весенний воздух? Не правда ли?

Я придвинул немного стул.

— Какое там небо, когда дождь, — сказала Юля (другой кузины не было дома). — И что ты пристаешь? Маничка, хотите новой пасхи? Новая готова, я сейчас хотела ее вынести. Давайте попробуем.

Юля встала и вышла. Мы с Марьей Ивановной были наедине.

Конец размышлениям. Конец колебаниям. Только воля, только действие. Жюльен я или не Жюльен?

Рука Марьи Ивановны, пухленькая, с ямочками, не очень белая, лежала на столе. Я наклонился и чмокнул ее.

— Что это вы? — изумленно произнесла Марья Ивановна, повернув ко мне лицо.

Я сказал твердо и громко:

— Дорогая Марья Ивановна. Вы слушаете? Я вас люблю.

Так как она ничего не ответила, то я продолжал:

— Люблю, обожаю, влюблен в вас... Вы слушаете? Я влюблен...

Все, казалось, было сделано, все сказано... Но я с ужасом почувствовал, что не все. Необходимо что-то прибавить. В го-

лове болтались фразы из книжек, то, что обычно прибавляется: «будьте моей женой», или «будьте моей» просто, или «когда и где мы увидимся», или даже «я ничего не прошу, ни на что не надеюсь»... Но не мог же я сказать ей какую-нибудь из этих фраз? И я стал, словно дятел, долбить слова: «люблю вас, обожаю вас, Марья Ивановна», — притом не чувствуя ни любви, ни обожания и только спрашивая себя, как я теперь изо всего этого выйду, утопая в невыразимом стыде.

По коридору — шаги Юли. Меня осенило вдохновение:

— Об одном молю, об одном!.. — зашептал я. — Никому ни слова! Ни намека! Будьте милосердны. Юле — меньше всего. На коленях прошу молчанья. Молчанья навеки!

И я взглянул на Марью Ивановну (раньше я не глядел). Она была совершенно, как всегда. Пожала плечами:

— Да, конечно же. О чем тут говорить? Ведь такие же пустяки.

Этим закончилась моя вторая любовь, завершилось мое освобождение от Марьи Ивановны. Блаженство я потерял, но жалости не было, а напротив, какая-то новая легкость.

Мучило только недоумение: ведь так и не решилось, Жюльен я или не Жюльен? Вел-то я себя как он, или вроде, а выходило почему-то, что я все-таки не Жюльен.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

(Из мемуаров Мартынова)

Рассказ

Я — в ужасном положении.

Если б я немного раньше понял, что со мною происходит, можно бы кое-что предотвратить... или нельзя? Но я и не понимал. Понимал, Бог знает как... с улыбкой. С комической стороны брал (я очень зорок на свой собственный комизм). Зато

скоро мне открылось, что такое трагикомедия или даже комикотрагедия. Открылось и еще нечто... но для этого я и по сю пору не нашел слов.

Впрочем, расскажу с начала.

Летом, в Царском, я познакомился с Анной Иеринг, дочерью нашего университетского профессора, а в сентябрь уже стал бывать у них в доме как жених.

Мне жениться было рано, во всех смыслах, но какой же молодой влюбленный об этом не думает? Пожалуй, рано выходить замуж было и Анне, — ей едва исполнилось 18 лет. На вид, впрочем, не трудно дать и больше: такая она крупная, крепкая, такие у нее уверенные манеры и такие... не то, что «грациозные», совсем нейдет это слово, — а скорее «умные» движения.

Была на курсах, но типичных черт курсистки, ни старой, ни новой, — никаких. Спортсменство разве... да и то: разве для новой курсистки оно типично? А спорт Анна любила. Мы и познакомились на царскосельском теннисе.

Я, собственно, не помню, когда я сделал ей предложенье, и было ли «предложенье». Как-то так вышло, что мы уже стали рассуждать о нашей свадьбе и будущей совместной жизни, словно это само собою разумелось и быть иначе не могло.

Спорили мы часто, — но всегда о посторонних вещах. Часто в споре побеждала она. Насчет же того, что мы друг друга любим, — у нас и сомнений не возникало.

Да что тут сомневаться? Я ее действительно любил. Душевно? Право, не умею в любви этого разбирать, вот здесь душа, а вот здесь тело. Любишь — значит любишь, и все тут. Может быть, в юности меньше зоркости и внимания к чужой душе, не так думается об этом, подходишь с другой стороны... а любишь, однако, хоть и без рассуждений, всего человека.

Не скажу, чтобы Анна внушала мне бурную, всепоглощающую страсть; но страсть была, и очень сильная. Я чувствовал Анну — необходимой. Чему-то во мне она страстно отвечала: и голосом, низким контральто, и рыжеватыми, жесткими волна-

ми волос, и «умными» движениями своего мускулистого тела, и даже твердой неуступчивостью в спорах.

Я видел, что она по-своему, но приблизительно так же относится и ко мне. Она сама, первая, поцеловала меня, — в передней как-то, провожая. Поцеловала неловко, неумело (восемнадцать лет!), но без всякой робости, со властью, и поцелуй этот я почувствовал, как «наш».

И потом, всегда, — не очень, правда, часто, — выходило, что она первая обнимет меня крепко, властно, наклонит мою голову и поцелует. Я же — не то, что не смел сделать этого, — почему бы не сметь? — но мне нравилось вот именно это ее движение ко мне, я ждал его и страстно шел навстречу.

Я не слабый и не робкий человек; но в этой девушке, во всем ее существе, было что-то, что давало мне тонкую отраду ей подчиняться, идти за ней. Капризная женская властность мне известна. В Анне было совсем не то, но — простое, прямое что-то, естественное для нее, потому и влекущее. Мы были женихом и невестой; а порою, как ни странно, нельзя было разобрать, кто из нас жених, кто невеста.

Находили на меня, впрочем, полосы буйства: я вдруг начинал не уступать, спорил с горячностью, почти с раздражением, и радовался, когда брал верх. Но до серьезных ссор и тут дело пока не доходило: у Анны был ровный характер, а дуться она и вовсе не умела.

Профессор (не из очень знаменитых), старик и чудак, мало на что обращал внимание. К нему Анна относилась равнодушно: была близка с матерью.

За чаем, по вечерам, мы сидели чаще втроем; лишь изредка вылезет профессор, в халате, добродушно шутит: «Пришел проведать своих Анн и юношу...»

Дочь он звал «Анна-большая», а жену «Анна-маленькая». Моя Анна вышла в отца, — и крупностью, и рыжеватыми волосами (у профессора они с проседью); она, действительно, казалась «большой» перед матерью. Да и не всякий бы и поверил, что эта худенькая женщина, черноволосая и задумчивая,

мать Анны. Я, при первом знакомстве, подумал: не мачеха ли? Не вторая ли жена профессора? Но оказалось не так.

— Вы находите маму молодой? — спросила меня раз Анна. — И правда, я совсем на нее не похожа? Все это говорят. Ах, мама живет такой своей жизнью, она, кажется, никогда не состарится... У меня есть ее портрет, девический. Совсем та же, только платье другое. А ведь моложе меня была, когда замуж выходила!

Очень любил я наши вечера за чайным столом. Если разговор переходил в спор с Анной — Анна Ромуальдовна была чаще на моей стороне. Немногословна, впрочем; покачает, улыбнувшись, темноволосой головой и скажет два—три слова, очень просто и тонко, покраснев, как девочка.

Раз, — это было уже зимою, а свадьба наша предполагалась в феврале, — мы с Анной жестоко поспорили; тут я переспросил — она замолчала. Но я чувствовал себя в ударе (полоса буйства нашла) и продолжал говорить. С предмета спора, — о какой-то книжке, — перескочил к рассуждениям вообще, чуть ли не о философии искусства заговорил, чуть ли не о стихах, наконец... Анна слушала, сдвинув брови... Но в пылу вдохновенья я взглянул на Анну Ромуальдовну — и невольно остановился: так прекрасно было ее лицо. Все оно — внимание; во взоре, робко вопрошающем, в полуоткрытых губах что-то детское или девическое. Кого она мне напомнила? На кого она похожа? Лишь через минуту встала передо мною любимая картина Мурильо: нежный овал розовато-смуглого лица, черные завитки около ушей, и внимательный, полуудивленный взор широко открытых девических глаз. Как он пронзал меня всегда, — этот взор!

Возвращался домой, ночью, задумчиво. Около Летнего Сада долго стоял, глядел на деревья в голубых, от луны, шубах, и на голубые, снежные пространства Марсова поля. Тонко визжали где-то полозья, хрустели редкие шаги. Томленье странное мной владело. Я думал об Анне... Ромуальдовне? Нет, об Анне. Да, и об Анне Ромуальдовне тоже. О них обеих?

В следующие дни томленье не прошло. Все глубело, тяжелея, и стало порою выливаться в раздраженье. Я соскучился, и так как люблю быть пред собою откровенен, то и спросил себя честно: а может быть, я уж не в Анну влюблен, а в ее мать?

Но так остро и горячо Анну почувствовал, что было яснее ясного: в Анну я влюблен.

Однако...

Я сидел у себя в кабинете, поздно, и курил, когда в первый раз пришло мне на ум, что я влюблен *в двух.*

Расхохотался. В двух! Это еще что за блажь! «Марья Антоновна! Анна Андреевна!» С которой же удаляться под сень струй? Все-таки с Марьей Антоновной, так как «Анна Андреевна», иначе Анна Ромуальдовна, «в некотором роде замужем»...

Но я чувствовал, что люблю их одинаково сильно, и лишь тогда любил сильнее одну, когда мысленно от нее отказывался ради другой. Сильнее ту, от которой отказывался.

Я смеялся, я издевался над собою, но, честное слово, тут не все смешно. Совсем не смешна была моя боль и ожог этой двойной любви. Самый настоящий ожог, с которым я не знал, что делать и которого не понимал.

Только тогда был счастлив... нет, не счастлив, а чуть-чуть отдыхал от моего страданья, когда обе оне сидели со мною вечером, обе Анны. Но и тут минутами задумывался, терялся, не слышал вопросов.

Анна, в передней, как прежде, обняла меня. Я жадно отвечал на ее поцелуи. Это была минута забвенья. Но чуть вышел — мурильевские глаза взглянули на меня, и так я и заснул с чувством боли, измены «ей»... и себе.

Конечно, все-таки думал, что это пустая блажь, воображение, наваждение, что обойдется. Но не проходило, раздражался я все сильнее, и уж не спор начинал с Анной, а прямо ссору.

И, наконец, случилось: однажды Анна, не отвечая мне, встала, бледная, и быстро вышла из комнаты.

Я бессмысленно поглядел ей вслед. Бессмысленно перебирал на столе какие-то альбомы, когда появилась в дверях Анна Ромуальдовна.

— Зачем вы с Аней... так не мирно живете? — сказала она тихонько и немного запинаясь. — Если, может быть, вы не... то есть, если вам она...

Я пробормотал «нет, нет»... Оба мы смотрели друг на друга растерянно. Отлично помню, что у нее был растерянный взгляд.

— Если Анна не хочет, чтобы я приходил, я не буду, — сказал я внезапно (и неожиданно для себя). — Когда захочет — может меня позвать.

Не прощаясь, мало понимая, что делаю и зачем, я повернулся, не торопясь надел в передней пальто и пошел домой.

Затем началось мое безвыходное сиденье дома, в отупении. Чего я ждал? Что намеревался сделать? Чего хотел?

Ничего. Ничего. Может быть, если порыться в памяти и довести до слов мое тогдашнее бессловное хотенье — это выразится так: чтобы пришла Анна, я бы ей все рассказал, она бы все поняла и решила бы за меня, как дальше, а я бы только ей покорился. Но уж слишком хорошо я знал, что это невозможно, а нелепые, совсем невозможные хотенья мы инстинктивно и до мысли не доводим.

Мысль обыкновенная, самая естественная, — уйти от обеих, — была, конечно. Но как-то не во мне, а около меня. Я видел ее собаку, словно чью-то чужую. Выход, очень годный для человека в моем безвыходном положении, но — не для меня.

Зимние сумерки. Я даже не помню, которые это были сумерки, которого дня.

Лампу зажег, было, но потушил. К чему? Все равно лежу на широком диване, среди надоевших подушек, в тупости, без дела, даже курить не хочется.

Какая противная тишина. И в квартире (я живу один) — да и за ярко-лиловыми четырехугольниками окон та же как будто тишина. Окна мои — высоко; в них ничего нет, кроме этой ровной-ровной лиловатости. А слышно... что может быть слышно снизу, с улицы зимней, хотя место и бойкое, угол Моховой? Ничего не может быть слышно. Ну да, это просто зимняя, снежная, сумеречная, фиолетовая тишина.

И все-таки противная. Душная. О, как хочется звука! Хочу, хочу, хочу звука...

Звук явился. Короткий треск электрического звонка.

Я вскочил с дивана неестественно быстро. Догадок — никаких; но уверенность: это — важное.

— Вот хорошо... застала вас. Мне надо два слова сказать... Я на минутку. Можно и здесь...

— Что вы, что вы! Войдите. Пройдемте.

Взял ее за руки и повел, через еще светлую столовую, в кабинет.

Покорно шла, взглядывая на меня испуганными глазами из-под меховой шапочки, покорно опустилась на диван, куда я ее усадил. Подумал зажечь лампу, но жалко стало милого лица: оно все было в свете лиловых окон, в таком живом и тихом свете. Да и она, словно угадав, сказала робко:

— Вот и хорошо. Еще все видно. А я сейчас уйду. Я на два слова.

Остановилась. Я молчал.

— Два слова только. Чтобы узнать. Вы сказали — позовет. Но ведь как же — позовет? Я ей и не говорила. Подумайте, если она любит. И ведь из-за пустяков каких-то. И если вы ее любите... Или, если не любите...

Я упал на ковер и обнял ее колени.

— Люблю, люблю... вас люблю... — шептал я в безумии, целуя ее платье. — Тебя люблю...

Она тихо вскрикнула, сделала слабое движение... Но я уже сомкнул руки, уже целовал бледное, нежное лицо, пахнущее

свежим холодом, целовал испуганные глаза, — и видел, как медленно угасал в них испуг, как тяжелели ресницы...

В романах все происходит быстро, гладко, просто. В жизни — бесконечно сложнее, неуклюжее, мелочнее, — смешнее. Но у нас произошло, как в романах. С небывающей простотой и непреодолимостью. Оттого, должно быть, что она почувствовала эту непреодолимость и не сопротивлялась.

Лицо ее, все в слезах, на моем плече. Тихий шепот, бессвязный, недоуменный и покорный:

— Любите?.. люблю... ах, что это... что это?

Плачет, спрятала лицо в подушки.

Уже совсем темно. Я зажег лампу, низко спустив абажур. Вернулся к ней, обнял вздрагивающие плечи.

— Анна, любовь моя... Не плачь. Слышишь? Не плачь, милая.

Она послушно обернулась ко мне, прошептала:

— Что же теперь делать? Что делать?

Я уже знал, что теперь делать. Лаская, утешая ее, как ребенка, я думал не о ней, — о всех нас думал, и знал, *что* будет, — неизбежно; так же неизбежно, как было неизбежно и то, что было.

Я ее любил, мою маленькую Анну. И теперь любил всей полнотой любви — к ней. Теперь я уже не предчувствовал, а знал, что она мне необходима. Ее невинно-покорное тело, ее отдающиеся, недоуменные, полные тихого света глаза. Но... я любил и другую. Я никогда с такой болью и остротой не любил ее. Никогда так не стремился к ней — положить голову ей на плечо, плакать, как маленькая Анна плакала передо мною, и чувствовать утешающую руку на моих волосах. И она, другая, — да, она тоже была мне необходима.

Но рядом с Необходимостью стояла Невозможность. Я — один, и любовь моя — одна, и обе Анны во мне — одна... Но только во мне: только во мне!

— Анна, — сказал я, — ты понимаешь, ты понимаешь... (она кивала головой, но я знал, что она ничего не могла понять, как и другая не могла бы. Сам-то я, — что понимал?). Ты поймешь, теперь нужно время. Мы должны пока... расстаться, не видеться. Я напишу Анне, — не бойся, она увидит, что я ее не стою. Она забудет, она так молода. Я уеду, буду тебе писать. И когда забудется, когда пройдет время... Ты понимаешь?

Она понимала, она соглашалась, но опять заплакала, сама того, кажется, не замечая: слезы так и сыпались из широко открытых милых глаз.

Не помню, что еще говорил ей, как утешал, какие слова нежности нашла моя любовь. Я ведь не лгал. Я лгал только о внешнем, прикрывая этой ложью то, чего она все равно не могла бы понять. Ложь, в любви, послана как милосердие, как одежда для прикрытия слишком жестокой и непостижимой правды Любви. Ее наготу — выдерживает ли человеческий взор?

Ведь я и сам не выдерживаю.

Часы, которые я потом провел один, у себя в кабинете, — помню их, как вчера. Последняя острота счастья, — ведь я любил ту, которая сейчас была здесь, — и последняя острота боли, тоски о другой, тоже необходимой, тоже любимой. А над счастьем и над болью — покров Невозможности, которую я, наконец, принял, склонил перед ней голову: да, уйти от обеих.

И тут же, тут же (о, как странен человек!) еще кривлялся рядом грубый, плоский бес тупого над собой издевательства: опять скакал, словно на ярмарке, хохотал, опять «Марья Антоновна», «Анна Андреевна»... «так вы в нее?». Опять хмыкал: «Это что же все означает? Одной, видите ли, мало... Двух сразу подавай! А теперь задумали, точь-в-точь как Иван Александрович Хлестаков, от обеих удрать "в губернию?". Положим, не так: с одной-то немножко задержались...»

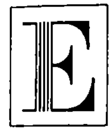
Фу, даже теперь тяжело и страшно вспоминать. Тяжело и страшно – но не стыдно. Потому что и тогда чувствовалось: хоть и совсем не знать, что это такое, эта моя двойная любовь, хоть и потом не найти нужных слов, как я не нашел, – но стыдного тут нет; разве только если взглянуть как бес, с одной его, бесовской, стороны.

Я написал Анне, прикрыв любовь все той же милосердной, нежной, одеждой лжи, посланной нам как благословенье и отдых. А потом уехал, надолго.

Ни одну из них я больше никогда не встречал.

ОЧЕРКИ И СТАТЬИ

ПРОПИСИ

сть странные вещи: их как будто все знают, до такой степени, что даже и говорить о них стыдно. И в то же время как будто никто не знает, и говорить, хоть стыдно, а нужно.

Беседую с X, Y, Z.

Разные индивидуальности, конечно; но меня интересует в данный момент их общее.

Все это люди, «причастные» к литературе, и мы, естественно, кружимся около одной темы. Ничего, круги довольно широкие.

X говорит:

— Не понимаю, как можно писать прозу, «статью», — для себя, не по нужде и не к сроку. Стихи — другое дело. И стихи, конечно, всегда «не то», но статьи пишешь с заведомым «полуотвращеньем», и уж без всякой компенсации, которую получаешь от стихов.

В этих словах очень много содержания. Прежде всего, они опять напомнили мне: есть в стихах, в стихосложении, для молодых наших современников, — какая-то отрава. Поэзия представляется «высшей сферой», а поэт — «первым чином». Отсюда усиленный карьеризм (не в плоском смысле), и недостигающий цели, так как забыта азбука: человек — сначала,

поэт — после. Не каждый человек — поэт, но каждый поэт непременно человек. *Поэты выбираются из людей.*

Х, однако, свое:

— Дурной человек не может написать хорошее стихотворение. Правда?

Правда-то правда, только не в том смысле, в каком разумеет Х, ибо для него: всякий, написавший настоящее «поэтическое» стихотворение, *тем самым* уже есть настоящий человек. (Пример неверного отношения к верному положению.)

Словом, поэзия становится высшим критерием. Бог, не имеющий права быть Богом, — идол. Идол поэзии так же противен, как всякий другой.

И «полуотвращенье» к прозе, к «статье» — знак интересный. Можно, конечно, писать статью и не с «полу», а с совершенным отвращеньем; но другая пишется с не меньшим «захватом», чем стихи. Разница, впрочем, есть. К прозе человек обращен одной стороной своей души, к стихам — другой. К прозе — умственной (мужественной); к стихам — чувственной (женственной). Но душа-то одна, и не любить чувственно свою мысль («полуотвращение») можно или мало ее ощущая, или ее не имея. Неприязнь к «прозе» очень часто объясняется *отсутствием общих идей.*

Это немалая беда нашей современности и современных «служителей искусства». Среди них существует даже тенденция (до сих пор!) возвести названное отсутствие в принцип...

Не говорю, впрочем, об Х и остальных. У них отсутствия общих идей, пожалуй, и нет. Но другая беда, если они присутствуют... в полном беспорядке.

Порядок, или, иначе говоря, твердая внутренняя иерархия ценностей так важна, что уж лучше иметь ее ложную, чем не иметь никакой. Выбирайте любого идола, если иначе не можете, но — *выбирайте.* Идол поэзии? Пожалуйста. Только устройте ему крепкий пьедестал. По идолу, конечно, вас и будем судить, но суд — другой вопрос. Суд — потом.

Сделать «принцип» из беспорядка — довольно трудно. За то он «нравится». Нежная привязанность какая-то; пассивная, — но верная, — влюбленность в собственную неверность. Этим душевный беспорядок, — состояние в сущности ненормальное, — только и держится. Едва «разонравилось», начинаются поиски порядка, и вдолге ли, вкоротке ли, худой ли, хороший ли — он всегда бывает найден.

Откуда все это, однако? Откуда у одних — уверенность, что искусство требует отсутствия общих идей, у других — преклонение перед «чином» поэта, безвольная любовь к душевному беспорядку или, по крайней мере, довольное с ним сожитие? Откуда, наконец, у всех — такое отталкиванье, до презрительного трепета, от самого слова «идеология»?

Не особенно трудно добраться до истоков. Не особенно трудно и точное название найти: это — атавизм. Попробуйте вникнуть в страх перед словом «идеология»: атавистическая природа его тотчас обнаружится. Вы увидите, что «идеология» как-то пристегивается к «тенденции»; тенденция — рассудочность, умышленность, поучение; а поучение и т. д. — посягательство на свободу «свободного искусства», которое... ну и пошла писать старая губерния.

Да еще какая старая! Именно атавистические навыки эти и «реакцинизируют» искусство сегодняшнего дня. Было некогда: молодые писатели и поэты взбунтовались против захвата искусства старыми «идейниками», в руках которых оно стало увядать. Вспыхнула борьба — в своем роде — «отделение церкви от государства».

Никакой бунт, даже идейный (а это был идейный бунт) не обходится без перегибов. В процессе освобождения искусство, подчеркивая свою свободность, объявило себя самодовлейным, оторванным даже не от тех или других форм жизни, не от тех или других идей, а от всяких. Лозунг «искусство для искусства», искусство как самоцель, родился в борьбе, естественно; и был, вероятно, нужен. Самый перегиб в безыдейность до бессмыслия, до отрицания содержания во имя формы, — и тот

был нужен: он послужил к расцвету формы — тела искусства; научил владеть орудием — словом.

Все это было. И прошло. Борьба успешно закончилась. Процесс дифференциации — всегда промежуточный, — завершен. Но почему в психологии сегодняшних молодых писателей он все еще как будто продолжается? Бунта, конечно, нет (да и против кого теперь идейно, за свободу поэзии, бунтовать?) но все перегибы, свойственные моменту бунта, и только ему, — остались почти в неприкосновенности. Не они ли дают себя знать и в отталкивании от «мысли», и в пристрастии к «свободе» беспорядка, и в трепете перед идеологией, и в общем утверждении изолированности искусства?

Только атавизмом можно объяснить это стремление молодых писателей спрятаться от идеологии — в засохшие кусты. Впрочем — идеология не простая вещь, она страшит даже тех, у кого никаких кустов нет, некуда и для виду спрятаться. Страшит все слабые сердца: с идеологией хлопотно и неудобно. Она — порядок, а порядок мало устроить, — за ним надо следить. Перестраивать и дополнять (это приходится делать, если человек растет) — тоже не легкая работа. Среди беспорядка никакие перемещения, случайные, незаметны: беспорядок однообразен. Но если не куча камней, а целое здание, то вынуть из него камень и заменить другим, или прибавить новый, — дело серьезное и ответственное. Да, вот центр всех страхов: *ответственность*. За идеологию надо отвечать, а всякому втайне хочется ни за что, ни перед кем (даже перед собой!) не отвечать. Какое, в сущности, ребячество! Добром или неволей, но все равно за что-нибудь да отвечаешь, и за беспорядок не менее, чем за порядок.

Изменение времен, — атмосферы, духа времени, — очень загадочная вещь. Какие события и каким образом влияют на известный момент времени, делают его тем или другим? Люди ли творят время, или время — людей? Бесконечный спор. Но

вот бесспорное: для каждого времени есть его, именно ему соответствующие, и люди, и дела, и мысли. Не непременно новые дела и мысли. Те же дела могли делаться раньше — и не удавались. Те же мысли могли быть высказаны раньше — и не понимались. Но вдруг наступает момент, и эти же самые мысли делаются — не то что понятными, но как бы для всех своими, общеизвестными и несомненными до такой степени, что даже начинают казаться прописями.

Не прописные ли истины все, что я говорю об отсутствии и присутствии общих идей, о порядке и беспорядке, об идеологии и о новых, более человечески широких путях, которые современность требует от искусства? Все Иксы, все Игреки, великолепно, не хуже меня, это *знают*. Одно только надо помнить: у многих знание это — пока лишь *накожное;* психофизиологически они еще атависты. Потому и чувствуют себя недурно в беспорядке и в «авсяческом» искусстве, а иногда и против своего же знания восстают, старые позиции защищают, повторяя старые им оправданья.

Это не важно. Все-таки все *знают* сегодня, что «искусство не отрицает разума», что «поэты выбираются из людей», что «идеологическое опустошение ведет к опустошенному искусству» и т. д., и т. д. Пусть X еще относится к своей мысли с «полуотвращеньем», увлекается чувственной данностью стихов, мирно сожительствует со своей внутренней беспорядочностью, вяло защищает самодовлейную изоляцию искусства и брезгливо трепещет перед словом «идеология». Ничего. Если в нем, — или в Y, Z, — есть поэт *современный,* — его накожное знание должно сделаться подкожным, т. е. войти в его психику и физиологию. И «чувство со знанием» не замедлит подсказать ему, что даже для стихов, сегоднезавтрашних, уже мало данного, что они стремятся включить в себя должное, что искусство не терпит статики...

Прекрасный, но не менее Св. Елены уединенный, остров, куда поместили искусство, — давно уже ему тесен. Насильственно оторванное от полноты жизни, от истории, от дей-

ствительности, принуждаемое служить только самому себе, как бы стать змеей, кусающей свой хвост, — оно не может не захиреть и не завянуть, в конце концов. Его новое положение не менее опасно, чем было в свое время старое, когда художники и писатели подняли освободительный бунт. И — кто знает — не близится ли час второго бунта, современного, опять за *свободу* искусства? Ибо у свободного искусства есть свое место среди других общих ценностей и есть свое *дело*. Это дело, — по давним словам Вл. Соловьева, — не только отображать действительность, но ее *улучшать*. Не в том глупом смысле (неужели оговариваться?), что художник должен ее идеализировать, показывать в обманно-улучшенном виде. Прямое дело, — или, по принятому, не точному выражению, — задача искусства — действительно улучшать действительность, подталкивать ее вперед, *содействовать изменению реальности*.

Задача эта — вечная. Но более или менее сознательно она впервые ставится нашей современностью. Поэтому и можно ее назвать задачей *современного* искусства.

СУДЬБА ЕСЕНИНЫХ

А. А. Блок имел тяготение к поэтам «из народа». Зачастую приходил ко мне со стихотворениями «из глубины России». Кажется, первый из таких поэтов, и заводчик остальных, был Клюев.

С Клюевым Блок долго возился, долго переписывался перед его появлением на петербургском горизонте. Потом, когда Клюев, во второй или третий свой приезд, преобразился и чуть ли не в смокинге стал посещать «Бродячую Собаку», — Блок значительно к нему охладел. Но во время войны Клюев появился опять в армяке, в валенках, и в сопутствии «ученика» (или «архангела», как его называли), так же одетого, с высоким крючком посоха в руке.

Клюев, в этом образе, с кафедры Религ.-Философского О-ва, призывал тогда всех «в истинную русскую церковь — зеленую, лесную», и закончил речь длинной поэмой, не из удачных.

Впрочем, о Клюеве, человеке довольно сложного типа, я упоминаю лишь кстати: это он выискал Есенина и, выражаясь по-современному, «поставил его в контакт» с Блоком.

Не помню подробностей и не настаиваю на них. Но я хорошо помню темноватый день, воскресенье, когда в нашей длинной столовой появился молодой рязанский парень, новый поэт «из народа», — Сергей Есенин.

В годы 15—16 мои «воскресенья» бывали очень многолюдны. Собирались не «знаменитости»; фактически преобладала самая зеленая молодежь, от 14 лет и выше... (попадались люди и много выше). От количества стихов иной раз душновато: все — «творцы», все рвутся читать свои произведения... Приходилось сдерживать поток.

Не знаю, кто привел Есенина, может быть, его просто прислал Блок (он часто это делал). Во всяком случае, это было очень скоро после первого въезда Есенина в роковой для него Петербург: через день—два, не больше. Рассказывал, не то с наивностью, не то с хитринкой деревенского мальчишки, как он прямо с Николаевского вокзала отправился к Блоку, а Блок-то, оказывается, еще спит... «со вчерашнего будто»; он, Есенин, будто «эдакого за Блоком не думал»...

У нас, впрочем, сразу создалось впечатление, что этот парень, хоть в Петербурге еще ничего не видал, но у себя, в деревне, уже видал всякие виды.

Ему лет 18. Крепкий, среднего роста. Сидит за стаканом чая немножко, по-мужицки, ссутулясь; лицо обыкновенное, скорее приятное; низколобый, нос «пипочкой», а монгольские глаза чуть косят. Волосы, светлые, подстрижены по-деревенски, да и одет он еще в свой «дорожный» костюм: синяя косоворотка, не пиджак — а «спинжак», высокие сапоги.

Народу было мало, когда он заявился. Вновь приходившим мы его тотчас рекомендовали; особенного стеснения в нем не

замечалось. Держал себя со скромностью, стихи читал, когда его просили, — охотно, но не много, не навязчиво: три—четыре стихотворения. Они были недурны, хотя еще с сильным клюевским налетом, и мы их в меру похвалили. Ему как будто эта мера показалась недостаточной. Затаенная мысль о своей «необыкновенности» уже имелась, вероятно: эти, мол, пока не знают, ну да мы им покажем...

Понемногу Есенин оживляется. За столом теперь так тесно, что места не хватает. Писатель, тоже «из народа», совсем не юный (но, увы, не «знаменитый»), присоединился к Есенину, вовлек его в разговор о деревне, — чуть ли не оказались они земляками. В молодом Есенине много еще было мужицко-детского и не развернувшейся удали — тоже ребяческой. Кончилось тем, что «стихотворство» было забыто, и молодой рязанец, — уже не в столовой, а в дальней комнате, куда мы всем обществом перекочевали, — во весь голос принялся нам распевать «ихние» деревенские частушки.

И надо сказать — это было хорошо. Удивительно шли — и распевность, и подчас нелепые, а то и нелепо-охальные слова — к этому парню в «спинжаке», что стоял перед нами, в углу, под целой стеной книг в темных переплетах. Книги-то, положим, оставались ему и частушкам — чужими; но частушки, со своей какой-то и безмерной, и короткой, грубой, удалью, и орущий их парень в кубовой рубахе, решительно сливались в одно.

Странная гармония. Когда я говорю «удаль» — я не хочу сказать «сила». Русская удаль есть часто и великое русское *бессилие.*

А затем Есенин пропал... если не с горизонта нашего, то из нашего дома.

Его закружила, завертела, захватила группа тогдашних «пейзанистов» (как мы с Блоком их называли). Во главе стоял Сергей Городецкий. Он, кажется, увидел в Есенине того уда-

лого, «стихийного» парня, которого напрасно вымучивал из себя во дни юности. С летами он поутих, а к войне вся «стихийность» Городецкого вылилась в «патриотический пейзанизм».

Есенин стал, со своей компанией, являться всюду (не исключая и Рел.-Фил. Общества), в совершенно особом виде: в голубой шелковой рубашке с золотым пояском, с расчесанными, ровно подвитыми, кудрями. Война, — Россия, — народ, — война! Удаль во всю, изобилие и кутежей, — и стихов, всюду теперь печатаемых, стихов неровных, то недурных — то скверных, и естественный, понятный, рост самоупоенья, — я, мол, знаменит, я скоро буду первым русским поэтом, — так «говорят»...

Неприглядное положение Есенина — в этот и последующий период времени — имело, конечно, свою опасность, но, в сущности, было очень обыкновенно. И у другого, в девятнадцать лет, закружилась бы голова. У русского же человека она особенно легко кружится...

Но тут подоспели не совсем обыкновенные события.

Что было с Есениным за все эти дальнейшие, не короткие, годы? Не трудно проследить: на фоне багровой русской тучи он носился перед нами, — или его носило, — как маленький черный мячик. Туда — сюда, вверх — вниз... В. В. Розанов сказал про себя: «Я не иду... меня *несет*». Но куда розановское «несение» перед есенинским! Розанов еще мог сказать: «Мне все позволено, потому что я — я». Для мячика нет и вопроса, позволено или не позволено ему лететь туда, куда его швыряет.

И стихи Есенина — как его жизнь: крутятся, катятся, через себя перескакивают. Две—три простые, живые строки — а рядом последние мерзости, выжигающее душу сквернословие и богохульство, бабье, кликушечье, бесполезное.

В красном тумане особого, русского, пьянства он пишет, он орет, он женится на «знаменитой» иностранке, старой Дункан, буйствует в Париже, буйствует в Америке. Везде тот же туман

и такое же буйство, с обязательным боем, — кто под руку попадет. В Москве — не лучше: бой на улицах, бой дома. Знаменитая иностранка, несмотря на свое увлечение «коммунизмом», покинула, наконец, гостеприимную страну. Интервьюерам, в первом европейском городе, она объявила, что «муж» уехал на Кавказ, «в бандиты»...

Но Есенин не поступил «в бандиты». Он опять женился... на внучке Толстого. Об этом его прыжке мы мало знаем. Кажется, он уже начал спотыкаться. Пошли слухи, что Есенин «меняется», что в его стихах — «новые ноты». Кто видел его — находил растерянным, увядшим, главное — растерянным. В стихах с родины, где от его дома не осталось следа, где и родных частушек даже не осталось, замененных творениями Демьяна Бедного, — он вдруг говорит об ощущении своей «ненужности». Вероятно, это было ощущение более страшное: своего... уже «несуществования».

И вот — последний Петербург — нет, «Ленинград»: комната в беспорядке, перерезанные вены, кровью написанное, — совсем не гениальное, — стихотворение, и сам Есенин на шнурке от портьеры.

Для комментаторов — широкое поле: можно, например, все свалить на большевиков: это они виноваты, не вынесла талантливая душа... и т. д. Можно покачать головой: вот до чего доводят богохульства. Можно и совсем не комментировать: просто отдаться, как М. Осоргин, лирической скорби, отговорила, мол, роща золотая, умолк самый значительный современный поэт, такой значительный, что лишь «безнадежно равнодушные и невосприимчивые люди» могут этого не понимать и от этой поэзии в волнение не приходить.

Между тем, суть лежит глубже. И значительна вовсе не поэзия Есенина, даже не сам он, но его *история*.

Что большевики тут совсем ни при чем — конечно, неправда. Они, вместе с общими условиями и атмосферой, сыграли очень серьезную роль в судьбе Есенина. Мы не знаем, сложилась ли бы судьба этого типичного русского, одаренного, не-

тронутого культурой человека — без большевиков так же, как сложилась при них. И, однако, большевики не суть, не главное. Не они создали «историю» Есенина. Как потенция — она была заложена в нем самом. Большевики лишь всемирно содействовали осуществлению именно *этой* потенции. Помогали и помогли ей реализоваться. И возможность стала действительностью, — действительной историей Есенина. Что ж? Хотя это звучит парадоксом, — разве многие тысячи Есениных, в свою очередь, не помогали и не помогли самим большевикам превратить их возможности — в действительность?

Дело в том, что есть в русской душе черта, важная и страшная, для которой трудно подобрать имя: это — склонность к особого рода субъективизму, к безмерному в нем самораспусканью. Когда она не встречает преград, она приводит, постепенно, к самораспыленью, к саморасползанью, к последней потере себя. Русская «удаль», — удаль безволия, — этому процессу не мешает, а часто помогает.

Нетронутая культурой душа, как есенинская, — это молодая степная кобылица. На кобылицу, если хотят ее сохранить, в должное время надевают узду. Но тут-то как раз никаких узд для Есенина и не оказалось. Понять нужду в них, самому искать, найти, в такое время, — как он мог? А перед инстинктом — лежало открытое поле. Не диво, что кобылица помчалась вперед, разнесла, растоптала, погубила все, что могла, — вплоть до самой себя.

На Есенине это ярко и просто: пил, дрался, — заскучал, повесился. Примитивный рисунок всегда нагляднее. Но если то же самое происходит с человеком более сложной культуры, — тот же процесс «размягчения костей», — видимые его проявления могут быть не так резки. Для человека очень значительного он обертывается трагедией, — внутренней, конечно, — ибо все-таки в душе такого человека встают противодействующие силы. Разве не трагичен Блок с его слепым исканием упора, но вечными падениями в безответственность? Гениальный Розанов так долго был на скользком спуске, что уже не заме-

чал «современничающих» ему людей, уже объявлял, что ему «все можно»... Однако ни он, ни Блок до конца не спустились и без борьбы по спуску не влеклись, как влекутся многие и многие русские люди: незаметно, без внешней трагедии Есенина, почти с видом благополучия.

Наше время – особенно соблазнительно. И с удвоенной силой приходится нам, – где бы мы ни были, в России или в Европе, – обороняться от внутреннего врага: от самораспусканья, инстинктивной склонности к субъективизму и безответственности. «Все – можно!», даже сгибаться в любую сторону под прямым углом... Да, только для этого надо раньше потерять спинной хребет. «*Мне* – все можно, и ничего!». Да, ничего, только «Ничего» с большой буквы, есенинский шнурок; символический или реальный – это уж безразлично.

Говорит ли Пешехонов, «за себя», что эмиграция – пыль, и нужно возвращаться под Р. К. П.; говорит ли Осоргин – сегодня в тон Пешехонову, а завтра, не считаясь с собственной памятью, обратное, – все это симптомы роковой русской болезни. Уже потеряна иерархия ценностей; уже говорится за одного «себя» (хотя вслух), но уже и за себя не отвечается. Недаром Осоргин с таким мгновенно-искренним порывом бросился к Есенину. Не почуял ли в нем какого-то, пусть отдаленного, но своего подобия?

Нет; здесь или там, – и здесь еще больше, нежели там, – обязаны мы помнить, чем грозит безмерность, безволие, безответственность. Каждому из нас пора *собрать* себя, скрепить в тугой узел, действительно быть «самим собой». Ибсеновского Пера Гюнта спасла Сольвейг. Нам приходится собственными силами защищаться от соблазна самопотери и... от тех, кто уже себя потерял.

А Есенину – не нужен ни суд наш, ни превозношение его стихов. Лучше просто, молчаливо, по-человечески пожалеть его. Если же мы сумеем понять смысл его судьбы – он не напрасно умер.

ДВА РАЗГОВОРА С ПОЭТАМИ

1
Задатки

Разговор, конечно, с поэтами *будущими»* с теми, которые мне пишут, – или завтра могут написать, – прилагают несколько стихотворений и просят ответить, вижу ли я в них «задатки».

Иногда вместо двух–трех листов – тетрадь: и стихи, и проза. Но неизменен вопрос – о задатках.

Все современные писатели получают от писателей будущих, вернее – потенциальных, – такие письма. Всех просят определить, «есть ли талант».

Может быть, иные и определяют... Но не верьте, молодые поэты. Не верьте, потому что определить этого нельзя. Единственно, что мы можем, – мы можем сказать о данном, перед глазами лежащем, стихотворении, хорошо ли оно или худо и почему хорошо, если хорошо, чем худо, если худо. Это сделать мы всегда можем, и по совести.

Но не больше.

Все. что сверх, – догадки, предположения, вероятия, и только.

Критики специально любят «догадываться». Но так же ошибаются, как все. Белинский был очень падок на «догадки». При его несомненной проникновенности, он, однако, чаще попадал неверно, нежели верно. Мы только помним верные его догадки, а о неверных забыли.

Вы пишете стихи? И даже недурно? Допустим. А я все-таки не знаю (и никто не знает), будете ли вы поэтом. Нисколько не удивлюсь, если вы окажетесь прекрасным инженером или авиатором. Впрочем, я могу сказать еще вот что: вы – человек, не лишенный глубины.

Совсем плоских людей очень мало; потому так мало людей, которые никогда не писали никаких стихов, никакой прозы, вообще ничего не писали.

Это не графомания: это закон природы. В известный период жизни, когда еще «новы все впечатления бытия», а главное — непривычен и нов «сам я», — этот «я» и его переживания кажутся страшно важными (они и действительно важны для человека) и, под напором изнутри, кажется страшно нужным все это как-то выразить, сказать кому-то (пожалуй, и тут не «кажется», а действительно нужно).

Но кому сказать, и как? «Как сердцу высказать себя? Другому — как понять тебя?».

Непременное ощущение, что «другой — не поймет» (в юности думается, что «не поймет» по его, а не по твоей вине). Ну, значит, надо сказать «всем». Из всех скорее найдется хоть один понимающий; а, наконец, если и не найдется, — гораздо приятнее быть непонятым «всеми», чем двумя—тремя, кому высказываешься непосредственно.

Форма, в которой высказывается самое свое интимное *всем*, — это и есть стихи.

Для мало музыкальных и ритмичных людей — проза, но обязательно, — хотя бы в самой прозрачной, — «художественной» одежде: лирические дневники или рассказы от «я».

Я беру лишь одну из нитей; конечно, в нее вплетается и множество других, — и мечты самолюбивые о славе, и, порой, серьезная, искренняя любовь к поэзии... Бесконечно разнообразие.

Отгадать поэта в пишущем стихи трудно еще потому, что «талант» не есть однородный дар, но некое сочетание и взаимодействие *двух* даров. Дар собственно «слова», уменье находить слова и удачно соединить, как бы велик он ни был, еще не делает из стихотворца поэта. Необходимо соприсутствие и другого дара, который можно бы назвать даром «своего я». Лишь в соответствии с ценностью последнего приобретает значение и первый дар. А пустое, чем удачнее, вернее оно передано, — тем скорее пропадет в пустоту.

Впрочем, оба дара («талант») имеют свойство расти, вырастать порою как будто из ничего, — оттуда, где неприметны вначале никакие «задатки».

* *
*

У меня, хочу признаться, с этими «задатками» и догадками удачи не было. Если не считать О. Мандельштама и Гумилева, то ни из одного стихописателя, в котором чудились мне задатки поэта, – на практике, в жизни, реально, поэта не вышло. Положим, много тут присоединилось приходящих обстоятельств.

А Мандельштам и Гумилев – не могут идти в счет: перед моими глазами лежало несколько стихотворений первого, – и как же было не увидеть, что в них «что-то есть?». Одно-единственное стихотворение второго мне принесла, без подписи, какая-то барышня в Париже. Гумилева тогда не знали; имя лишь напомнило бы мне, может быть, каменную фигуру молодого монархиста в подпирающих щеки воротничках; но, подписанное или неподписанное, нельзя же и тут было не увидеть, что это стихотворение, при его еще несовершенстве, принадлежит – поэту?

А вот три встречи, и даже не совсем мимолетные, с очень юными людьми, в которых, по моим гаданиям, были несомненные «задатки».

Во-первых – семнадцатилетний, худенький Део, «мальчик в пелеринке», как мы его называли. В нем все было необыкновенно и как-то поражало. Не то, что стихи его были гениальны; нет, но на них, и на нем самом, равно, лежала странная печать. Зерно, – только зерно! – высокой талантливости казалось мне в нем несомненным. Одна литературная эрудиция этого шушинского реалиста, полуармянина, чего стоила. Если знать, что Шуша – откуда он впервые попал лишь в Кисловодск, – забытый городок в горах, почти без дороги, живущий лишь перманентными внутренними революциями, – то бедный реалист Део не мог не казаться чудом. Большой нужен дар любви, чтобы добиться такого проникновенья, таких знаний даже всей истории русской литературы! В 17 лет, в Шуше, он сумел стать богаче в этом отношении хотя бы нашего петербургского С. Венгерова.

Щуплый, скромный, но не застенчивый, он производил бы впечатление вундеркинда, если б не прорывалась в нем, все-таки, и нормальная молодость: естественная путаница в «философских» рассуждениях, или заносчивая радость жизни:

И звенит над миром сонным
Юность гордая моя!..

А потом опять собранно, с какой-то осторожной заботой, — еще *естественно* несовершенные стихи:

...Мы не умеем слышать. Мы не умеем видеть.
Мы видим только злые и грубые черты.
В обычности, — ее мы привыкли ненавидеть, —
Есть много хрупких знаков (какой-то) красоты.
Глаза ль ребенка взглянут на нас — нам непонятно;
Трава ль застонет нежно под топчущей ногой, —
Не слышим мы, не видим... И диво ль, что невнятны
Слова земных молитв, и горек хлеб земной?..

Я помню лишь обрывки. От стихов Део ничего не осталось. Из него не вышло поэта. От него и самого ничего не осталось. Он погиб в гражданской войне на Кавказе.

Вот другой, — варшавский беженец, гимназист. С большим внутренним напором, со странными какими-то прозрениями; то чересчур умный, то идиот. Стихи — невероятная нелепица, но под ней что-то бьется громадное, неожиданное и безвыходное.

Его несчастие — польская кровь, со всеми характерными особенностями, при страстной любви к России и ее культуре. Он как-то раздирался между Польшей и Россией. Неистово, по-разному, любил ту и другую и попеременно их ненавидел. Польский язык знал лучше русского; но писал только по-русски.

Хочу помочь, советую: да попробуйте писать прозой; может быть, лучше справитесь... В результате — толстые тетради «Снов». Опять то же самое: жуткие, по реальности и невозможности, виденья... Удивительно и скверно. Сказать, что нет

никаких «задатков»? Не могу, неправда. Но что с ним делать? И к чему они, эти задатки?

Опять ни к чему. Опять... ведь не вышло же ничего? На третий год его забрали в красную армию. Дальше я не знаю.

И, наконец (чтобы не утомлять примерами), — пятнадцатилетняя девочка: задумчивая, робкая, грациозная, с волосами цвета колосьев, Соня Б. Ее отца звали «Ангел» (он в то время уже умер), и к ней очень шло: Софья Ангеловна.

У меня долго лежала тетрадь ее стихов. Эти оставленные «поэтами» тетради — одно мучение. Но к Сониным стихам нет-нет и возвратишься. Иные строки запоминались. Но не в строках была суть, и не в отдельных стихотворениях; может быть, вообще не в самих стихах, еще детских: но в атмосфере, в ткани всей ее поэзии. Жили образы: снежный, голубой Петербург через окно, сама Соня, прислонившая к стеклу горячий лоб... И вздох, тихий и глубокий: «...Ты неотступнее греха, — раскаянья больней, — нежнее легкого стиха, — горишь в душе моей... — Я только малая струя, — одна из многих встреч... — Не может, знаю, боль моя — тебе на сердце лечь...».

Именно «задатки» у Сони, на мой взгляд, несомненно были. Но... где Соня?

Скажут: это все русский перелом. Соню заела жизнь, как заела она Део на Кавказе и варшавского гимназиста, посланного на польский фронт сражаться против братьев по крови за ненавистных ему большевиков. Если бы не эта случайность... Но «случайности на свете не бывает». Ведь и Пушкин, в расцвете лет и таланта погибший от «случайной» пули (что бы он еще дал нам!), умер, по мнению Вл. Соловьева, в свой день и час, и ровно ничего бы уж не мог дать сверх данного. Жизнь — громадная вещь, но ее законов мы не постигаем. Если не решить раз навсегда, что она беззаконна и бессмысленна, то к вопросу о ценности людей, которых она заедает без остатка, постоянно придется возвращаться.

И мне, в частности, позволено думать: да уж были ли, действительно, в этих юношах, — и во многих других, — «задат-

ки», столь казавшиеся несомненными? Можно ли видеть «задатки»? Как они, в чем, угадываются вернее?

Кажется, есть один верный знак. Но не для нас, со стороны, а для вас самих, молодые поэты. Смотрите на вашу *любовь* и на вашу *волю*, только, — а не на наши гаданья. Очень любите? Очень хотите писать? Не жалеете себя? Не боитесь труда? Значит, есть задатки. По неотступности вашей увидите, что — «дано».

А труд — громадный. В юности и представления нельзя иметь, что это за труд. Впрочем, о нем, о самих стихах, о том, *как они пишутся* и что выходит, — это уж мой второй разговор.

2
Как пишутся стихи

О том, «как писать стихи», можно прочесть в любой книге о стихосложении, и прочесть, конечно, с пользой. Но моя тема — не поучительная, а просто рассказ, «как стихи пишутся».

Пишутся они, наверно, у всякого поэта по-своему. Но есть в этом процессе, — тоже наверно, — и что-то общее у всех. Оно трудно определяется, а нащупать кое-что, пожалуй, можно.

В юности пишут стихи с легкостью необыкновенной. Легко писать их и будущему поэту, и будущему инженеру или профессору — со способностями. Стихи очаровывают, в юности, без рассуждений и суждений, прежде всего — как звук, да еще с каким-то неизвестным плюсом. Должно быть, очаровывает музыка в сопряжении с тем интимнейшим «самовысказываньем», к которому неудержимо влечет. Она заражает, — и вдруг видишь, что ведь «это просто», ведь и в тебе звучит та же музыка. А суда и оценки стихов — в молодости — нет. Нравится больше других какой-нибудь современник (он ближе), и ему — не то, что подражают, — но от него отталкиваются. И стихи свои кажутся (хотя бы в подсознательной глубине) не хуже стихов этого избранника.

Однако чем дальше, тем дело все труднее. Труднее высказывать свое «я», усложнившееся, выросшее, а, кроме того, в нем же вырастает способность объективных оценок и сравнений. И человек, с расположением к стихописанию, но с большей любовью к этому делу (с другим центром), быстро оставляет его совсем. От упорствующего, — поэта, — много требуется любви и веры, чтобы не прийти в отчаяние. Ведь и поэты уже *видят*, что они делают, уже *знают*, чего это стоит. А видят — значит, надо сделать лучше. И начинается страда, громадная работа... правило, независимо от величины поэтического дарования (об исключениях я не говорю).

Когда жену Блока спрашивали, которое их стихотворений мужа она любит больше других, она неизменно отвечала: «последнее». Ответ очень глубокий. Так должен был бы, — искренно, — ответить каждый *юный* поэт о себе. Только что написанное стихотворение, прямо из печки, кажется ему исключительно прекрасным и удачным. Оно видится, — как матери только что рожденный ребенок, не просто наивными, а внутренними глазами: даже не глазами видится — осязается внутренностями.

Такое «осязание», косвенное, и выразила жена Блока.

Но сам Блок, тогда, когда мы с ним нередко бродили около этой темы, уже не находился в юном периоде бессмыслия и бессудия. Передаю, приблизительно, о «написании стихов» то, в чем мы, более или менее, были согласны.

Стихи, действительно, приходят как будто сами. Но приходит стихотворение бесформенное, безобразное, почти беззвучное (почти, ибо и с самого начала уже есть в нем что-то вроде далекого звука, один голый ритм). Оно — лишь наполняющая забота. Иногда, впрочем, сразу есть три—четыре слова в сочетании, — *наверная* строка. И начинается наша общая с ним — со стихотворением — работа: оно хочет оформиться, я хочу его оформить.

Однако я всегда (всегда!) исполняю свое дело хуже, совсем худо по сравнению с ним. Оно оформляет себя во мне так чет-

ко и воздушно, и такое в образе его единство внутренно-внешнего очарования, как мы лишь видим иногда во сне.

Этот образ всякий поэт, — даже самый гениальный, — искажает своим делом: вводкой в определенные слова определенного языка, в человеческую музыку и человеческий ритм.

Возьмите прекраснейшее из написанных стихотворений: будьте уверены, ненаписанное — оно было в тысячу раз прекраснее. Пожалуй, есть у среднехороших поэтов среднехорошие стихотворения, где не так велико расстояние между ненаписанным и написанным: но и тут оно неизменно существует.

«Сапог действительности!» — кратко пояснял мне, пожимая плечами, один талантливый поэт, весьма тонкий, но по внешности грубоватый. О Блоке нечего и говорить: он почти целиком принадлежал «несказанному» — и своим ненаписанным стихотворениям.

Еще некто, поэт и прозаик (ведь то же, в большой мере, приложимо и к прозе), развивал, по этому поводу, теорию о «первородном грехе»: стихотворение родится в мире таким же ущербленным, искаженным, как человек. «Юный поэт, — прибавлял он, — этого не знает; он неопытен, как Ева: родив Каина, Ева была уверена, что этот, "приобретенный от Господа человек", и "сотрет главу змия". А Каин оказался первым убийцей—братоубийцей...».

— Нет, послушайте: только что написанное стихотворение, — для нас, — величайшая мука: любовь и ненависть, радость и отвращение, — в одном клубке. Совершенно как боль обманутой любви. И так — пока не забыт настоящий образ... Вдолге, когда он сотрется из памяти, когда осталось жить своей жизнью лишь вот это подобие, — ну, тогда смотришь иначе: судишь именно его, осуждаешь или снисходишь: ничего, мол, вот эта строка недурна...

Тут, конечно, немало преувеличений, но я думаю, не мало и правды.

Нет поэта, настоящего или не настоящего, все равно, который бы не носил в себе странного чувства, когда работает над

стихотворением: ему кажется, напишет он, кончит, – и в мире произойдет некая перемена. А спросите: если он не тринадцатилетний идиот и не пьян – он засмеется: конечно, знает, всем разумом и мыслью, что ровно ничего не произойдет. Знает, но к чувству и ощущению это знание не относится. По всему вероятию, ощущение бессмысленной надежды идет от невоплощенного образа, от того «не написанного», что, если б могло быть написано, – рождено вне первородного греха, – пожалуй, и переменило бы какую-то действительность.

Переменило бы видимо и быстро, ибо невидимо, не быстро, не много – разве не изменяет в чем-то действительность и земная, «грешная», поэзия?

Но довольно о «сутях», «глубинах» и «высотах». Вернемся к повседневности.

Писать стихи – очень полезно. Стихотворство может дать много и писателю – не поэту, и даже просто человеку. Писателя оно вводит, самым прямым, кратким путем, в тайну языка: и всех – в тайну самоограничения.

Как, – самоограничения? Да есть ли что-нибудь «свободнее» поэзии? Кто свободнее поэта, художника?

Не надо забывать простую истину: свободен лишь тот, кто умеет ограничивать свою свободу. Стихи, поэзия – частный пример, особенно наглядный.

Поэт, действительно, свободен... в выборе. Каждый раз, для каждого данного случая (данного стихотворения) поэт сам, свободно, избирает его законы, избирает, что угодно: размер или безразмерность, выбирает звук, тон, ритм (главное – ритм); но непременно что выбирает, на чем-то одном останавливается, и уже выбранному вольно подчиняется, ибо в противном случае его создание рассыплется у него в руках, как песок.

Стихи учат дисциплине. Стихотворение может *быть* – когда оно свободно. Анархия, произвол – исключают самое его бытие.

Выбираемые поэтом для каждого стихотворения законы порою очень сложны. Даже внешние, сразу видимые, уходят

корнями вглубь, — тем глубже, чем прекраснее стихотворение. Ведь каждое можно раскрывать до бесконечности.

Легко определить, по каким правилам стихосложения и с какими от этих правил отступлениями написано тютчевское:

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...

Не очень трудно, пожалуй, заглянуть и дальше, уловить секрет магии некоторых строк. Но вряд ли могут быть в полноте вскрыты законы этого стихотворения и, главное, тайна их чудесного единства.

Каким было оно — *не написанное!* Но зачем жалеть о том, чего нет на свете; будет радоваться тому, что есть, радоваться и этому стихотворению, хотя оно зачато и рождено в первородном грехе.

Мой разговор о «писании стихов» затянулся; мне уже хочется перейти к законам прозы (и ее беззакониям). Но это совсем другая тема.

МЕРТВЫЙ МЛАДЕНЕЦ В РУКАХ

Владимир Соловьев. Духовные основы жизни. Paris, YMCA Press, 1926

В небольшую изящную книжку Изд-ва «Христианской Молодежи» вошел ряд статей Вл. Соловьева, напечатанных в III томе полного собрания его сочинений (посмертного) под общим заглавием «Духовные основы жизни».

К Соловьеву несомненно пробуждается интерес. Давно уже стали появляться, в различных эмиграционных центрах, «сборники» Соловьева. Это, большею частью, несколько статей, выбранных по собственному вкусу и склонности, под одной обложкой изданных и снабженных отдельным предисловием: то о половой любви, то о красоте, то о чем-нибудь еще.

Само по себе переиздание книг философа, такого нужного нам сейчас, такого «современного», — прекрасное дело: в СССР книги его запрещены и частью уничтожены, здесь их почти не существует. Конечно, произвольные «сборники», по личному вкусу составленные, дают мало: весь смысл Соловьева в его *цельности*, и вне цельности к нему, как следует, подойти нельзя. Но, тем не менее, это разрезывание писателя в случайных отдельных изданиях — невинно. Я хочу говорить не о нем: намечается другое, более обдуманное, расчленение Соловьева, выборка не по вкусу, а по плану. Известная группировка лиц, желая в собственной своей идеологии опереться на все растущий авторитет писателя, делает соответственные выборки с соответственным предисловием.

Это уж «борьба за Соловьева». И это, по отношению к нему, уже настоящее «раздранье риз»: его «сверху тканые, цельные» ризы так разделять, не разодрав, нельзя.

Следы подобной борьбы — с Соловьевым за приобретение Соловьева — можно заметить и в сборнике Y. M. C. A., о котором говорю.

Изд-во «Христианской Молодежи», долго занимавшееся выпуском книг мирно стертого содержания с уклоном к протестантизму, в настоящее время определенно примкнуло к русской группе православных церковников и обслуживает, главным образом, ее. Эта группа и сделала попытку, при составлении сборника, представить Соловьева в виде наиболее к себе близком.

Едва уловимо, посредством двух тонких приемов, — *выделения* «Основ жизни» из всего Соловьева и *окружением* их, — православное издательство достигает уже измененного облика Соловьева, уже чуть-чуть обернутого в известную сторону. Попробуем вскрыть эти приемы.

«Духовные основы жизни» — конечно, все тот же, подлинный Соловьев. Статьи чисто религиозные: о «молитве Господней», о Церкви и государстве... Э. Л. Радлов делит литературную деятельность Соловьева на три периода и «Основы жизни» от-

носит к *первому,* «когда Соловьев естественно желал выяснить с большей отчетливостью вопросы религиозные и церковные». Но отметим и не забудем, что в том же самом, – первом, – периоде Соловьевым написан известный его труд «La Russie et l'Église universelle» *, и тогда же произошел разрыв его со славянофилами, т. е., по отметке Радлова, «некоторое сближение с католичеством и отдаление от православия».

Называя вторым периодом – переход Соловьева к вопросам «мирским», к политике, – Радлов тотчас же спешит прибавить: «В сущности, здесь никакого перехода не было; это тоже служение одной идее, но в иной ее форме...»

Да, именно – «перехода не было». Даже тут не было, не говоря уже о каких-нибудь переходах, о какой-нибудь раздельности, различности идей в «Основах жизни» и в «Église universelle». Главная соловьевская идея была, для него, уже почти не «идеей»: он не только «мыслил» о всеединстве: он его носил и ощущал в самом себе.

Но составители сборника Y. M. C. A., оторвав «Основы жизни» от примыкающих к ним работ Соловьева (как бы предлагая их в виде центра всего соловьевского миросозерцания), еще делают маленькое предисловие. Оно сразу начинается рекомендацией Соловьева: «близкого по духу к тем идеям, которыми вдохновляется деятельность Христ. Союза Молодежи». На той же, единственной, страничке предисловия четырежды подчеркивается *православие.* Нет ничего естественнее, после этого, как взять «Основы жизни» под чисто православным углом зрения, и везде, где Соловьев говорит «Церковь» – читать: *православная Церковь.* Между тем всякому, знающему Соловьева, помнящему о периодах его деятельности, о разрыве со славянофилами и «Église universelle», – ясно, что и тут Соловьев под словом Церковь разумел Церковь *вселенскую.*

Однако этой легкой гримировки «еретика» под истинно-православного составителям сборника мало. Они-то знают,

* «Россия и Вселенская церковь» (1889) *(фр.).*

сколько в нем подозрительного «мирского» духа. Недаром он так любил повторять: где Дух — там свобода... Недаром (во второй период) сквозь цензуру — но ярко — писал свои статьи «О подделках», о палачестве и т. д.

И вот, в конце книги, приложено: «Содержание речи, произнесенной на высш. женск. курсах в СПБ. 13 марта 1881 г.».

Решительно никаких видимых оснований и мотивов для такого приложения — нет. «Речь» (или ее конспект) не связана с содержанием книги ни темой, ни даже временем: она возвращает нас на несколько лет назад. Как речь — не выделяется из ряда других лекций Соловьева на тех же курсах и уж, конечно, по характерности и значительности не сравнима с его знаменитой речью, произнесенной в Кредитном О-ве через 15 дней, — 28 марта того же, 1881 года. Чем объяснить неожиданное «приложение»?

Только одним: желанием *«закруглить»* уже намеченный в предисловии национально-православный облик философа, прибавив соответствующий политический штрих. Для этого не годилась ни речь 28-го марта, ни — еще менее! какая-нибудь из блестящих религиозно-политических статей Соловьева. Пришлось поискать среди профессорских лекций, и выбор пал на этот конспект: в нем есть фразы, в которых можно усмотреть что-то вроде... осуждения «революции». И в борьбе за Соловьева, в стремлении притянуть его на свою сторону, запереть в своем лагере, составители книги не остановились даже перед тем бессвязным видом, который она получила, благодаря «приложению».

Я думаю, борьба за Соловьева только начинается. Ее тактика — непременно вот это «раздранье риз», расчлененье, разделение неделимого соловьевского «всеединства». Определенные, национал-православные, консервативные группировки будут делать все возможное, чтобы загримировать Соловьева «под своего». Наши церковники, — если позволено так выразиться, — хотят *украсть Соловьева у мира.* У того «мира» — с его порывом к свободе, с его движением, с падениями и вос-

станиями, – которому Соловьев по праву дан. И – признаемся! – это предприятие *может* иметь успех. Церковники могут украсть Соловьева у мира, могут уже потому, что у мира Соловьев «плохо лежит». Он современен и легко сослужил бы нашей современности большую службу. Но «мир» этого почти не сознает и помощью Соловьева не пользуется. Не то – другая сторона, которая отлично понимает, как важно опереться на Соловьева. Сборник «Хр. Молодежи» не первая, и даже не самая яркая, попытка захватить эту чужую, но дурно хранимую, собственность. Легко было бы указать и на другие...

Есть, однако, обстоятельство, которое борющаяся за овладение Соловьевым сторона не учитывает, или не понимает. Неизбежное деленье, разрезыванье, подрезыванье, расчлененье Соловьева (а иначе как уложить его на прокрустово ложе реакционной православности?) неизбежно понижает и его ценность. На Соловьева с вынутым стержнем не очень-то обопрешься. Уничтожение его центральной идеи, – всеединства, – хотя бы операция производилась медленно, тонко, осторожно, – поведет и к уничтожению его самого. А если так, пожалуй, нынешние борцы за Соловьева окажутся подобными, в конечном счете, всаднику: он и скакал, и доскакал, но –

в руках его мертвый младенец лежал.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Говорят, одержимость – болезнь древности. Я думаю – она вечная, и лишь в иные времена усиливается и распространяется.

Наше время для нее благоприятно. Участились случаи, тяжелые и легкие, и всегда разнообразные, всегда в зависимости от индивидуальности.

Одержимость не нападает сразу; она развивается постепенно; и в течение некоторого периода можно еще слушать человека и принимать его за прежнего, не догадываясь о том, что с ним случилось.

Это период — опасный для недогадливых. Нужно стараться помочь им поскорее раскрыть глаза. И я обращаюсь к тем из слушателей и читателей проф. И. А. Ильина, которые не потеряли способность рассуждать: попробуйте отнестись внимательнее к последним его книгам и к фельетонам на страницах «Возрождения». Вы увидите, может быть, нечто новое.

Вот, хотя бы, недавняя статья «Дух преступления». Относительно содержания ее спорить не будем, — не спорят с авторами таких статей, — мы только со спокойствием рассмотрим, что она из себя представляет.

Вглядитесь: разве ее написал философ Ильин? Разве какой-нибудь философ — да что философ! просто человек с размышлением, — позволил бы себе так обращаться со словами и понятиями?

У Ильина нет определений; он действует странным и упрощенным способом — посредством *знаков равенства.* Берет одно слово, берет другое, какое ему соизволится, ставит между ними знак равенства, и конец: считайте, что это синонимы. Отсюда уж идут выводы, — настолько же лишенные смысла, насколько не осмыслено и произвольно было наложение одного слова на другое.

Чтобы пояснить этот способ — вот примерное упражнение со словом «война»:

Война = Крестовые походы. Крестовые походы = подвиг. Таким образом: *война = подвиг;* это синонимы. Каждый раз, когда произносится слово: «война», понимайте: «подвиг».

Или так (с равным правом): война = германская война. Германская война = коварство. Значит: *война = коварство;* это синонимы. Каждый раз, когда произносится слово: «война», понимайте: «коварство».

Одинаковый произвол — и одинаковое бессмыслие.

Именно этим способом, конечно невозможным для человека, считающегося с условиями разумного мышления, оперирует Ильин: революция = большевизм, большевики = преступники. Таким образом: *революция = преступление;* это синонимы.

Каждый раз, когда пишется: «революция», читайте: «преступление».

Начертав свой первый знак равенства (революция = большевизм), — Ильин делает, ради второго (большевики = преступники), что-то вроде диверсии в сторону большевиков, крайне торопливо и ненужно, ибо новых доказательств их преступности не приводит; да и никаких, пожалуй, не приводит, ограничиваясь, главным образом, бранью, — «обзываньем» их каторжниками, уголовщиной и т. д., что также новости для нас не имеет. Но это понятно. Ильин очень спешит и подчеркивает: «Революция в том, что *революционеры всех ограбили*». Через несколько строк, опять курсивом: *«И все это есть революция»* (читай: преступленье).

Все ясно; дальше оставалось бы доказывать, разве, что преступленье — преступно, а это доказательств не требует. К тому же Ильин опять торопится. Преступленье установлено; надо, значит, найти всех преступников, всех прикосновенных к преступленью, посадить их на скамью подсудимых и озаботиться о достойном наказаньи. Впрочем, что касается наказанья, то оно известно: Ильин уже объявлял о нем. Это — «в строгой последовательности — *пресечение, безжалостность, казнь*». Для раскаявшихся и малосознательных сообщников — будет допущено, вероятно, снисхожденье: эти «рабы биты будут меньше».

Розыск злодеев и преступников не долог, не труден: уголовной бандой грабителей и убийц с их сообщниками оказывается — вся русская интеллигенция. Да и действительно: ведь *«революция — большевизм — преступленье»* не три слова, а одно; значит, бывшие, настоящие и будущие, активные и не активные, революционеры — большевики; они же — преступники, или, в крайнем случае, сообщники. А так как я не знаю, найдется ли хоть один русский интеллигент, который мог бы представить достаточные для Ильина доказательства, что он и помышлением никогда революции (преступленья) не касался, — то ясно: на скамье подсудимых *вся* русская интеллиген-

ция. Так есть, так и быть должно; и бывший философ Ильин так это и объявляет.

Судебный процесс он ведет стремительно, впрочем находит время для попутного глумленья над обвиняемыми. Это вообще характерная черта для теперешнего состояния философа, — осыпать бранью, попросту обозвать своих «преступников» всяческими словами: ах вы такие-сякие, уголовщина, каторжники, воры злодейские! Что, молчите, небось! Страшно?

И едва лишь почудится ему, что кто-то собрался открыть рот, — последний окрик:

— Довольно! Я — знаю, что говорю! А вы — слушать и молчать!

Конечно, молчать; не спорить же с человеком в пене? Говорить надо не с ним, но о нем, о его состоянии, о его писаниях.

Да какие уж это писания? Это буйство, а не писания. Одержимому свойственно буйствовать (даже тихий, и тот без своего, — тихого, — буянства не обходится). Однако буйствовать на улице, или хотя бы в переулке «Возрождения», до сих пор не позволялось. Как раз Струве, — если память мне не изменяет, — всегда, во всех своих положениях, был против буйства. И то, что уличное буйство Ильина им ныне поощряется, — будит во мне горестное подозрение: да уж не коснулась ли и его та же зараза? Сам-то Струве — уж вполне ли Струве?..

Люди, имеющие отношение к религии, должны скорее других догадываться о несчастии, постигшем Ильина. Ведь он, изрыгая свои беспорядочные проклятия и угрозы, еще претендует и на «христианство», еще пытается и на него опереться, мешает с бранными какие-то «христианские» слова. Для человека мало-мальски религиозного это уж совсем должно быть нестерпимо; и должно сразу открыть ему глаза. От лиц, высокоавторитетных в этой области, мне пришлось слышать два кратких определения последней «деятельности» Ильина: *«военно-полевое богословие»* и, — еще выразительнее и прямее, — *«палачество»*.

Да, всем, имеющим и не имеющим отношение к религии, революционерам и антиреволюционерам, левым и правым, — всем, сохранившим человеческое соображение и человеческие чувства, — должны мы неустанно твердить: будьте внимательны — это в ваших же собственных интересах. Попробуйте следить не за тем, *что* говорит Ильин, а *как* он говорит: и вы тотчас увидите, что это не философ пишет книги, не публицист — фельетоны: это буйствует одержимый.

ТОЧКА

Я не совсем понимаю, что разумеет Е. Д. Кускова под индивидуальными «исканиями», которым будто бы вся зарубежная печать должна предоставить полную свободу; но я не сомневаюсь, что «мнению», даже индивидуальному, но вполне объективному, всегда найдется место на страницах «Последних Новостей».

Такое мнение я и хочу высказать, или, пожалуй, общий взгляд на всю историю пешехоновского возвращенства и на то, что Е. Д. Кускова называет «неоконченным спором».

Впрочем, это мнение «индивидуально» лишь в том смысле, что не исходит от определенного коллектива и что я не могу сказать, какой именно процент эмиграции его разделяет. Но я, конечно, думаю, что какой-то процент, и даже не малый, разделяет наверно.

Прежде всего, мы (я и мои единомышленники) не видели тут предмета для споров. Нам казалось, что «спора» и не было, — чему же кончаться или не кончаться?

Было же просто вот что: Пешехонов объявил, что хочет вернуться в большевистскую Россию. Я, мол, никого не уговариваю, но я, лично, постараюсь вернуться. Так я хочу.

Часть эмиграции, которая этого не хочет, отвечала: пожалуйста. Раз это ваше личное дело! Наше дело — оставаться. И мы тоже никого не уговариваем.

— Но я хочу вернуться с «гордо поднятой головой», — сказал Пешехонов, а за ним, увлеченные этой «головой», стали повторять то же какие-то молодые люди. Е. Д. Кускова начала внезапно и страстно обличать всех, не видящих в этом «идеи»; но какой, собственно, идеи — не поясняла.

Тут уж мы удивились. «Идею» мы оставили в стороне, а на второе объявление Пешехонова и его сочувственников мы откликнулись: — Пожалуйста! Это очень хорошо «с гордо поднятой головой». Мы сами так мечтаем в Россию вернуться. Но — мы реалисты. Мы знаем — и замечательно твердо знаем, — что в большевистскую Россию «с гордо поднятой головой» вы не вернетесь. Просто физически не вернетесь. Если вернетесь — только с повинной. Однако мы и этого нашего знания насильно не навязываем. Думаете иначе — пытайтесь.

А какая, собственно, цель вашего обращения к нам? Мы не властны впустить или выпустить вас в Россию ни с той ни с другой головой. На нашу помощь в личных хлопотах вы тоже не можете надеяться. Или вы ждете, чтобы их начать, нашего «благословенья»? Но зачем оно вам, да и как возможно, если мы всем ощущением реальности знаем, что в сегодняшнюю Россию вы «гордо» не поедете, хотя бы мы, сойдя с ума, принялись обеими руками вас благословлять.

В чем же спор? Где спор? Что должно быть «окончено»? Откуда «горесть» молодого пешехонца, о котором пишет Кускова, куда, за какую «черту» могла его «толкнуть» статья П. Н.? Уж не за черту ли «повинной головы»?

Ряд загадок; прямо сонное мечтанье какое-то. И подумать: все из-за того, что один старый эмигрант и несколько молодых возымели желание, — личное, как они говорят, — вернуться к большевикам. И не «каясь», а «по закону». Ну что ж? У нас один взгляд на действительность, у них другой. Здесь, слава Богу, всякий волен иметь взгляды, какие хочет. Обсуждать их? Зачем? Все, что можно было сказать, — давно, тысячу раз сказано, да и ясно оно, как самое прозрачное стекло.

Мы искренно думаем, что в чужие личные дела не следует вмешиваться. И мы, конечно, не позволим себе, — когда все уляжется, когда, одни, с повинной головой, вернутся, а другие, с поникшей, останутся, — напомнить кому-нибудь о знаменитой эпитафии купеческой вдовы на памятнике супругу:

Говорила тебе я
Ты не ешь грибов, Илья...

А сегодняшние «споры» — почему из них ничего не выходит? Почему даже самого спора не выходит между «П. Н.» и Кусковой? Да потому, между прочим, что у этих «противников» разнствуют даже первоположения. И большинство доводов, доказательств, примеров «спорящей» Кусковой — идет впустую. Для некоторых оппонентов П. Н. Милюкова ничего не изменилось, просто «возвратился ветер на круги свои». Был царский режим. Теперь есть большевистский режим. Сходство — несомненное. Значит, тождественно и остальное: эмиграция, прошения, их удовлетворения, возвращение...

Между тем в «П. Н.» русским языком было сказано, что бывшая Россия, царская и нынешняя, большевистская даже отношением к собственным законам разнится, «как небо от земли». А Е. Д. Кускова продолжает защищать возвращенство сопоставлениями Герцена с нынешними политиками-эмигрантами, Пешехонова с Кельсиевым и т. д. Но разве это имеет убедительность для видящего, что никакие режимы и никакие времена не совпадают до полного тождества?

Е. Д. Кускова могла бы еще спорить с г. Сухомлиным, утверждающим тождество режимов. Но, по-видимому, с ним ей спорить не о чем.

И последний вывод наш (мой и того процента эмиграции, которого учесть я не могу) таков: хорошо бы, пора бы, поставить в квазиспорах — точку. А на возвращенстве, как на вопросе, — крест. Ведь «вопроса»-то, пожалуй, и нету. Есть личные дела Пешехонова, есть тревожность Кусковой, а если есть «общество» молодых возвращенцев — то мало ли какие обще-

ства учреждает неопытная «ветреная молодежь»? Их увлекла «гордая голова», может быть, слово «идея» (если не слово, какая же это, все-таки, «идея»?). Они, вот, и о большевиках еще не знают: «Мы не знаем, что найдем на родине». Опыт им необходим. Пусть Е. Д. Кускова не тревожится за членов «общества»: жизнь сумеет каждого свести с облаков на землю. На какую мы не решаем; мы только ручаемся: если на большевистскую, – то не с «гордо поднятой» головой, а с **«повинной».**

Большевицкий «меч сечет» нередко и «повинную голову». Эта его особенность известна Е. Д. Кусковой – но всем ли молодым возвращенцам она известна? Они как будто даже этого не знают. А жизнь учит таких, ничего не знающих, особенно сурово.

СПОР НА КОРАБЛЕ

Журнал «Путь» (Изд. Р.-Ф. Академии, под редакцией Н. А. Бердяева) – явление не случайное и совсем не незначительное. Около него сгруппированы видные силы нашей интеллигенции. Он связан с довольно широкими кругами эмиграции, преимущественно молодежи и, судя по «письму из России» (в лежащем передо мною 2-м номере журнала), сохраняет связь и с интеллигенцией, оставшейся на родине.

«Путь» называет себя «органом религиозно-философской мысли». Движение интеллигенции в сторону религиозно-философских вопросов не ново. Начало его относится к первым годам нынешнего столетия. Будущий историк с интересом проследит когда-нибудь всю линию этого движения. Ставить его в непосредственную связь с Вл. Соловьевым (умершим в последний год 19 века) было бы ошибочно: течение зародилось самостоятельно и лишь впоследствии, расширившись, как бы *встретилось* с Соловьевым. Впрочем, для некоторых, оказавшихся в том же русле позднее, Соловьев сыграл роль моста к берегам положительной религии.

Кое-кто из этих лиц находится сейчас среди ближайших участников «Пути»; это одно указывает на некую преемственность, не говоря о чертах сходства по существу, — о них речь впереди.

Однако существенна и разница: нынешний журнал «Путь» должен бы называться, ради точности, органом не религиозно-философской, а *православно-философской* мысли. Эту новую для русского религиозного течения позицию нельзя упускать из вида при рассмотрении журнала: она изменяет многое. Отметим для начала, что она уже заставила некоторых бывших соловьевцев слегка изменить свое отношение к Соловьеву. Во 2-м номере собраны статьи и заметки, посвященные Соловьеву (по случаю 25-летия со дня его смерти). Авторы неизменно выдвигают на первый план «православие» Соловьева, православие malgré tout *, настаивают на нем, как бы защищают память философа — и его самого — от возможных инотолкований. А речь протоирея С. Булгакова на «поминках» Соловьева (кстати, как раз для Булгакова Соловьев послужил некогда мостом от марксизма к христианству) — отличалась прямо суровостью: хотя, говорил он, и был дан «усопшему рабу Божьему Владимиру дар печалования о расколах церковных», но не всегда сохранял он «трезвенность», смешивая «возбуждение и самочиние с пророчествованием» и т. д. «Дело любви церковной» — молиться за него, освобождая его «душу от тяготеющих на ней ошибок с их последствиями...».

Но и пр. Булгаков кончил, вспомнив, как другие, о православном «приобщении на смертном одре», — ввиду чего «Православие не отрицается своего сына».

Эта суровость как будто и не вяжется на первый взгляд с безграничной «свободой», данной, по словам того же пр. Булгакова, в православии («Очерки учения о Церкви»). Впрочем, о «свободе», — (да и то, как мы увидим ниже, специальной) —

* несмотря ни на что *(фр.)*.

говорится лишь в разумении верных сынов Церкви. На Соловьеве до сих пор лежат особого рода подозрения.

Но самое любопытное, самое характерное для «Пути», — его центральный узел, — это статья Н. А. Бердяева «Спасение и творчество» и отчет Л. Зандера о двух съездах «христианской молодежи», в Хопове и в Аржероне. «Движение» молодежи (его предполагается переименовать в «братство», и уже не «христианское», а «православное») захватывает ныне довольно широкие слои эмиграции. Оно разбито на «кружки» — почти во всех европейских странах — и находится под покровительством видных православных иерархов. Съезд в Хопове (Сербия) возглавлял известный м. Антоний Волынский. В последнем, Аржеронском, съезде принимали участие, кроме «путейцев» с пр. Булгаковым во главе, парижские иерархи митр. Евлогий и еп. Вениамин. Этот съезд и ознаменовался, в присутствии многочисленной «молодой» толпы слушателей, — дебатами по поводу бердяевского доклада.

Доклад был на ту же тему — «спасения и творчества», а дебаты — очень серьезны. Вопрос, затронутый Бердяевым (может быть, центральный для большинства «путейцев»), вызвал горячую отповедь еп. Вениамина. Какой же это вопрос?

Да тот самый, с которым впервые подходила интеллигенция к религии, к христианству, и когда она впервые стала лицом к лицу с представителями православия: вопрос о включении в зону христианства полноты жизни, иначе говоря — «мира». Каково отношение христианской церкви к «миру»? К творчеству? Культуре? К общественности? К государству? Из общих вопросов естественно вытекали частные: о церкви православной, о взаимоотношении православия и самодержавия и т. д.

Если дебаты принимали иногда вид борьбы — это была борьба за «мир», за его ценности. Интеллигенция хотела знать, может ли церковь приобщить их к своим исконным, высоким ценностям личного спасения, жертвенности и подвига?

Прошли годы... и какие! Православная церковь, среди неслыханных гонений, предательства и крови, осталась верной себе, явила пример величайшей силы духа на своем пути, ведущем через смирение, жертву и личное подвижничество к личному спасению. Но коренной вопрос тех времен – остается; и, как мы видим, в иной обстановке, с иных позиций – продолжает волновать религиозно-философскую мысль.

Однако изменение позиций – очень существенно меняет дело. Очень важно, что вопрос перенесен *внутрь церковной ограды*. Нет больше вопрошающих церковь и ждущих от нее ответа. Вопрошающие сами же и отвечающие, ибо все они – православные. У тех, кто борется «за мир», борьба теперь сливается с борьбой и «за православие». Трудно понять это со стороны, а это именно так. Нынешние борцы за мирские ценности не сомневаются, что православие *истинное* их включает. Поэтому защитникам исконно-православного взгляда они готовы, прежде всего, бросить упрек в «неправославии». А вторые в том же обличают первых.

«Путь» дает яркую картину этой борьбы, или, говоря мягче, этих острых споров.

Крайне резок – Бердяев. Он восстает на «официальных людей церкви, профессионалов религии», которые «говорят нам, что дело личного спасения есть единое на потребу... Зачем знание, зачем наука и искусство... зачем правда общественная...?». Идя дальше, он доказывает, почему такое православие (т. е. реальное, современное), отрицающее «мир и все дела его» вплоть до государства, – на практике признает, и не может не признавать одну из его форм, – «православную монархию» (самодержавие).

«Нельзя долее терпеть, чтобы церковь оставалась бездвижной и по существу оторванной от мира», – говорит Бердяев и приходит к необходимости «создания нового церковного организма».

Столь же пряма и отповедь еп. Вениамина. Бердяевскую постановку вопроса он называет «нехристианской и греховной».

Его утверждения как раз обратны: «На первом месте всегда — "я", мои интересы, мое спасенье...» «я сам, моя душа, идея *святого эгоизма.* А на втором — моя семья, жена, дети, близкие...» (но не «общественность»). «Единственный правильный путь... в преследовании единственной цели — личного спасения...».

Спор, казалось бы, очень серьезный: не утверждает ли высокочтимый иерарх «святость» того, что сын церкви назвал «отвратительным»? По отчету Зандера не видно, как реагировала на столкновение «молодая» аудитория, и реагировала ли вообще; но мы знаем, что пр. Булгаков поспешил выступить с примирительной речью: все, мол, хорошо в свое время; хорошо личное спасенье, хороша и деятельность... А православная церковь всех собою объединяет...

Да, всех; не потому ли так безгранична и «свобода» для находящихся в ее лоне? Ведь это, главным образом, свобода — «богословствования». Пр. Булгаков подчеркнул, что не в пример католичеству и протестантству, «мы имеем в Православии не столько богословие, сколько богословствование», т. е. разговорный процесс, ничего по существу не меняющий, следовательно, вполне безопасный.

С этой точки зрения пр. Булгаков, вероятно, взглянул и на аржеронское столкновение. Нельзя сказать, чтобы он не имел к тому оснований. Острый спор, который «Путь» еще заостряет, действительно, похож на... безобидное, отвлеченное «богословствование».

Что же случилось? Когда и почему превратился в тему для словесных упражнений вопрос такой важности? В 1901 г., чуть ли не на первом религиозно-философском собрании, один видный православный деятель сказал, что от решения этого вопроса зависит столько же судьба русской церкви, сколько судьба русской интеллигенции: пути той и другой были параллельными, и очень могут остаться параллельными.

Не будем себя обманывать: они такими и остаются. Сдвиг в русской интеллигенции, — я говорю о «вдвиге» большой ее части в церковь, — произошел; но благодаря ли каким-нибудь

изменениям в «церковном организме»? Не благодаря ли, главным образом, силе реальных событий, исключительных исторических потрясений? Тут нет никакого начала «оцерковления» или «оправославления» мира, о котором мечтает Бердяев и которое предполагало бы не только движение «мира» к церкви, но и церкви к «миру». А этого не было, что пр. Булгаков с необыкновенной точностью нам подтверждает: «О каком движении может идти речь?.. Конечно, о движении *к Церкви...** Движение предполагает как цель нечто неподвижное (sic!) и безусловное, и таковое есть *Церковь...*». Мы очень благодарны за эту точность в устах одного из «путейцев», очевидно, не вполне примыкающего к бердяевскому «левому» толку.

Но, может быть, начало «оцерковления мира» есть в этих возникающих повсюду «кружках», «студенческих братствах», в современном влечении к церкви нашей зарубежной молодежи? Каково ее отношение к вопросу «о церкви и мире», волнующему рел.-философскую мысль? Может быть, споры и дебаты, хотя бы в виде «богословствования», важны и нужны — для нее?

Если бы «путейцы» взглянули реально на сегодняшнюю нашу, *реальную* молодежь, они бы тотчас убедились, что к данному вопросу она не имеет никакого отношения, богословских споров даже не слышит, а к церкви подходит своим особым путем.

Что такое эта молодежь? Прежде всего, она *моложе* себя лет на 7—8. Сегодняшнему 24-летнему не 16 ли лет? Разве стоит за ним какая-нибудь реальность культурной и умственной жизни? За ним стоит другая, страшная, реальность. Вот слова из письма одного такого «молодого»: «...обстановка не позволяла. В 16 лет я был уже добровольцем — после расстрела большевиками отца и брата. Затем: скитания с армией, лагеря, беспросветное беженство; единственное светлое пятно — воспоминания: гимназия, да еще большая отцовская библиотека.

* Везде курсив автора.

Так прошли-промелькнули 7 "лучших" лет жизни. Теперь — едва прихожу в себя...».

Вот эта молодежь и тянется — из отупляющего безумия войн, из оторванности и оброшенности — к храму православному, к церкви... Храм — не церковь ли уже для них? А православная церковь — не узел ли многого и многого? Но кусочек ли она России? И это не война. Это не «политика». И не та «жизнь», которую они одну, — отвратительную! — и знают.

Как люди «религиозно-философской мысли» не видят этой полумладенческой (немножко страшной) простоты? Неужели Бердяев думает, что кого-нибудь интересует, кончился ли здесь «Константиновский период», и как православие — «истинное»? Да большинству и в голову еще ни разу не приходил вопрос: что такое православие. Православие — значит православная церковь. Вот и все. Такая, какой она была и сейчас есть (не изменилась же с тех пор, как Бердяев сказал «нельзя терпеть долее»?). Церковь реальная — вполне отвечает сегодняшним конкретным потребностям сегодняшней молодежи, до бессознательной подробности мистики (это тоже душевная потребность, и очень конкретная). Молодежь влечется, «прислоняется» к церкви (по удачному выражению Булгакова) и, роднясь с ней реально, — воспринимает всю ее данную реальность, ее «религиозную систему жизни».

Вот, хотя бы, такой факт: церковная молодежь, поскольку она не клонится к монашеству или не остается в обывательщине, — непременно *правая*. Это естественно вытекает из современной церковной «системы жизни», при которой, по Бердяеву, «ничто не нужно», но которая «сама возможна лишь при существовании православной монархии». И, на практике, молодежь оказывается «прислоненной» к «церковным» людям *по всей линии*, вплоть до «политиков», чей лозунг: за Царя... и Церковь, его помощницу.

Бердяеву этот факт (такой простой — и такой страшный!), вероятно, не понравился бы, если бы он его увидел. Но и в этом случае бороться с ним он бы не мог. Как бороться с ре-

альностью – воздушной рапирой, словами, которых даже не слышат ощутившие подлинную силу церкви?

Мало того: ведь и у Бердяева, у его единомышленников – *реальность* только одна: та же, данная, православная церковь. «Богословствование» в ее ограде – *спор на корабле:* двигается ли корабль и куда, стоит ли неподвижно – все равно, никто не рискнет броситься с него в море, променять его надежную спасительность на зыбкость своих идейных устремлений. Таким образом, богословствующие, отвергая идею церкви о «святом эгоизме» на словах, – на деле, в жизни, в реальности – ее принимают.

Я намеренно ограничиваю себя лишь исследованием данного, определением центрального вопроса «Пути» и положения группы ближайших сотрудников журнала среди окружающей их действительности. Самого «вопроса» я не касаюсь, в существо спора не вхожу и не хочу входить. Единственный ли стержень православия – сияющая, спасающая душу, небесная святость, или должно оно, «истинное», склониться к земному «миру, лежащему во зле» – пусть решает это, кто может. Одно ясно (что мне и хотелось показать): внесенный в ограду церковную вопрос о «церкви и мире» ни решиться, ни даже решаться не может. Спор теряет там всякое значение и для реальной церкви и для реального мира. Если желать и стремиться, чтобы к исконным своим ценностям – жертвенности, подвига и личного спасения – церковь прибавила и ценности, творящиеся «в миру», нужно быть готовым тоже к подвигу, к жертвам, вплоть до риска «самоспасеньем».

Участники «Пути», для которых, как для Бердяева, данный вопрос действительно является «узловым», должны, в конце концов, сознать необходимость *аскетического момента* по отношению к православию. Пока этого нет – их споры остаются умным, церковно-интеллигентским «богословствованием», интересным «раздражением пленной религиозно-философской мысли». А жизнь церкви и жизнь мира идет, как шла, своим чередом и своими, отдельными, путями.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Позволяю себе сделать некоторые поправки и дополнения к статье Е. Шевченко о «Лит. псевдонимах».

Действительно, «Тоска по смерти» (в журнале «Полярная Звезда») за подписью Н. Ропшин, принадлежит мне. Но Антон Крайний начал свою деятельность не после 1906 г., а гораздо раньше, в 1902 г., в журнале «Новый Путь», и с тех пор продолжал ее непрерывно во многих других изданиях. В конце 1906 г., уже вышел сборник моих статей «Литературный Дневник».

Я, однако, часто писал и пишу под разными псевдонимами, в зависимости от обстоятельств. Г. Е. Шевченко пишет, что Савинков *«перенял»* мой псевдоним. Это может быть понято так, что Савинков «взял» его, потому что он ему понравился. Но дело обстояло иначе.

«Тоска по смерти» была напечатана раньше, чем мы с Савинковым познакомились. Во всяком случае – раньше начала каких бы то ни было литературных опытов Савинкова. Когда, через некоторое время, эти опыты начались и когда стали выливаться и вылились в роман, этот роман мне показался достойным всяческих хлопот, чтобы его напечатать. (Не забудем цензуру, имя Савинкова, известное *не* в литературе и т. д.) Мне помогло то, что я как раз, к окончанию романа, возвращался в Россию, где стал в близкое отношение к редакции «Русской Мысли».

Однако роман, много раз переписанный, в последней редакции имел заглавие «Дела и дни», а подпись – В. Н. Это мне показалось неудовлетворительным. Тогда, вспомнив о моем псевдониме Н. Ропшин, которым была подписана единственная статья, – в «Полярной Звезде», – я *предложил* его Савинкову, и он предложение принял. Что касается заглавия, то мне пришлось проставить его уже в Москве, наспех, взяв соответствующий эпиграф, и уж затем оповестить автора. Впрочем, возражений с его стороны не было, заглавие ему, кажется,

тоже понравилось. К сожалению, он повторил его, или почти повторил, желая сделать последний свой роман продолжением первого. Это была во всех смыслах, внешне и внутренно, литературно-художествен. ошибка, тем более, что и по содержанию «Конь Вороной» не может считаться «продолжением» «Коня Бледного».

Впрочем, это я, в свое время, отметил в критике.

Само собою разумеется, что, предлагая свой псевдоним Савинкову, я тем уже отказывался от дальнейшего им пользования, что и исполнил.

Так как, действительно, начало моей статьи (которую я не видел с 1907 г. и не имею) наводит на ассоциации с концом самого Савинкова, то я думаю, что заметка Е. Шевченки, а также мои дополнения и поправки, полезны для устранения будущих, — возможных, — недоразумений.

Париж,
25—4—26

ВСЕ НЕПОНЯТНО

(О Сергее Аркадьевиче Андреевском) *

«...От первых сознательных дней, в самом раннем детстве, я уже взглянул на жизнь, как на нечто мучительно странное... В иные мгновенья я, со внезапным ужасом, осматривался и гово-

* В 1 номере «Звена» (5 ф. 23 г.) был напечатан очерк М. Винавера «С. А. Андреевский». Этот яркий очерк и возбудил во мне желание дополнить несколькими штрихами портрет нашего недавнего современника. Я подхожу к нему с другой стороны; я беру этого замечательного человека в его человеческой жизни, ограничивая себя, — как всегда, — лишь воспринятым непосредственно. В данном случае я ограничиваю себя даже больше, чем всегда, — намеренно воздерживаясь от оценок и выводов. Слишком хорошо я знаю, что исключительность Андреевского,

рил себе: да что это такое?! Зачем я должен во всем этом участвовать?!... и хотя бы на одну страшную секунду, но уже тогда мутилась моя мысль до отчаяния, я чувствовал, будто падаю в бездну...».

Острота этих первых переживаний ошеломила его, и так, ошеломленным, он навсегда и остался. Ему даны были и ум, и недюжинный талант, и добрая, хорошая натура, но в таком *несоответствии* с ощущением загадочности бытия, что перед этим ощущением, он был бессилен. Старался жить, «как будто ничего»; легкомыслие помогало отвлекаться от недоуменной пристальности; но не всегда. И напрасно пробовал он подходить к ошеломившим его загадкам — с рассуждениями ли, от чувства ли прекрасного, или даже от сердца: ничего не получалось. «Его эстетизм был угрюм», — сказал один критик. Нет, пожалуй; но и на эстетике его, и на рассуждениях лежала печать покорной беспомощности, постоянной детской *опечаленности.*

«Что такое — я? что такое любовь? что такое смерть? Все непонятно!». Философ, художник, или просто сильный характером человек, справляется с этими загадками жизни, каждый по-своему, для себя. Но как справиться тому, чей ум, талант, характер, ценные безотносительно, — ничто перед ошеломляющей силой ощущения всенепонятности?

Об Андреевском было множество разных мнений: в большинстве хороших, никогда особенно дурных. Почти все считали его «дилетантом»: художники — дилетантом в искусстве, адвокаты — в адвокатуре. Тут есть доля правды. Только «дилетантизм» надо взять безмерно глубже, как дилетантизм в зем-

его внутренняя сила и глубина — особого рода, такого, как сейчас, в наше время, понимается и воспринимается лишь немногими. А для этих «не многих» довольно сопоставить остро-нежный рисунок М. Винавера с моими скупыми намеками и с приводимыми мною, редчайшими, фактами жизни Андреевского, чтобы понять этого человека во всей его значительности.

ном бытии; тогда, может быть, сквозь самую слабость этого навеки опечаленного человека, мы увидим «необщее выраженье» его души.

Два есть беспристрастия: любовное и не любовное. К Сергею Аркадьевичу Андреевскому, за долгие годы нашей близкой дружбы, у меня всегда было беспристрастие любовное. С этим беспристрастием и хочу я рассказать о нем — *человеке.*

1

— Ну, я ушла.

— Куда? Подождите.

— Нет, я пошла. Надо читать!

Смеется, забавно, по-детски, морща нос, и с ленивой грацией поднимается с моего низкого дивана. В Андреевском, во всей его длинной, стройной фигуре, много изящества, много именно грации, женственной, природной, без всякого «мужского» фатовства. Он это знает. Поэтому и шутит со своим «пришла, ушла». Забегая ко мне постоянно, — «на 17 минут!» — всегда затем отправляется «читать». Неизвестно что, может быть, дело, может быть, Пушкина. Я не спрашиваю, смеемся, прощаемся. За эти семнадцать минут, он уже успел рассказать все про себя, — от важного до потери любимого кашне (впрочем, и это важно, кашне для него драгоценность!).

Подружились мы почти сразу. Не знаю, однако, назвать ли наши отношения «дружбой»? Хотя еще меньше — приятельством. Как ни странно, у этого человека, избалованного общим приветом, успехом, имеющего друзей, семью, наконец, любимую женщину, — не было «куда пойти»; с этим ощущением он и шел ко мне, и, думается, чувствовал себя чем-то вроде моей «подруги». И подружество его было тесное, теплое, милое. Если, в первую голову, нужное ему самому, если мною он никогда особенно не интересовался, — то ведь нам обоим довольно было одного общего, неослабевающего, интереса: к нему самому, к С. А. Андреевскому.

Такому «подружеству» предшествовал, впрочем, период веселого, *юного* приятельства. Мне еще не было девятнадцати лет, Андреевскому шло за сорок, и уже виски у него красиво серебрились, а приятельство все-таки было *юное:* мой друг переживал тогда самую блистательную юность своей жизни – первые месяцы первой и единственной любви.

Андреевский не делал и не сделал тайны из своего романа. В «Книге о Смерти» много отрывков (и прекрасных!), где, не забывая ни внешних подробностей, ни дат, он описывает первую встречу с Маделеной Юнг и всю историю любви. Пытается выразить и свои переживания, но тотчас обрывает: «Нет, не могу! Нельзя! А все-таки тянет...». Его очень тянуло к целой «Книге о Любви»; но писал он о любви только в книге «о смерти». Любовь для него была такой же, той же, ошеломляющей загадкой, как смерть.

Мне пришлось очень близко подойти к его роману, близко вглядываться в него. Оно кажется мне странным, опять «необщим». И если я ниже коснусь его, еще понятнее станет «необщность» души героя, а может быть, узнаем мы кое-что новое и о любви.

2

«Юными приятелями» – мы встречаемся часто, везде: в «Литературке», на Гороховой, в Шекспировском Кружке Спасовича, на собраниях у Вейнберга... В Л. Обществе перекидываемся стихотворными эпиграммами, у Спасовича – притворяемся чинными, а дома, у нас, бегаем по комнатам, взявшись за руки; Андреевский вдруг произносит торжественную речь перед гигантским желтым утенком на камине, уверяя, что это «гений дома»; или, угомонившись, читает нам Тургенева, Мопассана... Читал удивительно: с простотой... «доходящей до аффектации», – шутили мы, но, в сущности, с отрадной простотой.

Урусов (он уже переселился в Москву, но часто наезжал), при всей искрящейся душевной светлости, понимании и обо-

жаний прекрасного, казался грубее, шумнее. Как адвоката его считали талантливее Андреевского. Но их ни в чем нельзя сравнивать. Эти друзья были так различны, как... как только одни люди бывают различны.

Оба читали хорошо... кто лучше? Оба любили Пушкина... кто больше? Вот они читают у нас «Моцарта и Сальери». Андреевский, конечно, Моцарт, Урусов — Сальери. Изумительное чтение, ни с каким сценическим несравнимое. Кончили — и кому-то пришло в голову: а если повторить — наоборот? Урусов Моцарт, Андреевский Сальери?

Чуть ли не сам Андреевский это и выдумал. Он любил свою манеру и, пожалуй, хотел, с невинным тщеславием, оттенить ее. Во втором чтении Моцарт сделался иной, да и вся вещь изменилась. Мне первый Моцарт нравился больше, но это дело вкуса. А вне вкуса — кто читал лучше? Одно было несомненно: разные души, разное понимание. Не часто удается с такой яркостью увидеть, прямо ощутить, человеческую различность. Андреевский и Урусов очень любили друг друга. Но и в «Книге о Смерти», в главе об Урусове, есть черточки, подтверждающие, что оба они друг в друге не понимали какой-то важной душевной сердцевины.

3

«Книга о Смерти» возникла рано, еще в период нашего юного приятельства.

Андреевский не был честолюбив. Коренное «недоумение, с которым он открыл глаза» и продолжал жить, лишало его силы, потребной для страсти честолюбия. Но он был тщеславен, — невинно, ибо откровенно. Радовался написанному, или какой-нибудь своей речи, и ужасно был доволен, если это нравилось другим. При тонком вкусе к поэзии, он не мог долго увлекаться своими стихами и вполне искренно «отрицал» их (отдельные строчки любил, впрочем, вспоминать и повторять). Да в стихах и не удавалось ему коснуться самого своего важного.

Но вот «Книга». С ней было так: написал «Смерть сестры Маши». «Само написалось», – говорил он. Прочитал в тесном кружке, у нас. Все мы пришли в восторг от художественности отрывка.

– Эту «Смерть» надо скорее напечатать, – сказал кто-то. – Ничего равного нет в сегодняшней литературе!

Тут Андреевский и объявил свое (может быть, внезапное?) решение: не только скорее – он совсем не будет печатать «Маши»; он хочет писать целую книгу «О Смерти», и только после его смерти будет она напечатана.

Казался растроганным: поверил и в художественность своей вещи, и в то, что она больше, чем только литература: он не хочет литературных лавров, не будет печатать при жизни...

И он как-то с двух сторон влюбился в свою «Книгу». Тщеславие выразилось в невинном «ухаживании» за ней: отдавал переписывать на особом ремингтоне, прекрасно переплетал отдельными томами, один экземпляр спрятал в сейф... И не было в Петербурге знакомого человека, – не говоря о друзьях, – кому бы эта книга не была посылаема на прочтение. Дорожил всеми отзывами и любил говорить о них. Да, было тут и наивное тщеславие, но было и что-то другое, заставлявшее преувеличивать значение книги: в ней он силился выразить свою ошеломленную жизнью и смертью душу.

Но что же такое эта книга?

Мне было страшно перечесть «Смерть Маши» после стольких лет, но радостно убедиться, что страх напрасен: полудетское впечатление не обмануло меня. В художественном отношении эта часть не хуже лучшего Бунина; но есть в ней еще воздушная тонкость, нездешнее очарование первой влюбленности, тень тени от крыла Эроса, – тотчас вырастающая в черную тень крыла Смерти. Это, конечно, лучшая глава Книги. Лишь отдельные страницы из последующих можно поставить с ней рядом.

Но я не пишу критической статьи о Книге Андреевского, так несправедливо никем не замеченной. Я пишу о нем самом, и

здесь скажу только, что в Книге — его душа отразилась с ее глубиной и слабостью, остротой и беспомощностью, талантом и дилетантизмом, и с недоуменным взором, вечно обращенным на себя, на смерть и на любовь.

4

— Опять за границу, опять ходить по гравию? Меня уж не заманишь. В отелях сквозняки, вечно льет дождь, и единственное наслаждение — под зонтиком ходить по гравию.

— Избаловали вы себя, Сержинька! Жара — вы в теплом пальто. На паркет ступить не можете, подавай коврик. Целое лето сидите в городе, в пустой квартире, с запертыми окнами...

— Да, а вчера я лежал в бреду! Было 37.1!

Уверяю, что все капризы, притворство, изнеженность. Действительно изнежен, но это к нему идет. Идет к женственной, ломкой грации, к темно-серебристым волосам, к детски-веселым или беспомощно-опечаленным карим глазам под черными бровями.

Боялся малейшего дуновения ветерка. И вдруг расхрабрится: предлагает мне ранней весной, — деревья чуть опушились, — ехать на Острова, ужинать над Малой Невкой. И мы ехали, дышали незабвенной, родной сыростью Елагина, потом съедали по половинке какого-то младенческого рябчика, пили легкое вино и смотрели с балкона, как бел белой ночью пароходный дым над серой водой. А возвращаясь по Марсову полю, около Летнего Сада, останавливались, рвали веточки с первыми клейкими листьями, крошечными, и он повторял: давайте забудем, о чем говорили на балконе (а мы говорили о смерти). На минутку, пускай только весна!

Слово «эстет», особенно в позднейшем понимании, не подходит к Андреевскому. Он — очень сын своего времени: его эстетизм — скорее «романтика». Принято думать, что чуть не вся современность второй половины 19 века была реалистичной. Но романтика живуча, а идеализм умеет принимать всякие формы. Он был сильно вмешан и в самую «гражданствен-

ность» той эпохи. Реформа Александра II открыла новое поприще для молодежи, и очень многие смотрели на судебную и адвокатскую деятельность не как на «деловую дорогу», а как на «сияющий путь к правде и красоте». Оттого к концу 80-х и началу 90-х годов, блестящая плеяда наиболее талантливых адвокатов оказывается в таком близком соприкосновении с литературой и литературными кругами, и даже больше: в момент упадка литературы — является как бы хранительницей ее вечных ценностей.

Но Андреевский носил в себе не зерно романтизма-эстетизма, — он был романтик по *преимуществу.* Он в самом деле не видел разницы между своей речью, судебной или застольной, и, скажем, своим очерком о Лермонтове; сборником речей гордился как собранием поэм. На суде мне пришлось слышать его только раз. Высокая фигура, красиво-резкий профиль на белом фоне окна и — речь, такая же простая, как чтение Пушкина в комнате. Речи его, среди адвокатов, так и звались «поэтическими». Андреевский любил вспоминать, что одну из них прямо начал двустишием:

Есть лица женские, в которых взор мужчины
Встречает для себя мгновенный приговор...

Пассивность романтизма, с налетом как бы скепсиса, приближали Андреевского, с виду, к «эстетству». Но то, что казалось скепсисом, не было ли только внешним отражением его недоуменной, вечной, прикованности к загадкам жизни и смерти? А по существу, этот адвокат-поэт, не остался ли романтиком, настоящим сыном своего времени?

За его порог он так и не переступил.

Политика и общественность его никогда не интересовали (чем он даже хвастался), но и в искусстве он не заметил движения жизни. Перелом 90—900 годов оставил его добродушно-равнодушным. В период расцвета новой поэзии (хорошей или дурной, не в том дело) он написал статью о «смерти рифмы», носился с мыслью, что всякие стихи вообще кончены. Не гово-

ря о Блоке и позднейших, он никогда не считал «поэтами» ни Сологуба, ни Брюсова, ни Бальмонта...

Эта милая, — потому что откровенная, — чуждость всем новым течениям, литературным и другим, естественно стала разделять наши жизни, нисколько, впрочем, не изменяя наших отношений. Годы текли, а он так же приходил «на 13 минут», так же уходил «читать», до последней мелочи рассказав все хорошее и дурное, что с ним случилось, все, с чем необходимо «к кому-нибудь пойти».

Уменье рассказывать у него было такое, что давало иногда иллюзию соприсутствия. Раз долго сидел у меня: день свадьбы старшей дочери, домашняя суета смертельно надоела, — сбежал; вообще терпеть не мог, нежно любя детей и жену, никакой «семейственности», не понимал ее.

Пора, однако, в церковь, — нельзя же! Упрашивает проводить. Черный осенний вечер, дождь так и хлещет. Под сырым фордеком извощика, шлепающего куда-то к Лиговке, Андреевский с такой образностью и юмором рассказывает мне о торжественных приготовлениях к свадьбе, и о дочери, и о женихе, — что я решительно вижу лица, никогда не виденные, и даже картину будущего венчания. Мы смеемся. Вдруг он становится печален.

— А как это, все-таки, страшно. И как я стар. Я ужасно стар! Приехали. Иду венчать. Хорошо, что вы меня проводили.

Вылез из-под фордека, нарочно сгорбившись по-стариковски (вовсе не был тогда стариком), и ушел, через дождь, в освещенную церковь.

5

Есть ли, в литературе, роман, который бы начинался с конца? Такой, где бы момент первой встречи совпал с моментом того, что зовется «завершением» романа, и — главное — оказался бы для героя, человека утонченной культуры, с душой романтической и нежной, — зарею любви всей его жизни? Да

еще какой-то «небывалой»: в любви Андреевского, на протяжении долгих лет, не уменьшаясь, пылали соединенно все три огня: *страсти, нежности и влюбленности.* Любовь, даже подлинная, имеет свой обычный порядок во времени: влюбленность переходит в страсть, страсть завершается нежностью. В романе Андреевского как все сразу вспыхнуло в первую минуту, так и осталось гореть неразъединимо: первая минуга длилась пятнадцать лет.

Можно себе представить, какие жизненные и житейские перипетии создавались вокруг этой любви. В конце концов, сама судьба ополчилась против нее. Но все оказалось бессильно, хотя герой к жизненной борьбе был неприспособлен, а перед судьбой совсем беспомощен.

Мне рассказывалась эта история, по мере своего течения, во всех мелочах. Как будто очень талантливый автор перевертывал передо мною страницу за страницей своего романа. Только это была не книга; в книге чего легче: прошло, мол, десять лет... А в жизни, чтобы они прошли, надо, чтобы они действительно проходили, каждым своим днем. И сколько можно рассказать в десять лет, с какими подробностями! Мне было известно где, как и когда произошла удивительная первая встреча с черноглазой Маделеной, известно и дальнейшее: как отнеслась семья, которую Андреевский продолжал искренно любить; как он уходил от семьи, скитался, изнеженный, с вечными своими невралгиями, по меблирашкам (с Маделеной не жил никогда, перевез ее из Москвы и сразу поселил отдельно); как вернулся в семью, в свою привычную квартиру, к своему письменному столу, – не уступив, однако, ни пяди в том, что касалось любви.

Мне была «дана» квартирка Маделены на Николаевской, даны ее характер, интонация голоса, ее вкусы, вплоть до ее платьев. Действительно, показана была «она», и как всякая «она», показанная сквозь любовь, она была прекрасна. «Эта женщина, – пишет Андреевский в «Книге о Смерти», – была воплощением моей души. Если бы величайший художник заду-

мал изобразить мою Музу, он бы вдохновенно нашел именно этот женский образ, и никакой другой».

Менее наглядны были, для меня, ее фотографии. Черноволосая, по-японски причесанная, молодая женщина, прямые черты нерусского типа, красивые руки. Немножко «волоокая». Вот и все.

В белый, предвесенний, предвечерний час, в Страстную Пятницу, является мой «друг»:

– Я за вами. Пойдемте к Плащанице, в Исакий. Я каждый год езжу.

Змеей вьется у собора длинный хвост. Двигаемся и мы. Терпеливая, чуть сгорбленная, в шинели, фигура Андреевского. Каждый год ездит взглянуть на Христа в гробу. Но ведь этот мертвый через три дня воскреснет? «Я потерял мою детскую веру...». А все-таки тянет к божественной смерти... с воскресеньем?

Выходим из собора. Белые сумерки. Холодно. Андреевский запахивается в шинель. Говорит:

– А теперь пойдемте к Маделене. Она давно знает вас, через меня. Не будет дичиться.

И мы поехали.

6

Может быть, Вл. Соловьев прав: нет любовной «идеализации», есть «прозрение» любви. Человека подлинного видит только тот, кто его любит. Он «слышит его музыку». Остальные видят маску и никакой музыки не слышат.

А может быть, важна сама любовь, объект же ее совершенно не важен, и не им она судится.

Так или иначе – для меня до сих пор существуют две Маделены, обе одинаково реальные, и кто решит, которая из них подлинная?

К моей, к Маделене моих собственных глаз, у меня всегда было чувство жалости; впрочем, не к ней только, а к тому, что она такая и что я, видя ее такой, даже *не понимаю*, какой видит

ее Андреевский. Невольно хотелось жалеть и его... Но стоило перевести глаза на него, на его любовь, — и вот, другая Мадедена, живая тоже, но другая, и это ей написано:

Мне снилось, я поэт, — но лишь до нашей встречи.
Я песни разлюбил, твой образ полюбя.
И если в песнях есть хоть звук небесной речи —
Он был подсказан мне — в предчувствии тебя.

О первой Маделене как-то не хочется и писать. Но она была не плохая. Необразованная, полуграмотная эльзаска, с нечистым французским выговором (по-русски говорила мало, — с прислугой) — она не лишена была, вероятно, природной душевной тонкости. Вряд ли жизнь, на которую она попала в Москву, полуребенком, ей соответствовала. Кроткая, непритязательная, она сумела десять лет прожить в совершенном одиночестве, никого не видя, кроме своего Serge. Квартирка была невеселая, окнами во двор, убранная заботливо, но дешево: Андреевский вечно стремился «побаловать» свою Маделену, да больших возможностей к тому не имел. Кое-где сомнительный вкус Маделены выступал ярко; но Андреевский не замечал этого.

Он решил познакомить нас в надежде развлечь Маделену: ее характер стал меняться последнее время, явилась непривычная угрюмость и раздражительность. Никто не знал, что это были первые признаки ее роковой болезни.

Вид она уже имела не совсем здоровый: бледное, немного отекшее лицо, веко одного глаза полуопущено. Впрочем, лицо еще можно было назвать красивым.

Не знаю, удалось ли бы мне, несмотря на всю добрую волю, сделаться Маделениным развлечением, будь она даже здорова. Знакомство, однако, продолжалось, — с перерывами: мы часто уезжали.

Первый острый период ее заболевания (и все-таки еще не подозревали, что это болезнь) был ужасен для Андреевского. Он приносил мне ее безграмотные, полные диких ругательств

и угроз, письма и плакал, плакал безутешно, — всеми слезами своего неисцелимого недоумения. За что? Что это такое?

За что — осталось неизвестным. А что это — выяснилось, и Маделену отвезли в больницу.

Через несколько недель она поправилась. Вернулась к себе, в квартирку на Николаевской. «...И еще два года мучительных радостей», — пишет Андреевский, — опять той же, неугасимой, страсти — нежности — влюбленности, пока внезапно «весною, за одну неделю весь недуг не возвратился с необычайной силою» и Маделена, в бреду, была отвезена в другую больницу, «скрыта от моих глаз почти навсегда». Почти — ибо через два года он добился последнего свиданья, «чтобы хоть проститься». Об этом страшном свиданьи, когда она, прижимаясь к нему, не произнесла ни слова, и он слышал только стук ее сердца, — он рассказывал мне много раз. О нем рассказано и в «Книге о Смерти» (стр. 190): «...я увидел... это была она. И я зарыдал громко, без удержу; и плакал почти целый час, как бы над ее гробом...».

Да, опять: «Три бездны, три тайны, три надежды: Бог, Любовь и Смерть... Но мечется между ними несчастная душа человеческая...» Кто, в самом деле, мог ответить Андреевскому на его недоумение, на вопрос его — за что?

7

Маделена умерла, когда мы жили за границей. (Мы переписывались с Андреевским, но об этой смерти он сообщил коротко. О ней нет ничего и в Книге.)

Встретились по-прежнему тепло. Он как будто мало изменился за три года, волосы только побелели, да немного усы. Опять появилась и «Книга»... Но скоро мне стало ясно, что Андреевскому совсем не к кому «прислониться», что он совершенно один и что помочь этому нельзя. Жизнь кипела вокруг еще более чуждая ему, среда его растаяла, друзья ушли; не было ни Урусова, ни Спасовича, ни даже Суворина, Чехова и Вейнберга. Петербург, в эти годы, бурно жил общественными

интересами, даже течения эстетические, философские и религиозные принимали общественный характер. Один остался Андреевский и в своей недоуменной устремленности на вопросы любви и смерти. Вопросы-то были вечные, но его подход к ним, слишком субъективно-тонкий и пассивный, уже не понимался и никому не был нужен.

Он, к счастью, всего этого не сознавал, хотя, вероятно, чуял порою. Теснее прежнего прилепился к своей «Книге» (она только у него и оставалась!), старательнее прежнего за ней «ухаживал». Постоянно говорил о ней и тотчас посылал на прочтение всякому, выразившему к тому охоту. Мне — он сам читал отрывки о революции, о Плеве и Столыпине. И хотя начинаются они обычной его, полукокетливой, фразой: «Политика никогда не захватывала меня, я всегда смотрел на правительство, как на прислугу, оберегающую спокойствие жителей...» — надо сказать, что очерки эти написаны не без проникновения, а страницы о Столыпине прямо блестящи. В то время Столыпин и его роль понимались грубее, да, пожалуй, и до сих пор как следует не понимаются. Быть может, нарисовать такой ясный образ «работника на будущую революцию», и нарисовать с таким чувством меры, помогла Андреевскому именно его оторванность, взгляд совсем «со стороны».

Чем дальше, тем больше уходил он в «свою сторону». Или жизнь уходила у него из-под ног, а он, сам почти не замечая, тихо «свертывался» внутрь. Мы как-то о современности уж и не говорили, а все о прошлом: о недавней литературе, о недавней Маделене...

Судьба продолжала быть к нему суровой. Мало знаю о деловой его жизни в этот период, но, кажется, он сам стал уклоняться от дел: адвокатура уже не захватывала его, не было прежней нервной энергии. Домашняя жизнь не грела, семья расползлась... Наконец, после длительной болезни и смерти жены, совсем ослабел, совсем «свернулся внутрь».

Но ему хотелось еще быть, для меня и для себя, прежним Андреевским, баловником, остроумным капризником. Еще

приходил ко мне «на 17 минут» (после долгих переговоров по телефону). Побелевший, немного ссутулившийся, но изящный, выбритый, в том же pince-nez на черном шнурке, садился в непривычное кресло... нет! было уютнее в старом, милом доме Мурузи, веселее там говорилось о себе... Сделался болтлив; уж не рассказывал, а болтал. Вдруг, с житейского, перескочит на «религию»: упрямо повторяет то же самое, стараясь его лучше, или «красивее», выразить... Плохо удавалось. Не удалась ему и в «Книге» последняя часть, так и озаглавленная «Религия». Вслух он мне ее никогда не читал.

8

Весенний, солнечный день. Ласковый, тепло-жаркий, — такие бывают в Петербурге. Деревья пушистые, чуть-чуть. Мы условились с Андреевским: я сегодня пойду к нему.

Какая это весна? Какого года? Я твердо знаю, что 1918, но чем больше стараюсь восстановить в памяти это свиданье, тем больше сомневаюсь. Вопреки очевидностям, гадаю: а вдруг был 16-й год? Или 14-й?

Дело в том, что наше свиданье было совершенно вне времени, почти вне пространства. Такое точно могло быть в любом году: большевицком, военном и довоенном, одинаково.

Больше двадцати пяти лет Андреевский прожил все на той же самой квартире, на Знаменской, 35. Мне там бывать приходилось, — всегда летом или весной, когда семья уезжала и он оставался один. Иду по знакомой, пологой лестнице в четвертый этаж. Вот, из передней, и широкая, вся в солнце, гостиная, и чехлы на мебели, и громадный портрет Делэра... И угловой, с фонариком, кабинет, широкие диваны, и фотографии на письменном столе. Так же заперты окна у зябкого хозяина, и так же светло смеется солнце сквозь стекла... Только хозяин теперь не на время здесь остался один, а навсегда.

Прожить в буквальном смысле один — этот старый ребенок не сумел бы, конечно, и дня. За ним самоотверженно ухаживает какая-то бывшая не то гувернантка, не то бонна семьи —

«фрейлейн». Это благодаря ей так, до сих пор, еще все «по-прежнему». Это она покрыла, в солнечной столовой, белой скатертью стол и приготовила «угощение».

Мы говорим... просто болтаем. Удивительно: и мне начинает казаться, что ничего не случилось, что все – прежнее. Вижу белые волосы Андреевского – и не вижу: слышу его детский смех и, минутами, почти искренно, чувствую и свое ребячество. Загадка жизни и смерти? да, мы о ней не забываем; но ведь мы и тогда, – в словах ли, в молчании ли, – о ней помнили...

Самое яркое, что осталось у меня от этого дня: солнечный луч в желтом золоте вина. Друг мой налил его (фрейлейн сберегла!) в две широкие рюмки, мне и себе:

– Знаете, какой сегодня праздник? Сегодня Духов день! Давайте сегодня выпьем, наконец, на «ты». Уж давно пора!

И мы пьем, и целуемся, – да, пора и на «ты» перейти. Какое светлое в солнце вино. И как оно мне запомнилось!

Убеждаю выйти на балкон, в гостиной открывается. «Сержинька» надевает пальто, шапку – а почти жара! и мы выходим. Он даже приносит стулья. Но мне пора домой.

– Я увижу отсюда, как ты пойдешь. Смотри, обернись! А какая пустыня...

Внизу, действительно, пустыня (конечно, это был 18-й год!). Ничего праздничного. Праздник только вверху, в небе, – в солнце, в весне.

– Не забудь же Духова дня! Не забудь обернуться!

Медленно иду по улице, останавливаюсь, оборачиваюсь, и все вижу, высоко, маленький черный комочек за перилами балкона.

Ну как же забыть Духов день? Это было наше последнее свиданье.

9

Месяцы перед кончиной были очень тяжелы. Чтобы кормиться, прежняя бонна распродавала, понемногу, все. С величайшими усилиями и хлопотами сохраняли квартиру Андреев-

ского, чтобы не трогать его с места. Он всему не то покорялся, не то мало замечал происходившее вокруг. Мне кажется, его рассеянность возросла необыкновенно; все дальше свертывался внутрь, внешне же это делало его одиноко скучающим ребенком. От детской скуки, верно, и стал ходить, с фрейлейн, в кинематограф. Более неподходящих для этого времен и вообразить нельзя: постоянные облавы. В одну из таких облав попал Андреевский. Морозной ночью, на грузовике, повезли куда-то, где, на полу, он провел ночь.

Воспаление легких, с немедленным беспамятством. Страдал он ужасно. Младшая дочь (она неожиданно оказалась в Петербурге и присутствовала при его последних днях) рассказывала мне потом: «Я стояла на коленях у его изголовья и молилась только об одном: чтобы он скорее умер».

Если б сам он, в своей Книге, писал «о смерти С. А. Андреевского» (как шутил иногда), он, верно, кончил бы тем же безответным вопросом: «За что?». Хочется повторить его и мне... Но лучше вспомнить из Книги несколько слов — не рассуждающих, неожиданных, вырвавшихся как вздох: «Но после долгих терзаний, в конце концов, я чувствую, что, со смертью, мы отходим к Богу, под его крыло. Из-под этого крыла мы вышли на свет — и под него укроемся... Да будет!».

«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ»

Кн. XXVII

В отделе художественной прозы последний номер «Современных Записок» принес новый рассказ И. А. Бунина «Дело корнета Елагина», — а в отделе литературной критики — статью Ф. А. Степуна, посвященную анализу «Митиной любви». Очень спорна статья Степуна, но по теме своей она отнюдь не неуместна в данной именно книге. «Митина любовь» как-то связана с новой вещью Бунина, связью трудно уловимой, но ясно чувствуемой, — словно сильный, богатый аккорд, подхва-

ченный на излете новой затейливой вариацией: «Митина любовь» — произведение целестремительное и на редкость четкое; сколько бы споров оно ни возбуждало, все сомнения относятся как будто лишь к постановке проблемы, но решение при данной постановке возможно только одно. Напротив, «Корнет Елагин» — вещь сознательно усложненная, извилистая, вплоть до особенностей внешнего построения. Один и тот же мотив — любви и смерти — звучит в обоих рассказах. Митя убил себя, потому что любил Катю. Корнет Елагин убивает артистку Сосновскую, потому что любит ее. В обоих случаях переход от любви к смерти с художественной стороны одинаково убедителен. Но в «Митиной любви» он психологически объяснен с почти исчерпывающей ясностью, тогда как мотивы, определяющие поведение Елагина, чрезвычайно запутаны и не раскрыты до конца. О них возможны разные догадки. Но таково обаяние истинного таланта, что эти зигзаги привлекают читателя с не меньшей силой, чем прямые и острые линии психологического рисунка в «Митиной любви».

Из законченных вещей находим в отчетном номере еще рассказ И. Шмелева «Въезд в Париж». Как и все последние рассказы и повести этого писателя, новый рассказ оставляет чувство некоторой неудовлетворенности; детали бесспорно хороши, но чувствуется какая-то досадная жесткость фактуры и какая-то тайная горечь, художественно не претворенная.

Роман Д. С. Мережковского «Мессия» только начат печатанием; из повести А. М. Ремизова «La vie» * (Лави) — помещена только вторая часть, причем по содержанию ее очень трудно догадаться, закончена ли она уже или следует еще ждать продолжения. Произведение это, вообще, крайне загадочно — по крайней мере, для непосвященных.

Отрывки из романа М. А. Осоргина «Сивцев Вражек» приятны своею свежестью. Бросается, правда, в глаза эклектичность в стиле и манере, могущая оказаться роковой в произве-

* «Жизнь» *(фр.)*.

дении более значительного объема; но есть вместе с тем несомненное уменье наблюдать и уменье рассказывать, т. е. основные элементы беллетристического дарования. Было бы интересно прочесть роман Осоргина не в отрывках, а как законченное произведение.

Среди литературно-критических статей обращает на себя внимание этюд В. Ф. Ходасевича о Есенине. Анализ источников, которыми питалось творчество крестьянского поэта, надлежит признать и глубоким, и убедительным. Есенин верил в идеальную мужицкую Россию, и весь его жизненный путь — история бесплодных исканий этого идеала. «Он воспевал, — заключает свою статью Ходасевич, — и бревенчатую Русь, и мужицкую Россию, и социалистическую Инонию, и азиатскую Россию, пытался принять даже С.С.С.Р. — одно лишь верное имя не пришло ему на уста: *Россия*. В том и было его главное заблужденье, не злая воля, а горькая ошибка. Тут и завязка и развязка его трагедии».

У нас нет возможности остановиться на ряде чрезвычайно интересных публицистических статей, вошедших в XXVII книгу. Выделим лишь статьи «Меч и крест» З. Н. Гиппиус (суровая отповедь И. А. Ильину), «Проблема правового социализма» С. И. Гессена и «Локарно и Россия» бар. Б. Э. Нольде.

ЗЕМЛЯ И СВОБОДА

Русская культура в опасности...

Впрочем, это все знают. Опасность не смертельная, но такая, однако, что относиться к ней беспечно — нельзя. Особенно страшна, непозволительна эта беспечность для русской эмиграции. Потому что на ней, на эмиграции, и лежит сейчас главная ответственность за русскую культуру.

Но чтобы достойно принять ответственность, надо понимать и себя, свое положение, и то, за что отвечаешь. Понимает

ли себя эмиграция? Понимает ли, что такое культура? Где она? В ком она?

Русская культура — не Пушкин, не Чаадаев, не декабристы, не западники, не славянофилы, не литература, не философия... она все это вместе, все эти (и еще многие другие) вместе: она в Пушкине — и в декабристах; в Белинском — и Вл. Соловьеве; в Герцене — и в Аксакове; в реформах Александра II — и в раскольничьем сыне Егоре Сазонове; в Петре (особенно Петре!) — и начале февральской революции; она и в Чаадаеве — и в святителе Гермогене... Она — некая цельность, струна, свитая из множества нитей, которые тянутся отовсюду, от всех сторон *жизни*. Если народ (беру это понятие в полной широте) — живой организм, культура — его дыханье.

Можно ли убить народ, совсем прекратить его дыханье? Нет; но прекращать, на время, это дыханье, делать его редким, затрудненным, и даже — если перейдена мера — как бы незаметным, — можно. Тогда прекращается и культура. Для дыханья нужна мера *свободы*.

Культура — дух свободы, и только свободы. Культура лишь там, где *был* свободный вздох, где дыханье прорвалось, хотя бы вопреки противодействующей силе, т. е. где была над ней победа.

В цельном, едином, образе русской культуры, — если мы именно в цельности возьмем его, — нет больших и маленьких людей (как нет и мертвых: все живые). Каждый свободный вздох входит в нее необходимой и неотъемлемой частью, живет, пока жива она. Мертвая сила отпадает — остается то, что ее победило. И вся история русской культуры, история борьбы двух сил, — есть цепь победы свободного дыханья.

Но вот — наше время. Никогда еще не было в России (да и в другой стране) такого разрастания мертвой силы; такой чудовищной мертвой руки, сдавившей горло народа. Мера перейдена. И дыханье прекратилось (или почти прекратилось).

Беспамятство? Не есть ли основа, корень, суть культуры, проходящей сквозь ряды поколений, – *память?* И враги, лишившие Россию свободного дыхания, стремятся уничтожить в народе и память, корни культуры.

Нам в прошлом ничего не жалко! –

возглашает один советский поэт, а другой прибавляет:

Довольно повозились с покойницей,
Наконец-то ее угробили...

Торжество преждевременное. Конечно, стоило бы вырастить 3–4 поколения беспамятных, чтобы культуре пришла смерть. Но, к счастью, это невозможно.

Как бы то ни было мы с полным правом можем повторить: русская культура в опасности. И если мы, здесь, – не случайное собрание беженцев, а действительные *эмигранты,* мы должны сознать наш долг и перед культурой нашей, и перед Россией. Всякий смысл в том, что люди, – целый народ по количеству, – никогда не знавшие совершенно свободного дыханья, очутились в условиях свободы и могут свободе учиться. Едва умеющие плавать – они сразу брошены в воду. Не для того ли брошены, чтобы уметь?

Громадная работа лежит перед эмиграцией. И работа *патриотическая.* Были ли мы когда-нибудь настоящими патриотами? До сих пор есть между нами склонные к лжепатриотизму, не далеко ушедшему от своего рода шкурничества. Что мол, мне, *я* хочу России, *я* хочу на ее травке поваляться, а какая она – не наше дело.

Это надо забыть. Настоящий патриотизм бескорыстен. Он требует отказа от себя. Мы никогда не увидим России? В чужую землю нас зароют? Пускай, но пока не зарыли – будем делать *наше* дело, то, которое нам предназначено, которое именно мы только и можем делать сейчас, ибо только у нас, лишенных земли, – есть *свобода.* И не для себя будем стараться сохранять и приумножать ценности родной земли, – а для нее.

Великая ценность — культура, — вся соткана из *свободных* веяний духа. Дух дышит, где хочет. Россия не забыта; но если его дыханье там для нас еще не приметно — от *своего* дела отказываться нельзя. Пусть боязливые занимаются вопросом, — что лучше, земля без свободы, или свобода без земли? Не прямее ли, не любовнее ли, служить нашей свободой — земле?

В одном общем деле — нет малых, нет великих. Лишь бы отдавал каждый *всю* силу. Лишь бы твердо знал, что на каждые, данные ему, «два таланта» он должен возвратить другие дела.

Но это — нужно; иначе как «войти ему в радость», когда наступит день восстания? А день наступит: ибо Россия «не умерла, но спит».

О Н. В. ЧАЙКОВСКОМ

Предварительное замечание

Моей речи, произнесенной 7 мая, в Париже, на собрании в память Н. В. Чайковского, я предпосылаю несколько слов. Они касаются и самого собрания, и статьи Д. Философова «Своеобразная богобоязнь». Статья эта, по существу очень справедливая, — в отношении к данному собранию не совсем точна. Это и неудивительно: автор берет собрание по газетным отчетам, которые все поверхностны, сбиты, и сути речей нисколько не передают.

Конечно, старая, традиционная, архаическая «богобоязнь» еще жива. Еще сказывается наше «демократическое» воспитание. А воспитание, для среднего человека, сильнее всяких последующих переживаний и событий. Всю жизнь повторять, что «религия — реакция», — недюжинная душевная сила нужна, чтобы вдруг приняться за серьезный пересмотр этого положения. Чаще встречаются люди (и теперь особенно часто), которые обладают просто запасом гражданского мужества; такой, очень искренний, человек, оставляя положение не пересмотренным, все-таки идет к религии, *«хотя она и реакция».* Я, по

совести, не знаю, как отнестись к этому явлению. Уж не лучше ли старый атеизм и слепая богобоязнь? Ибо идти к религии, принимать религию, как «реакцию», — значит и действительно найти в ней реакцию. Найти настоящую «религию-реакцию».

Было бы несправедливо, однако, не отметить и некоторый общий сдвиг в нашей демократической интеллигенции. Слово «религия» уже не звучит таким безоговорочным «жупелом», как звучала раньше. Богобоязнь, прежде гордая и обязательная, ныне сделалась стыдлива. Является сознание, что она... не совсем «культурна». И если кое-кто скрывает эту богобоязнь из нового страха — прослыть «некультурным», другие, действительно культурные люди, не становясь религиозными, к позиции религиозной свое отношение изменили. Таков, например, П. Н. Милюков, который даже печатно отказывался от положения: «религия — реакция».

Но традиция дает себя знать тем, что в области религии представители нашей интеллигенции остаются крайне неосведомленными, и в тех случаях, когда им с этой областью приходится сталкиваться (а случаи учащаются), — неосведомленность ведет иногда к примитивным недоразумениям.

Нечто вроде такого недоразумения вышло и на поминках Н. В. Чайковского. Оно прошло незамеченным и в газетных отчетах не отразилось, а между тем значения не лишено.

Обойти молчанием область религии, говоря о Чайковском, было невозможно. Упомянуть о «вере» этого заслуженного народника и революционера, как о «старческой блажи», П. Н. Милюков, конечно, не мог (да и никто этого не говорил, а Милюков, ручаюсь, так и не думал). Но в своей речи он, касаясь, со всей осторожностью, данной стороны, подчеркнул, однако, любовь Чайковского к жизни, к реальности, к материи, из чего, к нашему удивлению, вывел, что «потустороннее его не интересовало». Если бы так, то Чайковского, очевидно, нельзя было бы и назвать «религиозным» человеком; какая уж религия при полном равнодушии к потустороннему? Но тут

повинен общий интеллигентский взгляд на религию: она во всяком случае нечто такое, что непременно отрывает от земных интересов, от земной любви, отрицает материю и плоть мира, все «посюстороннее» во имя «потустороннего». А так как Чайковский, действительно, жил и горел любовью к земному миру, к людям, — то не следует ли из этого, что «потусторонним» он не интересовался?

Мне и Мережковскому, как многим присутствовавшим на собрании, были ясны причины недоразумения. Да и факт, что у Чайковского *был* интерес к «потустороннему», не подлежал сомнению. Мережковский обратился к президиуму с просьбой дать ему слово для некоторой необходимой поправки, но президиум, в лице Н. Д. Авксентьева, отказал ему, находя, что это будет иметь вид полемики, а полемика для данного собрания нежелательна.

Я касаюсь инцидента не для того, чтобы оспаривать соображения президиума, которые имели свои основания, но чтобы сделать поправку к газетным отчетам, где протест Мережковского был отнесен к этой части речи Милюкова, где он говорил о «поколениях». Это было не характерно; и очень характерно, напротив, что в нашей демократической интеллигенции, даже среди наиболее культурных ее представителей, уже отказавшихся от формулы «религия — реакция», уже освободившихся от «богобоязни», — все-таки держится старый упрощенный взгляд на религию: Бог — значит рвись в небеса, а до земли тебе нет дела; дух — значит отрицай плоть и на материю не заглядывайся.

Чайковский был воплощенным отрицанием такого взгляда. Но что он ни делал, что он ни говорил, — никем в *полноте* он понят и принят не был. Принимавшие его дела — не видели его духа; а близкие, казалось бы, духу его — не принимали его дел. На панихиде, в парижской церкви, тоже произошел маленький, незаметный и очень характерный инцидент: кто-то из представителей или представительниц православия известного уклона довольно громко заметил по адресу собравшихся

на панихиду демократов: «Вот пришли революционеры». Замечание было сделано таким тоном, что даже вызвало одного из религиозных демократов на довольно резкую реплику.

Боюсь, что непонимание Чайковского с этой стороны, со стороны лиц, мнящих и называющих себя «религиозными» и «христианами», — гораздо хуже демократической «богобоязни», о которой говорит Философов и которая, как я утверждаю, в нашей интеллигенции мало-помалу исчезает. Следы ее — недостаточная информированность в вопросах религии, — вещь естественная, понятная и, в сущности, невинная; со временем исчезнет, конечно, и она.

Я не сомневаюсь, что Н. В. Чайковского будут вспоминать все с большей и с большей ясностью; образ этого человека поможет понять еще не понимаемую, неразрывную, реальную, *религиозную,* связь плоти и духа.

Н. В. Чайковский

Николай Васильевич Чайковский... Трудно говорить о нем, вспоминать о нем, как о мертвом. Я, по крайней мере, не могу. Этот человек мне близок. И близок в своей сущности, — в той области, о которой и вообще-то говорить трудно: это — область религии.

Однако религиозное исповедание Чайковского есть то, что освещает весь его образ, и увидеть его нельзя, не увидев этой главной точки или не считаясь с нею.

Я говорю не о религиозном миросозерцаньи, а именно о религиозном исповедании. Это две вещи разные. У Чайковского исповеданье — было его кровью и плотью, было неотделимо от существа его, было реальностью всей его жизни. О нем пусто сказать пустые слова: «Носил Бога в душе». Нет, не в душе, — в сознательной человеческой цельности его — обитал Бог. И не отвлеченный Бог, а тот, имя которого он сам называл: Отец, Слово, Дух — в нераздельности.

Веками слышали люди: «Слово стало плотью...» или: «Так возлюбил Бог мир, что Сына своего отдал...» Чайковский не только слышал, но и услышал, и взял это в себя, поняв как-то непостижимо-реально. Отсюда, из реальности понимания, и вся его любовь к человеку и миру, весь путь, вся материя его жизни и деятельности. Высокую ценность ее признают, но называют, как придется: моральной, прекрасной, гуманной, идеалистичной... Говорят о лучах, но не видят, откуда лучи. Не знают, что без источника света не было бы и лучей.

К незнающим, только их тепло чувствующим, Чайковский был беспредельно терпим и милосерден. Он ведь и сам не сразу пришел к полному, определенному осознанию своей веры и к ее исповеданию. Неправильно, однако, называть его путь *исканием истины.* Истина была с ним всегда, верно ведущая, а искал он лишь того, чтобы ее, осязаемую, ощутимую, — увидеть глазами, назвать земным словом. И нашел, и твердо верил, что если он нашел — значит, найдут и другие. От «других» он не отделял себя: все — как он, все — «ближние». Он, *естественно,* не думая об этом, любил ближнего, как самого себя.

Оттого и был терпим к непонимающим, без «проповедничества». Проповедник всегда немножко насильник: слушайте меня! Вы не знаете — я знаю! Чайковский знал; но, веря, что в свое время другие тоже узнают, — лишь *помогал* им, утверждал в них то, что они, уже понимали, в чем, по его мнению, были уже на верном пути. Не навязывал человеку Бога. С каждым говорил его языком. Брал в меру его «возраста». Не высшее ли это милосердие?

Но он был и строг; был и непреклонен. Непреклонен к злу, а строг с теми, кого считал и называл «братьями», с теми, кто говорил, что видит ту же истину, пришел к тому же исповеданию. К ним он был требователен, как к самому себе, и малейшее действие или слово, если оно казалось ему отступлением в сторону, вызывало в нем огорчение и суровую отповедь.

У меня много писем Чайковского. Я прочту два из них, уже последнего времени. Они ярко отражают эту строгость к ду-

ховно-близким, — в данном случае ко мне, — так же ярко отражая и его собственную, главную, сущность.

Но сначала два слова пояснения.

Лето 25 года, последнее лето своей жизни, Чайковский проводил в Медоне, под Парижем. Мы, как всегда, переписывались. Перед тем, как ответить на одно из моих писем, Н. В. прочел стихотворение, тогда мною напечатанное, «Молчи, молчи»... *.

И вот его письмо от 1 августа 1925 г.

«...Спасибо на теплом слове. Совершенно искренно хотел бы ответить вам тем же. Но, к сожалению, должно быть, я *не понимаю* (сбоку: так думает NN, восхищенный и формой и содержанием) ваших мыслей, вложенных в ваши прекрасные по форме, на мой взгляд — *сатанинские* (или, если угодно, байроно-тютчевские) стихи в 23 т. "Совр. Зап.", — по содержанию.

По-вашему: "ни слов, ни слез, ни вздоха, — ничего — земля и люди недостойны...". А кто же их достоин, по-вашему? "Небо и Дух", что ли? Но ведь Они в ваших слезах и вздохах, а тем

* Стихотворение это, на собрании не приведенное, мож. б., для ясности последующего, не будет лишним привести здесь.

Молчи. Молчи. Не говори с людьми.
Не подымай с души покрова.
Все люди на земле, — пойми! пойми!
Ни одного не стоят слова.

Не плачь. Не плачь. Блажен, кто от людей
Свои печали вольно скроет.
Весь этот мир одной слезы твоей —
Да и ничьей слезы — не стоит.

Таись. Стыдясь страданья твоего.
Иди — и проходи спокойно.
Ни слов, ни слез, ни вздоха — ничего
Земля и люди недостойны.

более в словах, не нуждаются. А тем, кто в них действительно нуждается, и кому, согласно Нагорной Проповеди, они предназначаются, вы гордо и легкомысленно отказываете. Только сатана может учить этому, а не последователь Христа.

И дальше: как можно в реальной жизни отделять Дух от Материи? и особенно в реальном человеке. Вон 2000 лет тому назад Воплощенный в Христе Дух победил материю, и тем открыл людям путь к воскресенью. А через 2000 лет усилий и культуры людской материя победила Дух, хотя бы нескольких поколений (материализм, марксизм, большевизм и т. п.).

И теперь нам, грешным, приходится искать *Синтеза* этой борьбы, объединения этих двух извечных начал... в чем же? Не в *одухотворенном* ли *человеке*, не во *Втором* ли *Пришествии Бога* к людям, с тем, чтобы уж навсегда остаться с ними, вселившись в них для жизни *на одухотворенной земле?*

А вы и этих людей, и эту землю объявляете недостойными ваших духовных вожделений...

Не понимаю и протестую!

Не поздно ли возвращаться к остаткам байронизма для того, чтобы в обольстительной форме смущать "малых сих", склонных становиться в *позы* сатаны из-за своих неудач в жизни. (В реальной-то жизни он, сатана, такими пустяками не занимается, а пользуясь удобным моментом смущения духа событиями, кричит: "Грабь награбленное!") Кто же этот "Я", от имени которого вы говорите?..

Мой этюд о "Счастье" не напечатан, а ходит по рукам в рукописи. Я уже давно его не видел. А писать для печати у меня нет навыка, да нет и дерзости, ибо моя плохая память и недостаточность образовательного багажа часто сажают меня в "калоши". Моя сила в интуиции, а ее одной для печати мало. Вот я и пишу для друзей.

Целую вас. Ваш...».

В моем ответе, не в виде оправдания, а в виде пояснения, говорилось, что у всех людей бывают в жизни разные момен-

ты, бывают и моменты сомнения... Они мелькают – и проходят. Но у человека со склонностью писать стихи, т. е. запечатлевать моменты, бывает, порою, запечатлен и этот, темный...

Но, конечно, Н. В. был прав. В данном стихотворении, может быть, и нет того сатанизма, который там усмотрела его взволнованная душа, но я говорю о правде по существу. Не всякий «запечатленный» момент подлежит обнародованию. Это не цензура, а, в сознании ответственности, – свободное самоограничение. Его глубоко понимал Чайковский.

Вот его следующее письмо, уже из Англии, от 15 авг.

«...Очень рад нашей духовной близости и от души благодарю вас за вашу искренность, что избавило меня от лишней занозы в душе.

Из вашего объясненья я понял одно, что я совершенный профан в деле поэтического творчества. Стихов я, действительно, никогда не писал, исключая двух–трех пустяков. И для меня и сейчас непонятно, как это возможно творить в такой совершенной форме с таким чуждым своему духовному существу содержанием? Да, и у меня, конечно, бывают упадочные настроения, когда свет меркнет, вокруг пустота и впереди ничего ясного и захватывающего. Но это меня не только не увлекает до творчества, а, напротив, обессиливает и угнетает. Откуда же у вас берется такая подлая гармония ритма и звука с отрицательным настроением?..».

Пропускаю несколько строк, касающихся моей статьи о Вл. Соловьеве, русской интеллигенции и нашей «близости в вопросах духа и религии»... Вот конец:

«Я сюда приехал на полтора месяца, т. е. до конца сентября, когда надеюсь вернуться в Париж, если мое полупарализованное состояние удастся выправить. Если же оно превратится в настоящий паралич или останется без перемены, мне возвращаться не придется, а считать свою активную жизнь оконченной. Дай Бог сохранить способность хоть продолжать свои воспоминания. Сейчас могу ходить только очень медленно и на короткие расстояния, и не могу делать руками никаких уси-

лий, — даже писание этого письма утомляет и требует отдыхов. От души обнимаю вас. Ваш...».

Письмо написано уже гораздо более слабым почерком, нежели предыдущее. Н. В. относился к смерти с совершенной простотой. Часто встречаются люди, которые говорят, что не боятся смерти. Но видеть человека с такой ощутимой, действительной небоязнью смерти — мне не приходилось. И это — при полной, молодой, любви к жизни, которую Чайковский вовсе не идеализировал. Назвать его «идеалистом» так же *мало*, как назвать моралистом. Сила, помогавшая ему соединять бесстрашие перед смертью с любовью к земле, к земной жизни, — была уверенная вера в неистребимость бытия истинного, в вечность жизни преображенного мира и человека-личности; вера, что «людям открыт путь к воскресенью...».

Чайковский был *новый* религиозный человек. Не потому, что исповедовал новую религию, а потому что принял ее, исповедовал ее, *по-новому — реально*, так, как примет ее лишь грядущее, новое человечество.

Не проповедник. Но для всякой живой души — его жизнь, его образ, сам он, в целостности своей — наилучшая проповедь религии Отца—Слова—Духа, которую он называл религией «Счастья».

Николай Васильевич Чайковский умер? Какая неправда! Если мы сами, сейчас, не мертвы, то не можем мы не чувствовать, что, вот, он здесь, — живой среди живых.

СТИХИ, УМ И ГЛУПОСТЬ

Вопрос об уме и глупости поэзии — старый вопрос. Его отчасти коснулся В. Ходасевич («Дни»): «Ныне, — говорит он, — поэзия русская переживает тяжелое испытание... испытанье глупостью». «Пора сказать откровенно и попросту, что она — отчетливо поглупела». Но далее, как на образец этой поглупев-

шей русской поэзии, критик указывает на поэзию... подсоветскую. А в конце концов и сам оговаривается, что слово «поэзия» тут можно употреблять — лишь по привычке называть им писанное короткими строками. Общий вопрос об уме и глупости поэзии остается, таким образом, в стороне. Но любопытен и частный.

О «коротких строчках» советских производителей и о самих производителях было бы несправедливостью сказать: «глупо». Нейдет к ним это слово, не совсем прикладывается. С одной стороны — слишком нежно, с другой — слишком сурово. Глупость — это особенное человеческое свойство, часто природное. Глупого нельзя жалеть (да и нечего, он хорошо себя чувствует) и с глупым нельзя бороться.

Совсем другое дело — так называемые «обломы» или «оболтусы». Из них именно и состоит «орда ничевоков» (по определению Ходасевича), т. е. представителей советской «поэзии». В старое время говаривали: и что это за оболтус растет? Драть бы его, небось, поумнел бы. Среди данных оболтусов есть, конечно, глупцы натуральные, «урожденные», но большинство — глупцы искусственные. Попробуйте человека, потенциально неглупого, с самых малых лет — драть, и драть, — если позволено так выразиться — в определенном направлении, т. е. упорно вышибая из него ум. Тут, полагаю, и гений вырастет оболтусом. Какое же имеем мы право требовать от этой несчастной «орды» ума, да еще «поэзии»? Какого чуда ждем?

Уповать на чудо всегда можно, но не всегда утешительно. Потому, должно быть, не утешает меня теория моего старого друга «оптимиста»: он заверял, что освобождение и возрождение России немедленно начнется... едва лишь там явится новый Радищев. Очень хорошо. Но чтобы он явился — нужно чудо. Есть ли вероятия явиться ему естественно, без чуда?

Различить, у кого из подсоветских «поэтов» глупость натуральная, у кого искусственная, от «дранья» — уже нет возможности. Вот эти, например, строчки:

Замахнулся арканом ужас,
Мы мрем, но стоит напружась, —

кто их написал? Как ручаться, что этот самый человек, родись он на 20 лет раньше или на 20 лет позже, — такую же писал бы идиотическую дрянь? А Пастернак, — природное у него «лопотанье» или приобретенное, вбитое?

Нет, по этим «несчастненьким» мы не узнаем, глупеет ли русская поэзия. Их надо сбросить со счета. Надо посмотреть на действительную «русскую поэзию», на ее линию вчерашнего и сегодняшнего дня.

Соглашаюсь с Ходасевичем: в последние годы перед перерывом, — дореволюционные, — некоторое поглупение замечалось. Между 1905—1917 тяга к оглуплению стихотворчества весьма была ощутительна. Не то, что глупцов стало рождаться больше: их всегда рождается какое-то одно, определенное, таинственное, количество; но при общей тяге, поветрии, моде, — и не глупцы считали нужным притвориться дураками. Впрочем, от природных несмышленышей отличить их было не трудно. Последние, в нормальных условиях жизни, ярко видны.

Видны эти несмышленыши и теперь, здесь, в приблизительно-нормальных условиях эмиграционной жизни. Процентно их даже не больше прежнего. Но общая тяга к глупости — решительно прошла. Поэтому я не сказал бы, что сегодняшняя русская поэзия — глупеет. Напротив, у нее тенденция — умнеть. Она уж стыдится всяких «заумных» языков и недавней, комичной, претенциозности; она тщится восстановить свою правду и простоту. «Урожденные» пребывают, конечно, как созданы; они всегда — ни с места. Но не они же делают поэзию. Хороши бы мы были, если б вздумали о ней судить по таким, например, беззаветным глупостям: «проходило» какое-то «Дево, прозябши клас, полем, дуновеньем весен и молитовками Нила». Оно проходит, — а «на вешней воле сверк и синь, ручейки трясутся, мошки...». Вдруг, «из-за дверцы худоватой

слышен голос грудоватый»... и т. д. Или: «На самой несравненной стороне моей души — для Вас — горит бумага...», «щегольское пламя хватает поцелуи. Голова моя глядит на брошенную Вами смешную тень в пол комнаты».

Эти глядящие головы и грудоватые голоса с «полом» в неизвестном значении я беру из тощенького сборничка (изд. «Благонамеренного»). На нем написано: «Шаховской. Предметы». Книга в продажу не поступает. Цена 0,20 долл. Внутри — предметы, вроде цитированных. Бесполезно доискиваться, кто, что, о ком, о чем и для чего. И если бы здесь, в эмиграции, выходили в свет все такие «предметы», то пришлось бы без всяких оговорок согласиться с В. Ходасевичем: да, русская поэзия поглупела и глупеет с каждым днем.

Но, к счастью, Шаховской из «урожденных»; в этом качестве он — «вечник», и, говоря о современной, сегодняшней, русской поэзии, мы спокойно можем им не заниматься.

Вот две новые книжечки двух молодых поэтов, на которых я остановлюсь. Сразу скажу, что стихи — не совершенные, авторы — поэты не законченные, лишь «становящиеся». Но в этом становлении — главный их интерес, так как обе книжки относятся к сегодняшнему дню нашей поэзии, — а может быть, и к завтрашнему.

Поэты — И. Оцуп («В дыму») и Ю. Терапиано («Лучший звук»). Книжки были уже отмечены в печати. В. Ходасевич, в справедливой статье своей, берет их вместе и проводит между ними тонкие параллели. Признаться, мне тоже хотелось сначала подчеркнуть их общность, но, после внимательного чтения, меня заинтересовала разнострунность этих двух лир (чтобы выразиться по-старомодному), различность этих двух душ. И то, что при такой непохожести, общность между ними остается, — общность времени, поэзии и ее современного уклона к «поумнению», — кажется мне особенно значительным.

Ю. Терапиано, говорит Ходасевич, знает себя, хорошо взвесил свои возможности, в нем чувствуется холодок расчета. На мой взгляд — Терапиано мало себя знает; интересуется со-

бою, — в хорошем и нужном смысле («О, дай мне видеть подлинный твой лик...»), — но ему еще некогда: слишком захватило его то, что вокруг. Он смотрит назад; прилепляется к тайнам древности; он увлечен Востоком, — именно увлечен. Многие из увлечений, конечно, пройдут; но от хороших увлечений всегда остается след, известное знание, известная расширенность взгляда. Благодаря темам, у Терапиано есть склонность к излишней торжественности; но это не значит, что он не чует и прелести простоты. Во всяком случае — он везде хочет быть понятным и отнюдь не боится «мысли» в стихотворении, — ума в поэзии.

Я не могу угадать, в чем найдет Терапиано себя окончательно, где будет его «подлинный лик». Но и не нужны преждевременные догадки. Нужно только подчеркнуть, что тут есть движение и что лик свой поэт может найти, если у него хватит на это воли. Ибо поэзия требует не только таланта; она требует еще многого другого, и, между прочим, воли.

Николай Оцуп — старше Терапиано, и его движение уже гораздо яснее, нагляднее. Помнится, несколько лет тому назад я писал о его первых стихах; утешительного в них было мало. Не то, что определенно-подражательные, — они были не индивидуальны, не свободны, и очень соответствовали атмосфере и состоянию тогдашней, предпереломной, поэзии. Это были, в большинстве, условные стихи, даже недурные по форме; но они-то были, а поэта — не было. Это отсутствие недоказуемо; однако всегда несомненно, потому что стихи без поэта — почти не «слышатся», и так же не увлекают, как не насыщает хлеб, сделанный из папье-маше. К счастью, Н. Оцуп и тогда был не ровен; если бы ровен — не стоило бы и указывать ему на его беду, предупреждать об опасности...

Теперь, в этой последней книжке, он тоже не ровен. Но это уж другая, — отрадная, — неровность: мутное старое облако отходит, лик поэта, прежде едва сквозивший, становится все яснее. В книжке Оцупа перебойное движение — вперед — почти осязательно: стоит лишь поставить рядом какое-нибудь

его раннее стихотворение с любым из последних, помеченных 26 годом: «Душа моя», «Стук сердца», «Не все ожесточились» и т. д.

В. Ходасевич говорит, что Оцуп «стремится выйти из себя», признавая, однако, что эти «выхождения» — самое в нем интересное. Не точнее ли назвать их поисками и «нахождениями» себя? Поисками — во всяком случае; а ищущий, как известно, всегда находит, если только искать не устает.

Книга Оцупа — зрелее книги Терапиано; последний еще смотрит вширь, первый — уже вглубь. Но они оба, при всей их индивидуальной разности, находятся на той же линии русской поэзии, линии, идущей в ту же определенную сторону: к новой простоте, к новой — и вечной — глубине.

Нет, поэзия завтрашнего дня не будет бояться ни скромной одежды, и «мысли»; дикарское увлечение яркими побрякушками и заведомой глупостью — прошло. «Урожденные» останутся, конечно; недаром есть хорошая пословица: «Quand on est bête, c'est pour longtemps» *, и другая, особенно значительная в наше время: «Дурак красненькое любит». Но до таких, с их любовью, нам дела нет. Нам важно, чтобы жила и росла поэзия, жили и вырастали поэты, т. е. люди, прежде всего понимающие, что такое поэзия.

Тут я, на мгновение, возвращусь к началу, к вопросу об «уме» поэзии. И в постановке более широкой, общей, вне всякой современности. Защитники глупости приводят, обыкновенно, пушкинские слова: «Поэзия должна быть глуповата». Или тупо твердят: «Настоящий поэт поет, как птица». Я не знаю, стоит ли считаться с этими доводами, серьезно на них возражать. Они сами собою падают при малейшем понимании, что такое поэзия и что такое поэт. Как бы хорошо ни пела птица, она поэзии не создает; для этого нужен поэт, человек, обладающий известной совокупностью положительных человеческих свойств (не только ума, конечно, но и ума). Чем со-

* «Если глуп, то это надолго» *(фр.)*.

вершеннее внутренняя сгармонированность, т. е. **личность** поэта, тем совершеннее его поэзия. Пушкин, один из умнейших русских людей, обладал этой таинственной, неопределимой и неповторяемой сгармонированностью в высшей степени. Если он сказал: «Поэзия должна быть глуповата», он разумел не «глупую» поэзию, — а тот луч «умного безумия», который часто кажется глупым — глупостью.

Поэтическое творчество, само по себе, — не есть **нормальное** состояние человека. Оно, по качеству и свойству (о мере я не говорю), есть тот же «мистический экстаз», явление, в сущности, не исследованное (да, вероятно, и неисследимое), которое так гениально определяет Рейсбрук. Удивительный это момент полного **единства личности,** высшая точка ее гармонии. Личность в ее «triple unite» *.

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон —

все, что должно собраться в узел — пребывает в поэте нормально-разрозненно; но должно пребывать, быть, чтобы в момент «священной жертвы» слиться в сверхнормальном единстве...

Повторяю: проводя параллель между поэтическим творчеством и экстазом, я не говорю о мере, степени, о количестве. Я говорю об этих двух явлениях в категории **качества.** И тут они оба — одно и то же. Оба предполагают **обострение** всех человеческих способностей как чувственных, так и умственных.

Русская поэзия? Если ей суждено возрастать и крепнуть (чему верится!) — молодые поэты пойдут вперед обновленным путем: они будут искать **себя,** чтобы по-своему понять мир и по-своему, по-новому, отобразить себя **в нем.**

Долгий, трудный путь. Он едва намечается. А все-таки намечается. И Оцуп, и Терапиано, и многие другие, при всем их данном несовершенстве, уже видят его. И тот, у кого хватит сердца, воли и ума — найдет в себе настоящего поэта.

* «тройном единстве» *(фр.)*.

ЛИК ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ И ЛИК ВРЕМЕН

(«Недавнее»)

Не совсем в обычае — давать отзыв о книге в журнале, редактор которого и автор рассматриваемой книги — одно лицо. Но меня это не стесняет: когда я пишу, мое внимание занято исключительно произведением, о котором пишу, и ничем более. В данный момент я не интересуюсь редактором «Звена», а лишь «Недавним», книгой, передо мной лежащей, и ее автором.

1

Книга эта выросла органически. Она писалась в продолжении долгих лет, очерк за очерком, «под свежим впечатлением смерти людей, с которыми судьба связывала автора на общественном поприще». Как все книги, написанные не сразу, она не имеет внешней ровности: автор жил вместе с нею, он настолько же старше себя в позднейших очерках, насколько они старше ранних. Знал ли он сам, отмечая первых умерших, во что выльются эти отметы? Кое-что, вероятно, знал. Уже в предисловии к первому изданию, десять лет тому назад, он подчеркивает: «...все они... политики, адвокаты, судьи, писатели — отражают ту общую интеллигентскую среду, которая давала тон общественным и литературным настроениям последнего полустолетия...». Еще через десять лет, — самых, может быть, страшных лет для России, — выпуская второе, дополненное, издание, автор говорит: «Пережитые годы нанесли тяжелый удар нашей культурной традиции... Обрываются одна за другой живые нити, связывающие два поколения, стушевываются образы людей, затемняется смысл их творческих усилий...». И прибавляет, очень справедливо, что если память о крупных людях еще будет воссоздана, то образы других, индивидуально менее значительных, но важных для познания духа времени, — могут стереться. «Долг современников, — говорит он, —

увековечить и сохранить их образы», потому что если «самые идеи поворотных моментов истории можно понять и не зная их носителей», то дух времени, действительно, «поймет только тот, кто прикоснется — хотя бы через слабое литературное отражение — к живым лицам, творцам и носителям священных заветов».

Итак — первые беглые очерки, почти некрологи, постепенно выросли в целую портретную галерею, и, наконец, в книгу с двумя определенными заданиями, или с одним, двойным: воскресить образы живых лиц и дать почувствовать атмосферу, воздух времени, которым они дышали.

«Недавнее» — есть книга *литературно-историческая;* с этой точки зрения она и должна оцениваться.

2

Рисуя образ живого человека, мы не можем, конечно, не коснуться его времени, его среды; он от них неотделим. Но из этого еще не следует, что достаточно с талантом, с вниманием и любовью к этому человеку очертить его образ — и воздух его времени ярко почувствуется. Нет, нужна, кроме любви к человеку, и равная любовь к его времени: лишь такие очерки можно назвать не чисто литературными, но литературно-историческими.

Положим, и вообще воссоздание человека, который был действительно, жил действительно, имел определенное имя, делал определенные дела, — задача неимоверно трудная. Это гораздо труднее, чем создавать людей, «примерных», по своей фантазии и наблюдениям. В последнем случае все решает художественный талант. Но чтобы воскресить *живой* лик — таланта или слишком много, или слишком мало. Требуется еще что-то, иное. Нужно уменье связывать себя верностью реальной жизни. И необходим, конечно, момент всепоглощающего интереса к данному человеку, до некоторого «заражения» им, до взгляда не только *на* него, а также *из* него. И все-таки, даже при этом, мы не в силах «проникнуть во всю душевную ткань

другого». И дать *всесторонний* образ живого человека еще никогда, никому, в полноте не удавалось. Поэтому можно говорить лишь о *мере*, в какой берущийся за эту задачу приблизился к ее решению.

Да и желательна ли идеальная полнота, всесторонность? Она могла бы лишить книгу такой ценности, как ее автор. За лицами изображенными мы не видели бы его собственного лица, его взора, его воли, его отношения к истории и жизни. А лишь это «делает книгу», то есть дает ей душу, связывает единством.

У М. М. Винавера — громадный интерес к индивидуальности, к личности как таковой. Стремление «проникнуть во всю душевную ткань человека» дает ему, порою, способность и «заражаться» личностью того, о ком он пишет. Но рядом с любовью и вниманьем к человеку, в нем живет и неусыпная, столь же сильная, любовь и *ко времени*, которое он описывает. Его подход к личности всегда один: со стороны общественной. Освещается, прежде всего, эта сторона. Да разве не отсюда выросла, органически, и вся книга? Разве не говорит автор, в самых первых строках первого предисловия, что это — рассказ о людях, «с которыми судьба сталкивала его на *общественном* поприще», и рассказ о том, «как всякий из них, в меру своих сил и соответственно своей индивидуальности, боролся за право и свободу»?

Таков подход (иногда автор как бы намеренно вводит себя в это русло, в единообразие метода). Но почти каждый очерк, — внутри, — расширяется: сквозь и через «общественную деятельность» мы начинаем видеть «душевную ткань» человека, как ядро. Или же автор ищет какую-то одну, главную, всеопределяющую черту личности — и находит ее.

Повторяю, книга, подобно всем органическим книгам, — не ровна: очерки разномерны и разноценны. Но в каждом, — так или иначе, — отразилась и *личность*, и *общественность*. Их «полярность» и вопрос о каком-то необходимом синтезе между ними, — уже понимал Спасович; но этот бездонно-глубокий

и важный вопрос был ему не по силам, а, главное, — был не по времени... К Спасовичу я, впрочем, вернусь, пока же — несколько слов о Пассовере.

3

Этот «сфинкс», по выражению Андреевского, нарисован в книге М. Винавера резкими и тонкими чертами.

Мне пришлось видеть его лишь мельком. Но он сразу производил впечатление именно резкости и тонкости. И еще была в нем, пожалуй, какая-то внутренняя, скрытая тяжесть, куда-то его неодолимо уводящая. Кажется, Урусов сказал о нем однажды: «Пассовер? Да он *всегда уходит...*».

Очерк о Пассовере отягчен, по-моему, излишними профессиональными подробностями, характерными для него как адвоката, но к самой фигуре прибавляющими не много. Этот «всегда уходящий» человек, в невидимом кругу заключенный, англоман, еврей — и русский, служивший родине воистину «всем разумением своим», — не оставил после себя ни одной строки, ничего, кроме памяти о нем тех, кто его знал. М. Винавер воскрешает живой образ, действительно «возвращает его из тьмы» — для новых людей (по удачному выражению одного молодого критика). И дает почувствовать, — это главное! — что среди общественных деятелей того времени образ Пассовера — не случаен, что он там нужен, что он что-то дополняет, поясняет, подчеркивает.

Так же, как и его, во многих отношениях, противоположность — Спасович. Грузный, живой, общительный, остроумный и авторитетный — он показан М. Винавером во всем его блеске. Спасовича мне доводилось встречать лишь среди литературы. У него, на Кабинетской, в созданном им «шекспировском кружке», собирались все видные писатели того времени, да почти и все адвокаты. Там читал свой доклад Урусов о Ницше, — восходящей звезде, — и его «смеющихся львах». Ранее — Боборыкин об Оскаре Уайльде... Спасович был очень тонкий литературный критик. Говорил на этих вечерах посто-

янно, и речь его, с заметным польским акцентом и с неожиданными оборотами, придававшими ей силу, неизменно была увлекательна. «Когда соловей своей соловьице строит куры...» — говорил он, и нам казалось, что именно так, а не иначе, нужно в этот момент сказать, чтобы быть убедительным.

М. М. Винавер подметил очень важную его черту: свойство охватить предмет сразу, в полноте и цельности, и сразу давать его окончательный отпечаток. Вообще — Спасович нарисован превосходно, и очерк этот один из самых удачных во всех отношениях. Спасович был разносторонен, резко индивидуален и глубок, — но глубиной *своего* времени. А, собственно, время его трудно определяемо: он попал на один из внутренних переломов. В юности — еще влияние западной романтической школы, гегелианство, — и очень быстрое освобождение от этого влияния, когда-то чрезвычайно сильного в России, но ко второй половине прошлого века уже ослабевшего. Следы его, однако, оставались — остались они и в Спасовиче. Он носил в себе, в своей метафизике, то, что называлось «болезнью века». Перед ним, как перед многими современниками его, с новой ясностью вставали вопросы, старые решения которых уже не удовлетворяли, а для новых — не исполнились времена. Да и слишком действенный человек был Спасович, чтобы задерживаться на теориях. Он жил — и воплощал то, что могло быть воплощено в данный момент.

Я потому так долго останавливаюсь на Спасовиче, что в книге М. Винавера он взят с исключительной разносторонностью. Душевная личность изображена, в ее психике и метафизике, с почти совершенной полнотою; и при этом не в оторванности от своих времен, а в связи с ними.

Кстати, тут сказалась в авторе очень ценная черта — способность быть объективным.

Я говорю, конечно, о той *мере* объективности и самоотвлечения, которая необходима для подобных очерков. Не важно ли, воскрешая образ человека, уметь «заражаться» им, входить в него, уметь взглянуть *из* него? А как сделать это без ка-

кой-то меры объективности? Это не мешает автору «Недавнего» всегда *присутствовать* в книге. И, конечно, из тех «спутников», о которых он нам рассказывает, он любит одного больше, другого меньше; но нигде стремление к объективности не покидает его, и чем вернее ее мера, тем удачнее очерк.

Например – Андреевский. Автор не то, что меньше «любит» его, но Андреевский не так ему близок, чужд кое в чем, самом для него заветном. Это естественно: Андреевский, со своим уклоном в литературу и в чистый эстетизм, был несколько чужд и своему времени; главный пафос его – не был пафосом тогдашней передовой русской интеллигенции. М. Винавер так и подходит к нему. Но именно способность найти меру объективности позволяет ему нарисовать этот образ особенно любовно, подчеркнуть все его обаяние. И мера не перейдена: в конце – автор оставляет за собой право сказать несколько слов о слабостях человека, о его маниакальном отношении к смерти, иногда «смахивающем на садизм»... Это – уж точка зрения автора и доказательство, что он, при объективности, все-таки нигде не «отсутствует».

4

Мне жаль, что я не могу остановиться на всех очерках, достойных отдельного внимания, а также рассмотреть некоторые из них с чисто художественной стороны. Впрочем, с этой стороны подходить к «Недавнему», – книге не только литературной, но литературно-исторической, – было бы ошибочно. Меня интересует, главным образом, как ответила она своему двойному заданию: показать нам живые лица и передать дух времени.

Любовь к индивидуальности, к лицу, помогла автору решить первую часть задачи: воскрешенные им, «возвращенные из тьмы» люди – живут. Что касается второй части, – второй любви автора, ко «времени», – на ней я хочу остановиться: мне кажется, что значение книги тут шире, чем, быть может, думает сам автор.

Он говорит: вот люди «последнего полустолетия»; вглядевшись в их лица, можно понять дух времени, которым они связаны.

Я этого не отрицаю. Я лишь прибавляю, что есть между ними еще иная связь и что в книге, кроме духа времени (или времен), отразился также дух *эпохи.*

Эпоха — нечто, не ограниченное никакими определенными годами. Можно сказать, что эпоха включает в себя много «времен». Их не мало и в книге Винавера; разве одно и то же «время», с одним и тем же «духом», годы семидесятые... да что семидесятые! даже девяностые, — и годы первой революции, первой Думы? Сами очерки, в зависимости от того, когда, о ком они писались, — разнятся между собою, до манеры письма. «Рассказы» о Муромцеве, Колюбакине, Кокошкине овеяны особой, прозрачной и молодой нежностью. Совсем другая *атмосфера,* чем, например, в «Судье тишайшем» (Проскуряков, 1904), хотя и тут рисунок очень нежен.

Переливы, смены времен, иногда почти неуловимы. Внешние события, — крупные или мелкие, — могут менять времена. Но *эпоха* — завершается только внутренно.

Из тех людей, о которых нам рассказывает М. Винавер, многие связаны временем; но все — связаны духом одной и той же эпохи. Мало того: и с нами, до самого младшего сегодняшнего поколения, они связаны этим духом: мы все — люди одной эпохи. Начавшись где-то около декабристов (заря «борьбы за право и свободу») — наша эпоха еще не завершена.

«Недавнее» — лишь кусок жизни. То, что видели глаза одного человека. Дает ли какой-нибудь единоличный труд, единоличное произведение — больше?

И если в книге действительно живут отошедшие, живет дух времени и дух эпохи, — как в книге М. М. Винавера, — автор может с правом сказать себе, что он «исполнил свой долг»: не только долг человека своего времени — но и человека нашей эпохи.

О «ВЕРСТАХ» И О ПРОЧЕМ

К журналу «Версты», — недавно вышедшему толстому зарубежнику, — я намереваюсь подойти весьма просто. Просто исследовать, что это такое.

Для этого мне совершенно достаточно «ума холодных наблюдений»; а «заметы сердца», горестные или не горестные, пусть делают читатели.

Предупреждаю, впрочем: исследовать факт я буду все-таки с определенной точки зрения: не левой и не правой, не новой и не старой, очень широкой, но очень определенной — *общечеловеческой.*

Есть такое понятие: «человек» и «человеческая» точка зрения. Она приложима ко всем предметам, во всех областях. И даже так, что взгляд «по-человечеству» в конечном счете и решает все.

Зачем, однако, объяснять? Это понятно каждому. Другое дело, когда человек «забывается», т. е. забывает себя, как человека. Но забытье, у нормальных людей, может проходить. Неизменны лишь органически-дефективные индивидуумы, от природы не понимающие, что такое «человеческая» точка зрения, и вообще лишенные внутреннего критерия.

I

В журнале «Версты», хотя он и зарубежный, сотрудников-эмигрантов почти нет. Кроме руководителя, двух—трех «ближайших участников» (главные — Цветаева и Ремизов) да несколько евразийцев, в журнале печатаются исключительно советские писатели, сотрудничающие в Красных Нивах, Красных Огоньках, Лефах, На Постах и других коммунистических изданиях.

Официальная позиция «Верст»: «Лицом к России!». Лозунг не новый; между прочим, он имеет (особенно при начале) большие выгоды; какие — я скажу ниже.

Мы знаем все группы, которые уже выступали ранее с этим лозунгом. Как ни разнообразны они были, вот факт: у очень многих из них оказывалась в конце концов та же позиция: «лицом к... советам». Почему — слишком долго было бы разбирать. Но положение группы «Верст» — особенно отчетливое. Это группа литературная, и призыв ее — есть призыв «стать лицом», прежде всего, к русской *литературе*, к новейшим «достижениям» искусства в России. А по причинам, — далеко не тайным, но которые я далее еще раз подчеркну, — стать лицом к этим «достижениям» нет ни физической, ни нравственной возможности, не став, в то же время, «лицом к советам».

И эту свою позицию, — не официальную, — «Версты» даже не слишком тщательно и прикрывают. Позиция обязывает ко многому; между прочим — к огульному поношению эмиграции, с непременным обвинением ее в контрреволюционности. Мелкое обязательство, но журнал усердно выполняет и его.

По правде сказать, «Версты», для нас, ни с какой стороны не новинка. Журналов и газет подобного типа мы достаточно перевидали. В общежитии они звались «сменовеховскими». Теперь это слово устарело, а в приложении к «Верстам» и совсем не точно: были ли у руководителей какие-нибудь старые вехи, которые они могли «сменить» на новые, на теперешние... версты, указующие путь в Москву?

Вот, впрочем, кое-что и «новенькое»: в прежних журналах данного типа такой вещи не замечалось. Это — сопряжение разных «Артемов Веселых», их типографских точек, разделяющих предлог «в» и слово «мать», — с «протопопами Аввакумами», и еще со многими, имена которых, чтимые в России, я даже не хочу здесь, в строку, и выписывать. Откуда им, что они очутились под желтой обложкой «Верст», в таком соседстве?

Странное обстоятельство; но объясняется оно просто. У «Верст» оказались попутчики: евразийцы. Пристали они к «Верстам» благодаря тому, вероятно, что официальные знамена обеих групп украшены одинаковым лозунгом: «Лицом к

России!». И обе группы явились со своим багажом: центральная – с Артемами, с их точками, со всеми «стервами» и «гноями» * новейшей русско-советской поэзии; евразийцы – с Аввакумами, сказаниями и разными разностями из «древней Руси».

Что ж? Они, вероятно, думают, что этим только расширяется понятие России, к которой надо «стать лицом». Да и по существу эти группы соединены теснее, нежели кажется. Кроме общего внешнего лозунга, их связывают еще многие внутренние нити...

Но евразийцев я здесь не касаюсь, я взял их лишь для объяснения кажущегося «новшества» «Верст». Евразийцы полезны, они усиливают «националистичность», или «патриотизм», «Верст». А я уже упоминал, что эта печать очень выгодна сейчас для всякого журнала. Она – как надпись в итальянских музеях: «è vietato di toccare» **. Или краска защитного цвета.

Почему?

А вот почему. В нашей интеллигенции, во всех слоях, издавна живет какая-то робость. Какая-то боязнь «отстать» или вообще оказаться не в курсе общепризнанного дня. Маленький пример из области искусства: некто, человек неглупый, очень талантливый и с большим именем, истерзал себя, перед войной, – футуристами: а вдруг они ему не нравятся потому, что он устарел? А вдруг это новые победители? Неужели, сделав усилие, он их не поймет?

И он делал эти усилия, до скрежета зубовного; и писал «циклы» статей, утверждая гениальность «революционеров языка», «новаторов духа» и т. д. (Имени страдальца я не назову, хотя он вернулся в сов. Россию, опять, может быть, терзаясь, что чего-то не понимает в большевиках.) Конечно, это пример слишком резкий, и сама по себе такая боязнь – непло-

* Беру эти слова как цитаты из поэтического отдела «Верст».

** трогать запрещается *(ит.)*.

хая вещь. За «ordre du jour» * следить надо, только не слишком внешне и не слишком покорно.

Один из «ordre du jour» в эмиграции — «Россия». Это естественно, это так и быть должно. Лицом к России... еще бы! Кто из нас может отвести от нее глаза? Однако психология робости и тут находит себе место. Страшит каждое «неосторожное» (могущее быть не так понятым) слово, и в чужих, и в своих устах. Страшит даже «непримиримость»... Самые непримиримые, самые сознательные, и те пространно объясняют, что если они непримиримы к большевикам — это еще не значит, что они не любят Россию или хотят «старой» России (как будто это нужно объяснять! Как будто сама непримиримость не лучшее свидетельство этой любви!).

Слишком тонкие объяснения порою действуют обратно: усложняя простое — затуманивают ясное. Например, Степун недавно развивал мысль, что непримиримость нужна, и даже крайняя, но исключительно духовная, к *духу* большевизма. И особенно нужна, говорит он, такая непримиримость для стоящих на позиции, «на которой стоим мы — Пешехонов, Кускова и я».

В искренности г. Степуна нельзя усомниться. В его непримиримости тоже. Полагаю, что не откажутся от непримиримости и Пешехонов с Кусковой, если «сие надо понимать духовно». Область чисто духовная имеет свои преимущества: в ней каждый может пользоваться совершеннейшей индивидуальной свободой, ни к чему не обязывающей. Один почувствует «дух» большевизма там, где другой его не почувствует и не усмотрит, а правы, по-своему, будут *оба:* с устранением реальности исчезает объективный критерий.

Это нам подтверждает сам Степун — своим сочувственным отношением к руководителю и всей группе нынешних «Верст». Что ж такое, если А. или В. усматривают там «дух» большевизма? Он, Степун, не усматривает. Телесные знаки для него не

* веление дня *(фр.)*.

доказательства. И повторяю: он глубоко, со своей точки зрения, прав.

Психология «осторожности», заставляющая вдаваться в излишне тонкие разъяснения своего патриотического credo, — она же замыкает все уста перед «смело» начертанным, магическим лозунгом: «Лицом к России». К какой России, для чего, и кто поворачивается — в этом принято не разбираться... по возможности дольше. Если же заветное знамя выкидывают люди, причастные к литературе, к «искусству», — они застрахованы вдвойне: искусство принято (опять принято) считать вне политики, большевизм же принято (еще раз принято) относить к политике. Можно, значит, не беспокоиться, и «постороннего духа» в данной области не искать.

Основываясь на всем этом, я предполагаю, что появление еще одной группы, тянущей «в Москву! в Москву!», не вызовет в эмиграции определенного отклика. Разве только в литературных кругах: там может появиться профессиональная оценка «достижений» Артема Веселого и конструктивистов, или отповедь какого-нибудь, лично обиженного «Верстами», писателя-эмигранта.

Но пора и нам заняться «искусством» «Верст». Человеческая точка зрения не помешает, — напротив. Взгляд «профессиональный» отметит больше подробностей; может, иногда на подробностях и остановиться; но с «человеческим» взглядом, в конечном счете, он в противоречии не окажется.

II

Все старое прошло и сгинуло, объявляют «Версты». Эмиграция — нуль. Она творить больше не может. Пожалуй, лишь «дотваривать», чего не успела в свои старые времена. Истинно новые творцы — в России, приобщившиеся к ее новой жизни. Впрочем, создается «прекрасное» и здесь, — теми, кто повернут к сегодняшней России, кто прислушивается к ее песням.

Таково положение. Чтобы его доказать, а, вернее, для того, чтобы все могли к песням прислушаться, — «Версты» и напол-

нили ими свои страницы (первый промах: не следовало быть столь щедрыми...).

Особенно богат поэтический отдел. И так ярок, что один дает представление обо всем остальном.

Цитат искать не нужно: все строчки одинаково годятся. Я не могу их выписывать с типографскими «новшествами», вроде печатных треугольников и т. д. (лет 30—40 этим новшествам): никакой газетной бумаги не хватит. Но я, хотя и в строку, сделаю несколько цитат абсолютно-точных, буква в букву, со всеми знаками препинания, даже когда они стоят посреди слова. (Тире — делят строки.)

«...Пэх дою — А ну даю — Пошевеливаю — Даю (трижды) — *Пошевеливаю...». «Жизня горьки слезы — Эх — в.... мать пять годиков я тут так — отчубучил».* Следующая страница, продолжение: *«Бей буржуев деньги надо... Пощады ни кто ни желаааааааает — Братишки... — ... мать...».* Далее идут куски прозы, такой же. Взято из *«Леф № 1 1925 г.».* Посмотрим, что взято из *«Госплана»:*

«Ехали казаки ды на башке? па?пахи — Скулы испобриеты, — П'коленями лея? Навараживает — Но. Эх». «Дыплыло сало от обстре?ла в язвы и гной». «Опалило поры?хом смердючье полыме»... Теперь *«Мена всех»,* поэты-конструктивисты из Москвы: *«Аха иночь-ги,? сон'ы прох?ладыда — И доносится толико стон? (эс) гиттарарары — Таранти?на...».*

Ну, хорошо, оставим это, соглашаюсь, слишком штучки известные, старенькие... Взглянем на нового, новейшего — на великого Пастернака (таким называют его «Версты»). Мне сказал один читатель, свободный от «предрассудков», жадный к любой новой книге: «Я готов на все, но только надо сделать выбор: или наш русский язык — великий язык, или наш Пастернак — великий поэт. Вместе никак не признаешь, не выходит...».

Чем же щегольнул в «Верстах» Пастернак?

Да ничем особенно, его «достижения» известны: *«Гальванический мглой взбаломученных туч» «пробираются в гавань*

суда...» «Расторопный прибой сатанеет от прорвы работ» — «и свинеет от тины...» Далее, конечно, о *«тухнувшей стерве, где кучится слизь извиваясь от корч — это черви...»* Образы не молоденькие, но у новейших советских знаменитостей к ним особливое пристрастие: должно быть, старым считается буржуазно-помещичий Соловей с розой, так лучше хватить подальше. И хватают: редкая страница выдается без стерв, язв, гноев и всего такого. Открываю совсем наудачу какую-то «Новеллу»: *«В оскале ботинка гнила нога — И зевала рана по храпу». (Москва—Ленинград.)*

У здешней великой, — у Марины Цветаевой, — стерв меньше, зато она, в поворотном усердии своем, перемахивает к довольно запредельным «новшествам»: в любовных строках (она всегда насчет любви), не желая описывать, *«вороной ли, русой ли масти»* ее возлюбленный. *(«Разве страсть — делит на части? — Часовщик я, или врач?»)* — под конец находит-таки ему (возлюбленному) достойное определение: *«Ты — полный столбняк!».*

Прошу прощения за слишком длинные выписки: зато они исчерпывающи, и кто не читал «Верст», может быть так же спокоен, как если бы и читал.

Первое, непосредственное, движение всякого человека — беззлобно отмахнуться: «Это мне совсем не нужно». Не то, что непонятно, или противно, или незабавно, — нет; а только самым обыкновенным образом «не нужно».

На этом «не нужно» сойдутся и простой читатель, и литературный критик; впрочем, критик может еще и объяснить, почему не нужно, без труда доказать, что это — не дурные стихи, не плохое искусство, а совсем *не искусство.*

Нерасчетливо было со стороны «Верст» так раскладывать перед нами образцы новой поэзии, если редакторы журнала хотят повернуть к ней кого-нибудь «лицом».

Тотчас вслед за произведениями поэтов помещены «Народные частушки, собранные в Рязанской губ.». Здесь расчет был, вероятно, показать близость между новейшими поэтами и но-

вейшим народным творчеством, некую современную «смычку» города с деревней. Но и этот расчет не удался. Частушки, ни по форме, ни по содержанию не отличаются от прежних, довоенных; исковерканные советские слова новизны им не придают, подбор неудачный, а мысль о «смычке» даже не приходит в голову.

Самый же большой промах «Версты» сделали, поместив на своих страницах «Резолюцию Съезда Р. К. П.» (правящей партии) и взволнованные «отклики» на нее «русских писателей» (советских). Этот документ, и факт его напечатания в журнале, имеет для нашего исследования большую ценность.

III

Но документ надо читать, твердо помня, что такое искусство и художественное творчество. Тогда мы *освеженно* поймем, что подчинение искусства внешней, партийно-государственной власти – есть абсурд, но что абсурд этот, в современной советской России, – реальность. Р. К. П. (правящая партия) управляет искусством, руководит художниками и писателями, начальствует над ними и над их творчеством.

Данная резолюция Р. К. П. и есть один из начальнических декретов по литературному ведомству. В первых же строках подтверждается, что «руководство в области литературы со всеми материальными и идеологическими ресурсами *(?А. К.)* принадлежит» партии и что она и далее, «вскрывая классовый смысл литературных произведений», «ни на йоту не отступит и не сдаст своей позиции». А писателями она руководит в смысле «обеспечения всех условий для возможно более быстрого их перехода на сторону коммунистической идеологии».

Нам, в нормальном нашем состоянии, почти невозможно догадаться, где, в котором из пунктов управляемые писатели усмотрели начальническую милость, обещание смягчить надзор. Уж не в «обеспечении ли условий для более быстрого перехода...» и т. д.? Может быть. Мы все равно не поймем. Довольно того, что милость они усмотрели и что «отклики», на-

печатанные в «Верстах», полны восторженной и преданной благодарности *. И сколько их, этих «русских писателей»! От А. Белого, через Пастернака, до известного Лелевича, редактора не менее известного журнала «На Посту». А. Белый «совершенно удовлетворен», Пастернак счастлив (насколько я мог понять малознакомый мне язык, на котором он изъяснятся), Лелевич одобряет, а неразумный А. Толстой даже захлебнулся: мы... мы... мы первые... как новые Колумбы... (впрочем, этими Колумбами у него оказывается прямо Р. К. П.).

И вот главное: такие отклики (да и никакие другие) были бы невозможны, если б авторы уже не приняли ранее, внутренно, того абсурда, каким является подчинение художественного творчества партийной «госвласти». Были бы невозможны, если б эти «русские писатели» не перестали понимать рокового «или—или»: или партийное руководство — или художественное творчество. Но совместно они не даны. И в какой мере власть над литературой и писателями реально осуществляется — в той же мере перестает существовать искусство.

Нельзя спорить: сейчас, в России, осуществлена эта власть в очень большой мере. Не тут ли разгадка и потрясающего отсутствия «искусства» в советских образцах, предложенных «Верстами»?

Мы не имели, до сих пор, исторического примера ни партии, превратившейся в госвласть, ни государственной власти, активно внедряющейся во все области личной и духовной жизни, вплоть до области художественного творчества. Теперь нам дан опыт, и мы можем сказать, к чему это приводит. Помимо разрушения искусства, это приводит еще к постепенному *перерождению* души у одних, и к *отмиранию* зачатков ее у других, — у тех, кто прямо из колыбели попадает в руки такой госвласти и ею соответственно воспитывается.

* Исключение — Вересаев, хотя и он кончает казенным: «Будем надеяться...».

Надо заметить, что к первым, к писателям, находящимся в процессе внутреннего перерождения, власть все-таки относится с неизменной суровостью. Они уже почувствовали в Р. К. П. — начальство, уже «едят его глазами», надеясь на получение милостишек, — но их не получают. (Кстати, из «резолюции» тоже ничего не получилось, так что и «отклики» были напрасны.) По верному замечанию критика Г. Адамовича, эти писатели, уныло возглашающие «мозг мира в Москве», «большевики творят волю Мирового Духа» и т. д., ухаживают за начальством без всякой надежды на взаимность. Ему нужны или новенькие, от колыбели себе на потребу воспитанные, или настоящие служаки вроде Маяковского и Демьяна Бедного. Но как, без врожденного призвания, совершить столь быстрый и столь полный переход — к лакейству?.. Употребляю это слово не в бранном смысле: согласно с тем же Г. Адамовичем, я нахожу, что служить открыто, без вывертов, как служат Маяковские, гораздо умнее и честнее. Социальный заказ, ода металлистам, ода на смерть Дзержинского, — вот «искусство», нужное совввласти.

И далеко хватает ее тлетворный дух, сердца перерождающий. Пусть группа московских писателей (давших «отклики») признала над собой начальство, вертится, заглядывает ему в глаза, выхваляет произведения какого-нибудь «Пузанова из Воронежа», надеется на милость... Но здешняя-то группа «Верст», в милостях, казалось бы, не нуждающаяся, — не то же самое с ней происходит? Не поносит ли она, словно по приказу, огулом всю эмиграцию, не пытается ли выдавать произведения того же Пузанова из Воронежа за последний крик русского искусства, не посылает и сочувственных улыбок товарищам, с горячей надеждой откликнувшимся на резолюцию Р. К. П.? Да и напечатание *«мудрой»* резолюции — что это, как не улыбка в сторону самой Р. К. П.?

Многое тут надо отнести насчет заразы. Конечно, заражаются лишь предрасположенные. Почти все участники «Верст» — такие и подобрались. Только главного руководите-

ля, и, кажется, создателя журнала, – г. Святополка-Мирского, – зараза не коснулась: не было в ней нужды. Я говорил выше, что существуют индивидуальности с некоторым органическим дефектом, – в смысле отсутствия известного внутреннего критерия. Есть признаки, что г. Святополк принадлежит к их числу. Эти люди, обыкновенно недальновидные, но своих близких целей, – благодаря тому, что в стремлении к ним ничем не смущаются и ни перед чем не останавливаются, – иногда достигают. Так г. Святополк без примитивного чутья в искусстве, без всяких к нему способностей и, вдобавок, слабо владея русским языком, уже достиг «места» русского критика и редактора «литературного» журнала.

Будем справедливы и точны: г. С. Мирский вовсе не большевик; он и к духу большевизма так же мало имеет отношения, как вообще к «духу», ко всякому: он только учел настоящий момент и воспользовался всем годным: веяньем известной заразы, примитивной тягой к «новенькому» в искусстве, и, попутно, лозунгом, обеспечивающим неприкосновенность.

Из предрасположенных к заразе вышли добрые помощники. Никто не будет отрицать, что в таланте Ремизова и раньше замечалось больше тяготенья к звериному, нежели к человеческому: характерная же черта произведений Цветаевой всегда была какая-то «всезабвенность». В этом всезабвеньи поэтесса и ринулась вперед, по дороге... ведущей куда? Не все ли равно! О таких вещах поэты, в особенности поэтессы, не размышляют.

Мне осталось досказать немногое.

«Версты», каковы они есть, серьезного значения не имеют. Послужить широкому распространению заразы они не могут. Уже потому не могут, что не успеют: за первым же поворотом, – и поворот этот ближе, чем полагает недальновидный г. Мирский, – с великолепной ясностью обнаружится, что версты установлены... не на той дороге. Успеет ли руководитель, блюдя свои интересы, вовремя с нее соскочить? Да о нем не забота; а помощников – очень жаль. Хоть бы скорее очнулись

они от забытья и увидели, что дорога — ведет не к России, не к русскому искусству, а как раз *в обратную сторону.* Ибо что обратнее, противоположнее, дальше друг от друга, нежели подлинная Россия — и ее сегодняшние властители? И можно ли найти Россию, идя... к советам?

К России, к ее искусству, к живому духу ее — идти надо: даже не к ней, — надо идти *вместе* с ней. А идти вместе с Россией, сегодня, — это значит идти *против* разрушителей ее тела и души.

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ

I

Господи! Какая мука, что от беллетриста непременно требуют беллетристики! Помешались на этой самой беллетристике, не знаю, чем и объяснить. Публика, что ли ее требует? Недавно какой-то критик грустно и банально сказал: «Жизнь убила творческую фантазию, литература по преимуществу делается мемуарной».

Очень верная банальность, но зачем, спрашивается, грусть? Много мы фантазировали, хорошо и отдохнуть. Так нет, публика требует «творческой фантазии».

Бывают исторические полосы, времена, когда всякое «искусство» — безвкусие, и художник, поскольку он художник, безмолвствует. (Мы попали в эту полосу, и, на мой взгляд, из нее еще далеко не вышли.) Но в такие времена особенно усердно «творит» бездарность, и потому публика, — которая не имеет понятия о вкусе и безвкусии, — художественного молчания не замечает: ей что, была бы сказка!

Однако и «мемуарная литература» утомительна в большом количестве. Есть вещи громадного интереса, лучше любого романа... но общий поток скучен. А все же это нам нужно: не праздно «вспоминать», пережевывать прошлое, а думать о нем и по-новому, для будущего, осмысливать его.

Неприятны допотопные воспоминания с привкусом: в старые-то времена как было хорошо! Это вздор. Совсем не было хорошо в старые времена, и дряхлое шамканье это ничуть меня не трогает. Если взглянуть на старое не прежним слепым взором, а теперешними прозревшими глазами — то чего-чего там не увидишь!

Я в допотопные времена не пойду, а раз скажу кое-что о русской молодежи предвоенной и военной, какой мне ее пришлось в Петербурге близко наблюдать.

Теперь она уже не молодежь (кто остался в живых); хоть и была в то время самая зеленая, воистину «мальчики и девочки», да ведь столько лет прошло!

Ужасные вещи сказал мне один из этих бывших «мальчиков», чудом спасший жизнь свою и после спасения сделавшийся неузнаваемым, даже возраста неизвестного: еще молодой, а как будто и старый-престарый, древний.

Вот он что сказал:

— Была ошибка вашего поколения, и нашего, и всех вообще поколений, какие там были, — всей европейской культуры: для чего фантастические выдумки и для чего их надо было друг другу втемяшивать, из поколения в поколение передавать? Для чего разные «идеи», какие-то справедливости, права? Люди, мол, плохи... с нашей-то, с выдуманной точки зрения. А реально и просто глядя — ни плохи, ни хороши, только такие, какие на земле уродились, какие были и всегда будут, и какими мы их сейчас видим неслепыми глазами, без идиотских требований. От этих требований — одна мука, притом бесполезная. Большевики содрали со всех одежду, у иных с кожей содрали — разве не мука? А были бы мы заранее голыми, ну и ничего.

— Что вы путаете, — возражаю ему, — так нельзя.

— Не путаю, напротив, распутать хочу. Очень важно сузить круг страданий. Советское, большевистское воспитание — самое, по-моему, подходящее. Чуть какая-нибудь Октябрина или Комтрамвай начали ходить — выкидывай их на улицу, пусть

промышляют пищу и устраиваются, как знают. И, главное, ничего не внушать, ни о каких «идеалах» не рассказывать. Небось, кому выжить — сам поймет, что для жизни требуется, выкрутится, отгрызется. Кого надо — сам загрызет, и не почешется; а его загрызут — оплошал, не на кого пенять. Разве вы не видите, что реальность именно такова; зачем же обманные прикрытия, от которых у нас до сих пор душа кровью плачет?

Он помолчал и прибавил:

— У вас готовый суд, конечно: скажете, что это цинизм отчаяния. Все старая точка зрения. Идеалы. Они фактов не изменят...

Возражать на этот цинизм отчаяния не хотелось, да и не легко было. В самом деле, если на минуту в корне переменить точку зрения — разве не согласишься, что без «идеалов» удобнее? И не похожи ли мы все, если нас откровенно раздеть, на говорящих зверей? И не лучше ли нам это смиренно принять и, — как говорит один романист, — «не задаваться на макароны?».

Фу, какой сумасшедший соблазн, однако! Если спасшийся прежний «мальчик» мог дойти до этого, уж не счастливее ли не спасшиеся?..

Я расскажу о том, какие они были, многие из наших мальчиков и девочек, в 1914—1916 годах. Конечно, от близкого грядущего «кровавый отблеск» уже лежал на них. А в них самих — уже таилось зерно разложения.

Но что они понимали? Да и что мы-то понимали тогда?

II

Ничего не понимали, но все, в те годы, тосковали, метались, удушались. И, кажется, без различия кругов и возрастов.

Не знаю почему, у меня родилось убеждение, что если стоит еще надеяться на кого-нибудь, то вот на самую раннюю молодежь, на полудетей, на людей послезавтрашних. Очень уж насмотрелись на «седых и лысых» (как мы говорили), на нашу

«передовую» интеллигенцию, болтающую и топчущуюся на месте. А между нею и даже «официальной» молодежью, т. е. студентами и всякими молодыми людьми от 25—30 лет, — лег провал. При мне один пожилой интеллигент-общественник просил: «Дайте мне хоть одного студента! Покажите мне живого студента! Чтобы он сидел здесь, за этим столом!».

Но студент на интеллигентском собрании ему не дался, а, пожалуй, не по его вине: «официальная» молодежь (среднемолодые) была тогда какая-то разбросанная, раскисшая и в корне серая. Миновав полосу самоубийств (десятые годы), она пошла туда-сюда забавляться, если «так» не проживала. Мне эта «молодежь» была уже несколько знакома и в высшей степени меня не интересовала. В суде над ней мы очень сходились с покойным профессором М. И. Туган-Барановским, старым моим приятелем.

— Да, из этих ничего не выйдет, — говорил он, покачивая головой. — Я присматривался довольно. Они уж свое пережили. Или не дожили, что ли... Но какие-то свернувшиеся, как молоко свертывается. Пожалуй, вы правы, надо на маленьких смотреть, что, вот, из них будет... Есть и сейчас любопытные.

О, конечно, есть! У меня уже имелось в то первое время несколько закадычных приятелей и приятельниц младшего возраста, из самых «зеленых».

Буду говорить откровенно: я не знаю, давали ли мне мысли о них — они, или сами оказывались моей выдумкой. Герои пьесы «Зеленое Кольцо» списаны с реальных мальчиков и девочек, это факт; но были ли они в действительности такими, или **делались** такими, идя навстречу моему воображению, — вот чего я не могу решить. И теперь, глядя назад, склоняюсь к последнему предположению. О, не о притворстве или обмане речь: обмана ни с чьей стороны не было. Но очень возможно, что натиск моего «должного» изменял и подменял, для них же самих, их «данное»... Впрочем, не стоит разбирать: и они, и я, равно были тогда убеждены, что «Зеленое Кольцо» — это настоящие они. Взяли эту пьесу, как свою, повсюду принялись

заваривать у себя Зеленые Кольца. Действовали самостоятельно, как — не знаю, но в то время верилось, что отлично.

Однако пьеса — дело попутное, не ею же исчерпывался мой интерес к молодежи? Да и хорошо пять—шесть «героев», но если они и ласточки, — допустим! — весны-то они не сделают... И, естественно, около этого первого ядра, круг начал расширяться.

«Литература» и мое некоторое положение в ней сослужили свою службу в деле сближения вот с этими первыми «младенцами». Ведь они имели для меня смысл вне их семьи, вне своего круга, каждый как отдельный человек. И «литература» оказалась прекрасным предлогом. Но она же, впоследствии, погубила круг расширенный... Не буду, впрочем, забегать вперед, да и не это интересно. Просто расскажу, что помнится. Без имен: мы ведь не о каждом знаем, жив ли он, или не погиб ли духовно... не обо всех знаем все, и потому не надо имен.

III

Мое главное стремление — не играть никакой роли в данных сборищах. Пусть приходят друг для друга, а не для меня, и соединяются, если могут и хотят, друг с другом. Для этого я предоставляю им физическую возможность — вот эту мою длинную большую комнату с четырьмя окнами на Таврический сад, каждое воскресенье, от 2 часов до 7.

С членами-основателями мы выработали краткие правила для этих собраний, названных «П. и П.». Для непосвященных буквы означали «Поэты и Прозаики», но между собою мы говорили: «Поэты и Просто»... просто — люди. Ибо первое-то наше правило, тоже тайное, гласило:

Поэтом можешь ты не быть,
Но человеком быть обязан.

По очень немногим явным правилам — каждый член мог привести гостя, или нескольких, на одно воскресенье; в следующее эти гости не приходили, и присутствующие решали сооб-

ща, принимаются они или отвергаются. На практике это не очень строго исполнялось, но все же исполнялось. А общим лозунгом было: **«свобода, равенство** и **вежливость».**

Смешно вспомнить этот идеализм. Многие ведь серьезно считали, что они достижимы, — свобода, равенство и вежливость! Полагаю, что далеко не все умели чувствовать себя свободно при обязательной вежливости (а насчет этого пункта мы проявляли особую требовательность), равенства же вовсе не было: при расширении круга повысился возраст членов и «старшие» немилосердно презирали «младших», не говоря о том, что «поэты» все сплошь тайно презирали друг друга, и сугубо — не поэтов.

А так как основные-то члены собраний были «младшие», то они очень скоро это неравенство почувствовали и начали довольно глупо озлобляться.

Надо сказать, что лучше и независимее держали себя барышни. Коренные мои приятельницы-гимназистки, хотя было им лет по 16-ти, в обиду никому не давались, пребывая, как оне говорили, верными «идеям» «Зеленого Кольца». Была и новая девочка, поэтесса, Леночка (ее прислал к нам Блок), и она держалась смело и скромно. А в одно прекрасное воскресенье появилась прехорошенькая гимназистка лет 14-ти, в черном переднике, тоже «поэтесса»; эта мало что понимала, но не стеснялась и не боялась ничьего презренья.

Девочка, впрочем, скоро исчезла. Во-первых, ей каждый раз надо было убегать из дома потихоньку; а, во-вторых, Лиля и Варя, решившие «заняться» ею, чтобы привлечь в собственный кружок, скоро объявили: «Ничего она не понимает и знать не хочет, кроме своих, — гадких, — стихов».

Хорошо бы, если б она одна! Но вот, смотрю, — и с удивлением вижу, что в этом, уже широком круге молодых, — большинство тоже ничего не понимает и ничего знать не хочет, кроме своих, — гадких или хороших, — стихов.

Война. Первый год войны! Что они думают, что они чувствуют? Ведь многие, если война продлится, должны будут на

войну идти. Они знают это — но точно и не знают. Не занимаются. Ощущают, что атмосфера моего дома не «военная», и считают долгом, вскользь, неодобрительно отозваться о войне; но поглощает их, главным образом, «искусство», поэзия, стихи (собственные в первую голову). Читать свои стихи — вот цель поэта, члена «П. и П.».

Хорошенький мальчик Р. с подведенными глазами и обкусанными ногтями, тоненький и лживый, — футурист. Тайный, ибо знает, что на воскресеньях футуризму нет места. Он талантлив; выбирает из кучи своих стихов наименее футуристические и читает, сдерживая кривлянья. Он льстив, дерзок и невежлив по существу, но и тут старается сдерживаться; самолюбованье так и прет из него, однако. В нем бабье сплетничество и перенос; чувствуется, что он уже попал в дурную компанию — и беззащитен против нее. Он против всего беззащитен, непомерно слаб. И — это не индивидуально. Разрыхленная середина, душевная кашица, — вот что я начинаю прозревать у многих. Душа накануне упразднения — у худших. А на лучших — печать обреченности...

Мои усилия заставят их оглянуться вокруг, найти хоть плохонькое отношение к внешнему миру, хоть не общее, хоть индивидуальное, — не приводили ни к чему. Напротив, самодельная литературщина расплывалась, как масляное пятно. Устраивались уже стихотворные конкурсы, т. е. читались стихи (присутствующих) без имен, и, конечно, все — всеми (кроме автора) жестоко осуждались.

Было два—три безумца — не притворных, как футуристы, а настоящих, тихих и страшных. Один в особенности страшный: далеко не юный, молчаливый, не без дарования и глубины. Его безумие заключалось в апофеозе безвольности, до полной потери лица, до последней безответственности, до растроения, расчетверения и т. д. личности. Может быть, он был кокаинист или пьяница — не знаю; у меня он был всегда вежлив, тих, добр; его было жалко; и все же, в конце концов, мне пришлось указать ему на дверь.

Воскресенья выродились в какой-то шумный проходной двор. Сегодня приходило тридцать человек; через неделю — сорок, и опять «разников», т. е. не возвращающихся. Коренное ядро, первые, «мальчики и девочки», стало разлагаться. Они сами это заметили и попросили меня принимать их отдельно: в воскресенье же — но вечером, «без стихов». Хорошо, попробуем. В первый же вечер — разноголосица. Кто-то предложил выбрать из дневных двух—трех и присоединить к вечерним. По-моему тоже — эти двое—трое имелись и очень полезны были бы для узкого вечернего кружка: например К. и Н. Оба, конечно, и слабые, и на упадке, но в них чуялась хорошая... материя. Однако большинство запротестовало: К. и Н. были гораздо старше, да еще оба «поэты».

Ну и остались «вечерники» одни, себе на горе, потому что сами уж изменились, вернее — определились более ясно в своей беспомощности. Мне по-прежнему не хотелось вмешиваться в их «внутренние дела» ничем, кроме совета, но советов они уже не слышали и скоро между собой перессорились. Неудивительно: пять—шесть подростков — никого не желающие к себе пускать и считающие себя солью земли. Да еще некоторые заразились литературой и сами записали стихи...

Словом, грустная ерунда. Гимназист С-в, мрачный, особенно проклинавший дневных стихотворцев, впал даже в какое-то пророческое всезабвение, возомнил себя гением и неожиданно развел детскую литературную мистику. Хорошенькая Варя и некрасивая Лиля принялись его высмеивать... Ни малейшего дела из воскресных вечеров не выходило.

К счастью — близилась весна, даже не весна — лето: собрания сами собою поредели и, редея, освобождаясь от пришлых и случайных элементов, становились спокойнее и проще. Без суеты каждый был виднее, виднее и схожесть между ними. Собственно общества «П. и П.» больше не было; приходили те, которым почему-нибудь хотелось приходить, новых приводили редко. Продолжал бывать черноглазый футуристик Р., и грустный, нежный К. со своей застенчивой любовью к Пушки-

ну, и умный, «совсем большой», путеец Н., и хитренький, соломенно-белокурый беллетрист Д., игравший девочку, и богатенький, разодетый, прилизанный, до трогательности невежественный эстет В. Мои «зеленые» бросили претензии и не держались особняком. Но лада все-таки ни у кого ни с кем не было, как не было и ссор. Они были схожи во многом, но ничего общего, никакого **соединения,** между собою не имели.

Мне долго хотелось утешить себя, что все это — и примитив душевный, и невежество, и обреченность у иных, и слабнячество, — все это опять мои фантазии, и только кажется: можно ли делать выводы из мимолетных встреч? Пришли в дом раз в неделю, посидели за столом, почитали стихи... Но мимолетность была не такая уж мимолетная. Мой бескорыстный и подлинный интерес к ним, и к каждому в отдельности, они чувствовали; это давало мне возможность входить более или менее в их жизнь, узнавать их и вне моей комнаты. Не говоря о «зеленых» друзьях, совсем близких, зналось много и об остальных, — из разговоров наедине, из встреч в других стенах. Молодые, чуть ли не более старых, любят говорить о себе. Причем весьма важно не **что** они о себе говорят, а **как** говорят, когда и почему лгут (ибо лжет почти всякий).

И вот, если раньше мне казалось, что свежие порывы, сила, действенность, возможность новых общих идей принадлежат нашему юному поколению — после небольшого опыта мысли мои стали неумеренно мрачны: да свойственны ли какие-нибудь общие идеи — молодежи?

Это была другая крайность. А правда — посередине. И в том еще правда, что наша русская молодежь предвоенных и военных годов — особая молодежь, самая несчастная, действительно обреченная. Не стоит доискиваться причин, да и разве мы знаем, что причина, а что — следствие? Оттого ли пришла гибель чуть не целому поколению, что у них были какие-то старые «идеалы» (как уверял спасшийся бывший «мальчик»), или, напротив, оттого, что «идеалы» у них предсмертно оску-

дели? А может быть, и само духовное оскудение было просто грозным знаком грядущего несчастья, — ведь оскудевает же вода в колодцах перед землетрясением?

IV

Общество «П. и П.» не возобновилось, но в течение трех последующих лет мои встречи со многими из его членов продолжались. Так как это были годы 17, 18, 19, и развертывались они, точно лента с превращениями, то легко представить странность этих встреч и новый облик моих поэтов, эстетов, гимназистов и путейцев.

Мне не хочется эти встречи вспоминать. По многим причинам. Были трогательные, были и отвратительные. Но ни одной такой, которая изумила бы, потрясла бы меня неожиданностью. Каждый пошел по своей планиде. Путь некоторых мне было дано следить близко.

Удивляться ли, глядя на гримасничающую мордочку черноглазого футуриста, когда он, сначала, в грязной защитке, полулжет о своих подвигах, попрошайничает, уверяет, что скрывается, — а через два месяца, в галифе, пуще лжет, но... уже не скрывается? Поражаться ли, слыша весть, что скромный пушкинианец убит красными на юге? А белокурый юноша, игравший девочку... нет, не надо о нем, да и ни о ком больше. Судьба каждого была ранее начертана невнятными — теперь понятными — письменами. Только одна девочка, из самых милых, нежданно и больно удивила меня. Только одна. Умные, ясные глаза. Мы знали ее близко, 15-ти лет, потом, во время революции, 16-ти. И ни разу мне не пришло в голову, что она, как выяснилось после, одержима фантастической, сказочной лживостью. Впрочем, это бывает. Это форма сумасшествия.

Даром ли погибли погибшие, даром ли спаслись, кто спасся? Бывший мальчик говорит, что даром. «Мы, — говорит он, — были поколение кончающих. Последние из зараженных, все-таки, “идеями”. Это нас и задавило. Теперь будут жить начинающие, — голые люди на голой земле. Что Россия! Вы на Европу

взгляните: еще кутаются в одежды, да одежда всюду рвется, так и сверкает голое тело».

Это, конечно, тоже сумасшествие, – думать, что люди – вовсе не люди. Нет, никто не погиб и не спасся – напрасно. В том, какие они были, наши последние молодые, в самой их слабости, в том, что они даже не хранили, а как бы от слабости уже роняли человеческие идеи, – «из рук вываливалось», – есть глубокий смысл. Пусть они «последние», – но они же и будут первыми, ибо с них же, какие они ни будь, придется начинать, тянуть нитку. Больше не с кого. Не с тех же бесплеменных, беспризорных детенышей, что ныне завелись под СССР-ским владычеством? От них – некуда, им и самим некуда. Вот они, подлинные последние! Но они, в невинности, этого не знают и ничего не боятся. Их не жаль, зато и судить их не надо, и требовать от них нечего.

Требования – лишь к людям, настоящим, живым, спасшимся: и самый строгий суд над теми, кто уцелел, но погубил себя внутренно, – умер второй смертью.

МЕЧ И КРЕСТ

> ...Ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?
>
> Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа; Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать.
>
> *Лк. 9, 54–55–56*

Можно ли сейчас писать философически-отвлеченно о силе-насилии, убийстве, казни? И. А. Ильин думает, что можно, и пишет. Но нелегко следовать за ним, в беспросветные

дебри рассуждений. Если у каждого пальцы бурые и липнут, чьей-нибудь кровью замараны, — своей или чужой, — как рассуждать о крови «вообще», о том, когда и чью лучше проливать?

Быть может, это лишь ощущение, и вопрос о силе-насилии, об убийстве, поднять все-таки нужно. Я только против внешней, чисто рассудительной манеры Ильина. От нее, от ее тона, и даже от постоянных повторений: «Христос, Христос, молитва, Бог», — веет чем-то мертвенно-злым...

Какой Христос? Какая молитва? Какой Бог? Не Ягве ли, никакого Сына не знающий, одинокий Бог кровей?

Или — кто?

* *
*

Вот первое впечатление от «христианской» книги «Сопротивление злу силой». Насколько оно основательно, — увидим далее.

Я, впрочем, не ставлю себе задачей последовательно разбирать книгу Ильина. Я просто хочу высказать, о ней или около нее, то, что хочу, относительно вопросов, над которыми пришлось мне думать в продолжении долгих лет.

Попутно выясняются и наши согласия и расхождения с православным защитником «силы». Даже не защитником: мы вправе, пожалуй, назвать его — *проповедником* силы-насилия...

* *
*

Я начинаю с вопроса главного и, выделив его из всего прочего, ставлю так прямо, как он обыкновенно и ставится: «Можно или нельзя убить?».

Вряд ли нужно оговариваться, что вопрос этот существует, — *как вопрос,* — лишь там, где начинается духовный, идейный порядок. Или даже «религиозный» (в самом широком и общем понимании слова). Человек, абсолютно этому порядку

чуждый, — хотя есть ли такой человек? — просто ничего не поймет.

Один убийца мне говорил: «Убить или всегда можно, или никогда нельзя».

Он был прав. По крайней мере, в том, что с человечески-религиозной точки зрения, — а тем паче, сузив, с христианской, — убить никогда нельзя.

Другой, идя на убийство, молился на золотой крест в бледном утреннем небе, — о чем? Об удаче? Нет, он был христианин; он молился, чтоб наступило время, когда никто никого убивать не будет.

И здесь то же: убивать *нельзя.*

... В углу, над лампадою, Око сияющее
Глядит, грозя,
Ужель там одно, никогда не прощающее,
Одно — нельзя?
Нельзя! Ведь, душа, неисцельно потерянная,
Умрет в крови...

* * *

Первая смерть на земле — была человекоубийство, даже братоубийство. Таково начало древнего завета. А начало завета нового — убийство Богочеловека.

Каковы начала, таковы и продолжения. «Нельзя», оставаясь незыблемо во всей силе, — со всей силой, — и даже сверх силы, — непрерывно преступается.

Каиново племя, вопреки данной Богом заповеди, довело себя до того, что Господь, скрыв свой лик Элоима, благостного Бога-Зиждителя, повернулся к нему ликом Ягве, Бога крови и мщенья.

Но и потомки фарисеев, сделавшись христианами, века жгли, пытали, колесовали — убивали христиан же, все время помня, все время зная, что «нельзя», — как и ветхозаветные братья их это знали.

И всегда все искали что-то понять в этом грехе, искали, если не оправданья, — то чего-то вроде оправдания...

Что находили? Что находят?

* * *

Только одно, что и можно найти. Около этого одного — блуждает и автор книги о насилии.

С длинными отступлениями, оговорками, при помощи отвлеченнейших теоретических построений, хочет он подойти к оправданию насилия, убийства (и... казни!). Между тем, единственная формула, если не оправдывающая убийство в меру желания Ильина, то оправдывающая его возможность, выражается всего тремя словами: *«нельзя и надо»*.

Нельзя — но *еще* надо. Никогда нельзя, но *иногда* еще надо.

Это не упрощение (хотя напрасно упрощений боится Ильин). Это сводка к сути. Ведь стоит развернуть маленькое слово «надо» (иногда — когда?), и мы сразу попадаем в целое море сложностей.

* * *

«Нельзя» пояснений не требует. Оно просто. Нельзя и нельзя. Но почему, хотя нельзя — надо?

Если, согласно со многими мыслителями, смотреть на мир, как на *становящийся*, восходящий к совершенству в процессе борьбы со злом (таков и взгляд Вл. Соловьева), то *принятие* мира (космоса, истории, — жизни), в его текучем несовершенстве, означает и принятие волевого участия в борьбе.

Путь непротивления злу (отстранения от борьбы), таким образом, с самого начала отвергается. Но на пути борьбы, — как сказать: вот здесь я борьбу кончаю? С этого момента я злу и злому покоряюсь, из борьбы (из жизни) ухожу? В душе человеческой *могут* столкнуться два «нельзя»: нельзя уйти из борьбы, оставить мир злу, — и нельзя убить человека. Тогда я

преступаю то «нельзя», где могу погибнуть я сам, в грехе, но не мир, то есть я отдаю в жертву себя — миру.

Этот трагический выбор человек делает один на один с собой, по мере, — всегда несовершенного, конечно, — но *своего* разумения. Каждая жизнь человеческая может быть пересечена моментом, когда человек решает, что *надо* убить, хотя *нельзя.*

И убивает*.

* * *

Такова общая схема. Насколько я понимаю Ильина, он хочет что-то вроде нее положить в основу — гораздо больше, чем оправданий, — своих «понуждений» к мечу.

Кстати, не этот ли волевой оттенок (оправдание — понуждение) заставляет его избегать прямых слов? Почему, упорно подчеркивая свое «христианство», он уклоняется от слова «грех», называет убийство — «негреховной неправедностью» (выраженье какое-то даже «неправославное»)? А насилия в борьбе со злом вовсе будто бы не существует, есть «действие силой».

* Как ни многообразно убийство среди сложностей реальной жизни, каждому (за отстранением животных, сумасшедших и нечаянных) непременно предшествует «нельзя и надо», — хотя бы в виде мгновенной молнии, хотя бы полусознательно или даже совсем бессознательно. Однако от этой единой общей точки есть линия *вверх* и линия *вниз.* Убийством по линии вниз должно назвать всякое убийство *для себя,* т. е. для приобретения чего-нибудь *себе,* и уж все равно, каких благ: почести, власти или денег. И тут действует «нельзя и надо», хотя и может совершенно измельчиться: «нельзя» — как внешнее запрещение, страх наказания, «надо» — как «мне хочется» чего-нибудь, мне выгодно.

В этих заметках я намеренно касаюсь убийства только лежащего *по линии вверх.* Во-первых, я думаю, что как раз тут завязывается главный узел вопроса; а кроме того и сам Ильин, о книге которого я говорю, помещает вопрос именно в эту область.

К этой странной терминологии мы вернемся, а пока есть вопрос поважнее. Ильин на нем не задерживается, точно обходит сторонкой. Но его не обойти, особенно если доказывать необходимость-неизбежность убийства в борьбе со злом. (Мы бы сказали — «возможность».)

Это вопрос — о зле.

* * *

Что такое зло? Где оно? Чем оно определяется? Как его увидеть, настоящее?

Ильин полагает, что критерий — христианство и что один христианин непременно увидит зло в том же и там же, где другой.

Формально это, конечно, правда. Но... тут есть очень важное «но».

Христианство — удивительная вещь. Оно не поддается обращению с ним, как с древним законом, который прост и ясен, укладывается в общеобязательные правила на все случаи. Христианство, не нарушив закона древнего, облекло его *новым духом* и тем совершенно преобразило. В сверхзаконности этой переплавились все понятия, и ею, в ней, решаются ныне наши «да» и «нет».

Люди «нового духа» будут видеть, конечно, и зло в одном и том же, — в меру близости своей этому духу. Но близок ему не всякий, «говорящий Христу: Господи! Господи!», и далек не всякий, кто даже имени Христа не знает.

Не имея этого внутреннего, одного, критерия, люди «иного духа» очень часто разнятся между собою в оценке добра и зла. Где один, искренно, видит зло, там другой, так же искренно, его может не видеть. А когда, случайно, люди старого и нового духа и совпадут во взгляде на зло (это бывает), их совместная с ним борьба, рядом, все равно невозможна. Ибо, в зависимости от старого или нового духа, борьба с самого начала принимает то или другое течение, тот или другой образ. Даже внеш-

несходственные действия будут глубоко разными, и к разным приведут результатам.

Поэтому меня интересуют в книге Ильина не теоретические положения и не высокие ее слова, а самое важное: ее дух.

Какого она духа?

* *
*

Ничто так не помогает исследованию, как конкретный пример.

У Ильина нет ни имен, ни лиц, о борьбе со злом он говорит «вообще», — у него нет конкретностей. Или есть, но они где-то скрыты за плотным забором их отвлеченно-теоретических палей.

Вот, впрочем, одно подлинное имя, подлинного человека. Тут можно кое-что взять в виде примера, и даже поучительного.

На многих страницах Ильин занимается борьбой... с Л. Толстым. О, конечно, с «непротивленством» Толстого. Но, если быть внимательным и логичным, можно проследить, как борьба со злом «непротивленства» переходит (и конкретно перешла бы на конкретную, при других обстоятельствах), — в борьбу с самим Толстым. Ведь, по Ильину, — «зло только в человеке». Идти против зла — значит идти против человека.

Ведется эта борьба именно так, как должен ее вести любящий «духовно-отрицательной» любовью. Для него Ильиным установлены, с самой резкой точностью и «в строгой, постепенно нарастающей последовательности», 25 общеобязательных правил:

1. Неодобрение.
2. Несочувствие.
3. Огорчение.
4. Выговор.
5. Осуждение.
6. Отказ в содействии.
7. Протест.

8. Обличение.
9. Требование.
10. Настойчивость.
11. Психическое понуждение.
12. Причинение психических страданий.
13. Строгость.
14. Суровость.
15. Негодование.
16. Гнев.
17. Разрыв в общении.
18. Бойкот.
19. Физическое понуждение.
20. Отвращение.
21. Неуважение.
22. Невозможность войти в положение

и, наконец, три последних звена, заключающие эту неразрывную цепь, три меры, которые *необходимо* применяются (если не подействовали предыдущие, или если нет времени для предыдущих); их, логически, Ильин *обязан* был бы применить к Толстому:

23. Пресечение.
24. Безжалостность.
25. *Казнь.*

Есть, положим, еще одно правило для «духовно-любящего»: казня, молиться за казнимого. Но молитву пока оставим. Нам важно установить, что, живи Толстой не при Николае II, а при Ильине, – просьба «накинуть мыльную веревку на его старую шею», не осталась бы втуне.

* * *

Скажут: это пример-гротеск. Почему? Ильин вряд ли захочет признать свои теории заведомо отвлеченными, а не захочет, – как же уклониться от признания, что да, казнь Толстого является последовательно-обязательной?

Ведь «ни прощение, ни снисхождение, ни измена теории — недопустимы». Если зло, подлежащее уничтожению, оказывается неотделимо от человека, — уничтожается человек. А так как, по всем вероятиям, Толстого не вразумили бы никакие предварительные меры, даже «причинение психических страданий», то вывод для «отрицательно-любящего» ясен: пусть повисит старичок, а мы помолимся.

* *
*

Это хороший пример, разносторонне поучительный, хотя и «гротеск». Мы его дополним, подчеркнув: все *слова* Ильина о христианстве, его словесные обоснования христианства — верны и правильны (хотя так общеизвестны, что удивляешься, зачем понадобилось их произносить тоном «откровения»).

Слова же Толстого о христианстве, все или почти все, особенно в вопросе о непротивлении, и неверны, и неправильны. Ничего нет легче, нежели «вскрыть» противоречивость Толстого и «зло» его непротивленства. Эту легкую задачу Ильин, попутно, выполнил с успехом.

А теперь я спрошу: из них двух, чьи слова, чья воля ближе к *духу* христианства? Не Толстого ли, все-таки, которого и «христианином»-то назвать, пожалуй, еще нельзя? За его беспомощными, противоречивыми, спутанными словами стоит, если и не лик Христа, то страдание Христово — наверное... А чей голос слышен в «правилах» Ильина, до последнего, — окончательного? От кого идут эти приказы, эти предписания «любви», которую любящий, в самом лучшем случае, ощущает, как *ревность*, а любимый — всегда, как *ненависть?*

Воля такой «любви», ее дух, не напоминают ли опять дух ревнивого Бога кровей, Ягве, Сына не знавшего?

Ильин оговаривается: ненависти не должно быть. Не с ненавистью, а с любовью (высшей) надо применять «пресечение, безжалостность, казнь».

Положительно, голое слово — «звук пустой». Чем чаще повторяет Ильин слово «любовь», тем упорнее воспринимается ее звук в значении «ненависти». Не об этой ли Ненависти — с большой буквы — говорится в одной старой, довольно противной, песне? Пять ее строчек мне вдруг пришли на память:

Нет, нет, любовь не даст спасенья,
И нет спасения в любви!
Ты, Ненависть, сомкни плотнее звенья,
Ты, Ненависть, туманы разорви!
Мы взяли в руки Меч: пока они не сгнили...

Дальше не помню. Пока, значит, не сгнили руки, не выпускай меча, люби рубя, руби любя... или ненавидя, что безразлично. Дух от звука не изменится. А дух этой песни и дух обязательных правил и понуждений к мечу Ильина — один и тот же дух.

* * *

Понуждение...

Есть еще одна черта в ильинских писаниях, характерная и, на мой взгляд, немаловажная.

Но сначала устраним бесполезные обходы и оговорки, возвратимся к словам прямым и точным: насилие есть насилие, убийство — убийство, и доказать, что, с христианской точки зрения, оно не «грех», а какая-то «негреховная неправедность», — нельзя, сколько ни старайся. У Ильина и прямой, понятной, формулы «нельзя и надо» — нет: вместо «надо» он говорит «приходится». Как будто смягчает, но какое уж смягчение, когда это негреховное действие совершать «приходится», — обязательно!

Не в рекомендации обязательности, впрочем, дело. Не в деталях, а в главном: с новым духом несовместима, для него нестерпима всякая рекомендация *убийства.* Все рассуждения, старания убедить другого в необходимости убивать, всякая

проповедь смертоубийства, *понуждение* к нему — есть действие недопустимое, и в той плоскости, куда помещает Ильин, называется *греховным.*

Человек, знающий о «нельзя» (нельзя убить), может решиться на преступление этой черты только сам; в себе, за себя решает, сам один, как сам один умирает. Сам берет и грех, и ответ; сам, вольно, кладет душу свою, не «сохраняет». И за что, во имя чего, когда *надо* положить душу, — тоже решает сам один.

Как сметь толкнуть другого на преступление и на жертву? Как *сказать* другому: иди на свою душевную погибель, ты обязан, иного пути нет? Как посылать на убийство, предписывать его, понуждать к нему?

То, что говорил людям Толстой, — пусть и неверно, и нереально, пусть даже вредно: но это *можно* говорить другим. А есть слова, на которые никто не имеет ни божеского, ни человеческого права.

...Пусть сердце угрюмое, всеми оставленное,
Со мной молчит.
Я знаю, какое сомненье расплавленное
В тебе горит.
Законы Господние дерзко пытающему
Один ответ:
Черту заповедную преступающему
Возврата нет.

. . . .

Нельзя! Ведь душа, неисцельно потерянная,
Умрет в крови.
И — надо! Твердит глубина неизмеренная
Твоей любви.

. . . .

В измене обету, никем не развязанному,
Предел скорбей,

И все-таки сделай по слову *не сказанному*
Иди...

Вот это, навсегда «не сказанное», последнее слово *«убей»* — с легкомысленной авторитетностью Ильин и твердит на все лады, «всем, всем, всем».

Как деревянным молотком стучит: пресеченье — безжалостность — казнь, безжалостность — понужденье — казнь — казнь — казнь... ты обязан — должен — бери меч — иди — иди...

Но не поймет, почему говорить этого *нельзя* (и уж без всякого *надо*), — написавший книгу о насилии. Чтобы понять, — нужно быть «иного духа», того, в котором *по-новому* открывались для нас вечные ценности.

Вот две неведомые Ильину: первая — Человек (Личность) и вторая — Свобода.

* *
*

Возвратимся ко «злу» и борьбе с ним.

Ильин утверждает обязанность каждого бороться со злом по правилам, им начертанным, — вплоть до казни.

Представим себе второго Ильина: он, совершенно так же, утверждает ту же обязанность и те же правила.

Но внутреннего критерия для распознавания зла у них одинаково нет: оба — «не того духа». Поэтому, взгляд на зло у них может не только не совпасть, а даже противопоставиться: первый Ильин будет видеть зло во втором, второй — в первом.

Тогда борьба со злом делается для них борьбой друг с другом.

Подобные во всем, в воле и духе, исповедуя безжалостно те же неотступимые законы, они находятся *в равенстве противостояния.*

Во что выльется борьба этих двух со злом, т. е. друг с другом? Кто кого победит?

Или, — уточнив и сузив вопрос: кто кого казнит? Первый второго? Второй первого?

Это, в каждый данный момент, будет решаться и преобладанием голой физической силы. Сегодня физическая сила на стороне первого, — или первых, — казнят они; завтра этой силы окажется больше у вторых, — казнены будут первые.

А так как физические силы, при духовно-идейном равенстве противостояния, дело случайное, то никакого результата, кроме перемежающегося успеха, — ряда казней, то одних, то других, — подобная борьба иметь не может.

Круг, из которого нельзя вырваться. Дурная бесконечность.

Ну, а если ошибаются *не* оба? Если один из противников, действительно, носит в себе зло, и другой попал верно?

Ничто не изменится и в этом случае. Меняет действительность, сводит ее с мертвой точки, разрывает круг — только *новый дух.* Соприкасаясь с материей, — лишь он дает времени движение (превращает «durée» * — в «temps» **, по Бергсону).

Борьба даже с действительным злом, но вне духа нового, — бессмысленна, ибо круговращательное взаимоистребление не только не наносит злу ущерба, — оно его умножает.

Если же действия, по духу и смыслу одинаковые, сопровождаются не одинаковыми, а разными словами, — это ли важно?

Так мало значат слова, что легче легкого, например, переделать книгу Ильина «от лица» его противника, любого, только принимающего, конечно, его общую теорию и частные «правила».

* * *

Мы и сами, порою, не подозреваем, какие глубокие произошли в нас перемены. Не в сознании — так в крови; но мы их в себе уже носим.

---

* продолжительность *(фр.)*.

** время *(фр.)*.

Разве по-старому звучит теперь «нельзя» (нельзя убить), хотя и было оно в древнем законе? И разве не исполнилось нового трагизма внутреннее повеление «надо», надо преступить, положить душу?

Опять вспоминается мне убийца, что молился на золотой крест в белом утреннем небе. Он знал, что —

Тайна есть великая, запретная:
Солнцу кровь не велено показывать...

Знал и молился не об «удаче», — об этом нельзя молиться, — но чтобы скорее наступило время, когда никому не надо будет поднимать на плечи тот тяжелый крест, который поднял он... ради свободы других.

Ильин произносит много банальных справедливостей о христианстве. Знаю, что он непременно казнил бы *этого* христианина, с молитвой. Но знаю также, что ему — никакие ильинские молитвы не нужны.

* * *

Меняемся не только мы, наше внутреннее отношение к жизни, — наш дух: он, по мере своего роста, изменяет и внешние формы жизни, изменяет реальность. Но в ней перемены происходят так медленно, так неуследимо, с таким кажущимся запозданием, что мы то и дело падаем в ошибки: вдруг, упреждая и насилуя время (течение истории по времени), мы начинаем разрушать еще не вполне изжитую в реальности форму. Гораздо хуже другая ошибка: насилие над временем *в обратную сторону* (Вейнингер называл это, то есть утверждение действительно отошедших в прошлое форм, как живых и настоящих, — безнравственностью). Такая ошибка предполагает слепоту и к внутреннему процессу, слепоту, которой как раз страдает Ильин.

Что касается Толстого — он просто не считался вовсе с процессом истории, а только с процессом своей логики. Взяв

«убийство» в понятии его последней сущности (нельзя), ее и утвердил на все времена, логически спустив нить до отрицания борьбы (даже — с мухами! *).

* *
*

Убийство входит во многие формы жизненной борьбы — *как возможность.*

Как *непременность* — оно уже выпадает из понятия «борьбы», становится самоцелью и может быть названо максимумом убийства.

Очень характерно, что Ильин не делает различия между убийством-возможностью (в борьбе) и убийством-непременностью (обнаженный максимум). Внутренно разного отношения к ним он не имеет.

Мы увидим это, если остановимся здесь на некоторых конкретных формах борьбы и жизни, — и, прежде всего, на вопросе, близко нашей темы касающемся и остро волнующем современное сознание, — на вопросе о *войне.*

Ильин и Толстой, оба рассматривают войну с «христианской», — как они говорят, — точки зрения. И оба приходят к совершенно противоположным выводам.

* *
*

Коллективное убийство! — говорит Толстой. То, чего «нельзя» — никогда: ни прежде, ни теперь, ни потом. Ибо сказано: любите врагов ваших, не противьтесь злому и т. д.

Ильин, чтобы обосновать свои обратные утверждения, приводит другие тексты. Ведь для него христианство — тоже «закон», немного туманными линиями очерченный, правда. Нажать, крепче определить эти линии, Ильин и стремится, когда подыскивает нужные тексты.

* В его дневнике: «Я победил мух!». Т. е. победил свое желание бороться с мухами, отгонять их, когда они ему мешали работать.

Перелицовка понятий и слов при этом неизбежна. Оттого у Ильина, в широком круге «борьбы со злом», насилие оказывается уж не насилием, грех называется не грехом; а для «врагов» пришлось ему изобрести особую любовь, — «отрицательную», которая узаконяет убийство во всех видах, и даже с молитвой. Впрочем, молитва не обязательна, так как сам разящий «меч» назван «молитвой».

Спор между Ильиным и Толстым бесплоден, безвыходен. Попробуем призвать на помощь третьего современного христианина, но уже действительно причастие которого к христианству и вообще к «новому духу» никем не оспаривается (случай крайне редкий). Приводимые ниже слова из одной его небольшой статьи — есть прямой ответ и Толстому, и, главное, Ильину. Тут же мы найдем кое-что разрешающее и наши сомнения по вопросу о войне.

* *
*

Это — статья-письмо Влад. Соловьева об исторических судьбах Испании.

Основной взгляд Вл. Соловьева на историю, как на всечеловеческий путь *восхождения во времени* — известен*.

Но путь этот не легок и не прям: он с заворотами, с петлями, с провалами. В статье о судьбах Испании Соловьев указывает на ее срыв в «тройную измену христианству», в «адское дело

* Единственный, кстати, взгляд, который объясняет нашу неумирающую *волю* к «борьбе со злом». Без воли к борьбе и воли в борьбе — вообще нет борьбы. Но воля в борьбе — не что иное, как вера в победу, притом окончательную. Первичное, природное ощущение «зла» — это чего-то мешающего жизни, портящего жизнь, задерживающего ее движение (по линии вверх?). Но так же природно ощущаем мы и возможность полной над ним победы, находим ту волю-веру, без которой невозможен был бы сам факт борьбы.

палачества» — инквизицию, — после долгого периода *«христиански праведной»* борьбы, которую она вела с оружием в руках.

«Как? — прерывает себя Соловьев. — Военные подвиги были подвигами христианскими? А слова Христа — кто подымет меч и т. д.? А слова о любви к врагам, о непротивлении злому? Эти слова известны всем, но, по-видимому, не все помнят правило для понимания этих и всяких других евангельских слов, правило, данное, однако, тем же Христом: "Слова Мои суть дух и жизнь". А из этого правила ясно, что повторять букву того или другого текста еще не значит выражать его истинный смысл. Если же проникнуться этим смыслом, то понятна станет и следующая истина, которая, казалось бы, ясна, как Божий день...». «Вот она: можно допускать употребление человеком оружия, нисколько при этом не изменяя духу Христову, а, напротив, одушевляясь им, — и точно так же можно на словах и на деле безусловно отрицать всякое вооруженное действие и в самом этом отрицании бессознательно и даже сознательно изменять духу Христову и отчуждаться от него. Люди, верные этому духу, руководятся в своих действиях не каким-нибудь внешним, хотя бы по букве и евангельским, предписанием, а внутреннею оценкою, по совести, данного жизненного положения».

Это — отповедь (и какая ясная!) тем, кто не новый *дух*, а *закон* видит в христианстве и с беспомощным упорством пытается заключить его в «правила» на все случаи жизни. А вот что Соловьев говорит дальше — о насилии, войне, убийстве и различии его форм.

«Как бы мне яснее обозначить и определить тот узкий, но единственно-надежный мост, которым должно идти человечество между двумя безднами, — мост к истинному и могучему добру между безднѳю мертвого и мертвящего «непротивления злу», с одной стороны, и бездною злого и также мертвящего насилия — с другой? Где проходит черта, которая отделяет принуждение, как подвиг самопожертвования за других, от насилия, как неправды и злодейства? *Есть* же эта черта...».

Вопрос — вплотную подходящий к темам ильинской книги. Где же, в чем же эта черта?

Она будет нам показана, и с большой резкостью.

* *
*

«Прежде, чем давать ей логические определения», говорит Соловьев, «обратимся к совести». К обыкновенной *совести* человека, — «независимо от *религиозных** убеждений», — и спросим: чувствует ли он действительно «нравственное негодование» к подвижнику, «когда он благословляет и одобряет воинов, идущих освобождать отеческую землю от рабства?». Сможет ли «*совесть*» назвать и благословляющего и этих воинов, — «злодеями»?

Нет; «совесть» этого не сможет. А между тем, — говорит далее Соловьев, — убийство и человек, совершающий его «как уполномоченный от общества», — вызывают в нас уже не нравственное негодование, а прямо нравственное *отвращение,* смешанную с ужасом гадливость».

Соловьев иллюстрирует яркими примерами «эту странную, но несомненную противоположность в нашем отношении к двум *убийцам*». Откуда она?

А вот откуда: «Воин и палач, производя одинаковые факты, совершают различные, до противоположности, *дела*».

Следует объяснение, удивительное по своей точности. Если б мы так непростительно, так непонятно не забыли Соловьева, мне не нужно было бы приводить всех этих цитат, и давно были бы разрешены очень многие из наших сомнений; Ильин же постыдился бы, конечно, выступать перед нами со своими новыми «христианскими правилами»...

Но простые, точные, нужные определения Соловьева забыты; я о них напоминаю:

* Везде курсив подлинника.

«Отнятие человеческой жизни (убийство) вообще не входит непременно в намерение воина, не есть его настоящее дело, и, конечно, мы уважаем военную доблесть не за совершаемые на войне убийства...» «Их может и вовсе не оказаться, а доблесть и уважение к ней останутся те же...» «Цель войны — безопасность. Если этой цели можно достигнуть без грубого насилия, — тем лучше. Неприятеля, положившего оружие, не убивают. Напротив, самое назначение палача именно в том, чтобы отнимать жизнь, — казнить, — иначе дело его не исполнено. Палач убивает обезоруженного*. Здесь прямая цель — убийство».

И единственная, прибавим. В казнь — убийство не входит в виде менее или более вероятной возможности, как оно входит в войну и в другие сложные формы борьбы. Благословение на войну не есть благословение на *убийство.* Но благословение на казнь, понуждение к ней, — есть именно понуждение к убийству, голому убийству-максимум, — в его самоцельности.

Соловьев продолжает параллель, углубляя понятия: «Воин не отрицает никаких человеческих прав неприятеля. Война предполагает *деятельную* силу с обеих сторон, они равноправны (борьба) и человеческое достоинство не оскорблено ни в ком. В казни, напротив, палачу предоставляется никому не принадлежащее право распоряжаться чужой личностью, как бездушным предметом. Итак, все дело в том, что отношение воина к неприятелю, при всех своих аномалиях, бедствиях войны, остается все-таки на почве естественных, нравственных, человеческих отношений, тогда как отношение палача к жертве *по существу* безнравственно, бесчеловечно и противоестественно». «Вот ясная и непреложная грань между дозво-

* С этой точки зрения, «кремлевцы», если бы даже дело убийства Николая II с семьей было их единственным делом подобного рода, должны быть названы именно *«палачами»,* просто в смысле точного их определения.

ленным и недозволенным. Этой черты не сотрут никакие софизмы».

Этой черты Ильин и не стирает: он попросту ее *не видит.* Спокойно подыскивает тексты, – «буквы закона», – перевертывает понятия, отнимая у них собственные имена, или произвольным сочетанием слов уничтожает ценность («отрицательная любовь») – все для оправдания убийства до его максимума включительно. Он с какой-то, – если можно так выразиться, – естественной противоестественностью равняет «честное насилие воина» с «бесчестным насилием палача», даже не заметив «противоположности их дел».

В неразрывной цепи «строго-последовательных» правил – казнь лишь одно из звеньев. Она, конечно, не более греховная неправедность для Ильина, чем действие военное. А уж по сравнению с тем убийцей, который шел «душу положить» за чужую свободу, – палач, пожалуй, и совсем праведник.

Приверженный «закону», Ильин просмотрел, однако, – «закон правды, корень всех человеческих прав и отношений», который Вл. Соловьев, от «нового» духа, определяет так: «Уважай в своем и во всяком другом лице человеческое достоинство и ни из какого человеческого существа никогда не делай страдательного орудия внешней ему цели».

Но можно ли уважать что-либо в «лице человеческом», ничего не зная об этом «лице», о человеке-личности? Можно ли увидать черту, отделяющую *еще* живое от *уже* мертвого, не услышав даже, что «нельзя», «не убий» – по-иному звучат теперь, по-новому, не так, как звучали для древних?

* * *

Да, не так.

Углубив наше отношение ко многому, – между прочим, к убийству, – мы уже и к войне относимся не совсем по-прежнему. Последняя европейская война это особенно подчеркнула.

«Самая ужасная» война... Объективно самая ужасная, — или *для нас* была она такой? Пожалуй, среди не только древних, но даже позднейших европейских войн, многие окажутся «ужаснее», если рассматривать их вне исторической линии. Но какая возбуждала столько сомнений, столько новых ощущений и мыслей? Когда говорилось с нашей неотвязчивой страстностью о «целях» войны? А настойчивость, с которой искали ее «виновника», первого «поднявшего меч»? И все страны, не выключая и Германии, с равным негодованием отвергали эту «виновность», все заявляли, что для них «цель войны — безопасность...».

Средневековый Вл. Соловьев, конечно, не стал бы и писать, объяснять, что главное в войне, — цель, что цель — не убийство и что война, с ее громадными возможностями убийства («нельзя»), все-таки *может* быть подвигом («надо»). Не пришло бы в голову тогдашнему Соловьеву отвечать на то, о чем никто не спрашивал. Это зналось, — в меру своего времени, — так, как было нужно. Нам, в меру нашего времени, нужно знать иначе, — яснее, определеннее.

Узор современного отношения к войне — сложен. В него ввиваются новые нити. И, кажется, определения Соловьева дают самую точную меру того, что мы о войне можем думать и как должны к ней, реальной, относиться, — в соответствии с «мерой возраста» нашего духа.

Ильину все-таки приходится считаться с современностью: ведь, понуждая к бою и казни, он ищет доводы в их пользу, ищет их «оправдать». Ему самому эти оправдания не нужны. Совершенно так же, как были бы не нужны, если б, веков 30 тому назад, он звал на войну с моавитянами или делал приготовления к всенародному перепиливанию пленных филистимлян тупыми пилами.

Справедливость требует прибавить, что Ильин, в те времена перенесенный, имеет полное право обойтись без оправданий.

Кто-то сказал: «Нет ничего таинственнее законов истории». Да, и потому нет ничего труднее, как «узнавать лицо своих времен».

* * *

А теперь пора поговорить начистоту.

Пора заглянуть в книгу Ильина подальше, за тот забор, который он выстроил из философических палей. Не так уж плотен и непроницаем этот забор.

Искушенный читатель им не обманется. Меня, например, не изумило даже внезапное появление, — к концу книги, — Царя. Откуда бы, казалось, взяться обыкновеннейшему царю в отвлеченно-философском трактате? Да еще с полной естественностью, как будто конкретный царь там пребывал с самого начала.

Он и пребывал. Ибо книга «О сопротивлении злу» — книга *политическая*. Психо-религиозно-философские рассуждения служат лишь прикрытием определенной политической идеи, даже тактики и практики, с определенными, в определенную сторону направленными, политическими целями.

На что же понадобились прикрытия?

Может быть, и это своего рода тактический прием. Русский человек — любит пофилософствовать. Склонность «русских мальчиков» к отвлеченным рассуждениям под трактирную «Лючию» давно подмечена Достоевским. И кушанье, поданное под философским соусом, легче и незаметнее проглатывается.

Не хотелось бы употреблять слово «пропаганда»; но другого нет, и приходится сказать: нарочито выдержанная в подполье пропаганда — иной раз действеннее открытой.

Какой-нибудь «русский мальчик» и царя на предпоследней странице проглотит без удивления, — если к концу книги он уже незаметно стал чувствовать себя «царским слугой». Не всякого ведь раздражает и тяжелый, дубовый язык (точно не по-русски, точно перевод с иностранного!), и условно торже-

ственная лирика Ильина, и дешевость его философской постройки; а уж наверно радуют — неприхотливых, — привычно-знакомые православные банальности и привычно-высокие слова о доблести, силе, мече... Если совесть все-таки взволнована — ее успокоят заверения, что никакое убийство, никакое палачество — не грех, а только, разве, невинная, негреховная, неправедность...

Впрочем, есть в книге Ильина нечто, — и довольно страшное, — перед чем может остановиться всякий человек, мало-мальски внимательный.

* * *

Это страшное — смешанность. Ильин не соединяет, но все *вмешивает* друг в друга.

Религия у него впутана, ввязана в политику. Именно ввязана, а не связана с ней. Коренную, глубокую *связь* между религией и политикой трудно отрицать после Вл. Соловьева; но приуроченье религии (и философии) к известным политическим построениям, прикрыванье очень определенной политики «божественностью» — не связь, а использование религии для политики.

Отсюда и все другие спутыванья-смешивания: справедливое вмешано в недопустимое, человечность — в бесчеловечие, нужное и верное, — в вопиющее, слова о Христовом духе — в духе маленькой, острой злобности, молитва — в палачество.

И смесь составлена так, что справедливое и человечное из нее уже невыделимо, и не только не побеждает вопиющего и трусливо-мстительного, но само в них разлагается. Призыв к «борьбе со злом», — делается гримасой, слова о молитве под виселицей — звучат, как богохульство, а торжественное требование чистоты и высоты любви... от палача — похоже на кощунственную, плоскую насмешку.

Тут Ильина покидает и последний дух — дух древнего Ягве, чья «непрестанная ревность пылает, как огонь»; ибо, хотя

«чаша в руке Его, и вино кипит в ней, полное смешения...» — оно полно не такого, — иного, — «смешения».

Но перейдем к полной конкретности: к *политической* стороне данной книги.

* * *

Под общими рассуждениями о «борьбе со злом» в книге разумеется борьба с «революционизмом», еще уже — с «коммунизмом», и еще уже — с русскими большевиками (главными, по мнению Ильина, «революционерами»).

Сузимся и мы, и посмотрим, что может выйти из конкретной борьбы «ильинцев» (носителей политической идеи Ильина) с коммунистами.

Центральная политическая идея Ильина — *власть одного над всеми* (автократия).

Центральная политическая идея коммунистов — *власть всех над одним* (охлократия *).

Обе идеи, если угодно, — «религиозные», в том широком смысле, в каком всякая идея, по существу, — религиозна.

Обе идеи равно и одинаково противны духу новому, для него неприемлемы, уже потому, что ни та ни другая не знают главных, в нем открывшихся, ценностей: Человека-Личности и Свободы.

Обе идеи, таким образом, находятся в *равенстве противостояния.*

Выше мы уже говорили, что может дать идейное равенство противостояния. Когда оно выливается в реальное столкновение между носителями подобных идей — результат этого столкновения тот же: дурная бесконечность — в реальном образе.

* Беру это слово в прямом, настоящем значении, а не в историческом. Коллектив, где уничтожается личность (единый), действительно может быть назван «чернью».

·На тот же вопрос: кто кого казнит? Снова тот же ответ: будут казнить те и другие, поочередно, смотря по тому, на чьей стороне в данный момент окажется преобладание физических сил.

Действительность (или Жизнь) ни на линию не сдвинется при этом с мертвой точки. В самом деле, казнят ли сегодня одни, — с ругательством, — а завтра другие, — с молитвой, — что меняет повторяющаяся перемена ролей?

Физическая же сила, ее преобладание,— случайность. Физической силой можно, конечно, одолеть, схватить, взять: это дело физики. Но сохранение, закрепление взятого, в подлинном смысле «завоевание», — это уже дело духа. Потому и решает лишь он настоящую *победу*, которая вовсе не есть мгновенное и случайное «одоленье».

* *
*

Резюмируем.

Общее утверждение Ильина, что *«сопротивляться злу нужно»*, совпадает с правдой.

Частное его утверждение, что *«коммунизм есть зло»*, совпало с правдой.

Но это случайные, формальные и — необыкновенно короткие совпадения. Едва мы удлиним: «сопротивляться злу нужно...», прибавив: «силой, насилием», — как совпадение исчезнет. И вовсе не потому, что силы и насилия в борьбе со злом не может быть: напротив, оно там очень может быть; да только понуждающее к нему: «нужно...» сказано быть не может.

А что иное, как не случайность, второе верное ильинское утверждение: «Коммунизм есть зло?». Не имея необходимого духовного критерия, чтобы различать и определять зло, как зло, — Ильин не имеет возможности вскрыть и подлинное зло коммунизма. Да и попыток подойти к его природе и существу он не делает: он «злом» его попросту — *называет.*

Очень характерно: человека со «злой» волей нужно казнить; почему нужно — это в подробности доказывается; но почему «зла» воля данного человека, почему то, чего он хочет, — «зло», — тут объяснений нет. На «зле» Ильин не останавливается. Зло — значит зло.

В иных случаях прибавляет к тому, что уже назвал злом, — несколько эпитетов, долженствующих усилить злое впечатление; а то еще прибегает к такому приему: ставит свое зло в аналогию с каким-нибудь злом заведомым, или всеми за таковое признаваемым (почему они аналогичны, — тоже, конечно, не поясняется). Например, зло «революции» Ильин доказывает посредством нескольких знаков равенства: революция = всеобщее разрушение, революция = смерть и т. п. Смерть и разрушение — зло, значит — революция зло. Вот и все.

Прием простой, — но для кого он? Единочувственникам Ильина и это не нужно, а кто хочет размышлять — того ускоренные способы подготовки к борьбе с ильинским злом все равно не удовлетворят.

О подлинной же борьбе с подлинным злом, — какая может быть речь без твердого, ясного распознавания зла, без понимания того зла, с каким сейчас хочешь бороться? Ведь самая форма борьбы, ее орудия, средства, избираются в соответствии с природой и данной реальной формой этого зла. Даже болезнь нельзя победить, борясь с ней вслепую и не выбирая именно для нее годных средств.

Это слишком очевидно, и жаль, что говоря о книге Ильина, мне приходится повторять такие общие места.

* *
*

А самое очевидное — роковая безысходность борьбы ильинцев с коммунистами.

Противники — обратноподобные во всем: в духе, в центральных своих идеях, — религиозной и политической («один над всеми» = «все над одним») — и уже не обратно, а прямо

подобные в выборе орудий и средств для «победы»... Это — как если бы две руки, одному и тому же телу принадлежащие, вступили друг с другом в смертный бой.

Не всякую борьбу со злом коммунизма можно назвать *борьбой со злом.* Если она ведется с политической и религиозной позиции Ильина и единственные плоды ее — дела, которые Соловьев непереступимой чертой отрезал от человеческой совести, то для «духа нового» такая борьба есть сама — *злое дело.*

* * *

Я пишу это не ради обвинения в чем-нибудь автора книги о силе-насилии. Виноват ли человек, сам не знающий, какого он духа?

Вопрос в том, насколько Ильин уже замкнулся в самоуверенности. А если не вполне? Если, временами, и сам он подозревает неладное в своем христианстве? Тогда ему можно было бы дать немало добрых советов.

Вл. Соловьев для Ильина, в его теперешнем состоянии, бесполезен. Нет, ему надо начинать издалека, — вот, хотя бы, с маленькой, недавно вышедшей книжки П. Иванова — «Смирение во Христе».

Трудно представить себе что-нибудь более далекое книге Ильина. Ни барабанных призывов к мечу-молитве, ни высокоторжественных лирических отступлений, — ничего этого нет в немудрящих, действительно смиренных, сентенциях Иванова. А, главное, есть в них начаток духа, противоположного ильинскому.

Не скрою: это — приготовительный класс. Не всем Петр Иванов нужен, не всем даже полезен. По Ильину, который добрался до последних словесных высот христианства и не ощутил первого веяния его духа, — что осталось, как не сойти с голых вершин, не совлечься своей праздной мудрости, не начать с самого начала — со смирения во Христе?

Долог, тяжел, извилист путь от Петра Иванова до Владимира Соловьева, даже до понимания трагического узла «нельзя — и надо». Можно и совсем не дойти, так и утонуть в «смиренности». Но, во-первых, лучше утонуть в ней, чем засохнуть в гордыне Ильина, а во-вторых, все-таки, если есть путь — есть и надежда дойти.

Вступи Ильин на этот путь, «отвергнись себя», — была бы и для него, хоть малая, надежда достичь иных «видений»: уразуметь, какого «духа» был убийца, молившийся на кресте в небе: понять, во имя чего положил он душу, и что значит «положить душу — жизнь»; и увидеть, наконец, в собственной совести, черту, отделяющую насилие «честное» — от «бесчестного».

Была бы надежда постигнуть внутренно, в безмолвии, что меч — может стать подвижническим крестом, но никогда не бывает меч — молитвой.

«Сим победиши» — сказано о кресте.

Оправдана ли вера эта?

Кто подымает меч, зная, — памятью или хотя бы сердцем, — что на кресте умер Человек, открывший нам Свободу, только для того она оправдана.

Сентябрь, 1925

ЧЕГО НЕ БЫЛО И ЧТО БЫЛО

Вопрос о «молодежи» — перманентный вопрос. Он постоянно возвращается, периодически всплывает на поверхность. Им занимались люди всех времен во всех освещениях и планах; не знаю, впрочем, сказал ли тут кто-нибудь новое — по существу.

Существа вопроса я сейчас не собираюсь касаться. Я хочу только сделать несколько фактических «дополнений к моему очерку «Мальчики и девочки». Сильная, во многом справедливая статья В. И. Талина «Предгрозовье», мой очерк комментирующая, грешит кое-где историческими неточностями. Их я и

считаю нужным исправить, — не для того, чтобы Талину возражать, а чтобы его возражения и выводы, которые он обещает в дальнейшем, были основаны на фактах объективно верных — до мелочей.

Талин, я думаю, не хуже меня знает, как часто маленькие писательские ошибки заставляют читателя превратно истолковывать всю вашу мысль. А если рядом (что всегда возможно) появляются рассуждения на ту же тему какого-нибудь первично-невежественного журналиста, — вроде комментариев к моему очерку одного нововременца из «Возрождения», — путаница в читательских умах еще усиливается. Сама серьезность темы не позволяет пренебрегать мелочами: ведь дело идет о суде над молодежью последних десятилетий, и даже не над ней только, а, пожалуй, над всей русской интеллигенцией.

Проследим же внимательно комментарии Талина к моему очерку.

У меня, прежде всего, не было претензий дать образ чуть не целого поколения. Очерк узок и бегл, — просто рассказ о нескольких юношах, собиравшихся в некотором месте в такое-то время. Воскресные собрания отнюдь не были для меня «светом в окне» или якорем спасения. Большинство «старшей» интеллигенции, даже причастной к литературе, не жило тогда отдельными, замкнутыми кругами. Мы имели разнообразные возможности встречаться с людьми в разнообразных «планах». Тот круг «среднемолодой» эстетствующей и распущенной молодежи, который ярко и верно обрисовал Талин, — был нам просто ни с какой стороны не интересен. Все отлично знали, что эта «молодежь» выросла не из старого «декадентства» или последующего течения символизма; специфически-упадочная среда родилась гораздо позже, во второй половине десятых годов. И никакого «течения» в ней не было — было «стояние».

«Старшие» с этой средой, как со средой, непосредственной связи не имели, и не желали иметь, прекрасно понимая, что такое все эти «юрочки» и куда бредут их «Собаки».

В самом начале была, впрочем, связь — посредственная, через «полустарших», вроде Блока (и других, менее известных). Но скоро и полустаршие (очень многие из них) от этой среды отстранились.

Замечание Талина насчет Блока и «частички тайны 12-ти» — совершенно непонятно. Блок, говорит Талин, «как бы мстил слишком знакомой ему среде, и Христа, которого пытались (кто?) сделать водителем мертвеньких, развратненьких... превратил в водителя 12-ти диких, неуемно здоровых, матросов-большевиков». В чем же тут могла быть месть — «мертвенькой» среде? Или это месть кому-то, кто будто бы пытался сделать водителем молодых мертвецов — Христа? Невозможно разобраться, да, пожалуй, и не стоит: довольно утвердить факт, что решительно никто и никогда не делал ни малейшей попытки навязать «мертвеньким» Христа в водители, и я даже не представляю себе, какому глупцу или безумцу могла бы прийти в голову подобная мысль.

Если Блок ушел в «уединение» и не примкнул к той или другой группе «старших» — главная причина этому лежала в особенностях его сложной натуры. Всякая «общественность» была для него чуждой стихией. И когда бы, где бы она его ни настигала — он неизменно падал... Во всяком случае, Блока трудно брать как «тип», подводить его под какое-нибудь правило: он был скорее исключением.

Мысль присмотреться к «маленьким» (кстати, Блок очень ей сочувствовал и с живейшим интересом относился к «зеленому» кольцу), — явилась у меня вовсе не от «отчаяния» и не от запоздалого «разочарования» в среднемолодых эстетах. Это была очень естественная мысль. Если случаются косяки пропавших полупоколений (от сложных причин), то часто как раз за ними идут силы свежие, действительно молодые. Почему не предположить, что эти силы — современные мальчики и девочки? На их лицах ведь не лежал, — по слову Блока, — кровавый отблеск «от дней войны» (японской), от дней «свободы» (1905 г.). Они не были «дети страшных лет России...» (а кто

знал, что они – дети будущих, во сколько раз более страшных, лет России?).

И по всей совести не могу я сказать, чтобы эти дети уже тогда были подобны «молодым мужчинам и женщинам», о которых говорит Талин. Нет, в «ядре», в зеленом круге, была и свежесть, и открытость, и чистота, и жажда действительно нового. Первое соприкосновенье – даже не с дурной средой, а с отдельными ее представителями, и на нейтральной почве, – не вызвало ли в них протеста и желания бороться с заразой? Я чувствую себя не вправе утверждать, как это делает Талин, что не случись «грозы и бури», все они превратились бы, тихим эволюционным путем, в знакомую толпу «юрочек» и полуюрочек. Думаю, и Талин не имеет для этого оснований. У нас есть, напротив, основания для иных догадок: ведь в «грозу»-то именно мальчики и девочки тучами гибли, пока «среднемолодые» (во имя справедливости – и они **не** все!) обзаводились «кожанчиками и наганчиками» и, вертясь, примазывались к Смольному.

Это о них-то «лучше не вспоминать». А из юных моих приятелей ни об одном ничего «вот такого» я не знаю. Даже о «лживой» девочке (она была не петербургская, примыкала к другому «зеленому кольцу»).

В. И. Талин называет мой очерк «покаяньем» и «исповедью». Ничего в принципе не имея против этих прекрасных вещей, я, однако, не догадываюсь, почему видит их Талин в данном очерке. Мой опыт был узок, скоро прерван, я об этом глубоко сожалею, – но ни в чем не раскаиваюсь. Или мне следует каяться, что, по моему «попущению», чуждые элементы проникли в зеленый круг? Но и здесь раскаяния не ощущаю. Проникновенье было неизбежно; справляться с дурным влиянием должны были сами зеленые (как знать, не справились ли бы они в конце концов?). Мой принцип «невмешиванья» был одной из «идей» «Зеленого Кольца»: никакого «учительства» и «водительства» (я в «учительство» вообще не верю): взаимная помощь при условии взаимного интереса – и только.

Что касается «исповеди» — то можно ли исповедываться в том, что никогда не было секретным и происходило совсем не тайно?

Теперь о «мелочи» — весьма важной.

Талин говорит, что одни социал-демократы-большевики считались в то время «настоящими, онтологическими революционерами» и что «из всех русских революционных течений они, и еще "левые с.-ры", личными и сложными духовными связями больше всего были близки именно к этой среде литературно-общественного декаданса».

Прежде всего: **какую** среду здесь фактически разумеет Талин? Очевидно, уже не ту, о которой все время шла речь, не среднемолодых, не юрочек; Талину известно, что там абсолютно не интересовались ни меньшевиками, ни большевиками, и ни в каких связях с ними не могли состоять, ибо даже о них и не знали. Следовательно, говорится о каких-то «старших». Но переход от молодых к старшим довольно неожиданный, и мне начинает казаться, — уж не забыл ли Талин, что отметил сам же отсутствие свяи между среднемолодыми и старшими, уж не разумеет ли здесь какую-то одну, общую среду «литературно-общественного декаданса»? Среду, где молодые занимались исключительно «Собаками» и прочим, а старшие, **за них,** поглядывали и в сторону общественности, главным образом, в сторону большевиков да лев. с.-ров?

Тут начало целого ряда неясностей и фактических неточностей. Во-первых — такой общей для старших и младших среды — **не было.** Во-вторых — и «старшей» среды, которую можно бы назвать средой «литературно-общественного декаданса» — тоже **не было.** В-третьих — та старшая литературно-общественная среда, которая действительно была в годы 1906—1917 (и незаметными переходами сливалась со средой общественно-интеллигентской) — она не только не признавала социал-демократов-большевиков «настоящими революционерами» и т. д., но именно к ним, — и только к ним, — относилась с определенной враждебностью. Что касается «левых»

с.-ров, которые будто бы делили успех с большевиками, то напомню Талину, в скобках, что их тогда **вовсе не существовало.** Едва они, в зародыше, проявлялись (Маслов, морской офицер, личность, попавшая, перед революцией, под подозрение, Ив. Разумник и др.) — как тотчас и вызывали к себе соответственное отношение. Даже Чернов, до сих пор формально не «левый с.-р», и к тому отношение было весьма отрицательное.

Я говорю, конечно, о среде, о круге (о чем говорит и Талин), а не об одиночках. Горький, например, не принадлежал, в сущности, ни к какой «среде»; это был расславленный (непомерно) писатель и беспомощный человек, в корне, притом, некультурный; он всегда попадал в руки людей, умеющих «использовать» и его, и его «славу». А жалкая старая эпопея Минского (ее вспоминает Талин) была просто личным приключением поэта-неудачника; оно закончилось, буквально через несколько дней, позорным и ненужным бегством за границу. Там этот трехдневный «редактор» газеты Ленина и влачил существование с 1905 года (хотя давно был «прощен»). Ни с кем не «соединялся», двадцать лет подряд проклинал Ленина и большевиков, пока, наконец, не «признал», для чего-то, лондонское полпредство...

Но возвратимся к сути дела.

Отрицательное отношение литературно и просто общественных кругов интеллигенции к большевикам не было тайным: с ними велась постоянная борьба везде, где было можно и как было можно. О выступлении открытом, политическом, против политической **нелегальной** партии — не могло, конечно, быть и речи; но внутренняя, идеологическая борьба с крайним марксизмом-большевизмом велась довольно интенсивно: иногда в закрытых или полузакрытых собраниях, иногда в печати.

Все это не такая давняя история, и примеров можно бы привести сколько угодно. Случаи бывали самые разнообразные. Кое-кто, я думаю, еще помнит появление в Петербурге

некоего «старца» Щетинина. Появился он вместе с Распутиным, но дороги их разошлись: Щетинин стал действовать в рабочей среде. Приобрел там множество «учеников» и «учениц»; но довольно скоро, впав сам в некоторые крайности своего «учения», вызвал скандал и был втихомолку убран.

Адепты остались и... тотчас поступили в ведение одной большевистской группы (с Бонч-Бруевичем), которая занялась их **дальнейшим** воспитанием. Мы сначала недоумевали: дальнейшим? Можно ли воду Щетинина перевести на мельницу Маркса? Но раз, в частной квартире, мы встретились с несколькими щетининцами и щетининками (рабочими). Это было очень скоро после исчезновения «учителя». Тут же находились и главный «апостол» Щетинина — Легкобытов, вертлявый, щупленький мужичок, тоже из рабочих, с юга, — и новый один «попечитель» круга, интеллигент-большевик. Последний все время молчал. Щетининцы охотно и наивно рассказывали, что, хоть не решались сначала – «выбросили иконы»; что «женщина тоже должна свой пай иметь» и «с кем захочет — пойти» (ибо она — «сосуд»); что жить следует «сообща», не глядя на имущество (его «нести в сообщность»), и что «правда не во дворцах, а в хижинах». Апостол — Легкобытов заливался соловьем, изъясняя «учение». Под рукой имел целые ремингтонные книжищи и даже печатные брошюрки. Щетинин, хотя грамотности был вроде распутинской, любил «письменность»; и сам старался, и другие с его слов, «к порядку», записывали учение.

Оно сразу ошеломляло. Казалось непроходимой ерундой, какой-то свалкой отвлеченно-возвышенных и туманно-священных словес. Однако взялись же отсюда «правила» (лозунги?), повторяемые молодой работницей?

И стоило с кое-каким терпением вникнуть в торжественную галиматью, в полусумасшедшую, самородную, демагогию, чтобы сделалось понятным, почему большевизм хочет половить своей рыбки в этой мутной воде. Ничего «религиозного» в учении Щетинина, несмотря на прикрытие «священными»

словами, не было. Или, впрочем, было: ровно столько же, сколько в учении Ленина—Маркса. Разнствуют лишь «священные» слова. А в сути, до мелочей, оба «учения» оказывались подобными.

Это вызвало тогда немало статей (левых писателей), где проводилась параллель между двумя **страшными** идеологиями и указывалось, что большевизм и щетинизм, в применении к жизни, реализованные, — должны давать те же реальные результаты.

Делаю, относительно статьи Талина, последнюю оговорку: может быть, автору известна еще какая-нибудь «среда», отдельная, находившаяся где-нибудь на периферии широкой общественно-литературной (и, конечно, не связанная ни с полумолодой «эстетствующей», ни с мальчиками и девочками)? Может быть, она-то и «признавала» большевиков, к этой-то среде и были они «близки личными и сложными духовными связями»? Может быть, из нее-то какой-нибудь выходец и пытался предлагать «развратненьким юрочкам» Христа в водители? И, может быть, эту среду и называет Талин «средой декадентства»? Тогда, конечно, все объясняется, хотя все перемещается. Но тогда следовало бы Талину рассказать нам об этой таинственной среде, и тем подробнее, чем она ему известнее, чем ближе он к ней стоял. Я называю ее «таинственной», ибо мне (и не только мне) до сих пор ничего не известно даже о ее существовании.

Нет спора: большевизм нашел для себя в России благодарную землю. Но вспаханная и разрыхленная — сама она этих семян в себе не носила. Не было их не только в предвоенных и военных «мальчиках» — но даже и в самих опустившихся, безволием разъеденных, косяках «средней» предгрозной, молодежи. Я хочу сказать, что и те, которые сделались большевиками, **могли бы ими и не сделаться.** Ни у кого не было «обреченности» именно на большевизм, и никакими слоями и

кругами бывшей России он не взращивался. Даже царское правительство только разрыхляло и удобряло почву, и даже (пусть примут это за парадокс) сами большевики одним таким разрыхлением, до 17 года, только и занимались.

Значит, большевистская Россия – случайность? Или рок? Или – что?

Пусть каждый выбирает для себя свое определяющее слово. Оно не так важно. Да я и не вхожу здесь в общие рассуждения. Я только хочу восстановить некоторые факты в их настоящем виде, в каком Талину они, очевидно, неизвестны. Может быть, эта историческая информация смягчит его слишком суровый суд над юной, младшей и старшей интеллигенцией предгрозья и соответственно умерит его снисхожденье к новым российским пореволюционным «побегам», которое я (по всей вероятности – обманно) предчувствую.

Наша тема, повторяю, слишком важна, как и момент истории, который мы рассматриваем; и если мы хотим сделать какие-нибудь выводы, ценные для будущего, мы обязаны исследовать прошлое с самой тщательной точностью и, главное, с совершеннейшей объективностью.

П. С. Моя заметка была уже написана, когда появилось продолжение мыслей Талина о молодежи. Оно для меня ничего не меняет; поправки касаются прошлого, и я настаиваю, что для выводов и догадок насчет будущего – необходимо исследовать прошлое с углубленной и точной объективностью. Иначе нам придется ограничить себя общими местами, банальностями, а в выводах – «верой и надеждой». Советская молодежь плоха? Она исправится; другой неоткуда взять, если большевики останутся у власти еще лет сто.

На веру легко возразить другой верой... что большевики сто лет не просидят. Но обменивание верами дела не подвинет. Уж лучше оставим, до времени, всякие выводы. Просто поговорим о **данном.** Без углубления, и не выходя из «плана» Талина, я

отвечу ему тоже несколькими банальностями (т. е. бесспорностями): и здесь и там, есть **всякая** молодежь. Отрицать, что в России есть она, сохраняющая человеческий лик, – уже потому нельзя, что мы каждый день видим «мальчиков и девочек», настоящих, приезжающих сюда учиться. «Аржаное» поле, конечно, великая вещь, со здешним виноградником не сравнимая, однако слепая талинская вера в его чудодейственную силу меня удивляет. Аржаное поле лишь один из «факторов» (в «плане» Талина я говорю и его языком). Факторы же надо учитывать **все.** Вера хорошо, но разум, – расчет, арифметика, – тоже не плохи. Здешняя наша молодежь растет около виноградников, тамошняя – около аржаных полей. Если б этим исчерпывалась разница условий жизни – о чем бы и говорить! Хотя все же была бы и там и здесь **всякая молодежь,** но ни с какой здешней можно было бы не считаться (со стариками тоже). Но дело-то в том, что разнствуют эти условия – куда сложнее и глубже. И есть между ними одно различие, примитивное, но такое важное, что перед ним все аржаные поля и виноградники – только пустяки. Если Талин о нем забыл, я напомню: это – **свобода.**

Положение таково: человеческий детеныш, растущий сейчас в советских условиях, беспризорный или советской властью «презираемый» (не знаю, что хуже), **не** вырастает в человека. А так как рожден-то он человеком – он приходит в «неистовство». Это – правила (с исключениями, конечно). Действительность даже не кричит, – орет, его подтверждая. Талину стоит поднять глаза вверх от своего фельетона и прочесть заметку: «Это называется жизнью...».

Да, жизнью «это» не называется, и люди эти людьми тоже не называются. Талин верит, что потом, при длящемся советском владычестве, они исправятся и даже сделаются «хорошими демократами». Вера его самого, быть может, и спасет, но положения никак не спасает.

С этим положением я, действительно, **не мирюсь,** и «лубочно», и всячески. Оно трагично. Но чтобы найти выход –

надо прежде всего иметь мужество взглянуть на реальность открытыми глазами.

В заключение – еще несколько банальных (бесспорных) истин насчет «вер и надежд». Мы решительно все, как и Талин, верим, что Россия жива, и надеемся на ее молодые силы. Но разумной надеждой не руководит география. Я не могу, и не буду, надеяться на силы тех, из кого уже вынута душа, или исковеркана, **только** потому, что они находятся около «аржаного» поля.

Они, действительно, бесплеменные, – «не помнящие родства». В этом смысле они **уже не народ.** Так сказал бы о них Вл. Соловьев, именно **памятью** определивший племя, – народ. И надеюсь я, – и надеяться можно, – лишь на тех – молодых, старых, в России живущих и в Европе, **одинаково,** на всех тех, кто хранит память и свободную душу.

ЕГО ВЧЕРАШНИЕ СЛОВА

(М. М. Винавер)

Тот, кто знает, что такое лицо, личность человеческая, – знает, что для нее нет смерти. Смерть – исчезновение лишь для тех, кого и раньше *не было.* Это они, пуговицы без ушков (по Ибсену), идут в ложку Пуговичника – Смерти для переплавки.

Но смерть, как грань между *здесь* и *не здесь,* как непонятная для нас перемена, – самое потрясающее, что есть на земле. И потрясает она, всякий раз, изумлением. Так обыкновенна – и так неожиданна. Умерший уже не здесь, хотя и здесь. Двойное, совсем иное, непостижимое бытие! Вероятно, ничего нет проще... Но и ничего – удивительнее.

Смерть Максима Моисеевича Винавера поразила меня. Потрясла изумлением... (хотя *в другом порядке* об этом думалось уже с весны). Я не могу и не хочу писать сейчас что-нибудь похожее на общие о нем «воспоминания». Только – отдель-

ные черты, касающиеся самого последнего времени, последних месяцев и недель жизни М. М-ча, перед таинственным переходом его в состояние, нам непостижимое.

Это будут не мои слова о нем, — а *его собственные*, — о себе, о своей книге «Недавнее», о своем журнале «Звено»: краткие отрывки из писем его этим летом. Привожу их без комментариев. Образ М. М-ча достаточно ясно отразился и в малых каплях. Не везде удалось мне выключить все, относящееся ко мне; оно оставлено ради понятности.

У нас с М. М. много общих интересов. Один, не менее других захватывающий, — *человек*. О человеке-индивидуальности, о том, как понять его изнутри и передать понимание в слове, — мы говорили особенно часто. Говорили, конечно, и о его книге «Недавнее». Этой весной она вышла вторым, дополненным изданием.

М. М-чу было известно мое намерение писать об этой книге. Но тут случилось маленькое недоразумение, благодаря которому дать фельетон в «Посл. Новости» мне не захотелось. Вот что написал по этому поводу М. М.

Но ранее — два слова о его письмах с внешней стороны: у М. М. — редкий почерк, высокий, красивый, ровный, — но не сухой; приятный почти до нежности. «Почти» — ибо это не безличная нежность женского почерка; почерк мужской, умный, — логичный, если можно так выразиться. Впрочем, описать почерк столь же трудно, как и лицо.

От 11 июня, из Парижа:

«...понимаю вас отлично... И не насилуйте себя, не дожидайтесь “пафоса” для писания в П. Н. Если у вас вообще есть охота писать (о «Недавнем»)... мне пришло в голову вот что...».

М. М. предлагает мне страницы «Звена». Ближайшим сотрудникам, просившим разрешения дать отзыв о книге редактора, он отказал.

«...Я мог бы разрешить писать о моей книге в "Звене" только писателю... который и в моих глазах не способен поддаться, даже бессознательно, какому-либо пристрастию...». «Не знаю, как бы вы к этому отнеслись, но вам я бы спокойно доверился...». «...Только, ради Бога, скажите откровенно ваше мнение...». «...Я слишком давно и слишком глубоко уважаю печатное слово, чтобы не преклониться перед стремлением говорить всю правду до конца... Прошу вас потому дать мне согласие только в том случае, если вы чувствуете, что и на страницах "Звена" можете также писать обо мне, как писали бы в другом месте», то есть «при ощущении полной внутренней свободы...».

Мое согласие было дано — с уговором: если что-либо в статье покажется М. М-чу не совсем понятным, или спорным, — он рукопись в печать сразу не пошлет, а снесется со мною. На это 21 июня:

«...От первого до последнего слова — во всем, во всем с вашим письмом согласен. Договор, значит, заключен по всей строгости закона. Можете даже, если удастся, вставить слово, что с особою редактора не считаетесь. И пишите по-кордельевски (Корделия, кстати, моя alte Schwache *)...».

(Последнее касалось моего замечания относительно общей моей «сухости» в критике и скупости на хвалебные слова.) Строки этого письма так же прямы и стройны, хотя вот конец его:

«...День моего отъезда не установлен: схватил грипп и пишу это письмо лежа в постели...».

Лишь 8-го июля:

«Оправился, наконец, от своего гриппа и послезавтра, 10-го, отправляюсь на отдых. Адрес мой Menthon St-Bernard...».

Через 10 дней, 18 июля, — письмо очень интересное. Повод — моя рукопись, но не в ней дело, а в мыслях М. М. о своей книге.

* старая слабость *(нем.)*.

«Получил статью и, не изменив ни одной йоты, отправил немедленно в типографию. Предполагавшихся вами «возможностей» в вопросе об эпохе не оказалось: я никаких возражений не имею и к тексту нашего "уговора" прибегать не пришлось. Ваше намерение поговорить когда-нибудь по существу об эпохе чрезвычайно интересно. Не знаю: быть может, тогда кое в чем и разойдемся. Пока этих расхождений нет. Есть интересные намеки на этот счет в оценке Спасовича, но пока только намеки. В общем наша оценка Спасовича, к большому моему удовольствию, совпадают с моей характеристикой, о которой вы сказали столько лестных слов. Курьезно, что до сих пор все писавшие и говорившие со мною о моей книге особенно выделяли Пассовера. Только вы поняли, что он у меня не целен и справедливо отдали предпочтение Спасовичу. Хотя Андреевский мне и писал: "Вы разгадали этого сфинкса" (Пассовера) — я считаю, что все-таки не "разгадал" его. А привлекает он внимание людей нынешнего времени именно тем, что он не целен, изломан, раздвоен. Мы возвращаемся как будто к эпохе "загадочных натур". Есть же в моей галерее натуры душевно-здоровые, крепкие, на которые, однако, никто внимания не обращает, хотя некоторые из них изображены, мне кажется, недурно. Вот, например, Мясоедов (за которого некогда осыпал меня комплиментами Кони), тоже Колюбакин и попутно зарисованный Караулов (они должны были, как мне казалось, обратить на себя и ваше внимание). Я говорю о здоровье, о крепости, конечно, в смысле индивидуальной психики, вне всяких общественных тенденций. Два слова об этой "общественной" стороне моих писаний. Я счастлив, конечно, что удалось "исполнить долг" перед моей эпохой...». «Но вы представить себе не можете, как это все вышло случайно, — гораздо более случайно, чем это отмечено вами на основании моего предисловия. "Общественность" (если считать это слово равнозначащим борьбе за право и свободу) играла у меня роль только при выборе сюжета: раз фиксированная фигура уже теряла для меня общественный интерес; я старался уловить (и

только за эту цену и мог уловить) чисто индивидуальные черты. Мне всегда казалось ошибкою характеристик Кони, что на них оставался этот лак общественности.

Заболтался я и вдруг призадумался: имеет ли право критикуемый автор так объясняться со своим критиком? Не формальное право, а по существу. Что толку в этих объяснениях раз дознано, что автор сам хуже всего себя понимает. Даже предисловия, которые он пишет, чтобы себя немного раскрыть, обобщить, только вредны. Слабость человеческая, от которой никак нельзя отказаться. Бросим, поэтому, объясняться; когда-нибудь, *вне данной книги*, поговорим об этих предметах, главным образом об интересующей меня особенно художественной природе литературного портрета. Пока же скажу только моему критику: как он ни старался писать по-кордельевски, критика его вышла крайне лестна для меня и весьма снисходительна к моему случайному в этой области литературному творчеству...».

Конечно, вопрос о «праве» автора объяснять себя вызвал мои серьезные возражения. Не предрассудок ли думать, что автор ничего о себе самом не может сказать интересного и никак себя раскрыть? Мне хотелось убедить М. М-ча, что такой предрассудок даже вреден, что между автором и критиком, — нормально, — должна существовать взаимопомощь...

Вскоре случился некоторый перерыв в нашей переписке: от М. М-ча не было письма недели 3. Это меня смутно беспокоило; слишком всегда был он аккуратен и быстр с ответами, на этот же раз и темы для нас обоих были исключительно интересны. На вопрос, краткое письмо мое, — просто запрос о здоровье, — очень скоро получился ответ (от 3-го сентября).

«Пристыдили вы меня, сразили своим великодушием. Никакой извинительной причины моего молчания нет. У вас там жара умеряется морским ветерком...». «Как же вам объяснить, как добиться от вас оправдания человеку, который нарушает элементарные правила дружбы, приличия наконец, единственно под влиянием жары?..».

И через две страницы (тоже очень интересные, хорошо рисующие М. М-ча, его отношение к литературе, к «Звену» и т. д., но которые я, однако, выпускаю), далее:

«...ваше особливо дружеское отношение к "Звену" меня бесконечно трогает. "Звено" — поверьте мне — платит вам взаимностью. И в этой взаимности отражаются не только личные симпатии редактора, но и некоторое духовное сродство между журналом и вами: бесконечное стремленье к свободе мысли и бескорыстное искание...» *.

И еще далее:

«...Меня очень обрадовала и поощрила ваша общая оценка "Звена". Говорю "поощрила", потому что не скрою от вас, моментами одолевают меня сомнения: хорошо ли я сделал, взявшись на старости лет не за мое в сущности дело, и с упорством продолжая его. Поддерживает меня только нерадостная мысль, что никто другой за это, нужное, на мой взгляд, дело не берется и едва ли возьмется. Моя писательская деятельность была всегда далека от журналистики — я сам потому мало в "Звене" пишу, и вынужден опираться на других; моя задача — правда, нелегкая — состоит в подыскивании этих других, в выравнивании общей линии. В условиях эмиграции это дело особенно трудное, и руки не раз опускаются...».

Несмотря на эту грустную ноту, общие выводы М. М-ча отнюдь не были пессимистичны. И, в конце концов, насчет «Звена» мы пришли с ним ко всяческим согласиям...

Но дни сентября бегут, бегут... Вот последний листок знакомого почерка, совсем такого же крепкого, чуть-чуть разве более пологого (помечено 20 сентября):

«На сей раз не жара, а нечто худшее задержало мой ответ. Прихворнул — припадок сердечный (не из тяжелых, правда) — пролежал неделю. Начинаю вставать, но еще писать

* Эту выписку я не опускаю лишь ради ярко выраженного внутреннего взгляда М. М-ча на «Звено».

много не могу. Ограничусь потому и скажу лишь, что письмо ваше сильно обрадовало меня».

Полстранички о «Звене» и о делах, затем конец:

«...А пока дружески жму вашу руку. Когда оправлюсь, напишу опять».

«Опять» — не наступило. Больше мы с Максимом Моисеевичем ничего друг другу не написали.

Но все это, — не правда ли? — такое... уж не «недавнее», а вчерашнее, или даже «сегодня утром»; и гораздо мне было бы естественнее получить завтра конверт со знакомым, тесным, почерком от живого М. М-ча, нежели думать, что он — умер. Это не входит в чувство: только в изумленную мысль... Но и она не признает его «мертвым», — не существующим, не сущим.

К «не сущему» невозможно живое отношение. И с какой легкостью рвется, порою, отношение к умершему! Его вбирает, на краткую минуту, чужая «память» (в чужой памяти *«жить»* — нельзя, это лишь метафора). О нем начинают говорить, не считаясь с ним — воистину «как о мертвом», — что он *был* такой, *имел* такие-то высокие качества, *делал* такие-то прекрасные дела... Словом, говорят и хорошо, и верно, но *так*, как не говорили бы, если на секунду предположить, что он — слышит...

Меня не оставляет чувство, что Максим Моисеевич слышит: и говорить о нем я могу лишь так, как если бы это было — при нем. Мало того: мне кажется, что все, имевшие с ним близкое соприкосновение, все работавшие с ним, должны ощущать то же самое. Разве чувствуют себя сотрудники «Звена» — окончательно покинутыми? Пусть говорят, как хотят и как хотят зовут эту непокинутость: уважением к духу, к памяти... все равно, важно лишь чувствовать *присутствие* отсутствующего.

Когда, в прежние времена, умирал глава семьи, его место за столом оставалось незанятым, прибор готовым, как для живого. Во всяком деле — друг друга — спрашивали: а как решил бы он? И как он — так решали и они.

В «Звене» Максима Моисеевича никем заместить нельзя. И не нужно. Ведь он, для этого дела, не только искал — он и находил тех, на кого мог опереться; не напрасно же он, не в пустоту же, подчеркивал «бесконечное стремление к свободе мысли и бескорыстное искание...». Кто-то ведь слышал и услышал его?

Не хочу готовых, привычных фраз: «пусть светлая память покойного живет среди осиротевшей семьи сотрудников...» и т. д. Нет, пусть сам Максим Моисеевич живет в своем «Звене», а те, на кого он опирался, — пусть служат и далее исполнителями его сердечной и душевной воли.

Октябрь, 26
Канн

«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ»
Книга XXIX

Нелегкое бремя выпало на долю «Современных Записок». Быть единственным на свете русским «общественно-политическим и литературным» журналом, свободным, но издающимся не на родине, в сложный исторический момент, — положение столь трудное и ответственное (кстати, оно и без прецедента), что подходить к журналу с критикой следует очень осторожно. В самом деле, есть же мера сил человеческих. Думаю, если бы руководители этого дела были сплошь гениями, то и они безупречно с задачей не справились бы; а, пожалуй, у гениев и вовсе ничего бы не вышло.

Но критик не всегда критикует для критики. Порою это не суд, а помощь; ибо взгляд со стороны действительно **может** стать помощью. Как часто удивляли и огорчали меня писательские самолюбия! Ведь если критик предается суду ради суда — надо только оставить его без внимания; если он ошибается — надо разъяснить ошибку, а нет — опять пройти мимо;

если же, во взгляде со стороны, есть кое-какая правда, — почему ею не воспользоваться? Впрочем, вопрос критики слишком важен, им следует заняться отдельно. Возвращаюсь к 29 книге «Совр. Записок».

Книга очень приятная в некоторых отдельностях. Но, по сравнению с иными из прежних, — очень малоцельная. Я понимаю, что при безмерно ответственном положении журнала, именно цельность его, ощутимое присутствие единого связующего духа, определенный **лик,** — есть то, что наиболее трудно достигается. Однако ценность единства, хотя бы приближения к нему, слишком важна. Всякий раз, когда начинает чувствоваться в журнале устремленность к этой общесвязанности, — хочется его особенно приветствовать. И, напротив, уступки внешнему напору, расширение журнала в ущерб углублению, уклон в эклектизм (такой понятный!) невольно огорчают. Не хотелось бы, а приходится иногда сказать о «Совр. Записках», о их (пусть вынужденной) широте, приблизительно то же, что говорит в этой книге Степун о «Пути»: он отмечает, как следствие чрезмерной широты, притупленность конкретного острия. Получается «размашистость» и та «категория «вообще», которая и делает лик журнала неуловимым.

Говоря о книге 29-й, в частях приятной, я и начну с этих самодовлеющих отдельностей.

Для оценки некоторых литературных вещей данного номера мне хочется воспользоваться статьей Муратова (там же помещенной) — «Искусство прозы». Статья эта, довольно парадоксальная, в выводах спорная и не вполне стройная, имеет, однако, несколько хороших определений существа художественной прозы. (Между прочим и мысль, что русская литература гораздо более, чем это думают, связана с европейской, — очень верная мысль.)

«Русская беллетристика, — говорит Муратов, — не богата ни мыслью, ни воображением... и не эти два элемента играют в ней главнейшую роль... Гоголь и Достоевский — какие-то гениальные исключения... Русская проза скорее пошла в сторону

жизненности, проявленной Толстым с едва ли бывалой когда-либо силой».

Об этой **«жизненности»,** — главной линии, идущей от Толстого, — Муратов говорит и далее, называя ее «редким и самым таинственным литературным даром». Нужно, однако, обладать им в высокой степени, чтобы на одном этом элементе построенная литература оказывалась действительно литературой. Муратов (совершенно ошибочно, на мой взгляд) причисляет к первым после Толстого обладателям этой силы — Горького. «Другие же, менее счастливые от природы, беллетристы принуждены искать выхода... в обостренной любви к слову...». «В слове, в узоре или музыке слов... художественная проза, начавшая утрачивать жизненность и не имея опорных точек ни в мысли, ни в вымысле, стремится обрести **новую формальную базу**».

Бунина и Зайцева (сближая их) Муратов приводит как пример беллетристов, «менее счастливых от природы» нежели Горький, силу «жизненности» не утративший. Но если даже принять муратовское разделение и терминологию, т. е. назвать известный элемент художественного дара — «жизненностью» (линия Толстого), то как раз Бунина тут следует поставить в первую голову. В смысле преобладания «жизненности» над мыслью и воображением — Бунин типичный русский беллетрист. Мастерство слова? Вряд ли это какие-нибудь поиски «новой базы», по Муратову; это, ведь, не мастерство для мастерства, а лишь средство доводить описательство до совершенства, до наглядности, **до воссоздания** самого предмета. В данной книжке «С. З.» очерк Бунина «Воды многие» — один из ярких примеров такого, на одном элементе построенного, «жизненного-только-жизненного», русского искусства. И это самый подлинный, самый настоящий Бунин. Читая его морской дневник, совершенно забываешь, что в этом «беллетристическом» произведении нет ни мысли, ни воображения. Такова сила «жизненности» художника. Он дает только море, небо и свои ощущения перед ними, и дает с такой всесторонней за-

конченностью, что трудно желать большего. Мне даже приходит в голову: не делаем ли мы ошибку, когда требуем от Бунина, помимо его изобразительности, его «жизненности», — еще чего-то другого? Не было ли бы разрушением известной, уже достигнутой, гармонии, если бы художник стал вмешивать в свое творчество и два другие, по Муратову, элемента? И разве уже не случалось с ним этого? Давал ли он нам тогда что-нибудь равное «Водам многим»? Этот очерк — тот прекрасный, **беспримесный** Бунин, которому мы можем только радоваться.

Между «морским дневником» и рассказом Зайцева «Странное путешествие» я никакой близости не вижу. Да, пожалуй, и вообще нет особенной близости между этими двумя художниками. Если Бунин сидит с головой в жизни, ворочается в ее бессмысленной гуще, то Зайцев полулегко, полуосторожно прикасается к ней, а иной раз даже около ходит, издали поглядывает. Его прозрачная нежность часто кажется слабостью. Он созерцатель; описания действий, особенно грубых, как убийство, ему не удаются. В «Странном путешествии» есть захватывающие, пленительные места, — образы ночи, сумерек, снега, дороги, — но в общем рассказ не то что не строен, а как-то не все в нем договорено.

Я ничего не скажу о двух произведениях молодых авторов, именами которых «Совр. З.» хотели, очевидно, внести разнообразие в ряды своих постоянных сотрудников. Это первая попытка, и неудачей ее не следует смущаться. Муратов нашел бы хорошее определение и место для «художественной прозы» такого рода. На мой взгляд — рассказы не плохи: они просто... никакие. Оба, притом, экзотика. Да, впрочем, экзотика и стихи 29-й книги: от Персии — к Иудее.

Напротив, об отрывке из исторического романа-эпопеи Алданова, — «Заговор» — хотелось бы сказать очень многое. Не об этом именно отрывке, а целиком о романах и о самом — интересном и новом — писателе, русском европейце. Его подход к историческому роману стоит серьезного исследования. Не на

газетных столбцах, конечно, и не в «сборной» рецензии о книжке журнала, но мечту мою о таком исследовании я непременно когда-нибудь выполню.

Что такое «Мессия» Мережковского? Исторический роман? Может быть, и не роман; во всяком случае не «исторический», а «преисторический». Мы, кажется, не знаем романа, действие которого происходило бы за полторы тысячи лет до Р. Х. Материалы по истории Египта исключительно обширны, и роман, конечно, написан на основании всестороннего их исследования, — но все равно, он читается, как сказка. И там, где начинаешь верить, что все это было, — веришь именно как сказке, особой, «сказочной», верой. Неизбежная выдумка так переплетена с действительными фактами, что легко впадаешь в ошибку: раз угадав общее намерение автора — показать близость образов древности к образам последующих времен, вплоть до наших дней, — часто относишь насчет выдумки то, что взято из подлинных документов, и наоборот. Царь Египта Ахенатон, «сын Божий», повторяет почти евангельские слова: «Никто не знает Отца, кроме Сына». В веровании древнего Египта, в религии «страдающего Бога», Мережковский видит как бы предчувственное, предображенное, христианство. Ахенатон — не сын Божий, но тень идущего в мир Сына.

Условно-торжественному языку романов древней эпохи Мережковский предпочел язык вполне современный. Я не думаю, чтобы это была принципиальная ошибка; но тут необходимо самое тонкое чувство меры, и мера эта не везде, может быть, Мережковским соблюдена. Сложность замысла, в связи с манерой письма и сложностью обстановки, замедляют действие, и лишь в этой, 29-й, книге характер царя Ахенатона, несколько напоминающий характер князя Мышкина, выступает во всей своей нежной, действительно почти христианской, силе-слабости. Известно его несчастное царствование; печать обреченности лежит на этом древнем прообразе Сына Божия, на царе египетском — предтече Царя Иудейского.

Переходя от литературы к отделу «Культура и Жизнь», отмечу, прежде всего, убийственную отповедь «Верстам» — В. Ходасевича. О «Верстах» писали много, — слишком, кажется, много. После заключительного слова Ходасевича говорить о них больше нечего. Ходасевич не только сказал, но **и доказал,** что писательская группа «Верст» со своим руководителем «стоит не лицом к России, а лицом к ее мучителям»... и когда зовет в Сов. Россию — «заманивает в застенок». По своей определенности и решительности эта статья очень не похожа на рядом напечатанную заметку Степуна о «Пути». Тон последней — самый определенно-мягкий и нерешительно-осторожный. С одной стороны, «острые и очень интересные заметки Вышеславцева радуют (автора) крупным ракурсом парадоксальной мысли», а с другой — эти же ракурсы оказываются «явно основанными... на недоразумении». «Нет сомнения, что религиозное сознание "Пути" духовно сложно, глубоко, философично...», однако «нет сомнения и в том, что евразийство гораздо жизненнее и политически действеннее направления "Пути"». «У евразийцев... (кстати, участвующих и в «Верстах») налицо есть талантливая общественно-политическая выдумка...». Это уж более определенно. Но если вспомнить, что буквально на предыдущей странице Ходасевич говорит о «евразийской темноте и нарочито-пифийственной неясности» и, наконец, о том печальном повороте евразийцев, который ныне уже не подлежит сомнению («заманивают в застенок») — то, пожалуй, о данной определенности Степуна лучше пожалеть. Все-таки страницы одни и те же, одного и того же журнала. И — вне педагогики, — но читателю надо кому-нибудь верить; как же ему о евразийстве думать, по Степуну или по Ходасевичу?

Это, конечно, мелочь; общий смысл чрезмерно затушеванной статьи Степуна следует искать в той стороне, в какой «Совр. Записки» сохраняют наибольшее единство и свой собственный лик: в стороне политической. Несмотря на допущенную и тут большую широту — вряд ли кто-нибудь усмотрит

легчайшую измену «Совр. Записок» своему либерал-социалистическому лицу. Оставляю, впрочем, разбор политического отдела людям более меня компетентным; я — говорю о **всем** журнале; а единство и определенность линии в каком-нибудь одном отделе еще не дают общего единства. И вот нечто, меня смущающее: я **не понимаю,** из каких внутренних соображений исходят и в каком плане действуют «Совр. З.», помещая ряд статей по вопросам религии.

То есть внешние соображения, конечно, ясны: журнал не только литературно-политический и общественный; сейчас в нашей общественности вопросы религиозные стали актуальными, и «С. З.» не могут пройти мимо актуальности. Но достаточно ли этого по отношению к той области, о которой идет речь? Художественной литературе, например, можно, в крайнем случае, просто раскрыть двери, и журналу дано некоторое право (спорное, но допустим!) не иметь тут ни собственного взгляда, ни своего — так называемого — «направления»; к вопросам политики, однако, подобное отношение кажется нам невозможным; возможно ли оно, в исторической обстановке данного момента, к вопросам религиозно-философским? Между тем, подбор сотрудников, статей и заметок по этим вопросам в «Совр. Записках» такой случайный и неожиданный, что кажется, что будто вовсе нет подбора, и журнал тут вовсе никакой собственной позиции не имеет. Да и можно ли вывести мало-мальски определенную позицию из соединения статей Гурвича, Зеньковского, Степуна, Бейлинзона и других? Читатель, во всяком случае, больше получил бы удовлетворения, если б прочитал или одного Гурвича, или одного Зеньковского. Мог бы согласиться — не согласиться, принять — отвергнуть, мог бы разобраться и воспользоваться ему нужным, наконец (в статье Гурвича, например, немало этого нужного, хотя написана она неотчетливым, неудачным языком); теперь же у всякого читателя, кто бы он ни был, от хора разнозвучных голосов, остается в голове лишь унылая смута.

Если мы еще заметим, что статьи по данному вопросу очень утяжеляют книгу, без того довольно тяжелую в отделе политическом, то придется спросить себя: не напрасно ли «Совр. Зап.» так щедро отдают свои страницы этим вопросам, — хотя и актуальным, но в разрешении которых сами они пока не хотят или не могут принимать участия?

Библиографический отдел 29-й книги — интересен, несмотря на то, что составлен менее живо, чем в некоторых предыдущих книгах и тоже грешит тяжеловесностью.

Но вернемся к началу, вспомнив еще раз, какое бремя возложено на единственный наш свободный журнал и с каким достоинством он его несет. Слишком многочисленны препятствия, которые приходится ему преодолевать на пути, и слишком понятны, при данных условиях, неизбежные промахи, временные мелкие неудачи. А путь верен. «Современные Записки» — это подлинное русское культурное дело.

СИНЕМА

Не ставлю себе задачей написать серьезную статью о синематографе, с рассуждениями о том, что он такое, с определениями и параллелями. Я вообще не имею задачи, а только предложенье: сделать опыт.

Опыт очень трудный. Однако произвести его нужно на практике, иначе ничего не выйдет.

Попробуйте не заходить в синема лет 10, еще лучше 15. (Но можно и десять.) В эти годы отнюдь не живите в отшельничестве, в уединении. Напротив. Хорошо пережить большие события, например революцию, вроде русской. Если не удастся — живите, во всяком случае, и умственно, хоть немного: это очень важно. Ничто не возбраняется (кроме синема), ни спорт, ни танцы, но параллельно рекомендуются и книги, вообще *человеческая* жизнь.

После этого подите в синема. Все равно – где и в какой. В самый лучший, на самую прославленную фильму, или в провинциальный, на что попало, – результат будет тот же.

Что первое изумит вас? – Вы, может быть, назовете это вначале «несовершенством техники», но дело не в том. Вы слишком привыкли к движению жизни, и фотографическая ложь движения, его наглая (в смысле явности) пунктуальность, раздельность мгновений, пространство между ними, – не может не изумить свежий человеческий глаз. Изумляет – и отвращает, пугает тем особым страхом, какой мы испытываем от механизма, выдающего себя за организм, от автомата, например.

Органическое движение, всякое, связано со своим ритмом и, через него, – со временем. Механическое – произвольно нарушает эту связь, что дает органическому существу с нормальной физиологией ощущение какой-то тревоги.

Ложь движения – не все: лишь первое, что замечается. Тревожно трясущиеся предметы, звери, человеческие фигуры и лица имеют от жизни только *форму:* они не имеют цвета, то есть и *света*, ибо цвет и свет неразъединимы: свет всегда какого-нибудь цвета, или его вовсе нет. И рубленое, прыгающее движение бессветных фигур гораздо более похоже на пляску смерти, нежели на течение жизни.

Пейзажи, вещи, в крайнем случае звери, бессветно и безмолвно трясущиеся, проносящиеся под никому не нужный внешний шум так называемой «музыки» – еще термины в смысле ощущения смерти. Нестерпимость начинается с человека. Вот гримасничающее сероватое лицо, черные, как земля, губы с беззвучным шевелением, стеклянный блеск глаз... Когда мускулы сводятся в покойницкую улыбку, то какие бы рядом ни тромбонили тромбоны – живой человек не может не содрогнуться.

Прошу, впрочем, не забывать: я все время говорю о «человеке опыта», о том, который пришел на сеанс (и слово-то какое двусмысленное) после многолетнего воздержания, а за

время воздержания кое-что передумал и перечувствовал. Его впечатления свежи и остры. Он не привык еще к образу смерти, как привыкли другие. Обычного зрителя не пугает меловое лицо с искривленным улыбкой, почерневшим ртом: для него это живая красавица. Грань между светом и бессветностью для него незаметно стерлась. И — кто знает? — он и в жизни, быть может, видит свет-цвет уже не так, иначе...

Зрительная зала не менее экрана любопытна свежему человеку. Что именно из фильмы, специально на вкус залы приготовленной, ей всего более по вкусу? В какие моменты зала зажигается?

Ни для кого не секрет, что строители фильм вернейшие рабы зрителя. Слишком верные, ибо они стремятся даже угадывать его невыраженную волю, забегают вперед. Из этого, порою, выходит, что и зритель им покоряется, подсказанные желания принимает, как свои. Вырабатывается какой-то общий «вкус» и взаимное влияние.

Впрочем, ведь ограничены и возможности...

Содержание, суть, центр всех фильм — абсолютно одинаковы. Содержания, в сущности, нет: то, что называется содержанием, — всегда приноровлено к механическому *движению*, стремящемуся (тщетно) приблизиться к органическому. Ленты варьируются трояко: во-первых — любовные ощущения (они передаются посредством личных мускулов); во-вторых — преследование, когда одни мертвецы гонятся за другими; и, в-третьих — драка между ними.

Наиболее острые точки изображения какого-нибудь из этих трех моментов — они-то и вызывают ответность зрительной залы, ее одобрение.

Любовь — дает приятные, щекочуще-умилительные ощущения; особенно приятные, ибо беспримесные: зрителю нечего волноваться, он с самого начала знает, что любовь будет торжествовать. Преследование — забавляет, и опять без излишних опасений: оно кончится неудачей, если зритель сочувствует преследуемому, и наоборот. Драка, по тем же причинам

не могущая вызвать серьезного волнения, – о, драка еще упоительна и сама по себе!

Таким образом, зритель синема освобожден приблизительно от всего, что требуется от человека жизнью, книгой или театром: от разочарований, от страха и волнения перед неизвестностью; от суда и оценки, от малейшего усилия воображения. Зритель может любоваться движением серых фигур, пребывая в полной уравновешенности, в состоянии абсолютного покоя, и радоваться каждому отдельному приятному ощущению, являющемуся, например, при виде драки.

Вот какие наблюдения над зрительной залой и зрелищем сделает свежий человек, попавший в синема после 10–15 лет «воздержания». Мы предположили, что в эти годы он не уходил ни от просто – жизни, ни от жизни внутренней; поэтому из своих наблюдений он, конечно, станет делать выводы.

Он уже давно понял, что ложь движения, которую он приписал, было, недостатку техники, вовсе не «не достаточная», а просто сама техника кинематографии, неразрывно связанная с ее сутью; все технические усовершенствования будут только ее разрушать. Небольшие, сути не мешающие, конечно, возможны: ими путь синема и ограничен.

Далее, такое соображение: строители фильм постоянно забегают вперед, рвутся навстречу склонности толпы к состоянию уравновешенного покоя в приятных ощущениях от вида драк и прочего. Забеганье – склонность эту поощряет и сильно развивает. Очень, поэтому, вероятно, что число зрителей в синема будет все увеличиваться, то есть увеличиваться количество людей без воображенья, страха и надежд; зачем активное участие в жизни? зачем книга, мысль, сцена? Да и звук уже почти не нужен, не говоря о звуке слова. Зритель в синема сам, порою, издает звуки удовольствия при виде особо удачных скачков и драк; но это непроизвольные звуки, которые издает, в подобных обстоятельствах, и зверь; только зверь требовательнее и бледное подобие драки не принимает, обычно, за настоящую.

Много еще мыслей о синема может явиться у человека свежего, проделавшего «опыт» воздержания. Одно только не придет ему в голову: это — начать серьезный спор о том, искусство ли «Великий Немой», или не искусство.

МЕРТВЫЙ ДУХ*

1

Было бы странно, если б на теле нашей эмиграции, при длящемся существовании в России очага заразы, не появлялось, время от времени, подозрительных пятен. Но не следует относиться к ним с беспечностью. Здоровое ядро эмиграции тем скорее избавится от того или другого нежелательного явления, чем прямее мы будем на него указывать и внимательнее его исследовать. Даже самыми ничтожными с виду, и теми не надо пренебрегать.

Все современные разлагающие течения, в каком бы слое эмиграции они не зарождались, все группы людей известного уклона, и даже одиночки, — начинают с того, что выкидывают флаг «патриотизма». Выкинутый искренно, эмоционально, или в силу посторонних соображений, — этот флаг всегда *защита* и, одновременно, *соблазн*. Соблазн: не звучит ли теперь для всякого имя России, как имя возлюбленной? А защита: не достойны ли самого осторожного, уважительного, обращения люди, которыми движут «патриотические чувства»?

Что скрывать: ведь все мы, без различия левизны и правизны, очень стали бояться, как бы нас не заподозрили в недостаточной «любви к России». Если кто и думает, что СССР еще не Россия, что, не взирая на «трех праведников», в этой стране

* Мы с удовольствием даем место открытому «обличению», принадлежащему перу Антона Крайнего. Не во всем редакция солидарна с талантливым автором, считая, например, излишними проникновения в *мотивы* литературной деятельности обличаемых писателей. — *Ред.*

находящихся, он, по многим причинам, ее не хочет... — да не всякий это скажет. Напротив, сделалось принято вдруг выскочить со своей «подоплекой», с чувствами к «Родине», до ее цветочков и ручеечков, до... почти готовности забыть, что она СССР (кстати, эти цветочки, ручеечки, березки — возлюблены одинаково и левыми, и правыми).

В защитный цвет «патриотизма» окрашено было и недавнее течение «возвращенства». Много потратили на него слов, долго катали его, перевертывая осторожно то на одну, то на другую сторону, пока «малые сии» соблазнялись именем Прекрасной Дамы... Но как хорошо, что течение выбилось наружу: побурлило — и на глазах у всех, естественно, стало сохнуть. Солнечный свет имеет силу обеззараживающую.

Но есть такие же, подобные же, течения, — лишь более ядовитые, потому что еще не всем приметные. На поверхность они выбиваются пока тонкими струйками.

И особенно обманчивы струйки, зажурчавшие в прекрасном саду «искусства». Политики привыкли смотреть на этот сад и на «играющих в нем детей», — как вообще на эстетику, — с полууважительным, полуснисходительным равнодушием. Чем дитя ни тешится — кому какое дело? Старые эти привычки пора бы, однако, бросить. Пора бы понять, что эмиграция, в известном смысле, есть цельность, и в какой бы из ее областей ни появлялись знаки разложения — это имеет одинаковую важность.

Разлагателями-эстетами я и намерен заняться.

2

Конечно, и над эстетической пешехоновщиной развевается знамя «патриотизма». Но, по сравнению с «просто-пешехоновцами», эстеты ограждены гораздо лучше. У них есть и вторая защита — сама эстетика, искусство, т. е. область, куда обыкновенным людям, со своим человеческим судом, нечего соваться. Искусство, поэзия, красота — сиянье этих жупелов так ослепляюще, что эстеты не стесняются, действуют безбоязненно.

С пешехоновцами, возвращенцами и другими «слоняющимися» — все-таки мог быть разговор: обиходные слова, например, свобода, власть, честь, труд, — они понимали, сами их употребляли... Даже слово «политика» они понимали, хотя и в крайне узком, допотопном, виде. Признавали, что идут на «компромиссы», но до известного предела. Другой вопрос, чего все это стоило и как с этим распорядилась реальная действительность.

С эстето-разложенцами говорить нельзя. Можно только говорить *о них*, показывать их другим в настоящем их виде, без дымовой завесы «святого искусства». Эта завеса особенно удобна и для обыкновенного человеческого нигилизма: прикрывает его и в то же время как бы оправдывает. А без нигилизма, — природного или приобретенного, в большой мере или малой, — не обходится никакое сменовеховство.

Чтобы перейти к наглядности, конкретности, — возьмем хотя бы эмигрантский журнал «Благонамеренный». Явление, само по себе, ничтожное, но в нем, как в дождевой капле, отразилось эстето-сменовеховское движение со всеми его характерными особенностями. Благодаря ядру, конечно: группе «эстетов», держащих определенный курс на СССР.

Еще не все сотрудники примыкают к основной группе. Есть случайные, есть попавшие в журнал, как куры в щи. Однако последняя книжка — достаточно яркий букет с очень знакомым ароматом.

Во всяком подобном движении существуют разновидности: обманывающие, обманутые, «мерцающие», — ни в тех, ни в сех, смотря по настроению; наконец, просто наивные эмоционалисты. Все эти разновидности представлены в группе «Благонамеренного». Несколько лиц, в известных соединениях и в соответствии с провозглашенными лозунгами, — дают прекрасный материал для исследования.

Лозунги, — или первоположения, — очень ярко и темпераментно выразила поэтесса Марина Цветаева. Вот они, в главном: «сияющая Красота» — конечно, превыше всего. В инди-

видууме, причастном к «совершению» красоты, — в пишущем стихи, например, — два существа: одно — человек; другое — поэт. Для поэта — есть законы, поэтические (впрочем, для каждого — свои, постороннему суду не подлежащие). Для человека же — нет законов, никаких; человеку (это подчеркивается) *«все позволено»*. И даже так, что, чем «скандальнее» ведет себя человек, тем чище и прекраснее его поэзия.

Естественно является и все дальнейшее: суд над поэтом или, того хуже, над человеком-скандалистом, должен вызывать «святое негодование». Политика? Смерть политике! «От нее вся тьма». Не ее ли темное дело — различать большевиков и небольшевиков? И не ясно ли, что все взоры надо обратить на СССР, где творится «новая, послереволюционная» красота и где, уже благодаря наиболее скандальному поведению, поэты «совершают вещи», наиболее чистые и прекрасные?

Можно сказать, — недрогнувшей рукой начертаны эти общие первоположения. Они все нашли поддержку и товарищей поэтессы: то же самое, в виде афоризмов или в виде прямых заигрываний с Маяковскими, Пастернаками и др. — гармонично рассеяно по страницам журнала. Один большой поэт (враждебный движению) сказал мне: «Отлично работают на разложение эмиграции! Все туда да туда: мы, мол, от вас не оторвались; улыбнитесь нам — и помиримся!»

Я не сомневаюсь в искренности М. Цветаевой. Она — из обманутых; но она точно создана, чтобы всегда быть обманутой, даже вдвойне: и теми, кому выгодно ее обманывать, и собственной, истерической стремительностью.

Ремизов, соседствующий с Цветаевой справа, слева, со всех сторон, — в несколько ином положении. Он, хотя и сам великий обманщик, но обманщик невинный, бескорыстный, — мистификатор. Если он очутился в данном течении, попустил воспользоваться собою, своим именем, то частью по вечным: «да что ж»? «да все люди хорошие», а «печатают да хвалят — слава Богу»; частью же потому, что потерял меру притворства и уже не всегда знает, что можно, чего нельзя.

Я его, однако, не оправдываю. Именно, с большого писателя, каков Ремизов, — спросится ответ и за это (пусть лично невинное) содействие разложению. Скорей не спросится с «редактора» Шаховского. Что — он? Даже не орудие, — веревочка, которая «в хозяйстве годится». Его, прирожденно-старого, всякий вяжет и ведет куда хочет. Подхватила волна эстето-соглашательства, с аксессуарами, — красотой, поэзией, скандалом поведения, — он и закачался на ней, как недавно качался — на православной. Марина Цветаева утомительной кошкой вцепилась в г. Адамовича из «Звена» (за неполное преклонение!) — и редактор «Благонамеренного» вслед, тоже на критиков: мы, мол, недостойны ни моего бессмертия, ни моих стихов.

В эмигрантской печати посмеялись над «Благонамеренным»: в одной газете легко, в другой — мелко, в третьей — как-то сладко и оборванно. Удивил меня смешок М. Осоргина: ведь известно, что почтенный публицист сам, всей своей сущностью, предан эстето-патриотическому (СССР-скому) движению, сам туда обращен взором, как бы тоже говорящим: «Я не оторван; улыбнитесь мне — и помиримся». В бытность «пешехоновщины» — открыто стоял за нее, не забывая традиционных «цветочков — ручеечков»... Одно, разве, объяснение: сущность у Осоргина такая рыхлая, талая, вялая, что чему бы он ею сегодня ни предавался, — завтра, если найдет смешливое настроение, через сущность свою перескочит, даже не заметив.

Словом, вышутили действительно смешную сторону журнала, а того, что под смешным, не увидели. И никто, занявшись сотрудниками «с именами», не обратил внимания на маленькую, но такую ароматную розу, что без нее, пожалуй, не было бы и самого букета. Я говорю о разновидности, которую представляет г. Святополк-Мирский.

Разновидность, в сменовеховстве почти неизбежная. Это — некто «обманывающий». Таланта — и даже эстетического чутья — лишен; однако страдает, если не славолюбием, то известнолюбием. Взамен таланта ему дана некая сообразительность и нюх к моменту. А так как база его — полнейший душевный

нигилизм, то в выборе моментов и путей он ничем не стеснен, только бы подходящий — и удобный.

Эта разновидность в г. Святополке еще индивидуально-размахровлена: он облюбовал путь эстетического пробольшевизма, — с его все-таки вывеской какой-то «России», — сам не имея ни к какой России ни малейшего отношения, ни малейшего о ней понятия и... даже плохо владея русским языком?!

Нужна смелость, чтобы при этих свойствах, — естественных для человека, издавна проживающего за границей, — стать проповедником «связи с Россией» и литературным критиком. Но нигилисты вообще очень смелы. Г. Святополк уже давно успел пробраться в чистые журналы и газеты, орудуя именно «патриотизмом», перед которым пасуют самые храбрые: как же, мол, вот беспристрастный критик говорит о молодых побегах в России, находит там эстетические достижения... Большевики большевиками, но литература вне политики... Мы не можем ее заслонить большевиками... Это лубочно...

Но лубочен-то был «патриотизм», а также «эстетизм», под прикрытием которых г. Святополк проводил в эти журналы рецензии весьма определенного духа.

Ныне его деятельность расширяется. У него уже свой орган и группа «помогающих», «сочувственников». Приобрести журнал маленького Шаховского ничего не стоило; с помощниками труднее, а они абсолютно необходимы, да еще с литературными «именами», — чтоб было на что опираться. Наметив более годных, г. Святополк употребил, для их приобретения, верное, испытанное средство: он стал *хвалить* их, со всей щедростью, не останавливаясь, по нужде, перед возвеличеньем; не умаляя этих, намеченных, перед советскими писателями (высшая похвала!), иногда приравнивая какого-нибудь советского гения к здешнему, эмигрантскому. Так, Марина Цветаева с Пастернаком были вместе объявлены первыми, *великими*, современными поэтами.

Средство, — что говорить, — верное. Художественные «творцы», — а голенькие «эстеты» преимущественно, — бес-

сильны перед похвалой. Иные немало куражатся; но, в конце концов, всякий на похвалу сядет, как рыба на крючок. И талант не спасет. Цветаева, несомненно, талантлива, а посмотрите, что с ней сделалось, до чего она домахнула под непрерывным поощрением ее собственных нигилистических наклонностей и под действием постоянных ее, Цветаевой, возвеличений (довольно грубых). Попутно она утеряла здравый взгляд и на самого Святополка. Он уж кажется ей «редким и счастливым исключением» из всех критиков. А свою близость к Пастернакову гению – она уж так глубоко восприняла, что стихи начала писать, подражая Пастернаку («Старинное благоговение», например, во втором № «Благонамеренного»). Она уверовала в Святополка по-женски, целиком: и в его эстетическое чутье, и в талант, и в его позицию. Собственное ее чутье могло бы, кажется, подсказать, что в одной строке г. Адамовича больше таланта, нежели во всех писаньях Святополка, бывших и будущих; но... чутье изменило, Цветаева отравлена, заворожена.

На Цветаевой все это выпуклее, откровеннее, нагляднее; приблизительно то же происходит и с другими. Сладкая вода похвал имеет свойство соленой: чем больше пьешь, тем больше хочешь пить. И недаром этой соленой сладостью – взаимных похвал и самохвалений – так обильно политы, улиты все страницы «Благонамеренного».

Вышутить такое собрание кукушек и петухов, наперерыв друг друга хвалящих, – конечно, соблазнительно. И весело. Но – повторяю, – жаль, что критики не заглянули за кулисы, не отметили, о чем эти кукушки и петухи поют и куда зовут.

Отсюда вижу, какие мне будут сделаны возражения. У меня есть на них ответ.

Скажут, конечно, что все это мелочь, закоулок, и что я, подробно останавливаясь на «Благонамеренном», только играю в руку рекламистам. О Святополке, например, никто еще слова всерьез не сказал, и он будет предоволен, что его рисуют каким-то демоном нигилизма, чуть не ленинским Таратутой.

Что касается сменовеховства, пробольшевизма, — то если б и был его душок в какой-нибудь группе, — еще «литературной»! — неужели это имеет значение? Кого и что это «разлагает»? Да, наконец, и уловить определенный душок, доказать духовную связь данной группы с СССР и конкретное о ней воздыхание — довольно трудно. Мало ли что пишут литераторы, и прозой, и стихами!

Отвечаю по порядку.

Да, явление мелкое, маленькое. Но ведь и порез от ланцета с каплей трупного яда — только маленькая царапинка. А внимания достойна самого немедленного. И журнал Шаховского, как эта царапинка, может по виду казаться невинным, казаться долго. В первом номере писал... даже Бунин. Да и во втором еще действуют «непричастные» люди, которым я очень соболезную в их невольной беде. Один из них мне пишет: «Я думал, что это будет просто сюсюкающая эстетика, и вот что вышло...».

Да, я хочу привлечь внимание к «царапине»: и я просто не думаю о том, что из этого может выйти «реклама рекламистам». Я думаю о ценностях, гораздо более ценных, нежели известность или неизвестность г. Святополка. Во всяком посягательстве на коренные человеческие ценности, — этические и эстетические, — начало разложения. Пусть, в данном случае, еще разложения эстетического, — «только»; или этого мало? Ужели эстетический распад эмиграции не имеет значения? Пора бы понимать, что область эстетики, искусства, творчества — не придаток и что нет разницы, с какого конца начинает гнить рыба: с хвоста или с головы.

А теперь я перехожу, наконец, к тем, кто не знает, можно ли с определенностью говорить об известном «душке», основываясь на упражнениях литераторов; к тем, кто все еще сомневается в духовно-конкретной близости данной группы к СССР и большевизму.

Рассеять эти сомнения, умножив цитаты — нельзя. Чуткий человек и так уже все понял, а какие цитаты убедят упорству-

ющих или очень неразумных? Им я предпочитаю эту духовно-конкретную связь *показать,* видимо и осязательно, – на том же Святополке, тесно связанном с остальной группой.

Это будет, попутно, и недурной иллюстрацией к тому, что я говорил выше о «творчестве», о познаниях в русском языке и о других свойствах г. Святополка.

Есть, среди советских гениев, критик-большевик Вардин. Он – один из трех руководителей замечательного органа «На Посту» (два другие – Лелевич и Розов). Журнал «На Посту» печатал доносы не только на «попутчиков», но даже на пролетарских писателей, даже на Маяковского, даже на Горького, даже на следователя В.Ч.К. – Брика. Дошло до того, что сами большевики полуликвидировали «На Посту» – «за неумеренную травлю писателей» (буквальное выражение большевика Варейкиса). Но ревностный Вардин, конечно, остался на своем посту.

Запомним его имя, а пока перенесемся из Москвы в Париж.

Не так давно г. Святополк прочел здесь литературную лекцию. По тону и по форме она вполне соответствовала всем его писаниям. Несколько обветшавшие приемы – «эпатированья буржуа», вроде извинений, что ему приходится упомянуть имя такого старого и ненужного писателя, как Достоевский. И, конечно, – очень затрудненная русская речь. Свои познания в русском языке г. Святополк думает пополнить, изучая его, последнее время, по СССР-ским писателям; и делает заметные успехи. Выучив, например, песенку:

Эх, яблочко, куды котишься,
В Вечека попадешь, не воротишься,

он уже смело и серьезно пишет: «Британский музей ко мне не прикотится».

Слушатели, самые невинные и простодушные, от одного тона и формы лекции пришли в какое-то интуитивно-тревожное состояние: что, мол, это? Воздухом полузабытым пахнуло...

Но оставим и слушателей, и впечатления. Будем говорить о факте. Факт не таков: доклад г. Святополка – есть *переложение* (м. б., даже менее удачное) статьи Вардина, руководителя «На Посту», напечатанной в одной из первых книжек «Красной Нови» за 1925 г.

Статья Вардина называется «Гиппократово лицо». Ее тема – мотив смерти у предреволюционных, буржуазных писателей, их «предсмертное» мироощущение и т. д.

Лекция Святополка называется (по теме) «Культура смерти в русской предреволюционной литературе», и, чтобы даже внешне не отходить от московского подлинника, парижский лектор не раз повторял выражение «Гиппократово лицо».

Доклад г. Святополка—Вардина будет напечатан (обещается, по крайней мере) в следующей книжке «Благонамеренного». Любителям сомнений, таким образом, дана возможность сличить «Красную Новь» с «Благонамеренным» и убедиться: вся «благонамеренная группа», с верным вардинским «перелагателем» (и с Шаховским на придачу), покоится в лоне Лелевичей, Варейкисов, Бриков и других – имя же им легион...

Я кончу тем, чем начал: будем внимательны. Не будем отвертываться и от ничтожных, с виду, явлений, если они – признак распада живой ткани. Пожалеем хоть обманутых, тех, кто содействует худому делу, не зная, что творит. Конечно, «человеческое» не погибнет оттого, что кто-то в уголке пропищал: «Человеку все позволено!». И русское наше слово, наша литература, не погибнет из-за того, что Святополки—Вардины—Лелевичи, усевшись на спине Шаховского, размалевывают ее под «Красную Новь». А только уголки-то – в нашем же доме, в русской эмиграции, в русской литературе; зачем нам терпеть трупный запах из этих уголков и щелей! Насколько лучше было, чище, проще, движение возвращенское: «Мы хотим в СССР!». – «Пожалуйста». – «Да нас не пускают!». Поговорили, побурлили – затихли. Кроме того, «возвращенец» хочет только сам вернуться к Вардиным, сам уехать из «дома» эмиграции; это совсем не то, что «в дом приводить»... Вардиных,

Розовых и Лелевичей, хотя бы сначала и в уголок, в щелку. Дом — наш, и за чистотой его следить наш долг. Надо дезинфицировать все щели, откуда несет мертвым духом.

Но моей задачей было, пока что, лишь поднять половицу в темном углу «Благонамеренного». Пусть посмотрят, что там такое, почему идет оттуда такой мертвецкий запах.

P. S. Эта статья была уже написана, когда, вместо 3 № «Благонамеренного», вышел журнал «Версты», — орган «эстетической» группы, руководимой г. Святополком, — под его же редакторством. Содержание нового журнала с такой определенностью, до мельчайших деталей, подтвердило все, мною об этой группе сказанное, что ныне и сомневавшиеся уже не сомневаются: данная группа идет к соединению не с Россией и не с русской литературой, а с Советами: то есть — идет против России и против свободного искусства.

ДА — НЕТ

Если вам говорят: нельзя ничего строить на отрицании, нельзя жить одним отрицательным, постоянной ненавистью, одним «нет»... верьте, потому что это правда. Но людям, которые это говорят, — не особенно доверяйте. Уж потому, во-первых, что сами они не понимают, о чем говорят и в чем тут правда. Во-вторых, потому, что *теперь* (я «теперь» подчеркиваю) очень часто говорится это по определенному поводу и, скрыто или открыто, метится в «непримиримость»... к большевикам. Желание «использовать» какую-то правду для защиты большевизма — всегда подозрительно.

Впрочем, при всех спорах, возражают этой правдой, лишь столкнувшись с действительным отрицанием, определенным и бесповоротным, — с каким-нибудь *«огненным нет»*. Если ваши «нет» — кисленькие, против них тяжелая артиллерия не выдвигается. Все кисленькое, средненькое, тепловатенькое, — от-

рицание ли, утверждение ли — безболезненно, и даже с приятностью, — проглатывается. А подите-ка, проглотите-ка «огненное нет»! И сейчас тревожная оглядка, хватанье за «правду»: нельзя созидать ненавистью. Нельзя жить отрицанием...

Конечно, правда. Конечно, нельзя. И никто живой этим и не живет. Дело чрезвычайно просто: всякое истинное отрицание, — «огненное нет», как я говорю, — только *отражение* соответствующего огненного «да», которое живет в человеке и которым он живет. А вернее — живет он обоими вместе. Всякое мое «нет» обусловлено моим внутренним «да», от него исходит; оно *есть* «потому что» есть «да», и бытие обоих — есть мое бытие.

Отрицание голое, без стоящего за ним утверждения, или вообще не имеет бытия, или имеет призрачное, как призрачна фата-моргана, отражение без предмета отражающего.

Вероятно и за кисленькими «нет» есть свои кисленькие «да». Но кисленькие — развалисты, как неудавшееся желе. Держатся ли они еще, сникают ли — за ними не уследишь. От настоящего «нет» словно по огненной нитке, всегда можно добраться к его «да», от ненависти — к любви. К любви, конечно, не доберешься от кисловатой, случайной «неприязни», — разве к такому же случайному... симпатизированью...

В реальной жизни, в конкретности, все безмерно усложняется. Но порядок и сущность дела остаются неизменными.

Возьмем, хотя бы, ту же «непримиримость», отрицание большевиков, *«нет»* большевизму.

Мы увидим, прежде всего, что это единое и полное «нет» — слито из множества других «нет»; у каждого свое «да», свое «во имя», и такое серьезное, что, пожалуй, одного его хватило бы для «непримиримости». Каждое «нет» исходит из внутреннего «да» какой-нибудь коренной человеческой *ценности*. За одним «нет» большевизму — стоит «да» человеческой Личности. За другим — «да» свободе. За третьим — «да» цена жизни и крови. За четвертым — «да» России, родине. За пятым — «да» творчеству. За шестым — красоте. За седьмым — правде. За

восьмым... Но продолжать ли? Список бесконечен. Такие ценности все — равны. И не правда ли, если в человеческой душе хоть к одной из них «да» не желатином намазано, а огнем написано, — довольно его одного для самой непримиримой, реальной «непримиримости»?

Время, история, исторические события тут ничего изменить не могут. Могут изменяться, конечно, люди: одни отойдут от высших ценностей, снизят все человечество; другие, напротив, подойдут ближе... Но ценности-то всегда, неизменно, останутся ценностями.

Кто уже носит в себе огненное «да» к которой-нибудь из них — тот с трудом допускает возможность своей измены. Положим, и верующий не думает, что вере изменит, а как часто гаснет самая пламенная вера! Но «да», о котором я говорю, — больше, чем только вера. Чтобы изменить вере — достаточно, чтобы угасло сердце; для измены какой-нибудь из первичных ценностей необходимо угасание и разума: человеческое снижение или сумасшествие.

Повторяю: в многообразии живой жизни все — сложнее, все — запутаннее. Мы с усилиями продираемся сквозь эту путаницу, падаем, встаем, опять падаем, вечно ошибаемся в бесчисленных наших «нет» — кривые отражения! Но это ничего. Лишь бы наши «да» горели ярко, горели и — не угасали.

Бывают, однако, странные случаи. Общий порядок таков: из внутреннего утверждения исходит соответствующее отрицание, «да» — отражается своим «нет». Но бывает обратное. «Да» и «нет» меняют свои положения. Беззаконно поселившись в душе человека «нет» — беззаконно отбрасывает свою тень в виде «да». Нельзя жить без тени, но закон нарушен, когда, как в сказке Андерсена, ваша тень делается вами, вы — тенью. Это и в сказке кончается плохо... Пожалуй, не лучше — в действительности.

Вот, например, статья Н. Бахтина, которая называется «Похвала смерти». В ней, при внимании, не трудно заметить признаки «обратности». Статью, как статью, я разбирать не буду. Она прекрасно написана, и ее «да» совсем не кисленькое: очевидно и то «нет», которое за ним стоит и делает его своей тенью — тоже не кисленькое. Меня занимает в данную минуту *противоестественность* этой статьи. Во всякой, даже самой легкой, попытке к противоестественному можно открыть немало любопытного.

Но оговорюсь: «естественным» я не разумею «нормальное». Норма — черта воображаемая и, если б через нее постоянно не переступали — жизнь бы не двигалась вперед. Норма — это *«большинство» данного момента.* Кисленькие «да» и «нет» должны быть, таким образом, признаны «нормальными», а огненные — «ненормальными».

«Естественность» — другое. Через ее черту можно только *пытаться* переступить: она непереступима. Попыток, впрочем, сколько угодно: делаются они в большом и малом, большими людьми и малыми. И если к «перескоку через естество» не ведут — ведут, порою, к чему-то другому.

В статье Бахтина «Похвала смерти» можно увидеть намек на такую попытку.

Вспомним сначала — «Приговор» Достоевского. Это письмо самоубийцы, который убивает себя потому, что *до конца сознал* неизбежность смерти и полного своего уничтожения. Такое сознание не может, по Достоевскому, позволить, кому бы то ни было прожить еще хотя бы минуту. Потеряв смысл жизни, целиком, в бессознательной надежде на смысл, — человек естественно теряет и жизнь.

Самоубийца Достоевского — воображаемый: не думаю, чтобы кто-нибудь доходил до такого *конечного* сознания, конечной потери. Но он — в *естественной* линии, в той же человеческой линии, как и маленький, ниже среднего, всякий и никакой человечек Мопассана, тихонько рассуждающий: «...Il n'y aura plus de M. Paul Laval... Quelle affreuse chose!.. Est ce étrange

qu'on puisse vivre sous cette eternelle certitude de la mort. Si elle était seulement probable, cette mort, on pourrait encore éspèrer; mais non, elle est inévitable, aussi inévitable, que la nuit après le jour» *.

А вот древние слова: «Последний враг — враг! — будет побежден — Смерть».

Перекручиванье человеческого естества, от века и доныне смерти враждебного, до хвалы смерти и уничтожению, — что это? Не посягательство ли на естество жизни? С негодными средствами, конечно, ибо годных нет, и за естество нам опасаться нечего. Но откуда являются такие попытки? Что на них толкает? Какой ангел нисходит возмущать эти души?

Не ангел Силоамской купели, во всяком случае. Боюсь, что это Ангел Отчаяния. Пламенное «нет», поселившееся в душе вместо «да» (первая противоестественность), — чем оно еще может обернуться, как не отчаянием? Похвала Врагу — не последний ли жест отчаяния?

Не последний; им Отчаяние хватается за свою последнюю, — увы, призрачную, соломинку. Попробуем, однако, понять, — и не грубо и плоско, не превратно, — в чем эту соломинку отчаяние видит.

Опустошенная, выжженная огнем своего всеразрушительного «нет» душа — хочет стать *выше* всеразрушения, ищет преодолеть его — *принятием* в свою волю, как бы по собственной воле явившегося; т. е., в конечном счете, признать свою волю абсолютом и себя — Богом.

Это соблазн глубокий, но такой вечный и постоянный, что, при всей глубине, его можно назвать обыкновенным. Попытки присвоить себе атрибуты божества, конечно, не удаются; а в некоторых случаях, когда Отчаяние слишком упорно хватает-

* Более нет господина Поля Лаваля... Какой ужас!.. Не странно ли, что можно жить при этой вечной уверенности в смерти. Если бы она была вероятна, эта смерть, можно было бы еще надеяться; но нет, она неизбежна, так неизбежна, как ночь после дня *(фр.)*.

ся за призрачную соломинку, это приводит к неожиданным результатам: божественных атрибутов человек не приобретает, но человеческие теряет, — теряет разум. Ходить за примерами недалеко, но я не пойду; они всем известны.

Подчеркивая, намеренно, то, на что в статье Бахтина лишь намекается, — я до конца хочу раскрыть весь этот путь. Он очень длинен, и не все доходят до его естественного конца — безумия. Автор «Похвалы смерти» едва, может быть, вступает на него. Однако и первые шаги человека, такой путь избравшего, не могут не сопровождаться, *в конкретности*, маленькими последовательными безумиями. Огненное «нет», поселившееся в душе и отразившееся в «да» — Смерти, не должно ли оно отражаться бесчисленными «да» всякому реальному явлению, где только проступает лик смерти? Не должен ли Бахтин — (возьмем его хотя бы символически) — не должен ли он, попутно, воздавать хвалу и убийству, убийцам, лжецам и татям? Не должен ли он, оставаясь последовательным, сказать, например, свое «да» — и большевикам? Ценности перевернуты, но перевернутость тоже требует своей логики. И пусть не пытается он возразить: «Я не хвалю мелких гадостей, я приветствую лишь великую Смерть, великое уничтожение...». Нет, принятие великого есть принятие и малого; да и что — мало? что — велико? Так, может делить жизнь только произвол. Пламенные «нет» и «да», хотя бы противоестественно перевернутые, создают и свою, тоже пламенную, «непримиримость»; обратную нашей, естественно-человеческой, — *по всей линии*, от великой «Дщери тьмы» до маленьких большевиков. Мы против них, *потому что* мы против Нее. А кто возносит хвалу Ей, кто с Ней, — тот обязан быть и с ними.

У Бахтина его «нет» — «да» — настоящие, не желатиновые. Если б желатиновые! Можно бы и не говорить о них, не стоило бы и замечать их обратность. Но именно потому, что истинным огнем пылает перевернутый факел — переверт его такой роковой. Сейчас он горит в славу врагам.

«БОРЬБА ЗА РОССИЮ»

Тема не особенно интересная для служителей «чистого» искусства. Но, конечно, найдутся у «Нового Дома» читатели, которые еще не потеряли: вкус к борьбе и к России. Для них я и хочу сказать два слова о журнале «Борьба за Россию», поднявшем столько шума и споров среди эмиграции.

Спорят о журнале, но гораздо более о соединении, в редакции, таких несоединимых по «направлению» лиц, как, например, Мельгунов и Карташев. Это меня удивляет. Важно, прежде всего, рассмотреть и понять, что такое — журнал, каков его облик; тогда, в связи с влиянием на него редакционного «объединения», можно дать и последнему справедливую оценку.

О самой идее русского свободного журнала для несвободных русских людей — не спорят. Да и какие могут быть тут возражения? Удивительно, что никто до сих пор о таком журнале не подумал.

Но подумать мало: надо сделать. Сделать тоже мало: надо, чтобы дело было деловое, т. е. чтобы оно как можно более приближалось к выполнению конкретных задач. Вопрос о степени деловитости «Борьбы за Россию» — не пустой вопрос.

Россия велика. Условия жизни в России — ужасны. Но для разных людей ужасны *по-разному.* Одни об ужасе еще и не подозревают; другие видят его во внешних следствиях, не связывая с коренной причиной; третьи — знают и ужас, и причину. (Третьи — это, конечно, группы оставшихся старых интеллигентов). Такого деления, в грубых чертах, нам пока достаточно. И я спрашиваю: где именно «Борьба за Россию» хочет найти читателей? Для какого слоя русских людей журнал издается? Группа интеллигентов вовсе не такое ничтожное явление, чтобы для нее одной не стоило издавать журнала. Однако, если судить по уже вышедшим №№, «Борьба за Россию» не для этой группы. «Мы зовем к непримиримости»... вот первая фраза первого номера. Какой смысл обращаться с подобным призывом к старым интеллигентам, которые, сидя там, все-таки,

до сих пор, не перешли на сторону советской власти? (К тем, которые перешли, смысла еще меньше.) Рассматривая далее содержание номеров, ряд статей Мельгунова, Карташева, Бурцева, Рысса, Изгоева, — я опять не вижу, какой хотя бы интерес могут они представить для тамошнего интеллигента? Его заинтересовали бы, пожалуй, какие-нибудь фактические данные, касающиеся европейских, эмигрантских и большевицких дел, сведения, не проникающие за советские рогатки. Но на что ему «развитие мыслей» о непримиримости, рассуждения о «Великой России» Карташева и обычные проклятия большевикам — Бурцева? Старый интеллигент и мысли эти давно знает, и авторов, конечно, помнит. Как голос из прошлого — журнал может ему быть приятен на минуту; но вряд ли прочтет он его — весь, без скуки и разочарования.

Мало того: ведь и старые интеллигенты в России, *теперь*, уже не однородны: и среди них, как и среди зарубежных, свои разделения. Не оставляя непримиримости — они идут *дальше;* и не боятся потерять ее, когда расходятся на первом перекрестке. Я знаю, например, одного совершенно непримиримого интеллигента, который недавно прислал резкое осуждение «политике Карташева; другой, быть может, пошлет ей приветствие...».

На каких же читателей рассчитывают редакторы «Борьба за Россию»? Объединенные только непримиримостью, предлагающие, как оружие для борьбы, только непримиримость, — к кому они обращаются? Может быть, к перепуганным слоям, средненизшим, полукультурным, четвертькультурным и т. д., где всего есть, и хорошего, и дурного, только теперь — хорошего — забитого и дурного — взлелеянного? Увы: журнал в данном его виде, еще меньше заинтересует эти широкие круги, нежели интеллигентов. Статьи, рассуждения, «развитие мыслей» о России, большевиках и непримиримости покажутся им (пусть несправедливо) просто скучнейшим вздором... если журнал и попадет к ним в руки. Чего доброго, само слово «непримиримость», ассоциированное с этой «скукой», им опротивеет...

Но еще вопрос, дойдет ли журнал до широких кругов. Руководители его ничем не хотят для этого жертвовать, даже внешним. Например – орфография. Я – первый противник так называемой «новой». Но я первый подал бы голос за эту проклятую «новую» – для журнала, который должен проникать в современную Россию. Я, может быть, и «Борьбой за Россию» его бы еще не назвал. Это не помешало бы говорить о необходимости борьбы, а в то же время не делало бы из имени журнала неопределенного объявления без указания адреса. Ведь журнал, хоть и называется «Борьбой», ответа насчет борьбы, какая она, в чем, – не дает. За Россию... – какую? Тоже нет ответа. Имена редакторов, объединенных лишь отрицательным принципом непримиримости, позволяют предполагать, что когда настанет час борьбы – бороться будут *не* за одинаковую Россию. «Час настал!» – говорят они. Если настал – тем хуже: поздно искать, знамени для готового в поход войска, а одной «непримиримости» – для похода – *мало.* Даже «России» мало. С определенной ложью трудно бороться *неопределенной* правдой.

Но час борьбы, кажется, еще не настал, – только наступает. Настал он, и давно, для подготовки борьбы, настал и для свободного журнала, который, проникая в Россию, делал бы там нужное дело. Такой журнал, в моем представлении, был бы сначала лишь «Правдой о России», правдой, которую живущие в России *не знают.* Они ее действительно не знают, и не могут знать, как заключенные в одной камере не могут знать, что делается в другой, соседней, или в квартире начальника тюрьмы («на воле» – уж и не говорю).

Задача «информационная», на вид скромная, не легка, однако; и требует немалых жертв. Орфография – пустяки, но ведь надо, в каком-то смысле, отказаться от себя, от собственных рассуждений во всяком случае. Понять, что и самые благородные, возвышенные, – никого теперь не зажгут. А собирая неведомую там правду, надо снизиться до конкретности, победить брезгливость... даже к анекдоту. Демагогия? Нет,

только *милосердие.* Основа демагогии — ложь, а здесь основа — правда.

Это все сторона — почти внешняя. Еще труднее внутренняя. Еще ближе и строже тут надо всматриваться в реальную действительность и с ней считаться. Я уже говорил о теперешней тяге в России к определенности, о жажде как-то разобраться, хотя бы в желаниях своих и надеждах, но до конца. Тамошняя интеллигенция начинает разделяться (и разделений этих не боится). Что-то вроде происходит, бессознательно или полусознательно и в других слоях, — ниже, глубже...

Учитывают ли эту действительность редакторы «Борьбы за Россию»? Может ли данная коалиционная редакция, если даже видит эту реальность, с ней считаться?

Вот тут только нам и приходится обратиться к тому левоправому редакционному «объединению», самый факт которого вызвал столько протестов.

Странные протесты. Откуда они? Ничего нового не случилось. Карташев и Мельгунов (возьмем эти имена символически) соединились... на непримиримости. Но они вовсе не «соединились», они и раньше были вместе... непримиримы. Ново только дитя, родившееся из этого соединения, — «Борьба за Россию» — но и дитя совершенно естественное, такое, какое и могло родится. Для «Борьбы за Россию» нет нужды ни Мельгунову праветь, ни Карташеву леветь: «во главу угла» журнала они поставили камень «непримиримости». Поставив его «во главу» — они поставили и условия, напоминающие немного условия известной детской игры: «Барыня прислала сто рублей, что хотите, то купите, да и нет не говорите, белого и черного не покупайте». Журнал зовет к непримиримости, проповедует непримиримость... а дальнейшего «не предрешают» ни Мельгунов, ни Карташев.

Поэтому мне совершенно не понятна крайняя позиция «Последних Новостей». Газета как будто видит в самом этом блоке что-то неприемлемое, почти преступное, во всяком случае неестественное. Какое отсутствие меры! Оценивать это со-

единение возможно, лишь оценивая его результат, — журнал как таковой — что я и делаю. Исполнит ли он, *в данном своем виде*, нужное дело? Соответствует ли он моменту? Можно или нельзя класть «непримиримость» во главу угла, и... чтобы ни шагу — дальше? Исходя из предположения, что в России уже существуют или намечаются, приблизительно наши же разделения, что одной непримиримости там уже *мало*, следует отметить: нельзя. *Уже* нельзя. Но каждый из разномыслящих (обо всем, что «дальше») редакторов считает, вероятно, что можно. И если они, соединяясь, добровольно ограничивают себя тем, в чем действительно согласны, — они правы, и соединение их ни с какой стороны критике не подлежит. Часть эмиграции, которая, подобно «Посл. Новостям» его критикует, — действует прежде всего, нелогично. Против чего она возражает? Ведь не против же «непримиримости»? Или на узкой, — но крепкой — доске непримиримости не стоят они все рядом, — и Карташев, и Мельгунов, и Струве, и Милюков, и Керенский? Керенский обиделся бы, не дай мы ему места в этом ряду. Все дело — в «шаге дальше». Карташев и Мельгунов, чтобы оставаться вместе, решили не делать дальше *никаких* шагов. Правильное решение или неправильное, и ожидаемые ли даст оно плоды — вопрос другой. Объединенные редакторы «Борьбы за Россию» не будут, конечно, протестовать против свободной критики их журнала. Но судить и осуждать самое объединение, такое прямое и такое естественное — более чем бесполезно. Ни с правой, ни с левой точки зрения (антибольшевицкой, конечно) — оно суду не подлежит.

О СВОБОДЕ *

Что такое свобода?

Уж, конечно, я не стану сейчас заниматься разъяснениями этого понятия. Слишком оно сложно, слишком широко. С тех

* Речь на собрании памяти М. М. Винавера 17 декабря 1926 г.

пор как люди себя помнят, они все разъясняют вопрос о свободе. Но пока — бесконечные разъяснения весьма мало помогали понять свободу тем, кто ее не понимал. Мне даже приходит иногда в голову: а вдруг это что-то, с чем надо родиться? Кто не родился — тому не разъяснишь. Зато другой, с этим рожденный, и без всяких объяснений будет действовать так, что во всех его делах, в последней мелочи, отразится его внутреннее чувство свободы. Его понимание, что такое свобода.

Все, думаю, согласны, что Максим Моисеевич Винавер, — имя которого нас здесь сегодня собрало — один из рожденных с этим таинственным знаком в душе — знаком свободы. Под ним проходила и прошла его жизнь. Я не буду касаться его общей деятельности, она достаточно известна; но я подчеркну: за какое бы дело, широкое или узкое, он ни брался, к какому бы руки ни прикладывал — он вносил в него, прежде всего, дух свободы.

Я хочу сказать два слова о Максиме Моисеевиче — редакторе литературного журнала, руководителе «Звена».

«Одолевают меня сомнения, — писал он мне, — хорошо ли я сделал, взявшись на старости лет не за мое, в сущности, дело и с упорством продолжая его... Поддерживает меня только нерадостная мысль, что никто другой за это нужное дело не берется и едва ли возьмется. Моя писательская деятельность была всегда далека от журналистики — я сам потому мало в «Звене» пишу, и вынужден опираться на других...».

Сомнения понятные, — но напрасные: трудное дело редакторства (сейчас особенно трудное) Максим Моисеевич исполнял так, как мог исполнять только он.

Опираться на других... еще бы! Бывает ли журнал — без сотрудников? Существуют разнообразные принципы и методы в деле искания этой опоры. Между ними не последнее место занимает метод *персональный* (в иных случаях даже он один и годится). Этот метод мне пришлось когда-то объяснять одному редактору и даже прибегнуть для этого к такому примеру (прошу извинения за его вульгарность): «Представьте себе, что

вам нужно купить лошадь. Вы долго испытываете ее, но наступает момент, когда надо решить, годится она вам, или не годится. Годится — покупайте целиком, и уж не рассчитывайте, что три ноги годятся, а четвертую вы подвяжете, и тогда она повезет вас по вашему желанию. Нет, она повезет только со всеми ногами и как *ей* свойственно. Не можете решиться? Откажитесь от покупки».

Но на это данный редактор ответил мне: «Что за странный метод! Отношения редактора и сотрудников просты. Это — строевое учение. Редактор — взводный, сотрудники — солдаты. Взводный смотрит, и если кто-нибудь не в ногу марширует, кричит: "Стройсь!"».

Максим Моисеевич меньше всего был «взводным». Думаю, самый образ взводного, командующего солдатами — сотрудниками «Звена», никогда бы не пришел ему в голову. Определив идейную дорогу журнала как «бесконечное стремление к свободе мысли и бескорыстное искание правды» — он вглядывался, всматривался в людей, сам шел навстречу тем, в ком видел возможных попутчиков. И раз *«узнав»* попутчика, уже брал его целиком, «спокойно доверялся», как он говорил, ибо: «Я слишком давно и глубоко уважаю печатное слово, чтобы не преклониться перед стремлением говорить всю правду до конца... при ощущении полной внутренней свободы».

Конечно, не всем дано действовать так, как действовал Максим Моисеевич: ведь у него, кроме любви к настоящей свободе (т. е. к своей и чужой равно), был еще другой дар: дар любви к личности, понимания, что такое личность и проникновения *в природу* всякой индивидуальности.

Это ценнейшее свойство и позволяло ему находить действительных попутчиков, а найдя — «спокойно им доверяться». Он слишком хорошо знал, что лишь «при ощущении полной внутренней свободы» можно «сказать всю правду до конца...».

По некоторым словам Максима Моисеевича можно бы, пожалуй, заключить, что сам он свой повышенный интерес к

личности ставил особняком, отдельно от своей же общественной деятельности, — отделял себя, редактора культурного журнала — от себя, борца «за право и свободу». Но ему, в существе цельному, была очень известна глубокая подземная связь между пониманием свободы и пониманием личности. Разве эти два понимания — не вода в двух сообщающихся сосудах? Насколько полон один — настолько и другой.

Оттого, говоря с Максимом Моисеевичем о «Звене», мы и соглашались: дух, атмосфера журнала не могут быть чисто эстетическими; в журнале должно быть и то, что неуловимо присутствует в книге «Недавнее»: элемент борьбы. И глубоко ошибались все, кто думал, что «Звено» только «тихая пристань», прежде всего тихая пристань для самого Максима Моисеевича. Не такой он корабль, чтобы успокаиваться в мертвых заводях. Обманывала, вероятно, *тишина*, которая была в Максиме Моисеевиче. Но это тишина, мягкость человека, обладающего чувством такта и меры в самой высокой степени. Да и какая речь о «пристани» — если сердце журнала «бесконечная свобода мысли и бескорыстное искание правды?».

Таков редактор одного из наших зарубежных свободных журналов. Повторяю опять уже сказанное: у меня нет чувства, что он куда-то ушел от нас, от жизни, от бытия. И я радуюсь, что его близкие, его попутчики и соработники, сотрудники «Звена», так же не верят в его отход, и так же, как я, ощущают его постоянное присутствие.

ОКОЛО РОМАНА

Недавно возобновились интересные «Литературные Беседы» в редакции «Звена». Тема — доклад Мочульского «О романе».

Можно ли написать на эту тему критическую статью? Я сомневался. И еще больше стал сомневаться, когда вспомнил, что первая в жизни статья Антона Крайнего была как раз на-

писана «О романе». (Прошу извинить меня за мемуарное отступление, но оно пригодится.) Статью, конечно, тайную, — мне было тогда без малого пятнадцать или шестнадцать лет, — я писал с громадным вдохновением. Ведь тема была *моя*, мной же свободно выдуманная! Как я ненавидел гимназические сочинения на «предложенную» тему и как я их боялся! Приходил с такой темой домой и чувствовал, что ничего, совсем ничего не могу написать. Ну, дома кто-нибудь поможет, а выпускной «письменной темы» я стал бояться с четвертого класса. Что перед этим греческий (я был классик) или математика? Я провалюсь на «сочинении». Не утешали примеры: двоюродный брат на выпускную тему: «Петр в сочинениях Пушкина» едва написал страничку, кончил стихотворением «Кто он?», с уверенностью приписав его Пушкину, и не провалился. Но если я *ничего* не напишу?

Моя собственная тема, — «О романе» — была, по-моему, хороша, только уж слишком широка. Пришлось ее не то сузить, не то определить, вообще как-то ограничить. Я решил остановиться на параллели, или параллелях, между романом русским, французским и английским. Решение, конечно, опрометчивое: тему оно, хотя и определяло, но расширяло; а тот материал, который был в моем распоряжении, совершенно лишал возможности сделать какие-нибудь выводы. Русских романов, слава Богу, имелось у меня довольно: Достоевский, Толстой, Гоголь, Тургенев и т. д., через Лескова, Щедрина, Григоровича, вплоть до маленьких забытых Авсеенок. С английским — куда хуже: Диккенс, Теккерей... А французский — увы! не столько Флобер и Стендаль, сколько В. Гюго, Ж. Занд и Дюма...

Всякий согласится, что при наличии такого материала, да еще имея 16 лет от роду, — с темой справиться нельзя, какое ни будь вдохновение. Я и не справился. Однако и теперь думаю, что мое инстинктивное желание найти какие-нибудь рамки для общей темы «О романе» — было верное желание. Я нашел глупые рамки. Но нельзя ли найти умные? Или придет-

ся, начав суживать тему, до такой степени доузить, что она будет уж как бы не «О романе».

По совести говоря — не знаю. Если пошло на совесть, то я даже не знаю, что такое «роман», как его определить, отделить от повести, рассказа, сказа и т. д. Не по длине же, тем более что есть короткие романы и длинные повести? И не по количеству выведенных лиц; и не по ширине охвата, — для последнего есть «роман-хроника». Пожалуй, я не был уж так не прав, простодушно считая романом ту книжку, на которой было написано «роман». Например «Мертвые души» мне романом не казались, ведь Гоголь назвал их «поэмой»...

К тому же слово «роман» (да и «поэма») — не русское: у нас есть «сказ» и «повествование». И если поставить себе задачу говорить только о «романе», то почва сразу выскальзывает из-под ног. Не говоря даже о трудности определить понятие «романа», приняв попросту — «роман есть роман», — что именно в нем надо, — и в каком, — исследовать? Ограничиться русским — нет ни малейших оснований. Взять, значит, общеевропейский роман, но в какой момент? Если только современный, то отпадает вопрос о эволюции романа; не следует ли его взять в исторической перспективе?

Ну, а это уж тема целой истории европейской литературы; произвольные границы — говорить ни о чем другом, *только* о романе, — никому тут не помогут. Вот я и прихожу к смиренному заключению, что написать вразумительно, с пользой и смыслом, сто строк «о романе» я не могу, а могу лишь сказать кое-что «около», кое-что касающееся вообще художественной прозы и художников-повествователей.

Многие считают, что «новое» в художественной прозе (далеко не вчера, однако, начавшееся) — это форма хорошенького, отточенного рассказика; увлечение им — оно-то и убило, или забило, роман. Другие прибавляют, что увлечение (говоря грубо — «мопассано-чеховское») — уже на исходе, и повествование длинное, роман, опять вступает в свои права. Может быть, и так. Тут, кстати, открывается поле для споров, на-

сколько нынешнее «длинное повествование» похоже на старый роман. Но мы условились, что я не говорю специально о романе, а потому на данном вопросе не останавливаюсь. Меня интересует один из переломов (или перегибов) в истории художественной прозы, более важный, чем перегиб в короткий рассказ. Сам короткий рассказ уже отчасти следствие этого (давно наметившегося) нового пути в художественном «рассказывании».

Чтобы не путаться в бесконечных оттенках старой и новой манеры, я буду проводить резкие линии, преувеличенно подчеркивая то, что часто не подчеркнуть.

Для наглядности возьмем хотя бы роман Жорж Занд, *«Elle et lui»* *, и Флобера – «Madame Bovary» **. (Степень таланта авторов можно оставить в стороне.) Есть готовые общие фразы: роман психологический превращается в натуралистический. Но готовые фразы, даже когда верны, мало что поясняют. Интересней вот какая перемена: Ж. Занд занята душевной жизнью своих героев и так прямо, *непосредственно,* об этих внутренних переживаниях и рассказывает, едва заботясь об остальном. Флобер впервые не рассказывает, а *показывает* нам героев. Это два совершенно разных принципа письма, две различных манеры, из которых ни одна не предрешает намеренно психологизма или непременно натурализма. В данном примере: Ж. Занд хочет выразить *свое* отношение к миру и сделать это одним способом. Флобер хочет того же, но прибегает к обратному способу. Оба делают выбор, берут годное для своей цели, оставляют негодное; но выбор-то они делают из вещей, принадлежащих к разным порядкам. Ж. Занд выбирает среди чувств и ощущений, Флобер – среди фактов, среди видимого и осязательного. Вот этот иной, новый способ и должен быть отмечен, вне зависимости от силы таланта Флобера

* «Она и он» *(фр.).*

** «Госпожа Бовари» *(фр.).*

по сравнению с Ж. Занд. Ведь надо сказать, что «Вертер», с этой точки зрения, гораздо ближе к «Elle et lui», нежели к «Мадам Бовари».

Старый или новый способ лучше? По справедливости – это праздный вопрос. На новый нельзя, пожалуй, и смотреть, как на новый путь: это лишь единственное расширение области словесного творчества, естественная эволюция искусства. Для художника-человека, которому *есть что сказать*, открываются новые возможности. Да ведь ни у одного действительно большого художника последних времен, как бы «наглядность» не превалировала, *в чистом виде* ее все-таки нет. Не она, во всяком случае, делает художника, – творца «романа», «сказа», – большим или малым.

Это последнее я в особенности прошу заметить. Это важно для уловления ошибки, которую делает наша современность. Ведь мало-помалу сама «наглядность», внешняя изобразительность, становится мерилом «художественности» произведения. У Льва Толстого этой «наглядности» очень много; подходом к внутреннему *через* внешнее он пользуется широко. Достоевский – в степени гораздо меньшей. И разве не слышим мы теперь зачастую, что Достоевский... ну какой же он романист, «беллетрист», какой же он «художник»?

Такие суды искусства, смешения понятий, – ничего загадочного не представляют. Ибо новый подход, новый способ, о котором идет речь, – хотя и благодетельный для словесного искусства, но в то же время и опасный. Благодаря ему, кадры «художников» с величайшей легкостью пополняются людьми «с глазом», очень способными довести изобретательность до подлинного мастерства, но которые этим мастерством ни для чего не пользуются, никуда *через* него не ведут, не имеют сами того, к чему мастерство может вести. Короче: у них нет ничего, что бы они хотели сказать. И, однако, это не мешает им называться «художниками», а произведениям их – произведениями «искусства». Тут искусство не столько расширили, сколько растянули и непомерно растягивая – разредили.

Ж. Занд, худое ли, хорошее ли, стремилась что-то сказать, выразить современными ей способами. Флобер... о, Флобер сумел воспользоваться своим мастерством изобразительности, чтобы заставить нас взглянуть в тот черный провал за жизнью, в который глядел сам. Хорошо или нет глядеть в этот провал — совсем другой вопрос. Известный процесс против Флобера за «Бовари», с беспомощными обвинениями в посягательстве на «чистоту нравов», — был в сущности бессознательным протестом против вот этой, если говорить грубо, — «пропаганды тьмы». Со своей точки зрения протестующие были вполне правы, но нас это в данную минуту не интересует: я лишь отмечаю, что Флобер *показывал* и *подбирал* факты жизни, *описывал* жизнь и смерть не для того, чтобы показывать и описывать, а чтобы сказать о скрытом за ними — о скрытом и в нем самом.

Да, верно определил Достоевский, да, надо полюбить (или возненавидеть) жизнь раньше смысла ее. Но «раньше» — это не только не значит, что смыслу говорится «никогда»: наоборот, это утверждает необходимость любви (или ненависти) к смыслу в писателе, художнике, романисте-повествователе. Раньше, чем художник — он человек. «Раньше» он только любит или ненавидит жизнь. А «позже», когда, оставаясь человеком, собой, он делается *и* художником, — этим самым он расширяет свое отношение к жизни до ее смысла.

Поэтому, как бы ни поклонялась простодушная толпа «описательскому» таланту, воображая, что приветствует «художника» и служит «искусству», — она, в лучшем случае, приветствует свою мгновенную забаву, искусство же для нее остается, пока что, «калачным рядом».

Впрочем, я далек от осуждения. Почему не забавляться, почему не забавлять? Я только предлагаю не путать имен и понятий, и все эти современные мириады способных мастеров-описателей так и кликать, не называя их облыжно ни «талантливыми», ни «писателями».

Такова схема в резких линиях. Реальность, с оттенками и переливами, ее не разрушает. Остается и опасность (самая ре-

альная) увлечения «наглядностью», «изобразительностью», мастерством «описательства». Кто на другое неспособен, те — Бог с ними. Но ведь и Божий дар, талант художника, не трудно, увлекшись, продать за эту чечевичную похлебку описательства.

Впрочем, кому, когда и чьи предупреждения об опасности послужили на пользу? Идите, романисты, рассказчики, сказители, повествователи, писатели и описатели, каждый своей дорогой. Там, дальше, сами узнаете, из какого материала строите, что останется, что пылью разлетится.

ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА

Беседа II
Доклад З. Н. Гиппиус
«Русская литература в изгнании»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Слово предоставляется З. Н. Гиппиус.

З. Н. ГИППИУС: На прошлом заседании Мережковский сказал, что «Зеленая Лампа» — лаборатория. Да, между прочим, и лаборатория. Некоторыми исследованиями хорошо бы заняться. Например — исследованием духовного состояния нашей эмиграции. Вопрос такой широкий, такой многосторонний, что я даже и не приближаюсь к ответам, ни в одной стороне. Я только ставлю вопрос на обсуждение и предлагаю коекакие методы исследования.

Десять лет — немалый срок по нашим временам. Процесс жизни продолжается при всяких условиях: люди растут, стареют, что-то приобретают, что-то теряют, словом — не впадают же они в анабиоз? Значит, мы очень можем заняться рассмотрением, что произошло в эмиграции за десять лет. Не выросло ли в ней чего-нибудь нового? Каков ее сегодняшний облик?

Скажут, пожалуй: изгнание, эмиграция — это такие неблагоприятные условия, что нечего и ждать, кроме анабиоза. Но

ведь и в России условия для процесса жизни не очень-то благоприятны. Мы их знаем. Рабство, нищета, насильническое вытравление моральных ценностей, отрыв от общеевропейской культуры, беззаконие и бесправие, – если эти условия положить на одну чашу весов, а на другую наши условия: чужая земля, сознание безродности, распыленность, трудность заработка и т. д., – не думаю, чтобы вторая перевесила. Даже думаю, первая окажется тяжелей. Но чтоб не вызывать лишних споров, поставим между неблагоприятными условиями там и здесь – знак равенства. Что ж, разве мы считаем, что Россия в анабиозе? Разве мы не приглядываемся жадно, какие там, в глубинах, происходят изменения, что дал русским людям в России их кандальный опыт?

Опыты наши различны. Но ихний, впоследствии, пригодится нам, а им – наш. Ничья паника, что вот, мол, мы с ними разделены, на меня не действует: между нами – нерушимая связь. Одно разделение, впрочем, я вижу и предлагаю его принять: это *разделение труда*. По тому же предмету нам задан судьбой один урок – им другой. Вот и все.

Следить за движением жизни в России – очень трудно. Смотрим, «как сквозь тусклое стекло». Эмиграцию же можно рассматривать не через тусклое стекло, а «лицом к лицу». К ней есть прямой, непосредственный подход: ее *слово*.

Слишком понятно, почему слово в советской России ничего нам не может дать. Ведь когда мы просто литературу советскую критикуем, мы делаем не умное и, главное, не милосердное дело. Это все равно, как идти в концерт судить о пианисте: он играет, а сзади у него человек с наганом и громко делает указания: «Левым пальцем теперь! А теперь вот в это место ткни!». Хороши бы мы были, если б после этого стали обсуждать, талантлив музыкант или бездарен!

Но здесь наша «музыка» – слово эмиграции – имеет иную значимость. За ним не только не стоит указующий с наганом, но даже не прячется вежливый «пресекающий» в кулисах, как было недавно. Русским людям впервые дано *свободное* слово. С

него и надо начинать исследование духовной жизни эмиграции.

Перехожу к беглым примерам, исключительно ради конкретности. Общие рассуждения мало подвинут вперед наше исследование. А я не знаю, чего нам бояться хотя бы здесь, куда мы собрались не бороться друг с другом, а совместно себя же выяснять. Да и вопросы здесь не решаются, а пока лишь ставятся.

Во всяком случае, я прошу смотреть на эти конкретности лишь как на примеры, взятые для выяснения общих положений моего доклада, которые имеют значение. Примеры же, если неудачны эти, — найдутся другие.

Ограничиться только художественной областью, конечно, нельзя. Нам следует взглянуть на всю эмигрантскую прессу в целом, наше слово *обо всем.* Наши журналы и газеты... не важно ли распознать *лик и волю* хотя бы некоторых?

Прежде всего: невольно, при взгляде на почти каждый из видных зарубежных органов, вспоминается как бы аналогичный ему в период 1905—1915 годов — с поправкой на современность, конечно. «Руль» — «Речь», «Современные Записки» — «Заветы» или что-то вроде, «Возрождение» — «Русская Воля» (в смысле позиции и содержания)... Сам по себе этот факт еще ничего не говорит. Но *мера* схожести очень важна. Только мера. «Руль» почти неотличим от «Речи». Зато «Последние Новости», тоже имевшие связь с «Речью», до такой степени от нее отскочили, что уже и аналогии проводить нельзя. Если измениться значит научиться, — надо сказать, что руководитель П. Н. Милюков, хотя и поздно, многому научился. Принято упрекать в переменах Струве. Но это ошибка. Именно Струве, несмотря на внешние «поправки на современность», — все тот же Струве предвоенных годов (с «Возрождением» я его не вполне соединяю). Кое о чем новом догадывается и группа «Современных Записок»...

Но не кажется ли иногда, что эмигрантское наше слово, и на сей раз без различия, еще не вполне научилось... свободе?

Опять не утверждаю, только спрашиваю. Но вопрос серьезный. Научиться свободе — что это значит?

Вот формула: это значит найти для себя, для всех и для каждого максимум ее *меры*, соответствующий времени.

А выучиться свободе — пожалуй, главная задача, заданная эмиграции. Как же мы ее исполняем?

Мы стараемся. Только часто подходим еще к свободе со старыми навыками. Исчезли внешние преграды — и нам неуютно. Мы боимся ступить, оглядываемся, ищем опоры и — находим ее в привычных «принципах», «программах». Их лучше не трогать... разве сами от ветхости валятся, ну тогда починить, подправить кое-как, но чтобы ни кирпичика новенького!

Я не о политике говорю, не *только* о политике, Боже сохрани! Я говорю о свободе слова и мысли решительно во всех областях жизни. Разъединенность этих областей — тоже ветхий принцип.

И каждая группа городит вокруг себя тесные пали своих старых заветов.

Сами заветы «Современных Записок» — как будто «свобода». Но от давности, от долгой неприкосновенности и они обратились в пали. Это сказалось, когда фактическая свобода слова была дана. Время требует, чтобы в понятие свободы *общей* было внесено и понятие свободы *личной*, принцип «личности» — различия, отличия одной пары глаз от другой. Я не буду, конечно, пояснять здесь, что второй принцип не нарушает первого, а лишь утверждает и расширяет его. Для понимающих пояснения не нужны, а тому, кто под личностью еще разумеет просто какую-нибудь человеческую «особь», в две минуты дела не разъяснишь. Я только указываю на примере «Современных Записок», к чему порою ведет отсутствие второго принципа. Смутно догадываясь о нем, ища подхода к свободе, для себя и для других, «Современные Записки» то и дело

перескакивают *гepeз* свободу, через всякую меру ее — во что-то похожее на оппортунизм. Мерить все и всех, да и себя, одной и той же палей, как встарь, и даже той же самой, нельзя: а другие мерки еще не найдены; и происходит метанье, шатанье, суета; неосторожный забег (дали «свободу слова», да не тому, оказывается!) — и торопливое возвращение... куда? Опять к тем же, надежно затвердевшим, заветным палям. И начинается, в новых условиях, старая песня: общей, прежней цензуры нет — так вот свои, заветные, законы о печати.

Приблизительно то же происходит в каждой группе общественников; групп много — много и законов, самых различных, только построенных-то на одинаковом принципе.

Для эмиграции, в ее целом, такая неумелость ответить на новые условия должна быть объективно признана вредной: она искусственно воскрешает старые разделения, уже потерявшие смысл.

Разделения, если и нужны, должны пройти по новым линиям. Поэтому мы готовы приветствовать все попытки найти новую линию, даже попытки неудачные. Но я указываю, что «Современные Записки» своей собственной линии для себя еще не нашли и всякая попытка тотчас заставляет их с особой стремительностью бросаться назад, прятаться за свои привычные пали.

Затирание личности в кругах старшего поколения (всем все по одной мерке) давно создало в молодых естественную реакцию — чистейший субъективизм. Уж в предвоенные годы было это очень ярко, и, увы, почти в неприкосновенности перенеслось сюда.

Только возраст изменился: старшие за десять лет приблизились к старчеству; молодые субъективисты и снобисты сделались «перестарками». Они редко покидают тепленькое местечко — «художественное творчество» — даже для так называемого «культурного делания». Кстати, два слова о культурном делании. Можно себе представить, до какой степени оно необходимо. Но входит ли в нашу задачу, сохраняя ценное

в прежнем, приобретать новое в новом? Не нужно ли нам и тут, и культуре — учиться? Однако и тут ветхий принцип разгораживания жизни на отдельные участки дает себя знать. Вот журнал «Звено», посвященный исключительно вопросам культуры. Он многого на этом пути достиг. Но постепенно и естественно он становится... утонченным. Одна провинциальная газета даже обвинила его в превращении в старый эстетский «Аполлон». Обвинение несправедливое, но под опасностью утончения, «аполлоновской» изысканностью можно задуматься... Однако вернемся к молодым субъективистам.

Когда они сходят с Парнаса и принимаются писать статьи, то в них только субъективизм и проповедуют, тоже, как старики, на собственный ветхий принцип опираются. Они против всяких «идей» — ведь идея — что-то «общее» — и даже уверяют, что время идей, философии, мысли, смысла — прошло: старые идеи провалились, а новых не будет. У каждого из них единственная маленькая опаска: не подумали бы, что на него кто-то или что-то «влияет». Ничего другого они не боятся и не стыдятся. Упрекните их в недвижности, узости, пустоте, старости. Глупые не услышат, а умные... умные равнодушно согласятся. Но ведь это грозит духовной смертью! Они — ничего, ни малейшего испуга. Тогда, сказать по правде, я начинаю их бояться. Кто не знает страха смерти? Не знают — покойники. А я боюсь записывать кого-либо в покойники, не говоря о том, что и покойников, которые ходят, тоже боюсь.

В этом явлении (которое я прошу не слишком обобщать) виноваты старики с их безнадежной общностью и затвердевшим частоколом «идей». Субъективизм — лишь естественная реакция.

И, пожалуй, она имела свой смысл. Ведь вот где-то тут же, около субъективистов, создаются и новые круги молодых, где уже заметен переход от субъективизма к индивидуализму. Это — оздоровление, ибо субъективизм — тупик, а от индивидуализма широкая дорога, можно идти далеко, лишь бы сил и дарования хватило.

Но первые побеги хрупки. Хрупки и наши неоиндивидуалисты. Они еще таскают за собою старый кокон и чуть что — в него прячутся.

Мне пришлось соскользнуть к литературе, не коснувшись еще многих других серьезных течений жизни. Это сделают другие. Я же закончу общим взглядом на наше художественное слово.

Этому слову *как будто* (подчеркиваю — «как будто») свобода уже в полноте дана. Не только здесь: и советский человек с наганом уверяет, что для чистейшего искусства его наган безопасен. Разве лишь потребуется в эту чистоту капельку ленинизма пустить. А какая свободища там для художественного слова, «оскорбляющего общественную нравственность»! (Положим, она упразднена, некого оскорблять.)

Все эти «свободы» как раз и показывают нам с потрясающей ясностью, что химически чистого искусства нет. Именно сегодня показывают, на примере сегодняшней реальности. Не только его нет, но оно даже невообразимо. И его свобода — такая же фикция, как оно само. Художественное творчество, словесное по преимуществу, находится в нерасторгаемой связи со всей сложностью данного исторического момента, и даже так, что чем теснее связь, тем выше творчество. Все решительно условия общей жизни на него влияют, до мельчайшей реальности: это уже не метафизика, а физика. Мы знаем, как влияют на духовный рост и творчество *политические* условия в России. Довольно непосредственно, не правда ли? Наши условия в изгнании, тоже связанные с «политикой» (или нет?), не могут оставаться без влияния. Эти условия одни для всех эмигрантов: художников, политиков, общественников, ученых... У всех — оторванность от земли, народа, языка, чувство безродности... вплоть до тягот материальных. И всем дана атмосфера свободы.

Но как, скажут, «творить» в подобных условиях? Творить? А как делать политику? Как писать в газетах? Как работать? Как учиться? Или никак, анабиоз, или, поняв *смысл* изгнания, де-

лать свое здешнее дело, но делать его *как общее.* Если эмиграции задана задача выучиться свободе, так значит, и художникам она задана. И нечего воображать, что обойдешься какой-то фиктивной свободой фиктивного, химически чистого искусства.

Эмигрантская литература не существует, поскольку в ней *внутренне* не отражается ни политическая русская катастрофа, ни опыт изгнания. И мы ничего не узнаем о духовной жизни эмиграции по тем писателям, старым или молодым равно, которые «дописывают», «пописывают», «расписывают», «записывают» или «переписывают».

Меня бы далеко завлек разбор двух линий, т. е. разделение писателей на творящих одиночками, вне времени и пространства, и на создающих или пытающихся создать именно сегодняшнее. О, не злободневное, не публицистику, неужели поймут меня так грубо! – но то «сегодня», которое не в безвоздушном пространстве является, а из земли – пусть чужой! – растет и на завтра еще пригодится!

Этот разбор сделают другие. Я даю лишь метод исследования духовной жизни эмиграции в области искусства. Это все тот же метод: ведь я исхожу из предпосылки *общности* эмиграции. Одна и та же причина ее создала. В одни и те же условия поставила. Можно ли не видеть, можно ли не понимать, что и задачи у нее общие?

Весь вопрос в том, как она свои задачи исполняет.

Беседа III
Продолжение прений по докладу З. Н. Гиппиус: «Русская литература в изгнании»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Слово предоставляется З. Н. Гиппиус.

З. Н. ГИППИУС. Прежде, чем я прочту тезисы моего доклада, краткую сводку уже произнесенных речей и мы приступим к дальнейшему разговору – я хочу сказать два слова о смерти Михаила Петровича Арцыбашева.

Лично мы с ним встретились только один раз, очень давно, при самом начале его писательской деятельности, гораздо раньше нашумевшего «Санина». Но сейчас я не о Саниных говорю, не в них дело. А в Арцыбашеве, который шесть лет прожил под большевиками и затем, четыре последующих года — в Варшаве.

Этого Арцыбашева, эту его жизнь — *я знаю.* Она предельно проста, как прямая линия, и своей именно простотой — *не*обыкновенна.

Человек. Любил родину просто: как любят мать. Ненавидел ее истязателей. Боролся с ними лицом к лицу, ни пяди не уступая, не отходя от материнской постели. Шесть лет. Потом был физически выкинут вон. Остался у дверей. И продолжал то же. Та же прямая линия. Он совершенно просто отдал своей любви все, что имел. Ведь не в том дело чтобы дать много или мало, — да и кто судьи? — а в том, чтобы отдать все. Все, что имеешь, все, что у тебя есть, ничего не пожалеть, даже самой жизни своей.

Арцыбашев-человек так и сделал.

За Россию он боролся по всему своему уменью, по всему своему разуменью, всего себя, каким был, на эту борьбу положил, с естественностью ничего себе не оставив, для себя не сохранив. Не думал ни о каком «геройстве», как не думает солдат на фронте, в огне... — да и геройство ли это? А если это лишь *человеческое?* Тем страшнее, что человеческое, просто человеческое, кажется нам — *не*обыкновенным.

Как солдат на фронте умирает просто — так же просто, в чистой рубашке, умер и Арцыбашев, отдав все свое, вплоть до жизни, — своей единой любви.

Я не предлагаю того, что в подобных случаях обычно предлагается: «почтить память усопшего вставанием». Но я прошу — ради тех, которые здесь, может быть, понимают, что такое *Человек, Любовь, Смерть,* — я прошу нескольких секунд полного молчания. Тридцать секунд, по часам, — не больше...

Прошлый вечер еще раз показал мне, как сомнительно словесное сообщение между людьми.

Весь мой доклад состоит из вопросов.

Вот они:

1. Не пора ли произвести исследование духовной жизни эмиграции, духовного ее состояния?

2. Можно или нельзя ограничить это исследование лишь одной из многочисленных областей духовной жизни: искусством, политикой, религиозными и культурными вопросами, философией, наукой и т. д.?

3. Если нельзя, то не требует ли исследование коллективной работы, каждого в своей специальной области, но с предпосылкой координации этих областей?

4. Фактическая разобщенность всех областей духовной жизни есть ли явление желательное или нежелательное?

5. Нужно ли, наконец, и можно ли заниматься духовной жизнью эмиграции, если *не* утверждать ее некую общность и общие, ей предлежащие, задачи?

На эти 5 вопросов, с моей стороны, были даны *предположительные* ответы, то есть:

— Исследовать духовное состояние эмиграции — очень важно;

— Ограничить исследование одной какой-нибудь областью — нельзя;

— Каждый, делая частное исследование, должен иметь в виду, что оно входит в общее;

— Данная разделенность, несвязанность областей, где проявляется духовная жизнь — нежелательна и

— эмиграция есть общность, и она имеет общие задачи.

Далее мной указывались, опять предположительно, некоторые из этих общих задач, общих для художника, политика, рабочего, монаха и т. д., всех эмигрантов, не смотрящих на свое изгнание как на бессмысленную случайность.

Конкретные примеры из жизни отдельных групп эмиграции имели целью оттенить опасность тех или других на-

клонов *воли* и опасность недостаточного сознания общих задач.

Вот линия моего доклада. Этой линии и следовало бы держаться ответчикам. Они могли спорить против моих положений, защищать другие; могли возражать против моего понимания задач эмиграции и моего метода исследования ее духовной жизни. Или, ответив отрицательно на первый вопрос, могли просто зачеркнуть все остальные.

Но никто в линии доклада не остался. Никто на основные вопросы, тесно между собой связанные, никакого ответа не дал, и даже не подошел к ним, как к вопросам. Один Адамович имел, кажется, в виду общую схему. Ограничив свое возражение пределами, четвертого вопроса, – о фактической разобщенности духовных областей, – он противопоставил моему ответу свой, т. е. утверждал самодовлейность художественного творчества, независимость его от времени, от внешних и внутренних условий жизни, и даже признал какую-либо связь искусства с этими условиями нежелательной.

Ходасевич только уточнил и дополнил мои примеры неправильного отношения к искусству в самой области искусства. Что касается Вишняка и Ст. Ивановича – то они оба совсем не обратили внимания на вопросы доклада, а исключительно на конкретные примеры, которые никакого значения не имеют. Примеры эти, кроме того, брались не как примеры, а как самостоятельные утверждения неверных фактов. Мы узнали из речи Вишняка, что «Совр. Записки» не похожи на «Заветы», что «Заветы», хотя Вишняк и писал в них, были плохи, а «Совр. Зап.» хороши. Но мы так и не узнали, есть ли, по мнению Вишняка, у эмиграции общие задачи, или их нет, и что он думает о задаче – научиться свободе. Мы даже совсем ничего о свободе от Вишняка не услыхали.

Тем менее от Ивановича: он уже совершенно опустился на дно – мелких эмигрантских распрей, сделал на этом дне непривлекательную смесь, которой и разрисовал положение эмиграции.

Быть может, это интересно, — с психологической стороны: как раскрытие точки зрения и духовного кругозора одного из эмигрантов — самого г. Ивановича. Непосредственную отповедь на свою речь, вернее, на ее психологический стиль, г. Иванович уже получил на прошлом заседании от Георгия Адамовича. К моему же докладу эта речь отношения не имела, а потому мне на нее сказать нечего.

Но достойная отповедь Адамовича еще раз подчеркнула благодетельность реакции молодых на безвыходную рутину стариков-общников.

Итак — мои вопросы не были услышаны. Волей-неволей приходится их повторять. Если среди нас, перенесенных в Европу, процесс духовной жизни не оборвался, а продолжается, то какие, где его проявления? Где нерв этой духовной жизни в данную минуту? В каких областях, в каких кругах или группах? Кто видит *смысл* в катастрофе, лишившей одних русских людей земли, других — свободы? Кто не видит, считая тех и других лишь жертвами несчастного случая?

Некогда хозяин земли русской, Петр, посылал молодых недорослей в Европу, на людей посмотреть, поучиться «наукам». А что, если и нас какой-то Хозяин послал туда же, тоже поучиться, — между прочим и науке мало нам знакомой — Свободе?

И недоросли плакались. И недорослям путь назад был заказан, пока своего не исполнят. Мы тут стонем с утра до вечера «Россия», «Россия», к ней тянемся, да еще гордимся: мы стоим лицом к России. А что, если отдавая все наше время на это стояние мы так и осуждены стоять, и никакой России не получим?

Мне вспоминаются слова мудрой девушки из сказки: самый важный час — теперешний; самое важное дело — которое теперь делаем, самый нужный человек — с которым сейчас дело имеешь.

И вот мой последний вопрос: а что, если ради теперешнего, сегодняшнего дела — самого важного — сейчас Россию надо забыть? Что, если только исполнив наше здешнее, сейчасное дело, — мы заслужим Россию?

ЗАМЕТКИ О «ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ»

Человекообразные

Никакого «человечества» нет. Пора сказать это прямо. Пожалуй, и пора прошла: кому сейчас интересно, есть оно или нет? Вопрос без резонанса.

Если, из любезности или добросовестности, и выслушают мое утверждение, то возразят: а когда же это самое «человечество» было? Были страны, племена, народы, нации, слои, классы, партии, группы, индивидуумы, и всегда, как теперь, были они друг против друга, благодаря разности интересов. Собственно же человечества (уж не с большой ли буквы?) никогда не существовало. В мечтах разве? В воображении? В идее?

Да, да, и тут вся перемена, — громадной важности. Не было — но *могло* быть, к тому шло. Мечта, воображение, идея, — есть предварительная стадия бытия чего-нибудь. Во всяком случае, единственная *возможность* бытия. Пока «человечество» жило в идее, оно могло реализоваться. А если «погасить идею в уме?». С ней, естественно, гаснет воля, что же остается? Ничего, меньше пустого места.

Подозрительно быстро гаснут в наше время всяческие «идеи». «Человечество» — только одна из целого ряда, не менее важных. Вообразительное бытие ценностей, — т. е. идеи, — имеют громадное влияние на реальность. Когда они отмирают, гаснут — это немедленно отражается на всех явлениях жизни, изменяет ее облик, существенно изменяя облик самого человека. Стоит представить себе: без воображенья, без воли, идущей далее настоящего момента, — разве будет человек похож на то, что мы привыкли называть этим именем? Если и «похож» — не очень... Угасание идей есть начало (долгого, правда) пути к перерождению человека в «человекообразное».

Вступили ли мы на этот путь? И такой ли он роковой, нет ли с него обратного поворота? Трудно ответить. Я не решусь. Фактические признаки известного перерождения, однако, уже есть. В большом или малом, в общностях и частностях, в

одной области жизни или другой — все эти факты говорят о том же.

Не всегда их легко обнаружить и определить. Идея погасла — но соответственное «слово» еще держится, переживает ее. Так, мы повторяем слово «культура». Культура имела тоже лишь «вообразительное бытие». И она может лишь «становиться», — при условии существования ее идеи. Слово осталось; но что под ним разумеется? Не сузилось ли, незаметно, понимание «культуры» до «технических достижений»? А в общем не свелось ли к понятию чисто количественному, и, наконец, к «рекорду»? Задача «культуры» превращается, понемногу, в задачу произвести наибольшее количество движений в наименьшее количество времени, или обратно. Какого рода движения, — это уже все равно.

И только одни «рекорды», — всевозможные количества в круге техники и физики — еще вызывают чувства восхищения, возмущения (скорее досады) и удивления. Способность возмущаться и удивляться решительно гаснет. Это понятно. Когда слабеет воображенье, вместе с ним слабеет и *память*. Не с чем сопоставить, не с чем сравнить данный, настоящий момент. Содержание его и принимается, как данное, просто; и если непосредственно, сейчас, не затрагивает, — не забавляет, не досадует, — то и не интересует.

Старых слов осталось порядочно. И «наука», и «политика», и целая куча других. Но почти в каждом можно найти червоточинку, если присмотреться.

Вот, хотя бы такая мелочь: никто не удивился, приняли и к «науке» отнесли африканскую экспедицию, снаряженную советским правительством для вывоза специальных обезьян: советы приготовили у себя, в Сухуме, питомник и собираются там делать, «научным способом», попытки получения новых подданных, скрещивать обезьян со старыми — с «людьми».

В Марсели обезьяны остановились для отдыха. Публика забавлялась, рассматривая будущих производителей и сопроводителей — советских «ученых». Немножко забавлялась и

нисколько не удивлялась, — «научный опыт»! Многим известны здесь результаты всяких советских «опытов», известны — и неинтересны. На толстых обезьян, удрученных недавней морской болезнью, поглазеть — да, отчего ж? И только.

Хотя бы удивился кто-нибудь, зачем советам эти научные опыты и новые производители. Без них дело почти сделано. Тысячи беспризорных обезьянят носятся по городам СССР-ии, только, вот, не в шерсти еще, и еще болтают они с прохожими членораздельно: «Дай копейку, не то укушу, а я венерик!». И кусают. Маленькие будущие полуобезьяньи самочки, пожалуй, и не дойдут до совершенства своих сестер, «человечьих» девочек-проституток, не станут, пьяные, шататься по московским улицам... Разве особой системой приучат. Пока же, за неимением подлинных шершавых обезьянок, и девочки лет 8-ми «быстро разбираются к ночи советскими любителями», как рассказывает свидетель-москвич равнодушно. И он не интересуется. Он допускает, между прочим, что из «научного» опыта с обезьянами, при удаче, может получиться особо крепкая порода существ, приспособленная к делу перманентного убийства людей в закрытых помещениях. Теперь эту работу делают рожденные «людьми», а потому не все выдерживают больше пяти—шести лет: то с ума сошел, то повесился. Какой-нибудь сын орангутангихи и комсомольца надежнее.

Когда это будет, никто не удивится: данное!

В так называемой «политике» столько этого не удивляющего, хотя и нового «данного», как данное принятого, что не знаешь, за который факт взяться. Межгосударственная торговля телами, например, вошедшая в обычный «политический» порядок. Она идет от «института заложников», — но какие там институты, к чему эти фиговые листы! Просто торговля телами (именно телами, а не «душами», ведь политика-то «реальная»!). Если сделка между новыми торговцами живым товаром не успевает состояться — живой товар превращается в мертвый; набирают новую партию. Одного сорта товар котируется выше, другого ниже... да и всякие бывают операции, са-

мые разнообразные, отнюдь не только мена по головам и косякам.

Эта коммерция называется «политикой». Почему бы ей и не называться, раз принято, как «политика», и такое, например, положение: правительство одной страны объявляет правительствам других: «Я существую, чтобы вас уничтожить. Или я – или вы. Давайте, поговорим. Чем вы мне посодействуете?». Ему отвечают: «Что ж, поговорим. Конечно, вы существуете для уничтожения нас. Но это ваше дело. Мы в чужие дела не вмешиваемся».

И говорят... о посторонних вещах. Произносят разные слова – часто старые, под которыми уже нет прежних понятий, да и не может быть. Реальных последствий произнесение слов или не имеет, или имеет какие-то довольно неожиданные. Это в зависимости от местоположения, от храбрости или трусости страны, которая разговаривает с правительством державы, намеревающейся ее уничтожить. «Если вы... такие-сякие, – вдруг кричит последняя, – не дадите мне, чего требую, – не хочу больше разговаривать! Не желаю! И вот увидите!.. Вы меня знаете!».

Противник ничего не знает (что знал, то забыл), но смутно боится потерять «данное», и если очень боится, «любезно идет навстречу...».

5 июля 1920 года, в понедельник, во всех польских газетах было напечатано официальное сообщение правительства (Пилсудского) о том, что Польша борется не против России, а против ее правительства – большевиков, и должна бороться, т. к. большевики *по существу* суть враги не только польского народа и государства, но враги (притом сами себя таковыми признающие) и всех других европейских народов и государств. Кончалось воззвание призывом к борьбе до конца за общую свободу («нашу и вашу вольность»).

В августе 1927 года то же правительство того же Пилсудского той же Польши так же официально объявило, что русским людям в Польше запрещается даже словом тронуть *дру-*

жественную власть большевиков (тех же), под угрозой высылки и закрытия газет. Одновременно, для острастки (или из предупредительности?), выслали в трехдневный срок нескольких человек, ни в чем еще, правда, не замеченных, но неугодных новым «друзьям». А так как друзья этим не удовлетворились, то через самое малое время, по их указаниям, была выслана следующая партия русских «за антисоветскую пропаганду», притом опять ни к какой запрещенной «политике» касанья не имевшая *.

Что же случилось? Ведь люди-то те же самые, те же эмигранты-русские, тот же Пилсудский и те же самые, так же действующие, большевики. И политический строй остался везде как будто тот же. Перемена, очевидно, произошла очень тонкая, на большой глубине, но очень действительная и общая. Не потеря ли это, и здесь, во-первых, *памяти* и, во-вторых, *воображения?*

Требовать, чтобы, скажем, Польша вспомнила слишком старую «политику», когда Франция подумать не смела выгнать Мицкевича и польских беженцев, запретить Мицкевичу «антирусскую пропаганду», — требовать этого просто смешно. Где уж! Но ослабление памяти столь быстрое, на глазах, — признак весьма грозный. Уж не поколения меняются, — те же люди переворачиваются, оборачиваются в кого-то, или во что-то, — другое...

Опускание происходит не везде равномерно, конечно. Если я останавливаюсь на области так называемой «политики» — то потому, что здесь, на мелочах, виднее, как потеря памяти подбирается даже к потере здравого смысла.

О господах наших беженцах из «Соц. Вестников» я говорить не буду. Эти и осмысленную речь забыли. Услышав, что в Париже на панихиду по 20 убитым в Чека собрались люди «разных политик», — люди «вообще», — они залепетали, за-

* Я уж не говорю о полпредстве-застенке посреди Варшавы, где чекисты убили польского гражданина Тройкевича и остались «неприкосновенными»...

повторяли единственные два слова, сохранившиеся у них в памяти: «мо... монархисты. Де... демонстрация. По... мо... мо... нархистам...». Оставим, это пример слишком исключительный, темп падения слишком ускоренный. Но вот обыкновенные наши с-ры. Те же самые люди, «боевая организация» которых не в прошлом веке действовала. Считалась их «красой и гордостью», и слава «героев» жила, не умирая. «В борьбе обретешь ты право свое!» гласил их многолетний лозунг. И вдруг перестал гласить. Уж оказывается, что дело не в «праве», и не в «борьбе», а в какой-то «выжидательной выдержке». Герои-то героями, конечно... вот Ненжессер и Коли тоже герои, притом не «вспышкопускатели»-террористы, вроде Коверды. Лично он заслуживает снисхождения, и хорошо, что Польша запрятала его в вечную тюрьму, а не повесила; но «политически» Коверда вреден, — нецелесообразен... Сазонов, Каляев — были они целесообразны? Об этом не говорится, а смутно упоминается, что Коверду можно извинить единственно по младости лет. Ведь подумайте, — он еще действовал на чужой территории, против «представителя дружественной державы!». Ну, а план с-ровской боевой организации в 11 или 12 году, — покушения на царя в английских водах? План сорвался по случайности (измена матроса). Да, плотно забыто, совсем из памяти вон; точно и вправду ничего никогда не было...

Объяснить такую новую «политическую» позицию с-ров только и возможно, что физическим угасанием памяти. Ведь не станем же мы их подозревать в соображеньях вроде следующего: при царе, мол, можно, ничего, а большевики — с ними лучше не шутить, они построже... Если б, с другой стороны, это была сознательная перемена принципов, то и было бы, конечно, заявлено открыто: мы пришли к отрицанию прежних форм борьбы и к ним не вернемся. Отныне право обретается выжиданием.

Ничего такого мы не слышали, а потому ясно: и в этом уголке, в этой маленькой группе людей, происходит тот же процесс ослабления памяти, наряду с потерей воображения.

Я мог бы привести еще длинную цепь примеров, и отнюдь не только из нашего эмигрантского «захолустья». И не только из области, которую ныне зовут «политикой». Грозные знаки перерождения «человеческой» материи – повсюду, в каждом «случае», т. е. в *отношении* ко всякому случаю.

Я говорю: *«грозные»* знаки... Но почему грозные? Почему, спросят меня, это плохо, если все «идеи», вплоть до идеи «человечества», погаснут в уме человечества? Допустим, что оно окажется несколько иным, но вполне похожим на человеческое; но жить без памяти и без воображения очень можно. Еще вопрос, что значит «жить»; прежде уверяли, что это значит «мыслить и страдать»; а если нет? Если просто – кормиться, драться, плодиться и забавляться? Память и воображенье бесспорно «умножают скорбь». Неужели звание «человека» стоит, чтобы за него держаться при явных невыгодах?

Беда в том, что всегда останутся «атависты», т. е. *люди;* и непременно они удрученные памятью и воображеньем, полезут к человекообразным с обличеньями, увещаньями, с требованьем «покаяться». Боюсь, что это непрактично, и «пророки» успеха иметь не будут... впрочем, не желая им подражать, я ничего не предсказываю. Я ничего не знаю; я знаю, как пойдет и как будет развиваться далее этот процесс. Он только в начале, хотя можно сказать, что и начало недурно. Для меня, как неисправимого «атависта», хранящего память и страдающего воображением, для меня, ясно видящего абсурдные перебои, опустошенные слова и бессмысленные жесты современности, — это все, конечно, определенное *принижение* жизни. Как-никак – а «гибель» человека... Среди советских обезьян, привезенных в Сухум с научными целями, особенно веселы две, громадные, – «собакоголовые». Может быть, недалеко время, когда «люди» вступят в переговоры с этими собакоголовыми, или с их отпрысками. И называть будут переговоры «политикой», а то еще как-нибудь. Тогда не вправе ли мы, атависты, сказать: нет, не люди, – это человекообразные разговаривают с собакоголовыми? Люди погибли.

И все-таки – вольному воля. Кто, будучи еще человеком, веселой ногой вступает на путь человекообразия, – оставьте его. Захочет опомниться, сам воротится.

ВТОРОЙ КОШМАР

На вечере евразийцев (прения по докладу П. Н. Милюкова) мне опять думалось: как мы должны быть благодарны докладчику за его основательное рассмотрение евразийства. Такая работа необходима, а проделать ее самостоятельно не всякому под силу. Милюков дал нам солидное оружие против многоголового... ну, не дракона, положим, – просто существа, называемого евразийством. Многоголовие, как известно, секрет его соблазнительности. Каждый находит голову по своему вкусу и ради нее, уже не глядя, принимает остальные, сидящие на той же шее.

Фашист, социалист, монархист, чекист, графоман, советоман, революционер, православный, народолюб, непман, – не говоря о националистах всех толков, – для каждого в евразийстве есть зацепочка, каждому какая-нибудь голова да улыбается.

Стрелы Милюкова отлично попадали в цель. И на наших глазах многие улыбки превращались в гримасы. Но в колчане Милюкова не хватало одной стрелы, и шея многоголового существа осталась неуязвленной.

Говоря вне метафор: Милюков не подверг исследованию **иррациональную** сторону евразийства. Между тем, она имеет не малое значение, и подойти к ней следует.

Евразийцы, выступавшие на вечере, сразу поняли, какие позиции всего лучше защищены, куда выгоднее отступить. Первый, Вышеславцев, тотчас же, с дешевой грацией, перепрыгнул в область «иррационального», где и дал простор своей, не менее дешевой, лирике, всяким излияниям сердца, проникновениям в «русскую душу», такую «безмерную», такую...

«большевицкую». (Я не могу упрекать Вышеславцева в дурном тоне, ведь он не специалист по «хорошему»; но все же, когда нам преподносят такую «Красоту», мы вправе усомниться, стоят ли за ней Истина и Добро.) После Вышеславцева и другие евразийцы старались держаться на тех же позициях, — благо сам докладчик назвал их неприступными; а тех, кто на них стоит, — просто «поврежденными».

С этим я никак не могу согласиться. Почему неприступные? Около них достаточно было борьбы во все времена. Методы исследования этой области, — духовной, душевной, религиозной, мистической и т. д. — тоже существуют. А присутствие в человеке иррационального начала есть нормальный факт, еще не говорящий о «повреждении». Не само это «начало» подлежит, конечно, исследованию; но и важно-то не оно в себе (неизменная данная точка), а разнообразные степени и формы, в каких являет его жизнь. Важно, как люди к нему относятся, что и когда с ним **делают,** куда направляют, во что преображают или во что превращают, и что из этого выходит. Тут исследования, даже оценки, необходимы — и вполне возможны.

Да, область опасная. В ней легко «повреждаться», легко «повреждать». (Но какая безопасна?) Подчеркивание евразийцами «иррационального», заслон «иррациональным» в критические минуты — поведение характерное и говорит очень много, особенно в связи со всеми их другими положениями.

Попробуем выбраться из сложностей, упростить дело до грубых линий, наименее спорных. И начнем с конца.

Евразийцы — «смена». Так они и сами на себя смотрят. Их отношение к сегодняшней власти в России — «ôtes-toi de là que je m'y mette» *. Вот цель, и рядом — уверенная надежда на ее достижение. Явилась ли эта цель (и надежды) как следствие таких-то и таких-то идей, или сами «идеи» евразийцев вытекают из фактического задания? Ответ не труден, ибо не трудно проследить, что эти «идеи» рождаются и формируются по

* «убирайся, дабы я мог занять твое место» *(фр.)*.

мере возникающих в России «настроений», потенциально годных для цели, и такими настроениями регулируются. На каждое мы находим заботливый отклик в евразийской системе (если это система, а не просто «чего изволите»). В евразийстве нет «**свободы**» и нет «**России**». Не ясно ли, почему? Да потому, что в «настроениях», полустихийных, эти слова – еще не сказались. А чем настроение темнее, стихийнее, «иррациональнее» – тем для евразийцев полезнее: надобен «размах», «безмерность».

Настроения всем известны. Стоит ли перечислять их евразийские отзвуки? Они тоже известны: большевизм без коммунизма, советы, собственность, евреи надоели... Для самых сильных настроений – самые громкие отклики. Смутному оскорблению национального чувства и приобретенной ненависти к Европе – предлагается удовлетворение в виде такого национализма и мессианства, каких свет не видал. А для ярко вспыхнувшего влечения к гонимой коммунистами религии – истоком и оплотом евразийства объявляется православная церковь, торжествующая, единая истинная, коей покорены будут все инакомыслящие еретики. Как бы православный интернационал...

Ленин тоже умел угадывать настроения момента, учитывать силу стихии и пользоваться всем этим для своих целей. Только он действовал искуснее, грубее, с поправками: мировую революцию облеплял понятным шоколадом: «Бей всех (т. е. мировых) буржуев», национализацию подавал в виде «грабь награбленное», ненависть к европейской государственности насаждал при помощи слов: «Антанта, которая хочет войны». И действовал так уже на месте. Но самое главное отличие Ленина от евразийцев, – и, кажется, **единственное,** – это что у Ленина была... идея. Как бы ни относиться к Ленину и коммунизму (хотя бы так, как я, с последней абсолютной непримиримостью), но отрицать, что коммунизм есть идея и что у Ленина она была, – нельзя. У евразийцев, в прямом смысле, идеи нет, да и быть не может: Евразия вообще не идея и ника-

ких атрибутов идеи не имеет. То, что мы облыжно, в общежитии, называем евразийскими идеями, — не более чем обрывки соответственно вывернутых, прилаженных, перекрашенных уже известных положений, порой до неумеренности избитых, непрочно и произвольно склеенных.

Продолжим параллель с коммунизмом (фактическая их параллельность достаточно доказана, но я хочу кое-что еще прибавить). По существу, в евразийстве элемента обмана больше, чем в коммунизме, или обман как-то... обманнее, ядовитее. Это мы увидим, если вступим в «заповедную» область иррационального, духовного, мистического, религиозного, где с таким пафосом и с такой торжественной легкостью распоряжаются евразийцы.

В этой области человек называет свои ценности — «святыми». И слово соответствует определенному к ним отношению, «Святое», прежде всего, всегда, — самоцельно. Оно не может быть ни орудием, ни средством для чего-нибудь, не мыслится играющим служебную роль. Видеть оскорбление святыни — конечно, страдание для верующего. И немало русские люди страдали от надругательств над их святынями. Но... большевики открыто, — насилием, как всегда, — однако, **прямо** следовали своей идее, в которую входит «искоренение» святынь. Обмана тут не было. И это, для верующих людей, были только посторонние насильники, о которых сказано: «Не бойтесь убивающих тело и более ничего не могущих сделать». Их и не боялись, глядя на попытки убить церковь, — «тело Христово» для нескольких миллионов русских людей.

Но что бы сказали те же русские люди теперь, когда они не только не перестали чтить свою святыню, но особенно близко подошли к ней, гонимой, — что бы они сказали, **если б действительно поняли,** какое употребление хотят сделать евразийцы из этой святыни? Как бы они отнеслись к тому, что их повышенную духовную настроенность хотят «использовать» для смены вывесок: «СССР» на «Евразия»? Мы уж знаем, что за вывесками осталось бы то же, лишь обозначение другими

буквами: вместо ЧК – положим, ДУ, «Добродетельное Учреждение», или БеПе, «Благое Попечительство» и т. д. Но в отношении церкви перемена будет поглубже, поядовитее. Из помехи, из гонимой, предполагается, украсив приятными словами, возвести ее в чин служащей порядкам не коммуно-большевицким, а евразо-большевицким. Ведь она для Евразии (спросите любого евразийца, выбрав попроще) – лишь «этнографический факт», то есть один из факторов.

Даром разукрашивать церковь не будут: служба предстоит серьезная. Прежде всего, ЧК не требовала от нее благословений: ДУ или БП – потребуют. За объявление ее единой истинной, вселенской – потребуют активной борьбы со всеми, без разбора, еретиками – иудеями, язычниками и христианами других церквей. Возложат на нее и просветительную работу по разъяснению политграмоты (евразийской). Служба не шуточная, потяжелее царской, а ведь и та в свое время довела церковь до «паралича». С теперешним же положением церкви, этой духовной народной святыни, положение ее при Евразии и сравнивать нельзя. Евразийцы не коммунисты, которые бьют по телу, «а больше ничего не могут сделать». Евразийцы посягают на дух церкви христианской, дух Господен, ибо посягают на свободу: лишь там, где свобода, – дух Господен.

Не скажут ли евразийцы, что все это не так? Не скажут ли, что из коренных положений евразийства нельзя вывести именно такого отношения к церкви, со всеми вытекающими из него последствиями? Не будут ли заверять, что в этих коренных положениях нет ничего, что раскрывало бы настоящий смысл их экскурсов в область религии, мистики, духа и т. д.?

«Головка» евразийская, конечно, все это будет говорить. Недаром же выдумана «гибкая инструментовка». Я нисколько не сомневаюсь, что среди соблазняемых и увлекаемых, среди слабоумных прозелитов, есть люди подлинно религиозные, искренние всех оттенков. В них специально поддерживается стихийно-гомерическое душевное состояние, граничащее с одержимостью. Но головка евразийства, «отбор» – вовсе не

одержимые или, по слову Милюкова, «поврежденные». Им и принадлежит изобретение «гибкой инструментовки», довольно, впрочем, грубой: вся она, порою, сводится к простому отрицанию того, что утверждалось вчера одним евразийцем и вновь будет утверждаться завтра — устами другого.

Но здравый ум, твердую память, истинное религиозное чувство — гибкость не обманет. Как ни «инструментируй» Евразию с географией, ее стихийностью, мессианством, этнографическим православием, приятием большевизма и большевиков, гомерическим, экскоммуникативным национализмом, советами (а может быть, и царем) — ничего о «России» мы во всем этом не услышим, ничего о «свободе», — а, следовательно, и о **религии,** да еще христианской, связанной со свободой единым корнем.

Нет, пока евразийцы раз навсегда, и начисто, не отказались от всех своих вышеперечисленных положений и даже от самой Евразии, как слова и представления, мы с полным правом будем утверждать: их основа, — несмотря на претензии водительства в области «иррационального», — мелкий рационализм. Я подчеркиваю: **мелкий,** ибо лишь такой не затрудняется, в полезных случаях, натягивать на себя обманный плащ «духа», перекрашиваться в защитный цвет «божественности».

Не буду вдаваться в предсказанья, гадать, верны ли расчеты евразийцев, как удается им «использовать» разнообразные российские настроения. Я коснусь еще лишь одного вопроса, который остается темным: это вопрос о тактике евразийцев. По собственным заявлениям, даже по уверению сочувствующих, они «единственная реальная, активная, пореволюционная сила»; они презирают «болтающую» эмиграцию. Каков же их конкретный план действий? Прежде всего: думают ли они **бороться** за смену, или надеются произвести ее **мирным путем?** В обоих случаях, особенно в последнем, пора бы им быть на местах, а не «действовать» в эмигрантских журналах и обивать наши эстрады. Или, может быть, они идут вплотную «по стопам великого Ленина»? Выжидают, когда чьи-нибудь руки

смахнут коммунистическую головку, чтобы тогда ринуться со своей — на смену?

Это, пожалуй, и опрометчиво. Умаляет шансы успеха. Ленин Лениным, но полной аналогии исторических моментов не бывает. Кто знает, какое временное правительство создастся в промежутке, и не встретятся ли запоздавшие евразийцы с какими-нибудь новыми, неожиданными настроениями?

Но пусть активисты пользуются приятностью и удобствами «выжидания». Пусть побольше болтают о своем «утопо-реализме» и действенности. Чем громче они кричат — тем вернее надежда, что наша родина проснется от коммунистического кошмара **свободной Россией**, а не **рабской Евразией.**

ЗАСТИГНУТАЯ В ПУТИ

Недавно, на одном собрании, мне пришлось сказать, что, — вопреки общему мнению, — как раз П. Б. Струве нисколько не меняется; что в своем теперешнем состоянии он находится уже очень давно, и с той точки, которой достиг задолго до войны, ни на поллинии не сдвинулся. Война, февраль, октябрь, эмиграция — все это прошло над ним, как четыре волны над камнем: закрепившись, камень уже никаких волн не замечает.

Через день открываю, случайно, принесенную из переплета старую книгу на статье Мережковского «Красная Шапочка» — и, прежде всего, изумляюсь: что это? Не вчера ли написано? Струве, Милюков, патриотизм, национализм, мощь России... А потом вижу и знакомый образ Струве... того же *сегодняшнего* Струве. Сегодняшний только раздражительнее, мелко-полемичнее, да и компания вокруг него собралась особая; но ведь в тогдашние времена для Ренниковых и Сувориных было «Новое Время», а теперь куда же им? Существа дела это нисколько не касается.

В своей статье (11-го или 12-го года) Мережковский, говоря о Струве, называет его национализм не по-современному «зоо-

логическим», а, пожалуй, еще сильнее — «людоедским». И предупреждает, что для Красной Шапочки этот волк весьма опасен. Хотя ту Красную Шапочку, о которой я хочу сейчас говорить, проглотил другой волк, но ведь она, как и в сказке, освободится же от него; поэтому и о волке «по Струве» следует помнить; у него в пасти тоже не сладко.

Помнить! Мало ли о чем следует помнить! А память человеческая так хрупка. «Если все помнить — и жить нельзя», — сказал кто-то. Да, правда, живой должен забывать многое, чтобы жить дальше. Но есть такое, что, забыв, — мы перестаем жить. Погружаемся в забвенье *сонное,* — в сон. Тогда «беспамятство как Атлас давит душу...» и совсем может ее задавить, наконец.

Немало у нас было сонного забвенья в России. Спали и глубоко, и не глубоко, дремали, грезили, бредили... Спали стоя, сидя, говоря. Но одних уже первая волна разбудила, других вторая... все четыре проспал лишь тот, кто, как Струве, успел до всяких волн заснуть камнем.

Теперь, здесь (и в России, конечно) опять время ткет вокруг нас спасительную ткань забвенья... спасительную для жизни («нельзя *все* помнить и продолжать жить»). И теперь у иных это нужное забвенье переходит в сонное забытье — забывающийся лишается чувств.

Тем важнее толкать человека, напоминать ему... его же самого, в состоянии бодрствования. Каким он был тогда? Что видел *открытыми* глазами? Что было — тогда?

Очень многие могут, и для собственной пользы должны, вспомнить нашу Красную Шапочку — февральскую революцию; вспомнить момент, «когда мы... ну, не мертвые, а сонные — пробудились».

Внешне вспомнить — мало: я предлагаю вспомнить изнутри, внутренно. Впрочем, настоящая память о чем-либо — есть воссоздание в полноте, внешнего и внутреннего.

Это нелегко. Не все ведь одарены волевой памятью и, главное, честностью перед собой. У кого память и воображенье сла-

бы – можно помочь; но кто не хочет быть честен перед собой, с тем уж ничего не поделаешь.

Что же было тогда? А вот что.

С 14-го до 16-го года почти все, а к 17-му решительно все, от любого думца – через глупого обывателя – до матроса Вани Пугачева, *знали* одну вещь, ее не точно, лишь приблизительно, формулировать можно так: *без перемены правительства ничто не остановит нашествия немцев, и нельзя предупредить бессмысленного восстания.*

Конечно, Ваня Пугачев не этими, иными, словами пользовался: он, может быть, просто говорил: «Нет, чего там, ничего не будет. Или уж такое...». А то и просто мычал, ворочая глазами. Конечно, и думцы в словах не сходились; но я утверждаю: знание было у всех общее, одинаково твердое; его только разно выражали, в меру своих способностей. Знание было *правилом,* – с естественными исключениями для безумных, мертвецов и младенцев.

Февральская революция сделалась сама, никто ее не «делал» (если бы кто и мог – вряд ли *решился бы* ее делать). Но когда она пришла, и пришла именно как революция, а не что-то безлико-бессмысленное, – она принесла с собой момент совершенно исключительной, повелительной радости. Особенность этой радости в том, что она была *общая,* одна у всех; она соединила правого думца с последним Ваней Пугачевым, как ранее соединяло их общее знание – ощущение.

Пусть это был только момент, и в следующий думец с Ваней уже расстались. Такие моменты не могут рассматриваться в категории времени. Я где-то упоминаю, что и сама революция «не имеет дления».

Моменты – или миги – соединения людей в общей радости (именно в радости, т. е. в положительном) чрезвычайно редки. Но и чрезвычайно важны: они всегда утверждают какую-то несомненную *правду:* они – как бы довременное ее приоткрытие, свидетельство о ней, вернейшее ее обещание. Кто впоследствии от правды подобного момента отрекается –

тот или так слаб, что все забыл (можно напомнить), или не желает быть честным перед собой (нельзя помочь).

О нашей революции достаточно лишь хранить память: оправданий ей не нужно, она уже оправдана. Я говорю «нашей», а не «февральской», потому что другой, кроме февральской, и не было; октябрьский переворот — просто волк учуял на пути Красную Шапочку и съел ее.

Ну, а что этого касается, т. е. как случилось, что люди свою правду, свою Красную Шапочку, от волка не уберегли, — тут дело особое. О нем тоже не надо забывать. И его тоже не надо оправдывать... хотя вовсе не потому, что оно, как революция, уже оправдано. Нет, не оправдано; и всегда лучше, полезнее, сознать вину, чем оправдывать себя: мы, мол, ни при чем, судьба, рок, или force majeure...* Редко бывает, чтобы в таких человеческих делах, о каких мы говорим, люди оказывались совершенно не повинны. У каждого свой сучок, если не бревно, в глазу, и ничего нет постыдного в этом сознаться. Гораздо хуже так с этим сучком и ходить и, чего доброго, с ним же в Россию вернуться.

И. И. Фундаминский говорил недавно, что русская интеллигенция («духовный орден», о восстановлении которого он мечтает) не была подготовлена к власти, когда власть попала к ней в руки: дух этого ордена был слишком «жертвенный». Может быть, и так (я думаю, было кое-что и кроме этого). Во всяком случае слова Фундаминского звучали не как самооправдание, а как сознание вины греха, — что очень важно. Не грех ли в самом деле, «жертвенность» в иные исторические моменты? Прямой вывод отсюда: восстановлять «орден» русской интеллигенции нужно на других духовных основах, не на «жертвенности». На каких — Фундаминский не сказал, но пока довольно и того, что он сказал: мы были виноваты; мы были не такими, какими нужно быть; *мы должны измениться.*

* исключительные обстоятельства *(фр.)*.

И тут я опять прихожу к вечному моему вопросу (очень, в сущности, скромному) о всех нас, – об эмиграции: что она сознала? Растет ли, меняется ли? Учится ли? Хочет ли учиться, хочет ли меняться?

Каменно-спящих, все равно на правом берегу или на левом, – не разбудишь, конечно. Я о них и не говорю. А только о тех, кто помнит, – может вспомнить, – нашу Красную Шапочку с ее правдой. Молодые? Им как будто нечего помнить самим; но они понимают же, что правда не с ними родилась, и задача всякого поколения – схватиться за верную ниточку, тянуть ее дальше. *А память* человеческая – шире одной человеческой жизни.

Вот, в этих, знающих и чувствующих, что Красная Шапочка жива, – все и дело.

«ОРДЕН»

(Из современных разговоров)

Пессимист. – Я, во-первых, вовсе не пессимист. Вам так кажется, потому что я против ваших розовых очков. Я просто смотрю на вещи, как они есть.

Оптимист. – А я не оптимист. Розовые очки – это ваше воображенье.

П. – Не стоит спорить о словах. Вернемся к делу. Итак, вы думаете, что известный слой общества, который существовал в прежней России под названием «интеллигенции», будет нужен и России новой?

О. – Конечно. Интеллигенция – это «разум и совесть» страны. Достаточно вспомнить характерные черты так называемого интеллигентства: свободолюбие, бескорыстное исканье правды, готовность к самопожертвованию, к подвигу...

П. – Очень хорошо. Эти качества, действительно, ценность, даже и во всяком отдельном человеке. Вы утверждаете, что они принадлежали целому слою общества; утверждаете не-

кий духовный аристократизм интеллигенции. Я не совсем согласен, но это долгий спор. Меня интересует сейчас другое: если вы думаете, что «интеллигенцию», как известный слой общества (с очень зыбкими краями), породили не условия старой России, что интеллигенция нужна России при всех условиях...

О. — «Разум и совесть» необходимы стране при всяких условиях.

П. — Вы меня перебили! Разум и совесть есть и в других странах, однако «интеллигенции» в нашем смысле, воплощенной чуть ли не в «орден», как вы говорите, — у них же нет? Я имею основания подозревать, что вы и новую Россию все-таки воображаете похожей на старую. Но не будем на этом останавливаться. Я хотел спросить: если вы уверены, что «орден» будущей России нужен, и притом не отрицаете, что сейчас он, благодаря событиям, находится в состоянии весьма печальном, то...

О. — Да, он дал трещину.

П. — Как, трещину?! Опять вы меня перебили. Но с трещиной я уж никак не могу согласиться. Мы допустили, что интеллигенция в главных своих, отличительных чертах была свободолюбива, бескорыстна, самоотверженна до подвига и т. д. Но если та же интеллигенция, в немаловажной части своей, вдруг оказывается обладающей совсем другими качествами, одолевает, избивает, порабощает, предает рассеянию остальную часть, — тут, извините, не «трещина», а что-то побольше.

О. — Я готов признать, что орден находится сейчас в рассеянии. Я никогда не отрицал, что большевики вышли из нашей же среды. Но находящиеся в рассеянии могут собраться. Истины, на которых строилась интеллигенция, ведь остались же истинами.

П. — Конечно, конечно! Но я вел именно к этому вопросу (и давно бы довел, если б вы не перебивали). Как, по-вашему, должно происходить «собиранье», или, иначе, восстановление «ордена» русской интеллигенции? Раз вы считаете восстанов-

ление необходимым, — ведь вы считаете? — то думаете ли вы, что оно произойдет естественно, само собою, с течением времени, когда освободится Россия, или...

О. — Простите, я опять вас перебью. Я уже понял ваш вопрос. Конечно, необходим волевой момент.

П. — Волевой момент? Чей?

О. — Рассеянных. И вообще всех людей интеллигентского *духа*, где бы они ни находились. Нужна сознательная воля к собиранию, к воссозданию, воля каждого в каждый данный момент. Вы знаете, какую для меня роль играет личность во всяком общественном деле.

П. — Значит, и с себя вы не снимаете обязанности работать на восстановление?

О. — Еще бы! Да и с вас не снимаю, ведь и вы интеллигент. Но вы слишком рассудочны, это парализует волю.

П. — Блажен, кто верует! Но рассуждать, даже рассчитывать, рекомендуется и в Евангелии. Я полагаю, что без рассуждения и шалаша не выстроишь, не то что замок воздвигнешь из развалин.

О. — Нет, бросим это. Речь о деле. Нужна интеллигенция — не нужна, что развалилось в ней, что осталось, не будем входить в тонкости. Возьмем просто: была интеллигенция русская, был у нее прекрасный дух, были и грехи: явно были, иначе не получилось бы трещины и рассеяния, как я говорю, или развалин, как говорите вы. Дух этот вы признали ценностью. А грехи... их можно долго разбирать, но можно и определить двумя словами. Зла, в сущности, не было — был *недостаток* добра. Прямее: все эти качества, которые мы с вами перечисляли, все эти истины, из которых вырастал дух русской интеллигенции, не были ею достаточно осознаны. Т. е. был *недостаток сознания*. Вот и все. Поэтому для восстановления ордена того же духа нужно лишь подвесть под него фундамент *обновленного сознания*.

П. — Не знаю, что это? Идеализм или идиллизм? Во всяком случае — отвлеченность. Но не обращайте внимания, это я так,

в скобках... Если я вас понял — работа наша вот к этому и должна сводиться: к закладке нового фундамента?.

О. — Пожалуй, еще скромнее: к поискам такого фундамента. И посмотрите: разве вы не видите, что все ищут какой-то твердой основы, у всех появилась жажда цельного, стройного здания, и крепкого, которое уж не превратилось бы в развалины от неосторожного толчка изнутри или извне. Эта жажда, эти исканья — сами по себе громадный положительный факт.

П. — Оставим образы. Вы говорите о поисках какого-то целостного миросозерцанья?

О. — Да, только не миросозерцанья, а скорее мировоззрения. Общая жажда его для меня очень показательна.

П. — Но если она даже существует, чему вы так радуетесь? Не преждевременно ли? Искать чего-то, не зная чего, можно до бесконечности, без успеха. Или найти то, что другому не понравится. Большевики, — интеллигенты, — нашли такое общее мировоззренье, но вы его не принимаете. Теперь евразийцы, тоже интеллигенты, — и они нашли; вам опять не нравится. Наконец, течение интеллигентско-церковное, православное: и оно не по вас. Все эти, самые влиятельные ответви интеллигенции вас не удовлетворяют.

О. — Ни одна не осталась верной *духу* интеллигенции. Мы, ведь, определили с вами, в чем этот дух: в свободе, бескорыстии, в воле к правде. Но если под волей нет общего сознания, — дух не находит воплощенья. Слова остаются словами.

П. — А вы хотите, чтобы слово стало плотью?

О. — А вы, кажется, хотите повернуть на тексты, чтобы узнать точнее, как я отношусь к движению строго православному? Я и так вам скажу. Я это движение уважаю, считаю его значительным и важным, но, право, говорим-то мы сейчас не о нем. Если хотите реально — вот к чему сводится моя скромная работа: я присматриваюсь ко всем движениям, ко всему, что происходит сейчас в эмиграции. Я иду всюду, где еще жив или где может возникнуть тот дух русской интеллигенции, который мне дорог, который нужен, и всегда будет нужен, России.

Я ищу с теми, кто ищет, борюсь с теми, кто говорит, что нашел — ценой измены духу. Не спрашивайте меня, что я нашел сам. Я не пророк, не проповедник. Я могу найти только с другими вместе, не один. Если у меня сегодня больше сознания, чем было вчера, — это значит, что и у других его завтра будет больше, чем сегодня. Я твердо верен тому, чему надо быть верным и хочу найти единое «во имя» для этой верности.

П. — Я к вам чувствую большую зависть. Кое-что вы, пожалуй, уж нашли. Только... только все же у вас розовые очки. Сквозь них не видите ли вы подчас трагедию — как идиллию?

О. — Может быть. Может быть, это просто вера, — в жизнь, в людей, в Бога, — все равно во что. Какая же вера — без доверия? А без доверия — какая же воля?

«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ»

Книга XXXI

Всякий раз, как мне приходилось писать об очередной книжке «Совр. Зап.», я стремился, прежде всего, найти ее цельность, открыть ее лик, — в соответствии с общим ликом журнала. Но к данной, 31-й книге, слишком трудно подойти с такой точки зрения, и привычную мою задачу я, на этот раз, оставляю в стороне. Книга состоит из ряда интересных статей интересных писателей; отмечу те, которые мне кажутся наиболее значительными.

Книжка толстая; один сухой перечень статей занял бы не мало места. Да и к чему он? Я позволяю себе свободный выбор, руководствуясь только вот этой значительностью (на мой взгляд) статьи, или темы, или писателя.

Впрочем, о некоторых произведениях в художественном отделе можно не говорить еще по той причине, что они здесь представлены в кусках: это «продолжения» вещей, давно начатых; об иных уже были отзывы — и будут после окончания.

Не «продолжение» — только посмертный рассказ Юшкевича «Семь дней» и отчасти «Заговор» Алданова. Отчасти — потому, что и «Заговор» — отрывок из романа. О рассказе Юшкевича, да еще посмертном, трудно говорить. Все знают, что это был писатель живого, изобразительного таланта, особенно в той области, которую он себе избрал: быт и психология русского еврейства. В данном рассказе он из этой области выходит. «Семь дней» — история головокружительной «голубой» (или полуголубой) любви пожилого профессора и юной девушки. Через неделю она, простудившись, умирает, профессор застреливается. В рассказе, местами, чувствуется какая-то подземная глубина; но есть в нем, кое-где, и черточки безвкусия... О Юшкевиче теперь следовало бы написать в целом, — кто-нибудь, конечно, и напишет.

Что касается Алданова — не скрою, он для меня, как критика, — вечное искушение. При всяком появлении отрывка из его романо-исторической хроники (а при появлении целого романа особенно), я ощущаю потребность написать, наконец, о нем не рецензию, а настоящую, пространную статью. О нем — в полноте, т. е. о том единстве писателя со своими произведениями, которое и делает произведения — «единственными». Вышел «Чертов Мост»; статья об этом романе, в связи с предыдущими, была у меня почти готова; если осталась недоконченной, то лишь по «независящим» от меня, как критика, не обстоятельствам, а соображениям. Я все еще утешаюсь, что отложенное — не потеряно, а пока хочу отметить несомненное поступательное движение Алданова. Он сохраняет все присущие ему свойства, — что необходимо для сохранения своего, единственного, писательского лика, — но самая материя его произведений меняется, делается плотнее, тяжелее, ярче, — как-то **несомненнее.** На отрывке «Заговор» это очень видно. Тема — убийство Павла I — по многим причинам особенно трудная тема. Однако Алданов сумел с ней отлично справиться, — вышло у него и по-своему, и по-новому.

В художественном отделе «С. З.» я остановлюсь еще только на стихах, вернее – на двух молодых поэтах: Г. Иванове и А. Ладинском.

Я их никак не сравниваю: сравнивать поэтов вообще не следует, и нельзя. Если каких-нибудь оказывается можно, – это значит, что о них вовсе не стоит говорить: просто они не существуют.

Г. Иванов и Ладинский – существуют, каждый своим особым существованием. По времени – Г. Иванов существует уже давно, Ладинский – менее давно. Здесь мои параллели прекращаются, я говорю о каждом отдельно, по старшинству только начинаю.

У Г. Иванова как в более удачном стихотворении, так и в менее, всегда есть нечто, заставляющее его узнавать: во-первых – особенная, тонкая струйка ритма, с неопределимыми прерывами; во-вторых – вполне бессознательная глубина, которая, может быть в связи с этим особым свойством ритма, дает его строчкам неясно-пленительную прелесть. Получается странная вещь: не изысканная простота, а «простая изысканность». Оттого Г. Иванов с правом не боится слов, которые принято считать «банальными».

Не было измены. Только тишина.
Вечная любовь. Вечная весна.

Но, ради справедливости, прибавлю: трудно вообразить дальнейшую линию этой поэзии. Т.е. я не вижу, куда и как будет Г. Иванов далее развивать свою поэтическую «прелесть». Может быть, впрочем, это ненужный вопрос. «Прелесть» существует, – не достаточно ли?

Ладинский – весь в широте. У него вечные дали: небес, морей, пустынь.

И снова нас несет в пучины,
В сырую вечность, навсегда,
Отлив тяжелый, взмах единый,
Глухая черная вода...

У Ладинского и ритм — то качающийся, то разбивающийся, как волны. Поэт не владеет им: ритм еще владеет поэтом. Он еще жадно отдает свое судно на волю ветрам. Пусть, это не плохо. У него еще слишком **много** слов, точно они летят к нему навстречу, с ветром, и он их все

Глотает, обжигаясь, пьет.

Но, повторяю, пусть, это ничего. При внимательности можно заметить, как и у Ладинского начинается отбор, выбор, самоограничение; инстинктивное пока — стремление найти **свой** стих, ввести воды своей поэзии в русло. Такое стремление само говорит о подлинности поэтического дара.

От поэзии — через «художественную» статью Ходасевича (о Белом) и через «религиозную» — нового сотрудника «С. З.» Бердяева, — мы перейдем далее, к статьям «просто».

Ходасевич о Белом — это, действительно, нечто художественное: с таким искусством статья написана. Критик ничего как будто не говорит о Белом, да и в самом деле не говорит, не рассказывает: только **показывает** героев цикла романов Белого, соединив их в группы, рассортировав и проштемпелевав. Больше ничего. Затем обрывает, точно занавес задергивает. Но читатель уже вынес из этого показа больше, чем вынес бы из рассказа. Сам догадался, в чем дело: дело же не в романах и романисте, а в патологии, и в том, что одаренный когда-то художник постепенно превратился в индивидуума, страдающего всякими маниями, особливо манией преследования. Ходасевич бесстрашно сдернул с романов и бредов Белого все накрученные лохмотья «общественности», и мы увидели просто чудовищные образы больного воображения, ни к чему и ни к кому, кроме самого создателя их, не относящиеся.

О Бердяеве можно сказать всего два слова. Автор как религиозный мыслитель и как писатель достаточно известен. Тема данной статьи — церковь и государство, точнее — отношение православия к государству. По этому поводу Бердяев сказал очень много верных вещей, таких верных, что ни мне, да и

никому другому, я думаю, не придет в голову их оспаривать. Тем более, что ничего нового среди них нет; все давно известно, и самим Бердяевым уже не раз было высказано.

Десятилетие февральской революции отмечено в книге «С. З.» несколькими статьями. Живая и образная заметка М. Цетлина возвращает нас в самую атмосферу февральских дней. О значении и смысле их говорит М. Вишняк в первой своей статье «Февральская революция». Пожалуй, не далеко отходит он от этой темы и во второй: **«Политика и история в "Истории русской революции" П. Н. Милюкова»**, — так как главные фактические возражения автору книги относятся к эпохе февраля, Врем. Правительства и т. д.

Эта вторая статья Вишняка весьма примечательна. Я остановлюсь на ней, не касаясь, впрочем, предметов спора, не входя в существо детальных возражений Вишняка. Статья интересует меня совсем с особой стороны.

Прежде всего, отметим горячность возражений; отыскивая противоречия, критик стремится доказать, что «История» написана не столько рукой историка, сколько политика.

Автор книги, цитирует Вишняк, хорошо сознает, что для истории революции в строгом смысле время не скоро настанет». Но в том же предисловии он утверждает, что его «История» принципиально отказывается от субъективного освещения. Так ли это? Вишняк приводит другие противоречащие, по его мнению, цитаты из предисловия, где автор говорит о «группировке фактов, уже дающей известный комментарий к событиям», о «руководящей линии» для «определенных политических выводов» и т. д. Подвергнув первому детальному обзору эти «группировки» (с «предрешенными» политическими выводами), Вишняк приходит к такому заключению: «Интересная работа Милюкова не есть ни философия, ни история русской революции. Это история и философия участия в революции к-детской партии».

«Мы не пишем здесь своей истории революции», спешит оговориться Вишняк, «...мы не станем, поэтому, взамен искус-

ственной и, как мы утверждаем, партийно-политической конструкции и схемы Милюкова, предлагать свою...».

Оговорка знаменательная, но тщетная: все дальнейшая часть статьи Вишняка, факты, которые он тоже группирует, — только по-своему, — тоже освещает, — только по-своему, — горячность, с какой он делает из них выводы (свои, конечно) — слишком ясно показывают стороннему наблюдателю: Вишняк, м. б., и не хочет, но свою историю революции, возражая Милюкову, все-таки **пишет.** Пишет до мелочей: взгляду Милюкова на действия и позицию Керенского — противопоставляет свой, взгляду на историю Корнилова — опять свой. Поэтому все упреки, с которыми обращается к Милюкову Вишняк, — должны быть с правом обращены и к нему самому.

Чтобы признать это, Вишняку стоит вспомнить собственные слова в начале статьи: «Близкое политическое участие в революции отнимает возможность быть нелицеприятным судьей событий. Оценка "участника" очень редко совпадает с приговором не только будущего историка, но и историка вообще».

Почему эти слова, если в них есть доля объективной правды, Вишняк относит исключительно к Милюкову? Ведь очень вероятно, с точки зрения самого Вишняка, что «будущий историк» увидит и в его возражениях, в собственных перегруппировках и освещении фактов, нечто «из истории и философии участия в революции с.-ровской партии».

Как уже упоминалось — по существу, я в спор не вхожу, беру его лишь со стороны внешнелогической. От себя прибавлю одно: мне кажется, что активное участие в событиях, нахождение **внутри них,** действительно затрудняет объективный, чисто исторический, их пересказ. Это не значит, что участник не должен стремиться к максимуму объективности. Напротив. И лишь в таком виде, т. е. при известном максимуме объективности и при неизбежном, все-таки, элементе индивидуального, — «история», написанная участником, имеет для нас, — а для будущего летописца сугубую, — ценность.

Что же касается просто фактов и восстановления их связи, тут, вероятно, пригодятся и сырые материалы, в которых сейчас мы не разберемся. Какая-нибудь современная запись обывателя, случайно попавшего в счастливое для наблюдающего положение, — и она может послужить впоследствии как фактический материал. У наблюдателя, — не участника, — поле зрения естественно шире, а потому и связь фактов иногда для него яснее.

Я не мог не остановиться несколько дольше на любопытнейшей критической статье Вишняка; и теперь принужден только упомянуть о некоторых статьях и заметках в библиографическом отделе, достойных, однако, внимания.

Таковы — обстоятельное исследование Ю. Сазоновой «Режиссер и театр», заметки Бицилли и его же статья «Два лика евразийства».

Если к тридцать первой книге нашего зарубежного «толстого» журнала мы подойдем с непременным требованием какого-то «единства» — мы не назовем ее одной из самых удачных. Но в смысле прекрасного материала, — отдельных произведений отдельных писателей, — журнал остается равен себе.

НЕЛОВКОСТЬ

Открытое письмо редакции «За Свободу!»

Я тоже давний сотрудник «Свободы!»; и многих, не одного Игоря Северянина, давнее: моя статья была, помнится, в самом первом номере газеты. Уж одна такая давность (хотя не одна она, конечно) позволяет мне надеяться, что редакция «За Свободу!» даст мне свободу высказаться по поводу заметки Игоря Северянина «Шепелявая тень» (№ 100).

Именно «по поводу», — только: о самой статье я говорить почти не буду, остановлюсь, главным образом, на редакционном к ней примечании. Оно по теме и по тонам находится в близкой связи с недавней статьей Философова «Гроб повапленный». Вот об этой теме, да об этих тонах, и поговорим.

Редакции «За Свободу!», а также Философову, очень не нравится парижский журнал «Звено», вместе с его сотрудниками. О них и о журнале скажу в свое время, а пока начну с себя.

Философов находит, что я, в эмиграции, из Антона Крайнего превратился в Антона Среднего, и даже сравнивает меня с котом Леона Блюма, который так осторожно и мягко ходит по столу, устеленному хрусталем, что ни одной рюмки не опрокидывает.

Насколько я понял, Философов меня жалеет: ему кажется, что ходить подобным образом я **принужден,** хожу волей-неволей; т. е., прямее, — что эмигрантская пресса, внутренняя цензура известных газет, стесняет свободу моего слова.

Не буду кривить душой: такая цензура существует, и не всегда я имею возможность, физическую, сказать то, что хочу, так, как хочу. Не всегда и примиряюсь я спокойно с этой невозможностью... Однако это частность и мелочь по сравнению с моей собственной **волей,** походя рюмок не опрокидывать. Воля же — от сознания своих времен, от более или менее ясного их понимания. Раскидывать эмигрантские рюмки просто потому, что мне «так изволится», да еще воображая, по-допотопному, по-довоенному, вроде Игоря Северянина, что этим доказываешь свою «самостоятельность, независимость, властность и непреклонность» — право, уж как будто стыдновато. Не поясню, откуда стыд, — видно и так.

Кстати, и реальные результаты рюмочных погромов бывают только отрицательные. Одна большевицкая радость чего стоит! Большевики — не специальные рюмколомы, они вселомы; но в этом качестве и ломаньем по мелочам не брезгуют, всякому рады.

Нет уж, пора нам поумнеть. И насчет разрушений в собственном доме, или хоть на собственной жердочке, — полегче! За этими рюмками, да за своим красованьем одинокими независимостями, — как бы не забыть, что у нас есть **общее** дело, потруднее, поважнее раскидыванья рюмок.

Не скажет ли Философов, что ради этого-то общего дела и надо бить рюмки? Надеюсь, не скажет. А то выйдет, как если бы собирались люди в поход, и вдруг каждый принялся бы разбивать уж не рюмку, а нос соседнему солдату, — не понравился нос! Где там, в этих занятиях о походе думать! На мой взгляд — практичнее, пока что, и плохой нос потерпеть.

Рюмки и носы завлекли меня далеко. Уж очень тема широкая. Но сузимся, вернемся к реальным мелочам. И они будут на тему.

Ни малейшего «блеска» я в наших эмигрантских журналах и газетах, конечно, не вижу. Но по какому праву можно с них блеска требовать? И по сравнению с какими они так плохи? Если с советскими, то я даже готов стоять и за блеск.

А без шуток — каждый почти журнал и газета делают, что могут, — по своему разумению. Каков Сенька, такова и шапка. Разные Сеньки, разные шапки. По-моему, уважения достойно, что каждый Сенька старается держаться своей шапки и, раз выбрав, хочет ее приукрасить.

«Звено» выбрало шапку, выбрало себе колею, и посильно ее держится. Исключительное презрение к этому журналу со стороны редакции «За Свободу!» производит странное впечатление; а тон и «ернические» слова, которыми она выражает это презрение, кажутся мне какими-то... жуткими. Что это? Уж не географическая ли близость советской России действует? Не зараза ли языком московских газетчиков? Печально было бы, если бы мы даже в этой стороне не сохранили своей самостоятельности. Прежде, хоть и били мы рюмки (по-русски) все же кое от какого тона (по-европейски) — воздерживались...

Но не здесь суть дела и главная, для меня, неясность. А вот она: я хочу, наконец, узнать, в чем именно обвиняет редакция «За Свободу!» «Звено»: в том ли, что оно **вообще** занимается эстетикой? Или что у него **плохая** эстетика?

Это два **разные** обвинения, их смешивать нельзя. Первое — упраздняет второе. Ведь тогда бесцельными делаются частные выпады против сотрудников «Звена». Тогда все они

одинаково плохи и одинаково повинны, – занимаются эстетикой! Да и что эти сотрудники? Тогда и Бальмонта нельзя исключать из виновных (а «Свобода» только что это делала) – ведь и он занимается эстетикой. Одного И. Северянина можно бы исключить: он, по свидетельству газеты, уже только «ловит» рыбу.

Но редакция «За Свободу!» не говорит нам отчетливо и прямо «долой эстетику», а все как будто и туда и сюда: и «вообще» долой, и «плохую» долой. Я же ставлю вопросы прямые. Например, мне очень интересно: на правах ли «ловящего рыбу» предлагает редакция И. Северянину «отмахнуться» от «эстетов» – Адамовича и Г. Иванова, – или же, на правах «гения», – смахнуть «посредственностей»?

Коли дело в рыбе – это одно, об этом, при случае, можно особо поговорить. А если взять второе положение... то я позволю себе, опираясь на долгий мой опыт литературного критика, информировать почтенную редакцию: Адамович – один из лучших молодых поэтов, прекрасно владеет стихом, по-новому прост, очень тонок. В критике своей он тоже тонок. У него есть провалы, слабости, нарочитости, которыми он прикрывает свою глубину (главная слабость), а глубина его сложная и **умная.** Совсем в другом роде – Г. Иванов, но его поэзия, прежде всего, тоже настоящая (см. хотя бы стихи в последней книге «С. Зап.»), «Воспоминания» его вполне беспретенциозны и очень скромны.

Вообще – **новая простота** и скромность – главная черта современных поэтов, – настоящих.

Я понимаю, редакции «За Свободу!» неоткуда все это знать; где ж ей следить за поэзией, да и охота ли? Но в таком случае неосторожно действовать на веру, не осмотревшись соединиться с «непреклонным и властным королем сирени». Король обиделся за свою старую квартиру, – зачем назвали сырой. Но почему такое поспешное сочувствие этой обиде у воинственной редакции «За Свободу!»? Именно спешить-то надо бы погодить. А то поспешишь... и непременно выйдет неловкость.

НА МОИХ ГЛАЗАХ

...Его туманные винты
Как две медузы дымноструйны.

Есть такое особое человеческое волнение: надкорыстное, надличное, наднациональное, но очень земное: всечеловеческое. В нем ощущаешь себя частью всего человечества. В порядке разума оно не лежит, является вдруг по самому неожиданному поводу, и разум иногда его оправдывает, а иногда и нет: т. е. оно может быть и умным — и глупым, и великим — и смешным. Но когда бы и в какой бы дозе оно ни явилось — его непременно узнаешь.

Я хочу проследить одну из его бесчисленных линий. Кстати, это будет кусочек нашей истории — слишком быстрой! истории «на глазах».

Живу в Париже. Год 1907 (м. б., шестой, но вернее седьмой). Не отрываюсь от кратких, но определенных, газетных сообщений: вчера Сантос-Дюмон на аппарате тяжелее воздуха, поднялся на полметра и продержался в течение $3\,^1/_2$ секунд (или минут, не помню).

Минуты, секунды — все равно, теперь кончено: полетели. Упрямые скептики свое: не полетят! Но эти упрямцы исключение. Другие просто еще не успели внимание обратить...

Мягкий, овальный пузырь дирижабля над St. Cloud — ведь и он волнует, да еще как! Ведь это — «вольный полет»!

Волнует мягкий дирижабль и над Гамбургом, в то же лето: упоительно плавает, низится, поворачивается: неуклюже — но танцует. Немецкий, — не все ли равно? Вольный полет, *люди* летят, куда сами хотят.

Далее, через год, кажется, или через два: старый Франкфурт, с острыми своими крышами и колокольнями, — весь взбудораженный, праздничный, нервный; толпы густеют, стягиваются, музыка, напряженность ожидания: это уж не дирижабль, не мягкий пузырь, это сам Цеппелин II летит из своего

Фридрихсгафена во Франкфурт, это первый «настоящий» полет.

Каждые десять минут вывешиваются телеграммы: вылетел... миновал такое-то местечко... отклонился к западу... запаздывает...

Блестит белым выстроенная для героя гигантская «конюшня». Все приготовлено для встречи. Толпа гуще. Но осенний светлый день уже склоняется к вечеру, а «его» все нет! Прилетит ли? Неужели с ним что-нибудь случилось?

Все — чувствуют одно и то же, все одинаково боятся и восторженно надеются. Почти нет сил дольше ждать. Да когда же? Почему нет известий? Вот, и огни зажгли. Нет, не прилетит.

Он прилетел. Поздно, когда уж толпы изнемогли от ожидания. Длинный, острый, ребристый воздушный корабль, тяжело и трудно опускающийся к земле, тяжело влезающий в свою «конюшню».

Можно себе представить восторг встречи после такого ожидания.

Он остался во Франкфурте и потом каждый день летал над ним.

И каждый раз он пронзал душу... просто своим бытием, своим этим тяжелым «свободным» летом.

Мало ли о чем можно было «думать» и что «предугадывать», страшное и противное, глядя на Цеппелин II! Но никто ни о чем не «думал», и было не до предугадываний. Думанье — не того порядка. А было просто:

Ужель мы здесь, в юдоли дольней?
Как странен звон воздушных струн
То сероблещущий летун
Жужжит над старой колокольней...

И мы, конечно, не «в юдоли дольней», —

Мы с ним, — летим к завесе туч,
И серый Луч скользит, колюч,
Над удивленной колокольней...

Важно, что он «юный, буйный», что перед ним «смирилась злая пустота» и «ласково его колышет...». Только это, больше ничего, только *человеческая победа.*

Но вот еще далее (очень скоро). Поздняя осень, холодно. Берлин. Из Берлина – в предместье – едут, идут, бегут. Все дороги, довольно грязные, запружены. Мы тоже едем, потом идем, потом бежим.

Это Tempelhofer Feld. Взрытое большое поле, кое-где обнесенное загородками: полукругом трибуны. Посередине высокий легкий столб-мачта. Мы сначала и у загородки все время останавливаемся; наконец, попадаем на трибуну.

Тут не до воздушных кораблей-гигантов. Но тут что-то еще более волнующее, потому что более «победное». Люди преодолели тяжесть своего тела, сделали тяжелое легче легкого.

Сначала – поле казалось пустым, пустынным. Только потом, привыкнув, мы заметили: кое-где, сливаясь с землей, стоят широкие коробочки на двух колесах. То одна побежит, – остановится, скосится. То другая, и опять остановится. А вот... да, да, вот бежит, не останавливается, и колеса перестали вертеться... Летит!

Берлин, но были это американец Райт и французские летчики: Латам, Блерио... и другие.

Они должны были описывать круги, огибать серединную башню-мачту. Блерио летал на биплане. Летал медленно и очень низко над землей, совсем низко. Аплодировать ему стали с десятого, кажется, круга. Но он не много их успевал делать сразу: садился – и через некоторое время опять начинал свое упорное низкое круженье.

Но вот Латам. О, как высоко (по сравнению) реет он на легком моноплане, какие широкие делает круги, – жужжа, пролетает почти над самыми трибунами. И не останавливается, не опускается, – десять, пятнадцать, двадцать... Небо, уже потемнело, густо-густо позеленело, а на нем, словно углем вырезанный, странный силуэт маленького черного человека на гигантских черных крыльях. С каждым новым кругом наше волнение

усиливается, трибуны встречают приближающегося летуна взрывом аплодисментов. И вот-вот мы закричим «довольно!» — потому что ведь страшно, ведь совсем ночь... Но, точно сросшийся

. . . . вместе —
Он летит на стрекозе,
На своей невесте...

У меня случайно сохранилась, за переплетом книги, тогдашняя карточка этого Abendflug'a *: на зеленом небе черный очерк стрекозы, — аппарата, который, конечно, нашли бы несовершенным, несовременным... (Сохранилась и другая — Цеппелин II над колокольнями Франкфурта.)

Еще год, или два, три... Весеннее небо над Пиренеями, и уж не круги вокруг мечты, не стрекоза над трибунами, а совсем под «червонными облаками»,

Среди небес горящих;
Как золото желты —
Людей, в зарю летящих,
Певучие кресты.

Латам погиб в Африке. А Блерио... Блерио совершил чудо из чудес: перелетел Ла-Манш.

Но тут — прерыв. Война. Другие волнения овладели человечеством. В иной цвет окрасилось для нас самое слово «Цеппелин». И человеческие птицы... уж не бескорыстными глазами смотрим мы на них. Не думаем, что они «человеческие»: они, прежде всего, или немецкие, или французские, или английские (или «советские») — все в этом.

А попутно — особенно подчеркнутые, особенно яркие мысли о человеке: великой власти может достигнуть человек над природой, материей, плотью мира; но в последнем счете решает все человеческая *душа:* какова она — таково будет и создан-

* вечерний полет *(нем.).*

ное человеком, обратится на смерть ему, или на жизнь. От души человеческой зависит, сделаться или не сделаться прахом, подчинив себе материю мира.

Дана ей плоть в рабыни
И воля для борьбы...
Она же стала ныне
Рабой своей рабы.

Но война была — и миновала. Не без следа, конечно:

Все, что бывает, не исчезнет,
Пусть миновало, но не прошло...

И война оставила свою борозду на лике человечества. Однако душа опоминается, припоминает себя прежнюю, — настоящую. Опять делается способной к тому бескорыстному, особенному, волнению за все человечество, за человека вообще.

Не оно ли — этот восторженный восторг сегодня, этот не рассуждающий пламенный порыв к молодому американцу Линдбергу, перелетевшему — уже не три метра поля, не Ла-Манш, — Атлантический океан? Не радость ли победы, — чужой, как своей, — новой победы над материей, над пространством и временем?

Я не сомневаюсь нисколько: многотысячная толпа французов, устремившаяся в Бурже, — когда она, после жгучего ожидания, увидела, наконец, спускающийся с небес «Дух Святого Луи» — испытала совершенно то же, что немецкая толпа, почти двадцать лет тому назад, увидев в Франкфурте серый луч — Цеппелин. Там и здесь — были *люди*, было одинаковое, хорошее, благородное, праведное и бескорыстное человеческое волнение.

Ну, а что вокруг него, по-человечеству, завивается, — об этом не стоит говорить: это всегда, и всегда не важно.

Линдберг, вероятно, еще не родился, когда начал летать Сомтос-Дюмон. Но если б тогда, в те давние (и совсем недавние) дни Сомтос-Дюмон не совершил своего трехминутного

полета на полметра от земли — Линдберг сегодня не перелетел бы океана.

По существу — и полметра, и океан, — одно и тоже действие, одинаковый подвиг и чудо человека. Это сделал *«он»*, *«они»*, т. е. — *«мы»*.

Так именно мы, переживая наше волнение, чувствуем, не потопляя при этом в общем «мы» — никого: всегда помним, что есть и «они», и «он».

Только бы помнили мы, не забывали, что всякая «наша» победа над материей мира может, *по нашей же вине*, обратиться в поражение, и тем более страшное, чем победа будет более великой.

ДВА СЛОВА О ДВУХ СТАТЬЯХ

(Бунаков и Степун)

Трудно представить себе нашу эмигрантскую страну — без «Современных Записок». Мы их браним, предъявляем к ним требования, часто справедливые и строгие; но в то же время вся зарубежная интеллигенция чувствует этот журнал как-то «своим», костью от кости...

Ошибки его — ужасные ошибки! — не ошибки ли и древние заблуждения русской интеллигенции? На фоне изменившихся условий они выступают огромными пятнами, преподносятся нам с беспощадной ясностью. Но это не плохо: вернее надежда от них освободиться. Безнадежна только слепота и прямое чадо ее — довольство, самодовольство.

Хорошо, поэтому, когда мы журналом недовольны, когда браним его: обижаться некому, ведь браним-то мы самих себя, а с «удовлетворенными» есть и такие) считаться не стоит.

Но сейчас я не намерен вникать в ошибки «С. З.» как *журнала*, т. е. как чего-то цельного, какого-то общего дела. Только на одну укажу, и немаловажную. Это, — следствие давней ин-

теллигентской «захолустности», — некая отсталость от требований современности. Наше время, совокупность его условий, требует от нас определеннейшего отношения ко всякому значительному явлению жизни, притом с последней определенностью выраженного. Не позволяется больше говорить «ни два — ни полтора». Увы, это древняя привычка интеллигенции. Это натурально-бездельное (и не реализуемое) «постольку-поскольку». А теперь такая пора, что лучше сказать не верное «да», не верное «нет», чем мямлить: «с одной стороны, нельзя не признаться, с другой, не сознаться...» да еще без всякого признанья и без всякого сознанья.

Это требование определенности относится как к отдельному человеку, так и к единству коллективному, например — к журналу: ведь и у него свой «лик». (Говорю о журнале, а не о сборнике, о коллективе, а не о сборе, не о сброде.) Если в журнале один говорит «не два», другой «не полтора», то в единстве своем журнал и будет «ни два, ни полтора».

Нечего себя обманывать: почти каждая книжка «С. З.», с какого угла ее ни повернуть, являет собою это несчастное «ни два, ни полтора»... Но я уже сказал, что к *журналу* «С. З.» я сегодня не подхожу. Я хочу сказать несколько беглых слов лишь о двух статьях в 32-й книжке.

«Пути России» Бунакова — статья чрезвычайно важная и глубокая. Она открывает внутреннюю «правду» Московского Царства, освещает Россию в этой точке ее пути с небывалой яркостью. Вторая часть статьи, посвященная специально земельному вопросу, написана несколько тяжело и сложно, благодаря сложности темы, но я останавливаюсь, главным образом, на общих положениях, высказанных в первой части.

Статья «исторична» в высшей степени: автор сумел схватить самое коренное и важное во времени, по времени, и сумел дать ему действительно объективную оценку. Исследуя то или другое время, никакой историк не забывает, конечно, что это лишь звено в цепи времен; но, не путая цепи, в каждом звене, в каждом отрезе времени, открывает его собственный внутрен-

ний смысл. Чем из большей глубины открыт этот смысл, тем яснее нам связь времен и последовательная их смена.

Московское царство – «великая восточная теократия». «Народная правда для московских людей лежит в миру... Но есть у них и Божья правда – незыблемая и вечная. Наверху ее несет Божий наместник – царь. Внизу ее хранит мир». «Русские цари поставление имеют от Бога – богоизбранные, боговенчанные цари; и власть царя православного – вольное царское самодержавство».

Не поняв глубинной связи царя и Бога в душах тогдашних русских людей – нельзя не только понять, как «зачалось» Московское царство, как строилось, чем держалось, но нельзя и понять, как и почему оно кончилось. Вообще, ничего нельзя понять в «путях России».

«Незыблемо и вечно» – Россия хранила лишь правду, как *правду*, понимание о «правде». Дело исследователя времени – увидеть, какой облик правда принимала для России на долгом ее пути. Недаром же, не по случайности же приняла тогда Божья правда облик царев. И была не обличьем, а истинным обликом, – была *правдой того времени.*

Труд Бунакова оттого и должно назвать «историческим», что автор переступил за порог московского времени, вошел в него, признал его правду действительной, для него, правдой.

Здесь было бы кстати удивиться рецензии об этой статье – Милюкова: таким «не историком» проявил себя наш признанный историк. Но мы не удивляемся. Мы давно заметили, что Милюкову свойственно оценивать все времена – с его сегодняшней точки зрения на время сегодняшнее. Когда эта точка зрения меняется – соответственно меняется и взгляд на тот или другой исторический период. Такое внесение в историю постоянных субъективных поправок не способствует, конечно, выяснению ее темных мест, а только поселяет беспокойство в умах. Отзыв Милюкова о последней книжке «С. З.» – это ряд отмет, какая статья прочитана «с удовольствием, т. к. она вполне совпадает с нашими взглядами», какая без удоволь-

ствия (не совпадает). В статье Бунакова критик очень усмотрел вот это подчеркиванье «правды» Московского царства (царь и Бог) и, отнесясь к ней по-современному, с неудовольствием, распространил его даже на стиль статьи — «из старых приказных книг». Если, мол, Бунаков вплоть до стиля увлекся этими ненадежными источниками, то уж не оттуда ли почерпнул он и свои умозаключения насчет корней и стержня Московского царства?

Я, может быть, слишком «определяю» неопределенную статью Милюкова; но трудно понять иначе некоторые ее места.

«Мысли о России» Степуна тоже прочтены Милюковым без всякого удовольствия. Но Степуну критик многое прощает за его особый «стиль» и за «лирику».

Наши мнения и тут противоположны мнениям редактора «Посл. Новостей». Стиль первой части бунаковской статьи, той, где автор хочет ввести нас в самую атмосферу Московского царства, как раз кажется нам весьма удачным. Чуть-чуть «старинный» язык гармонично переплетается с цитатами того времени. И напротив: «Мысли» Степуна, исключительно в данной книге интересные, местами верные и глубокие, если чем грешат, так именно «стилем» и лирикой. Степуновский лиризм не свойствен русскому духу и русскому языку. Русская речь такому лиризму не поддается; поэтому самые патетические места (а к ним писатель склонен), длинно-закругленные, сочно-сложные фразы кажутся написанными... скорее по-немецки, чем по-русски. Лирика русская гораздо проще, богаче внутреннее и беднее, строже внешне. Во всяком случае, никогда она не бывает ни круглой, ни сладкой, что не чуждо лирике германской.

О других статьях «Совр. Записок», даже тех, которые попали в обзор Милюкова, я не скажу ничего. Боюсь, что это меня далеко заведет. Опять пришлось бы говорить об *отсталости* журнала, о бесконечном «ни два, ни полтора» во всех его углах, которое и делает журнал, пока что, «Записками Несовременными».

ТРЕТИЙ ПУТЬ

Казалось, что мы отвыкли удивляться. И перед загадками психологии уже не останавливаемся, просто проходим мимо.

А вот, недавно, пришлось-таки мне пережить момент изумления, — даже два момента двух разных изумлений. Оба — при чтении одной и той же статьи: Керенского, в день десятилетия октябрьского переворота. Вновь поразили меня странности человеческой психологии...

Но расскажу по порядку.

Статья называется «Срыв России», и в начале А. Ф. Керенский заявляет: «...для позитивистов я человек наивный: признаю роль личности в истории, воздействие волевой энергии на развитие событий...». «Да, октябрь был, но для меня... он мог и не быть».

Первое удивление: именно от Керенского публичного исповедания таких взглядов трудно было ждать. Мы думали, что ему теперь, по-человечеству, удобнее исповедывать веру обратную, — в силу вещей, в железный закон необходимости, в фатум и т. д.

Но — хорошо. Удивляюсь, однако принимаю: Керенский держится взгляда, что человек и его воля могут влиять на ход событий, что-то значат в истории. Так как взгляд этот — и мой собственный, то мне с давних пор хорошо известны не только права, которые он дает, но и обязанности, которые он налагает. И логическое продолжение статьи сделалось для меня с этой минуты ясным. Кстати, автор тут же, совершенно справедливо, упоминает, что он сам стоял тогда очень близко «от часов истории». Т. е. был одной из тех «личностей», ответственная роль которых — направлять ход событий, так или иначе влиять на них. Ясно, значит: Керенский, далее, скажет нам, как сам он теперь, после 10 лет, оценивает эту роль: справился с ней? не справился? Как это в собственном его сознании рисуется сейчас?

На одну минуту забудем «часы», «историю» и все такое. Представим себе просто стрелочника, у которого 10 лет тому назад сошел с рельс поезд. Вспоминая почему-нибудь и обсуждая теперь этот случай (роковую неизбежность которого он не признает), — стрелочник, конечно, непременно, естественно подумает, себе самому вопрос поставит: а я? В какой мере и я виноват? Ведь на моем пути случилось? Может быть, захочет оправдаться, начнет собирать доказательства своей малой виновности, — может быть; но чтобы вопрос о себе, о своей «роли» в происшествии, так-таки совсем не пришел ему в голову — этого быть не может. Этого примитивная человеческая логика не позволит.

А Керенскому — не пришел! Именно в голову вопрос не пришел, хотя тут уж не стрелочник, не товарный поезд какой-нибудь: тут гибель России, тут «часы истории» и «роль личности», наиболее близко к этим часам стоявшей...

Позволительно, я думаю, изумиться: в каком странном, почти неземном состоянии невинности надо быть, чтобы закончить статью «Срыв России» тем, чем ее закончил Керенский! Все «роли» всех «личностей», — хотя и путанно, — разбирает, оценивает; всех, кроме... той, что «стояла у часов истории». Словно не было ни «роли», ни «волевой энергии», ни самой «личности». Покров Майи, и даже не прозрачный...

Изумление мое было так велико (отсутствие примитивной логики особенно поражает), что первым моим движением было прямо обратиться к Керенскому: да что это? Да вы забыли? Действительно забыли? Что с вами?

Но это бесполезно. Такой же бы оказалось бесполезностью, как последовавшая за данной статьей печатная полемика между Керенским и Милюковым. Маленькую пользу, впрочем, полемика принесла... мне. Научила хладнокровнее принимать странности людской психологии. Ведь и Милюков (вызванный, правда, Керенским) проявил здесь почти ту же странность. Он так же признает «роль личности в истории» (позитивизму, кстати сказать, это не мешает). Он, вполне логично,

признает и личную ответственность. Но... говоря о многих-многих других, о Керенском тоже, он так же не касается одной личности, одной роли, одной ответственности, своей собственной. Ему тоже «вопрос не приходит в голову!».

Может быть, он далеко стоял «от часов истории»? Нет, очень близко. В другой период времени, правда, — более ранний: как раз накануне дня, когда к ним стал Керенский. Но канун этот был важен и грозен; так важен и грозен, что кому на долю выпал — тот не меньше, а пожалуй, и больше за него отвечает, нежели Керенский за свое время.

Однако, если каждый из участников событий станет рассказывать о них, описывая все чужие деяния и умалчивая о своих, если участники только спорить будут друг с другом, защищая свой, искаженный, образ времени, — что делать? Как узнают общую правду, настоящую, те, кто ничего не знает? Не знают же ничего многие, целое новое поколение, и там и здесь. Разве им, смотрящим вперед, это не нужно? Ведь для самого такого смотренья важно знать, что позади, и какое оно действительно.

Быть может, задача объективного восстановления прошлого слишком трудна для участников; в таком случае не должны ли взять ее на себя другие, *не* участники, *не* деятели, просто живые свидетели, наблюдатели, обыватели? Если всякий даст малую часть знания, которая у него есть, без попытки выдать ее за целое, — не составится ли из множества таких частиц правды — правдивая картина «срыва России»? Не выяснится ли, наконец, и то, как исполнял и как исполнил свою роль каждый, кому роль была вручена?

* *
*

Статья Керенского и полемика его с Милюковым произвели на меня сильное впечатление еще потому, что как раз в это время мне пришлось разбирать страницы одного обывательского дневника. Это — последовательная запись (иногда с про-

межутками, а иногда не только ежедневная, но ежечасная) всего происходившего в Петербурге в период времени от 1 августа 1914 г. до 20 ноября 1917 г. (когда запись обрывается). Дневник не надо смешивать с мемуарами, с изображением того, чего уже нет, что лишь в экстракте сохранила память. Дневник — само течение жизни; поэтому он всегда, и прежде всего, *скучен:* куда скучнее всяких мемуаров! Однако, при некоторых условиях, дневник имеет свою цену, отличную от цены мемуаров. Вот три немаловажных для него условия: это, во-первых, если время жизни, течение которой он дает, исполнено серьезных событий; если, во-вторых, записывающий — не участник событий, не имеющий влияния на них, просто обыватель, созерцатель, наблюдатель; и если, наконец, он находится, по случайности, на очень счастливом наблюдательном пункте.

Все три условия в Дневнике, о котором я говорю, более или менее соблюдены. Что касается третьего, то, помимо постоянных, близких соприкосновений с большинством лиц, подходивших к «часам истории», наблюдательный пункт записывающего был счастлив даже географически: не в Петербурге ли зачинались и развивались события, потрясавшие затем всю Россию?

Хотя дневник этот — мой собственный, у меня, по многим причинам, отношение к нему сейчас абсолютно объективное. Восемь лет он не был у меня в руках. Восемь лет считался погибшим (вторая книга, годы 18-й и 19-й, и действительно погибла). Смотрю на него, как на вернувшегося с того света. Он мне нов, далек и чужд (кое в чем лишь не чужд, но об этом ниже). Читаю, — иному совсем невозможно верить: да неужели было? Какой урок для памяти человеческой? Как она слаба и как мало знает о своей слабости! Сколько потерять может в 7—8 лет! Пусть бы терялись ненужные мелочи (много их во всяком дневнике!), но ведь пропадают не только они...

И вот, стоит положить эти древние страницы, говорящие о бывшем, о словах и делах людей у «часов истории», — рядом с сегодняшними словами тех же людей, с их статьями и спора-

ми, чтобы тревожно изумиться и задуматься. Забвенье? Нет, у Керенского есть что-то сверх простого забвенья. У него такое искреннее состояние невинности, будто он недавно вновь родился, или воскрес, после смерти, — в раю. Оттого и не имеет он ничего (как где-то сказал) против «личной с ним полемики», упреков в безответственности... но оттого и бесполезно обращать к нему подобные упреки.

Об ответственности Милюкова (за другой период времени), которой он тоже не касается и которой, очевидно, не сознает, я скажу как-нибудь в другой раз. Нам, внимательным обывателям, кое в чем можно верить: мы никогда не теряем здравого смысла, а эта точка зрения, в иные времена — самая надежная: многое позволяет видеть с ясностью.

Мы видели, например, мы считали (и продолжаем считать), что Керенский, стоявший в последние дни Февраля у «часов истории», был тогда на своем месте, и не только был прав, но даже только он один *тогда* и был прав.

Вот из современной записи: «...Керенский — настоящий человек на настоящем месте. *The right man on the right place* *, — как говорят умные англичане... Или — *the right man on the right moment?!*» **. А что, если только *for one moment?..*» ***. Затем, гораздо позже, когда почти все уже совершилось: «...Мы не переменились к Керенскому. Он *был* таким, каким был нужен времени. Но он был один, и тяжесть раздавила слабые плечи. Уже к июню (раньше?) он был *конген.* И продолжая держаться *мертвыми руками* за руль российского корабля, все время, все эти месяцы, вел его в водоворот».

У Керенского были проблески сознанья своей мертвости. О, слишком краткие и слишком поздние! Один из них: 17 августа, четверг. Разговор Савинкова и Керенского, утром приехавшего с Московского Совещания. Савинков соглашается взять назад

* Нужный человек в нужном месте *(англ.).*

** нужный человек в нужный момент *(англ.).*

*** на один момент *(англ.).*

свою отставку: «Все более или менее выяснилось. Однако мне нужно было еще сказать ему несколько слов частным образом. Я напомнил ему, как оскорбителен был его последний разговор.

— Тогда я вам ничего не ответил, но забыть этого я еще не могу. Вы разве забыли?

Он подошел ко мне, странно улыбнулся...

— Да, я забыл. Я, кажется, все забыл. Я... больной человек. Нет, не то. Я умер, меня уже нет. На этом Совещании я умер. Я уже никого не могу оскорбить, и никто меня не может оскорбить...».

Есть это, или нет в «Воспоминаниях» Савинкова — не знаю; я никаких савинковских воспоминаний не знаю. Это устный рассказ в тот же вечер. А так сочинить его Савинков не имел в то время нужды, — полагаю, что слова произнесены были. Проблеск сознания (тотчас погаснувшего) был.

Не становится ли, ввиду всего этого, более понятным и теперешнее, до дна искреннее, райское состояние Керенского, ощущение полной невинности, неответственности за «срыв России»? Как отвечать за свои «мертвые руки»? Ведь их мертвости даже не чувствуешь...

Ответственность-то осталась, конечно. Но с какого-то момента перенеслась на других, на близко стоявших в то время и к «часам», и к самому Керенскому. Удвоенной тяжестью пала, ибо сделалась уже ответственностью и за Керенского, за мертвые его руки...

* * *

Дневник настолько не кажется мне личной «собственностью», что меня стеснило бы сделать в нем какие-нибудь исправления: уничтожить, например, лишние мелочи, или, — что хуже, — некоторые наивности. Впрочем, последние искупаются постоянным возвращением к спасительной точке зрения — здравого смысла.

Но есть в дневнике нечто, делающее его все-таки моим; заставляющее меня отвечать за него целиком. Это — общая линия, которая и определяет, в каждый момент времени, позицию записывателя. (Не следует думать, что у обывателя не может быть «позиции». Очень может.) Общая линия дневника — моя; и она, все та же самая, определяет для меня и позицию сегодняшнего дня. Как даже Милюкову ясно, что, признав значение личности в истории, нельзя не признать и личной ответственности, так ясно мне еще многое другое. Мне ясно, что, признав самодержавие отжившей и пагубной формой и поняв, что иным путем, кроме революционного, оно свергнуто быть не может, — нельзя не утверждать революции февральской. Она происходила не вовремя? Да; но одни говорят: «слишком рано»; другие — «слишком поздно». Я говорю последнее; и мне не только не по пути с теми, кто эту революцию не отрицает или проклинает, но даже с находящими, что она слишком «рано» совершилась. Для меня ясно, — и было ясно с первого момента, — что святая (да, *святая*) белая борьба успеха иметь не могла, и не будет иметь, если возродится в прежней форме и с прежним содержанием. Я знаю, что никаким евразийцам России в Азию не превратить, а равно и коммунистам — не уничтожить собственного ее, вечного лика; но я знаю также, что идея только узконационалистическая, одна, в какой бы среде она ни действовала, *бессильна* в борьбе с интернационалом.

Я не сомневаюсь, что если бы Милюков занял позицию вроде сегодняшней 12 лет тому назад, он мог бы сыграть, в ходе тогдашних событий, громадную и благодетельную роль; но мне слишком ясно, что, при коренной перемене соотношения сил и самих сил, *теперь*, — эта же *(формально)* позиция есть позиция распыления или омертвения, и — разложения. Мне далее ясно, что все старые, так называемые «левые» партии, одушевляемые некогда идеей свободы и шедшие на борьбу за нее, — ныне просто перестали как таковые существовать. Ни одна не сумела расширить, соответственно времени, свои основы и положения, и жизнь ушла у них из-под ног.

Партия эсеров, самая когда-то живая и русская партия, раздавлена тяжелой ответственностью за «срыв России», тем более тяжелой, что она же этой ответственности не сознает. Одна часть партии еще пребывает в окостенелом виде, другая — насквозь изъедена тлей большевизма.

Стоит ли упоминать о группировках и партиях «правых»? Мой взгляд в эту сторону и так известен. Состояние же этих партий таково, что обеспокоен ими может быть сейчас разве только левый прозелитизм Милюкова.

Наконец, яснее ясного для меня следующее: из утверждения всех ценностей во всех областях жизни — должно вытекать *абсолютное* и *всестороннее* отрицание большевизма, в какой бы форме, и где, он ни проявлялся. Только такое отрицание может подвинуть на борьбу с большевизмом, но только при полном, четко определенном и открытом утверждении ценностей свободы, права и личности можно находить те, соответствующие моменту, конкретные формы борьбы, которая делала бы ее успешной.

Я подчеркиваю: из этой единой общей линии, которую я здесь бегло, случайными чертами, намечаю, может и должно, рождаться самое определенное отношение ко всякому реальному явлению в сложном содержании сегодняшнего дня истории.

* * *

Мне скажут, конечно (даже те, кто основную линию нащупает): «Что же это за позиция? Как раз реально-то она и не существует. Вы не с Керенским, не с Милюковым — у них нет адамантового камня непримиримости, что делает тактику их мерцающей, для нас неприемлемой. Вы и не с теми, кто, выражаясь условно, «правее»: им не хватает других краеугольных камней. Где же вы? Просто ни с кем? Просто нигде».

Да, если ограничить поле зрения политическими вождями и тесным их окружением, — видимость будет именно такова.

Больше: если ограничить время одной данной секундой – я не смогу указать даже на какое-нибудь определившееся течение... ибо и течения такого, вполне определившегося, еще нет. Существуют, однако, признаки, что оно может родиться, и как раз там, где мне, отнюдь не профессионалу, всего естественнее его искать и всего важнее найти: среди общей массы здешних русских людей. В большинстве она пока «беспризорна» (и слава Богу!), политически наивна (воображая, что аполитична) и живет, если угодно, обывательски... до того или другого серьезного момента, когда воочию сливаются «политика» и жизнь, когда нужно сделать «выбор» пути. Тогда выбор делается – не сознательно, лишь по интуиции, но гениальной, а потому выбор всегда верный, тот же, какой был бы сделан и сознательно. Не политические вожди его предсказывают, нет, он делается помимо них, а при случае даже вопреки им.

Так был, например, решен вопрос церковный, недавно ставший перед эмиграцией во всей остроте, и, конечно, в остроте определенно политической.

Две дороги: левая – правая... обе изведанные, исхоженные, утоптанные. Третья, прямая, – глуха. На ней почти никого. Но даже если б не было видимых знаков, обещающих на завтра новых путников, по третьей дороге, выходцев *снизу*, – кто и когда, из страха одиночества, покидал путь, который один кажется ему прямым и верным?

ОПАСНЫЙ ДЕФЕКТ

Ответ г. Талину

В полемике тоже есть «третий путь» или что-то вроде. Линию такого пути я хочу наметить, отвечая г. Талину («Посл. Нов.» от 8 дек.).

Мы с Талиным старые знакомцы. Еще в петербургской газете «День» спорили (и очень по существу). Талину известны правила, положенные некогда в основу моих воскресных со-

браний в СПБ: это «свобода, равенство и... вежливость». Таких же правил, по-моему, надо держаться и в полемике. А что касается содержания и существа – тут хорошо не отступать за черту общепринятой человеческой логики, не соскальзывать с нее. Иначе спор потеряет общий интерес, да и смысл.

Очень, кроме того, полезно сразу вскрыть *центр* возражений противника. Иногда этот центр открывает, попутно, и лицо противника, что также не бесполезно.

Центр талинских возражений на мою статью «Третий путь» – вскрывается легко. Ни о каких путях г. Талин собственно не говорит ничего. Обо мне, о моих словах, об отношении к тому или другому вопросу – тоже ничего. Это его не интересует, вернее, не доходит до него.

Он занят фигурами и кое-какими фактами, попавшими в его поле зрения, их обобщает, ими оперирует. Недоволен, главным образом, газетой «Возрождение». Рассуждает так: это не «Последние Новости», где пишутся левые вещи левыми людьми; в «Возрождении» должны писаться правые вещи правыми людьми. *Следовательно*, статья «Третий путь» – правая и автор ее – правый. А что он там говорит об отрицании сегодняшних представителей обоих направлений – это обычный «маневр» переходников направо. «Все» так.

Если я чего-нибудь не боюсь, то, конечно, обвинений в правизне (как и в левизне): имею, слава Богу, опыт, в результате которого у меня даже интерес к подобным упрекам потерялся. Но *ход мыслей* Талина интерес имеет, притом и общий, и частный. Попробуем исследовать этот ход.

Чем он обусловлен? Где его исток? Откуда все выводы и заключения?

А вот откуда: у Талина нет «понятия личности». Прошу взять мои слова в точном смысле; именно *понятия* личности у Талина нет, а вовсе не самой личности. Напротив, она у него весьма имеется; но, благодаря отсутствию ее понятия (как всякой другой, так и собственной) – она у Талина находится не то, что в загоне, а в состоянии полной беспризорности. Неуди-

вительно, что проявляет себя порой так нежданно и даже противоречиво: проявляет, где может, где ей удастся проскочить.

«Личность» Талина очень талантлива; но дефект сознания, не вмещающего «понятия» ее, то и дело подсекает ей крылья. Этот же самый дефект и роднит, неисцелимо, г. Талина с большевиками. Так роднит, на таких глубинах спаивает, что вопреки всем отречениям (искренним, не сомневаюсь), родство нет-нет да скажется; весьма ощутительно скажется!

Однако не в личности Талина дело. Талин — пример: вот что может получиться, если под «личностью» понимать «индивидуума», «особь», или что-нибудь в этом роде, такое же старенькое, простенькое. Бесконечные пустяки, которые Талин говорит о «солипсизме», — исходят отсюда. Рассуждения о правых и левых лагерях — отсюда же. Но попробуйте вместо «лагерей» сказать «гнезда»: все тотчас же сделается не пустяками, а истинной правдой. Выползла особь из гнезда — и ползет. Конечно, пока ползет, она в одиночестве (солипсизм). Но разве подобает особи быть вне гнезда? В воображеньи Талина умещаются лишь два гнезда: левое и правое. Выползла особь из левого — ясно, значит, что направляется в правое. Лица у особи нет, лицо — *все*. «Все так», — говорит Талин. Так было — так будет...

Святая правда, — с точки зрения Талина, которому не далось и такое понятие личности, каким ныне обладает большинство его здешних «левых» коллег: святая правда и объективно, если речь идет, скажем, о... муравьях.

Я не надеюсь на себя. Не открыть мне глаз Талину, не вывести из состояния, свойственного в наши дни только людям или примитивного, или извращенного мышления. Если Талину окружающие кажутся муравьями и сам он себе — муравьем, *глагол пророка* нужен ему, чтобы увидеть себя тем, что он есть, — человеком; и чтобы порвать тесные, — о, мимовольные! — узы, связывающие его с большевиками.

Коснись его такой «глагол», он, конечно, понял бы, в какой плоской плоскости происходила до сих пор его борьба с большевиками, как она, внутренно, алогична. Ведь в чем вся беда,

на взгляд Талина? Плохи большевики, плохи – конечно! Они плохо делают дело, отвратительно... но дело-то, само по себе, не плохое? Общие-то принципы (не касаясь деталей) правильны? Отсюда рукой подать до надежды, что большевики «исправятся», или, на худой конец, будут сменены людьми родственными им, в смысле идеологии, только более честными, дельными и верными.

Точных данных не имею, но, по логике, кажется мне, например, что Талин должен придавать большое значение борьбе Троцкого со Сталиным и даже (все по логике) быть скорее на стороне первого. О, конечно, победа Троцкого еще отнюдь не удовлетворила бы г. Талина! Однако в ней (или «через» нее, или «сквозь» нее) он увидел бы, вероятно, какое-то мерцанье лучшего будущего.

Так как на «пророческие глаголы» я не претендую, то сознаюсь: говоря о важнейшем дефекте талинского мышления (об отсутствии понятия «личности» человеческой), я думаю больше о других, нежели о самом Талине. Другие, может быть, поймут, как печален и опасен этот дефект. Простого соображенья достаточно, чтобы увидеть, как он влияет даже на работу в области чисто общественной. С муравьиным идеалом строить общество не из особей, а все-таки из людей – что выйдет? Заранее можно сказать, что не выйдет ни муравьиного гнезда, ни человеческого общества. При слепой удаче, реально выйти из этого может только нечто, довольно страшное: общество «человекообразных».

На вопрос о «фашизме», затронутый вскользь Талиным, я непременно как-нибудь отвечу. Вопрос не коренной, но важный; и опять не Талину, а скорее другим, – со слухом более тонким, – я скажу, что такое для «третьепутников» фашизм; каким они его видят, как определяют.

Если правые назовут это определение – левым, а левые – правым, не беда: лишь бы ясность и точность, даже в детальном вопросе, не пострадали.

Но об этом в другой раз.

«ЗНАК»

О Владиславе Ходасевиче

О, бедная душа моя!
О, сердце, полное тревоги!
О, как ты бьешься на пороге...

Тютчев

Книга стихов... Все знают, что такое стихи. Но редким приходит в голову, что стихи, кроме всего прочего, еще *ключ* к двери самой потаенной: к сердцу и душе человека. Ключ, кажется, единственный... Правда, и с ним можно только приоткрыть дверь, только заглянуть в нее: кое-что схватить, кое о чем догадаться, кое в чем ошибиться, — о, непременно! — ведь *все* увидеть нельзя; войти — нельзя.

Я говорю, конечно, не о всяких стихах: только о стихах — «страшном даре», и о человеке, этим «страшным даром» обладающем. Как-то не очень хочется называть его «поэтом»: слово расширили, растянули, приходится обставлять его прилагательными: «настоящий», «истинный», «большой», «небольшой»... А это уж не то: в первоначальном значении, или поэт просто, или не поэт. Поэт — и значит стихи его «страшный дар» и (тоже, пожалуй, страшный) ключ к его *человечеству;* приподнятое покрывало с лица человека в его цельности, в жизненной его трагедии.

Хочет ли человек вообще, чтобы покрывало это приподнималось? И не хочет, и в то же время страстно хочет. А в человеке-поэте (буду уж употреблять слово, раз другого не выдумали) жажда «сказать себя» так повелительна, что он открывается даже тогда, когда об этом не думает, не знает, даже тогда, когда уверен, что просто пишет шутливое стихотворение «на случай», в альбом.

«Сказать себя»... кому? Другим? Нет; повелительная стремительность, из темных глубин идущая, так цельна в первом

движении, что не вмещает мысли о «других». Вначале только одно:

Как сердцу высказать себя?

— и лишь потом:

Другому — как понять тебя?

«Другие» — полупонимают, или совсем не понимают, если очень «ленивы и нелюбопытны». Постараемся быть первыми «другими» и хоть немножко понять, *что такое* вот эта книжка, на которой написано, шатающимися буквами: *«Собрание стихов. Владислав Ходасевич»*.

Собственно о стихах этих можно сказать много; не сомневаюсь, что и будет сказано много. Ходасевич — «мастер» стиха; определения мастерства бесконечны, разнообразны и даже интересны. Но я ими не займусь. На вопрос о книге Ходасевича: «Что это такое?» я, прежде всего, отвечаю себе: это нечто органическое; отделять стихи от Ходасевича и Ходасевича от его стихов — это разрывать живую ткань. Потому буду говорить о них и о нем, о стихах и Ходасевиче — вместе.

Да, «страшный» дар... Перед нами внутренний образ человека — одного из современнейших, принадлежащих нашему часу; и даже, главным образом, узкой и тайной остроте этого часа. Душа и сердце, бьющееся «на пороге»... не «двойного» бытия, а тройного, четверного, пятерного... Так сложен бытийный комок, что не удивляет вопль:

Мне невозможно быть собой,
Мне хочется сойти с ума...

В этом... — человеке? поэте? — в этом образе все — и съемлено неразнимчато, и разъединено, разделено. Он сам видит в себе, *отдельно*, и душу свою, и сердце свое, и тело свое, и путь своего бытия, жизнь.

Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вот тот — это я?

(«*Перед зеркалом*»)

Оно — едино, это «дикое» и «таинственное «Я». Оно — не душа, не сердце, не мысль и не тело. Оно их скрепа, их — «*вместе*». Вместе — а вот, разделены. Эта внутренняя все-раздельность, постоянная разъединяемость, — как бы распад внутренний, — нестерпимы для «Я». Уж тогда хоть разделить бы, разделиться бы до конца, совсем... Душе своей, Психее, которую так любит «я» поэта, он говорит:

Учись дышать и жить в ином пределе,
Где ты — *не я*...

Однако «и во сне душе покоя нет». «Я» знает:

...когда в тоске проснусь,
Соединимся мы с тобою снова
В нерадостный союз.

«Нерадостный», словно странный и мучительный брак, где и скованность, и разделенность. Не тем же ли трагизмом и жуткой подлинностью веет от стихотворения «Эпизод», где «Я» действительно отделяется — от своего *тела?* Видит его, смотрит на него, бездвижное, — но потом снова, в мучительном и горьком усилии, соединяется и с ним — в «нерадостный союз».

А вот минута счастья:

Душа! Любовь моя! Ты дышишь
Такою чистой высотой,
Ты крылья легкие колышишь
В такой лазури, что порой
Вдруг, не стерпя счастливой муки,
Лелея наш *святой* союз,
Я сам себе целую руки,
Сам на себя не нагляжусь...

Но минута «святого» союза — только минута. Да и она — точно «где-то», не «здесь». А *здесь* — опять будет, как было:

Живу, а душа под спудом
Каким-то пламенным чудом
Живет *помимо меня.*

В печальном этом союзе не всегда жертва — Психея. Ей «до боли тесно здесь, в опозоренной груди». Но и у души, самой, есть жертва:

Пробочка над крепким йодом!
Как ты скоро перетлела!
Так вот и душа незримо
Жжет и разъедает *тело.*

Сложность внутренней трагедии этими узлами и разрывами не ограничивается. Целый «мир», с его наполнением, не связан ли и он так же нерушимо с человеческим «Я», и не так же ли горестно от него отделен? «Я» влечет к нему — и бежит его:

...так нежно ненавижу
И так язвительно люблю...

Да, да, все равно:

Играю в карты, пью вино,
С людьми живу — и лба не хмурю,
Ведь знаю: сердце *все равно*
Летит в излюбленную бурю,

опять «бьется на пороге» не двойного — расщепленного, раздробленного бытия.

Невыносимость такого бытия очень скоро сделалась бы действительно *не* выносимой, не будь послан Ходасевичу «страшный» и благодетельный дар — стихов. Порою, «сказать себя» — это почти спасти себя.

«Обо всем в одних стихах не скажешь...», но стихами Ходасевича, если не все, то, пожалуй, многое скажешь. Он в них,

прежде всего, *четок;* кристаллические стихи: подобно кристаллам, сложны они и ясны; ни одна линия неотъемлема, нужны все одинаково.

Для этой четкости можно найти много попутных объяснений и определений: например, верность пушкинским традициям, в связи с их поэтическим своеобразием автора. Но я смотрю не в эту сторону. Я смотрю и вижу кристаллическое начало в самом «я» поэта. Как в сказке Андерсена Кай бьется, чтобы сложить из льдинок слово «вечность» (в этом его спасенье), так нужно и Ходасевичу сложить из всего, что «Я» носит в себе, какой-то вечный кристалл. Но кристалл не складывается. И тогда:

...Кому мне поведать, как жалко
Себя и всех этих вещей?..

Все равно, кому, — никому; но поведать.

...И вдруг начинаю стихами
С собой говорить в забытьи...
. . . .
Я сам над собой вырастаю
Над мертвым встаю бытием...

Пусть хотя бы призрачные создаются кристаллы, хотя бы легкая, «падучая» их тень... Зоркой мыслью человек знает, что стихи поэта —

Лишь угловатая кривая
Минутный профиль тех высот,
Где, восходя и ниспадая,
Мой дух страдает и живет.

Но пусть! И тень кристалла — тень, все-таки, спасенья.

Отчасти благодаря своей четкости, резкости прямых линий, поэзия Ходасевича не «обворожительна». Мания его «сурово стиснутых стихов» — иного порядка. Обвораживают туманно-

сти и «несказанности» Блока. Не говорю о том, плюс или минус для поэзии «обворожительность». Да и Ходасевича с Блоком не сравниваю, не занимаюсь вопросом, кто из них больше «поэт», кто меньше (какой праздный вопрос!). Я просто отмечаю, что Блок «обворожителен», Ходасевич – нет. Один критик сказал мне недавно: «По Ходасевичу, как по секундной стрелке, можно видеть движение времени – от Блока – вперед. Блок уже не современен; Блок ездит еще по железной дороге; у Ходасевича и автомобили, и те крылатые; даже крылья у них, – разве не важно? – у одних белые, у других черные...».

Да, это правда. Ходасевич все принадлежит сегодняшнему дню. Блок – вчерашнему. Трагедия Блока – не то, что менее глубока: но, при всех «несказанностях», ее «механика» как-то проще. Сложнейшая трагедия внутреннего распада и постоянная мучительная борьба с этим распадом – воистину трагедия нашего часа.

Ходасевич современен; но как раз потому, что современен – есть в нем и какая-то «незапамятность». И то сказать: из шестидесяти минут нашего часа не сложишь вечных кристаллов. Ходасевич, вероятно, знает (или чувствует), что к понятию «*бытие*» не приложимо слово «было», а только «есть». «Закрой глаза и падай, падай... в самого себя...» –

Замри – или умри отсюда,
В давно забытое родись...

То же самое, но еще крепче, еще отчетливее в изумительном стихотворении «Обезьяна». Он заглянул в глаза, братски пожал маленькую черную руку и –

Глубокой древности сладчайшие преданья
Тот нищий зверь мне в сердце оживил
И в этот миг мне жизнь явилась полной,
И мнилось – хор светил и волн морских
Ветров и сфер мне музыкой органной
Ворвался в уши, загремел, как прежде,
В иные, *незапамятные*, дни...

Это касанье к «иным дням», — незапамятность, — безмерно усложняет трагедию; и как расширяет ее течение!

Разрешима ли эта трагедия?

Пустой вопрос. Мы знаем лишь одно: она или разрешается — или не разрешается — всяким человеком, всяким отдельным «Я»; и это в соответствии с волей, силой и даже самой тканью каждого «Я». Разрешение — конечно, есть шаг, полшага, или хоть брошенный незабываемо взор за тот порог, на котором

Все бьется человечий гений...

Кому дано преодолеть порог, тот от него уж не отступает. Верный, он примет и мучительную муку, и невыносимость бытия; и будет «возрастать в надежде» и познании. Только по верности, по неотступности, мы и судим... нет, догадываемся: ему, пожалуй, и дано разрешить трагедию, его «Я» — крепкая скрепа.

Но ведь и «я», чужое, для нас за потаенной дверью. Не ко всякой есть ключ. Ходасевич дал ключ к своей. Мы заглянули, — бегло, поспешно, разве мы умеем как следует смотреть? Кое-что увидели: трагедию увидели; может быть, коснулись чуть-чуть и ткани этого единственного (как и всякое другое) «Я». Книга открывает нам Ходасевича и его трагедию не в неподвижной точке, а в линии, в движении, — во времени. Что же сказать? О чем догадаться?

Невыносимость бытия в сложнотрагическом клубке — вещь серьезная, даже если посланы такие крылья, как дар стихов:

Все бьется человечий гений
То вверх, то вниз. И то сказать,
От восхождений и падений
Уж позволительно устать.

Позволительно или нет — другой вопрос. Но Ходасевич устал. В круге этой усталости многое начинает менять лик. Цело-

вать руки самому себе — своей Психее? Нет, «тяжко, больно жить душой, — который раз?». «Нежная ненависть и мучительная любовь» как будто тихо претворяются, или растворяются, — в презрение. «Смотрю в окно — и презираю...». Если смотреть в окно, — на мир — усталыми глазами, мир того и стоит:

Все высвистано, прособачено,
Вот так и шлепай по грязи...

Далее, презрением естественно рожденная, — злость: «и злость, и скорбь моя кипит...». Наконец прямо скрежет зубовный: «Опустошенные, — На перекрестки тьмы, — Как ведьмы по трое, — Тогда выходим мы. — Нечеловечий дух, — Нечеловечья речь, — И песьи головы, — Поверх сутулых плеч...».

Тяжкая усталость. Опасна ли? Нет, надо лишь уметь дать себе отдых. Есть другое, гораздо опаснее. Это другое и раньше проскальзывало у Ходасевича в его рассказе о себе, но теперь как будто на нем ставится новое ударение. Все чаще кажется Ходасевичу, что он уже все узнал, *все знает.* Стал «всезнающим, как змея». «Стал умен, суров и скуп». «На трагические разговоры научился молчать и шутить». И даже «каждым ответом — желторотым внушает поэтам — отвращение, злобу и страх» (для чего, положим, еще не требуется всезнания змеи).

Не слишком ли подчеркивает Ходасевич:

«Все я знаю, все я вижу...»?

Выводов отсюда еще не делает, а выводы есть определенные.

Для человека той трагедии, о которой мы говорили, нет ничего опаснее *уверенности во всезнании.* Даже мимолетные ощущения опасны, уверенность же, отсекая волю к дальнейшему узнаванию, кладет тем самым предел и «возрастанию в надежде»... на что? Да, конечно, на то, что не останешься до конца *только* на пороге, где «бьется человечий гений».

Только на пороге... Впрочем, и оставаться на нем уже не имеет смысла, если твердо знаешь, что все знаешь, что больше и узнавать нечего. Такая уверенность естественно влечет за собою отступление. Отойти — куда-нибудь; можно в смерть, можно и в «предсмертье», — то есть играть в карты, пить вино в «высвистанном и прособаченном» мире, уже не стремясь в «излюбленную бурю». Зачем? И какая буря?

Трагедия падает, медлительно сходит на нет. Не совсем на нет: в глубине человеческого «Я» от нее что-то остается. Кто «летел в излюбленную бурю», тот уж никогда не станет совершенным подобием нелетавших. Отвращение, презрение, темнота, — вот что остается в сердце, когда-то бившемся на заветном пороге. Не новая ли это невыносимость бытия?

Всегда в тесноте и всегда в темноте
В такой темноте и в такой тесноте...

Намечаю опасную линию нарочно всю, до конца. Скажу прямо: в Ходасевиче, по рассказу его о себе, есть точка, от которой эта линия *может* пойти. Но может и не пойти. Так ли уж он *знает*, что *все знает?*

В страшном и благодетельном даре Ходасевича открывается нам порою и то, чего сам он не думал открыть, рассказывая «Про себя»:

«Нет, есть во мне прекрасное...».
«...Взгляни, мой друг: по травке зеленой золотой
Ползет паук с отметкой крестовидной...

. . . .

И он бежит от гнева твоего,
Стыдясь себя, *не ведая* того,
Что значит *знак* спины его мохнатой...».

Не ведая, не зная... Вот оно, — какое важное! — чего Ходасевич не знает, а главное, сам знает, что не знает: ведь рассказывает он это «Про себя»...

Очень строги требования, с которыми подходит Владислав Ходасевич ко всему и ко всем. Он имеет на требовательность право? *Если так,* и мы вправе обратиться с прямым требованием к этому сердцу, что «бьется на пороге»:

Перешагни, перескачи,
Перелети, пере — что хочешь,
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи...

чтобы узнать хотя бы то, *«что значит знак»*, которого не знаешь...

Пусть люди, «поэтически — только — поэтически» настроенные, не сетуют на мой не слишком «стихотворный» подход к стихам, — книге Ходасевича. Книга эта тем и примечательна, что может оказаться нужной при всяких настроениях. Любители чистой поэзии найдут в ней ряд первоклассных поэтических произведений. Захочется кому-нибудь взглянуть поглубже, на то, что сквозь поэзию светится, — найдет и он, может быть, даже больше, чем ожидает. Разве только барышням, жаждущим «обворожительности», книга Ходасевича не покажется достаточно «чарующей»; ну, и Бог с ними, с барышнями.

СИМВОЛИЧЕСКИЙ ВИШНЯК

Отвечать на статью Вишняка против меня («Дни») какой-нибудь полуличной полемикой — неинтересно. Попробуем подойти с другой стороны, а Вишняка взять символически: т. е. главным образом — как представителя нашего «левого» течения, и горячего защитника «левизны». Тогда мы увидим, что даже самые мелкие его замечания — весьма характерны.

На каждом шагу, Вишняк, отлично понимая меня, — «делает вид», что не понимает; *хочет не понимать* *. На первый беглый взгляд, вся отповедь Вишняка на статью мою «Третий путь» словно тургеневская женщина (в Рудине): «намек, упрек, попрек». Первый намек (очень важный, как увидим), это: мой «дебют в органе определенного политического направления». То есть «правого». Если бы Вишняку серьезно предложили указать с точностью, в чем именно видит он сию минуту «определенность» и «правизну» газеты, — он, пожалуй, не сразу бы ответил. Непримиримость? Как-то неловко (Вишняку особенно неловко — в последнем № «Совр. Записок», у него статья очень непримиримая). Россия? Патриотизм? Тоже неудобно. Вот интервенция, вождь, Ильин, Шульгин, Струве — другое дело... Но какая же это определенность для «сей-то минуты», которая ни Шульгина, ни Струве в себе не содержит? Да, впрочем, что разбирать, если можно ограничиться простым утверждением. И так все «левые» знают, что это газета — «правая». А все статьи в правой газете или правые, или немедленно на печатании таковыми делаются. Вишняк — просто очень хорошо видит, что никакой «правизны» в моей статье «Третий путь» — не имеется; но Вишняк символический делает вид, что не так, и берет на себя работу отыскания этой правизны.

* Мой полемист из «Послед. Нов.», г. Талин, другое дело: он понимать и не хочет, и не может. Такое состояние, очевидно, и помешало ему принять предложенное мною правило «вежливости» в полемике. Я охотно г. Талина извиняю, но разговаривать с ним подожду, как и с другим полемистом той же категории г. Сухомлиным. Тон обоих живо напомнил мне «Миссионерское Обозр.», журнал Духовного Ведомства при Победоносцеве. Дух. Ведомство было тогда очень сплочено, и сотрудники «Мисс. Обозр.» проявляли большое рвение в борьбе с инакомыслящими. Особенно старался один маленький чиновник — Гринякин. Но, увы, ни ему, ни другим, правила полемики так же не давались, как и названным сотрудникам «Дней» и «Посл. Нов.».

Дело не простое. Впрочем, для превращения «нет» в «да», существуют особые способы, например: вовремя оборвать цитату, не заметить фразы, сделать вид, что понял слово в другом смысле... К таким способам Вишняк обширно прибегает.

Для начала, он находит в моей статье «безответственность». Я, оказывается, *не отвечаю* даже за мое утверждение февральской революции. Почему? А потому, что называю себя, между прочим, «наблюдателем, обывателем»... Обыватель же, поясняет Вишняк, в точном значении слова, и есть безответственный. Вишняк отлично понимает, в каком смысле было здесь употреблено слово: в том самом, в каком «левая» сторона привыкла раздавать эту кличку: не профполитик, в «движении» не участвуешь, о «здравом смысле» болтаешь, — значит, обыватель! Если Вишняк сегодня хочет держаться иного значения слова, более точного, — согласимся: я *не* обыватель. Ибо уж, конечно, *отвечаю* за всю политику, какая только у меня, не спеца, есть. Вишняку это слишком известно: если б даже он забыл, что я годы твержу везде об ответственности, то ведь данная-то статья у него перед глазами; а она как раз против того безответственного отношения к срыву «февраля», какое я вижу у некоторых «левых»; у с-ров особенно.

Далее — еще любопытнее. Вишняку больше чем кому-либо другому известно, что взгляд, который он развивает, *возражая мне*, — т. е. что «политика — почва, материал, стихия...», что от нее не уйдешь, быть вне политики нельзя, — есть *мой собственный взгляд!* Мой — но не Вишняка; по крайней мере до сих пор он держался противоположного: политика — для политиков; у кого другая специальность — сиди в ней и будь *вне* политики... Это называется «моим же добром, да мне же челом», и еще с перевертом, с усилием загнать меня, всеми неправдами, на свою, будто бы оставленную, позицию.

Но, наконец, Вишняку и этих способов мало. До сих пор он, возражая мне, хотел не понимать написанного; тут он его и *видеть* не хочет. Чтобы вышло так, будто я «отрекаюсь» даже от собственной записи, Вишняку пришлось вычеркнуть, слов-

но из рукописи вымарать, конец фразы, пояснение, *почему* дневник мне, порою, кажется как бы не моим: потому что «слишком *невероятно* все, что было!». И еще дальше вымарать (центральное место статьи), что этот дневник *я* чувствую и *признаю моим* в самом главном, в единой линии, «определявшей мою позицию тогда, как *та же самая* линия определяет и мою позицию сегодняшнего дня». Не ясно ли, не вымарав предварительно этих строк — о «курьезном отречении от собственной записи» не скажешь.

А я не отрекаюсь, по тем же причинам, и от другой моей записи (последние месяцы в СПБ), напечатанной в 1921 г. Вишняк называет ее «записью *недоброй памяти*». Без объяснений, почему. Впрочем, вот, может быть, объяснение: «Струве ее *услужливо* напечатал». Но право сказать *«услужливо»* — Вишняк добывает себе тем же способом: вымарывает, на этот раз не мой текст, а примечание от редакции «Русской Мысли», что дневник она печатает лишь как человеческий документ, не будучи согласна с автором в его взглядах.

Укажу еще только на одно «возражение» Вишняка; слишком удачно разваливается его постройка; руины эти объяснят нам кое-что и по существу.

Вишняк заинтересовался... святостью. Он протестует против моих слов: «святая белая борьба». Наставляет меня, о чем можно сказать «святое», а чему слово сие не подобает. Хорошо. Но почему же он заинтересовался святостью только в этом году и не думал возражать против тех же, буквально, слов, мною же сказанных, год назад? Цитирую: «...была святая белая борьба. Да, *святая;* да, не будь ее — мы теперь глаз друг на друга не смели бы поднять...» («Способным к рассуждению»).

Что же, уж не потому ли тогда Вишняк не протестовал, а теперь протестует, что теперь ему открылось новое в «святости»? Да нет, разгадка простейшая, ребенку видна: потому что тогда это было напечатано в «Посл. Новостях», а теперь — в «Возрождении». Потому что не важно, какие слова, а важно, *где* они произнесены (и «с кем», значит, автор). Этим *«где»* суд и начи-

нается, и кончается, а *«что»* и *«кто»* в счет даже не попадают.

В конце концов, я не понимаю, зачем Вишняк и трудился, отыскивая «правизну» в моей статье (мы видали, как он ее нашел), прибегая к особым способам (мы их тоже видели). Совсем не было нужды. Достаточно бы первого намека (в органе известного направления), а затем прямо можно перейти к высоким словам заключения: *статья «Третий путь» — есть измена пути свободы.*

Да, да, так именно Вишняк и выражается: путь свободы. Все, сказанное выше, не позволяет нам сомневаться, в каком обороте здесь этот путь преподнесен, что под ним разуметь надо: разуметь, конечно, не свободу и не путь, а просто всех *левых* и левизну вообще. Символический Вишняк говорит: путь свободы — это «мы». Кто не «с нами», тот и не на пути свободы; даже крепче, пожалуй: тот *против* свободы.

Заметим: Вишняк *не* символический очень способен понять гротеск такого оборота, такого положения. Он и понимает (см. его последнюю статью в «Днях»), но... понимает лишь тогда, когда спускается внутрь своего «левого» круга, когда дело идет о борьбе левых партий между собой, или даже о споре между двумя однопартийцами. В таком своем споре — с Лебедевым — Вишняк отлично призывает к «мужественной правде, к готовности применить оружие критики не только в отношении к противнику, но и к себе»; он признает невозможным (и «гротескным», конечно), чтобы левый партиец говорил: «Партия — это я!». Ну вот, а я только расширяю дело, соответственно реальности; и тоже нахожу неутешительным, даже вредоносным (хотя и смешным немного) тот факт, что все *левые*, — вообще, — постоянно говорят: «Свобода — это мы!».

Словами-то не говорят, положим (да и ведь Лебедев словами не сказал, «партия — это я»). Но *так* живут, отсюда действуют. Ни обычными, ни тем менее вишняковскими способами, нет нужды доказывать, насколько всосалось в жизнь, и как непрерывно в жизни реализуется, исходное положение: путь

свободы — путь *наш:* кто с нами, тот делает дело свободы и за свободу; все остальные — против свободы.

Почему Кускова, Сухомлин «за свободу?». Потому что «левые», потому что «с нами» (даже в одном органе с Вишняком). Чернов в другом, но тоже в левом, значит — тоже делает дела свободы. Бердяев еще недавно был не «с нами», т. е. против свободы; но вот, поплыл на веселой лодочке «Верст» в сторону... чего разбирать? явно же — в левую! — и оказался «с нами», в вишняковском левом органе: *следовательно* — на «пути свободы».

Фактическая деспотия, которую являет подобный «путь свободы» (т. е. общая среда «левых») — лишь естественный всего этого результат. Растущая подозрительность — тоже. С деспотией подозрительность неразлучна. Мало-помалу, вся «деятельность» левых свелась к выслеживанию, кто не «с нами» (т. е. значит, «правый») и к борьбе со всеми этими «правыми». В эмиграции, в настоящий час, такая борьба — единственная, без спора дозволенная левыми кодексами; поэтому она и сделалась для «левой» части эмиграции главным, важнейшим, занятием; войной, — несколько эфемерной, бескровной, — но всепоглощающей. Рядом потрескивает, правда, огонек борьбы внутренней, домашней, межпартийной, межгрупповой, Вишняка с Лебедевым, но не этому захолустному огоньку подпалить духовные «левые» устои.

Что ж, *«как было, так пусть и будет»?* Вишняк уверяет, что этого хочет Лебедев; а я боюсь, что и чувства самого Вишняка недалеко от того же. Считалось, ведь, что все не-Лебедевы, не-Талины, не-Вишняки, не-Кусковы, не-Черновы и т. д., — «правые»? Ну, и пусть считается. Велась Лебедевым, Талиным, Вишняком и др. совместная, неутомимая, всезахватывающая война с такими «правыми»? Ну, и пусть ведется. И все способы, какие были, — пусть будут...

По Вишняку, между *«мы»* (путь левый) и всеми остальными, т. е. «правыми» — ничего нет. Никакого расстояния; так, разве, маленькое пустое место, чтоб фронт развернуть, нельзя

же все время в рукопашную. Ну, а вдруг это маленькое пустое место и не пустое, и не маленькое? А что, если там, как раз, и находится любезная сердцу «левых» демократия, по головам которой они и ведут свое храброе наступление? Оттуда, из этого промежуточного места, многое видно. Видно, например, что армия настоящего противника, подлинных «правых», давно в разложении и совсем не страшна. Но и «левая» армия, ее безрассудительная война впустую, ее «путь свободы», менее всего соблазнительна. Левый путь так испорчен, что и поправлять, и починять его, может быть, не стоит. «Демократия» кое-что соображает, не такая уж овца, как думают левые генералы. Она ищет, где бы проложить настоящий «путь свободы». Не захотят левые помогать нам, не спецам, не профам, просто людям русским — не надо. Без них найдем. Как наш путь назовется, вторым, первым, третьим — все равно. Лишь бы не уводил в стороны, а вел прямо — к Свободе.

P. S. Эта заметка была уже написана, когда в «П. Н.» появилось несколько слов П. Н. Милюкова, касающихся меня. К сожалению, П. Н. М. так странно переплел упреки по адресу Мережковского с упреками мне, что, отвечая, все время приходится расплетать эту вязь, выделять касающееся меня. Но это необходимо. Мережковский, если захочет, ответит на свое сам.

Да, уверенности, что «Посл. Н.» придут (и еще логически) к тому, к чему они пришли, у меня не было. В моем согласии с П. Н. Милюковым, за все время сотрудничества моего в газете, ничего не было ни «двусмысленного», ни «недоговоренного»: я своей позиции никогда ни перед кем не скрываю. И, вероятно, позиция самого П. Н. не так уж далеко отстояла от моей: знаменитый «карандаш» ни одной у меня строки ни разу не вычеркнул. Главные линии наши совпадали (не говорю об оттенках): отношение газеты к «правым» — было созвучно моему; неоднократным заявлениям, что, по отношению к большевицкому насилию и большевикам, газета держится позиции

революционной, – отвечала моя непримиримость. У нас с П. Н. М. была разная метафизика; но это, по его же словам, политическому согласию нашему не мешало.

При первых признаках отхода «Посл. Нов.» от моей позиции, мне оставалось сделать одно: фактически прекратить сотрудничество, выждать, в молчании, пока позиция газеты, так или иначе, определится. Этот добровольный отказ от писательской деятельности, мое молчание, – *длилось 8 месяцев* (вряд ли газета могла счесть его только случайностью). Риск, что молчание, если «Посл. Нов.» повернуть в неприемлемую сторону, сделается перманентным, был принят заранее; о газете под редакцией Струве, конечно, не поднималось и вопроса.

Перемена позиции «Посл. Нов.», и очень, на мой взгляд, существенная, стала, наконец, для меня фактом. Но, однако, хотя за это время «Возрождение» уж освободилось от своего вождя и верных его последователей, никакая перспектива полного молчания не могла меня побудить к недостаточно сознательному шагу. Если многим другим ухода Струве и его правых сотрудников было довольно, – для меня этого было мало. Мне нужна была возможность, непременно в первой же статье, определить с точностью мою политическую позицию, провести главную ее линию. Ту же самую, конечно, которая проводилась мною и в «Посл. Нов.»; с линией П. Н. Милюкова она совпадала, – пока не перестала совпадать: и не потому, что сдвинулась *моя.*

Редакция «Возрождения» сочла напечатание таковой, если угодно, программной, статьи, – делом возможным. Это освобождало меня от сомнений, действительно ли произошли в газете перемены с уходом Струве. Если бы они не произошли, если б газета была такой, какой видят ее по сей день «Дни» и «Посл. Нов.», она статью «Третий путь» не напечатала бы. П. Н. Милюков прекрасно должен это понимать.

Но... П. Н. Милюков, вероятно, не знает содержанья статьи, а потому не поймет ни этого, ни моих пояснений. Он пишет исключительно о факте ее появления в данной газете, так, буд-

то там напечатано лишь мое имя под белым местом. Вишняк в «Днях» (см. выше ответ ему) тоже обращает свое раздраженное внимание, главным образом, на этот факт. Но Вишняк хоть пытается приспособить мой текст к своему раздраженью, Милюков же вовсе его не трогает.

Нет, очевидно, статья эта заплелась Милюковым в какой-нибудь узелок, когда перепутывался со мною Мережковский, и там она пропала. Ведь иначе вряд ли написал бы Пав. Н. что я, «перейдя к Гукасову», немедленно же «ополчаюсь» на него, П. Н. Милюкова. Там ни малейших «ополчений» и не бывало, если таковыми не считать кратких замечаний насчет спора Керенский—Милюков, причем *принципиально* прав был последний. Все, что я могу сказать, и может быть, скажу впоследствии, о Милюкове (к которому сохраняю, – хочет он того или не хочет, – самое неизменное расположение и справедливое уважение), – все это мне было бы просто сказать ему и в дружеском споре, где обычно никто ни на кого не «ополчен».

В заключенье, признаюсь: есть у меня одно скромное желание. Если П. Н. удосужится прочесть эти, восстанавливающие действительность, «пояснения», – не скажет ли он мне, что за новое мое лицо открыл, какого раньше будто не видал?

ПОЛИКСЕНА СОЛОВЬЕВА

I

Она терпеть не могла, чтобы знакомя кого-нибудь с ней, прибавляли «сестра Владимира Соловьева». Или даже говоря о ней, это сестринство отмечали. «Оттого, что мой брат “обыкновенный необыкновенный человек” – еще не следует, что я не могу существовать и сама по себе».

Между тем, прежде чем я и она увидели друг друга, мне рассказывали о ней именно как о «сестре» Соловьева, стараясь

как будто заинтересовать этим; совершенно напрасно, ибо сразу можно было догадаться, что в ней интересно, главным образом, не это.

Самого Вл. Соловьева мне приходилось встречать с ранней юности. Может быть, именно потому он как-то и не останавливал на себе внимания, такого, какого был достоин. Юность (всякая) любопытна, но не больше, и любопытство ее неразборчиво. В моем кругу, кстати, оказывалось немало людей разнородных, новых для меня и более «известных», чем Вл. Соловьев, и, на тогдашний мой вкус, более приятных.

Он только наезжал в Петербург, но часто, и встречала я его в мои ранние и последующие годы в самых разных местах. Помнится встреча одна из первых, — не первая, конечно.

Где-то на Моховой или Пантелеймонской был тогда очень гостеприимный дом г-жи Оппель. Молодой поэт Червинский (рано умерший) говорил, что стоит кому-нибудь прийти и сказать: «Меня душит реакция», чтобы быть принятым с распростертыми объятиями. Не знаю, насколько это верно: там бывал, правда, Гольцев, тогдашний редактор «Русской Мысли», и однажды, к концу ужина, провозгласил тост: «За мою возлюбленную К.!». Тост вызвал шумные одобрения, и, кажется, только мне не удалось в то время догадаться, что эта возлюбленная была — Конституция. Но, с другой стороны, в этом же уютном доме, где на двух стульях у чайного стола, обычно спали две таксы, желтая и черная, — бывал постоянно Лесков: вряд ли его душила реакция.

В этот вечер, за длиннейшим столом в столовой, мы с Лесковым оказались рядом. Вл. Соловьев — напротив. Он постоянно вскакивал и хохотал — тем его «знаменитым» смехом, к которому трудно было привыкнуть, такой он был жуткий: с визгом, с открытым темным ртом.

Лесков (лицо у него казалось мне довольно обыкновенным, немного холодным, но скорее приятным) обстоятельно говорил мне что-то о драгоценных камнях, показывал свои кольца и между ними одно — с громадным александритом. С этим

перстнем он, по его словам, никогда не расставался. Было шумно; вдруг стало еще шумнее на минуту и — просьба внимания: Владимир Сергеевич прочтет свою новую поэму.

Соловьев поднялся и зачитал, прерывая чтение хохотом, — ему вторили застольники (не всегда громко). Признаюсь, что и самая поэма, о каком-то пушкинском капитане, и вся соль ее, пропала для меня даром. Ничего не пояснил и эпилог, с тенью неизвестного князя Мещерского в облаках, ни того менее хохот автора.

Гораздо интереснее был для меня конец вечера: с молодежью, детьми хозяйки, кажется, и с товарищем одного из сыновей, юным гардемарином. Мы забрались куда-то в самую глубь квартиры, в какую-то спальню, и этот гардемарин принялся читать нам «новые стихи», — дикие, — и казавшиеся нам прелестными (напоминаю, что это была первая заря «декадентства»: мое безразличное «хочу того, чего нет на свете» только что было написано и никем к печати еще не принято). Гардемариновские стихи были, впрочем, особенно дики, но, кажется, не плохи (поэт через год умер).

О поэме Соловьева мы (я, по крайней мере) в этот вечер и не вспоминали.

Кратких встреч с Соловьевым было, как я говорю, очень много за эти годы (девяностые). У баронессы Икскуль, у милейшего друга нашего, графа Прозора (такого рассеянного, что однажды, увидев нас в собственной передней, стал искать шляпу: «Вы уходите? Я тоже, скука такая...»). Вместе с Соловьевым, и, кажется, по его приглашению, читали мы на двух «светских» вечерах, Баратынского и Алексея Толстого, в громадном двусветном зале на Невском. Хозяйкой этих вечеров была «дама» Соловьева, известная Хитрово (она мне показалась весьма неинтересной, смахивающей на русскую дородную бабу). Соловьев везде был тот же: не везде так весел, как у г-жи Оппель, в последние годы совсем даже не весел; но его хохот оставался тем же, и еще больше поражал, когда раздавался внезапно, после долгого, серьезного, почти угрюмого молча-

ния. Неудержимая склонность к остротам, не всегда острым (она была и у сестры), также не покидала его.

Не помню, как это вышло, но раз мы отправились, в белую ночь, в тогдашнем «ландо», вчетвером на острова: я с Мережковским, Соловьев и милый Михаил Альбертович Кавос, преданный поклонник баронессы Икскуль. Соловьев был очень весел и непрерывно острил. Кто-то из нас сказал: «Какой это древний философ умер от черепахи, которую птица уронила ему на лысину?». Соловьев захохотал на всю Неву и тотчас заявил, что «лучше умереть от черепахи, чем от рака!».

Но я не пишу о Соловьеве: встречи были слишком кратки и незначительны, а слышали мы о нем то же, что и другие (в последнее время он уже был очень известен), — я, пожалуй, немного больше, — и о нем, и о семье Соловьевых, — через Поликсену: с ней мы познакомились, когда она переехала в Петербург, во второй половине 90-х годов. И наши отношения не прерывались, можно сказать, до ее смерти: последнее письмо она прислала мне уже в Париж, а вскоре до нас дошла весть о ее кончине в московской больнице (вести и письма из России в 20-х годах еще доходили).

— Она очень странная, — сказала мне как-то Зинаида Венгерова. — Ходит в пиджаке, стрижет волосы, говорит басом. Ее псевдоним Allegro.

Рекомендация неутешительная. И хотя верная — глубоко фальшивая.

В Петербурге существовал тогда «Женоклуб», воспетый впоследствии Игорем Северяниным. Каюсь, для меня (да и не для меня только) он был предметом забав и подшучиваний: ведь в самом деле, почему называлось это общество женское — «взаимно-благотворительным»? Нельзя себе представить, чтобы дамы, там бывающие, друг другу благотворили, да и как, и зачем? Не знаю, были ли там «члены», «председательница» и т. д. Раз меня зазвала туда Венгерова, днем. Я увидела несколько пустых комнат, по коридору ходил истопник.

Та же Венгерова позвала меня в другой раз вечером:

– Пойдемте в Женское О-во. Там «чашка чаю», и будет Поликсена Соловьева.

Действительно, чашка. Длинный стол, масса неизвестных мне дам. А вот и Поликсена.

Владимир Соловьев считался красивым. Если бы сбрить ему бороду, уменьшить роскошную шевелюру – он был бы, пожалуй, совсем Поликсена. А Поликсена определенно некрасива. Волосы, еще темные тогда и короткие, лежат со лба не гладко, но и не пышно; у нее толстые губы и смуглые щеки.

В тот вечер она была очень оживлена, мила, разговорчива. Мне еще не приходило в голову, что такова она всегда... в обществе женщин, и совсем другая, молчаливо осторожная, – в другом. Со временем это объяснилось для меня просто.

Мы стали видаться – у меня, потом и у нее. Она переехала в Петербург с матерью, Поликсеной Владимировной, и с преданной им обеим, хлопотливой и толстой, «вечной» Марьей Михайловной. Переезд совпал и с пребыванием в Петербурге Вл. Соловьева. Поликсена мельком сказала, что у брата «секретарствует»; мне естественно подумалось, что это и есть причина переезда – но ненадолго: стоило чуть ближе узнать Поликсену, чтобы понять: к брату, этому «обыкновенному необыкновенному человеку» она относится очень независимо, делаться его «секретарем» не в ее характере, и Москву она для этого не покинула.

При общей нашей несклонности к разговорам в малейшей степени интимным эта причина долго оставалась мне неизвестной, – пока мы не встретились у Поликсены с миловидной дамой, блондинкой, женой доктора М. П. Манасеина. Ее мужа перевели в Санкт-Петербургский Павловский госпиталь. Между этой «Наташей» и Поликсеной оказалась крепкая дружба, с оттенком обожания со стороны Поликсены, чего она, впрочем, не высказывала. Как-то мать, Поликсена Владимировна, обычно-жалобным голосом, пояснила о переезде: «Сена захотела... Уж куда иголка, туда и нитка...».

Не знаю, где жил Владимир, но семья поселилась на первый раз в маленьком деревянном домике, в очень глухом тогда переулке Петербургской Стороны. Туда вечером было даже страшновато ехать на сонном извозчике, ковылявшем по «арбузной», как мы говорили, мостовой. Но была в этой глуши и своя провинциальная прелесть: сады за серыми заборами, узкие дощатые тротуары... Там, тоже в маленьком домике, начал, кстати, и Розанов свое петербургское житье.

Приезжая в домик на Петербургской Стороне — попадаю в царство женщин (пока еще не широкое). Мать Соловьевых — худенькая старушка, с добрым страдальческим лицом, румяная хлопотунья Марья Михайловна, сама Поликсена и, почти всегда вечером, блондинка «Наташа». Эта дама меня не интересует, хотя она не неприятна и, кажется, не глупа; я считаю ее неизбежным придатком Поликсены и весело с неизбежностью мирюсь, тем более что придаток характерен, а Поликсена очень чутка: ей хочется, чтобы Наташа нравилась всем. У Натальи Ивановны маленькая дочь и требовательный муж (позже, бывая в их доме, не трудно мне было найти его и пренеприятным).

О чем мы говорим? Почти всегда о литературе, о стихах. Ведь Поликсена пишет (и печатает) стихи. Она всегда — от мужского имени и за подписью «Allegro». Какой неподходящий псевдоним! Оказывается — случайный, и Поликсена согласилась, что не очень подходящий.

Что такое ее стихи?

Вот тут надо остановиться и дать сначала общий облик Поликсены в связи со всей семьей Соловьевых.

Типичная московская профессорская семья того времени и особенно талантливая, — с ней сходна другая такая же — Лопатиных: дети обеих семей выросли в тесном общении*. Та-

* Очень интересны воспоминания покойной Екатерины Михайловны Лопатиной, подруги Поликсены Соловьевой, напечатанные уже здесь в эмиграции, в парижском журнале «Современные Записки».

лантливость не всегда и не совсем то же, что талант. Все члены одной семьи могут быть талантливы; у кого-нибудь из них обнаруживается талант, — у других остается их талантливость, более или менее яркая, но это как бы рассеянный талант.

Выделив Владимира — все остальные Соловьевы были «талантливы»; и те, которых мы знали только по рассказам, как старший Всеволод и Михаил (любимый брат Поликсены, она его ставила выше Владимира), и в особенности сама Поликсена. Общая талантливость, как известное внутреннее свойство, может проявляться в чем угодно, смотря по личности: в искусствах, но и в любви или доброте. Владимир писал стихи, но мы его знаем не как поэта; все свои разнородные способности он вложил в одно главное дело — этим перешагнул за грань «талантливости»... Но вернемся к Поликсене.

Она писала картины и портреты (долго посещала московскую школу «Живописи и ваяния»). Она писала стихи, печаталась в журналах, издала несколько книжек. Пробовала себя и в прозе, в беллетристике. В последние годы перед войной даже издавала детский журнал «Тропинка» вместе с Н. И. Манасеиной, у которой вдруг открылась способность писать исторические романы для детей. Следует упомянуть также, что Поликсена некоторое время занималась своим редким голосом, чудесным контральто: мне случалось несколько раз слышать ее, просто в комнате, без аккомпанемента, и это было удивительно. Но не знаю, пела ли она когда-нибудь, если слушателей было больше двух—трех человек.

Я не знаток живописи, но мне всегда казалось, что в рисунках и портретах Поликсены чего-то не хватает: может быть, какой-то техники, но такой важной, что она уже не техника. Видно было (мне, по крайней мере) прилежное старание выразить что-то, может быть, настоящее, для нее понятное и важное, что, однако, не выражалось.

С ее стихами и литературой дело обстояло немного иначе, потому что сложнее.

* * *

Московская профессорская семья того времени (т. е. 60–70-х годов), – как семья Соловьевых и Лопатиных*, – была явлением своеобразным, с обстоятельными традициями и собственной атмосферой. Атмосфера интеллектуальная, но отнюдь не интеллигентская. Кажется, тогда и слова «интеллигенция» не было (его изобрел Боборыкин), но это ничего не значит: достаточно сравнить тогдашнюю петербургскую курсистку с московской барышней, любой из дочерей Соловьева и Лопатина, чтобы увидеть, в чем разница.

По рассказам Екатерины Михайловны («Кати» Лопатиной, с которой мы много виделись в эмиграции) девочек не было в обычае отдавать в учебные заведения, оне воспитывались дома, гувернантками. Тесное общение с братьями, интеллектуальная атмосфера дома имели, конечно, свое влияние на женскую половину семьи, однако систематического образования ни сестры Соловьева, ни Катя Лопатина не получили. Поликсена, как младшая, росла даже в большей близости к сестрам, кузинам, нежели к братьям своим и Лопатиной. Ее талантливость, – ранняя склонность к искусству, к живописи и литературе – даже природный ум (несомненно больший нежели у сестер и у старшего брата Всеволода), на всем этом осталось влияние и условия ее молодости, воспитания и женского окружения. Тут разгадка, почему она, как бы избегая мужского общества, расцветала среди женщин. Очень самолюбивая, она понимала, что ум ее не получил естественного развития; она боялась – особенно при несколько наивных и внешних заботах о своей мужественности, – какого-то неравенства, – действительного, а не того, конечно, о каком часто и не подозревают так называемые «умные» женщины, смело затевая «умные» разговоры. Среди женщин она была уверена в себе, эта уверенность меняла ее, раскрывала и часто думалось даже,

* Опять отсылаю читателя к воспоминаниям Е. М. Лопатиной.

что самолюбивый страх ее — преувеличен. Может быть, впрочем, ей и помимо сознания (вернее, чувства) своего превосходства вообще нравилось общество женщин; ее душа, женственная в самой глубине, лучше их понимала.

Если не мужественности, то мужества было немало в цельной натуре Поликсены. По-соловьевски страстная, скрытная — и прямая, она была религиозна как-то... непотрясаемо и точно насквозь. Никогда о религиозных вопросах не говорила; даже о брате Владимире с этой стороны. Нельзя вообразить ее с кем-нибудь тут спорящей. Даже верила с такой неуязвимой твердостью, что кто-нибудь сомневающийся вызывал в ней искреннее удивление. Неверие казалось ей невероятным. Она как будто знала, что и рассуждать о таких вещах не нужно, потому что они есть, как есть любовь и вечная жизнь. Не боялась смерти, — своей; в смерти другого страшила ее возможная длительность разлуки: «Сколько нужно терпения; может и не хватит».

* *
*

Но два слова о стихах «Allegro».

У нее был тонкий литературный вкус и способность к легкому стихосложению (завидная для меня). Владимир тоже обладал этой способностью. Повторяю, между ними было немало черт сходства, — полувнешних, у Поликсены смягченных: в склонности к юмору, к постоянным остротам (хотя бы неудачным), даже громкий смех Поликсены чуть-чуть напоминал братнин. Но в ее юморе чувствовалось больше доброты. В «серьезные» стихи она очень много вкладывала своего, себя со своей «талантливостью», но, как и в картинах, чего-то в них недоставало. Надо, впрочем, помнить, что это было время обновления поэзии (говорю в общем; о чистом «декадентстве», которое меня всегда отталкивало и о последующем течении, получившем странную кличку «символизма», скажу, при случае, дальше). С этой «обновленной» поэзией стихи Allegro не

имели никакой связи и казались мне тогда «старыми», в духе... ну Майкова, что-ли, с меньшим количеством удачных строк. У Allegro такие строчки часто попадались, однако, и они, в связи с тем, что за ними угадывалось, позволяли мне относится к стихам Поликсены с искренним утверждением; судить их с точки зрения «старости» не было нужды (да и как это доказать?) — из этого только вышло бы бесполезное огорчение. Мне кажется, кроме того, что Поликсена сама это чувствовала иногда. Мы случайно написали два чем-то сходных стихотворения; выслушав мое, Поликсена сказала: «Как будто тоже самое; но я о своем сейчас и думать не хочу».

Стихи в журнале «Тропинка» бывали у нее прелестные.

Последние годы века мы часто ездили за границу. Во время одной из этих отлучек умер (летом 1900 г.) Владимир Соловьев. Поликсена говорила со мной об этой смерти по-своему сдержанно и просто. Известно, что умер он не от какой-нибудь болезни, а просто потому, что «весь себя изжил телесно», т. е. как бы горел все время и наконец догорел. «Католики будут говорить, что он перешел в католичество, а он никуда не переходил, никуда и не мог перейти; он был в той церкви, которой еще нет. Из нее и переходить некуда».

Михаила Соловьева (любимого брата Поликсены, о нем она часто говорила) мы мало видели: раз, когда он был у нас в Петербурге, и потом в один из наших приездов в Москву, в его квартире на Арбате (в том же доме, в другом этаже, тогда жили и Бугаевы, — Боря Бугаев — Андрей Белый от Соловьевых почти не выходил). В этой семье, тоже явно «талантливой», было что-то неуловимо странное, может быть — предчувствие трагедии.

Ранним вечером, весной, звонок. Выхожу в переднюю. Наталия Ивановна Манасеина, бледная, в волнении.

— Мы должны были сегодня к вам, но мы сейчас, с Сеней, едем в Москву. Они оба умерли.

— Кто? Как оба?

— Михаил Сергеевич умер, и она застрелилась.

Когда, после возвращения из Москвы, мы с Поликсеной увиделись — она была спокойна. Только лицо потемнело, и что-то в нем неуловимо — и уж навсегда — изменилось.

Лишь вдолге узнались подробности. Слабый вообще, Михаил Сергеевич не выдержал последствий гриппа — воспаления легких... Ольга не отходила от него до последнего вздоха. Потом, едва видя, куда идет (чуть не вошла в зеркало вместо двери), добралась до своей комнаты, выпила отравы (зеленой краски какой-то), приложила револьвер к виску и спустила курок. Выстрел раздробил череп.

Хоронили вместе, ее с обвязанной головой.

— Как же... не подумала она о сыне? — спрашиваю неуверенно.

Поликсена не отвечает. Она, такая христианка, слишком понимает тут язычницу Ольгу. Мысль о сыне ей, вероятно, и в голову не пришла, как будто его и не было. Понимаю все это и я. И мы молчим.

Кстати, о Сереже Соловьеве, так рано пережившем трагедию. Через несколько лет — он близкий друг Блока и Андрея Белого. Поэт, выпустил книгу стихов (талантливых, конечно). Женился на сестре первой жены А. Белого. Потом сделался православным священником. Потом (уже во время революции) перешел в католичество. Потом будто опять в православие. Последнее по слухам, за которые не отвечаю. А в дальнейшем прекращаются и слухи.

ТО, ДА НЕ ТО

Если время остановилось (как иногда кажется) — то это было *теперь*. Но если оно не остановилось с тех пор, как началась эмиграция, — надо сказать, что этот вечер был давно. При малейшем внимании и сравнении увидишь давность. По коекаким признакам год можно определить.

Париж, май, «литературный» эмигрантский вечер в каком-то сарайном (совершенно сарайном) помещении от какого-то кафе, довольно темном, столики без скатертей, скамейки. С участием «молодежи» эмигрантской, – ну, какой там эмигрантской! Просто петербургской еще. Полная эмигрантская неустроенность, наивность, невинность. Даже в том, что были приглашены какие-то французские «представители» молодежи (один был привезен мной, – и как же он мне надоел! *). Чуть ли не желали показать этим «представителям» (наши представители), что мы тоже не стеклом утираемся, что у нас была «Бродячая Собака» **, которую ничего не стоит перенести в Париж. Это, – а также весь образ того *времени* и его обстоятельств, – будет ясен из моего стихотворения. На вечере прочитанного (я его приведу ниже), и из кучи всяких мелочей: например, установки молодыми нашими распорядителями двух суковин у дверей, налево и направо, с надписью «вехи сменять строго воспрещается».

Собственно, представителей нашей молодежи было два, и те вовсе не настоящие, в смысле «Бродячей Собаке». Настоящих «собачистов» еще тогда в помине не было. О старших и говорить нечего (мы, например, на «Собаку» в СПб-ге всегда смотрели из определенного отдаления, с определенными о ней мыслями).

Из двух наших «представителей» один музыкант был мой большой приятель, деятельный член моих «воскресений» и даже секретарь Рел. Фил. О-ва (хотя к религии отношения имел мало) ***. Другой **** поэт был столь юн, что и не мог

---

* René Crevel, начинающий писатель, автор романа «La mort difficile», вскоре покончивший с собой.

** Литературное кабаре, пользовавшееся большим успехом в предреволюционные годы.

*** Николай Смоленский.

**** Владимир Познер.

бывать в СПб-ских «обществах», когда они существовали. И вот, кстати, знак, что с того вечера время не остановилось: юный теперь давно женат, отец семейства и сотрудник французских газет; а не юный — где-то в Новом Свете и годы, как заделался американским подданным.

Стихотворение мое прямо было о Собаке:

БРОДЯЧАЯ СОБАКА

Не угнаться и драматургу
За тем, что выдумает жизнь сама.
Бродила собака по Петербургу
И сошла собака с ума.

Долго выла в своем подвале,
Ей противно, что пол нечист.
Прежних невинных нету в зале,
Завсегдатаем стал чекист.

Ей бы теплых помоев корыто, —
Чекистских красных она не ест.
И обезумев, стала открыто
Она стремиться из этих мест.

Беженства всем известна картина,
Было опасностей без числа.
Впрочем, собака до Берлина
Благополучно добрела.

«Здесь останусь, решила псина,
Будет вдоволь мягких помой;
Народ знакомый, родные лица,
Вот Есенин, а вот Толстой».

Увы, и родные не те уж ныне!
Нет невинных, грязен подвал.
И тот же дьявол-чекист в Берлине
Правит тот же красный бал.

Пришлось собаке в Берлине круто.
Бредет, качаясь, на худых ногах —
Куда? Не найдет ли она приюта
У нас, на сенских берегах?

Что ж? Здесь каждый — бродяга-собака,
И поглупел — скажу не в укор.
Конечно, позорна собака, однако,
Это еще невинный позор.

Можно сказать давность! Время-то эмиграционное не только не остановилось — годы удвояются, утрояются, если присмотреться, как все (и мы сами) изменилось...

Но кое-что — тоже мелочи твердо осталось на местах. Эти твердые мелочи даже особенно изумляют, когда уж поймешь неостановимый бег времени.

Вечер мне и пришел в голову из-за одной такой *не* изменившейся мелочи.

Юный (тогда!) поэт сочинил куплеты, которые молодой (тогда!) музыкант положил на музыку. Вдвоем они их исполняли. Куплеты были забавны. Об эмигрантской «прессе». О двух газетах (их тоже было две: «Общее Дело» и «Последние Новости»). Одна, в куплетах, называлась «Последнее Дело» (бурцевская), другая — «Общие Места» (милюковская).

Что там ни говорилось в буйном «Последнем Деле» — «Общие Места» отвечали передовицами, которые, в куплетах неизменно начинались:

«Мы не раз указывали».

«Мы давно отметили».

«Мы все время предупреждали».

«Мы очень рады констатировать».

Как было не вспомнить этого вечера, этих куплетов. Читая передовицу «Последних Новостей», хотя бы от 13 февраля 28 г.! «Это то самое, что мы говорили...», «Мы давно указывали» — «начинает даже казаться, что без промежутка все передовицы «П. Н.» были такие. Обман зрения, конечно, но не

обман, что очень их, таких, много было и длятся они неизменно.

Если разобрать повнимательнее, эти «мы давно указывали» разделяются на два сорта: благожелательные и осудительные. В благожелательных — «мы не можем не приветствовать», что такой-то приходит к «нашим мыслям», в осудительных — «мы не можем не отметить», что вопреки тому, что «мы давно указывали», такие-то не послушались и вот во что превратились.

Последняя передовица — приветственная. Относится она к Мельгунову, буйно-непримиримое поведение которого и его «Борьба за Россию» много крови испортили «Последним Новостям». Теперь, оказывается, Мельгунов приходит к тому же, на что «мы давно указывали», говорит «то самое, что мы давно говорили» (дело идет о нежелании в России царизма, но выборного управления, т. е. республики). И хотя в мельгуновской «Борьбе за Россию» напечатано это со слов «курьера», курьеров же посылать в Россию ни в коем случае нельзя («мы это всегда утверждали»), то Мельгунову теперь ничто ни мешает идти прямо в Р. Д. О.*. Правда, так как курьеров посылать нельзя, то лучше было бы просто прислушаться к тому, что «мы давно говорили» и давно пойти в Р. Д. О, чем ссориться из-за активизма (тем более, что «мы всегда указывали», что в известном смысле и «мы» не против «активизма»). Однако лучше поздно, чем никогда.

Оставляя в стороне самую тему спора (или согласия), не касаясь некоторых замечаний «Посл. Нов.» насчет ложного национализма правых и «непредрешенства» (о «непредрешенстве» и у меня громадное право имелось бы сказать «мы давно указывали») — я займусь другим. И, пожалуй, чем-то даже выходящем за грани политики. Впрочем, нет никакого, самого маленького и частного политического вопроса и спора, который не выходил бы за грань политики, и даже именно там, за

* Республиканско-Демократическое Объединение.

гранью и не решался бы, т. е. приводил спорящих к соглашению, или не приводил.

Это касается, конечно не только «политики», — но будем держаться данного случая.

Могут ли когда-нибудь согласиться «Посл. Нов. « с «Бор. за Россию», или, уточняя, Милюков с Мельгуновым? Я утверждаю, что *не* могут даже если бы не те или другие слова их совпадали, а все решительно, до последнего.

Тут не в данных личностях дело; я и беру их не лично, но — как пример несоизмеримости человеческой жизни и воли с человеческим разумом и *словами* — в любой области.

Данный маленький случай тем и характерен, что оба «политика» вряд ли знают, что дело не в разных словах, которые они произносят (говоря — можно ведь договориться!), а в той, скажем «ауре», которой окружены слова каждого. Не в спиритическом смысле, и даже до «мистики» отсюда весьма далеко,— нет, я говорю аура, подразумевая нечто, если не всеми, в его важности, сознаваемое, то все же весьма несомненное и обыденное. Не потому Мельгунов не пойдет в «Республиканско-Демократическое Объединение», что он не назовет себя республиканцем и демократом, и не потому Милюков будет против «Борьбы за Россию», что и он не скажет (искренно), что он не против «Борьбы за Россию». А потому, что эти слова — «республика», «демократия» «борьба» и даже «Россия» — находятся в разно окрашенных аурах для обоих и даже по консистенции различны, как два несоединимых химических элемента.

Углублять взятый пример можно без конца: везде будем открывать разность одинаковых слов, разность, которая шутя опрокидывает все «разумные» соображения, решает по-своему и направляет волю согласно этому решению.

Вполне искренно «П. Н.» указывают: «Это как раз то самое, что мы говорим». И хотя это «то самое» — но то же ли самое, если одинаковое слово «большевики» уже является окутанным разной атмосферой на страницах «П. Н.», в ином аспекте,

и если можно сказать, – иные вкусовые, физиологические ощущения вызывает (нарочно дохожу до физиологии, ибо «аура» и в ней имеет свою реальность).

Мне скажут: да эдак двинуться ни с кем вместе нельзя, если «ауры» у всех различны и «договоры» и «слова» ничего не значат. А уж в «политике»-то, – на чем же еще держаться?

Преувеличение всегда неверно. Не только аура того или другого *слова* может быть для многих дана одноцветная, но эта одноцветность или сгармонированность двух цветов (тоже дающая одноволие) могут и приобретаться. Я только говорю, что следует с большей внимательностью отнестись к этой подсловесной или засловесной области и учитывать ею решающую роль. Как ни странно, но чем мы большее значение придаем словам, чем мы исключительнее «разумны» – тем скорее (особенно в «политике») остаемся в дураках.

Нельзя также сказать, чтобы через слова, хоть и одинаковые, не сквозила порой безнадежно разная аура. «Политики» ее ощущают, но словесники могут подчас и проследить. По поводу одного и того же одни и те же слова, но в другом каком-то расположении, фраза в иной округлости, рядом – с вот этой, второй, – и видишь, как замерцало, заменялось что-то под словами, какой-то свет внизу передвинули.

Если вернуться к нашему примеру и одной грубой чертой отметить разность сложных аур, то черта эта будет – знаменитая «непримиримость». В ее цвет (все говоря en gros*) окрашена мельгуновская «Борьба за Россию», и как раз эта окраска отсутствует в «Последних Новостях». Не вдаюсь ни в какие о ней рассуждения, ограничиваюсь фактом: этого анилина в «П. Н.» нет, – ни капли. А потому те же слова, напечатанные у Милюкова и Мельгунова, могут быть такими же не одинаковыми, как не одинаково белое и черное, и к совершенно разным ведут следствиям.

* в общем (*фр.*).

Даже одной этой черты в нашем узком, частном, примере достаточно, чтобы призадуматься над тем значением, которое мы так опрометчиво придаем *словам.* Еще более опрометчиво придавать значение не только словам вообще, но словам собственным, а чужие слышать лишь тогда, когда они с собственными совпадают или резко внешне им противоположны. Своя аура под этими словами, конечно есть. Но несознаваемая, даже принципиально отвергаемая — она, в конце концов, и на слова бросает какое-то странное отражение, растягивая в разные стороны, удивляя этим растяжением и бесполезностью.

«Мы давно указывали...». «Мы говорили то же самое...». И ведь действительно, как будто и указывали, и говорили. Но приветствуется ли совпадение чьих-нибудь слов с «нашими», осуждается ли несовпадение — никаких последствий это не имеет. Не было их и в те времена, когда на заре нашего эмигрантского дня юный, под музыку молодого, пел свои куплеты.

Мы давно указывали...

Не было ничего и в дальнейшем, не выйдет ничего и теперь, из приветствия Мельгунову, который говорит «то самое, что мы говорили», «то самое, о чем мы давно предупреждали...».

Ну да, то же самое, я верю, что «П. Н.» говорят это искренно... И, я скорее могу представить себе, что Мельгунов, на худой конец, пойдет сажать капусту, но усадить его, республиканца и демократа, на диван Республиканско-Демократического Объединения Милюкову не удастся.

Я не политик и не берусь судить, хорошие или худые они оба политики. Но это я знаю, что если уважаемый П. Н. Милюков и хороший — то, во всяком случае, не для нашего несчастного времени, несчастного места и положения.

ХРИСТИАНЕ НА СЛУЖБЕ

Знают ли это христиане? Очевидно, нет. Знают ли, что делают те, кто известными христианами и христианством пользуются? Сомневаюсь. Все бессознательно или полусознательно; почти «само так вышло». Оттого и вины нет ни на ком, хотя факт остается довольно страшным. В капле воды отраженный, — в частице нашей эмиграции, — он все-таки страшен.

Буду говорить начистоту. И без всякой полемики: очень надоела современная полемика «друг о друге», — а уж читателю-то! Не «подкидному», каким подозреваю «Читателя» в «Днях», а настоящему, конечно *.

Итак — начистоту. О настоящем моменте, прежде всего; о том, что я в нем вижу. Ошибаюсь — пусть мне докажут это: я всегда с готовностью иду на признание своих ошибок.

За 10 лет нашего изгнанничества многое изменилось, — и в России, и во всех странах мира. Было бы печально, если бы эти перемены прошли мимо сознания русской эмиграции, если бы она осталась точь-в-точь такой, как была 10 лет тому назад, со всеми теми же концепциями и выводами. При нормальной эволюции одно должно было остаться неизменным — *отношение* к данной русской «власти» и — *воля к борьбе* с этой властью, так как сама она осталась неизменной; абсолютно та-

---

* М. В. Вишняку, впрочем, я еще не надоела. Все он продолжает обо мне, да о себе (о деле — ни полслова), да обижается, зачем у меня кому-то в ответе выражено «уважение», а ему нет, и — вдруг — открывает неожиданно — новые вещи: мне, признаться, думалось, что соединение «левое» (партийное, групповое и т. д.) есть соединение «идейное», что поэтому и можно брать иногда вообще «левых». Но что же оказывается? Оказывается, вовсе это не *идейное* соединение, а... *родовое!* Если родовое, я прошу Марка Вениаминовича Вишняка извинить меня: я о семейных делах в печати не имею привычки говорить; с ним это вышло у меня по незнанию.

кой же губительной и порабощающей, какой была 10 лет тому назад.

Изменившаяся обстановка *вокруг* этой неподвижной точки требует лишь изменения *формы* борьбы; отказа от некоторых, ставших непригодными; сознание других, более соответственных времени, а потому и более действительных.

Такова, в данном отношении, нормальная эволюция русского эмигрантства, его логический и естественный путь; особенно естественный для части политической, для всех остатков политических партий и группировок, оказавшихся за рубежом.

Когда и как случилось, что именно эта, политическая, часть эмиграции — сошла с нормального пути?

Я говорю сейчас о политически «левых», — всех оттенков; моя тема — новое явление как раз в этой среде. Кроме того, все же они находятся на поверхности нашей, пусть жалкой, политической жизни. Всякая организация и соединения «правых», даже умеренных, но открытых, настоящих «правых», являют вид такого безнадежного бессилия, от внутренних причин исходящего, что вряд ли стоит этими «объединениями» заниматься. Никакой, даже самый удачный, личный состав не спасает организацию, если она строится на отгоревшей во времени идее.

А чем более крайне правые — тем в более грубый примитив облекается их бессилие.

Впрочем, о правых я еще скажу два слова, когда подойду к центру моей темы.

Как же и когда у левых политиков и общественников отказ от прежних форм борьбы — правильный тактически превратился во что-то принципиальное и, наконец, в отказ, — на словах еще не «принципиальный», но уже фактический, — от борьбы *вообще?* (Кое-кем, г-жой Кусковой, например, это уже поставлено и принципиально.) Слово «изживание» сначала приобрело права гражданства; затем выросло почти до лозунга; а ныне осложнилось и определилось: «изживать» — требу-

ется с особой психологией, с особо повернутым лицом к России, с особым, *«нео-патриотическим»*, чувством.

Все знают, о чем я говорю. Все знают, как широки объятия этого неопатриотизма. Два магических слова: *«интересы России»* – посмотрите, кто только не попал в эти раскрытые объятия?

Смешно заикаться о каких-то «формах борьбы», когда о воле в борьбе давным помина нет. Услышим невдолге и открытое, словами сказаное: «Интересы России требуют отказаться от *всякой* борьбы с советской властью».

Но вот данный момент: рядом с фактическим отказом от борьбы с врагом «внешним», – большевицким правительством, – яростная борьба «внутренняя», с «правой» частью эмиграции. На объективный взгляд – это борьба странная, почти загадочная. Во-первых – она не имеет прямого реального смысла: и правые, и левые эмигранты одинаково сейчас бессильны установить в России свои порядки. Во-вторых – борьба эта ведется левыми политиками (реальными!) вовсе не с действительными, открыто себя так называющими «правыми». И не с осколками каких-нибудь старых организаций, «чайных», «союза русского народа» или с преемниками таковых, погромными разными «братствами». Всех видов и родов «зубры» оставляются в сравнительном покое. Главный пафос левых эмигрантских кругов направлен на открытие каких-то все новых и новых «правых», и на борьбу именно с этими новооткрытыми.

Способы открытия очень характерны. Задается, например, вопрос: «Вы за интервенцию?» Никакой правый, самый последний правый дурак, не скажет *сейчас*: «Обязательно, за немедленную интервенцию; что бы шли на большевиков иностранные войска, да белую армию соберем, и айда, на Москву...». Для правого, для левого, для всякого, ясна невозможность чего-либо подобного, а потому, прежде всего, глупость вопроса. Но вопрос, тем не менее, предлагается. Ибо дело не в интервенции, которой нельзя реально ни бояться, ни желать, а дело

в испытании: какое у испытуемого принципиальное отношение к борьбе с советской властью? Испытание интервенцией — самое грубое, первое. Есть другие; они идут далее, утончаясь, и, в конце концов, — «правыми» оказываются все, еще сохранившие кое-какую «волю к борьбе», еще не дошедшие до «изжития» с особливым политическим умонастроением неопатриотизма, т. е. до отказа от «борьбы» с сов. властью *по всей линии*. Я не очень ошибусь, если скажу: в той мере, в какой ныне часть левой эмиграции признает советскую власть — эта власть, еще не признана ни одной европейской державой.

Здесь и разгадка борьбы с «внутренним» врагом, столь бессмысленной, если смотреть на нее, как на борьбу *за Россию* с угрожающими ей «правыми»; это в действительности борьба «с активистами» (как уже часто и говорится), т. е. с сохраняющими волю, — *за признание*.

Пусть слово «признание» слишком резкое и не совсем, поэтому, точное. Я не беру его назад: ведь процесс общей психологической перестройки, совершающийся на основах нео-патриотизма, идет именно в эту сторону; перестраивается психология как раз в этом направлении.

И вот факт новый, как будто неожиданный (и такой внутренно понятный): в своей борьбе за психологию нео-патриотического признания, левые круги стали пользоваться, как средством, как силой помогающей, — *христианством*.

Повторяю: вряд ли использовать эту силу было решено сознательно. Я указываю лишь, что использование происходит, именно *использование:* как иначе назвать действие, когда из чужой силы берется то, что можно приспособить к служению своим целям?

Здесь еще два слова о «правых» (настоящих). Широчайшее использование ими христианства известно; но оно *не ново*. Оно уходит корнями в прошлое, где, может быть, не всегда и было «использованием»... Теперь, особенно в среде крайних правых, это несомненно использование. Но оно в среде погромной, вроде сообщества г-жи Полежаевой с ее газеткой, не внушает

не только страха, но даже интереса: ничего, кроме привычного отвращения. Слишком знакомая грубость общих приемов, слишком откровенно сплетена эта «чайная» со всеми «комчайными» московскими... Да, это *уже* то же самое. Тексты «от Писания» насчет «Царя-священника», плакат: «Мы победим!», ниже: «С нами Бог!» — и тексты от РКП насчет «всемирной революции»; тот же плакат: «Мы победим!», ниже: «С нами Ильич!»... — Да ведь, это, случайно вывернутая, и то не совсем, та же самая перчатка!

И выверт ее, для большевиков, сейчас даже приятный. Если бы такой «организации» здесь не существовало, они, конечно, приложили бы все заботы, ничего бы не пожалели, чтобы такую точно создать. И с точно такими использованиями «богов», по их выражению.

Тут все грани стерты. Вернемся к явлению действительно новому. Посмотрим, как пользуются христианством в среде, которая пока еще его, в виде средства, не употребляла.

Ни для кого не тайна, что наши левые политические круги, партии и т. д., в общем своем составе, не имели никакого внутреннего отношения к христианству.

Очень ли давно самое слово «религия» считалось в этой среде синонимом «реакции»?

Да и теперь: кто будет спорить, что г-жа Кускова, или г. Вишняк, или г. Сухомлин, или даже вся редакция «Дней», или, наконец, г. Милюков, г. Талин и т. д. — остаются столь же глубоко чуждыми христианству, как были ранее? Они и сами тут спорить не будут, — зачем им притворство? Зная свою чуждость, они даже не берутся за использование этой силы своими руками, — поручают «спецам», из подходящих, конечно.

Кто же оказывается подходящим?

Обычный выбор по признакам «левизны» здесь частично отменен. Для такого случая выдвигается... не знаю, как назвать, пароль, лозунг, положение, — *«религия вне политики».* Положение, хотя чисто словесное (реально оно никогда не существовало, ибо нереализуемо), — вдвойне, однако, полезное:

служить и как бы ограждением, и, в то же самое время, признаком годности данного спеца.

Действительно: христиане, исповедующие такое «внеполитическое», всесмиренное, всепокорное, долготерпеливое, жертвенное, всепослушливое, высшее небесное, только небесное, христианство, — они и оказались подходящими слугами политического примиренчества г-жи Кусковой и г. Сухомлина с его «интересами России». Г. Сухомлин, учитывает, что сейчас роль христианства и церкви очень велика; понял, что нынче не всех подведешь к нужному месту одними привычными программками; ну, пусть стараются соответственные спецы делать это с другой стороны.

В левой прессе, — в «Днях» преимущественно, — периодически стали появляться такие *служебные* статьи смиренных христиан. Надо признать, что для группы левых атеистов, в их борьбе за известную общепсихологическую перестройку, эти статьи, во всех отношениях, — находка. Даже по форме: ведь данные христиане незлобны и смиренны лишь в небесной своей сфере; а чуть в сем грешном мире что-нибудь не по них, появится какой-нибудь возражатель, они мгновенно превращаются в тех же Сухомлиных, с теми же приемами полемики; иной раз «от Писания», а то и попросту.

Г.г. Сухомлиным это не может не нравиться. Христианство? Христианством ведь интересуются они «постольку — поскольку»...

Опять говорю: не обвиняю никого, и уж, конечно, не смиренных служащих. Ни минуты не сомневаюсь, что они искренни, что так именно и понимают христианство, и службу свою понимают, как «христианскую»...

Поэтому я вовсе не для полемики с последним смиренным из «Дней» — сделаю ему одно замечание. Я только хочу, чтобы меня он не притягивал на службу ни к «Дням», ни к себе, чтобы не строил из меня опору, которой в твердом уме и при здоровой совести не построишь.

Я говорю о В. Н. Ильине.

Это человек в писательстве, конечно, малоопытный, притом неудачливый: чуть возьмется за темы возвышенные, в соответственном месте, — тотчас у него оказывается перо газетчика или журналиста; все выходит вроде знаменитого: «Христос ликвидировал грех: это — факт». В наиблагочестивой книге «Запечатленный Гроб» он очень уверенно пишет, например, что «температура ада настолько высока, что пирометр страдания перестает действовать», и далее, что «на смирение Божьей Матери Бог ответил актом вторичного смирения». Если бы г. Ильин писал стихи, то вполне можно было бы предположить, что это он сказал, описывая вечер в Гефсиманском саду:

...И вот свершилось торжество:
Арестовали Божество!..

Публицистические же упражнения г-на Ильина, наоборот, пишутся в сугубо возвышенном стиле, подчас даже языком христианского истерика. Это, конечно, пустяки, стиль уж от Бога. И я ничего не имею против того, чтобы «щеки г. Ильина покрывались жгучим стыдом» (краской, может быть?) — хотя бы за меня: пусть себе покрываются. Или чтоб «отлившая от сердца кровь у него приливала к голове». Или чтобы он с Бердяевым «рыдал и бил себя в перси», а затем, в виде г. Сухомлина, (только «оцерковленного»), бросался на каждого, кто осмеливается «в ответ на эти слезы, на искренние, тяжелые, надрывные слезы» (sic) — не забить себя тоже в перси, а усумлится, надо ли, все-таки, подписывать «лойальность» большевикам. Вдохновение г. Ильина пусть при «Днях» и при нем остается. А вот если он меня в свое «дневное» христианство записывает, из моей статьи «Меч и Крест» («Совр. Зап.») себе лишний «духовный» меч устраивает, — этого я ему, пожалуй, и не позволю.

Раскопать беспорядочные словосочетания г. Ильина, открыть, как довел он себя до того, что ему пригрезился в руке г. Мережковского железный меч тезки фельетониста, И. Ильина, — я не берусь. Да, признаться, и не очень этим делом инте-

ресуюсь. Но какая бы еще краска ни залила щеки г. Ильина, я считаю своим долгом сказать ему следующее: в статье моей «Меч и Крест» говорится, и о мече, и о кресте *то же самое*, что, именно мною, говорилось немало лет подряд; то же самое, что недавно сказал и г. Мережковский.

Основная мысль моя — не оправдание, а человеческая *неизбытность* (для христианина – жертвенная) поднятия иногда меча железного; и тут я ссылаюсь, между прочим, на Вл. Соловьева: его христианство для меня вне сомнений.

Статья моя оканчивается так: «...*меч* может стать подвижническим *крестом* только никогда не бывает он молитвой» (вопреки утверждению И. Ильина). И далее, о кресте: «Сим победиши... Оправдана ли вера эта? Кто подымает меч, зная, или хотя бы сердцем чувствуя, что на кресте умер Человек, открывший нам Свободу, – только для того она оправдана».

Вряд ли многочисленные и разнообразные тексты «от Писания», которыми В. Ильин, подобно И. Ильину, хочет оправдать *свою* веру, — ему помогут. (Насчет тексты приводящих, а «какого они духа» не знающих, – очень тоже хорошие строки у Вл. Соловьева.) Нет, право лучше бы не побрезговал г. Ильин взять, при случае, и винтовку, как брали ее миллионы простых грешных людей в войне «за освобождение отеческой земли от рабства» (Вл. Соловьев). Это лучше, и «смиреннее», пожалуй, чем столь яростно держаться, вкупе с редакцией «Дней», за единый меч, — свой словесный, – да еще намекать, что «иже есть глагол Божий».

Советую ему, в спокойную минуту, прочесть у Вл. Соловьева кое-что и о *«совести»* (та же статья о силе и насилии). Разумное чтение иногда помогает.

А редакции «Дней», и другим редакциям одинакового положения, я посоветую не слишком успокаиваться, найдя верную помощь; все-таки посматривать, выбирать, по мере сил, из новых служителей, кто погоднее: ведь может статься, вдруг который-нибудь переусердствует, и выйдет... слишком уж откровенно и непристойно.

О ЕВАНГЕЛИИ-КНИГЕ

В «Зеленой Лампе»

Кто-то спросил: почему кружок «Зеленая Лампа» занимается только литературой? Но «З. Л.» с чего бы ни начинала, всегда занимается *всем*: каждый доклад можно взять с любой стороны: литературной, политической или религиозной. Вот хоть сегодняшний доклад Г. Адамовича: он явно трехсторонен — Толстой, большевики, Евангелие. И вопрос о Евангелии в нем немаловажен.

Впрочем, религиозных вопросов и в «Зеленой Лампе» следует, по-моему, касаться с осторожностью. Такое время: темы эти сделались особенно ответственными, а эмигрантское наше общество продолжает тут пребывать в состоянии первобытного невежества, просто в безграмотстве. (Не говорю о «спецах» с чисто конфессиональным образованием.) Чтобы понять глубину неведения, достаточно послушать спор, внезапно возгоревшийся меж руководителями и главными сотрудниками «Дней» и «Посл. Нов.». Сухомлин, Милюков, Керенский, Скобцова, чуть ли не Кускова — все застремились «высказаться» по вопросу... религиозному. И уж действительно, высказались! О социализме и вообще о политике — не речь, там привычно, там все каждому, про себя, известно. Но вдруг рядом обнаружилась еще религия! Что с ней делать? И что она, пристегивается к социализму, или не пристегивается?

Сотрудники «Дней» из христиан, так сказать, «зарегистрированных» — держатся в стороне. Со своими услугами они появляются лишь в особо важных случаях. Может быть, и своими делами заняты: измеряют температуру ада или группируют тексты, которыми будут побивать «непримиримых».

Талин из «Посл. Нов.», тоже втравленный в спор, оказался (отдадим ему справедливость) тактичнее многих. Не посягая на рассуждения о вопросе, ему неведомом и неприятном, он лишь отвечал на вполне невинные, но немного наивные рели-

гиозно-социалистические выступления г-жи Скобцовой (это – новообразовавшееся туманное пятно, эсэсы), причем отвечал Талин недурно.

Наконец, на все это, пришел – Минор. Может быть, и неловко передавать, что сказал Минор, но уж очень художественно: целые 60-е годы восстали из тьмы былого... От всего своего народнического сердца удивился Минор: что, мол, тут такое? Религия? Да наука же объяснила... Вот, гром, например, и молния. Люди не знали, боялись, вот и была религия. А наука теперь объяснила.

Я не думаю, конечно, чтобы в «Зелен. Лампе» нашелся Адамовичу возражатель с громом и молнией. А все-таки предпочитаю сузить мои замечания насчет третьей стороны доклада – религиозной. То есть, я постараюсь не говорить собственно о религии, о вере, о христианстве, а только о Евангелии как книге, – в связи с некоторыми положениями докладчика.

Адамович находит что у Толстого отношение к Евангелию было особенное (и, м.б., исключительно верное): Толстой будто бы брал его *не толкуя*, просто *как написано*. Не противиться злому – не противься, подставить левую щеку – подставляй. Толстой пытался по Евангелию (по «написанному») *жить*, однако ему это не удавалось. По слабости? Нет. Адамович думает – потому что по Евангелию вообще нельзя *жить*. Не такова книга. Толстой дошел лишь до первых отрицаний: отрицаний государства, культуры, искусства, науки, половой любви (т. е. и семьи), всякого насилия (даже над мухами). А если бы он все додумал, дошел до конца, – то понял бы, что эта книга, – Евангелие, – отрицает и разрушает самую жизнь. Без остатка.

Первое положение, будто Толстой не «толковал» Евангелие, – надо устранить. Очень толковал. Ведь он *выбирал* из «написанного», одно брал, другое зачеркивал; даже соединял выбранные кусочки в одно, *свое*, Евангелие. Это ли еще не толкование?

Но Адамович, конечно, не о толстовском Евангелии говорит, а о настоящем. О нем, как о книге, зовущей прочь от жизни, разрушающей жизнь. Тут у Адамовича есть могущественный союзник. Это не Толстой, это Розанов (известного периода). Занимался он Евангелием неотрывно, с мукой, со страстью. Пытался прочесть не только то, что там прямо написано, но и сказанное косвенно. «Роль косвенного громадна везде, — говорит он. — А смеем ли мы сказать, что содержание Евангелия обозримо и наглядно, как прибор, поставленный на стол, что там нет косвенного?».

Какая сила пленительного соблазна заключена в этой книге в «униженных в божественности» зовах, — Розанов отлично знал. Случайно бросил взгляд на какой-то текст — и вдруг потрясен красотой: «Душа парализуется такой красотой. Перестаешь видеть. Как зачарованный. Ударенное сердце ничего не помнит...».

А любовь, — «тихий ветер»? Да, да, говорит Розанов, и от этого тихого ветра, «от *разрушительной* евангельской любви, горы повалились и сравнялись с долами...».

Выводы Розанова и Адамовича здесь сходятся. Но последние ли они у Розанова? Открыв, разрушительную силу Евангелия, он вдруг и всем соблазнам, и открытию своему, закричал: «Не хочу! Не может быть!». И с неимоверной музыкой стал проталкиваться еще куда-то — дальше.

В этой воле к «дальше» — весь вопрос. Нельзя останавливаться. Остановишься — зачаруешься, соблазнишься.

Остановится ли Адамович? Сейчас, насколько можно уловить его волю, он говорит: «Ну, и пусть так. Пусть тихий ветер разрушает жизнь. А тех, кто этого боится, надо предупредить, чтобы они к этой книге не приближались».

В самом деле, какая странная книга! Без малого две тысячи лет люди над ней бьются, — принимают, отвергают, соблазняются, утешаются, плачут над ней, смеются над ней, бегут прочь, — и снова возвращаются, снова думают — и никогда до конца не додумывают...

А что, если она не додумываема и даже недочувствуема, пока длится дление жизни? Розанов видел в этом ее чудесность, но и без веры в чудеса приходится это признать. Источник, невычерпываемый до дна, пока есть кому пить. И как источник никого не поит насильно, так и книга эта только всегда *тут*, для каждого. Ни малейшего долга нет перед нею: свобода уйти, забыть; и свобода опять вернуться. Не она и дает, — всякий сам берет, по своей силе, *сколько может*. Больше сила — больше возьмет, дальше прочтет. Еще больше — еще дальше. Думаю, Толстой по всей своей силе взял, не поленился. Много ли, мало ли, но ему во благо. Розанов захватил далеко; до такой страницы дочел, на какой останавливаться нельзя, — страшно. Он и завопил: не хочу так! Но не убежал, а начал дальше продираться.

Вернемся, однако, к докладу и к его автору. Не лично к нему: дальнейший путь всякого современного человека, подходящего к Евангелию так, как брал его Розанов и берет Адамович, — определен *серьезностью* его отношений, его интереса к этой книге. Если интерес случаен, так, «мимо проходил, горстью воду зачерпнул», — то и небольшое соблазнение не трагично, жизни не разрушит; напротив, легкая «тень вечности» послужит к ее приукрашению. Но если интерес серьезный и достойно-глубокий, если человеку действительно важно то, что он в Евангелии открывает (в докладе Адамовича мы все почувствовали серьезность интереса), — он на второй странице не остановится; непременно заглянет и на третью, чего бы ему это ни стоило.

Один сибирский мужик сказал: «Небо-то что? Небо в рост человека».

Так и Евангелие: тоже в рост человека. Много имеешь — много оно тебе и откроется. Но не по закону справедливости; по-иному. Ведь там и такие слова написаны: от имеющего мало — отнимется и дастся тому, кто имеет много.

КОМПАС

Когда я что-нибудь говорю, я стараюсь сказать это с посильной точностью и ясностью. И ни разу еще никто мне так не ответил. Мои противники (левые и правые, христиане и «атеи») сразу впадают в состояние тяжкого раздражения; и тогда уж перестают следить не только за ясностью речи, а подчас и за ее связностью, и за смыслом *.

Причин этого раздражения я не знаю — да и не доискиваюсь. Все мы пишем не друг для друга, а для читающих нас. Для них-то я и забочусь о ясности. Для них я сегодня и хочу сказать несколько слов о том прямом пути, который живая часть эмиграции ищет и, конечно, найдет. Я остановлюсь только на одном из его признаков, на одной определяющей черте. Но и тогда будет ясно, что это не путь современных наших «левых» (потерявших волю к борьбе), и уж, конечно, не «правых» (волю хотя бы и не потерявших).

Сами «левые», возбужденно мне возражая так и не сказали ничего прямо об этой своей «воле к борьбе» (с большевиками). Может быть, не сказали от возбуждения, а может быть, потому, что и сами не знают. Не отдают себе отчета. Следя внимательно, можно заметить, что все чаще произносят они слова, в которых уже отчета себе не дают. Слова те же, привычные, но содержание из них выскользнуло. А это признак тревожный.

* Вспоминаю, например, до какого забытья довела моя правда о «христианах услужающих» г. Ильина. Опровергнуть ее он пытается, — чем бы вы думали? — догадками, вроде той, что у противника, м. б., не настоящая нога, а деревянная. Тут же в забвеньи (на свою голову) открывает и свою связь с «Верстами». Тут же предлагает мне «стыдиться» четверостишия, которое выписывает (причем оно абсолютно «никакое»), но тут же прибавляет, что оно мне «не принадлежит», а Мережковскому, которому, оказывается, оно то же «не принадлежит»! Ну что делать с такой потерей контроля над собой?

Да что такое «левые»? Есть значение, которого из слова этого не вынешь. И мы, пожалуй, можем перевести его так: «левые» — «*свободники*». Думаю, даже знаю: сами левые против такого перевода протестовать не будут. Свободники. Борцы под знаменем, где написано «имя»... Рыцари прекрасной дамы. Не им ли первым лететь на бой с ее открытыми врагами и убийцами?

Говоря прямо: не левым ли, — свободникам, — быть первыми «непримиримыми» к таким душителям свободы, каких мир не видал? Не первая ли воля — к смертоносной войне с ними?.. Ведь это враги не только первые, но даже, реально, единственные; ибо хрустят-то кости свободы, сейчас, именно под ними...

Так по логике (если слова сохраняют значение). Но не так в действительности. Начать с того, что этих своих «первых» врагов, — врагов свободы, — рыцари называют так же, как себя — свободниками (левыми). И революционерами, хотя всем решительно известно. Что эти господа приехали, содействуемые немцами, на уже совершившуюся революцию (февральскую), немедленно пошли *против* нее и благополучно ее съели. Кто был в Петербурге в это достопамятное время и мог вблизи наблюдать этот процесс, тот не забудет: даже *извне* ничего похожего на «революцию» не было в октябрьские дни. Точно гигантская подушка (пахнущая вином из разбитых погребов) навалилась на революцию, правда, охилевшую, — и задушила ее. Однако вот: самые когда-то «революционные» деятели, выскользнув из-под подушки в эмиграцию, продолжают покорно звать этих контрреволюционеров тоже «революционерами»*. И не только не проявляют воли к борьбе с

* Я положительно не могу принять обычной эмигрантской прессы, полемизирующей не с авторами, не с тем, главное, *что сказано*, а с «органами». Не сомневаюсь, что если бы в «России» было сказано: «Волга впадает в Каспийское море» или «после зимы наступает весна», — «Дни» стали бы издеваться над первым утверждением, а «Посл. Нов.» во

ними, но даже восстают на тех, кто ее проявляет; презрительно зовут их «борьбистами» (новенькое слово выдумали, на свою голову), а «непримиримых», не забывающих, что где-то хрустят кости свободы, считают не «свободниками», не «левыми» и прямо своими врагами. А если мы присмотримся еще ближе, мы увидим и такую вещь: все «левые» сейчас связаны одной, *нигде не разрывающейся* нитью, идущей от самых дальних, первых, левых, через следующих и опять следующих, до конца, до последних левых — московских «свободников». Конечно, первые левые далеко отстоят от последних (нитка длинная), и я с последними их *не отождествляю.* Я говорю об этой конкретной, физической связи скорее как о *несчастье* левых (многих из них), а не как *о вине.*

Что же это за связь? Что за сила действует, подчиняет логику, опустошает слова?

Это сила внешнего, почти физического *«сроднения».* Оно является, обыкновенно, результатом связи внутренней, соединения идейного или духовного. Русская интеллигенция (из лона которой вышли *все* левые партии и группировки, *не исключая* большевицкой) внутреннее единство несомненно имела. Оно не очень определимо; но, беря широко, можно сказать, что интеллигенцию объединял общий дух *свободы.*

Связь внутренняя отразилась и на внешней жизни интеллигенции. Создала ее лик, среду, создала, как говорили, «особую породу людей». Явилось «сроднение».

втором нашли бы признаки монархизма. Этот обычай мне кажется «наследием» старого времени и признаком роковой русской «невоспитанности в свободе». Поэтому я считаю своей обязанностью заметить: моя статья была написана *раньше* одной из передовиц в газете Керенского, где большевики очень отчетливо называются «контрреволюционерами». К несчастью, общих моих положений относительно «левых» и Керенского это не колеблет; неустойчивость последнего слишком известна, так же, как и постоянное сплетенье явно верного с явно неверным».

И вот, духовное единство разорвано. Его нет. Его нет, но сроднение осталось. Не оправданное больше внутренней близостью, оно еще живет.

Сила сознания и мужества победила бы его. Разорвала бы чисто внешние путы. Но такого сознания у старых интеллигентов-эмигрантов — нет. Оно у них старое, довоенное, дореволюционное, доэмигрантское; и слова старые, прежние, — «левый», «правый»; и даже «борьба», и даже «свобода»... только звучать они стали иначе: как пустые, полые. Они и вправду пустые; на пустом месте распавшегося духовного единства — ими теперь распоряжается голое «сроднение».

Знаю, что не все левые одинаково бессознательны. А другие не всегда одинаково бесчувственны или тупочувственны. К последним принадлежит, например, М. Вишняк. У него бывают просветы, и тогда он говорит правдиво, ответственно, даже мужественно. Так написано многое в статье его «Всер. Учред. Собрание» («Совр. Зап.) *.

Очень сознателен мой давний, неизменный друг, — с. р. <эсер> Фондаминский. Он воистину остался верным рыцарем прекрасной дамы — Свободы. «Только дух свободы, возрожденный и обновленный, спасет нас», — говорит он. В нем самом этот дух, действительно, обновился, расширился новыми пониманиями, открылся и религиозно. Христианство моего друга тем особенно ценно, что к нему подвела, в него ввела его, — свобода.

Но даже у него еще не преодолено «сроднение». И этим он обречен на мучительную раздвоенность. В реальности, в жиз-

* Эта статья за немногими исключениями, столь приятна в правдивости своей, что мне не хочется отмечать в ней личный против меня выпад, с передержкой, конечно. Да и передержка (смысла) слишком явная, наглядная, не стоит и опровергать. А так как М. Вишняку лучше чем многим другим известно мое отношение к Уч. Собр. *во все времена*, то его передержку я отношу опять к тому же состоянию, раздраженности, когда люди теряют и память, и удачные приемы письма.

ни, он все также опутан голым, привычным «сроднением», связан той же единой нитью, всех «левых» связывающей; а верность свою свободе и новые озарения он превращает в чистейший идеализм, т. е. чистейшую бездейственность. «Пока, — говорит он, — в России не родятся и не возрастут новые Герцены и Чаадаевы — освобождение невозможно». Да как им там вырасти, — возражают ему, — когда вы сами говорите, что Россию насквозь пропитал большевизм? На это другу моему нечего ответить. Остается ждать чуда, пребывая в неподвижности. Дух свободы у него только дух; воплотить, воплощать его — нет силы; нет мужества.

Однако правда верности моего друга — настоящая правда. Понятие, ощущение, идея или дух свободы (название безразлично) есть нечто центрально-важное *сейчас* для выбора верного направления воли. Или, — выражаясь привычной метафорой, — для отыскания прямого пути среди переплетенных, извилистых тропинок. Что мы будем себя обманывать, давно уж нет никаких путей, ни левых, ни правых; «мутно небо, ночь мутна», — и чьи-то спутанные следы на снегу, не поймешь звериные или человечьи. Как же не попытаться, если есть мужество и воля, найти в этой вьюжной беспутности твердую дорогу, по которой можно *двигаться*?

С самого начала нужен компас. Компас есть хороший, верный — это именно *дух свободы*. Тот самый, в котором друг мой видит «единственное спасение». И тот же самый, о котором другой «левый» сказал мне откровенно: «Да его вовсе не существует. Понятие свободы просто люди выдумали». Вопреки мнению этого последнего левого, я думаю, что понятие или ощущение *свободы* так присуще коренной человеческой природе, что всякий поймет, о чем я говорю. Дух свободы родился вместе с духом человека — и с его волей.

Что реальнее черты крови? Не менее реальна и черта, разделяющая две воли: волю к свободе и волю от свободы, против нее. Поэтому и нет одного пути для двух противоположных воль. Надо выбирать. Но если и выбран путь, о котором я го-

ворю, – путь свободы, – каждый шаг, при каждом повороте надо сверять с компасом. Ведь не по облакам этот путь идет, а по самой обыкновенной земле. Из крупных и мелких земных дел одно берется – другое отстраняется.

А спутники? Где друг? Где враг? Забудем, прежде всего, кто зовется правым, кто левым. Мы ведь начинаем сначала.

Вот один. Он говорит: «Эмиграция со своими криками, что большевики не дали ничего хорошего, просто не видит реальности. А тут еще умирающая Европа срывает революцию... (Англия – какой кошмар!) Большевики умеют воспитывать народ. В коммунизме впервые поставлены, действительно, проблемы власти, труда...». Кто это? Враг, конечно. Называется «левым».

Другой: «Наше отношение к советской власти революционное. Мы, непримиримые, должны думать об освобождении России. Тогда и Европа освободится от кошмара». Этот заслуженный «левый» ныне за такие слова зовется *правым* и преследуется. Но он, конечно, на пути свободы. Друг, соратник.

Третий: «Мы непримиримые. Мы всегда готовы на борьбу с отнявшими у нас Россию. Только об этом, о восстановлении мощи былой России, мы должны думать!». Присмотритесь к этому. Он называет себя над-левым, над-правым, но... как бы он ни назывался – все равно: он *не* попутчик.

Сколько зовов к «объединению» эмиграции, самому широкому, лишь бы одушевляла «непримиримость»! Зовы остаются – (и, думаю, останутся) – бесплодными по тысяче причин; но довольно было бы и одной: непримиримость сама по себе, *не* может «объединять»; во всяком случае, объединение на непримиримости – статично. Для идущих же по определенному пути непримиримость сразу имеет свое содержание: это непримиримость *почему* и *ради* чего. С разными «почему» и «для чего» ни одного шага нельзя сделать вместе. Я опять подчеркиваю: на пути свободы и первый шаг будет шагом во имя нее же.

А зовут соединяться только на непримиримости, и чтобы дальше – «не предрешать». Можно, конечно, *условиться* на

этом; но и только, потому что «непредрешенцев», пожалуй, и вовсе нет. Всякий хранит какую-то надежду, или хоть полуопределенное упование, воздыхание, — соответственно своему «во имя». Вряд ли успешны будут совместные действия людей разных упований, если даже свои упования они условятся держать втайне.

Монархия? Республика? Никто, конечно, не знает, что будет, какими еще петлями завернется судьба России. Но так как по соображениям, доступным современному разуму, форма республиканская вмещает большую меру свободы, то идущий по пути свободы и станет бороться за большую, — за республику.

Этим конкретным общим примером, я хочу лишь сказать, что «идеология» и «тактика» (по принятым выражениям) связаны теснее, чем это думают. И связь их строже. Тактика есть действие или ряд действий, обусловленных нашим *отношением* к каким-нибудь реальностям. Но отношение-то, само уже определено внутренним критерием, который мы себе поставили.

В бесчисленных сложностях жизни мы часто путаемся, конечно; ошибаемся; делаем не то, не тот выбор, который нужно сделать. Но ошибка тотчас сказывается и, если мы не изменили внутреннему критерию — легче исправляется.

Путь под знаком свободы вовсе не есть «свободный путь». Каждый шаг на нем — ответственность, а потому каждый шаг — непременное самоограничение свободы *в меру сегодняшнюю* — ради большей ее *меры завтрашней.*

Мне скажут: да зачем в наши острые и конкретные времена говорить о путях во имя такого общего, отвлеченного и далекого понятия, как свобода? Есть дороги короткие, есть дела простые «во имя» понятное. А имя — Россия? А национальное достоинство? А патриотические чувства? Чувства человеческой справедливости? Разве всего этого недостаточно?

Смотря потому, для чего. Достаточно, чтобы мучиться, страдать за Россию, тянуться к России. Но недостаточно, что-

бы действовать, делать что-нибудь для России; идти, двигаться — за ту же Россию. Ведь двигаться надо в *верном направлении*. Проверяется же направление только ценностями высшими, понятие которых заложено в самую природу человеческую. Одна из таких ценностей — свобода. В ней заключены и все другие, — как, впрочем, и она заключена во всех других. Пусть вспомнят те, кому это нужно, что «дух Господен» — тоже есть «дух свободы»...

Я говорю вещи очень простые. Я говорю только, что направление нашего прямого пути впредь проверяется и свободой, *духом свободы*. Нельзя, действуя, идя за Россию, проверять правильность дел и шагов своих — Россией же. Россия и свобода, нация и дух свободы — понятия несоизмеримые. Когда в рождественскую ночь маги шли поклониться Младенцу, они искали дорогу не по пещере, не по желанию своему прийти к пещере, а по Звезде.

Такие звезды у нас есть. На одну из них, лишь на одну, но самую близкую и менее других туманом скрытую я указываю: это Свобода.

Кто не хочет возвышенных сравнений — пусть видит в ней компас. Только бы не терять волю идти, а компас покажет, куда надо идти — чтобы дойти.

«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ» *(XXXIV)*

Толстая книга, целый ряд авторов, из которых о каждом (или почти о каждом) есть что сказать. Лишь о самой книге, о журнале «Совр. Записки», сказать нечего. Я, по крайней мере, не нахожу, что о ней сказать. Не вижу, чем связаны эти статьи, почему они появились вместе, под одной и той же обложкой.

Это, впрочем, старая история. Я даже не помню, старая история. Я даже не помню, сколько раз писал о журнале, — но отлично помню: каждый раз пытался я найти то общее, что

делает его «журналом», и с каждым разом удавалось это мне все меньше. Теперь несвязанность, случайность, «сборничество» «Совр. Записок» обнаруживается уже явно для всех. Сотрудники восстают друг на друга и в посторонних изданиях, и даже внутри самого журнала. Наконец, один из них, г. Степун, решил нынче выступить на защиту журнала против «несправедливых» нападок и попытаться формулировать его общую линию, его «задачи». Странно, что за это взялся именно г. Степун: ведь именно его статьи и возбуждают самые частые протесты со стороны других сотрудников. Даже тут он весь конец своих «Литературных заметок» вынужден посвятить отповеди «внутренним» противникам (которые уже успели возразить и на «отповедь» в других изданиях).

Формулировок г. Степуна я пересказывать не стану: можно было заранее угадать, что положения они не спасут. Мне приходит в голову: да нужно ли его спасать? Да не проще ли отказаться нам от нашего требования, чтоб «Совр. Зап.» были непременно журналом? Почему не быть им в точном смысле «Записками», — записками разнородных авторов, оказавшихся в эмиграции? Для всяческих «направлений», для соглашений или споров, даже для бесед, — есть газеты. А в этом солидном и спокойном месте — почему каждому не упражнять свое перо, думая о нем и просто не обращая внимания на перо соседа?

С нас, критиков, тогда свалится лишняя забота. Из букета, или снопа, раз в три месяца преподносимого, мы будем выдергивать злаки по воле и по вкусу, чтобы обстоятельно о них разговаривать. Это уж фактически и происходит. Но дело надо узаконить, тогда все будет мирно и хорошо.

Несколько труднее выдергивать из букета не злаки, а цветы; но и то не все, а лишь не поместившиеся в очередном букете целиком. Я говорю о беллетристике, о больших произведениях, печатающихся в «Совр. Зап.», *как в журнале*, т. е. по частям. Например, очень издалека заведенный роман И. Бунина «Жизнь Арсеньева», или давно тянущаяся «История любов-

ная» И. Шмелева. Такие вещи нам приходится оставлять «до окончания», и тогда уже года через полтора-два, приняться за них на досуге. К тому времени, может быть, они и книгами отдельными выйдут, и не придется отыскивать старых номеров «Совр. Записок».

Есть цветы и другие. Порою (в «С. З.» – редко) весьма приятные. Я очень люблю беллетристку Н. Берберову. И у меня есть о ней, о данном ее моменте, определенное мнение.

Она печатает много. В 34-й книге «С. З.» – ее рассказ (из удачных) «Зоя Андреевна». Где бы ни печатались рассказы Берберовой, как бы разнообразны они ни были по темам, автора всегда можно узнать; с другим не смешаешь. Такого прекрасного, выразительного, *письма* нет ни у кого из молодых.

Это... почти мастерство даже удивляет; и немного тревожит. Впрочем, тревожит не оно, а судьба молодой беллетристки. Кто – она? Большой, настоящий писатель, или талантливая мастерица? Ответ нам должна дать, конечно, сама Берберова. Теперь, когда мы знаем, что у нее есть великолепные возможности слова, все зависит от того, *есть* ли у нее *что* этим словом сказать. Вспоминая ее рассказ «Жених» в «Новом Доме», и еще один рождественский, в «Посл. Нов.», – я думаю, что Берберова найдет заветное «что сказать». Но повторяю: именно этим решится вопрос о ее писательской судьбе.

Дар слова – большой дар; он так важен (и не в одной художественной литературе), что человек, имеющий много, но слова не имеющий, – не даст ничего. Только вряд ли можно себе представить такого человека. Пустой дар слова более вообразим, нежели глубокая душа, совершенно не умеющая себя выразить. Но это крайности. Чаще же всего встречается какое-то тайное *соответствие* между тем, что хочет сказать автор и его языком, его стилем. (Порою стиль дает нам даже портретные черты автора.)

Стиль статьи Флоровского потрясает сразу. Еще не добравшись до содержания статьи этого евразийского столпа, ныне от евразийства отрекшегося, я уже был задавлен языковой тя-

жестью, тихо и непрерывно валящимися на меня фразами. Точно кто-то камень за камнем спускает медленно в болотную топь.

Потом я привык, и мне стало даже мелькать что-то знакомое: что-то от наших смиренных, неохристиан, путейцев, не чуждых, как известно, стилю евразийства с его специфическими вывертами. У Флоровского эти выверты сохранились, конечно, в неприкосновенности. Ведь ушел-то он от евразийцев лишь потому, что они оказались слишком «общественниками», слишком «от мира сего»... И чем больше я вчитываюсь в статью, тем больше убеждаюсь: случись такое фантастическое несчастье, окажись во всем мире только евразийцы с одной стороны и Флоровский и неохристиане с другой, — я был бы, при всем моем отврате, с евразийцами...

И вот еще что любопытно. Единой «линии» журнала «Совр. Записки» найти нельзя уж потому, что ее нет. Но, присматриваясь со вниманием, можно открыть внутри «журнала» несколько отдельных линий, как бы несколько фронтов, друг против друга стоящих. Статьи Флоровского и Степуна (будем говорить лишь о данной книжке) — несомненно в одной линии; Талина и Вишняка — в другой, противной. Битва Вишняка со Степуном и Талина с тем же Степуном (последняя — за бортом «Совр. Зап.») очень характерны и показательны. Если б эти битвы фактически еще не произошли, мы, читая Флоровского и Талина, все равно знали бы, что битв не миновать.

В противоположность мученической тяжести Флоровского — легкость стиля у Степуна необычайная. Это не мешает гармонии настроений, а подчас даже словесной близости. Между прочим, и евразийцам Степун ставит в вину то же, что Флоровский: «Их погубила жажда деятельности», — говорит Степун и прибавляет, по-своему, в своем стиле, что вот и нашли евразийцы свою гибель в «практическом упрощении едва начавшего в них вызревать миросозерцания» и в разных «односмысленных», решительных «да»... (Степун не выносит ни в чем «односмысленности».)

Флоровский свое созерцание «октября» выражает тоже по-своему, в собственном стиле: «Растерзано державное тело России...», но зачем мы, неосмысленные, взываем: доколе? «Видно, не свершились еще тайные времена...», а, впрочем, «в нашей это воле, *от нас зависит*, от нашего подвига и *смирения*...». Переливы Степуна так «многосмысленны», что не сразу понятно, как для него большевики: к добру или не к добру? У Флоровского яснее, известнее: к добру, потому что всякое зло, всякое страдание к добру, — к смирению, к очищению, к отдалению от «мира сего». Однако и сквозь многоцветную дымчатость Степуна постепенно кое-что вырисовывается. Он «соблазнил» Вишняка; но отвечает соблазненному, на тех же страницах «Совр. Зап.», еще более «соблазнительно»: если, мол, «в России все кончится только порядком, мерой, законом (только! — *А. К.*) — большевизм придется (!) признать злом, тем, чего лучше бы и не было. Но если Россия в будущем, в своем национальном строительстве, вознесется на те положительные религиозные, этические... высоты, о которых пророчествовали Толстой и Достоевский, то Октябрь будет оправдан. Октябрь то, *что мы из него сделаем*».

Конечно, «от нас зависит», подтверждает Флоровский.

Одинаково ли рисуется перед Степуном и Флоровским тот венец, которым оба они хотят венчать Октябрь, — это неважно. Важно, что ни Вишняк со своей бесхитростно-горячей и очень честно написанной статьей «Учредит. Собрание», ни Талин, талантливо описывающий современную «кабалу», России, — венчать Октябрь не желают и не собираются вовсе. Вряд ли перейдут они в лагерь Степуна даже ради тех... «религиозных и этических высот», которыми он их туманно взманивает. О «подвиге смирения» Флоровского и говорить нечего: не соблазнит.

Приветствую эту стойкость «реалистов» (и «атеистов», сказал бы я, если б думал, что на свете есть а-теисты). Приветствую и дар их говорить то, что они говорят, с большой ясностью; от холодного тумана нынешних неохристиан, фило-

софских лириков и метафизиков можно и не атеисту прийти в самое нерелигиозное бешенство.

К «закабаленной» России Талина — хорошая иллюстрация статья Ю. Сазоновой о Зощенке. Не столько о Зощенке, сколько о фактическом *умирании души* у русского среднего человека в России. От этой статьи, тонко и глубоко написанной, веет прямо ужасом. И так чувствуется, что это страшное — правда, не выдуманные мысли о России, а Россия, что... хочется захлопнуть 34-ю книгу «Современных Записок»: не открылась бы рядом опять страница на Степуне, на его грядущих религиозных высотах, которыми он будет увенчивать Октябрь...

Но мне еще нужно заглянуть хотя бы в один из дальних уголков этого обширного... манежа, который зовется «Совр. Записками». Не буду говорить о статьях Шестова, прекрасного софиста, философа, отрицающего философию и... еще многое другое. Статьи («Умозрение и Апокалипсис») очень любопытны, но они требуют отдельной заметки. Я остановлюсь на другом, — на страницах, где г. Вейдле говорит «О поэзии Ходасевича».

Я большой поклонник этой поэзии. Как и г. Вейдле, я считаю Ходасевича поэтом истинным, притом очень современным, созвучным эпохе. А статью г. Вейдле считаю чуть ли не единственным столь внимательно-любовным проникновением к этой поэзии. И не для спора с г. Вейдле хочу я сказать несколько слов о его статье. Уж потому не для спора, что всякий критик, подходящий к поэту с пониманием поэзии и с любовью, — всегда *прав*. Прав даже в глазах другого критика, видящего, может быть, кое-что.

Оставляю в стороне подробный и тщательный разбор поэтики Ходасевича. Замечу лишь, что сама эта тщательность, местами, являет вид какой-то преднамеренности, предуготовления к выводам, чего автор, конечно, не хотел. Кроме того, она путает язык статьи, излишне ее многословит. Ошибка г. Вейдле, — его, как он сам говорит, «пристрастной» критики, — *на мой взгляд*, не здесь. Она... как бы это сказать? — в его

намерениях, целях, последних выводах. А выводы, конечно, из общего коренного отношения к Ходасевичу. Вейдле упорно ищет и находит для Ходасевича достойное его место в русской и мировой поэзии. На мой же взгляд (все только на мой взгляд!), этого вовсе не нужно было делать. Задание Вейдле заставляет его прибегать к сравниванию поэтов, а это прием всегда неудачный: поэты («Божьей милостью») — величины несравнимые. Главное же, (что мне доказывает самый строй статьи) это, что и образ нашего времени, и образ Ходасевича представляются Вейдле гораздо менее *трагичными*, нежели оно есть на деле. В труде Вейдле ничто не забыто; все связано, сказано, все прослежено, осмотрено; одного только нет: а вдруг и наше время, и Ходасевич, — не дважды два, равное четыре, а дважды два — пять?

Для меня образ Ходасевича с его поэзией — трагедия столь раздирающая, и столь загадочная, что тихо-любовное прикосновение к ней, заботливое и восхищенное, как у Вейдле, не дает мне удовлетворения. В такую трагедию нужно бы всматриваться иначе, говорить о ней другим голосом. Слишком она сложна...

Вот до какой степени в ней *все есть*, и как полно может в одной капле, в одном современнике отразиться наша современность!

Впрочем повторяю уже сказанное: г. Вейдле от себя, от своего виденья, от своей любви, — вполне прав. Но это не мешает быть правым и мне, — если я вижу в Ходасевиче что-то большее и что-то *иное*, чего не видит Вейдле.

Я не успеваю на этот раз отметить других авторов, нашедших приют в 34-й книжке «С. Зап.». Но так как забота говорить о «С. З.»-журнале, по-видимому, отпадает, то к интересным статьям всегда можно будет вернуться, независимо от того, в последней или не последней книжке они напечатаны.

Это новое положение дел нисколько, по-моему, не умалит для эмиграции значения «Современных Записок»; напротив, выиграют и они — и сотрудники.

ДВА ЗАВЕТА

В «Зеленой Лампе»

Русский писатель В. В. Розанов менее известен, чем того достоин. А в смысле *знаемости* – знают его совсем немногие. Впрочем, и трудно это в наши времена. Розанов умер в России, книг его нет нигде.

Но из истории русской мысли Розанова не выкинешь, как не выкинешь Вл. Соловьева или Толстого. Есть и другие, совсем неизвестные, – о них вспомнят после. Собственно о Розанове я не собираюсь говорить; слишком он сложен, махров, о нем десяти книг мало. Существо гениальное, с умом и душой прозорливым до крылатости, и – человек из слабых слабый, тоже почти гениально. Какой-то сноп противоречий. Его почти нельзя и судить человеческим судом. Осудишь – и чувствуешь: нет, не прав. Восхвалишь – опять не то. Пусть уж его судят не здесь, не на земле... если он и там не попросится, чтобы «без суда пропустили»...

Нам важно, однако, указать на некоторую особенность Розанова в подходе к вопросам, к которым подходили все мыслители мира. Мыслитель! Как нейдет к Розанову это слово! И вообще-то оно узкое, а уж Розанов – он скорее пытатель, расследователь, одержимый, гениальный догадчик, то видящий на три аршина под землю, то вдруг ничего не видящий... Но сделал он для своего времени то же, что делает каждый «мыслитель» – для своего. Он наново поставил, по-новому осветил вопросы, лежащие в круге трех вопросов, – главных, которыми держится мир. Они главные потому, что касаются решительно всех и решительно всегда. Это конечно, *Бог, Любовь, Смерть*. Ведь если кто-нибудь скажет, что Бог его никак не касался и что он Бога ни в каком виде и образе, не касался, – мы не поверим. Если скажет, что любви не касался и не коснется, – мы удивимся и тоже не поверим. Относительно же смерти, что она его не касается, этого уж даже никто и не скажет.

Всякий значительный человек (так называемый «мыслитель»), открывая новое в области этих трех вопросов, освещая по-новому и ставя новые, свои, вопросы, — редко их сам разрешает. Что разрешил Ницше? Или Ибсен? Или Вейнингер? Или Вл. Соловьев? А вопросы они поставили громадной важности и яркости. Индивидуальным творчеством можно лишь подвести к какой-то черте, к новой ступеньке вверх — куда вступают уже другие, — следующие. Случается, когда вопрос поставлен коротко и несложно, что творец его находит, как будто и решение. Но это решение *только для себя*. Если нашедший о том не подозревает — он становится *учителем*. Такое решение нашел Толстой и так сделался (или его сделали) учителем.

Был или не был «учитель» в Соловьеве, Ибсене и других — одно с уверенностью можно сказать: в Розанове его не было ни *капли*. Даже вообразить Розанова «учителем» нельзя, даже представить себе каких-нибудь «розановцев» — нелепость. Дело в том, что Розанов не только совсем не решил страшных, им самим же поставленных, вопросов, но даже слишком явно — для себя и для всех — раздирался ими сам; не раздиранью же этому было у него учится?

Коренной вопрос, приковавший к себе Розанова на всю жизнь, это — *Христос — христианство* и *Мир — космос* (с населяющей его жизнью). Надо сказать: такого длинного, такого остро пронзающего луча, какой бросает Розанов с земли, из «космоса», на «Христа — христианство», мы другого не знаем. И в этом луче (не холодный же он, не мыслитель же Розанов!) сам Розанов оказывается стенающей, взбунтовавшейся тварью.

Великой любовью любит он теплую землю, с ее злаками и травами, с племенами людскими, с Богом ее, Творцом всякого дыханья, давшим людям *вечный* завет плодиться и множиться. Но вот пришел Кто-то... и принес завет новый: «Вам сказано так... а я вам говорю...». И завяли травы, иссохло чрево материнское, поникли головы, всплакало и возрыдало сердце человеческое... Кто же Он, сотворивший такое с миром? Кто этот

«обаятельный, обольстительный и лукавый»? – да, лукавый, ибо он, соблазняя, похищает мир у Творца. Разрушает завет, навеки людям положенный. Неужели он – Бог? Не Денница ли, «спавший на землю как молния»?

Решить бы, да, Денница; и было бы просто. Но – Розанов не *может* решить. Он – плоть стенающая, бунтующая, ревнующая, но и... воздыхающая. И воздыхание – к Нему же, к Неизвестному. Розанов *любит* Христа; и ни сам он, ни мы, не скажем, какая любовь в нем пронзительнее, огромнее: к плоти ли земли рождающей и к Богу ее, древнему, вечному, – или ко Христу. Но любви *две*, не одна; которая-нибудь должна быть принесена в жертву. В конце концов жертвой стал сам Розанов. Как Иаков боролся с Богом и не поборол, так и Розанов боролся со Христом и тоже не поборол. Но боролся не одну ночь, а всю жизнь, и не вышел из борьбы хромым, как Иаков, а просто вышел из жизни.

Мы хорошо знаем, что его мука, его раздиранье, его *нерешенье*, продолжались до самого конца: об этом он нам говорит своими *последними* словами, напечатанными уже после его смерти (тотчас после) и озаглавленными «Последние листья». Вот эти листья: «Не может, не может, не может быть двух заветов. Если два завета – два Бога, дву-Божие. Две воли, двумыслие, два созерцания. Как же жить??? Боже, научи! О, и этого нельзя сказать: нельзя даже произнести "научи", а только можно другое:

Который же из вас...».

Да, который? Христос или Иегова, Бог Авраама, Исаака, Иакова?

Становится понятно, *чем* было для Розанова, при такой его внутренней трагедии, – еврейство. Понятно, почему с особенной остротой выдвинул он вопрос *иудаизма* и вопрос *пола*. Но если бы мы даже и не знали ничего вот об этом, специфически-*розановском*, отношении к христианству, о ненавистнической любви ко Христу, а только знали бы, что он всю жизнь,

пристально, со страстью, занимался *христианством* – мы и тогда угадали бы, что вопросы о еврействе и о поле не останутся ему чужды. Вспомним, что их не обошел и Вл. Соловьев, – тоже по-новому, по-своему, поставил их, соответственно тому новому, что открывалось ему в христианстве. Как близок им Вейнингер – всякий знает, хотя отношение его к христианству было не только иное, чем у Розанова, но противоположное, до мелочей. Известно, что этот гениальный еврейский юноша, по влечению к личности Христа, перешел в христианство. Но после своей нашумевшей книги «Пол и характер», и другой, еще более замечательной, – трагичной, – застрелился. 23 лет от роду.

Все эти вопросы, – христианство и иудаизм особенно, – неразрывно связаны между собой. У Розанова и Соловьева, при двух разных отношениях к христианству, можно найти общее в их отношении к еврейству. В отчаянии расширяя сам вековечную пропасть между Заветом Ветхим и Новым, Розанов всем стенающим существом прижимался к евреям. Но пропасть видел и Соловьев, заглядывал в нее, знал что-то о ней; ставил разрыв в вину *не* евреям (в вину-то ставил!), а христианам. Есть еще один человек, в третьем положении относительно христианства, не розановском и не совсем соловьевском, взгляд которого на еврейство достоин того, чтобы о нем сказать подробнее. Этот человек, никому не известный, носил в себе черты гениальности, не меньшей, пожалуй, чем Розанов. Зовут его Валентин Александрович Тернавцев. Книг он не писал, если и писал – не печатал. При всей «учености» своей он не был и «ученым». Даже оратором, в сущности, не был: все знавшие его, слышавшие огненные речи, чувствовали в них пафос не ораторский, – иной. Человека со столь высокими языками настоящего *пророческого* пламени – нам никогда больше встретить не приходилось.

Некоторые его речи, застывшие в стенограмме, обеззвученные печатной бумагой, все-таки поражают, – до сих пор. Но сейчас не в них и не в нем, Тернавцеве, дело, а в отношении его к христианству и вытекающем отсюда отношении к еврейству.

Он был ученый богослов и самый православный церковник. Но при этом относился он к христианству с поядающей ревностью библейского пророка. Он требовал, именно требовал, от христианства *движения,* раскрытия его во времени, — и по времени. Он спрашивал богословов, «держащих ключи разумения», — «все ли для них уже открыто в Христианстве?». И больше, — он спрашивал: «Все ли открыто и для святых? Их писания перед нами...». «Не о посягательстве на прежние Откровения я говорю, — прибавлял он, — но об *исполнении* их. Противоречие между данными христианству обетованиями и действительностью — страшно». Он призывал «успокоенный» или самодовольный христианский мир, не понимающий, что «христианство стоит *на краю истории»,* — вспомнить о еврействе и о поразительной его судьбе. Как Розанов и Вл. Соловьев, заглядывает и Тернавцев в пропасть, разверзшуюся между Ветхим и Новым Заветом. Никакие отдельные перебежчики из еврейства в христианство, хотя бы их были тысячи, ничего не изменят. Нет, «языко-христианству» (как он говорит) нужен глубокий перелом; нужно открытие в нем глубин Ветхого Завета: видения пророков, тайны жертв и повелений Божьих, данных навеки. Христианству нужно принять на себя Израиля, «что послужит откровению в откровениях христианских». Но может ли быть это, пока двадцативековому разрыву и всей судьбе еврейства не будет дано действительного оправдания? Какой силы должен быть огонь с неба, который все это переплавит и даст новое сердце?».

Откровение, которого ждал и требовал от христианства Тернавцев, он называл раскрытием тайны *«о праведной земле».*

Вот как раз то, чего не ждал от христианства Розанов, не верил, что тайна эта в нем заключена. К «праведной земле» он и бежал, когда бежал к еврейству.

Но все они, и Розанов, и Тернавцев, и Вл. Соловьев, сходятся в этом: у евреев *есть* великая правда, и эта *правда о земле.* Можно и еще продолжить согласие: все они признают *несчас-*

тием двадцативековой разрыв между двумя заветами, но не виной или ошибкой евреев.

Далее начинаются разногласия — все лежащие в разном отношении к христианству.

Приходится сделать такой вывод: вопрос еврейский может быть рассматриваем *только* в связи с вопросом христианским — и обратно. Нечего и говорить, что если мы берем Розанова — мы берем еврейство и евреев прямо висящими на христианской нитке. Но если отвлечься и от Розанова, и от всех, и от всего, от чего только можно отвлечься, поставить вопрос прямо, просто: «иудаизм в истории» — результат будет тот же: нам придется говорить и о «христианстве в истории».

Что за странная спайка! Розанов кричит: христианство и иудейство, Завет Новый и Ветхий, — да, они разное, они «разделены, как небо и земля!». И прав: какое же еще большее разделение, ведь и в поговорку вошло: отличается, как небо от земли. Розанов еще прибавляет: «А небо... где оно, там рабство». Но я сильно сомневаюсь, что если бы Розанову предложили во владение всю его «свободную» землю, только *без неба над ней*, — он бы ее взял. Согласился бы взять такую землю. Равно и верующие пламенно в царство небесное — не спешат туда сразу переселяться. Может быть, эту спайку между не метафорическими, обыкновенными небом и землей следует называть «жизнью»? Явно разделенные, небо и земля так соединены в *человеке*, что без них он не представляет ни себя, ни жизни...

Свою аналогию Розанов повторяет беспрестанно. Мысль невольно увлекается ею: да, и тут, между Новым и Ветхим Заветом, именно такое же разделение, совершенно явное; и такая же таинственная — спайка. Розанов как бы сам попал в разделяющую пропасть, как бы оттуда, из глубины, взывает: на какой край подняться? Какой выбрать? «Который из вас»... Бог? Христос или Иегова, Бог Авраама, Исаака, Иакова?

Розанов так и не решил этого вопроса. А что, если не верен сам вопрос? Что, если выбор иначе стоит, так стоит: обоих, и

оба Завета, отвергнуть — или обоих, оба, вместе — принять? Вдруг они оба — одно?

Но тут я останавливаюсь. Довольно вопросов. Лучше кончу ответом на возражения, которые, может быть, и не будут высказаны, но, наверное, родятся у многих. Это — удивление: какой смысл, в наше время, говорить о еврейском вопросе так, как мы говорим, помещать его в розановскую плоскость, указывать на его связь или на разделение с вопросом христианства? Это может быть интересно как историческое исследование, но не более. Ныне же христианство почти совсем сошло с арены общественной, стало делом частным, личным, а еврейство, в лице последних поколений, еще определеннее вливается в русло общечеловеческой жизни. В нормальной культурной среде между французом, поляком, русским и евреем по происхождению — отличий нет. Можем ли мы представить себе серьезный, горячий спор о Ветхом и Новом Завете между... ну, хотя бы между М. Слонимом и Керенским, между Авксентьевым и Вишняком, между Пуанкаре и Леоном Блюмом, Талиным и Буниным? Конечно, нет; современный еврей так же мало заботится о защите Авраама, как современный русский о Нагорной проповеди. В России, правда, еще случается, что рабочий поспорит (кулаками) с «жидом»; но их спор вряд ли занял бы и Розанова, так как русский рабочий вполне может при этом состоять в ячейке «безбожников», а «жид» — не слыхивать отроду ни о Моисее и ни о каких «заветах». Есть ли смысл рассматривать в наши дни вопрос о еврействе под чисто теологическим углом зрения?

Да, я это понимаю. То есть вполне понимаю «угол зрения», под которым можно так возражать. Но уж надо быть последовательным и прийти к тому, что еврейский вопрос вообще не стоит подымать, никак, — ибо его в настоящее время *больше не существует*.

Если не существует, — тогда, конечно, о чем же говорить? Ни под каким «углом зрения» не стоит. Если же он есть, тогда рассматривать его, ставить его, говорить о нем можно в *един-*

ственной плоскости — религиозной. Только так брали его все, кто к нему ни приближался, и это на всем протяжении истории. И так будет впредь, пока еврейство не исчезнет бесследно в ассимиляторском потоке. Я-то думаю, — и не только я, кажется, — что этот момент еще не наступил, а может быть, и вовсе не наступит.

Кроме того, возвращаясь к началу. Повторяю: три главные вопроса, в непосредственной близости к которым лежит вопрос иудаизма, — т. е. вопросы *о Боге, Любви и Смерти,* — касаются решительно всех, и нельзя даже вообразить момента, когда они перестали бы касаться человечества.

Если Розанов ничего не *решил* ни о христианстве, ни о еврействе, ни о поле, — он, страстной внимательностью своей, углублениями, расширил и облегчил нам пути к дальнейшим, новым, пониманиям этих вопросов. От наследства Розанова отказываться нельзя, как бы мы к нему самому, к человеку — Розанову, ни относились. Надо, конечно, этим наследством пользоваться умеючи... Но сумеем мы или не сумеем — это уже зависит он нас.

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ

...Безумные годы совьются в прах
Утонут в забвенье и дыме...
И только одно сохранится в веках
Святое и гордое имя.
Твое, возлюбивший до смерти, твое,
Страданьем и честью венчанный...

(Л. Г. Корнилову, СПб., 18 г.)

А. Ф. Керенский не может заподозрить *меня* — в мечтах «о смене сталинской диктатуры диктатурой выходцев из старой династической России». Он знает также, что я не «приемлю монархической реставрации и нового классового самовлас-

тия...» ни «в порядке открытого утверждения, ни в порядке двусмысленного умолчания или уклонения от прямого ответа». Я, со своей стороны, знаю, что и А. Ф. Керенский не имеет (или не имел) привычки к подобному «уклонению». Все это дает мне надежду получить на несколько здесь поставленных, прямых вопросов столь же прямые ответы; и даже больше: надежду, что А. Ф. Керенский, если сам не поймет, то поверит мне, когда я объясню, *зачем, для чего* и *как* я эти вопросы ставлю.

Они для меня действительно *вопросы* о сю пору безответные, а главное — *не только для меня:* такими же вопросами остаются они и для большинства русских людей, наблюдавших историю Корниловского «мятежа» со стороны (более или менее близкой), для людей, горячо стоявших, притом, за февральскую революцию. Та версия, которая дана этому «делу» в моем тогдашнем Дневнике (журн. «Новый Корабль» № 3), принималась всем кругом средней интеллигенции; однако остаются и там темные места, странные психологические загадки... А что, если существуют факты, нам не известные, — известные г. министру — председателю Вр. Правительства? Почему он нам в течение десяти лет их еще не открыл — все равно; я хочу лишь сказать, что ответ его, хотя бы на здесь поставленные, вопросы должен иметь значение даже и не для одних нас, старых свидетелей (ничего не ищущих, кроме объективной правды); ведь, наша версия, — несмотря на загадочные места — все же наиболее «натуральная», может в конце концов быть принята и общей средней массой русских людей, особенно из новых, которые сами ничего не знали и не могли знать. Им, пока, не было же представлено никаких открытых *доказательств* наличия Корниловского мятежа 26 августа 1917 г. Не в интересах ли самого быв. министра-председателя помочь общему, — как бы «демократическому», высветлению картины? Сейчас он только ссылается на «соответствующие места» в очерках ген. Деникина; но, не говоря о том, что эти книги не всем доступны, — не нашли и мы в «соответствующих местах»

ничего, что проливало бы новый свет на положение 26 августа, на линию поведения г. министра-председателя; ничего, что заставило бы нас от нашей версии отказаться.

Да, мы тоже называем корниловские дни «введением в большевизм», – или «введением большевизма» (даже в мелочах, как введение матросов с крейсера «Аврора» в Зимний Дворец). Но для того, чтобы и сейчас называть Корнилова «государственным преступником», благодаря преступлению которого случилось все то, что случилось, и пала Россия, – для этого бывший министр-председатель должен, конечно, обладать наисерьезнейшими данными. Не в праве ли мы желать, чтобы он их, наконец, открыл?

На первый раз было бы довольно ответов (только ясных и прямых) хотя бы на эти, ниже следующие, вопросы. А то ведь действительно, «нельзя же и через 10 лет» (не «лгать», как говорит А. Ф. Керенский), а «еще скрывать правду, которую все равно навсегда в подполье истории не скроешь».

Вот мои вопросы:

1) Послал ли мин.-предс. в августе Львова в Ставку, или нет? Если послал – то зачем? Какой был у них предварительный разговор, оставшийся «неизвестным»? (Одному из министров, прямо спросившему – уже после всей истории, – об этом разговоре, А. Керенский ответил: «Тогда Львов болтал что-то невразумительное...».)

2) Какого рода сообщение привез Львов из Ставки А. Керенскому 26 августа? Сообщение устное, ибо лишь *после* А. Керенский потребовал от Львова «записки», и тот, «выхватывая отдельные мысли», что-то набросал на клочке бумаги. Этот клочок А. Керенский, «не дав перечитать», у Львова тотчас взял. Было ли сообщение «ультиматумом» Корнилова? Насчет чего? Директории? Диктатуры? С угрозой двинуть войска? Или Корнилов ничего Львову не поручал, а Львов, в Ставке, не то сам догадался о заговоре, не то открыл ему кто-нибудь о нем, и Львов тотчас бросился в Петербург предупредить Керенского?

3) Почему столь важное сообщение (о факте государственной измены) не было передано, со всеми данными, собравшимся тут же, на вечернее заседание, министрам? Почему даже бумажка «с выхваченными мыслями» не была им, как должно, изъяснена? Почему при министрах всего только и было, что вопрос Керенского Корнилову, по прямому проводу: «Подтверждает ли он то, что говорит стоящий у провода Львов?» (Хотя Львов не стоял.) И почему ответ Корнилова должен был свидетельствовать министрам о «наличии заговора» — если они не слышали, «что говорит Львов», и Львова не видели?

4) Да и почему Львов, приехавший открыть главе правительства важный против него заговор, — был тотчас главой этого правительства арестован? И так арестован, что в течение всех последующих недель оставался невидимым, а сообщение его — известным лишь в передаче А. Керенского?

5) Почему свои решения — немедленно распубликовать «измену», арестовать главнокомандующего, заняв его пост — были приняты г. министром-председателем почти единолично, и большинство членов правительства узнало о них post factum *.

6) И чем, наконец, объяснить, что Львов, едва выпущенный (уже перед самым переворотом), принялся все свои «сообщения» опровергать? Он печатно отрицал и «ультиматумы», и «заговоры», называя поведение мин.-председателя — «подвохом». Его опровержений никто не слушал, дело «введения большевизма» уже завершалось, о Львове забыли. Но все-таки, почему же он, если в августе открыл заговор правительству, которому был предан, — к началу октября этой преданности изменил? Не помешался ли (как говорили) в одиночном заключении? Или его поразило, что правительство, которое он «спасал», развалилось в первые же дни после «обнаружения заговора»? Почти все министры, — кроме мин.-председате-

* после события (*лат.*).

ля, — тогда ушли (лишь потом, некоторые, по отдельности, возвращались...).

Ответами на эти вопросы, конечно, еще не разрешится полностью загадка «корниловских дней». Даже если б факт заговора, и «мятежного наступления» Корнилова на Петербург 26—27 августа был доказан, — вряд ли это объяснило бы нам удовлетворительно все происходящее в Зимнем Дворце в знаменательные дни. Так же, как не объяснило бы существование любого «мятежа» все последующие действия правительства, т. е. «введение большевизма». Никакие действительно русские люди не стали бы в то время на сторону «мятежников» против февраля; но никакие русские люди *не верили*, и до сих пор *не верят*, что для спасения России от «мятежа» оставалось одно: прибегнуть к защите большевиков... *

Впрочем, периода послекорниловского я сейчас не буду касаться. Это дело другое, — и другие вопросы.

Мои сегодняшние, узкие, касаются лишь дела «Керенский—Корнилов».

Мне возражали: да стоит ли сызнова подымать эти вопросы? Десять лет миновало. Корнилов убит, и даже прах этого «государственного преступника» развеян большевиками по ветру... Нужно ли ворошить прошлое? И не все ли равно, кто кем был в прошлом, и как действовал? Ведь перед стихийным потоком событий люди бессильны. Свершилось так — значит так было суждено...

Если бы А. Ф. Керенский не высказывал неоднократно, что в «судьбу», в «железную необходимость» истории он не ве-

* Зато теперь, для спасения от большевиков, уж не к кому прибегать; да и опасно: как раз заслужишь кличку «пораженца». Слово это крайне «многосмысленно»: вспомнить, что когда-то носил эту кличку сам А. Ф. Керенский (я тоже, и не отказываюсь); звали его так весьма многие, начиная со старого Милюкова и всего его «думского блока». Думаю, что в прямом смысле эта кличка никому не подходила и не подходит, кроме большевиков.

рит, — пожалуй, тогда вопросов ему и не стоило бы задавать. Но он верит в другое: он думает (как я), что «люди что-то весят в истории»; что-то значит «личность и личная воля». А кто это думает, тот понимает, что смотреть в прошлое — не пустое дело; человечески-необходимое дело. Уже потому хотя бы, что не осознать прошлого *и себя в нем* — верное средство лишить себя будущего.

Вот на каких основаниях (кроме других, упомянутых выше) строится моя надежда, что вопросы, обращенные к А. Ф. Керенскому, без ответов (ясных и прямых) не останутся. Мы хотим только правды. Может быть, в окружении А. Ф. Керенского, на «политических верхах», она давным-давно известна. Но эти «верхи» — не мы, не «все». Измену Корнилова А. Ф. Керенский поведал «всем — всем — всем». Пусть же и теперь он поведает нам, — «всем», — то, чего мы не знаем и что знает он.

ПОЛОЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ

Нечего себя обманывать: положение весьма печальное. В какой-то газете аноним жаловался даже прямо на отсутствие критики. Все, говорит, либо дружественные излияния, либо критика не «чистая», а с касанием «политики», чего жалующийся не признает. Относительно «дружеских излияний» он прав. Это не критика. А что такое жажда «чистейших образцов» критики — мы увидим, когда рассмотрим причины данного, столь печального, ее положения.

Речь идет о критике литературной, но в кругу эмиграции, и притом русской.

Что она русская — заметить важно; ибо нам, русским, — без ложной скромности, — есть чем похвалиться в истории не только прямой литературы, но и критики. Не всякий из нас готов тотчас от своей истории отречься и веселой ногой пойти на «вырождение» критики: во Франции, мол, выродилась, ну и у нас пускай...

О Франции можно поспорить особо; но в нас-то кажется, традиции критики еще живы и не так скоро умрут.

Однако сейчас мы — эмиграция. То есть, помимо всего прочего, круг до чрезвычайности суженный. Мы, если по Достоевскому, лежим все, и давно, на одной соломе. Ну да, ну да, подхватывают защитники «дружеских излияний», вот поэтому-то мы и должны быть особенно осторожны: неловко, слишком свободно, шевельнешься, — глядь, другого и ушиб. Художники итак самый чувствительный народ, теперь же, в эмиграции, они вовсе без кожи. К ним и цветком прикоснуться, и то надо с нежностью.

Все это верно, все это есть: и общая солома, и бескожная, сугубая чувствительность писателей, и еще кое-что... Но ведь есть, рядом, другое: память о русской критической линии; любовь к слову, мысли и жизни; и непреодолимое желание говорить о них правду.

Что же делать современному критику? Что выбрать? Покориться и тихо журчать, изливая нежные чувства? Или, если надоест, совсем замолчать? Или решиться, вопреки всему и всем, не изменять себе, как критику, и все-таки говорить правду?

Третье решение кажется героическим, но оно, прежде всего, бесполезно, практически неосуществимо. Не потому, что у нас нет критиков: они есть, и очень способные. Но они прекрасно знают, что не нашли бы места для своих «правд».

Дело вот в чем. Все органы печати в эмиграции — политические. Да и как иначе: не прямо ли детище политики — эмиграция? Не обусловлено ли самое бытие — политикой? Но принято иметь (из наивного снобизма какого-то) в каждом политическом органе — «художественный угол». До утомительности разнообразны «политики» этих органов; но художественные их углы построены одинаково, и одинаковое, неизменное, требование предъявляется к посетителям углов: являться с чистейшими образцами чистейшего искусства, чистейшей художественности.

Требование сугубо абсурдное сейчас, здесь, где каждый эмигрант, будь он художник, не может находится, по самому эмигрантству своему, абсолютно вне того, что зовут «политикой». И особо злостным абсурдом звучит подобное требование, обращенное к русской литературной критике.

Знаем ли мы в истории нашего слова такую чистейшую, беспримесную, критику? Знаем ли таких (настоящих, конечно) критиков? Длинно было бы доказывать примерами, что знаем мы других критиков; да и совестно заниматься этим, в учебник-то русской литературы каждый сам может заглянуть. Я только напоминаю: никто еще не подходил к художественному произведению без любви к слову — мысли — жизни: или это была не критика. Никто еще не подходил к писателю, вырывая его из времени, из эпохи, не стремясь угадать его лица, — или это была не критика. И наконец: никогда еще не удавалась критика тому, кто брался за оценку чужих творений, сам не имея никакой мысли, никакого собственного отношения к окружающему, не видя своей эпохи, не понимая себя в своем времени.

Вот почему и не вышло бы толку, вздумай кто-нибудь сунуться с «правдами», с настоящей критикой, в угол чистейшего искусства при любом современном органе. Наши критики это прекрасно знают и бесполезных попыток тоже не делают. И критики нет, хотя, повторяю, людей молодых, способных создать ее, зоркоглазых, любящих плоть слова и душу̀ его, мысль, — сколько угодно. Присяжными лепетателями о чистом искусстве в каком-нибудь художественном нынешнем углу они не могут стать. Что же они делают, эти потенциально настоящие критики?

Что могут: ищут окольных путей и тропинок. Опасность немалая: легко ведь *привыкнуть* говорить не то или не совсем то, что думаешь и незаметным образом лишиться способности выражать свою мысль... Но как быть? И надо, конечно, с умением и осторожностью выбирать темы. Начинается выбор. Буду я только об иностранной литературе писать, говорит

один со вздохом. Другой: а я только о советских романах. Третий: а я... но он еще не придумал специальности и собирает, пока что, незабудки для здешних друзей и соседей. Все знают, что и при специальных темах придется, хочешь не хочешь, «чистить» свою художественную критику. Надсмотрщики над углами искусства, хоть и разные, одинаково требуют «чистоты», невмешательства творцов и судей искусства в дела жизни. Некоторые из таких угловых надсмотрщиков не претендуют на звание спецов в искусстве и поясняют просто: «да» и «нет» не говорите, «белого» и «черного» не называйте, и тогда, пожалуйста: «барыня прислала сто рублей». Вот уговор, и мы следим.

Другие надсмотрщики, в других углах, куда хуже: чистоту проповедуют с пафосом, со слезой; сами стараются явить ее пример, или очищают свое слово от мысли, чувства от разума, рассуждения от логики и от всякой ответственности. Сами себя считают и творцами, и судьями. Такой наблюдатель особенно труден критику с живой душой. Но опять — что поделаешь? Над углом он поставлен, от него все зависит, надо приспособиться...

И приспосабливаются; следят, как бы не сказать невзначай «да» или «нет», как бы назвать черное черным, белое белым. Понемножку, увы, привыкают писать... не чистую критику, не нечистую, и даже не критику, а просто меледу. Блажен, кто устоит и сохранит свое дарование до лучших времен!

Мне будут возражать: не слишком ли большое значение придаете вы углам с их «заведующими»? У нас нет критики, но главная причина — не транс ли писателей, в который они впадают от прикосновения даже цветком? Вы забыли, что этот транс связывает всякого критика?

Я не забыл, связь большая, но не во всех случаях серьезная. Винить же писателей за их бескожность почти нельзя. Разберемся: здесь, на общей соломе, писатели и старые, и молодые. Старые, как нарочно, такие подобрались, какие дома кожу настоящую себе не нарастили, упора не выработали. Одни не сумели, другие нужды не чувствовали: и с тонкой кожей им было

жить ласково. А после катастрофы (ведь не легко они ее пережили?) — как последнюю кожу не потерять? Нет, я понимаю, что им больно всякое прикосновение, даже словом. Молодые — этим и с первичной авторской чувствительностью некогда было справиться; да они, пожалуй, и не знают еще, что с ней *нужно справиться*, что собственные интересы этого требуют. Поэтому я и не виню и молодых. Более сильные сами впоследствии поймут, как унизительно снисхождение критики, как не важно ее молчание и как благодетельно ее суровое, даже несправедливо суровое, слово.

Далеко не всегда страх писательской чувствительности замыкает критику уста. Есть литераторы, о боли которых мысль просто в голову не приходит. Но ведь и о них критики не пишут критики, — не говорят «правды»?

Примеров сколько угодно. Возьмем первый попавшийся, — хотя бы роман «Сивцев Вражек» М. Осоргина. Широкой публике этот беллетрист мало известен, но в кругах нашей «прессы» его знают. Отзывов о романе напечатано немало. Что это за отзывы? Не знаю, как определить; не «критика» во всяком случае. И даже как-то представить себе нельзя, что бы появился действительно критический отзыв об этой книге. Теоретически вообразить можно, а фактически... ни один их наших критиков такого отзыва не напишет. Знает, конечно, «правду», и обосновать ее сумел бы, а вот, не скажет. Не скажет, что книгу эту читать нельзя, больше — в руках удержать ее нельзя: она, как песок, сквозь пальцы просыпается. А за нею — такой же сыпучий, неясно-волнующийся, песочный столб: облик ее творца. Трудно ли доказать, что печенье пирожков из песку — не искусство, а разве искусность: да и то печь их надо из сырого; держатся, пока песок не высохнет.

На эту «правду» критики наши не дерзнули. И уж, конечно, не от страха причинить боль автору. Он один из тех писателей, мысль о ранах которых в голову не приходит. Слишком он легок для человеческих ран, слишком мило сантиментален... Но потому не скажет никто этой *художественной* правды, что най-

ти для нее слов без мысли — нельзя, не сказать ни разу ни «да», ни «нет», ни «белое», ни «черное» — нельзя. Надсмотрщики же над углами искусств (один из них, кстати, и автор «Сивцева Вражка») неумолимо строги. Только одно и выйдет, предъяви им кто-нибудь столь правдивую критику: возьмут предъявителя под подозрение, потом как ни старайся меледить — доверия не вернешь.

Повторим: меледа вещь опасная, но смелым Бог владеет, да и не лучше ли меледить, чем вовсе молчать? Сквозь меледу, подскочив боком, зайдя сторонкой, разве не удается порой прошептать и свое что-нибудь, настоящее, что и вправду думаешь?

Одному из самых способных наших критиков, Г. Адамовичу, удается нередко протаскивать через меледу кое-что свое, — не во всяком, правда, уголке. Это не значит, что прилежное лепетанье, витье веревочек, уже не грозит ему ничем. Опасность привыкнуть к такому занятию, приспособиться дотла, — не исключена. Может быть, поэтому именно Адамович, с его возможностями, вьющий веревочки, — возбуждает досаду, как никто. Никто, положим, и не вьет их столь колоссально скучно. В этом есть и утешение: значит, видно и самому критику, что такое он делает, самому от скуки уже невмоготу...

Я едва указал на главные причины отсутствия у нас художественной критики. Можно было углубить расследование, расширить его, — этого я пока не делаю. Во всяком случае, положение серьезное. Писатели есть, литература, худая ли, хорошая ли, — есть; а критики нет.

КАКОЙ СОЦИАЛИЗМ? КАКАЯ РЕЛИГИЯ?

Споры о социализме и религии все еще не утихают. Что и говорить, вопрос важный. И недаром он сделался «актуальным». К сожалению, никто до сих пор не только ясности в него

не внес, но даже правильно его не ставил. Большинства статей на эту тему не стоит и касаться: детский или старческий лепет, — независимо от того, защищается ли связь социализма с религией, или отрицается.

Но вот кое-что интересное: столкновение г. Ф. Степуна с г. М. Вишняком. Мимо спора сотрудника «Совр. Зап.» с одним из редакторов журнала — проходить не следует. Разберемся в нем: яснее увидим, как обстоит у нас дело с «религией и социализмом».

Сначала ничего не понимаешь: что это за столкновения? Спорщики находятся в одних и тех же водах... Лишь потом убеждаешься, что Степун гораздо *глубже плавает*. Вишняк в его водные пласты не спускается. Не хочет или не может — во всяком случае это его право. Но Степун, по привычке ли к размаху, по врожденной ли склонности к смесительству, или по чему-нибудь еще, делает периодически попытки произвести общее «возмущение вод». Попытки не удаются, Степун лишь попросту вторгается в область Вишняка. Тут-то столкновения и происходят, причем победа неизменно оказывается не на стороне смесителя.

С редкой отчетливостью даны Степуном определения идей коммунизма, социализма, демократии, буржуазии, утверждены идеи личности и свободы (см. его последнюю статью в «С. З.»). Так отчетливы и верны формулировки, что поистине я не знаю, кто будет против них возражать. И уж, конечно, не Вишняк. Может ли он не согласиться, в принципе, что «идея свободы в отрыве от истины не познаваема», что свобода есть *«путь истины в мир и путь мира к истине»*? (курс. подлин.). Будет ли он протестовать против попытки «уловить идею (душу) социализма», как «некоего духовного почина, некоего, интуитивного замысла о новом человеке, идущем на смену... буржуа», и вообще буржуазного строя, этого «интересодержавия»? Не возразит Вишняк и против мысли, что «задача социализма... в воссоздании тех углубленных духовных святынь между людьми, которые таят в себе начала любви...».

Да что Вишняк! Против «воссоздания», против такого социализма (в таком аспекте рассматриваемого) не станут, я думаю, возражать и называющие себя ныне антисоциалистами. Стоит лишь сойти к Степуну, на его глубины... там — все его определения незыблемо верны. Сойти вглубь можно, да только оставаться в ней безвыходно как будто нет смысла. Степун и сам этого не хочет. Как же соединяет он конечные определения с конкретностью, глубины с поверхностью вод? Свой идейный, идеалистический социализм, «душу» социализма — с его сегодняшней, реальной плотью? Прозрения — с течением *времени?*

В поисках связи, Степун подробно разъясняет свои слова (в предыдущей статье) о том, что Россия, после большевиков, должна взлететь на какие-то «высоты Толстого и Достоевского», за что обещается оправдание «октябрю». Это — говорит Степун — программа максимум. Но у него есть минимум. Он *признает* необходимость созданья в России условий самой обыкновенной политической свободы; он даже «проповедует» в качестве «грядущей правды русской жизни буржуазно-демократический строй в чистом западноевропейском смысле»; и даже называет «преступным», «безбожным» всякое противление тому, «что сейчас на очереди». «На очереди» также «нейтральный политический строй», для «гарантии свободной борьбы всех идей». И отнюдь это не «мещанство»: мещанство — лишь взгляд на все это, как на идеал (на программу максимум), т. е. отрицание всякого дальнейшего движения, развития общественно-государственных форм.

Но неужели Вишняк, или кто-нибудь из сегодняшних серьезных политиков, мыслителей, писателей, повинен в таком «мещанстве», исповедует такой странный взгляд на историю? Конечно, нет. А если нет, если и насчет устроения «завтрашнего дня» спорящие согласны (вплоть до «нейтрального» политического строя) — в чем же спор? Отчего «нейтралисты», «простые свободы» и т. д., явно «стоящие на очереди», — из рук Степуна Вишняк не принимает? Нет ли в степуновском

«завтрашнем дне» скрытой какой-то особенности, делающей его неприемлемым... пожалуй, и не для одного Вишняка?

Есть. Мы увидим ниже, откуда эта особенность является, где ее вероятные истоки; но сначала надо ее раскрыть.

Речь идет о «завтрашнем» для России дне, то есть — условимся! — о западноевропейском «сегодняшнем». Он построен (как и в России будет строиться, сделавшись сегодняшним) из сегодняшнего *данного,* из данных понятий демократизма, социализма, свободы права и т. д. Пусть не совершенные, сегодня-то даны — они; они и слаживаются вместе, пригоняются друг к другу для общей постройки.

Такое, из данных сегодняшнего дня построенное, государство, — действительно будет «нейтральным», т. е. одинаково относящимся ко всем внутренним коллективам, какую бы доктрину они ни исповедовали; ибо — говорит М. Вишняк — это «государство призвано уважать и охранять все доктрины (кроме тех, которые его фактически ниспровергают)».

Такое устройство Степун и «признает», его и называет «грядущей правдой русской жизни», его и «проповедует», как «на очереди стоящий строй» «в чистом западноевропейском смысле»...

Но... и очередь еще до России не дошла, а уж Степун «проповедуемую правду» — этого смысла лишил. Он стал предрекать, или представлять себе, или «религиозно» утверждать, что такое государство, русское, будет *православным.* Т. е. что оно не станет объединять в себе данных коллективов, а выберет из них один, определенный, и с ним сольется. Может быть; но как же тогда с западноевропейским смыслом? Ни одно государство сегодняшнего дня (и этому дню соответствующее) не соедининено ни с одной церковью сегодняшнего дня, «видимой», тоже дню соответствующей. Степун искушает Вишняка «большинством»: ну, а если большинство захочет соединения? Вишняк не соблазнился, а для нас и соблазна тут нет: *такое* государство, если бы даже не большинство, а весь народ страны принадлежал к данной церкви, соединять себя с ней *не может.*

Вишняк, со своей точки зрения, праведно встал на защиту «сегодняшнего» (для России завтрашнего) дня, пытаясь оградить его от смесительных вторжений Степуна. Да, либо «нужно» устройство «в западноевропейском смысле», со всякими «простыми» свободами и правами (хотя бы как этап, не будем мещанами!) – либо нет. Могут быть разные мнения. Но нельзя искажать образ данного государства (которое будто бы «признаешь»), нельзя представлять его, сегодняшнее, реальное, видимое, мере исторического нашего возраста соответствующее, – в соединении с одной из христианских церквей, тоже «видимой» и тоже находящейся в соответствии с мерой нашего исторического возраста.

Я хочу лишь выпрямить мысли Степуна; но они слишком извилисты, это не легко. Да и всякую минуту можно ожидать, что он из этой области, от вопроса государственно-церковного, отскользнет опять вглубь, к «душе» социализма. Но мы ему этого не позволим. Или нет, позволим, даже за ним спустимся, с одним условием: пусть он «видимую», православную или другую данную церковь оставит пока там, где находится все «данное». Пусть, если главная тема его «о социализме и религии», а задача – показать их сближенность, он и «религию» рассмотрит так же внимательно и *на тех же глубинах*, как социализм. Увы, Степун этого не делает: он делает нечто совсем другое. Социализм он исследовал, открыл его «душу»; но, обратившись к «религии», он ничего не исследует, корня и души христианства не ищет, а попросту стягивает в свои глубины – *православную* церковь. Тут же самую «видимую» церковь, которую он только что пытался соединить с современным государством, – теперь пытается соединить с «душой» социализма; с социализмом «невидимым» (ибо эта душа своею плотью сегодня не облечена, да и завтра вряд ли еще облечется). Очевидно, для Степуна *«религия»* – и означает *«церковь»?* Иначе он не употреблял бы слово «религия» то в смысле церкви, то в смысле православия. Да и с видимой христианской церковью остерегся бы обращаться, как он с ней обращается.

Из двух попыток: соединить сегодняшнее государство с православием и глубинную «душу» социализма с тем же «видимым» православием — которая противоестественнее? Не знаю. Во всяком случае, обе — полное смешение понятий, порядков и времен.

От Ф. Степуна мы, конечно, не дождемся углубленного исследования «религии». Да и такого исследователя, среди занятых вопросом «о социализме и религии», пока не находится. Вот, если он найдется, тогда...

Но тогда нам открылись бы довольно неожиданные вещи. Пришлось бы, пожалуй, взяться за коренную перестройку вопроса, и от ходячих его постановок вроде: соединим ли социализм с религией и частное или не частное религия дело — вовсе отказаться. Недавно, в узком кружке, возник спор «об искусстве и религии». Аналогичный, он принял и аналогичное течение: те же (подобные) вопросы задавались, так же на них отвечали. Лишь один из спорящих говорил вне этих ответов. Но один он — говорил именно «об искусстве и религии»...

Он сказал, между прочим, что вопроса, частное дело религия, или не частное, совсем не существует: или она не частное, или ее нет. Что рассуждать, ставя рядом «искусство и религию» (как «социализм и религия») — нельзя: понятия несоизмеримы. Религия соизмерима с религией же, т. е. все вопросы решаются внутри нее. «Вообразится» религией (часть — целым) может, конечно, все; но под лучом религии эта «часть», высветленная, прекращает свое «вообразительное» бытие...

Такие положения столь оказывались разрушительными для привычных общих мест, что их не понимали — даже с удовольствием. Уж очень издалека пришлось бы возвращаться к этому... почти здравому смыслу.

Но перейдем опять, оставив побочные рассуждения, на Степуна и на его смесительства.

Путаницы внешние, невольные смешения, объяснимы легко: ведь для писателя область христиано-церковно-православ-

ная еще совсем новая область. Гораздо любопытнее его смешения вольные, преднамеренные.

Вишняк нюхом почуял неладное: так заверительно-ласково приемлется «сегодняшний день», и вдруг выходит, неизвестно откуда, что в него вдвинута православная церковь, на особых правах. И Степун оказывается тут в согласии с самыми неожиданными людьми...

Да, действительно: от евразийцев, до антониевцев – все вдвигают православие в государственную Россию завтрашнего дня; Вишняку есть над чем задуматься.

Я попробую объяснить ему, откуда идет странное объединение, почему и Степун, и Струве, и христианская молодежь Монпарнасса, и даже все Крупенские стремятся, в данном случае, к одному и тому же.

В то усиленное значение, которое теперь придают православной церкви, часто ввивается желание просто ее «использовать», взять как средство (что может быть соединено и с искренней приверженностью к церкви, – у людей менее сознательных). Однако этого элемента (среди «Крупенских» преобладающего) мне сейчас не хотелось бы касаться. Укажу лишь на более общую причину многих заблуждений, на то, что заставляет ныне людей, весьма далеких, сливаться в одном «воздыхании».

Мы, русские, обладаем неким печальным свойством, благодаря которому в каждом чувстве доходим до болезни. Для чувств патриотических (а мы теперь все патриоты) есть специальная болезнь: идея мессианства. Под «мессианством» я не разумею, конечно, самоощущение и самосознание всякой нации, как имеющей свой единственный лик, свое место, свою задачу; и даже свой исторический момент, когда именно она выступает вперед, во исполнение своего посланничества, своей миссии. Но этот «миссионизм» очень далек от «мессианизма», особенно русского. Несчастная, – воистину несчастная! – склонность ко всему безмерному сделала то, что и патриотизм наш заражен «мессианством». Идея, в скрытом виде, жила все-

гда. А теперь уже проявляется, как болезнь, у людей самых различных «толков». И даже формы проявления часто сходствуют: болезнь-то одна.

Мессианство — это волевое, чувственное или вообразительное утверждение исключительности и особого, исключительно высокого, призвания своей нации, своей страны. Национальные свойства и черты, даже те, которые явно подлежат преодолению, все принимаются и благословляются. Созданное этой нацией, всегда значительнее, выше создаваемого другими. Таковы «наша» церковь, государство «нашей» страны. Даже самые несомненные исторические ее падения истолковываются как необходимость для следующего за ним безмерного взлета.

Вот мы и подошли вплотную к Степуну, к знаменитым словам его предыдущей статьи: после большевизма (тоже, мол, очень «нашего», русского, явления) Россия должна взлететь «на высоты Достоевского и Толстого», чем и «будет оправдан Октябрь». От этих слов, этих «мыслей о России», Степун *отнюдь не отрекся*: вторая статья, «разъяснительная», — это попытка пронести, их же, в чемодане с двойным дном. Сверху, для показа, наложен «завтрашний день в западноевропейском смысле», с «простыми свободами», «государственным нейтралитетом» и всем прочим. Но мы видели, как прорывается показное дно; не выдерживает...

Если у такого посвященного писателя, как Ф. Степун, мессианство выражается несколько грубо, если он говорит о «религии», называя ее то «церковью», то «православием» (ведь оно русское, русская «поместная» церковь — значит, по высокому «месту» России и самая высокая религия), — мы не должны забывать: он человек тут новый. Для нас (и для М. Вишняка) эти неловкости слишком наглядны, нитки слишком белые, — удача: ведись такие беседы более тонко — труднее было бы в них разобраться. Теперь, по крайней мере, ясно, что разговор с Ф. Степуном о «социализме и религии», «общественности и религии», так же бесполезен, как и со многими

другими, хранящими в уме или сердце нечто от русского специфического *мессианизма.* Пока мы, — левые, правые, атеисты, христиане, — его не преодолеем, мы и патриотами настоящими не будем, и ни одного, действительно важного, вопроса даже правильно поставить не сумеем.

В заключение — не могу не пожалеть, что статья Ф. Степуна, с ее глубокими и верными отдельными мыслями, — о демократии, о буржуазии, о социализме и т. д., — как-то пропадает из-за смешений, извилин и скачков. И еще: не могу не выразить изумления, соединенного даже с некоторым ужасом, что русский — до русского мессианства, — патриот пишет на таком на только не русском, а просто неизвестном языке. Уже не говорю о «буржуа, опоясанном одиночеством» и о том, что делает «подкованный звонкой бессовестностью беспринципный рвач с безыдейным размахом». Но вот по-каковски это (с большим трудом выписываю): «...марксистски структурированное сознание... верит в сверхклассовое общество... Так пересекаются (две темы) и в теоретическом марксизме, и в марксистски-структурированном пролетарском переживании...» и т. д. Не огорчительно ли? Да и «аппаратура» с «неподвластной ей духовной жизнью» тоже огорчает. Невольно спрашиваешь себя: индивидуальная ли особенность Ф. Степуна — это наречие, или надвигается на нас общая, новая, зараза?

Хотелось бы также спросить редакторов единственного в подлунной журнала нашего, призванного хранить заветы русской культуры: что они думают о завете Тургенева — беречь «великий русский язык»?

НЕВОСПИТАННОСТЬ

Что делается в мире? Что наше «человечество»? Не приблизилось ли еще к «человекообразию»? Вероятно; только особых успехов, таких, чтобы в глаза бросалось, не видать. Напротив, загремела собака, явственно, на английском языке, пролаива-

ющая каждое свое требование. Требования у собаки пока скромные, — собачьи, и люди их охотно исполняют.

Сами же люди устремились сейчас, в первую голову, на *пространство*. Победить — не победить, но «обойти его сторонкой» — иногда удается. Вот было заседание, *одно*; происходило оно в Лондоне—Нью-Йорке, в один и тот же момент, конечно, кресел равное количество. В Лондоне пусты те, на которых сидят члены в Н.-Йорке, и обратно. Только что заседание открылось, пустое председательское кресло в Лондоне заорало: «Доброе утро!», и на нем явилось беспроволочное отображение председателя (сидящего в Нью-Йорке). Живые члены тотчас отвечали: «Добрый день!» (в Лондоне-то был уж день) — с тем же успехом своих пустых кресел в Нью-Йорке. Заседание велось и кончилось быстро, о чем растабарывать, и так стало оно в копеечку!

Впрочем, я в этой — пока — игре ничего злостного не вижу. Цивилизация. Не культура (зачем смешивать), но цивилизация несомненная.

Если ничего примечательного в мире за последние месяцы не произошло, — не случилось ли каких-нибудь перемен в нашем маленьком «частном» мире — русской эмиграции ? О России не говорю. Там нечему случаться, пока не случится *все* (революция). Ее мы, конечно, не просмотрим. Эмиграция же и теперь на виду — и *на свободе*. С эмиграцией — и в эмиграции — очень могло бы что-нибудь происходить.

Происходит ли? Добросовестно слежу и убеждаюсь, что нет: особенно важного и нужного изменения не происходит. Между тем, прошу заметить! русские эмигранты живут сейчас на такой свободе, какая не только им не снилась, но до сих пор не снится и нормальным гражданам любой нормальной страны. Кроме публичного скандала — все нам позволено. Болтай, что хочешь, публикуй, что в голову придет, ругай любую страну, до своей собственной, — никакому нет дела.

Как же эмигранты с невиданной этой свободой устраиваются? Как с ней справляются? Скажем правду: не справляются.

Решительно и положительно: эмиграция, — «верхи» ее, — со свободой до сих пор не справились.

Если отодвинуться, взглянуть издали, — станет понятнее, почему так вышло. «Верхи» — это ведь все осколки бывшей «интеллигенции»; жизнь их построена была на «непримиримости» к самодержавию и на воздыханиях о «свободе». Но когда вдруг, нежданно, пришла свобода, — с фригийской шапочкой на голове (в знаменитом феврале) — они так растерялись, что ее же сами и просадили. Да, да, я знаю, что я говорю. И я утверждаю, что все, без исключения, интеллигенты, какие только ни были в те годы около «часов истории» (по выражению Керенского), — все приняли участие в этом просаживании. А только ими, — различными интеллигентскими группами в различные периоды последнего времени, — часы-то истории и были облеплены.

Свободой их словно обухом по голове ударило, и так, еще в оглушении, были они и сюда выкинуты. Сюда, — опять в свободу... Посмотрите: странная какая-то, — специфическая, — *неприкаянность* чувствуется и в левых, и в правых кругах эмиграции. За что схватиться? Что думать? Что говорить? Что выбрать? Можно — все, а что нужно — неизвестно!

Старое мнение, что Россия страна «некультурная», имело свои основания. Конечно, некультурная. Ведь сверху донизу Россия *не воспитана* — в том, в чем воспитание необходимо, — в свободе. Эта невоспитанность бросалась в глаза и давала себя знать. Задолго до войны один умный англичанин посетил Россию (прежде посещали ее и умные). Его поразила «свободность» жизни личной, внутренней, русского «общества» (интеллигенции) при полной связанности, несвободе жизни общественной. Он ставил оба явления в зависимость друг от друга, хотя разобрать до конца, в чем дело, — не сумел, конечно. Для нас оно просто. Человеческое развитие русской жизни не шло нормальным путем. Нормально жизнь внутренняя и внешняя развиваются в какой-то, хотя бы приблизительной, параллельности. Грубо говоря — «думанье» и «деланье» стремятся к

равновесию. Их общий уровень и есть уровень культуры. У нас – и самая оторванность низов от «верхов», и тонкость верхнего слоя, имели ту же причину: связанность, внешнего, не только деланья, но всякого движенья. На верхах, где процесс «думанья» все-таки шел и соответственного «деланья» требовал, – эти внешние преграды просто искажали жизнь. Создавалось, мало-помалу, чувство неответственности, и – создавалась *привычка* к безделью. Загнанная внутрь, потребность свободы, превращала этот мир личных и полуличных отношений, недосягаемый для «запретов», – в мир какого-то «домашнего роспуска» (что хотел сказать, но не сказал, из деликатности, англичанин).

Вот в каком невоспитанном состоянии оказалась часть нашего общества здесь, – на полной свободе. Да, поспешат возразить мне, выкинута на полную свободу, – но ведь, и на естественное, вынужденное, безделье? Какое у нас тут может быть деланье?

Ну, фактом эмиграции свою привычку к безделью – и к роспуску, – прикрывать нечего. Да и в области *чистого* деланья эмиграция уж показала много доброй воли: как она учится работать, строить, бороться за существование! И условия свободы начинает ценить, может быть, безотчетно, бессознательно.

Но я говорю не об этом деланьи. И не о случайном пользовании условиями свободы. Нам необходимо какое-то внутреннее ее постижение, самоприспособленье к ее амосфере. Это, пожалуй, так же не просто, как выучиться плавать. Есть разные методы обучения этому искусству. Нас – без церемонии, сразу столкнули в воду, вниз головой. Но не вчера столкнули?.. а мы все еще захлебываемся.

Что значит уметь жить в свободе? Это значит, прежде всего, уметь самому ее *ограничивать*. Тут-то сказывается наша общественная невоспитанность, ибо – кто у нас выучился этому самоограничению? От Струве (чтоб не начать дальше) до Керенского, – никто! Никто! В нашей «свободе слова», которой мы так добивались и в которую, наконец, свалились, – как мы

действуем? Не с привычной ли, индивидуалистической, «свободностью» крепко ограниченного извне «домашнего круга», а внутри — незнающего преград?

Мы никогда не жили как «граждане», а лишь как «подданные». И продолжаем чувствовать себя подданными, только вдруг очутившимися... не на свободе, а на «вольной волюшке».

Опять говорю: эмиграция, — чужая страна, лишение родины, тяжесть жизни и т. д., и т. д. — все это *не* оправдание. Был в Петербурге, в довоенное время, человек. Он жил где-то на окрайне, в полкомнате, перегороженной простынями. Ходил всегда без шапки, с сумой за плечами. Сильно пожилой, лысый, но бодрый, он появлялся на философских и других собраниях, иногда говорил, — и без всякого «юродства», а серьезно, обнаруживая большую начитанность. Чаще всего говорил о России, о ее народе, — тут была у него своя система. Имелись у него визитные карточки: «Гражданин земного шара — такой-то».

Вот этот свободный человек мне и вспоминается. Плох или хорош, но свободен-то он, в свою силу, был. И был «гражданином»... Земного шара? Что ж такое! Это «гражданство» — крепкое, верное, основное. А лучше разве наше упрямое «подданство» и нытье, что где уж, мол, нам, куда уж... Дождемся России, вернемся, ну тогда?..

Нытье ли с роспуском, стылое ли доктринерство, самодовольство ли ребяческое, — во всех случаях тоже ленивое нежелание учиться жить по-новому, — в свободе. Главного секрета свободы не открыли, — самоограничения. А оно так глубоко идет, что касается даже... *свободы правды.*

«...Черта моей психологии: я едва знаю, едва *верю*, едва *допускаю*, что мне "современничают" другие люди...». Это слова самого большого «свободника» (в русском смысле), меньше всего «гражданина», — Розанова. Такая «свободность» понятна, если «едва верить», что тебе «современничает» еще кто-то. В Розанове была ее квинтэссенция. Но от нее, в разбавленном виде, еще не отделались никакие русские люди, даже самые «общественные». И принимают эту «свободность» — за свободу.

Розанов абсолютно не был способен ни на какое самоограничение. Свободу его «слова» ограничивала заботливая цензура, а вопроса о «свободе правды», которую внешние рамки почти не могут сдерживать, — этого вопроса Розанов бы даже не понял. Да один ли Розанов? Как, скажут, о своей правде, — и не говорить вовсю, с полной свободой? Урезыванье — не измена ли правде, не измена ли своему первому долгу, не безнравственно ли это? (Розанов, положим, выразился бы иначе, ведь он даже не знал, через «е» или через «ъ» пишется слово «нравственность».)

Да; между тем, стоит лишь понять, что живешь в действительной свободе, что «правда» твоя — у тебя в руках, что она — и ты сам — на твоей одной ответственности, — как тотчас задумаешься: не всякий шаг сделаешь, не всякое слово скажешь о своей «правде». И о личной (розановский роспуск, самовыворачиванье) и, тем менее, о «последней» своей правде, — верований, убеждений и т. д. Если мы стремимся сделать ее общим достоянием — непременно будем мы искать ей *меру*, ради нее же самой, чтобы она могла быть воспринята «современничающими» нам людьми.

А, впрочем, стоит ли говорить об этом, когда зарубежная наша «провинция» еще с первыми начатками воспитания не справилась? Не освоилась со свободой; не привыкла к мысли, что теперь полагаться не на кого: сама себя вовремя не остановишь — сам за себя, и за свое, ответишь.

Да, наконец, последняя-то правда? У кого она сейчас оформлена, не шаткая, не валкая, не в тумане?

Вот и этим, кстати, недурно бы заняться. Прояснением. Тоже дело немалое.

ДУШУ ПОТЕРЯТЬ

В прошлый раз я позволил себе заметить, относительно журнала «Совр. Зап.», что это, при всех своих случайных достоинствах, не совсем «журнал». «Совр. Зап.», говорил я, не

имеют одного лика, распадаются по кускам, ни к чему определенного отношения не высказывают, вообще у них *нет линии*. Это мнение не мое только, но общее. И даже не мнение; пожалуй, это факт, имеющий свои последствия. Недавно, например, послал приветствие журналу — П. Б. Струве, увидев в нем многое, ему близкое. Другие (совсем другие!), повернув журнал нижним углом, видят близкое себе.

Г. Вишняк защищает свое детище и от Струве, и от какого-то полукоммуниста из «Дней». Защиту от моих скромных упреков «Совр. Зап.» поручили г. Степуну (далее г. Степун в своих «Литер. Заметках» «переходит прямо к журналу нашему, и очень его «журит»).

Я не имею ни возможности, ни способности писать так пространно, как г. Степун. Я не могу, поэтому, останавливаться на прямых, иногда комических, недоразумениях, которыми полна его взволнованная критика. Что ж делать, если некоторые места из напечатанных у нас статей г. Степун так не понял, как незнакомый язык не понимается? Мне только жаль, что, строя свою критику на этом своем непонятии, он впал в напрасное огорчение.

Я-то, мне кажется, г. Степуна прекрасно понимаю. И, в меру этого понимания, нахожу, что «Совр. Запискам» не следовало именно ему поручать свою защиту от упреков в неопределенности. Кто, как не г. Степун, сам, — живое воплощение «артистической» неопределенности? (Может ли неопределенность — воплощаться? Вот, оказывается, может...) Г. Степун как бы видимое, осязаемое «ни два, ни полтора». Или два и полтора, чего хочешь, того и просишь, куда обернешь — то и найдешь. Ведь даже сами «С. З.», — к чести их замечу, — терпят-терпят это мягкое, всецветное переливанье, да вдруг уж сил нет, и бросаются из разных углов: ох, не мучай, скажи, наконец: два или полтора? Так или эдак? Да или нет?

Но г. Степун никогда не сдается. С обезоруживающей обстоятельностью и пространностью уговаривает нетерпеливых, полувозражает — полусоглашается, и выходит как-то так, что

вообще не нужны «да» и «нет», разве в голой физике; если, например, у тебя оружие в руках, тогда может возникнуть вопрос о да и нет: промахнусь или убью? Это особенно зачаровывающе действует на возражателей из самих «Совр. Записок»: редакторы – наиболее мирные люди, какие есть на свете, об «оружии» слышать не могут; если да и нет связано с оружием, с «мечом» (особо страшный, почему-то, вид оружия) – то пусть проваливаются с ним и да, и нет, и два, и полтора.

Что до нас касается, мы не боимся физики, – так же, впрочем, как и метафизики. Мы сами, на всякий прямой вопрос, всегда готовы дать прямой ответ, по нашему убеждению (ошибочному, быть может, но это уж другое дело). Поэтому мы и вправе говорить, что время наше требует определенных утверждений и определенных отрицаний. Большевизму и большевикам мы говорим самое немерцающее «нет»; как его ни верти, оно со всех сторон будет «нет». Основание его – твердый камень, оттого и непримиримость наша, не во гневе будь г. Степуну сказано, – «твердокаменная». Он говорит: «Задача эмиграции вовсе не в твердокаменной непримиримости...», но посмотрите, какой и тут словесный изгиб: *задача* эмиграции... Кто же говорил, что непримиримость – задача? Мы, и другие, не потерявшие еще *волю*, говорим очень точно: непримиримость – *не* задача эмиграции, но ни одной своей задачи *без непримиримости* (твердокаменной!) эмиграция выполнить не может и не выполнит. Пусть г. Степун укажет нам, какие именно соглашатели выполнили задачу эмиграции, или какую именно они призваны выполнить, по его мнению. Если соглашатели будут указаны прямо, а задача эмиграции, определена точно, – мы признаем, что ошибались. А до тех пор будем стоять на вышеприведенном, очень ясном, утверждении; и... будем неотступно искать и требовать везде, – в журнале, в статье, во всех словах, сказанных и написанных, – определенных отрицаний, ясных утверждений.

Вот еще один, последний, пример неуловимости того, чего *хочет* г. Степун (или не хочет). Крутой поворот журнала

«Путь» может, по мнению критика, «вызывать тревогу, заботу, волнение». Но что это за поворот, почему он вызывает тревогу и т. д. — г. Степун ни сам, — Боже сохрани, — не определяет, ни другим не позволяет; считает «недопустимым». Вот только это одно и утверждается: нельзя допустить. Если бы я имел власть что-нибудь допускать или не допускать в «Нов. Корабле», я бы не допускал критики не мотивированной, не обоснованной, и притом объяснил бы автору, почему именно его статья «недопустима»... Или, если б я прочел где-нибудь отзыв о «Пути», что, мол, «я волнуюсь, поворот крутой — недопустимый...» и точка — я бы, конечно, стал такой отзыв критиковать, как сейчас критикую отзыв г. Степуна.

Переходя от частностей к более общему, невольно вспоминаю несколько строк г. Адамовича («Звено»), касающихся г. Степуна, или отправляющихся, что ли, от него.

Г. Адамович упоминает о степуновских «Мыслях о России», издавна тянущихся в «Совр. Записках»: «Пленительные мысли!», — говорит Адамович, и не судит их, не возражает на них, а только вдруг ставит вопрос, такой глубокий по человечности, такой выросший из сегодняшнего сердца нашего, что нельзя правдивости его не ощутить: нужны ли эти «мысли о России»? «Не довольно ли отвлеченно "мыслить" о ней? Не плохая-ли это ей служба? Нет ли ничем неоправдываемого самолюбованья в этих мыслях, потому что ведь Россия — это мы же сами? Не поставлено ли нам историей, как великое испытание, отлучение... да, от России, — не страшно и не совестно это выговорить, ибо ведь от себя мы отрекаемся, собой жертвуем? И, значит, нужен искус самоотречения, подвиг самопожертвования, во имя того, что после, дальше, за...? Я мысленно сам себе торопливо отвечаю: да, да, да!».

И мы к этим честным «да» прибавим свое. Мы глубоко понимаем также, что автор, написав это, «ощутил ответственность и опасность темы». Себе-то он, не сомневаясь, сказал «да», но другим — надо еще пояснить, подкрепить, договорить все, словами.

«Когда человеку является истина» — она является ему вся, но вся должна быть для передачи другим, как бы воссоздана еще раз, — облечена одеждой слов... И тем труднее кажется найти слова, чем сильнее чувствуешь ответственность.

Адамович останавливается. Но он уже все сказал. «Доказательства»... так ли они нужны? Кто не чувствует Россию — собой, не догадывается, что может быть великий смысл в этой, нам предложенной, и *принятой* жертве собой — какие тому помогут доказательства? Ведь все это или слишком тонко, — или слишком просто. Или сразу понятно: забудем себя, потеряем душу, тогда и приобретем ее, — или навсегда непонятно. Пусть же не боится Адамович упреков и обвинений, которые могут ему послать все, кто, сохраняя душу, предаются то нежным, то строгим размышлениям о ней, плетут неопределенно цветистую сеть мыслей о ней. Мы — не боялись и не боимся сказать прямо: да, надо забыть Россию. Надо потерять ее; вольно *принять* потерю России. И тогда мы ее приобретем.

«НЕ НРАВИТСЯ — НРАВИТСЯ»

В Париже был недавно диспут «Об антисемитизме в сов. России». Название неудачное. Что можно выяснить, если держаться близко к теме? Только подтвердить, что да, русские рабочие издеваются над русскими евреями, где можно — гонят и грубо мучают их; и прибавить, что это плохо. Всегда, конечно, плохо, когда одни мучают и гонят других; но почему гонят именно евреев — и того выяснить нельзя при такой узкой постановке вопроса. «Антисемитизм» — ровно ничего не объясняет. Тем более, что и слово-то выдуманное, как сказал мне один еврей. Ведь слово мы употребляем в смысле «противоеврейства», гонения на «евреев», а отнюдь не на «семитов» вообще, на арабов, например, или армян. Еврейский вопрос не укладывается в вопрос о взаимоотношениях рас. Он существует в какой-то своей особенности, именно как *еврейский вопрос.*

Диспут отчасти и вылился в диспут о «еврейском вопросе», хотя издавна привычные взгляды и привычный смысл ходячего слова «антисемитизм» весьма делу мешали.

В отзыве о диспуте г. Поляков-Литовцев сказал очень верно: хорошо бы как-нибудь собраться вместе евреям и русским (или вообще неевреям) и открыто друг с другом поговорить: вы, мол, нам потому-то и тем-то не нравитесь; а в вас нам вот это не нравится. Да, такая беседа, или такие беседы, много бы пользы принесли обеим сторонам, много бы помогли и выяснению вопроса. Он ведь есть, сколько бы мы от него не отвертывались. Почему так называемый «антисемитизм» из мира не исчезает, никакими «гуманистическими» средствами и «культурными» не излечивается? Может быть, не надо прикрывать эту странную *чуждость* между евреями и неевреями (или *разность*), которая ведь существует же? Может быть, надо, напротив, бесстрашно до корней ее докопаться, *вместе* разобрать, что именно разделяет нас, почему разделило? А что, если тогда, открытыми-то глазами увидим мы и смысл этого разделения, т. е. ту правду его, которая может привести нас к какому-то совсем новому единению?

Никто не будет спорить, что корни «еврейского вопроса» — религиозные. Никто не будет утверждать, что даже мы оторвались от этих корней без остатка; а уж евреи — тем менее. (Я говорю не только о «религиозных» людях, но и «сознательно» безрелигиозных, обо всех; история Европы и Азии в крови у всех. У евреев больше, чем у кого бы то ни было.) Если же с корнями считаться, — с корней и надо начинать.

Но тут сразу мы увидим, что откровенный и полезный первый разговор между евреями и неевреями (по предложению Полякова-Лит.), как будто и неосуществим. Неевреи (христиане настоящие или хотя бы происходящие от предков христиан) говорить с евреями о том, что им в них нравится, что не нравится, — будут; во всяком случае, это представимо. Но евреи, как не покинувшие, так и покинувшие веру предков, — ни на что подобное не пойдут. И уж это одно показывает, как

мало оторваны евреи от своих корней (и как важно, исследуя вопрос, с корнями считаться, и даже с них начинать).

Ибо *молчание* евреев о себе вообще и о себе по отношению к неевреям — это отзвук *святого* их молчания, закона седой древности, не позволявшего произносить имя Божие. Как бы мало ни был религиозен сегодняшний еврей, но если он все-таки еврей, он *благочестив*. Богочестия и нет, но благочестие остается, при том свое, особое, нисколько не похожее на благочестие христианское у христиан (которые, кстати, перестав лично быть христианами, уже не сохраняют и своего благочестия).

Еврейская, специальная, благочестивость помешала бы откровенному разговору о взаимоотношениях, *даже* если б он не касался прямо корней еврейско-нееврейского раздела, т. е. религиозных начал. Тем более — если б коснулся. Мы, вот, хотели поставить в «Зел. Лампе» вопрос: *почему* Христос для евреев не Мессия? Вопрос мог бы трактоваться и в историческом аспекте. Но мы скоро поняли, что ничего из этой постановки не выйдет. Все евреи, верующие и неверующие, будут молчать.

Откровенная беседа — «чем мы друг другу нравимся, чем нет» — представима, значит, только в одностороннем виде, т. е. уж как не беседа, а как высказыванье неевреев, чем евреи им «нравятся и не нравятся». У нас уже был такой «беседник» такой искатель черты, отделяющей неевреев от евреев. Искатель, правда, очень «корневой», но корнями не ограничивающийся. Что «нравится» в евреях (притягивает) и что «не нравится» (отталкивает), он так часто высказывал, и так ярко, что дай Бог другому. Это В. В. Розанов, конечно. Где бы и когда бы вопрос о еврействе ни поднимался — Розанова не вспомнить нельзя. Три четверти писаний его посвящены вот этому «что нравится» и что «не нравится» в евреях. Отличности их от неевреев и даже некоторой «полярности». Я приведу всего две—три краткие цитаты. На внешний взгляд — это просто грубые противоречия. Но кто может, пусть будет внимателен. Кое-что ему откроется. Ведь Розанов, помимо личной своей гениальности, ему одному свойственной махровости, очень характе-

рей, показателен, в смысле своего *нееврейства*: кровно, наследственно, по всему складу он архиариец (кстати, и архирусский: жилки в нем не было не русской). Все знают, как он — не то что влекся к евреям, а прямо влипал, любовно приникал к ним, входил в самую суть бытия еврейского. Как-то стихийно весь религиозный, Розанов «презирал, ненавидел, боялся» атеистов. Говорил: «Расстаюсь с ними *вечным* расставанием». Но, по его ощущению, *нет* ни одного еврея атеиста, ни одного, что бы он там о себе ни думал, ни воображал. Евреями Розанов был окружен, и, кажется, они любили его. Откуда же вдруг, задолго до войны, без малейшего повода, вырываются у него такие странные слова:

«Услуги еврейские, как гвозди в руки мои, ласковость еврейская как пламя, обжигает меня.

Ибо, пользуясь этими услугами, погибнет народ мой, ибо обвеянный этой ласковостью задохнется и сгниет мой народ».

Не правда ли, по-плоскому рассуждая, — самый обыкновенный «антисемитизм». Уж не в Новом ли Времени это было напечатано? Нет, нет; и такие рассуждения я устраняю. Да и в то время никому в голову не пришло бы, что Розанов «сделался» антисемитом. Он и не сделался. Книгу свою «Темный лик», чисто христоборческую, пламенно отстаивал, защищаясь — Библией, еврейством, на сторону которого становился, как бы сливаясь с ним.

Для Розанова, в этой книге, Христос — не Мессия; какой уж Мессия, когда он доказывает, что это разрушитель, «спавший с неба как молния»... Но сливается ли отношение Розанова ко Христу, этому лжемессии, совпадает ли с отношением еврейским? Тут опять корни; корни Розанова, *не* христианина, находятся в истории христианской. И вот «ощущение» его (он весь в ощущениях, всякая его мысль проходит *сквозь* ощущение, и это особенно ценно).

«...Как зачавкали губами и идеалист Борух, и такая милая Ревекка Ю-на, друг нашего дома, когда прочли “Темн. лик”. Тут я сказал себе: Назад! Страшись! (мое отношение к евре-

ям). – Они думали, что я не вижу: но я хоть и сплю вечно, а подглядел. Борух, соскакивая с санок, так оживлено, *весело* воскликнул, как бы передавая мне тайную мысль и заражая собою:

– Ну, а все-таки Он – лжец.

Я даже испугался. А Ревекка проговорила у Шуры в комнате: "Н-н-н-да... Я прочла «Темн. лик»". И такое счастье опять в губах. Точно она скушала что-то сладкое».

Такие *физиологические* (зрительно-осязательные) вещицы надо увидеть, чтобы понять то, чему мы не хотим верить в истории, в сказаниях. Действительно, есть какая-то *ненависть* между Ним и еврейством. И когда думаешь об этом – становится страшно. И понимаешь неноуменальное, а не феноменальное «распни Его». Думают ли об этом евреи? Толпа? По крайней мере никогда не высказываются».

Вечно, по-русски, все преувеличивающий Розанов, – и тут, может быть, преувеличивал. Но ведь он корни рассматривает, из глубин ниточку тянет. Что-то от правды подсмотрел. Не принял, не «понравилось», отметил, как черту разделяющую. Ведь не Мессия же, ведь Он, и, по Розанову, против Бога-Творца пошел, из древних заветов которого вырос Израиль... выросло еврейство. Не право ли оно в ненависти? Оказывается, нет. Оказывается, опять, по Розанову, эта ненависть *разделяет* (если она есть). Прибавим, для справедливости: Розанов если не так же, по-иному, то больше, чаще, «страшился» и христиан, у которых в самом христианнейшем благочестии их «подглядывал» ненависть к Богу Израиля, к тому, Кого Иисус-израильтянин называл Отцом.

Евреи «не высказываются», молчат. Неевреи, вот хотя бы устами Розанова, подглядывают и высказываются. Несомненная гениальность Розанова в этих подглядываниях и высказываниях заставляет нас только еще серьезнее к ним отнестись. И ведь не черты, разделяющие одни, он подглядывает, он, так близко, так почти на груди еврейства лежащий. Как не верить? Вот что говорит он еще, незадолго до смерти:

«Евреи — самый утонченный народ в Европе». «Все европейское, наше, как-то необыкновенно грубо, жестко, сравнительно с еврейским... И везде они несут благородную и святую идею "греха" (я плачу), без которой нет религии... Они. Они. Они. Они утерли сопли пресловутому человечеству и всунули ему в руки молитвенник: на, болван, помолись. И чудная Дева — из евреек. Что бы мы были, какая дичь в Европе, если бы не евреи». Социализм? Но «ведь социализм выражает мысль о "братстве народов" и "братстве людей", и они в него уперлись...».

Эти слова Розанова так глубоки, несмотря на кажущуюся беглость, на их простоту и грубость, что раскрывать их, расшифровывать, можно до бесконечности. О чем тут речь? О еврействе ли только? Не о христианстве ли, — в каком-то взгляде *от* еврейства и в связи с ним, или в предчувствии потенциальной связи?

Но не будем продолжать. Кое-что Розанов все-таки высказал, за многих и многих неевреев: что им в евреях «нравится», что «не нравится». О еврейском благочестии, смыкающем уста, Розанов тоже знал. Им труднее, чем нам, говорил он, да ведь можно и потрудиться, и поступиться немножко для нас, если мы не понимаем. Он верил, что мы «чего-то не понимаем»; а так ли уж хотят евреи, чтоб «мы понимали», — об этом не задумывался; сам говорил за них, и лишь вдруг остановится и начнет «подглядывать».

Между тем немаловажен и этот вопрос: мы неевреи, в громадном большинстве, тяготимся нашей разделенностью с еврейством, где бы она ни рассматривалась и где бы ни проявлялась: от глубокого порядка религиозного, корневого — до мелких, полуварварских проявлений бытовых. Нам все хочется что-то выяснить, все кажется, что в самых корнях до чего-то нового можно договориться, и тогда новое это даст и новые отражения в жизни. Но что, если еврейство вовсе этого не хочет и вовсе в такие возможности не верит? Наконец, что если мы просто ему не нужны?

Это лишь вопрос, не предположение и не «подглядка»: к подглядыванию у меня способностей нет. И вопрос-то относительно одного *настоящего* времени. Потому что в будущем, далеком ли, близком ли, мы непременно, все, к вопросу о возможной нашей связи вернемся. Непременно станем искать ее и — кто знает — не найдем ли в конце концов?

«ГЛАЗА ЛАНИ»

...Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток...

Пушкин

Странно как-то вспоминать мне об умершем Н. Д. Соколове — здесь: в полуразрушенном замке XVI века, среди острых вершин и кряжей Альп. Слишком все это далеко от Сергиевской улицы, да и дни далеки, когда покойный нам соседствовал и к нам заходил. Однако вспомнить о нем следует: индивидуальными качествами он не отличался, зато много в нем было типичных черт «интеллигента» — но чистейшей русской крови. Он происходил из духовного звания, а чище этой крови нет. Мне уже пришлось однажды коснуться облика Н. Д. Соколова (без имени, правда: статья называлась «№ 1» — это когда он объявился в Париже, в каком-то большевицком (небольшом) чине, встречался на улице с прежними друзьями и также прятал от них глаза, как затем прятал и в Варшаве. Теперь мне хочется к тогдашнему очерку кое-что прибавить, да кстати и к недавней статье Д. В. Философова в газ. «За Свободу!» — «Н. Д. Соколов».

Мне не кажется, что он «производил внешнее впечатление человека сурового и с большой волей». На протодьякона, точно, смахивал, но столько же походил и на большого черного кота. В суде, на митингах, он, м. б., и «гудел», (не «гремел» наверное), просто же в комнате — неизменно шептал-лепетал, с

видом таинственным, самым конспиративным. А так как, обычно, ничего ни таинственного, ни интересного в лепете не оказывалось, то слушаешь его — не вслушиваясь, и кажется это лепетанье — мурлыканьем. Как настоящий кот, мурлыкал он вкусно; да и вообще характернейшей чертой его было — вкусное отношение ко всему: к жизни, к самому себе, к тому, что он делал. И вкусность не только в мелочах одних (вот это надо понять); он вкусно и апельсин очищал, — и о «серьезном движении» мурлыкал (когда никого и не было); и также «вкусно» принялся за «революционные действия», когда она, революция, случилась. Но странно: если и у меня, на дне души, шевелится жалость к этому человеку, несмотря на все зло, которое он понаделал, то именно при мысли о его «вкусном» жизнеощущении. Вероятно, потому, что здесь, а вовсе не в «добродушии», можно открыть какую-то его «невинность» (в особенности если помнить о нехватке ума). Протодьякон ли, интеллигент ли, меньшевик, но такой, как он, со всей своей вкусностью, — кому и чему помешал бы он, не случись около него того, что случилось? Прожил бы вкусно и умер бы вкусно... А уж как теперь невкусно кончил! Да еще с осиновым колом в могилу, который, по формальной справедливости, вполне им заслужен...

У меня случайно под рукой петербургская моя запись всех дней рокового 17 года. Делаю из нее несколько выдержек, касающихся Соколова, его деяний и лепетаний.

6 марта, понедельник... Был Соколов, этот вечно здоровый, никаких звезд не хватающий, твердокаменный попович, прис. поверенный, — председательствующий в Сов. Раб. Депутатов.

Это он, с Сухановым-Гиммером, там «верховодит», и про него Пав. Мих. Макаров (тоже прис. пов., левый интеллигент, но совсем не того облика) только что спрашивал: «До сих пор еще в красном колпаке? Не порозовел? В первые дни был прямо кровавый, нашей крови требовал».

На мой взгляд, или «розовеет», или хочет показать здесь, что весьма розов. Смущается своей «кровавостью». Уверяет,

что своим присутствием «смягчает» настроение масс. Приводил разные примеры выкручивания, когда предлагалось броситься или на зверство (моментально ехать расстреливать павловских юнкеров за хранение учебных пулеметов), или на глупость (похороны «жертв» на мерзлой Дворцовой площади).

Рассказывал многое – «с того берега», конечно*. Уверял: «Составлению кабинета мешали отнюдь не мы. Мы даже не возражали против лиц. Берите, кого хотите. Нам была важна декларация вр. пр-ва. Все ее 8 пунктов даже моей рукой написаны. И мы делали уступки. Напр., в одном пункте Милюков просил добавить насчет союзников. Мы согласились, я приписал...». Распространялся насчет промахов пр-ва и его неистребимого монархизма (Гучков, Милюков). Странный, в конце концов, факт получился: существование рядом с Вр. Пр. – двухтысячной толпы, буйного перманентного митинга, – этого Совета раб. деп. Соколов рассказывал мне подробно (полушепотом, полусмущаясь, полуизвиняясь), что он именно в напряженной атмосфере митинга писал Приказ № 1 (где, что называется, хвачено!). Приказ будто бы необходим был, так как, из-за интриг Гучкова, армия, в период междуцарствия, присягнула Михаилу... «Но вы понимаете, в такой бурлящей атмосфере у меня не могло выйти иначе, я думал о солдатах, а не об офицерах, ясно, что именно это у меня и вышло более сильно...».

Через день, от 7 марта, у меня в записи такая фраза: «...В Кронштадте и Гельсинфорсе убито до 200 офицеров. Это прямо приписывается Приказу № 1...» (следуют подробности убийств).

Еще через несколько дней от 14 марта (вторник), когда Керенский был у нас: «...бранил Соколова. Мы спросили: вы зна-

* Интеллигенция, в то время, как бы оказалась на двух берегах: большинство – на стороне правительства (революционного), другая часть – на стороне Сов. Рабочих.

ете, что Приказ № 1 даже его рукой написан? Кер. закипел: "Это уж не большевизм, а глупизм. Я бы на месте Соколова молчал. Если об этом узнают — ему не поздоровится..."».

Любопытно, что на этой странице моей рукописи есть внизу такая приписка: «Примечание от 10 сент. 17 года: «И вовсе даже не Соколов и писал-то Приказ (говорит Ганфман), а Кливанский из "Дня". Но этот сразу покаялся и скрывает. Н. Д. же полухвастается, а сам только присутствовал».

Что Соколов его, этот проклятый Приказ, фактически не писал (думаю, не писал) и все-таки «хотел, чтоб это он писал», — не меняет дела. Пожалуй, для Соколова, ухудшает. Но еще более ясной делает вот эту его черту — природное, врожденное ощущение вкусности к собственным деяниям и движениям. Нет, это не самоуверенность. Напротив, самоуверенности-то Соколову и не хватало, и эта нехватка была тоже важной чертой, притом очень для него несчастной. Несчастной, — невкусной. Ест кот мясо, жмурится, хорошо ему. Но вдруг... «знает, чье мясо съел...» или хоть знает, хоть сомневается, но уж тут другое у кота самочувствие, уже ему не по себе. Пользы из этих сомнений соколовских не выходило никакой, положим; выходили одни его смущения, полуизвинения, полунеловкости и, должно быть, тупая внутренняя, — бесцельная, — тягость. Но вот — ее он нес, и может, может быть все увеличивающуюся.

Беру из моей записи еще один отрывок, встречу его с Д. В. Философовым, через пять месяцев, когда с Соколовым мы уже не виделись (мало и хотели видеться).

«22 августа (17 г.). Вторник... Проливной дождь... Пришел Д. В. Ф. из "Речи", рассказывает:

— Сейчас встретил защитный автомобиль. Выскакивает оттуда Н. Д. Соколов: "Ах, я и не знал, что вы в городе. Вы домой? Я вас подвезу". Я говорю — нет, Н. Д., я не люблю казенных автомобилей; я ведь никакого отношения к власти не имею... "Что вы, это случайно, а мне нужно бы с вами поговорить". Тут я ему прямо сказал, что, по-моему, он сознательно

или нет, столько зла сделал России, что мне трудно с ним говорить. Он растерялся, поглядел на меня глазами лани: "В таком случае я хочу длинного и серьезного разговора, я слишком дорожу вашим мнением, я вам позвоню". Так мы и расстались. Голова у него до сих пор в ермолке, от удара солдатского...».

«Глазами лани...». Это глаза, пожалуй, еще невиннее глаз кота. И мне приходит в голову: не правильнее ли, если уж судить, — судить их отдельно: зло, произошедшее от человека, такого, как Соколов, и самого такого человека? Зло, впрочем, и судить нечего; зло вообще непростимо; судить его — значит лишь определять его размеры. А человек... Он, Н. Д. Соколов, очень ведь мало существовал сам в себе. Так мало, что зло беспрепятственно прошло сквозь него, оставив ему «глаза лани». Поскольку же он все-таки существовал — дана была ему вот эта мутная, смутительная тягота, нечто похожее, издали, на раскаяние. В его меру, — да ведь каждого надо его мерой судить. Оттого-то, хотя по внешней справедливости и достойна его могила осинового кола, — вбивать в нее этот кол мне как-то не хочется. Больше скажу: если есть только одно, что не прощается (человеку), — даже по логике не может прощаться, — нераскаянность, то Соколова вряд ли надо причислить к сонму «непростимых». А этих нераскаянных — непростимых у нас, действительно, сонм. Стоит взглянуть внимательно. Разного калибра и положения, они, большею частью, удачливее Соколова. И понятно: нет смущений, нет, значит, и задержек в шествовании по выбранной тропинке.

Кто знает, будь у Соколова ума побольше, может быть, его мутная тягость, лишь отдаленно напоминающая раскаяние, превратилась бы в раскаяние и настоящее. Тут сказывается его чистая русская кровь, отцовское наследие. Характерная черта русского человека — способность, даже влечение, к покаянию. Правда, рядом черты не менее характерные: незнание ни в чем меры, зарыв, провал и затем пассивное лежанье в провале. Все эти черты у Соколова были, — в соответствующем его незначительной личности виде. Были природно, врожденно. Судьба

сделала его русским — интеллигентом. А это не шутка. «Интеллигентство» имеет роковое свойство стирать из характерных русских черт только одну: именно способность к раскаянию. И, однако, в Соколове стереть ее окончательно не могло. Только сверху завалило, а не уничтожило.

Да немало злого прошло через глупые его руки. Это злое ему же, в его меру, отлилось, и теперь единственное, что, в сущности, мы могли бы о нем, человеке, сказать — «да будет легкою ему земля забвенья». Могли бы... если б такой Соколов был один и умер. Он умер, но осталось много живых, ему подобных. И о них забывать нельзя, потому что они продолжают дела и делишки маленького интеллигента с протодьяконской бородой, не имея притом даже бедного его оправданья — «глаз лани».

Chateau des IV Tours
Thorenc

ОКОЛО ТОЛСТОГО

Толстовские дни... Отчего это во все человеческие «юбилеи» всегда ввивается что-то неприятное, неблаголепное? Должно быть, уж так устроены люди. Намерения самые похвальные: вспомнить о человеке «по случаю»... Всегда помнить нельзя, так хоть по случаю. Однако сейчас же начинается неумеренность: и в похвалах, и в натаскивании вороха ненужностей, и в выискиваньи «ночных туфель»; рядом же подымается спор — то насчет похвал, то насчет туфель, и в споре живых между собой незаметно тонет «дорогой юбиляр».

Толстой особенно счастлив (или несчастлив) на «юбилеи». Сам он их ужасно не любил. Но начались они с ним еще при жизни, а после смерти, — если выключить несколько лет, когда было не до юбилеев, — каждый год какой-нибудь «случай», повод для суждений, осуждений и восхвалений Толстого.

Повторяю это, в корне, совсем не плохо, и понятно, если вспомнить недавнее замечание Маклакова; он говорит, что за Толстым мир не пошел, и хорошо сделал, ибо жить, по Толстому, нельзя; но Толстой разбудил человеческую совесть. Обеспокоил душу — ко благу. Поскольку продолжается это беспокойство, хорошо. Не начинает ли, однако, вырождаться просто в шумиху юбилейничанья?

А на родине Толстого, в России большевицкой, еще хуже: там откровенно хотят Толстого «использовать» (самой «маленькой пользой» не брезгуют). И вообще-то, — если по пословице «мертвым телом хоть забор подпирай», — подпиранье телом Толстого разнообразных заборов особенно в ходу; но когда подпирается им забор большевицкий, да еще руками «учеников» (недавняя брошюра Гусева — прекрасный пример), — смотреть на это очень противно.

А мы... Все чаще думается мне, что мы напрасно так кидаемся на всякий удобный «случай», чтоб поболтать о Толстом, почествовать Толстого. Из любви к нему следовало бы дохранить закрытым воспоминание, свято довести до иной поры. Сейчас мы — раненые; рана болит, и куда уж тут судить о чем-нибудь спокойно и трезво, оценивать по справедливости. В каждую нашу старую любовь, самую вечную и верную, часто вливается теперь какая-то горечь. Любовь требует целомудренного молчания в такие времена, как наше, когда —

«От боли мы безглазы...».

И любовь к Толстому — в особенности. А то и выходит: одни Толстого форсируют, делая из него чуть не ангела-хранителя России, потеряв которого она пала; другие, напротив, считают его предшественником большевиков (!), у третьих же, старающихся говорить о нем вне времени и пространства, просто не выходит ничего.

Не касаясь самого Толстого, вспомнить что-нибудь или кого-нибудь из его окружения — дело другое. *Около* Толстого много было любопытного. Почти все «толстовцы», такие раз-

ные и так печально-схожие, интересны; не меньше и некоторые из ярых антитолстовцев. Особенно интересны их отношения с Толстым; а порою даже загадочны.

Софья Андреевна, ее крепкое антитолстовство, вся так называемая «яснополянская драма», — понятны каждому, кто вгляделся в образ этой цельной русской женщины, жены и матери. Ясно и отношение к ней Толстого: изменяясь, он остался неизменным в любви к подруге всей жизни, — любви, притом, зрячей, он прекрасно видел Софью Андреевну.

Признаюсь: самое для меня загадочное — это фигура Черткова. Да и не для меня только, для всех нас, я думаю. Мы его не видим. А Толстой, который так видел людей и нам их показывал, — Черткова не показал. В письме к Ал. Л. (уже после ухода, перед самой смертью) назвал его «самым близким и нужным человеком»; это, кажется, все, что мы узнаем от Толстого. По-прежнему не видя Черткова, мы не понимаем, почему он «самый близкий и нужный»; и даже на слово поверить — как-то боимся: ведь все письмо, где это сказано, со всеми, там написанными словами, до такой степени *не толстовское*, на Толстого, каким мы его слышали и любили, не похожее, что ему сплошь не веришь; близости Черткова к Толстому подлинному — тоже...

К этому воистину ужасному по жестокости письму я вернусь; а пока хочу сделать маленькую выписку из моего «Петерб. Дневника», — не для того, конечно, чтобы решать загадку Черткова, а просто чтобы прибавить мое впечатление от этого «самого близкого и нужного» Толстому человека к впечатлениям других лиц, с ним, встречавшихся.

28 мая 1915 г. (Война.)

«...Не хочется писать, приневоливаю себя, пишу частные вещи.. Вот был у нас Шохор-Троцкий*. Просил кое-кого собрать, привез материал "Толстовцы и война". Толстовцы ведь

* Тоже толстовец, не из видных.

теперь сплошь в тюрьмах сидят за свое отношение к войне. Скоро и сам Шохор садится.

Собрались. Читал. Иное любопытно. Сережа Попов со своими письмами («брат мой околоточный!») с ангельским терпением побоев в тюрьмах – святое дитя. И много их, святых. Но... что-то тут не то. Дети, дети. Не победить так войну!

Потом пришел сам Чертков.

Сидел (вдвоем с Шохором) целый вечер. Поразительно "не нравится" этот человек. Смиренно-иронический. Сдержанная усмешка, недобрая, кривит губы. В нем точно его "изюминка" задеревенела, большая и ненужная. В небросающейся в глаза косоворотке. Ирония у него решительно во всем. Даже когда он смиренно пьет горячую воду с леденцами (вместо чаю с сахаром) – и это он делает как-то иронически. Также и спорит, и когда ирония зазвучит нотками пренебрежительными – спохватывается и прикрывает их смиренными.

Не глуп, конечно, и зол.

Он оставил нам рукопись "Толстой и его уход из Ясной Поляны", – ненапечатанная, да и невозможная к печати. Думаю, и в Англии (где он хочет ее печатать). Это – подбор фактов, как будто объективный, скрепленный строками дневника самого Толстого (даже в самый момент ухода). Рукопись потрясающая и... какая-то *немыслимая*. В самом факте ее существования есть что-то невозможное. Оскорбительное. Для кого? Софьи Андреевны?*). В самом подборе фактов, да и в каждой строке, – злобная ненависть к ней Черткова. Оскорбительная для Толстого? Не знаю. Но для *любви* Толстого к этой женщине – наверно.

На рукописи прегадкая надпись – просьба Черткова "ничего отсюда не переписывать". Как будто кому-нибудь из нас пришло бы в голову это делать!

* Напоминаю, что в то время (Ч. хотел печатать это немедля) С. А. была еще жива.

Перо Черткова умело подчеркивать "убийственные" деяния Софьи Андреевны. До мелких черточек. Вечные тайные поиски завещания, которое она хотела уничтожить. Вплоть до шаренья по карманам. И тяжелые сцены. А когда, будто бы кто-то сказал ей: "Да вы убиваете Льва Николаевича!", она отвечала: "Ну так что ж! Я поеду за границу! Кстати, я там никогда не была!"».

Любопытно, что это, может быть, *правда*, а для меня случай прощупать, что делает с «правдой» Чертков. Под его пером эти слова С. А. звучат зверски, и никто их иначе, как зверскими, и не услышит; а я, вот, имею возможность иными их представить, очень близкими к тем, чо она сказала мне на балконе Ясной Поляны, в холодный майский вечер, в 1904 г. Мы стояли втроем, я, Д. Мережковский и она, смотрели в сумеречный сад. Была речь о том, кажется, что мы — по дороге за границу, едем туда прямо. С. А., с живой быстротой полусерьезной шутки, возразила мне: «Нет, нет, вы лучше останьтесь со Львом Николаевичем, а я с Дм. Серг. поеду за границу: *ведь я там никогда не была!*».

Сказать, что С. А. выражала желание с чужим мужем из Ясной Поляны за границу уехать — ведь будет «правда»? Чертковская, как и та, вероятно, о которой он пишет. Если представить себе, что в ответ на упрек «кого-то», явно ненавистного, С. А. назло бросила ту же, привычную фразу о загранице — «зверство» как будто затмится... Но С. А. я не «оправдываю», — раз уж меня тянут к суду над ней чертковскими «фактами». Только верю им надвое.

В ночь ухода Толстой (приводится его дневник) уже лежал в постели, но не спал, когда увидел свет из-за чуть притворенной в кабинет двери. Он понял, что это С. А. опять со свечой роется в его бумагах, еще опять завещание. Ему стало так тяжело, что он долго не окликал ее. Наконец окликнул, и тогда она вошла, как будто только что встала «посмотреть, спокойно ли он спит», ибо «тревожилась о его здоровье». Эта ложь была последней каплей всех домашних лжей, которая и переполни-

ла чашу терпения. Тут замечательный штрих (в дневнике). Подлинных слов не помню; знаю, что он пишет, как сел на кровати, еще в темноте, один (С. А., простившись, ушла) — и стал считать свой пульс.

Он был силен и ровен.

После этого Толстой встал и начал одеваться, тихо-тихо, боясь, что «она» услышит, вернется.

Остальное известно... Ушел — навстречу смерти.

Как, все-таки, хорошо, что он умер! Что не видит нашего страшного часа — этой небывалой войны. А если и видит — он «ему не страшен, ибо он *понимает*... а мы, здесь, — ничего, ничего!..

С 1915 года много утекло воды. Дети Толстого разделились, толстовцы тоже: одни из них в СССР, другие в Европе. Чертков и Гусев (недавно подперший Толстым большевицкий забор) — в СССР. О Черткове, как всегда, мало слышно. Даже в эти «толстовские дни» мне попалось на глаза подписанное Чертковым лишь что-то краткое, — сухое и вязкое вместе, — перепечатка (в «Своб.») из московского журнала. Была ли издана целиком его «невозможная» рукопись — я не знаю. Вероятно, была, ведь там все вещи теперь известные. Я не помню точно, включала ли рукопись и то жестокое, нетолстовское письмо Толстого, о котором упоминалось выше; его приводит ныне Алданов (в «Совр. Зап.»). Думаю, в рукописи оно было, а если не помнится — то потому, что оно слишком с ней сливалось в одной и той же ненавистнической линии, великолепно подтверждая «правду» (чертковскую). Там говорится о «подглядывании, подслушивании», о «напускной ненависти к самому близкому и нужному мне человеку» и даже о «явной ненависти ко мне и притворству любви...». «Если кому-нибудь топиться, то уж никак не ей, а мне», «я желаю одного — свободы от нее, от этой *лжи, притворства и злобы, которой проникнуто все ее существо*».

Алданов подчеркивает жестокие слова (или они подчеркнуты в подлиннике? Все равно, все слова одинаково не толстов-

ские) и спрашивает: «Написал ли он сгоряча это ужасное свидетельство о женщине, с которой прожил 48 лет? Или, может быть, прорвался в нем, подтолкнул его руку тот демон, который мучил Толстого?».

Может быть, и демон. Ведь мы не знаем, *кто* Чертков. Но вот что мы знаем, и наверно: «самым близким и нужным» для подлинного Толстого была правда, была ясность, прощение другим – не прощение себе, непреклонность любви, т. е. как раз то, чего нет ни в рукописаниях Черткова, ни в письме, на которое «подтолкнул демон». И если это мы знаем, и в подлинную нужду подлинного Толстого верим, мы с совершенным правом можем сказать: Толстой Черткова не видел, глаза его «были удержаны». Чертков не был ему «самым близким и нужным». Ведь что-нибудь одно: правда и любовь или мстительность и ненависть.

«Петербургская Запись», из которой я беру цитаты, долгие годы считалась погибшей, и лишь недавно, каким-то чудом, была мне возвращена. Не вся, только первая часть, и обрывается рукопись на такой краткой отметке:

7 (20) ноября, вторник (1917 г.)

«Семь лет со дня смерти Льва Толстого. Никто его не вспомнил: "Ну я тебя вспомню, «поденщик Христов!»". Вспомни и ты о нас, счастливый...».

НЕЧТО ВРОДЕ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА

Письмо не к г-же Кусковой, хотя речь будет о ней. Недавно «Посл. Нов.» уделили место для крайнего ее недовольства отрывками моего Дневника (в «Возрождении»). Выразить это недовольство в сколько-нибудь ясной форме г-же Кусковой, однако, не удалось. Нельзя понять, чего она, собственно, от меня хочет; оттого и по существу отвечать ей невозможно.

Ясно в заметке лишь одно: ясен намек на «подложность» дневника. Т. е., что это совсем не дневник, а нечто «post factum» написанное, со специальной, притом, целью «свести с кем-то личные счеты».

Очень хорошо. Но почему это сказано обходом, намеком, хотя и весьма не тонким? По общей ли склонности женщин к «попреку, упреку и намеку», или еще почему-нибудь?

Думаю, есть у г-жи Кусковой и другие соображения, ради которых она спряталась в куст намека.

Прежде всего — ведь за намек можно и не отвечать... Скажи она это без намека прямо, — так же прямо всякий указал бы ей, во-первых, на ее невежественность, а во-вторых, — на недобросовестность.

Кто хоть малейшее касательство имел к документам, к архивам, к истории, — и к слову вообще, — тот знает, что *дневники не подделываются*. Гений на такие пустяки (да еще «для счетов»!) тратить себя не будет; обыкновенному же человеку написать нарочно «имеющее вид» дневника, похожее на настоящий дневник — просто невозможно.

Что касается недобросовестности г-жи Кусковой, то вот: благодаря некоторому своему внешнему положению (какому именно — не хочу определять) она лучше других должна быть осведомлена о фактической правде насчет Дневника: о десятилетнем его отсутствии, о том, что он считался погибшим и лишь теперь, неожиданно, был мне возвращен... Но этого мало: еще менее может г-жа Кускова не знать, *почему* я не представляю публично «доказательств», не вхожу в подробные объяснения. Знает, — как же и зачем об этом заговаривает?

Пожалуй, настоящая разгадка всего — состояние, в которое (пусть на минуту) привел г-жу Кускову мой дневник. С человеком в подобном состоянии рассуждать трудно, но и упрекать его ни в чем нельзя; напротив, к нему следует относиться с величайшей снисходительностью.

Что же это за состояние, и откуда оно?

Есть общечеловеческое свойство, по форме иногда разное, по существу одно, *люди не выносят правды.* И вдруг, в какой-то момент, при случае даже несерьезном, — они все забывают, на все готовы, лишь бы не столкнуться с правдой лицом к лицу, лишь бы не увидеть какую-нибудь свою ошибку в прошлом или в настоящем. Порой от одного страха уже приходят в самозабвенность; тогда, — смотря по темпераменту, — один бежит прочь с заткнутыми ушами, а другой, тоже с заткнутыми, накидывается на того, от кого может грозить опасность.

Человеческое свойство это зовут «малодушием». А кто от него свободен? Никто, я думаю; вопрос только в мере.

Сейчас, в наших кругах эмигрантской интеллигенции, страх перед взглядом на прошлое, на себя в прошлом, — очень разросся. Удивляться ли, что г-жа Кускова, словно сказочная баба, которая и в болоте утопая, твердила свое «не бритое — стриженое», — твердит: «Не было, что было, а было, чего не было?». Не удивляться, — понять ее нужно; понять, что не только других, но и себя она хочет обмануть, когда твердит о «подложности», о «доказательствах», о всяком таком прочем.

Кускова, повторяю, не одна, легко впадающая в эти состояния, и по незначительному даже поводу, вроде дневника. Случается то же и с другими. Некоторых я и сейчас, неизменно, чувствую, как друзей. Но ни к г-же Кусковой, ни к ним, здесь не обращаюсь. Я говорю с более далекими, — более спокойными и разумными. Им и хочу сказать два слова о моем дневнике, — раз уж о нем идет речь: в дневнике лишь малая часть всего что было; но все, что там есть, — действительно было. Было и «опрометчивое»* создание Керенским «корниловского бунта»; были слова и состояния с.-ров, которые я привожу; был и бодрый отказ г-жи Кусковой от борьбы с большевизмом, как от дела «не интеллигентского». Была и моя глупая вера, что можно, после марта, воевать, что советы — ничего и что «теперь все будет хорошо», лишь бы люди, оказавшиеся, у

* Прошу извинения за слабость эпитета; конечно, он неточен.

власти, были властными и действовали «разумно-революционно».

Никакого удовольствия в обнародовании таких моих уверенностей для меня, конечно, нет. Но и других удовольствий или выгод печатание дневника принести мне не могло. Так не трудно было предвидеть, что именно у тех, кому всего нужнее, всего полезнее было бы «свести счеты» со своим прошлым, — у них-то сил на это и не найдется; и тогда счеты они будут сводить с неосторожным, который вздумал кусочек правды прошлого им преподнести.

Все это, однако, меня не остановило и не остановит.

Маленькое дело свое я сделаю, дневник напечатаю, — в нужной, по собственному разумению, полноте. Не для вас напечатаю, г-жа Кускова: сожалею о минуте вашего безответственного раздражения, но минута пройдет. И не для вас, бедные друзья мои, боящиеся собственных теней в прошедшем. Нет, я делаю это для других, далеких; делаю потому, что верю: кому-нибудь из них и эта крошечная частица правды о печальном, о грозном прошлом поможет в творчестве будущего.

ПРАВДА И ИСТИНА

Мне за г-жой Кусковой не угнаться: зигзаги ее *настроений* слишком причудливы, а связь мыслей трудно уловима. Только что заставила меня темпераментная писательница вспомнить, что «люди не выносят правды», — и вдруг, через несколько дней, сама, по-видимости, говорит то же самое.

Впрочем, лишь «по-видимости», не будем себя обманывать. Она не говорит, что «люди не выносят правды», но: «Русские люди не любят истины». Разница громадная, такая же, как между «правдой» и «истиной». Положим, г-жа Кускова о различном значении этих двух слов и знает, взяла, должно быть, то, какое первое попалось под руку; вряд ли пойдет впрок и

наставление, которое преподано ей насчет этого в передовице «Посл. Нов.», но ничего: как раз тут все вышло кстати.

Сказать такую вещь: «Русские не любят истины» — совершенно невозможно, если иметь взгляд нормально-объективный и малейшую заботу о точности выражения. Раз дело идет об *истине* и о людях *русских*, — картина ясна: никакие другие люди так с истиной не возились, так... ну, любили—не-любили, но не воображали, что любят, или, на худой конец, не вели себя ее обожающими. В сопряжении с фатальным русским зарывом, с безмерностью, эта «любовь» немало уж дала последствий. И продолжает их давать. Между прочим, возвращаясь к моей мысли: обуреваемые подобной любовью люди — они-то наименее и «*выносят правду*». Это естественно; ведь любовь (согласимся хоть в чем-нибудь с Кусковой) у каждого к истине — *своей*, по своему росту; не истина в руках, и как же не трепетать перед правдой: вдруг, не ровен час, *мне* придется, *я* буду вынужден признать, что *я* ошибался?

Автор передовицы «П. Н.» усмотрел, что г-жа Кускова, в своих рассуждениях, забродила где-то недалеко около места опасного: около «*покаяния*». Не думаю, чтобы самой Кусковой грозила эта опасность; и забрела-то она сюда не волей — собственные слова лукаво подвели. Но вообще «покаяние» (заметим, именно русские к нему склонны) — это нередко заключительная глава той «любви к истине», о которой у нас идет речь. Это ее крах. Грандиозному (в представлении) соответствует только грандиозное, а поэтому всякое признание своей ошибки мыслится как неизбежный крах; не просто «признание» — но «покаяние»; то есть —

«Сжечь все, чему поклонялся»

и, с пеплом на голове, с криками, удалиться под сень струй...

Понятно, что при одной мысли о таких перспективах — человек уже сам не свой и на все готов, чтобы охранить свою «истину» от «правды»: если можно — заткнуть другому рот, если нельзя — себе уши.

Только не «русская» любовь к истине, скромная и тихо-сознательная (м. б., по Кусковой, это не любовь?) — только она одна никаких правд не боится. Напротив, жадно ищет их, больших и малых. Увидеть свою ошибку — да ведь это чистейший выигрыш, прибыль, которой так не хитро воспользоваться! Признание ошибки не требует. Боже сохрани, никаких коренных ауто да фэ; нет, просто лишний добрый камень для фундамента будущего.

Впрочем, г-же Кусковой и ее окружению этого не объяснишь. Застарелое сектантство непроницаемо.

Мне только хотелось бы сказать «еще два слова о другом, или почти о другом: о недавнем «письме из Москвы» в «Пос. Новост.».

Письмо не имеет ни малейшего интереса. В нем нет ни звука нового, ничего, что мы давным-давно уже не знали бы, не читали. И совершенно не интересно, откуда оно исходит, кто и где его писал. Пусть написал какой-нибудь тамошний «передовой» интеллигент; это очень возможно. Посадите человека в закрытую камеру, твердите ему все тем же голосом, 11 лет, все то же самое, и вы думаете, что он, в конце концов, не поверит? Поверить, что бы это ни было, и кто был ни был. Вот фотография: снята свалка тряпичника, а подписано: жилище французского рабочего (см. «Илл. Россию»). Верят, конечно. Было бы чудо, если б не верили...

Вполне допустимо также, что автор «письма» -- какой-нибудь хитрец из полпредства. Не все ли равно? Что это меняет? Письмо остается той же знакомой жвачкой; с ней эмиграции ровно нечего делать.

Что касается г-жи Кусковой — давно вышивает она свои узоры по известной канве ненависти русских «настоящих» (в России) — к русским эмигрантам. Будет и дальше вышивать. За ней не угонишься; впрочем и охоты особой гнаться нет, — уж очень шерсть, которой она пользуется, неприятного сорта: «Хоть плохи большевики — да наши!».

ПИСЬМО О ЮГОСЛАВИИ

...Вы спрашиваете о белградском съезде? Праздничных банальностей повторять не хочется, а если отметить что-нибудь по существу, более значительное и характерное, — оно окажется непонятным. Поэтому я и думаю, что надо прежде всего поговорить о Югославии. О ней и о тамошнем положении русской эмиграции; о том, что мы ждали увидеть — и что увидели и успели узнать.

Наша эмиграция парижская (или «французская») имеет о Югославии представление очень твердое, давнее и так давно и крепко установленное, что и к пересмотру ни у кого уж нет интереса. Вот это представление, — в самых грубых чертах, конечно: полуевропейская Сербия, страна беспокойных Балкан (где всегда стреляют); Белград — что-то вроде большой деревни, с турецкой еще грязью, с ленивым бытом (когда не стреляют), со специфическим национализмом. Естественный приют для монархистов, главное гнездо русских эмигрантов этого толка. Туда они стеклись, и там, в родственной атмосфере монархической Сербии, — расцветают. Марковцы и нововременцы, спаянные с карловчанами, вот кто дает тон эмигрантскому кругу в Сербии, и тон этот совпадает с сербским.

Так (или вроде) представляют себе Югославию и «левый» русский парижанин, и «правый». По-разному только относятся: левый, конечно, отрицательно; правый, конечно, положительно. Равнодушный — равнодушно.

Не могу сказать, чтобы и мы были совсем чужды этому общему представлению. Но было также сознание необходимости от него отрешиться, «освобожденно» взглянуть на то, *что есть*. Освободить от предвзятости даже «впечатления»... Выводы — потом.

Отмечу первое впечатление, очень внешнее.

Россия? Мы, эмигранты западные, латинские, от чего-то в ней, кожно-зрительно, отвыкли: от цветов неба каких-то, от речного пространства, запахов, состава воздуха, от каких-то

звуков речи, темпа движений...И вдруг оно, отскользнувшее, вернулось, — там, в Сербии, — вошло снова в память существа, вызвало реальное ощущение *России*. Не «умиленное воспоминание о потерянной родине» — именно ощущение ее, — в ее сложности, со всеми «да» и со всеми «нет».

«Упадут у нас не камни, а все расплывется в грязь. Святая Русь менее всего на свете может дать отпор чему-нибудь». Это сказал Достоевский... давно, и это вспомнилось мне на берегу Дуная, когда первое впечатление близости к России сменилось вторым — дальности; нет, не русские берега, не русская страна. Корни языка, письменность, церковь, годы порабощения, ужасы войны — все это общее; а вот не «расплывается в грязь» маленькая когда-то Сербия; войне «дала отпор» (и какой!), а теперь, упавшие камни уже подобрав, несет новые, кладет, строит, работает, работает... и не лихорадочно, а с каким-то молодым напряжением. Белград — *расцветающий* город. Расцвет почти волшебный, если судить по сроку, в какой сделано то, что мы своими глазами видели. И уже сейчас — как не похож Белград на «балканскую деревню» нашего представления! Вот первая к нему поправка — чисто, пока, внешняя.

Но ничего мы не увидим, не поймем во внутреннем, если, во-первых: не будем брать Югославию в динамике, в движении (как она сейчас есть) и, во-вторых: не будем все время считаться с ее историей. Никакой народ из своей истории выскочить не может. Но он может пользоваться своим прошлым двояко: целиком тащить его за собою, словно камень по кругу, или выбирать нужное, перерабатывая его для будущего. В сербской истории, — я говорю о Сербии, — есть много, чем она может, на благо себе, воспользоваться. И похоже, что воспользуется.

Сербия, прежде всего, насквозь *демократична*. Интеллигентные наши «демократы» (с приставками) понимают слово «демократия», может быть, несколько иначе. Но это не мешает существованию Сербии как страны демократичной в самом реальном смысле, по самой материи. По природе ли — не знаю; возможно, что и демократизм этот взрастила история. Рав-

номерность инородного давления на верхи и на низы очень могла содействовать общенародной спайке. Какому-то уравнению — благодаря которому и черты известной «аристократичности», т. е. своеобразной утонченности, можно встретить одинаково и у сербского мужика, захолустного крестьянина, и у сербского интеллигента или министра. (Так мне говорили, и это похоже на правду.)

В соответствии с демократизмом, — пусть примитивным, но в кровь и плоть проникшим, — находится и сербский национализм. По сравнению с национализмом некоторых других «послевоенных» стран сербский кажется каким-то... скромным. Излишняя самоуверенность, наступательность, злопамятство — черты, которые являются при непривычке к новому положению, иногда при тайном страхе за себя. Ничего этого у Сербии нет. Никаких честолюбивых перехлестов; ни тени «завоевательной» психологии. В новых условиях — только новое, усиленное, внимание, обращенное внутрь.

Ни сербской «демократичности», ни свойств ее крепкого, постоянного, «скромного» национализма, не следует забывать, рассматривая Сербию «монархическую». Монархизм ее тоже особого рода. Будь наши кирилловцы, антониевцы, марковцы и т. д. повнимательнее, они бы такому монархизму не очень радовались. Царь — «гражданин!» (как зовет себя сербский король). Да ведь это звучит едва-едва не царь-товарищ! Впрочем наши легитимисты уверены, что такой русской монархии — не будет.

В этом они правы: в России, да еще сейчас, монархия по типу сербской — невозможна. *Быть* — только может «русская», или никакая... Но мне уже пришлось говорить об этом подробно (в заседании Р. Научн. Инст. в Белграде) и объяснять, почему мы, русские, если мы не злостные мечтатели, вроде Марковых II-х, и не соблазненные мечтатели невиновные, — мы должны быть *республиканцами*.

Отношение в Сербии к русским, — в данное время к эмигрантам, — тоже естественно вытекает из прошлого и в связи с

ним объясняется легко. Своей истории не забывают даже те, кто ее не знает. Остается — в памяти сердца, в крови, кровью переданная. И она особенно крепка, эта «память сердца». В прошлом той или другой страны Россия занимает свое место. Иногда незначительное, иногда значительное. Там, где физиологическая «память сердца» сохранила образ «России-угнетательницы» — разве не наблюдаем мы ее борьбу с убеждениями и соображениями от разума, а подчас и победу?

В Сербии нет данного конфликта (как нет, между прочим, и другого, — антисемитизма: не было для этого пищи в истории). Для Сербии, в памяти ли сердца, в памяти ли ума (и здесь и там), Россия — одно.

Россия, русские — это помощники, защитники, освободители. Сегодня эмигранты — они те же «освободители» только в несчастии. И когда первые волны уходящих русских покатились в Сербию, еще разоренную, еще не успевшую опомниться от войны, Сербия приняла их в неустроенный дом свой, как могла; просто как путников принимают, застигнутых бурей: ни о чем не расспрашивая, накормить всех, на кого хватит и только.

Именно не расспрашивая. Какую малую роль играла тут «политика», политическое «лицо» тех или других бесприютных русских, лучше всего показывает дальнейшая история эмиграции в Сербии.

При самом начале уже считалось, что сербская эмиграция — преимущественно *«правого»* оттенка. Вероятно, потому, что, при движении с юга, в Сербию попала большая часть эвакуированной белой армии. Много «белогвардейцев» лишь протекло через Сербию, много и осталось. Кто, однако, «белогвардейцы»? Пора бы знать, что это просто русские люди, очень много пережившие и в подавляющем большинстве — «правые» только номинально. Сербия их, — как русских, как своих, — и приняла; так, «своими», и остались те, кто остался. Всего бывало, пока не оправилась и не стала втягиваться в работу Сербия. Вместе с ней втянулись понемногу и русские. Но

сделались ли сербами? Не знаю, в какой еще стране можно меньше опасаться ассимиляции. В самом характере отношения к русским нет для нее повода; для русских нет вопроса, как охранить свою «русскость». Довольно упомянуть пока, что они, без всякой перемены гражданства, уравнены в правах с гражданами сербскими.

Есть, среди эмиграции, и не просто русские люди, и не номинально «правые», а настоящие политики-правые. Эти, едва начался процесс эмигрантского деления, наметили главной своей резиденцией действительно Сербию. Из каких соображений — понять нетрудно.

Не в Сербии ли, стране славянской, православной, монархической, обожающей (как они думали) память русских царей, да еще полной доблестными белыми воинами, — не в Сербии ли ждут их большие дела, высокое покровительство, серьезное политическое влияние?

Так мечтали наши правые (преимущественно крайние) политики, такой представляли себе, вчера, реальность сегодняшнего дня. Это очень недалеко от здешне-эмигрантского общего «представления» о Сербии; только мечтанья выдаются за реальность, расчеты правых считаются осуществленными.

Между тем вот подлинная реальность сегодняшнего дня: русские монархические организации в Югославии тихо распадаются, покрытые тенью.

С культурной жизнью, даже эмигрантской, не говоря о сербской, монархические круги почти не имеют контакта. В этих условиях о каком-либо *влиянии*, я думаю, не может быть и разговора.

Со своей, русской, политикой, не выгорело; а что касается сербской, то нашим монархистам, если б какое-нибудь чудо помогло им в нее вмешаться, — все равно нечего было бы делать: до такой степени эта политика идет по иной, даже по враждебной им, линии.

Не помогло и православие, и митрополит Антоний из Карловцев. Православие сербское не совсем российское правосла-

вие. Ниже или выше, хуже или лучше, — другой вопрос, но не такое: более бытовое и народное, более простое, а, главное, — более *веселое*. Сербское духовенство как-то мало и соприкасается с тамошним русским. Эмиграция, русские люди «просто», ходит и в сербскую церковь, и в русскую; то, что последняя — «антониевская» — почти не замечается; вообще церковный спор, волнующий парижан, рядовую белградскую эмиграцию мало занимает. Митрополит Антоний, с небольшим своим окружением, живет уединенно, в Карловцах. Высшее сербское церковное управление и его представители никаких отношений с ним почти не имеют. Сербы с неудовольствием рассказывали мне о каких-то выпадах, демонстративных выходках монархистов, которые для этого воспользовались приездом митрополита Антония в Белград. Жалкие пустяки, быстро замятые. И это все. Ни малейшего «влияния» и с помощью Антония не получилось. Свою политическую ставку в Сербии наши монархисты проиграли.

Но и антиподы их, крайние (или почти крайние) левые, вряд ли будут счастливее. В последнее время они усиленно перекочевывают из Праги — в Белград. Если они тянутся туда с надеждой на «влияние» (потерянное в Чехии), они скоро разочаруются. Будет та же история. Прием — как всем «русским» — потому что русские; вот вам, по нашей силе и вашей работе, помощь, вот вам свобода... в пределе наших законов (только одни коммунисты — и только в Югославии! *«вне закона»*). Не хотите с нами работать, дух наш не нравится, как угодно; живите только в сторонке, и тихо; не мешайте другим.

Может быть, впрочем, наши левые пражские переселенцы просто ищут «где лучше», как рыба ищет «где глубже». В простом, житейском, смысле это «лучше», они, конечно, в Сербии найдут.

Но кому действительно живется там лучше, нежели в других странах, — это имеющим отношение к работе или делу *«культуры»*. Надо помнить, что в «культуре» сейчас главный пафос Югославии, причем понятие берется очень широко. В

круг работы «по культуре» входит, для Югославии, и постройка (в два года!) нового, великолепного, университета на главной площади, и открытие всяких научных и технических институтов, и оборудование фабрик и заводов — целый новый город в предместье Белграда), и, устройство музеев, и т. д., и т. д., вплоть до прокладки новых дорог. В этой области — опять невольно удивляет положение русских. Беседую с университетским лаборантом (б. деникинец, или корниловец). Беседуем вполголоса, — на стене широкого коридора написано, — кириллицей, — *Тишина.* Рассказывает мне об университетских делах, — он в работе уж давно, — и говорит наивно: «Студентов-сербов у нас, конечно, больше, чем русских...». Еще бы русских было больше! Профессоров-сербов тоже «больше». Но изумляет, с непривычки, что те и другие, вместе, в одном доме делают одно дело, и так, что уж нет ни хозяев, ни гостей, ни благодетелей, ни приемышей...

С внешней стороны — русские студенты пользуются правом жить в том же общежитии, прекрасном доме, где живут сербские. Но так как материальное положение русских труднее, и общежитие им более нужно, то сербы, особенно заботящиеся об «учащихся» недавно построили еще новый, русский, «студенческий дом».

Эмигрантские круги так называемых «работников культуры» весьма разнообразны по составу и по оттенкам. Вот один, более поддающийся общим определениям. Это — не совсем «интеллигенция», как мы издавна привыкли слово понимать. Это скорее старая русская профессура; в той или другой мере «люди науки». Для них, кроме открытых дверей к общей деятельности, созданы и создаются в Белграде свои учреждения, русские союзы, институты и т. д. По духу это круг, если угодно, «*правый*»; с тем существенным отличием от наших всяческих марковцев, что «правость» первого — пассивная (не политикой занимаются), а, кроме того, не лишена оттенка либерализма, которым всегда были отмечены наши даже самые старые «профессорские» круги. Сербы, с их преимущественной забо-

той о «культуре» (и с почти благоговейным отношением к русской), очень последовательны, интересуясь «людьми науки» *вне их политических симпатий.* А та дань тонкого уважения, которую приносит Сербия всем, без различия, представителям культурной России (им засчитываются годы прежней деятельности, возвращаются все права и т. д.) — дань эта делает Сербии только честь. Какое в самом деле значение имеет, если тот или другой академик, член института научного, вздохнет, тайком, о старой России?

Но на этом горизонте есть одна точка, мимо которой, ради объективности, не хочу пройти.

Кроме научных и высшеобразовательных учреждений, в Югославии существует целый ряд русских среднеучебных заведений. Боюсь сказать точно, сколько — во всяком случае больше, чем в любой сейчас европейской стране. О новых, уже на почве Югославии созданных, я не буду говорить: дело идет лишь о трех—четырех, в готовом виде и прежнем составе «эвакуированных» из России. Чисто механически перенеслись они из одного места в другое, и продолжают жить, «как будто ничего не случилось». Старые руководители, с их непотрясаемыми традициями, это уже не академики, не ученые, это *воспитатели.* Они действуют, они ведут какую-то — пусть малую — часть русской молодежи. Характерное преувеличение: географию России кадеты этих военных корпусов учат по довоенной карте. Но и без преувеличений, по одним фактам (сообщаемым людьми совсем не враждебными) можно понять дело. Сербы верны себе, предоставляют русским устраиваться с русскими, как они хотят, ограничиваются материальной поддержкой. Но мы-то русские, думая об этих «непотрясаемых институтах и корпусах, разбросанных по глухой сербской провинции, не можем не спрашивать себя с тревогой: а что будет с институтками и кадетами, когда они выйдут из-под крыла высокопоставленной начальницы и доблестного старого командира? Как они столкнутся с действительностью? Их к ней не готовили, их вели так, как будто «ничего не случилось»...

Что, если эти молодые жизни сразу окажутся «все в прошлом?»

Не станем, однако, придавать слишком большого значения частностям. Да и в конце концов время возьмет свое. Пока же нашим детям в Сербии лучше быть с наставниками старорусскими, чем на улице. Кстати, новорусских, стремящихся посвятить себя этому делу в глухих углах Югославии, что-то не видно...

Письмо мое затянулось, а между тем скольких еще сторон сербо-эмигрантской жизни оно не затронуло! Не совсем верно, что это письмо «о Югославии». Я касаюсь преимущественно одной ее части, Сербии, одного города — Белграда. Переезжайте из Белграда в Загреб (Хорватия). Несколько часов пути — и какая перемена впечатлений! Даже первых, зрительных, чувственных, — о людях пока не говорю (о «политике» и не думаю). Другой город, другой культуры и совсем другого внутреннего *движения*.

Но это слишком сложно; хотя так интересно, даже по беглому впечатлению, что я когда-нибудь его отмечу.

Может быть, для «письма впечатлений», и это мое письмо покажется слишком сухим: никакого лиризма! Но я нахожу, что всего нужнее была бы статья даже без впечатлений, информационная, просто о *фактическом* положении русской эмиграции в Югославии, о том, что для русских там делалось и что уже сделано. Весь материал, с точными данными, у меня для такой статьи, имеется. Но... где говорить об этом? Кому это нужно? Только широкой массе эмиграции, «вобле», по любовно-острому выражению незабвенного Арцыбашева. Ею не занята эмигрантская «элита», прессой заведующая. Насчет Югославии она довольствуется установленным «представлением», одним и тем же у правой и левой стороны; только первая радуется, что «это так», и при случае свои чувства выражает, а вторая, левая сторона, негодует, но даже при случае, — молчит.

Левая печать уже по тому одному не смеет заикнуться о делах эмигрантских в Югославии, что пришлось бы говорить и о «Державной Комиссии», которая все эти дела делает. Державной! Можно ли говорить о добром... «из Назарета?».

Ну что ж. Пусть сербы делают свое дело «втайне». Когда-нибудь видящие тайное воздадут им явно.

МЕЧТА

От автора

Эту статью, предназначенную для «Возрождения», газета не поместила, не объясняя даже причин, почему нарушено условие: печатать *все* мои статьи, как написанные с точки зрения, вполне приемлемой для редакции. Приходится думать, что в самой линии газеты произошли какие-то перемены, но какие именно? Это покрыто тайной. В заседании белградского Русск. Научн. Института, где статья моя читалась в присутствии людей самой разнообразной политической окраски, никто, однако, во время диспута, не возражал против главной мысли доклада, против моих определений и оценки *русского самодержавия.*

Вряд ли и среди читателей (кроме известного круга) найдется много несогласных с основными моими положениями, кстати не новыми и, со времен Достоевского, достаточно признанными.

Мечта

Поговорим еще немного о всяких «актуальных» вещах: о России, о сегодняшнем ее дне, о завтрашних возможностях, о свободе.

Центр моей темы, как всегда, есть вопрос о свободе. Точнее — о *мере* свободы, ибо реальность (а я буду говорить лишь о реальностях) не может включить полноту свободы. Но меру я возьму современную, европейскую, то есть высшую. Имея в виду ее, с одной стороны, и с другой — идею теократии,

самодержавно-православного государства, я хочу рассмотреть отношение к этой идее в России сегодняшней и завтрашней.

Меня часто спрашивали, после докладов на подобные темы, какие у меня основания считать для завтрашней России форму республиканскую предпочтительные всякой монархической?

Вот на одно из моих оснований (весьма серьезное) я и хочу указать.

Прежде всего речь идет *о России*, — подчеркнем это. Я сейчас оставляю в стороне рассуждения о той и другой государственной форме по существу, вне времен и пространств. Я отнюдь не спорю против того, что в Англии и во Франции мера свободы приблизительно одна, хотя Англия зовется монархией, а Франция республикой. Какой знак лежит сейчас на той или другой современной стране — это, пожалуй, и безразлично; это результат ее исторического пути в связи с чертами ее индивидуально-национальной особенности.

Но речь о России, а Россия страна *не современная*. Она не только не прошла необходимого пути к современности, но даже почти и не начинала его. Ведь она не знала и первых начатков воспитания — в свободе. (А какое же другое может быть «воспитание»?) России знакома «вольность», и мало ли что ей знакомо! — но только не свобода. Можно оценивать как угодно общее состояние России к февралю 17 года; во всяком случае это не было состояние *современной* страны. Едва начавшаяся революция (в этом ее отличие от западных) была *оборвана*. Большевики, придя к власти, не только оборвали революцию, они оледенили, окостинели Россию на целый период времени. Как бы море со вздувшимися валами превратили в хаотическое полое нагроможденных ледяно-каменных глыб. Жизнь идет, конечно; меж льдинами, кое-где, журчат ручейки, но... чары не сняты. Когда они спадут, когда развороженное море вновь сделается морем, не увидим ли мы, что некоторые водные пласты, на глубине, остались незатронутыми? Не найдем ли Россию, с иных сторон, в том же *состоянии*, в каком

застала ее магическая палочка большевиков? Не встретимся ли кое с чем отжившим, — но не пережитым, т. е. не успевшим сделаться отжившим для *сознания* России?

С такими возможностями мы обязаны считаться, если мы научились отдавать себе отчет в реальном положении дел.

Увы, неотдающими себе отчета мы были, такими, в большинстве, остаемся и здесь, в эмиграции. Говорить ли о «левых», об эс-эрах, например? (С.-р. — должно читаться ныне социалисты-*реформисты*, ибо соц.-*революционеров* среди них уже почти не замечается.) Они твердо уверены, что Россия, после снятия большевицких чар, тотчас, безболезненно, обратится в республиканскую, — по типу прекрасной Франции. Умеренным либералам-монархистам, напротив, рисуется прекрасная Англия. Им кажется: стоит отремонтировать Зимний Дворец, посадить какого-нибудь русского Георга, созвать палату пэров, парламент, и все пойдет как нельзя лучше. Будут издаваться свободные законы, а Георг сам собою отойдет к семейным делам.

Вот на этом и стоит остановиться. Мне лично завтрашняя монархия в России вообще кажется маловероятной, но оставим это. Допустим, что надежды наших умеренных монархистов сбылись: монарх появляется. Что случится? Чего можно ожидать? А вот чего:

Кто он ни будь — хоть сам Георг — с какими хартиями вольности в руках ни явись, — кончит он в России вовсе не домашними делами. Кончит тем, что... обернется *в царя*, — в настоящего самодержавного царя-помазанника.

Многое говорит именно за это. Вспомним: Россия никакой государственной формы, кроме монархической, не знала (опыт «пролетарской» деспотии разве крайние левые могут считать за республиканский опыт). И никакой формы монархии, кроме *теократической*, Россия тоже не знала. А самодержавие — мы это видели — трудно и поставить рядом с какой бы то ни было другой «формой монархии», — слишком оно своеобразно, благодаря его религиозной основе.

Кто, зная многовековую историю России, решится утверждать, что *пленительная* идея теократии, государства священного погасла в «уме» или в «духе» России? Внутренний процесс изживания, если он даже шел, — не был закончен. Другое дело, если б, после февраля, после фактического падения самодержавия, Россия не попала сразу под гнет чуждой идеи и чуждой власти. В этом случае старый образ теократического государства постепенно потерял бы силу над Россией, свободно дышащей, свободно думающей. Постепенно раскрывалась бы, на пути к «современности», и сама *религиозная* ложь идеи, как идеи «цезарепапистской»...

Но так не случилось. Большевики загнали ее внутрь, и даже сделали со своей стороны все, чтоб огонь ее не угас: сделали это гонениями на церковь, оскорблением древних народных святынь, наконец, беспримерным, внечеловеческим убийством, которым надели мученический венец на голову русского самодержца.

Я знаю, нынче принято говорить о России и русских, разумея территорию СССР и живущих там. Принято смотреть лишь на тамошнюю, «общую массу»; на здешнюю, зарубежную, наши эмигрантские «верхи» не обращают внимания. Особенно верхи «демократические». На всей этой средней массе русских людей (действительно массе: 89 проц. по подсчету «Посл. Нов.»!) они поставили штемпель: «обыватели-монархисты» и успокоились.

Странное и опрометчивое поведение. Средний русский человек всегда остается тем же русским человеком, куда бы ни попал. Внимательнее присматриваясь к здешним средним кругам, мы, пожалуй, узнали бы что-нибудь и о «тамошних», непосредственным взорам нашим малодоступных.

Попробуйте, приглядитесь к эмигрантскому «безмолствующему народу». Особенно интересна молодежь. Монархизм? У одних нет еще ничего, кроме открытой души и настойчивых исканий какого бы нового взгляда на жизнь, но у других... и у них не «монархизм». У них есть больше: *есть мечта*. К спору о

форме правления ее не сведешь: она лежит в другой плоскости. И она имеет свой образ, эта, увы, не потушенная в сердце, русская мечта: образ России православной, России-*теократии*, святой Руси, с единым главою — всевластным «помазанником Божиим»...

Не следует думать, что у этой «мечты» нет своей — и громадной — силы. Посмотрели бы наши политические водители, — и «демократы», и либералы, — проповедники свобод с английским монархом, — посмотрели бы они, какой дает эта «мечта» огонь *восторга* при самых случайных вокруг нее объединениях. Его не бывает, когда объединяются на «программе»...

Увы, теперь этот «восторг» идет на пользу даже не крайним правым: они слишком не новы и слишком грубы; нет, другим, похуже, умеющим исподволь прибирать к рукам мечтателей, особенно молодых. Немало их очутилось на удочках евразийцев, младороссов и пр. Тихо, но твердо действуют там и другие лица, малоизвестные, и которым малоизвестность даже помогает; а бьют они прямо в «мечту»: империализма не признают; России после Петра не признают, — одну Русь Московскую с царями православными...

Что же: если *здесь* жива страшная «мечта» — скажем ли с уверенностью, что в России в глубинах русского духа, уже нет ее следов?

Народ твердо отстаивает свою церковь. Но церковь, загнанная, связанная, не пребывает ли внутренне в своем прежнем состоянии, т. е. с постоянной возможностью стать подосновой старой «мечты»? Для того, чтобы с идеи теократического единовластия была, наконец, снята многовековая религиозная санкция — церкви нужен период самостоятельного, свободного существования; ей нужна свобода движений; нужно развитие христианской мысли...

Опять приходим мы к тому же, к пути, которого миновать нельзя, — *к воспитанию в свободе.* Но велика оброшенность нынешнего русского среднего человека. В России — что гово-

рить! Но не лучше и здесь. Кто помогает ему? Не помогает церковь; не помогают политики, учителя, вожди, занятые своими делами, или развивающие, как правые, так и левые, самый ядовитый, «русско-мессианский» патриотизм. Левые круги даже не понимают, и даже втолковать им нельзя, какую пищу для «мечты» дают они этим своеобразным «мессианством».

Зачатки настоящего воспитания общая русская масса получает здесь сама, — в работе, в борьбе за существование, где она соприкасается с новыми для нее условиями жизни. Тяжкая школа, да еще при полной духовной оброшенности. И воспитание идет туго, и старая мечта влечет эти души, принимая туманный облик будущего.

Стараться уничтожить мечтанья в человеческой душе — бесполезно. Но преобразить мечту ложную — в неложную, мертвое содержание заменить живым и новым, вот что можно и должно.

Современное человечество знает такие, — неложные, — мечты. Есть у него и *мечта о свободе*. Но раньше, чем сделать к ней несколько шагов — немало пришлось пережить западным странам. Не только пассивно «пережить», но и вольных опытов немало проделать. Чудесные воссияния, перелеты через пространства времен, не уготованы никому; не уготованы и России. Западный учебник так или иначе пройти нам придется. А у нас, вот и сейчас левые «мыслители» до страшных вещей договариваются: не хотят для России *«порядка, меры и закона»*. Ясно, что нам нужно начинать с самого начала; богоносец или не богоносец наш народ, но прежде всего надо нам видеть его просто современным человеческим народом.

Вот когда подумать бы о смирении. Нам необходимо правительственное устройство самое обыкновенное, которое научило бы нас первым азам гражданственности: без этих азов мы не станем на путь современности. Такую обычную форму управления, *и не таящую притом никаких возможностей старого соблазна*, мы и должны принять, не рассуждая, что это,

мол, у других уже пройдено. Пройдено – и получено. А не пройдешь – на том же месте останешься, с той же, *уже* мертвой, уже грешной, мечтой о помазаннике-самодержце.

БЕЗ КРИТИКИ

(О «Современных Записках»)

Положение литературного критика в наши дни очень трудное. Особенно если он, – как я, – литературы «советской» не касается, пишет только о зарубежной.

Я не касаюсь советской не из презрения к ней и к ее деятелям; а из милосердия и, главное, из честности перед собой. Я ведь знаю: ни одно мое слово об этих писателях не будет, и *не может* быть верным. Ни мое, да и ничье. Ибо советские пишущие люди (как, впрочем, и не пишущие) – существуют сейчас не в подлинном своем виде, а в искривленном, соответственно искривленную производят и литературу. Того, что эти искаженные души могли бы дать в нормальном состоянии – мы не знаем, а *судить* их в искажении... какое у нас право и где смысл? Это все равно, что взяться за оценку красоты женщин, из которых одна в оспе, другая в чесотке, третья с подбитым глазом и т. д. Нет, пусть выздоровеют, придут в свой вид, тогда и посмотрим. А пока – честнее помолчать.

Остается, значит, литература эмигрантская.

Чего, казалось бы лучше? При внешней свободе слова – широкое поле действия; ведь за рубежом весь цвет нашей литературы. Есть о чем подумать и поговорить.

Но тут критик встречается с новыми осложнениями, совсем особого рода.

Говорить о произведениях эмигрантских писателей? Критиковать их? Критиковать, в подлинном смысле значит: стараться показать предмет таким, каким его – сам видишь (и думаешь, что он действительно есть), для чего необходимо осветить его со *всех* сторон. Конечно, критика, в известной мере, всегда

субъективна; ведь критик видит-то своими глазами; но если он говорит о том, что действительно думает, не пользуясь, при оценках «нравится» ему или «не нравится», — это настоящая критика.

Но вот явление наших дней: эмиграция вообще, эмигрантские писатели в особой степени, *критики не выносят*. Самым определенным образом не выносят. Что с этим фактом делать? Да просто не считаться, скажут благородные теоретики. Как же не писать то, что думаешь? Уж не писать ли то, чего не думаешь?

Мы, однако, считаемся. Сознательно или бессознательно. Но перед каждым из нас, берущимся за перо, встает вопрос: как, что написать? Что думаю, или чего не думаю? Или пролавировать как-нибудь, и туда, и сюда, середка на половинке, третинка на четвертинке? Большинство интуитивно выбирает последний путь; оттого так много у нас критической «меледы» и так мало критики.

Может быть, не совсем мы и не правы, считаясь с отталкиванием эмиграции от критики, как и эмиграция не совсем не права, когда ее не выносит. Может быть, иной раз написать «не то, что думаешь», хоть и менее «благородно» — зато человечнее. Писатели — чувствительный народ; но откуда-нибудь да взялась же у них сегодняшняя, особо повышенная, чувствительность?

Эмигранты и критикуемые, эмигранты и критики. Все вместе, все как бы «лежат на одной соломе». Уместна ли критика, в ее формальной правильности, среди людей в таком положении? А если помнить, что за всеми следит вражеский глаз, чье-то ухо внимательно прислушивается, то, пожалуй, и не захочется говорить о соседе, — по принципу критики, — «все, что думаешь»... слушающий схватит, передернет — и лишний раз порадуется.

Есть, конечно, случаи, когда все эти, и подобные, соображения исчезают, в расчет нейдут. Но литературная критика — так ли уж важно, если, вместо нее, газетные столбцы будут у нас заполняться общеприятной меледой?

Я довольно долго пробовал, по старым привычкам, писать, «то, что думаю». Выходил ряд бесполезных огорчений, ужасно мне, признаться, надоевших, вместе со всякой «критикой». Что делать? Писать то, чего не думаю, — не могу; подражать ловкой и мягкой меледе молодых критиков — не умею...

Я решил, на этот раз, подойти к моей теме особым образом: так, чтобы даже *вида критики* заметка не имела. Потому и нужно было все это длинное предисловие, — о критике. А тема беспретенциозная и старая: о «Современных Записках». Раз 20 я писал об этом журнале. Но теперь я «отзыва» не пишу: беру, на днях вышедшую, 37-ю книжку и просто-напросто *рассказываю*, что в ней находится. Без всякого освещения с какой бы то ни было стороны. Как чеховская девочка написала о море: «Море было большое». И точка.

Мое море тоже большое: большая, белая, тяжелая книга. Они все такие, книги «С. З.». Есть, за что деньги платить, у кого имеются.

Сначала, конечно, И. Бунин. Продолжение обстоятельнейшего рассказа, как вырастал дворянский сын в русской усадьбе. Хотя гимназии не кончил (за что отец звал его «недорослем»), но много читал, писал стихи и вообще обнаруживал большие способности. Описывается ряд впечатлений, которые производила на него природа: весной, летом, осенью, зимой, в ночь лунную, в ночь безлунную и т.д. Также потрясающее впечатление от смерти родственника (особенно подробно описаны гроб, труп, могила). На том идут впечатления от первых любовных деревенских утех.

После Бунина, тотчас начинаются описания зимней деревни Б. Зайцева (продолжение повести «Анна»). В этой книге рассказывается, как Анна, влюбленная в бывшего помещика, бывшего московского кутилу и безобидного донжуана, к нему ушла, потому что он заболел. Болел, болел, и умер. Окончания «Анны» еще нет.

О стихах ничего не скажу, авторы известны, стихи им соответственны. Авторы — Ходасевич, Адамович, Оцуп (один,

впрочем, неизвестный – Лебедев). Можно не рассказывать также о Ремизове и Марине Цветаевой. Ремизовские легенды о Николае Чуд. везде печатаются, а *«поэму»* Цветаевой всякий сам себе легко представит, если хоть строчку этой поэтессы видал раньше.

Беллетристический отдел дополняется двумя произведениями «молодых» авторов. В первом – Евангулова, «Четыре дня» – рассказывается совсем не то, что у Гаршина под тем же заглавием: там – четыре дня тяжелораненого, забытого на поле сражения, четыре дня под жарким солнцем, рядом с трупом разлагающегося турка, без возможности доползти до соседней лужи, чтобы напиться. Здесь – четыре дня молодого парижского эмигранта, попавшего в случайную impasse (тупик), не заплатившего в гостинице, бродящего без денег по Парижу. Хочется кофе с булкой, подработать не удается, как нарочно знакомый в отъезде, а Земгор заперт. А тут дождь, молодой человек промок и простудился. Со стройки, где он ночует, его волокут чьи-то сильные руки; чьи – он не знает, ибо уже в беспамятстве (хотя рассказ ведется от «я»); но, очевидно, полицейских, которые свезут его в больницу, а он там, очевидно, и скончается.

Второй рассказ, Тимирязева, «Домик на 5 Рождественской» передается в самых кратких словах: все сошли с ума, потом все умерли, разнообразными смертями (человек 10–12), а домик срыли.

Не останавливаюсь на статье-речи П. Милюкова о *«традиционной»* религии. Эпитет мало, конечно, объясняет, о какой именно религии хочет говорить уважаемый профессор; но так как нам давно известно его отношение ко всякой, то не будем смущаться. Между прочим, статья свидетельствует, что в последнее время П. Милюковым немало прочтено было книг «по предмету».

Тем, кто интересуется вопросом об отделении церкви от государства, я очень советую прочесть статью В. Руднева. В конце он весьма отчетливо называет коммунизм – *религией*, дока-

зывает, что Россия управляется «религиозной сектой», почему там и невозможно «отделение» церкви от государства, – возможно лишь гонение на все церкви, кроме «господствующей».

Не менее любопытны и соображения М. Вишняка насчет демократии и реформ парламентаризма. Вообще, надо сказать, что читатель, не боящийся «скуки», найдет в отделе статей немало для себя полезного и поучительного. Вот, хотя бы, параллель, которую проводит А. Кизеветтер между взглядами на русскую историю (на московский период) – Нольде и Бунакова. Не согласный ни с тем, ни с другим, Кизеветтер предлагает «реалистический» (не материалистический) метод исследования русского народа и русского самодержавия, указывая на опасности метода бунаковского, чисто духовного, интуитивного; особенно при неизбежном перегибе. Понятны перегибы Бунакова, который увлекся вновь открывшимся ему, *духовным*, религиозным смыслом самодержавия. Но, конечно. увлечение «духовностью» может привести к неожиданным выводам. От углубления внутренней связи между самодержавием и народом, лишь благодаря его всемерной поддержке и существованию, недалеко до вывода, что всякая реальная власть – есть власть действительно народная, духу народа соответствующая и духовно им поддерживаемая. А таким образом надо и большевицкую власть признать народной: ведь без духовной поддержки народа она никак существовать не могла бы?

Это выводы не мои, а логики; оценки я не делаю; возможно, что Бунаков их и имел в виду.

Я не успею отметить все, что еще содержится в 37-й книге «С. З.», но это, пожалуй, и кстати: что я могу сказать о библиографии? Или о воспоминаниях внучки Толстого? О книге же в ее *целом* – я все равно не сказал бы ничего: ведь я решил воздержаться от *критики*: эмиграция ее не выносит.

Эмиграция... Эмигрантские писатели... Кончая мою заметку, я вдруг впал в сомнения. Кроме писателей эмигрантских есть ведь и читатели. Что, если читателям вот такое мое объективное «рассказыванье» скучно (а оно-таки скучновато!), прият-

ные расшаркиванья молодых рецензентов, — по незнанию кулис, — тоже, и просто критику, то, что всякий из нас думает, они бы почитали с большим удовольствием? И с большей пользой?

Не знаю. Но пусть, на этот раз, остается так. Пусть возьмут читатели книгу «Совр. Записок»; я ее «рассказал», а думают и судят пусть сами читатели.

Я не сомневаюсь, что читателей будет много, и очень этому радуюсь. Да и как русским не читать своего, единственного в мире свободного, толстого журнала?

Париж

ОПЯТЬ О НЕПРИМИРИМОСТИ

Но сначала немножко о евразийцах. Ведь это они, косвенным путем, опять возвращают меня к «непримиримости». Когда-то о ней много спорили в эмиграции; но никто существа ее не определял, точки не было поставлено, и споры кончились многоточием...

Меня евразийцы как таковые мало интересуют: насчет них давно все ясно, несмотря на отчаянную муть их узловатого, бессильно-интеллигентского, языка. И еженедельник, где они ухитрились отчетливо сказать о своей «соработе» с большевиками, ничего мне нового не дал. Но так как меня очень интересует эмиграция и, в соотношении с нею, понятие «непримиримости», то я считаю нужным на этой евразийской «соработе» немного остановиться. На «соработе» в среде эмигрантской, конечно; ибо, как будут сотрудничать евразийцы с большевиками в России, и начали уже, или нет — я не знаю, а здешняя их работа мне *известна*. Из многих примеров возьму один, весьма наглядный.

У меня имеются корреспонденты во всяких углах нашего эмигрантского царства, не исключая медвежьих. Письма молодых (особенно «зеленой» молодежи), усердно-откровенные,

обстоятельные, позволяют следить и за изменениями атмосферы, окружающей кого-нибудь из пишущих, и за его собственными изменениями, согласно влиянию тех или других людей. По письмам Z. (мой пример), из угла очень далекого, можно бы и без его точных информаций, не зная имен, догадаться, чья работа над ним (и над его коллективом) производится, чьим, именно, ароматом «окрестный воздух напоен». Z. — из семьи не беженцев, а эмигрантов серьезных; юноша, что называется, «с запросами»; не без способностей душевных и умственных. И вот, с известного времени, от письма к письму — перемена. О, конечно, — «Россия!». Но уже ненавидит Европу. Уже презирает и ненавидит «эмиграцию». Далее: «Почему не большевики? Они лучше; они все-таки что-то делают для России...». И, наконец, — перепуганный как-то с наивным пересказом «идей», очень, по тональности, знакомых, — крик души: «Быть с этими... (эмигрантами), быть, как они? Да ни за что! Поеду в Россию. В ВУЗе работать можно, если серьезно. Родителям я докажу, я уж почти убедил их...».

Тут же упорное, робко-задорное, желание убедить и меня, — приобщить к «своим» новым откровениям. Зачем, казалось бы? Но прозелит — яр, не разбирая. Для «доказательств» мне приводятся всякие «факты» и «фактики». На днях пишет: «Ну, а как вы к этому факту отнесетесь? Наш X. ездил в Москву, с одним только провожатым, и вот, оба вернулись. Эх, послушали бы вы их рассказы! Позвольте дать несколько подробностей. Но сначала характеристики...».

Из них явствует, что X. — человек старый, глубоко религиозный, и жизни праведной; спутник его — «б. русский чиновник, старорежимнейший человек!». Речь идет, конечно, о поездке легальной и деловой (*не* по отношению к сов. власти).

«Во-первых, — продолжает мой корреспондент, — б. чиновник — в восторге! Ну, он — это пустяки, он мог прельститься, увидев отличные московские автобусы, образцовый порядок в учреждениях и на улицах, молодцеватость красных бойцов. Но X., который видел и другое, долго беседовал с

м. Сергием, этот самый Х. – *доволен*. (Курсив везде подлинника. – *З. Г.*). Сергий настроен необычайно бодро. Он презирает все эмигрантские газеты; называет лживыми; *возмущен*, например, ложными сообщениями, будто бы иерархов плохо содержат в ссылке! По его словам – *наоборот*. Сергий считает советскую молодежь хорошей и настоящей. По его словам, церковь выиграла за последние годы качественно, хотя *продолжает терять количественно* (это я и сам так предполагал, уже давно). Сам Сергий своим положением крайне доволен; живет в Сокольниках, но скоро переезжает в Москву (он ведь сам снимает квартирку; заключает контракты и приискивает!). Ну-с, Х. так доволен остался поездкой, что говорит, что эмигранты должны возвращаться, *советовал мне ехать в Россию*. Советская молодежь, говорит и он, тем хороша, что она *за идею...*».

Спешу подчеркнуть, что выдержка эта приведена без малейшего намерения кого-либо критиковать, судить или даже оценивать. Не говоря уже об Х., о м. Сергии, о чиновнике, которыми я сейчас совсем не занимаюсь, я и юношу моего не сужу: хочу лишь спокойно констатировать факт евразийской работы среди эмиграции, над такими, вот, юношами: не «обработанный» письма этого не написал бы! А что подобная работа есть «соработа» с большевиками, даже «совработа», – кто будет отрицать?

В деле «уничтожения эмиграции» и маленький успех – успех. Мой юноша (один ли?) уже *не эмигрант*; не русский изгнанник, сын России. Не сын и СССР; у этого учреждения «сынов» нет, есть только сообщники и рабы. Рабом, или сообщником будет он, окончив ВУЗ, – неизвестность; сейчас, *пока*, он лишь на мостике к этим двум возможностям; как бы нерожденный сын... не Евразии даже (причем «евр», – ненавистная Европа?), а какой-то «Москвазии», подозрительной, словно спиритическое привидение. На евразийском мостике – сейчас «недоносок» (состояние которого так прекрасно описал Боратынский).

Но относительно моего юноши (и ему подобных) – уж слишком бесспорно, слишком видно всякому, что это *не эмигранты.* Мы живем, однако, среди людей, из которых многие тоже не эмигранты, или полуэмигранты, а мы этого не знаем. Зачастую, и сами они не знают. «Внеэмигрантство»... тайное. Вскрыть его нельзя (а следует!), не обратившись раньше к «ходячему» слову «непримиримость»; не вдумавшись в него сызнова, не поняв его действительного значения.

Когда вышел 1-й номер «Евразии», кто-то, в отзыве, сказал: «Да это – те же большевики». Ему тотчас, в другом эмигрантском органе, возразили, что это, мол, еще не аргумент... Мелочь, если угодно; поспешная, м. б. случайная, реплика... но тем более характерная. Сказать, или обмолвиться, что признание евразийцев большевиками еще ничего *против* них, евразийцев, не говорит, можно лишь, не имея первого понятия о том, что такое «непримиримость». О «примиримости» это еще не свидетельствует; только о полной от нее, – от «соглашательства», – незащищенности: сегодня не хочется, завтра, м. б., захочется, все в зависимости от завтрашних настроений, положений, соображений. Между тем все настроения и соображения *эмиграции* (подчеркиваю слово) – все это вторично, все это цветы и травы, худые или хорошие, но выходящие из земли. Земля же – непримиримость. Есть она – будем говорить о том, что на ней растет. А нет – лучше поговорим о чем-нибудь другом, только не об эмиграции.

Что же такое непримиримость?

Сначала отбросим все пустое, все ей навязанное. Непримиримость – не программа. Не знамя. Даже не лозунг. «Объединяться» на ней нельзя. Попытки «объединить» на непримиримости эмигрантов, не сходных по взглядам и убеждениям, заранее обречены на неудачу. Разделения в эмигрантской среде, споры (если они ведутся с сохранением своего – и противника – достоинства) – вещь естественная, нормальная и даже благотворная: сознательные разделения, – дифференциация, – могут привести к новым, крепким, синтетическим со-

единениям... Не под знаменем непримиримости, ибо, как мы говорили, она — не «знамя»... Но вот тут-то и пора сказать, что такое *непримиримость* для эмиграции. Стремясь к точности, не назову ее даже raison d'être*. Нет: непримиримость это — *само существование эмиграции*, как и самого слова «эмиграция». Произнося слово «эмигрант» — мы обязаны подразумевать «непримиримый». Когда этого нельзя, надо оставить слово в покое.

От эмигранта (т. е. непримиримого) требуется, очевидно, и отрытое, твердое «исповедание» непримиримости, — во всех нужных случаях (непрерывный вопль о своей «непримиримости» часто бывает подозрителен). Исповедание достаточно ясное, чтоб не давать повода к недоразумениям. Только такой здешний русский, или группа русских, могут быть названы *эмигрантами*. Остальные, конечно, «пусть называются», как хотят, — с разрешения Хлестакова: ни логика, ни просто здравый смысл, им этого разрешения не дают.

Поскольку и газета или журнал не выполняет условия, — не дает твердого «исповедания» непримиримости, — постольку данный орган и *не* эмигрантский. Такая газета, если она не совсем внеэмигрантская, наполовину, — сама бывает не рада недоразумениям, которые плодит: то ее поощрят из Москвы, то евразийцы на нее обопрутся, и тогда начинается бессильное отмахиванье: да мы, мол, не в том смысле... Полуэмигранты — не «соглашатели», конечно; если, случаем, и «соработники», — то без предумышленности. Есть такое хорошее французское слово «flottant» **; вот и о них можно сказать: бьющиеся, как флаг по ветру.

Очень много у нас этого «биения», этой мути — в самом первом, самом важном пункте. Откуда она? И почему это болезнь, главным образом, левых кругов эмиграции? За какую чечевичную похлебку продают «левые» звание и место «эмиг-

* смысл существования (*фр.*).

** развевающийся (*фр.*).

рантов», предоставляя непримиримость в исключительное пользование так называемым «правым»? В чем тут дело?

Причины сложные, коснусь лишь одной.

Мы вообще медлительны и консервативны. Но особенно консервативна «интеллигенция», и чем левее — тем консервативнее. Привычками, вплоть до словесных, она обмотана, как цепями. Отгородиться от большевиков? Привычное ли дело отгораживаться им от тех, кто зовется (тоже по привычке) — «левыми»? Как, вообще, загородки ставить, черты проводить, — с *левой* стороны? Не хватает ни решимости, ни уменья; и сторона левая остается открытой, незащищенной; для наползающей оттуда мути препятствий нет. Зато, с какой неустанностью продолжают «левые» строить загородки *направо*! Уж и времена другие, и места, и слова, — все перетряхнулось, — а они все строят. И все по тем же принципам, пользуясь старым опытом, навыком... благодаря чему получилась такая вещь: левые, заодно, отгородились и от «непримиримости». Она, вместе с правыми, оказалась по ту сторону заграждения; и тем самым сделалась навеки «подозрительной». Для иных — даже решающим признаком (до того доходит!) — и демократ, и республиканец, но «непримиримый», значит — враг.

Если двусмысленно положение коренных, давних «левых» — с левыми «прозелитами» дело обстоит еще хуже. Чувствуя себя сильно запоздавшими, они так спешат догнать старолевые традиции, так торопятся тоже воздвигнуть поскорее заграждения направо, что подчас и материала не выбирают. Вот назидательный пример этой опрометчивой спешки, — привожу его для наглядности.

Ни для кого не тайна, что одна из *прозелитских* левых групп — группа «Последних Новостей». С недавних пор газета печатает ряд статей новоприобретенного сотрудника — г. Курдюмова. Тоже прозелита, но совсем свежего: еще почти, можно сказать, вчера видели мы его энергичные писанья не то в «Вечерних», не то в других «Временах», во всяком случае, в органах *крайне* определенного направления. Надо думать, что с

ним произошла молниеносная эволюция (если такие бывают) ибо «Посл. Нов.» доверчиво поручили ему постройку еще одного заграждения направо, — религиозного. Но у г. Курдюмова, — не столько по причине слабых его технических способностей, сколько потому, что новообращенный всегда слишком яр, слишком исполнителен, — заборы получились особенные; они отгораживают «Посл. Новости»... от кого? От «правых»? Как бы не так! А прямо от всей общей «*средней массы*» русской эмиграции. «Посл. Нов.» и раньше ставили на ней крест. А теперь высылают на нее г. Курдюмова, с крестом в руках, с уничтожающими обличеньями на устах. Я не думаю, конечно, что она уничтожится. Но любопытно отметить, что дело идет о той самой «средней массе», которую еще на днях И. Бунаков, наименее консервативный из представителей левой интеллигенции, объявил (в прениях на моем докладе) подлинной «*частью русского народа*». Указывая на покинутость ее верхами эмиграции, он «обличал» как раз эти верхи, менее всего ее.

При большой спешке и усердии, можно ведь не попасть в седло, а перескочить через лошадь. «П. Нов.», с г. Курдюмовым, именно перескочили через лошадь.

Это характерный, но не общий, конечно, случай. А что делать нашей коренной, старорежимно-левой, эмигрантской интеллигенции? Стряхнуть ржавые цепи коллективных навыков? Своими глазами взглянуть на всеобщий переверт всего? Понять, что непримиримость — атрибут не правых, не левых, а всех детей одной матери, всех русских изгнанников — «эмигрантов»? Да ведь это целая революция! До революционности большинство наших «левых» (самых левых) интеллигентов еще не дошло.

А пора бы. Вот, когда следовало бы поторопиться. Времена лукавы. Не пора ли, наконец, понять эту простую вещь: нет непримиримости — нет и эмиграции. Бытия нет.

Несогласия и согласия, разделения и соединения, все — потом. Но сначала надо *быть*, не правда ли?

БРОДЯЧАЯ СОБАКА

Если время остановилось (как иногда кажется), то это было — теперь. Но если оно, с началом эмиграции не остановилось, надо сказать, что этот вечер был давно... Давность, при внимании, даже в глаза бросается. По кое-каким признакам можно и год определить.

Париж; май; «литературный» вечер в каком-то сарайном (совершенно сарайном) помещении от какого-то кафе; темнота; столы без скатертей, — как бы кухонные, — скамейки. Вечер по инициативе «молодежи» эмигрантской (ее, однако, еще не было, еще не выросла она).

Полная эмигрантская неустроенность, наивность, невинность. Даже в том, что были приглашены какие-то французские «представители» молодежи (один был привезен мною, — и как же он мне надоел!).

Чуть ли не желали этим представителям показать (наши представители), что мы тоже «не стеклом утираемся», что у нас была «Бродячая Собака», которую ничего не стоит перенести в Париж. Это, — а также образ того времени с его обстоятельствами, — будет ясен из моего стихотворения, на вечере прочитанного (приведу его ниже); куча разных мелочей тоже помогает определить дату: например, установка молодыми распорядителями двух суковин у дверей, направо и налево, с надписью: «Сменять вехи строго воспрещается».

Собственно, представителей «нашей» молодежи было всего два, да и те, в смысле «Бродячей Собаки», вовсе не настоящие. Настоящих «собачистов» еще тогда в помине не было. Что касается «старших» (окончательно не помню, какие «старшие» были на вечере), то о них и говорить нечего. Мы, например, на «Собаку» смотрели в Петербурге из определенного отдаления и с очень определенными о ней мыслями.

Из двух наличных петербургских «представителей» один, — музыкант, — был деятельным членом моих «воскресений» и даже, одно время, состоял секретарем СПБ Религ.-Фил. О-ва

(хотя к религии отношения имел немного). Другой, — поэт, — столь был юн, что не мог посещать никаких СПБ-ских «обществ», когда они существовали. (Вот, кстати, знак, что с того вечера время не остановилось: юный — давно женат, отец семейства и пишет в французских газетах; а не юный, молодой, — где-то в Нов. Свете и годы уж американский подданный.)

Стихотворение мое прямо было о «Собаке»:

Не угнаться и драматургу
За тем, что выдумает жизнь сама.
Бродила Собака по Петербургу
И сошла Собака с ума.

Долго выла в своем подвале,
Ей противно, что пол нечист.
Прежних невинных нету в зале,
Завсегдатаем стал чекист.

Ей бы теплых помоев корыто
(Чекистских красных она не ест...),
И, обезумев, стала открыто
Она стремиться из этих мест.

Беженства всем известна картина,
Было опасностей без числа.
Впрочем, Собака до Берлина
Благополучно добрела.

«Здеєь останусь, решила Псица,
Будет вдоволь мягких помой;
Народ знакомый, родные лица,
Есенин, Белый... и А. Толстой...».

Увы, и родные не те уж ныне!
Невинных нет, грязен подвал.
И тот же дьявол-чекист в Берлине
Правит все тот же красный бал.

Пришлось Собаке в Берлине круто.
Бредет, качаясь, на худых ногах —
Куда? Не найдет ли она приюта
У нас, на сенских берегах?

Что ж? Здесь каждый — бродяга, собака,
И поглупел — скажу не в укор.
Конечно, позорна Собака, однако...
Это еще невинный позор.

Можно сказать, давность! Время-то эмиграционное не только не стоит, — годы удвояются, утрояются, если судить по тому, как все вокруг — и мы сами — изменились...

Но кое-что твердо осталось на местах. Мелочи, но когда поймешь бег времени, твердые эти мелочи даже потрясают.

Один такой пустяк (но характерный!) заставил меня и вечер вспомнить.

Юный (тогда!) поэт сочинил для вечера куплеты. Молодой (тогда!) музыкант аккомпанировал. Куплеты были забавные. Об эмигрантской «прессе». О двух газетах: их и тогда было две: «Последние Новости», конечно, но рядом с ними — «Общее Дело». Эта, бурцевская, называлась, в куплетах, «Последним Делом», а другая милюковская, — «Общими местами».

«Последнее Дело» посылало «проклятия большевикам» и всякое такое, но на любые буйства «Общие места» отвечали передовицами — которые неизменно юный поэт начинал:

«Мы не раз указывали...»
«Мы давно отменили...»
«Мы все время предупреждали...»
«Мы неоднократно говорили...» и т. д., и т. п.

Как было не вспомнить далекого прошлого и куплетов, читая одну свежую, совсем свежую, почти вчерашнюю передовицу той же газеты! «Мы давно указывали...». «Это то самое, что мы давно говорили...». Мне даже стало казаться, что на протяжении наших утроенных годов все передовицы были такие.

Обман чувств, конечно; но не обман, что очень их, таких, много было; и было — и опять есть, словно по закону пифагорейских «вечных возвращений» *.

При внимании можно разобрать, что разделяются эти «мы давно указывали» на два сорта: благожелательные и осудительные. В первых — «мы не можем не приветствовать», что такой-то или такие-то приходят «к нашим» мыслям: во вторых — «мы не можем не отметить», что хотя «мы давно предупреждали и высказывались», такой-то предупреждений не послушался.

Свежая (пред-пред-последняя) передовица, о которой говорю, — приветственная. Относится она к Мельгунову, чье непримиримое поведение, вкупе с его «Борьбой за Россию», много стоило слов «Последним Новостям», много предупреждений и указаний. Но вот теперь, оказывается, Мельгунов приходит к тому, «что мы давно говорили». Говорит «то самое» (насчет желания русских в России власти с выборным началом, т. е. республики). Правда, напечатано это в мельгуновском журнале со слов «курьера», курьеров же посылать нельзя («мы всегда указывали»); гораздо было бы лучше Мельгунову, прислушавшись к «нашим предупреждениям», давно пойти в РДО и не ссориться из-за «активизма» (тем более, что и «мы», в известном смысле, не против активизма («на что указывали»); но все-таки «мы не можем не приветствовать...». Лучше поздно, чем никогда.

Оставляю в стороне самую тему данного спора (или согласия), а равно и не лишенные справедливости замечания П. Н. насчет специфического «национализма» и «непредрешенности» (о «непредрешенности» у меня имелось бы серьезное право сказать «мы давно указывали...»). Я хочу сейчас заняться другим. Кое-чем выходящим за грани «политики». Положим, нет ни одного, самого маленького, политического вопроса и

* После той, о которой идет речь, уже было еще две подобных. Одна даже прямо началась: «Мы неоднократно отмечали...».

спора, который бы за эту грань не переходил и даже, – что особенно важно, – именно там за гранью, не решался бы, т. е. не приводил или приводил спорящих к согласию. И хотя это не одной только «политической» области касается, – но будем сейчас держаться данного примера.

Согласятся ли когда-нибудь «Посл. Новости» с «Борьбой за Россию», или, – уточняя, – Милюков с Мельгуновым? Могут ли? Я утверждаю, что *не* могут, и *не* согласятся, хотя бы даже все их *слова*, до последнего, и совпали. Не в данных личностях дело: я беру их как пример невозможности *«говоря – договориться»*; полной бесполезности согласования слов, если нет его в другой, за-словной, области.

Данный случай характерен еще тем, что оба «политика» вряд ли сами отчетливо знают, до какой степени роль слов ничтожна и как, напротив, важна... ну что ли «аура» слов у каждого. Аура не в спиритическом и даже не в «мистическом» если угодно, смысле: нет, я разумею под аурой (слова окружающей), – нечто весьма несомненное и обыденное, хотя и не всегда сознаваемое. Не потому Мельгунов не находится в республиканско-демократ. объединении при «Посл. Новост.», что не скажет, что он и республиканец, и демократ, а «Посл. Нов.» не потому не принимают «Борьбу за Россию», что Милюков не может искренно сказать, что он и за борьбу, и за Россию. Но потому, что эти слова: «республика», «демократия», «борьба» и даже «Россия», – для обоих политиков – в разноокрашенных аурах, различных и по самой консистенции, как два несоединенные химические элемента.

Куда бы мы ни двинулись, умножая примеры, везде натолкнемся на то же: бессильное и бесплодное согласие на одинаковых словах – тут опрокидывается, при несогласованности, разноокрашенности того, что я называю словесной «аурой».

Скажут: да эдак двинуться вместе нельзя, если ауры у всех различны, и слова и «договоры» ничего не значат. А уж в политике-то, на чем еще держаться?

Преувеличивать никогда не следует. Во-первых, аура того или другого *слова* может быть для многих дана одноцветной; во-вторых, одноцветность, или сгармонированность цветов (тоже дающая одноволие) может и приобретаться. Но напрасно было бы закрывать глаза на решающее значение этой подсловесной, или засловесной, области для воли, для всякого действия. Что касается «политики», то как раз тут немало случаев, когда исключительно словесные согласия приводили к печальным разочарованиям.

Сквозь слова, даже самые одинаковые, разность атмосфер порою все-таки сквозит. Политики ее ощущают, словесники могут даже проследить. То — расположение слов другое, то — округлость фразы и соседство двух, несколько неожиданное, — и вот, будто свет за словами передвинули, иначе их осветили, другим мерцанием.

Возвращаясь к нашему примеру, спросим: какой смысл приветствовать, что на страницах «Борьбы за Россию» повторяются слова «Посл. Новост.» (большевики, революция, республика и др.), когда вся атмосфера мельгуновского органа окрашена, между прочим, цветом «непримиримости», а в «Посл. Нов.» этой анилиновой краски нет ни капли? Одного этого достаточно, чтобы из «согласия» ничего не вышло, лишний раз доказав, как опрометчиво мы поступаем, полагаясь на совпадение слов, придавая словам серьезное значение. Но еще более опрометчиво придавать значение словам... только своим собственным, слыша чужие лишь тогда, когда они с собственными совпадают, или резко внешне противоположны. А это как раз случай «Посл. Новостей».

«Мы давно предупреждали, давно указывали...». «Мы говорили то же самое...». И ведь, действительно, как будто и указывали, и говорили! Но приветствуется ли совпаденье чьих-нибудь слов с «нашими», осуждается ли несовпадение — никаких реальных следствий это не имеет.

Ведь еще на заре нашего эмигрантского дня пел юный под аккомпанемент молодого:

а результатов никаких не было. И теперь, очевидно, не будет, не выйдет ничего из приветствий Мельгунову, который говорит «то самое, что мы говорили...».

Ну да, то самое... и, однако, совсем не то самое; ибо скорее можно представить себе, что Мельгунов, на худой конец, пойдет сажать капусту, но поверить, что Милюкову удастся его усадить на диван Республиканско-демократического объединения, — невозможно.

Я не политик и не берусь судить, какие оба они политики, хорошие или нет. Но сдается мне, что если политика П. Н. Милюкова с его группой и хороша, то во всяком случае — не для нашего *времени*; не по нашим обстоятельствам, месту и положению.

ГОГОЛЬ И БЕЛИНСКИЙ

В «Зеленой Лампе»

Доклад Н. Оцупа, в недавнем заседании, по теме (о столкновении Гоголя с Белинским), был чрезвычайно интересен, благодаря множеству попутных и важных вопросов, которые из него вытекали... могли вытечь, по крайней мере, если бы прения были продолжены.

Мне, по случайности, на самом этом заседании быть не пришлось; но доклад в главных чертах мне известен, и я хочу здесь воспроизвести суть тех моих замечаний, которые должны были быть высказаны в этот вечер.

Так как Гоголь, сам по себе, явление слишком сложное (да не прост, хотя и проще, Белинский), то нам необходимо ограничить себя собственно темой доклада, — столкновением их по поводу книги «Переписка с друзьями». В сущности это было столкновение Гоголя не только с Белинским, а со всем решительно русским обществом той эпохи. Очень бы любо-

пытно выяснить, почему вознегодовал на Гоголя, вместе с Белинским, и Аксаков, восстали и славянофилы; но детальный разбор этого опять завел бы нас далеко. Достаточно, если мы возьмем Белинского, но возьмем его, как *представителя* известной части тогдашнего русского общества. Какой части – об этом ниже.

Дело, конечно, не в *писателе* Гоголе. Литература на втором, если не на третьем плане. Да хотелось бы мне знать, у кого из наших гениальных писателей была она на первом? Даже у Пушкина не была, в том смысле, в каком этот первый план теперь понимается. И уж, конечно, не у Достоевского, а про Толстого и говорить нечего. Каждый их них, на пути жизни, подходил к *концу* литературы, и куда-то из нее простирался дальше, вырывался из нее, раздвигая или разламывая писательские рамки.

Мережковский, в книге «Судьба Гоголя», где центр слишком, может быть, отодвинут в специальную область, о столкновении Гоголя с Белинским и с данной частью общества, говорит кратко: «Он (Гоголь) заговорил о Боге». На этом замечании стоит остановиться. Ведь, действительно, даже когда, полвека спустя, Вл. Соловьев «заговорил о Боге», – он явно оказался «белой вороной» с кривыми и косыми на него взглядами. Я сближаю Гоголя с Вл. Соловьевым скорее, чем с Достоевским потому, что оба они «заговорили о Боге» в форме прямой, жизненной, а не художественной, что, на плохой конец, кое-как прощалось (хотя и Достоевскому прощалось именно «кое-как»). Но прямой формы часть общества, с Белинским во главе, вынести от Гоголя не могла, как едва выносили ее, через 50 лет, сыновья и внуки Белинского – от Соловьева.

Кто эти внуки? Как зовется часть общества, о которой мы говорим? Да, конечно – русской *интеллигенцией*. Мы условились не входить в детали, поэтому я буду брать все в общих, почти грубых, чертах. Время Белинского – время нарождения «интеллигенции». Кто-то назвал Белинского ее родоначальни-

ком и, кажется, не очень ошибся. Сейчас нам, правда, с трудом верится, что в середине прошлого века Гоголь, заговорив о Боге, получил от интеллигенции «оплеуху», заушение и был всеми покинут, как за то же самое, в конце века был покинут Соловьев. А в начале века нынешнего группа интеллигентов, заговорившая о Боге, не избегла и заушений. Если всему этому не верится, — не потому ли, что сейчас, на наших глазах, целые косяки интеллигентов, беспрепятственно примкнув к Православной Церкви, все время говорят, даже болтают, «о Боге?». Это, конечно, большая перемена, внешняя, во всяком случае (мало ли у нас произошло таких перемен?), но что переменилось внутренно, по существу, это надо еще исследовать.

Ведь замечательно, первый, коренной вопрос, который Гоголь поставил — правда, лишь в чувстве, не в сознании, — который Соловьев поднял уже резко и ясно, а группа интеллигентов положила в основу Рел.-Фил. Собраний 1901—03 годов, — этот вопрос как-то отодвинулся на задний план и там пребывает в забвении. Точно его сторонкой обошли, и даже не по ибсеновской «Великой Кривой», а просто на кривой объехали.

В кратчайшей формулировке — это вопрос *об отношении религии и жизни*. В частности — христианства к жизни, — к личности, к обществу, к его устройству, к свободе и т. д. Ясно, что вопрос этот мог возникнуть лишь перед теми, кто имел уже то или иное отношение к религии, то или другое о ней внутреннее понятие.

Теперь посмотрим, какое понятие о религии было у нашей интеллигенции и какое есть теперь. Бросим на нее общий беглый взгляд, на всю ее возрастную историю.

Честная, пылкая, безоглядно влюбленная в Прекрасную Даму — свободу, наивная и естественно ограниченная, — такова ее юность. Потом лишь пыла поубавилось, да кое-какие пламенные «идеи» стали превращаться в «правила». Интеллигентское «религия — реакция» явилось очень просто: не реакция ли, в самом деле... Церковь? Не с самодержавием ли, не

против ли свободы? Знак равенства, сразу поставленный между понятиями: религия—христианство—Бог—церковь—православие, все приводил в ясность. И разве не была интеллигенция по-своему права, возмущаясь всяким, кто заговорил «о Боге?».

Годы шли, если изменяя общие черты интеллигенции, то уже совсем не влияя на данную — отношение к области «религии». Внутренний раскол подготовлялся по другим линиям. Не будем входить в сложные причины этого последнего разрыва, осуществлению которого помогла историческая катастрофа; скажем только, что разрыв произошел между частью интеллигенции, оставшейся верной своим «идеям» в их прежней, широкой и честной идеалистичности, — и другой частью, которая выхватила несколько первичных интеллигентских линий (чем, конечно, исказила общий лик интеллигенции), дотянула их, логически, до конца.

Эта последняя часть — большевики. Никто ведь не спорит, что они та же русская интеллигенция, выходцы оттуда же. И если у потомков Каина и потомков Сифа родоначальник один — Адам, можно признать, что Белинский — родоначальник *всей*, хотя бы расколовшейся, русской интеллигенции.

Катастрофа, физическое, внешнее разделение, вряд ли соответствует, по резкости, тому же разделению внутреннему. Физически потомки Каина, двигаясь по своему пути, продвинулись в тупик, а потомки Сифа, пока что, отодвинуты в эмиграцию. Но кое-какие внутренние нити между теми и другими не разорваны, что-то общее, из отдаленного прошлого, у них остается. Между прочим и та черта, о которой мы говорим, — отношение к религии. С виду это кажется странным, но взглянем повнимательнее на эмигрантскую интеллигенцию.

Далеко время, когда можно было давать «оплеухи» тому, кто заговаривает о Боге. Да и внешняя катастрофа перевернула все аспекты. Отдельные личности из интеллигенции массами, спокойно, идут в православную *церковь*. Остракизму их, конечно, интеллигенция не предает (еще бы!), но сама из неиду-

щих в церковь, «о Боге» не заговаривает, или с большой неохотой. «Религия — реакция» как-то не сказывается, не выходит в словах; всего удобнее, всего спокойнее остановиться тут — на терпимости. На отделении «церкви от государства».

Эта ходячая фраза очень характерна. Ее любят и материалисты, ее любят повторять и православные интеллигенты (когда не рассуждают специально о Церкви). Она дает тон отношению к религии *всей* интеллигенции, отношению того же, в сущности, *старого* порядка. Религия, Бог, христианство — это Церковь. При условии отделения Церкви (религии) от государства, от политики, от всякой общественной и т. д. жизни, неправославные интеллигенты готовы считать ее не опасной; и даже малоопасными кажутся им мечтательные разговоры увлекающихся подчас соинтеллигентов о неопределенном «оцерковлении» мира.

Так оно идет, пока вопрос *первой* важности, вопрос Гоголя, Достоевского, Розанова, Соловьева, Толстого остается лежать без движения, незатронутый, забытый, точно он провалился.

Это бы еще ничего, если б так откровенно и стояло, что вопрос не затрагивается, что интеллигенция не желает разбираться, что такое религия, что такое христианство и есть и ему место в мире, или нет. Но дело обстоит гораздо хуже.

Обычная фраза об «отделении Церкви от государства, взятая в прямом смысле и на своем месте, означала бы такую простую вещь, с которой и спорить нечего. Беда же в том, что фраза эта звучит как-то *исчерпывающе*, и для уха людей поколения более молодого — обманно. То есть человеку, новому в этой области, но способному нащупать вопросы серьезные, вроде вопроса о религии и жизни, христианстве и жизни, — может показаться, что все это интеллигенция уже рассматривала и пришла к сознательному решению. Влияние этого воображаемого решения можно заметить в докладе Н. Оцупа. Докладчик как будто склонен в конфликте Гоголя и Белинского увидеть некоторое «вмешательство в чужие внутренние дела». Предпосылка: «церковь» не должна вмешиваться в дела «государ-

ства», — *это значит*, что религия не вмешивается в дела общества, христианство в жизнь, небесное в земное, божественное в человеческое и т. д. Гоголь, заговорив о Боге, вмешался в дела Белинского, в устроение на земле, которое должно совершаться именно «без Бога». Поэтому прав Белинский, защищая свои дела от Гоголя.

Тут, как видим, налицо все типичные интеллигентские представления, вплоть до знаменитого «устроения на земле без Бога» (причем никому не воспрещается помышлять о Боге в чаянии будущего своего устроения на небесах).

Я нарочно усиливаю нотки, не слишком отчетливо звучавшие в докладе Оцупа, но не меняющие от этого своей природы и значения. Интеллигентский подход к «религии» (с обходом вопросов собственно религиозных) примитивен и прост, так что напрасно было бы доискиваться, на каких серьезных основаниях противополагается небесное — земному, Божье — человеческому. Розанов всю жизнь бился, доказывая, что *христианство* уводит от земли, гасит свет и радость, тут же, однако, утверждая, что без *Бога*, без религии, существование вообще невозможно. Интеллигенция его не поняла бы, если бы и слушала. Что разбирать? Разделить только надвое: тут — все относящееся к человеку и жизни, там — к Богу (Церкви), и, чур, друг другу не мешать.

Нечего и говорить, что я — за «отделение церкви от государства». Нечего и говорить, что я вполне сочувствую Белинскому в его возмущении некоторыми проектами Гоголя относительно «устройства на земле». Но отсюда еще далеко до выводов, которые делает интеллигенция и которыми она, если сегодня не вполне соблазнила Оцупа, завтра соблазнит когонибудь другого. Да и что говорить вообще о выводах, когда первый запрос о религии, о христианстве, об *отношении его к жизни*, вопрос, занимавший лучшие наши умы, — затерт, отброшен сейчас в сторону? Следует либо так и сказать откро-

венно, что он, за ненужностью, упразднен, либо... начинать сначала. С самого начала, забыв, зачеркнув все самоуверенные и наивные выводы интеллигенции. С ее «отношением к религии» мы имеем полное право не считаться, как посчитался, м. б., бессознательно, Н. Оцуп; уже потому имеем, что для «отношения» надо иметь о предмете хоть какое-нибудь понятие. По совести, удосужилась ли интеллигенция приобрести понятие о религии?

ДЕЛО ЭМИГРАЦИИ – ДЕЛО РОССИИ

Я прошу у читателя десять минут внимания, но внимания серьезного.

Речь о деле, об очень конкретном предложении г. Гольденвейзера-Любимова, касающемся всей эмиграции.

Это дело – суть недавно выпущенной автором брошюры, которую я не буду критиковать ни со стороны идеологической, ни со стороны тона, еще менее со стороны литературной. Нет нужды, что все это неудачно, – вплоть до заглавия: «Да здравствует эмиграция!». Важна главная мысль брошюры; о ней и будем говорить.

Мысль эта столь проста, естественна, – «нормальна», – что даже не кажется новой. Впрочем, она и действительно не нова: давно уж что-то подобное носится в воздухе. Но с такой определенностью, в таких резких линиях, вопрос поставлен впервые. Кто знает, будь на месте русской эмиграции не русская, а любая другая, может быть, и не понадобилось бы, на двенадцатом году ее существования брошюрки г. Гольденвейзера, так как давно его проект был бы реальностью? Но оставим это. Перейдем к самому делу.

Автор берет русскую эмиграцию с одной, но очень важной стороны; определяет ее данное коллективное существование как *«социально-экономический хаос»* и утверждает, что «необ-

ходимо из этого хаоса создать *социально-экономический организм*».

Речь, конечно, о *всей* эмиграции, и, главным образом, о той широкой русской общей массе, которую верхи, эмигрантская «элита», презрительно окрестила «обывательщиной». Автор брошюры даже говорит как бы от ее лица, называет себя тоже «обывателем».

Мы не последуем за ним в крайних его нападках на «элиту», на верхи, «бесплодно занятые бесплодной политикой и распрями» (достаточно мы наслушались таких обличений!). Но признаем, что кое в чем эти «верхи» перед общей массой эмиграции действительно виноваты. Прежде всего – в полном и всестороннем к ней *невнимании*. Вина немалая, да еще для мнящих себя патриотами. Как будто русские люди, – несомненная часть русского народа, – перестала быть ею, выгнанная в Европу! И даже вообще перестала существовать.

Фактически, любовь к России и народу у наших «верхов» сделалась ницшеанской «любовью к дальнему»... к населению СССР, исключительно. «Социально-экономический» хаос эмигрантского существования они видят, но он их не трогает. Общая же масса не только видит, – она его постоянно осязает. «Обыватели» на своих боках испытывают силу хаоса. И, право, если они обыватели, – то героические. Нужно ли в тысячный раз останавливаться на воистину героической борьбе за жизнь среднего эмигранта в условиях бесправия, покинутости и вынужденной немоты? Известен его тяжкий труд, – до седьмого пота буквально, – под вечным страхом: случай, болезнь, – и семья на улице. Жена пойдет толкаться в благотворительные учреждения; где-нибудь отвалят франков 50... а потом?

Над всеми и каждым трудящимся висят сто дамокловых мечей, самых разнообразных. Ведь бывает, что не подачка нужна, – нужно только обернуться. Но куда пойти? К кому? Не к благотворительной же даме, только что устроившей пышный вечер или концерт: она не понимает, для нее – все нищие

с паперти, всем надо поровну, по копеечке... А молодежь? Не отказываясь трудиться до десятого пота, ради хлеба, она хочет и знаний. Идет к чужим дверям, к американским или другим, за помощью... но многие ли попадают за двери?

Да, уж конечно не героическая обывательщина сказала бы, имей она голос, что «не нужно» искать нормальных форм для ее социально-экономического «хаоса». Формы эти автор брошюры довольно подробно намечает. Он говорит, что «объединение большей части экономических, культурно-просветительных усилий, совершаемых ныне отдельными людьми и организациями... дало бы каждому эмигранту немедленные, реально ощутимые, блага: быструю помощь в разнообразных областях жизни, справки всякого рода, в особенности о приложении труда...». «Необходимо создать *О-во Взаимного Страхования и Взаимного Кредита*. Общеэмигрантские или поместные промышленные кооперативы и артели... Общеэмигрантский официальный печатный орган «Свободной Трибуны»... Сеть культурно-просветительных учреждений, распределяемых из центра пропорционально нуждам отдельных эмигрантских агломераций... Комитет по ведению информации и пропаганды среди европейцев и американцев»... и т. д., и т. д.

Подобная организованность, прибавляет автор, была бы и созданием для эмигрантов *международно-правового положения*.

Само собой разумеется, что такой широкий план объединения требует известной централизации. И автор останавливается на создании «административного центра». Какие же пути указаны им к реализации всего этого?

«Для русской эмиграции, — говорит он, — нет и не может быть иного основания для объединения и органического сосуществования, кроме *совершенно добровольного соглашения* («общественного договора»), т. е. "широко демократический принцип", "всеобщее голосование" и — Contrat Social *, принятый "по воле большинства"...».

---

* Общественный договор (*фр.*).

Прежде чем указать хотя бы на первые трудности этого в реальной обстановке дня, сделаем маленький экскурс в прошлое. Бросим взгляд на номер «Последних Новостей» от 10 декабря 1920 г. Номер этот очень любопытен сам по себе, даже страшен, если положить его рядом с каким-нибудь номером года 29-го. Какие тут 9 лет! Века прошли, поколения сменились... Во всяком случае, *та* газета «Посл. Нов.», — враг этой, сегодняшней, тоже называемой «Посл. Нов.», враг во всех решительно отношениях. Есть в старой, между прочим, и отдел «Свободная Трибуна». И, в данном номере, мы находим там... автора брошюры, г. Гольденвейзера-Любимова. Любопытно, что он говорит приблизительно о том же и то же, предлагает по тому же «демократическому принципу» создать «эмигрантский центр» (еще «интеллигенции», правда, и не для чисто «социально-экономических» задач, но он уже отрицает старопартийные группировки, и вождей, — «генералов» от политики). Еще любопытнее, что статья сопровождена сочувственным замечанием «от редакции»: создание такого центра ей отнюдь не кажется возможным...

Сейчас нам понятно, что предложение г. Любимова, в тогдашней форме, было, по тогдашним временам, неосуществимо. Но и для теперешнего его проекта, гораздо более реального, выросли, по пути, новые затруднения. В 20-м году эмиграция была (или сознавала себя) более цельной. На две половины, неравные, она еще не была разрублена. Сейчас это деление фактически существует. Большинство учреждений, общественный голос, — пресса, — в руках «верхов» эмиграции; главная часть, общая масса, — нема, безгласна. «Свободных Трибун» для нее больше нет. Ведь и для г. Любимова нет: громка ли отдельная брошюрка, да и брошюрку из тысячи один «обыватель» может издать! При этом вот *главное:* полное отсутствие у верхов и вождей к этой общей массе *интереса.* Какие же тут «демократические принципы», соглашения хотя бы на программе исключительно социально-экономической, какое создание центра! Чтобы говорить о «подчинении большинству»,

о большинстве голосов, надо ведь чтобы голоса *были?* Но их нет, и не видно, кто и как станет заботиться, чтобы они явились.

Мне кажется, г. Любимов эту сторону своего проекта недостаточно разработал. Если к оформлению эмигрантского хаоса нельзя подойти какими-нибудь тихими, окольными тропинками, если нужно начинать прямо с выборов и Contrat Social, — я боюсь, что долго еще нам в этом хаосе надо путаться...

Впрочем, я, может быть, ошибаюсь. Ведь этот глубокий «неинтерес» к эмиграции со стороны «верхов» той же эмиграции — что-то ненормальное, какое-то затмение. Многие с полной искренностью думают, что надо все взоры, все внимание обратить на Россию, и, если смотреть на нее, — то уже нельзя смотреть на эмиграцию. Это будто бы значит «отвернуться» от России, что «не патриотично». Да и *для чего*, спрашивают они, все эти заботы по сложному устройству на чужой земле? Только что откроются двери России — вся эмиграция потянется туда как «обывательщина», так и политики, без различия толков... Мы все думаем о России, что нам думать об эмиграции, — о себе? Зачем?

Тот, кто ставит подобные вопросы искренно, лишь по наивности, может получить ответ в той же брошюре г. Любимова.

Прежде всего — знаем ли мы, когда откроются двери России? Если еще не завтра, а послезавтра, то не нужно ли и до послезавтра эмиграции сохраниться, как *русской?* Ощущение себя международными париями этому не содействует... Между тем организованная эмиграция «без труда избавит громадное большинство от жизненной необходимости перехода в иностранное подданство...». И больше: «С *такой* эмиграцией нельзя не считаться... Она не останется в роли quantité négligeable * в глазах населения СССР...». И несомненно «будет оказывать влияние и на ход событий внутри СССР...».

* величина, которой можно пренебречь, ничтожная величина (*фр.*).

А когда откроются двери России, не окажется ли эмиграция, возвращающаяся в данном своем состоянии, чем-то вроде толпы беженцев? Легко ли будет каждому, в одиночку, искать места своего и связи, среди незнакомых условий, с уже незнакомой Россией? Другое дело — возвращение эмиграции организованной. «После большевиков Россия (какой бы она ни была) будет остро нуждаться в образованных и технически подготовленных людях, в капиталах, иностранных кредитах, организаторах, коммерсантах, инженерах, агрономах, профессорах, учителях, торговых и государственных служащих, лицах, знающих иностранные языки. *Откуда-нибудь* она их несомненно получит. И будут ли то иностранцы, или бывшие русские эмигранты, — зависит всецело от теперешней эмиграции...».

Да, от нее, от того, успеет ли, сумеет ли она *довоспитаться* до состояния, в котором окажется реально *нужной* воскресающей родине?

Нужно — не в одном только, чисто материальном, смысле: «воспитание» я понимаю широко. Работая над собой, оформляясь, эмиграция несомненно будет получать и общее воспитание. Когда нынешней зимой велся разговор о средней массе эмиграции, так называемой «обывательщине», И. Бунаков (который видит в ней именно «часть русского народа») горячо протестовал против равнодушия к ней верхних эмигрантских слоев, указывал на полную ее покинутость и в духовном отношении, как во всех других. Речь шла не о «политике», столь ненавистной г. Любимову, хотя где «политика» и где «не политика» в наши дни? Слишком широким стало это понятие. К тому же сам автор брошюры, настаивая на организации «исключительно соц.-экономической», прибавляет, что «организованная эмиграция станет в России и *активно-политическим фактором*».

Конечно, станет, не говоря о прочем. Ища форм человеческой жизни, приобретая навыки наряду с техническими знаниями, эмиграция не может не обрести, попутно, и духовных

ценностей. Во всяком случае, принципы *свободы и права* не останутся ей чуждыми; с ними она и поедет работать в Россию — на Россию.

Что же? Не значит ли заботиться, думать об эмиграции — думать о России?

Я не разделяю, как сказано выше, одностороннего взгляда автора: весь корень зла он видит в политике и за нее нападает на эмигрантские «верхи». Может быть, он рассчитывает, что если твердо ограничить дело эмиграции областью социально-экономической, к нему легче привлечь интеллигенцию без различия толков. В теории это верно. Но на практике — почему привлечь, раз она не заинтересована *никакими* решительно делами, *ничем*, касающимся эмиграции? Фатальное невнимание, поддерживаемое не менее фатальным убеждением, что если смотреть на Россию, которая «там», надо отвернуться от России, которая «здесь», произвольное *деление* России — вот первый камень, главное препятствие для проектов г. Любимова. Сдвинется ли он? «Всеэмигрантский съезд»... «всеобщее голосование»... Contrat Social... Какие мечты, — для сегодняшнего дня! Это не значит, что сам проект — мечта, утопия. Напротив. Необходимость превращения эмиграции, хаоса, в «социально-экономический организм» так настоятельна, что кое-где, частным образом, работа происходит. Происходит она и в самой массе эмиграции. Но все это, увы, еще разрозненные усилия, блуждание по окольным тропинкам...

Если так будет длиться, наступит момент для эмиграции взять свое дело в свои руки, самой расчищать себе широкий путь. Это ее долг. Но не станем закрывать глаз: мы, *русские*, русская эмиграция. Мы способны на героический подвиг, мгновенный и длительный, мы умеем работать, говорить, думать, мы можем составить проект, издать брошюру, — но делать? Способны ли мы делать общее, общественное дело?

Но годы испытаний ни для кого даром не проходят. Из них рождаются новые силы, нужная воля и выдержка. По силе русская эмиграция и будет делать дело свое, — дело России.

ЛЮБИМАЯ

«За мою малость меня полюбил Великий».

Я пишу о ней, потому что, как все, тоже люблю ее, и потому что ныне ей... «поручена Россия».

Это — маленькая «Тереза Младенца Иисуса», теперь уже «святая». Наша современница, — она, кажется, последняя канонизированная святая.

Процесс ее канонизации велся и завершился беспримерно быстро: есть какие-то правила или обычаи, не дозволяющие даже начинать этот «процесс» раньше долгих десятилетий после смерти, длится же он иногда целые века. А маленькая Тереза имеет свои алтари, свои изображенья, перед которыми молятся сейчас и сестры ее монастыря, и родные ее, старшие, сестры (все четыре — они тоже монахини), и многие люди, видевшие Терезу ребенком.

Она жила «вчера».

Дело в том, что Рим *не мог* ее не канонизировать. Он лишь признал то, что уже было сделано раньше, сделано тысячами «малых сил». Это они полюбили Терезу, поверили ей, — и почувствовали ее *своей*; такой близкой, как будто равной, и в то же время такой любимой Богом, что для нее Он все сделает. К Терезе же совсем просто можно обращаться — к своей-то! И не обещала ли она: кто меня не попросит — я никого не оставлю без ответа? Говорила еще: я не успокоюсь там, на небесах, в лоне Жениха. Я буду постоянно думать о земле, заботиться о людях. Когда мир будет весь спасен — только тогда я отдохну.

Влечет к «Терезочке» простых и малых и самый ее образ – совершенной, неизъяснимой чистоты и прелести: девочка, полуребенок, чуть благоухающий, белый полевой цветок. Младшая из пяти дочерей благочестивого коммерсанта на севере Франции – она в 15 лет уже кармелитка; опять вопреки всем правилам церкви, вопреки всем препятствиям. Не со стороны отца: он слишком самоотверженно любит «свою королеву» (и как любит его она!). Препятствия шли со стороны церкви. С недетской твердостью встречает их Тереза. Она, никогда не покидавшая родных мест, едет с отцом в Рим, чтобы там умолять самого папу о позволении «пойти в Кармель, когда мне исполнится пятнадцать лет...». «Если того захочет Бог...» – уклончиво отвечает ей папа.

Тереза понимает, что это отказ, но она полна такого доверия к Богу, что не сомневается: Он захочет. Он сделает. И в пятнадцать лет за ней затворились двери кармелитского монастыря в родном Лизьё.

Что же было потом, в течение кратких последующих лет ее жизни? Ничего; эти годы были тихи и ясны, как она сама. Никаких видимых героических подвигов у Терезы нет. Нет у нее и никаких ослепительных экстазов. Но у нее есть *свой* духовный путь. «Это моя маленькая тропинка к Богу, – говорила она, – маленькая потому, что я сама маленькая; верная, прямая тропинка, и такая простая, что всем по силам, каждому, если он даже мал и слаб, как я...».

О своей тропинке, «la petite voie», она твердит, не уставая, и так нежно зовет на нее всех, «тоже малых», что ей верят. Может быть, она сама не знает, сколько невидного героизма и ей было нужно для этой тропинки; другие знают, но ничего! Если кому трудно – Тереза поможет, а то простит. Ведь она – своя, наша, как мы...

Что же такое Терезин «маленький путь?». Это – доверие к Богу, доверие и любовь. Бог так любит нас, что, все равно, перелюбить его нельзя, хотя бы любить «изо всех сил»... Надо Ему довериться, доверить себя Его любви до конца.

Лестница совершенства, ведущая ко Христу, трудна тому, кто мал и слаб: она для сильных. Но Тереза помнит: крошечным ребенком стояла она раз у лестницы, не умея осилить и первой ступеньки; тогда с протянутыми руками сошла к ней сверху мать, и эти руки подняли ее, маленькую. Пусть же не тревожится никто своей малостью. Разве не Божьи слова: «Как мать ласкает ребенка своего, я буду утешать вас, я буду носить вас у груди моей, баловать вас на коленях...».

Чего же бояться? Руки самого Христа поддержат и поднимут того, кто мал, надо только им довериться... У Терезы и нет страха. Любовь не обманет. Любовь дает ей все, чего она ни попросит. И ведь она тоже, в ответ, любит Его «изо всех сил»...

Во время войны в редком окопе не было скромной открытки с изображением «Терезочки»: округлое, полудетское личико под черным покрывалом; цветы и крест в руках. Эти открытки уже были и тогда «иконами», — не совсем, все-таки, обычными иконами: было и присутствие, милое присутствие своей близкой, сестры, которую можно попросить — и не останешься без ответа.

Вот человеческая *родственность*, всем «малым» понятная близость, — при явной и к Богу близости, — она-то и сделала Терезу любимой и... святой, раньше римской канонизации. Риму оставалось только преклониться перед свершившимся.

Теперь церковь католическая обращается к св. Терезе с каждодневной молитвой... о России. Ведь там «все, кто стоит за христианскую веру, терпят непрестанные пытки. Они в голоде, в холоде, в болезнях, в темных и страшных тюрьмах, где священнослужители и верные христиане заперты вместе с последними преступниками. Муки христиан длятся годы, и многие уже кровью своей запечатлели верность Христу...».

И всякий день, перед алтарем Терезы Младенца Иисуса, в ее монастыре, в Лизье, молят сестры свою святую сестру: «Взгляни на этих страдающих... Проси о них Духа Святого. Проси, чтоб Он сошел в сердцах тех, кто жив в России, укрепил их мужество, любовь и терпение, помог им довериться

милосердию Божьему, и Господь воззрит на слезы и на кровь их, со Христом и за Христа проливаемую, и скорое избавленье пошлет их родине от ужасов коммунизма и атеизма...».

Так, «*во имя братства всех христиан*», молятся иноцерковные христиане и христианки за далекую Россию, просят о ней маленькую девочку Терезу, которую любит Христос и которая обещала: не останется без ответа никто, если ко мне обратится.

МЕЛЬКНУВШЕЕ МГНОВЕННО

Розы расцветают,
Сердце, уповай.
Есть, нам обещают,
Где-то лучший край...
Жуковский

Поднимаю занавес над одним, только одним, днем из прошлого. Это апрельский, — нет, майский, — день 1913 года, — наша поездка на автомобиле из Ментоны в Сан-Ремо, на виллу «Вера».

Ничего рассказывать, ничего объяснять не хотелось бы. Но приходится. Постараюсь ограничиться необходимым.

* * *

Давно как-то, не помню даже когда, замечаю на письменном столе С. А. Андреевского, в Петербурге, интересную фотографию.

— Скажите, кто это?

— Это Мадонна. Я так прозвал ее: очень хотел иметь ее портрет, и теперь он всегда у меня на столе.

Рассказывает о группе политических, которых он, Андреевский, защищал вместе с другими присяжными поверенными. Среди этой группы была и «мадонна».

— Вглядитесь в это лицо.

Я вглядываюсь, долго. Да, удивительное лицо. Нежное, тонкое, кроткое. Светлые косы венцом вокруг головы. А в глазах, прозрачных, серых, должно быть, — вместе с кротостью — крепость, тихая сила. Мадонна? Не знаю; уж очень русское лицо, светлое лицо настоящей русской девушки.

— Она худенькая, кажется болезненная, — говорит Андреевский. — Посмотрите, какая чистота взгляда!

* *
*

Прошло несколько лет. Я вижу «мадонну» въявь. Вечер, небольшая парижская квартира тогдашних эмигрантов. Несколько человек, как всегда спорящих. Но «мадонна» — ее зовут Мария Алексеевна, — молчит, прячется в темном уголке, кутается в большой платок. Она нездорова. Я узнаю лицо портрета: то же, только еще похудевшее, нежно-прекрасное лицо, те же широкие глаза, также косы заложены венцом... она вся маленькая, худенькая, и глаза кажутся огромными.

Еще год или два... Вилла в Теуле, — это низкое зеленое местечко между Канн и С. Рафаэлем. Вилла на самом берегу моря. Об этой нарядной, холодной, таинственной вилле и ее обитателях я расскажу когда-нибудь в другой раз. Там жил, среди других, Савинков с женой.

Мария Алексеевна провела зиму в швейцарской санатории. В Теул приехала весной.

Тут уж не было сомнений, что она больна серьезно. Лежала на длинном кресле, укрытая пушистым пледом. И что-то новое, казалось мне, было у нее в глазах.

Но друзья говорили: «О, ей теперь уж лучше. Этой зимой как раз, — подумайте! — получила весть о трагическом конце Сазонова... Но она стойко перенесла. На юге, среди своих, скорее поправится».

Самоубийства Сазонова и вообще Сазонова, — жениха Марьи Алексеевны я здесь не касаюсь. В не так давно вышедшем

томе его писем этот крупный человек виден ярко. С некоторых духовных сторон письма освещают его самым неожиданным образом... Но тогда мы знали его трагедию лишь в общих чертах. И важно заметить одно: всем нам судьба этого человека *тогда* казалась верхом ужаса, и то, что с ним сделало царское правительство, — пределом зверской жестокости! Он был членом боевой организации. Убил министра. Его, по суду, приговорили к нескольким годам каторги. Срок уже кончался. Но в тюрьму был прислан новый, сменивший старого, начальник, оказавшийся весьма грубым. Сазонов и «политическая семья» каторжан были им несколько раз оскорблены. Наконец объявили голодовку. Сазонов очень мучился за слабых друзей. Ему казалось, что все это из-за него, что устранится он — другие спасутся. И он себя устранил.

Ничего нет удивительного, что мы относились к этой трагедии так, как относились. Мы тогда были человечны, и другой, кроме человеческой, точки зрения просто не имели. Не знали о ней. Отсутствие человеческой точки зрения — называли зверством, — у зверей ведь нет никакой точки зрения. Если б нам рассказали тогда что-нибудь из теперешней действительности, об институте заложников, например, о «запасах человеческого мяса», которые сейчас делаются в России (в Европе) для избиения при первом случае, — мы бы или засмеялись (не поверили), или... сошли бы с ума. В низины, до последней низости, надо спускаться понемножку, постепенно привыкая. Иначе задохнешься.

Но я все отвлекаюсь. Трудность в том, что, вызывая образы прошлого, надо ведь и свой образ вызывать — прошлый: вспоминать себя такими, какими мы были тогда, с легкими, приспособленными не к сегодняшнему воздуху низин.

А солнце Ривьеры и тогда светило так же, улыбалось в море. Голубой ветер шелестел перьями пальм. Мы выехали не рано, — пустяки ведь от Ментоны, которая почти на границе Италии, — до Сан-Ремо. По дороге мы завтракали в одном из прибрежных отелей — в Италии. Неправда ли, и это уж теперь

странно? Съездить из Франции в Италию, пообедать к знакомым, вечером — домой?

Ветер, ветер, яркий шелест, нежное море. И опять странность: еще «сезон» — но дорога почти пустынна (по сравнению): едва несколько автомобилей нам встретилось.

Мы едем втроем: с нами — наш друг, известный эмигрант (успел уехать тотчас после громкого оправдания, заочно был приговорен потом в каторгу) — ближайший многолетний друг Бориса Савинкова. Друг и однопартиец, но не член боевой организации.

Существует ли, впрочем, боевая организация вот теперь, когда мы едем на виллу «Вера», где живет Савинков с семьей и с некоторыми из тех, кто ютился в теульской даче? Не кончилась ли «б. о.» — в Теуле?..

Да; ее искусственное возрождение после скандальной истории Азефа и не могло быть долговечным...

Но вот мы уже на горе, над Сан-Ремо, у решетки «Вера». Какой пышный сад, какая светлая, белая вилла! И внутри, где целый лабиринт небольших светлых комнат, так же весело, — семейно. Детская колясочка у перрона еще подчеркивает «семейность». Толстый младенец (сын Савинкова) на руках русской няни. Рядом — красивая, молодая мать (как она порозовела с теульских дней!), другие какие-то женщины, вообще впечатление, что много народу. Но если комнаты «Веры» не похожи на мрачные, сырые сараи Теуля, то и обитатели здешние все, даже прежние, какие-то другие (большинства теульских, впрочем, совсем не вижу).

Савинков, как всегда, блестяще разговорчив. Пьем чай, — в его кабинете, кажется, в одной из солнечных комнат. Общество порядочное, а вот еще гости: барышни Плехановы. Скоро пришел и сам Плеханов, — бодрый, стройный, sel et poivre * — социалист-джентльмен. Манеры его безукоризненны, красноречие тоже, но во всем, что он говорит — какая-то неуловимая

* седеющая борода (*фр.*).

неприятность. И постоянное ощущение слишком близкого — дна...

Но время идет... А Марья Алексеевна? Ее мы увидим перед обедом. Она уже не покидает своей комнаты и даже, последнее время, постели. Плотная незнакомая женщина с усиками, пившая с нами чай, оказалась сиделкой. О Марье Алексеевне, о ее здоровье говорилось мало, — да и где тут среди споров и речей на важные общественные темы! Хотя надо сказать, что таинственное присутствие чего-то, не совсем соответствующего жизни этого живого дома, — чувствовалось... или мне так казалось.

Очарователен розовый голенький бутуз в детской, на подушках. Его собирались купать, но он еще не хочет, капризничает; мать завертывает его в длинную пеленку, и, когда сказали, что «теперь можно в угловую», мы все вместе двигаемся к Марье Алексеевне.

Следующие десять минут были, — для меня, по крайней мере, — самыми замечательными минутами всего дня.

Угловая (очень большая) — комната, с четырьмя окнами, распахнутыми в сад, — в ровно-теплый, майский вечер юга. Не «светленькая», вроде других комнат, а полная тихим светом-сияньем, и полная цветов, белых, как она вся. И как узкая кроватка посредине, лишь изголовьем касающаяся стены; и как сама та, которая легко прислонилась к подушкам. Легкость, и — не матовая, а полупрозрачная, — белизна всего, что было здесь: цветов, постели, одежды, лица и рук сидящей на постели, — странное давали ощущение. Да, здесь было совсем «другое». И, главное, мы, в комнату вошедшие, были «другие», ей чужие, к ней неподходящие.

Я не помню, кто, собственно, присутствовал: Савинков, конечно, его жена с ребенком и еще кто-то... казалось, что народу много. Я не помню и разговора. Я помню тихий голос девушки на постели, прозрачно-легкую, как у цветов, белизну лица, а главное, главное — помню лица всех «других». Эти другие, от плотной сиделки с усиками, до розового толстенького ребенка на руках матери, казались почти страшными: такие они были

тяжелые, прямо на взгляд тяжелые, с густо-темными лицами, точно слишком красная, тяжелая кровь наполняла их тела.

Таким же тяжелым ощущало себя и мое тело, таким же темным показалось мне и мое собственное лицо, мелькнувшее в каминном зеркале.

Обитатели виллы, постоянно бывающие в комнате, ничего этого, вероятно, не замечали. Но из нас кто-то сказал робко:

— Не слишком ли много цветов?

— Нет, ведь не пахучие, это не вредно, а Марья Алексеевна любит, — произнесла сиделка, точно протрубила, и весело повела плотными плечами.

Но цветы пахли, — только прозрачно и легко, как все было прозрачно и легко, что принадлежало этой комнате. Пахли — «по-нездешнему».

Ведь и сама девушка, — сказать, что она была красива, или некрасива, похожа на «Мадонну», или не похожа, — все будет не то. Она была уже не здесь, уже «нездешняя», — и только. И этого не чувствовать было нельзя: и это забыть — невозможно.

...Есть, нам обещают, где-то лучший край:
Вечно-молодая, там весна живет...

За длинным столом, в сводчатой нижней столовой, за обедом (сколько еще народу к обеду явилось!) ряд трапезующих, жующих и говорящих, — все еще казался мне рядом тяжелых и темных (непроницаемых) тел. Лицо Савинкова, его выдающиеся скулы имели кирпичный оттенок.

Было шумно. Кажется, между присутствующими эс-деками (с Плехановым во главе) и эс-эрами шла речь о том, нельзя ли создать «единую социалистическую партию». Савинков пожимал плечами: «Если они договорятся в земельном вопросе, — в земельном вопросе я ничего не понимаю, — может быть, и создадут такую партию...».

День кончился. Черная, нежная, южная ночь. Автомобиль мчит нас домой, — во Францию.

Еще несколько слов — о другом дне, летнем, почти осеннем, но солнечном, жарком. В глубине России, в глуши Новгородской губернии. Досчатая комната нашей маленькой желтой дачки. Мы сидим с неожиданным гостем, — раньше мы его никогда не видали. Этот небольшой, еще не старый человек в синем кафтане, в картузе, явился к нам на мужицкой двуколеске. Он привез нам письмо из Италии, где только что был, а теперь пробирается опять к себе домой, за Волгу. Это — отец Марьи Алексеевны. Марья Алексеевна скончалась. Там, в Сан-Ремо, и схоронили... пока. Отец возьмет ее домой, когда можно будет.

Когда можно будет!

ПОЧЕМУ НАМ СКУЧНО?

Это доклад (несколько сокращенный), который был прочитан З. Н. Гиппиус в парижском кружке «Зеленая Лампа». Хотя большинство его участников — писатели, кружок «литературным» назвать нельзя: в «Зеленой Лампе» на обсуждение ставятся одинаково и вопросы политики, и философии, и литературы, и религии, при единственном условии — серьезного отношения к предмету.

Каково в данный момент, внутреннее состояние русской эмиграции?

Определить его, ответить на этот вопрос с точностью, я не берусь. Можно лишь, по некоторым признакам догадываясь, делать те или другие предположения. Общие законы одни и те же, и для отдельной личности, и для коллектива. Так же тесно (и непонятно) переплетена жизнь внутренняя с внешней у одного человека, как и у коллектива. Но коллектив, даже суженный и ограниченный, большая сложность.

О таком же коллективе, как эмиграция, очень связанном (национальностью и судьбой), но очень, притом, разнородном, говорить надо с особой осторожностью в обобщениях.

Мой доклад озаглавлен: почему нам скучно? Но я отлично знаю, что мне легко возразить. Одни скажут: «Да с чего вы взяли? Нам вовсе не скучно!». Другие: «Не скучно, — а ужасно! Есть ли время скучать и заниматься разбором настроений! Нам вздохнуть некогда, мы погибаем над непосильной работой, у нас куска хлеба нет!». И, наконец, третьи: «Размышлять о том, *почему* большинство эмиграции находится в состоянии тоски, или скуки, — странно; после всего пережитого, потеряв родину, на чужой земле — в каком другом внутреннем состоянии может она быть?».

Первым отвечать нечего: им весело — тем лучше. Остальные в определении внутреннего состояния эмиграции более или менее сходятся: «скучно», «тоскливо», «ужасно», — разница лишь в оттенках. Возможно, пожалуй, согласие и в том, что чем дальше, тем становится все «скучнее», «тоскливее» и «ужаснее».

Указанная причина, — т. е. *самый факт эмиграции*, — причина серьезная. Никто ее не думает отрицать. Попробуем, однако, исследовать, вся ли тут причина? Раз уж мы занялись, на полчаса, такими вещами, как самоощущение, душевное состояние, внутренняя сторона жизни, — то посмотрим, нет ли также и внутренних причин, почему нам живется все скучнее, тоскливее и ужаснее?

Есть одно слово, которое я не произнесу прежде, чем не поясню, как его в данном случае надо понимать. Иначе оно сразу поймется превратно, и уж тогда будет труднее.

Представьте себе, что вы переходите парижскую улицу и видите в двух шагах автомобиль. Вы, конечно, посторонитесь или поторопитесь, то есть сделаете то, что должны сделать. Если не сделаете, будет «ужасно».

Представьте себе, что вы не пошли туда, куда вас звали, куда обещали и нужно было пойти, остались дома; или, что вы, долго слушая, как бранят в вашем присутствии кого-нибудь, кого вы очень любите, ни слова не сказали в его защиту; не будет ли вам, после таких случаев, довольно скучно и тоскливо?

То же и относительно коллективов: армия, *не* идущая туда куда сейчас ей пойти *дóлжно*: любое общество, деловое или какое угодно, не совершающее именно того, что требует от него данный момент, — все эти не действия, или не те действия, тотчас имеют свои последствия; внешние, а нет — так внутренние: кладут соответственный отпечаток на внутреннее состояние. Никто не принуждает человека — или коллектив — исполнять то, что им при известных обстоятельствах времени, следует исполнять. Никто не наказывает за неисполнение. Но само неисполнение разрушает жизнь, как исполнение, тоже само, ее поддерживает и сохраняет.

Теперь, я думаю, пора сказать, что делание своего дела называется исполнением *долга*. Мы привыкли, услышав слово «долг», ждать нравоучения. Но человек и худых нравов, и добрых, одинаково посторонится или поторопится, видя наезжающий автомобиль, т. е. сделает то, что в данную минуту должен. Это грубый пример; ничего нет легче, как найти сотни более тонких. И везде останется то же главное положение: мы сами хотим нашего должного, сами стремимся к *исполнению долга*.

Ну, а если мы его не знаем, не понимаем, не видим, где он?

Это случается. Но редко. Не будет парадоксом, если я скажу, что большинство — свой долг знает. Одни видят ясно, другие полунащупывают или даже инстинктивно чувствуют, но всякий, в какой-то мере, долг этот знает. Самообманы поверхностны и преходящи. Оттого и здесь, если что-нибудь полезно, то вовсе не нравоучения, и даже не учение, а лишь какая-то взаимная помощь: кто видит яснее — помогает временно невидящему; в следующий момент он, возможно, остережет первого.

Еще одно, общее, последнее возражение: а что, если долг свой и видишь, и хочешь исполнить, но исполнить нет сил?

Я не знаю. Совершенно так же не знаю, как никто не знает, есть у него на что-нибудь силы, или нет; никогда не знает меры своих сил (да и вообще собственной меры). Но нет сомнения, что каждому дано ровно столько сил, сколько нужно для ис-

полнения его долга, его собственного дела, в его рост. Кто занимается предварительным взвешиванием своей силы, тот рискует остаться с этим запасом, никуда его не приложив.

Сузимся, однако. Конкретизируем наши общие положения.

Если нам, эмигрантам, в отдельности, и русской эмиграции в целом (с исключениями) — скучно, тоскливо или ужасно, то кроме других причин, не потому и это, что ни в отдельности, ни в целом, мы своего долга не исполняем?

Я не говорю сейчас о долгах чисто личных, но лишь о долге каждого из нас как русского эмигранта.

И о долге эмиграции — в целом.

Долги эти все-таки исполняются, — потому что мы живы; но, должно быть, не в достаточной мере, раз нам все «скучнее», или «ужаснее».

Долг в эмиграции в ее целом — очень прост: *быть эмиграцией*. Правда, бытие это обусловлено известным самосознанием и затем целым рядом соответственных действий; но и они тоже не очень сложны. Чтобы русской эмиграции *быть*, ей надо осознать себя, или хоть почувствовать (этого довольно) частью России, находящейся в новых, своих собственных условиях, в которых перед ней ставятся новые, свои, задачи. И мало того: принять эти условия и эти задачи добровольно, т. е. как если бы выбор между двумя судьбами, двумя потерями (земли или свободы) эмиграция сделала сама, в каждый момент за него отвечая. Последняя цель у обеих частей России, и русской, и зарубежной, — одна: соединение свободы и родины. Но пути, но действия, направленные к этой цели, не только различны, а по характеру и внутреннему смыслу могут иногда казаться противоположными.

Я не стану сейчас касаться той первичной, нелегкой, но необходимой внешней задачи, которая предлежит эмиграции на пути конкретного утверждения своего бытия. Эта задача, — упорядочение хаоса материальной жизни, — тоже долг; от его-то неисполнения, как раз, и получается, что иным не «скучно», — а «ужасно». Но это дело медленное и попутное: в зави-

симости от того, как станет эмиграция справляться со своим долгом в других отношениях, — будет делаться и оно.

Мы начали разговор о внутренней стороне нашей жизни: будем продолжать.

Итак, для исполнения своего долга эмиграции нужно только *быть эмиграцией*. Это бытие определяется немногими, но резкими и твердыми, чертами. Теми же чертами должна быть отмечена и вся ее деятельность.

Сделанный выбор (мы уже говорили, что он утверждается, как сделанный вольно), — выбор свободы ценою потери земли, — обязывает. Его нужно оправдать, т. е. им-то и послужить общей цели. У России русской нет как раз того, что имеем мы, и потому наш долг — делать, за нее, что не может она, но можем мы. Самый характер долга нашего иной, — иного *духа*. Деятельность русской эмиграции лежит в другом плане. Если Россия русская, с таким мужеством идя по пути жертвенного терпения, исполняет предначертанное ей, то долг России безземной, но свободной, не на этом пути, не под знаком мученичества; ее долг — нечто требующее не меньшего мужества: действительность в плане и в духе *пророческом*.

Да, пророческом, понимая это не грубо, не плоско, не слепо, не так, что вся эмиграция должна стать, облекшись во вретища, толпой пророков. Действовать в этом плане, это — сегодня, для нас, свободных русских, — значит только быть людьми, знающими твердо, чего они хотят и чего они не хотят, открыто, всегда, так говорящими и так действующими. Это значит понимать душу оставшихся в России, понимать их долг и подвиг, и понимать свой. Это значит понимать, что долг обеих частей России неодинаков и что так оно останется, пока не будет достигнута общая, последняя, цель — соединение земли и свободы.

Обманываться нечего: далеко еще нам до всего этого: недаром же мы болтаем, скучаем, тоскуем или ужасаемся. И плохой знак, что чем дальше, тем болтовня и скука даже как будто увеличиваются. Эмиграция — коллектив, чтобы задача коллектива исполнялась, необходимо, чтобы ее понимали, чув-

ствовали, принимали на себя и отдельные личности, поскольку они к нему примыкают. Видим ли мы этих понимающих и действующих? Они есть, я не спорю, а действующих даже немало. Но увы, опять надо сказать правду: стремясь как будто к исполнению долга, они видели долг не *свой*: они шли по линии жертвенности, молчания и терпения. Там, в России, эта линия свята: ведь она — под знаком мученичества. Здесь — это просто линия наименьшего сопротивления.

Да, у русского человека здешнего, у русского эмигранта, прямой долг есть. И какой бы, кто бы этот свободный человек ни был — долг его лежит неизменно в плане свободы, т. е. в плане, в духе «пророческом». Это не требует даров «пророка», или вообще каких-нибудь особенных даров. Довольно быть не в тюрьме, быть русским и быть *человеком*, чтобы в свою меру этот долг исполнить.

Впрочем, я забываю главное: не довольно, если чувства-то долга, вместе с каким-то его пониманием, — нет; если оно постепенно сникло, стерлось, разложилось или погрузилось в летаргию. И вот что еще замечательно, — когда это с кем-нибудь случается, — из нас эмигрантов, и в наше время, — то, по мере исчезания «чувства долга», исчезают, стираются в человеке и другие его «человеческие» чувства и даже понимания. Уровень их незаметно понижается. То, что прежде имело значение, — теряет его. То, что прежде было «нельзя» (не по запрещению, а по собственному выбору), делается «можно», просто по равнодушию: почему же нельзя?

Политик запутывается в своей политике, повторяет какие-то старые звуки, оставшиеся в ушах, ко времени не идущие; деловой человек забывает свои обещанья; словесник не уважает слов.

Внутренняя сторона нашей жизни требует известной гармонии. Узор души не случаен, линии пересекаются и сближаются по своему закону. Линия «долга» — очень важная линия. Сотрется она — глядишь, побледнела соседняя линия «чести», за ней и третья какая-нибудь человеческая...

Но я не хочу кончать этой безотрадной картиной. Тем более, что в сущности, картина не так и безотрадна. Мы все-таки живы, и все-таки помним, что мы эмигранты, значит сквозь скуку, тоску и ужас, долг свой кое-как исполняем. Даже веселящиеся — пока не все безнадежны. Самые безнадежные (они правда есть) это те, кто не только долг эмиграции отрицают, но даже отрицают вообще эмиграцию: она для них пыль, quantité négligeable. С этими можно бы и не считаться, они ведь уж не живы. Но вред они, к сожалению, приносить еще могут...

Скажу в заключение, что реальные события последнего времени, внешняя актуальность наша, чрезвычайно благоприятны для эмиграции, в смысле ее внутреннего просветления. В некоторых кругах, и очень важных (не буду уточнять), уже начинает пониматься главная ценность наша, которой мы обладаем, — наша свобода, и те, кто действовал и шел чужим путем — под знаком терпения, послушания, покорной жертвенности, уже как будто разумеют, что не на этом пути наше общее оправдание перед мучениками России.

И пусть — повторю — каждый из нас не заботится, большими или малыми дарами он обладает, много у него сил или мало. Дар быть человеком и силы становиться им — есть у всякого. А если он русский, если он приобрел свободу, потеряв Россию, — пусть же помнит о своем долге перед нею и служит Ей своим имением: свободным действием, свободным голосом, всяким свободным свидетельством о человеческой и Божьей правде.

«О ШЕСТОМ ЧУВСТВЕ»

В «Зеленой Лампе», после доклада Георгия Иванова «О шестом чувстве» (Символизм)

(15 апреля 1930 г.)

Сегодняшний доклад больше связан с прошлым, чем это кажется. Кстати, г. Иванов и повторил мои слова насчет «скуки». Связь эту мы увидим, а раньше я хочу отметить, что вышло из прошлого доклада, — моего.

Если не понят был даже вопрос поставленный, в этом я виню себя. Не целиком, а отчасти. Когда выдается случай говорить свободно, — редкий случай! — надо уж говорить без намеков и умолчаний, а прямо.

Мне-то казалось, все же, что и так понять главное — не большая хитрость: есть у эмигранта, между прочими личными долгами, долг специально эмигрантский. Он определялся; но мне даже думалось, что и без моих определений его всякий сам знает.

Однако посмотрите: вот фельетон «О долге русск. эмигр.» Ю. Сазоновой, в «П. Н.». Сотрудница не называет, конечно, «Зел. Лампы»: о ней запрещено упоминать, это о-во слишком свободное, а потому владельцы зарубежной прессы считают его вредным. Г-жа Сазонова только говорит, что в некоем собрании некий оратор с высоты трибуны обличал трудящуюся эмиграцию в неисполнении долга, и что хотя для обличителя (все с высоты трибуны) рабочая средняя масса эмиграции кажется пылью, — эта бедная «пыль», с «утомленными лицами» покорно слушала обличения и даже аплодировала.

Грустная картина! Но не подозревать же г-жу Сазонову, что она сознательно хочет с больной головы свалить на здоровую? Просто, сотрудница «П. Н.» не поняла еще, что такое «Зел. Лампа», и не уловила смысла доклада. Тут-то я себя и виню. Если не одна г-жа Сазонова не поняла, то не лишним будет поставить несколько точек на нескольких i.

Начать с того, что «утомленных лиц» мы в зале, прошлый раз, много не заметили. Это жаль, но не в том дело. Сколько бы их, лиц «трудовой» эмиграции, ни было, наверно ни один не понял меня так, как поняла сотрудница «Посл. Нов.». Большинство из них, в тяжкой работе и молчании проводящих жизнь, отлично знает все положение. Ведь давно известно, что между этим слоем «настоящей» эмиграции и ее «верхами» — образовалась пропасть. Наша «элита», политико-партийная интеллигенция, в руках которой находится и зарубежная пресса, — совершенно оторвалась от эмигрантского «народа». Это

оттуда, с этих самых «верхов» (а не с высоты нашей эстрады) услышали мы впервые определение зарубежного русского «народа», как пыль, куча обывательщины. Это верхи, наша элита не исполняет своего долга, занимаясь политической кружковщиной, и ничем больше. Не только не исполняет, но и другим мешает. Попробуйте-ка вступиться за рядовую массу эмиграции, ну, хоть поговорить, как бы добыть ей за рубежом более «человеческую» жизнь: вам этого не позволят господа прессы, та же эмигрантская элита. Допускаются лишь объявления о благотворительных балах, да воззвания к «добрым людям», — когда уж поздно, когда уж и добрые благодетели, если найдутся, разве на гроб соберут. Статья известного экономиста Кочаровского по вопросу улучшения жизни трудящегося слоя эмиграции два года валялась по всем редакциям. И протекция не помогла. А когда та же статья вышла отдельной брошюрой (с предисловием небезызвестного Бунакова) — о ней решено было в печати не упоминать: это, мол, «бессмысленные мечтанья»!

Да, секрет Полишинеля — пренебрежительное, если не преступное, отношение зарубежных верхов к зарубежному русскому народу. Народ должен молчать и покоряться. Нет области, в которой он мог бы поднять свой голос. Даже в области религиозной. И на нее посягают политические «вожди». Они решили, что нужна «лояльность». Московский митр. Сергий «лоялен». Пусть-ка эмиграция скажет слово против него! Кто-то попробовал было, но политики пришли в бешенство и неугодный рот закрыли.

Так вот с ними-то, с политиканствующими «вождями» и владыками, с их самодовольным лжепатриотизмом, с их несчастным пренебрежением к «народу» русскому — мы здесь и боремся. Их-то и «обличал» мой доклад. Слишком скрыто? Вот, теперь яснее.

Это не все, положим. Есть еще слой «культурников», «искусников», которые и знать себя эмигрантами не желают. Какой еще для них эмигрантский долг? Но другим они исполнять

его не мешают, не могут, и за то спасибо. Обличать — слишком громкое для них слово, да и большинство — невинные, и в русском, и во французском смысле «les innocents». Искренние души о сю пору думают: революция, эмиграция, большевики (особенно большевики!) — это все политика: культура, искусство — аполитичны: мы искусники, значит, мы аэмигранты. Если это писатели, и если удастся им добиться созданья какого-нибудь собственного органа, то они прежде всего, и обязательно, заявляют, что он «аполитичен».

Обыкновенно же такие писатели пристраиваются к одной из политических газет, безразлично к которой. И газетам все равно, если «вечность и красота» — аполитичны: и аэмигрантам нашим легко писать в любой.

* * *

Странный доклад... Казалось, литературный. Поэт говорит о поэтах, о старом движении, о символизме. Но при чем тут какое-то «шестое чувство»? Поэзия вообще дело возвышенное; но тут речь будто и не об этой обычной возвышенности. Мы знаем талантливейших писателей, даже современных, которые делают чудеса искусства при пяти чувствах, а бредни о шестом просто считают дорогой в желтый дом.

Но говорит ли Г. Иванов об «искусстве»? Да, только он разрывает его заколдованный круг. Говорит не о талантливых произведениях символистов, но именно о символизме, с его временем, с его атмосферой. Хорошо зная и то время, и эту атмосферу, я изумляюсь, как мог незнающий Иванов столь проникновенно понять «несказанную» суть тогдашнего момента? По какой интуиции угадал он самое главное в явлении символизма, его центральную горящую точку? Он называет ее «поисками шестого чувства». Да, и я только подчеркну, от себя, что поиски эти были не литературные, а человеческие.

Движение символизма, — литературное, погибло. И прав Иванов: нельзя, не надо к нему возвращаться. Вообще нельзя

возвращаться назад: возвращение Вейнингер даже называет безнравственным. Но прав докладчик и далее: если не попадет что-то от символизма и в нашу литературу (как с тех пор не попадало), и в нашу жизнь вообще, то наступит наконец, час, когда нам останется только «охнуть и лопнуть». Это катастрофа, и очень выразительно предсказанная. Ее вероятность, ее возможность, смутно уже чувствуется. Ее «отсвет» уже как бы лежит на всех наших делах. Везде, на литературе он только заметнее. И кто знает, не придется ли нам открыть еще один новый долг наш не простой эмигрантский, а пошире, потруднее и неопределеннее: долг схватиться за конец оборванной ниточки, одной-единственной ниточки в старом «символизме», и попробовать потянуть ее же — дальше. Она дальше будет новая, но будет та же. Она-то не погибла.

Г. Иванов сам указывает на неопределенность своего доклада. Но и я говорю сейчас неопределенно. Я утверждаю, что иначе говорить о глубокой сути символизма в данное время невозможно. Она непередаваема. Гениальной интуицией можно что-то узнать, не зная. Но слова, новые о старом и новом, найдутся тогда, когда найдется конец оборванной нитки. До тех пор... повторим любимое слово Блока: это несказанно.

Я, впрочем, попытаюсь сделать к докладу Иванова одно, очень маленькое, добавление. Только уж не в порядке «несказанного», а перейдя в порядок обычных пониманий. Моя добавка будет почти внешней, временно-пространственной, исторической отчасти.

Однажды, 20 лет тому назад, в обстановке довольно необычайной, были произнесены такие слова:

«Положение ваше (в России) в настоящее время сложно и по-видимому безысходно. А что, если скоро придется всем вступить в борьбу с силами мировыми, на арене истории? В сознании многих брезжит новое предчувствие: всеобщая историческая гибель открывается с возрастающей грозной ясностью. Искать высшей силы... Но как? Где? Пока неясно. И в этой неясности причина великого томления».

Мне сейчас некогда рассказывать, где и при каких обстоятельствах это было сказано. Достаточно отметить, что дело происходило в среде, не только связанной с символизмом и символистами, но даже прямо созданной ими. Остановимся только на содержании приведенных слов. И оно уже кое-что объяснит нам. Подчеркнет, во всяком случае, «великое томление», которое, в предчувствии великих катастроф, так обострило поиски «высшей силы».

Высшей силы? Или шестого чувства?

Теперь, рассматривая все это в исторической перспективе, я скажу так: начиная свои поиски, символизм не имел для них ни названий, ни определений. Разве только говорили: «чего нет на свете». Но для нас-то уж ясно, что и в этот первый период символизм искал «Высшей силы», хотя то и дело проваливался в хаос, в пошлость, ни в чем не отдавая себе отчета. Второй период наступил незаметно, сопутствуемый сложным процессом дифференциации. Это был, для некоторых, час сознания, что ищут они именно «высшей силы», и, что единственная человеческая высшая сила — это сила религиозная.

Любопытно: все исследователи «символизма» здесь-то и ставят точку. Никакого второго периода для них нет. Все, мол, распалось, движение кончилось, символисты разбрелись, кто куда, перестав и быть символистами: иные, забыв свое «новаторство», пошли вспять и докатились до обыкновенной глухой реакции (не забудем живое выражение: «Религия — есть реакция»).

Как бы то ни было — все сходились, что вот тогда-то — символизм кончился, на смену явились другие течения, акмеизм, футуризм и т. д.

Но в своем докладе Г. Иванов совсем по-новому подходит к символизму: поэтому я докладчику не возражаю, а лишь кое-что договариваю. Я утверждаю: символизм не кончился в момент сознания, что поиски «шестого чувства» или «высшей силы» должны быть направлены на область религии. Он не исчез, в самой сути своей, с завершением первого периода, безот-

четного, возвышенно хаотического, смятенного, и не там нужно искать кончик оборванной нитки. Той нитки, за которую следует нам схватиться, чтоб, в один прекрасный день, по слову докладчика, «не охнуть и не лопнуть».

ПОЭМА ЖИЗНИ

(Рассказ о правде)

Недавно в Париже был вечер поэтов — о поэтах. Ряд кратких докладов о Тютчеве, Пушкине, Лермонтове, Некрасове. Предполагалось, что я буду говорить о Блоке. Но мне пришло в голову, что о Блоке много слов сказано, много еще будет сказано, и ничего Блок не потеряет, если на этот раз им никто не займется: я же вспомню поэта, которого или не знают, или забыли. По крайней мере и двух слов памяти никто о нем не произнес.

Если «поэзия» — *только* стихи, если количеством и качеством стихов определяется «поэт», тогда, пожалуй, моему поэту среди таких имен, как Тютчев, Лермонтов, — не место. Но я-то думаю, что у человека, кроме его стихов, поэзией может быть и *жизнь*. Не то, что «интересная» жизнь, нет, но особым образом сложившаяся или сложенная, как поэма, с каким-то единством замысла. Она может быть непонятна (не всякая поэзия всем понятна), может нравиться или не нравиться, может остаться неизвестной... а все-таки это поэзия.

Мои слова памяти будут о стихотворце, мятежнике, работнике, страннике, священнике и мученике Леониде Семенове-Тянь-Шанском.

Книжки его стихов (1903—1904 гг.) у меня нет. Сохранилось только 5—6, небольшая лирическая драма и несколько статей, — все напечатанное в нашем тогдашнем журнале «Новый Путь», в Петербурге.

Знаю, можно найти эти стихи несовременными, усмотреть в них подражание Блоку (тогда еще непризнанному), а в дра-

ме – влияние Метерлинка. Но мне и тогда стихи юного поэта нравились, т. е. чем-то останавливали мое внимание, хотя эпоха была такая, что талантливейших молодых стихотворцев – хоть отбавляй. Между ними и Блок, тоже студент (старше Л. Семенова немного) и тоже около «Нового Пути», где печатал свои первые заветные стихи и первые рецензии. Но в стихах и писаниях Леонида Семенова было нечто, что его отличало: было *предотражение* всей его жизни, как она потом им оказалась сложенной. Двадцатилетний студент, конечно, этого не знал. А в стихах – *знал*. Говорил иногда о будущем в прошлом времени, как мог бы сказать через 15 лет.

Тонкий, очень стройный, очень красивый («даже до неприятности», – сказала о нем Поликсена Соловьева), с изящными манерами, – он вначале производил впечатление студента «белоподкладочника», избалованного барича. Он и при дальнейшем знакомстве оставался выдержанным, в меру веселым, умным собеседником, и так, будто ничего в нем другого и не было. Он был скрытен – особой скрытой скрытностью, которая в глаза не бросается, порой лишь безотчетно чувствуется. Из-за нее, вероятно, из-за того, что он никогда не говорил «по душам», – многие находили его «не симпатичным».

Он и о стихах своих не любил разговоров; да и всякий разговор вдвоем или не вдвоем, если он касался чего-нибудь более внутреннего, он отводил в сторону. Когда вопрос был слишком прям – с улыбкой отвечал: «Ну, этого я не скажу». Улыбка – самая простая и вид совсем не «таинственный».

Литературу любил очень, хорошо знал (он вообще был начитан и образован) и тонко понимал. Работая в журнале, помогая мне наряду со многими своими сверстниками, он с ними особенно не дружил. Кто были его друзья? Как-то, смеясь, сказал, что больше всего дружен с дедом (известным Семеновым-Тянь-Шанским).

А однажды попросил позволения привести ко мне Полякова (тоже поэта, но у нас неизвестного). Это был студент, – громадный, черный, костлявый и страшный. Говорил угрюмо

(Л. Семенов все время молчал). И в стихах этого Полякова было что-то страшное. И покончил он с собой, — очень скоро после нашего свиданья, — тоже как-то страшно: чуть ли не — застрелившись — выбросился из окошка.

Мы потом говорили с Л. Семеновым о самоубийстве. Подумалось спросить его: а вы, могли бы?.. Но он не ответил, да и зачем? В стихах его уже имелся ответ. Разве не ответ — две последние строчки в стихотворении «Свеча»?

Я пустынею робко бреду,
Я несу ей свечу восковую...
Ничего от пустыни не жду,
Ни на что не ропщу, не тоскую...

Поэт не знает, кем и зачем вручена ему «невинная» восковая свеча. Но —

...не мною она зажжена
И свечу погасить я не смею...

Образ горящей восковой свечи — его любимый, часто повторяемый. Другой такой же — «кони, их бешеный бег»:

Спасайся, кто может и хочет!
Но свят, кто в пути устоит:
Он алою кровью омочит
Священную пыль от копыт.

О стихотворении «Вера» (все того же, одного, периода) я скажу дальше.

* * *

По видимости, Л. Семенов был, в то время, занят исключительно литературой. Даже близко работая в журнале, не касался стороны «политики»: ничего в ней, по его словам, не понимал. О стороне «религии», довольно важной в «Нов. Пути», тоже не помню никаких с ним разговоров... Но поэты бывают

разные, и разные у них с поэзией отношения. У кого она вся в стихах — тому, конечно, без многого можно обойтись. Но если поэзия тонким туманом наполняет всю жизнь, — поэту некуда спастись ни от «политики», ни от «религии». Будет встреча!

Журнал закрылся, Л. Семенова мы стали видеть реже. Потом он, кажется, уехал. Говорили, будто опять в свое имение (в средней России). Он его очень любил, жил там балованным баричем.

Между тем, оказалось, что поэт вовсе не совершает одинокие верховые прогулки по лесам родного гнезда, но... сидит в одиночной тюрьме.

Когда его выпустили, и он пришел к нам, — он был все он же. Не в затянутом мундире, правда, а в черной тужурке, но все тот же молодой «поэт», и говорил так же, — умно, горячо, хотя по своему содержанию... о революции. Он уже был партийный революционер.

Еще несколько свиданий в разных местах, и, наконец, предпоследнее, — накануне манифеста 17 октября 1905 г. На другой день он уехал в Москву, где готовилось восстание.

Прошло несколько лет. Нас не было в России. А когда мы вернулись — Леонида Семенова не было в Петербурге. Он *ушел*. Не то, что из литературы, из революции, из семьи, где был баловнем: он вообще «ушел». Начал с нелегкого «искуса»: он сделался работником у беднейшего мужика той самой деревни, около которой лежало их имение. Пошел в батраки к *своему* мужику. Должно быть, так ему было нужно. Комедией здесь и не пахло. Его уже на второй год стали звать «Божьим человеком».

Многие, я думаю, слышали об одном «уходе», тоже из семьи и тоже из литературы, — об уходе Александра Добролюбова. Это было лет за 10, если не больше, до ухода Леонида Семенова. Мне довелось знать А. Добролюбова, видеть его еще декадентом-стихотворцем (только стихи у него были преплохие), а потом и «странником». Он являлся порою в СПБ, один или с «учениками». Сидели все на полу, «поникши», говорили тихо,

мало, на «ты» или «брат мой», ели в кухне манную кашу, затем исчезали. У «декадента»-Добролюбова были черные, немного рачьи, навыкате, глаза, взгляд напористый и жесткий. А глаз «странника» – не знаю: он их держал опущенными.

Два ухода — как будто одинаковые; но так разны оба человека, что и подобие лишь внешнее, не внутреннее. Это я утверждаю, несмотря на то, что даже существует известное жизненное переплетение между двумя «ушедшими», первым и вторым. Встречался ли когда-нибудь Л. Семенов со «странником» Добролюбовым — неизвестно. Кажется, нет. Но он любил сестру его, Марию Добролюбову. (Вряд ли и сама она хорошо знала брата, слишком была молода.)

Светлые косы вокруг головы, лицо неземной тихости и красоты. Настоящее лицо мадонны или идеальной русской революционерки (мне ее показывали в Рел.-Фил. Собраниях). Она и была революционерка. В тюрьме заболела туберкулезом. Вернулась домой, только чтобы умереть.

Вот эта «мадонна», эта Мария и вошла в жизнь Л. Семенова. И должно быть, любовь к ней и помогла как-то его жизни найти свое — не чужое, — предназначение.

* * *

Странника Леонида, «Божьего человека», мы видели — один раз. Это было во время войны. От юного студента, по внешности, уже не оставалось ничего. Широкоплечий, бородатый, «простой» человек в тяжелых сапогах, в какой-то чуйке поверх ситцевой рубахи. Пришел через кухню, но на полу не сидел, а за столом пил с нами чай. Просто чай, даже не горячую воду с леденцами, как толстовцы и чертковцы. Все в нем, теперешнем, было естественно, как в прежнем были естественны его изящные манеры.

Мы долго с ним разговаривали... о «вере», конечно. Тоже с большой естественностью, и почти не спорили. О чем спорить? Перед нами был не сектант, не толстовец, а тонкий, сдержан-

ный, глубоко верующий человек с большой волей, который сам делал свою жизнь.

Не странно ли все-таки? Пятнадцать лет тому назад он уже *знал*, — в студенческих стихах, — что все будет именно так. Вот стихи, где о будущем он говорит, как уже о свершившемся — стихи о «Вере»; ее —

...я ризами обвил
И кротко, с тихими мольбами,
Земле родимой возвратил...

но был «обет душе смущенной»,

Что ты подругой обновленной
Однажды явишься ко мне.
С тех пор прошел я путь тяжелый,
Скитался долго одинок,
И обходя чужие долы,
Из терний, — тихий и веселый —
Для встречи новой сплел венок.

Таким «веселым» он и сидел перед нами. Но путь был еще не кончен. И это он тоже знал — *тогда*, давно (как и теперь):

Сердце тихо, немятежное,
Все сбылось, чем жизнь ясна.
Что же медлить неизбежное?
Ночь и звездами темна.

Неизбежное не замедлило прийти.

В 1918 году, когда уже начались религиозные преследования, Леонид Семенов решил сделаться сельским священником (в средней полосе России в селе глухом и бедном).

Большевики его убили. В морозную, звездную декабрьскую ночь.

Свеча погасла. Не им зажжена была; его дело — лишь нести ее, хранить и сохранить огонь до предельного часа.

И это дело поэт исполнил. Поэму жизни своей дописал.

Париж

НАШЕ ПРЯМОЕ ДЕЛО

I

Мысль объединения эмиграции – не новая мысль. Но в той форме, в какой она возникла ныне и быстро завоевала умы, — она, пожалуй, и нова.

Все прежние попытки объединить хотя бы часть эмиграции, – были ли они призывами к единому «фронту», звались ли иначе, – одинаково не удавались. Это можно понять: во всех случаях цели подобных объединений не касались эмиграции как таковой; она бралась как средство, или орудие; целью же всегда была территориальная Россия.

Ошибка исходила из первоначально ошибочного взгляда на эмиграцию. Было принято думать, что русская эмиграция – подобна всем прежним эмиграциям, отличаясь от них разве количественно; что состоит она, в меньшинстве, из сознательных политических деятелей, громадное же большинство, главная масса, просто обычная толпа беженцев, годная лишь для выжидательного сидения на чемоданах; обывательская пыль, куча нищих... о которых, конечно, заботливость следует проявлять, печатая воззвания «к добрым людям», устраивая благотворительные сборы или даже комитеты.

При таком взгляде «сознательным» верхам естественно оставалось заняться вплотную восстановлением (с коррективами) своих политических группировок, из которых каждая, если мыслила какое-нибудь «объединение», то под своим политическим флагом. Все взоры были устремлены на далекую Россию территориальную, поверх здешней «обывательской» массы. Отвлекали от нее, занимая время и, постоянные споры между отдельными политическими группировками. В эмигрантской прессе, группировки эти обслуживающей, не хватало, конечно, и места для чего-нибудь, прямо касающегося зарубежной Руси.

Зарубежная Русь! Как случилось, однако, что это имя не вызывает больше ни улыбки, ни недоумения? Какими путями,

откуда, явилось сознание, что русская эмиграция вовсе не «людская пыль», беспомощная толпа, обреченная жизнь со дня на день чужими подачками, что она — нечто совсем другое?

Я думаю, сознание это незаметно выросло из самой жизни.

II

Русская эмиграция — явление, которому близкого примера в истории мы не знаем. Напрасно сравнивать ее даже с «еврейским рассеянием». Но одно есть у них общее: «исход» евреев был исходом *народа*; русские, ушедшие из своей земли, тоже есть *народ*.

Так именно должны они называться и так рассматриваться.

Многомиллионная Русь на своей земле, и миллионная Русь на чужой, — та же Русь, как и та же будет океанская вода, сколько ее ни зачерпнуть. Русский народ, весь, поставлен катастрофой в новые для него условия: одинаково новые и для российского, и для зарубежного народа, только по-различному новые; и, хотя одинаково тяжелые, но тоже по-различному. В этой черте, — полной, правда, глубокого значения (мы скажем о ней дальше), — и все разделение.

Сколько бы других мы искусственно ни придумывали, чтобы оправдать нашу «патриотическую» устремленность к России российской при невнимании к России зарубежной, — мы не разорвем единого народа: он связан на таких глубинах, и таким множеством нитей, что когда иные рвутся, даже очень важные (связь географическая, государственная и т. п.), — единство остается.

Главное, что делает русскую «эмиграцию» непохожей на все бывшие эмиграции, это *линия*, по которой произошел физический раскол России, — откол зарубежной от российской. Линия этого откола не *поперечная*, как бывало в истории, когда откалывалась верхушка народного коллектива, но *продольная*, благодаря чему отколовшийся кусок заключает в себе не те или другие слои, не те или другие элементы народной жизни, но *все*, сверху донизу.

Опрокинутая катастрофой Россия — одна и та же Россия, *по составу своему*, как на родине, так и за рубежом: родовая знать, государственные и другие служилые люди, люди торговые, мелкая и крупная буржуазия, духовенство, интеллигенция в разнообразных областях ее деятельности — политической, культурной, научной, технической и т. д., армия (от высших до низших чинов), народ трудовой (от станка и от земли), — представители всех классов, сословий, положений и состояний, даже всех трех (или четырех) поколений — в русской эмиграции налицо.

Качественно — одна и та же «всенародная Русь» и на родной земле, и за рубежом.

Катастрофа именно опрокинула всю Россию. Та, опрокинутая в зарубежье, естественно очутилась, с самого начала (как и российская), в состоянии некоего хаоса, в беспорядке всеобщих перемещений. Не это могло, конечно, лишить ее «народного» облика, — лишить жизни. Надо было только приняться за какую-то перестройку, и перестройка, по отдельности, началась. Почти каждый русский, по социальному положению, — «бывший». Но «бывшим» по-человечеству он себя не хочет признать; он ищет, ни перед каким трудом не останавливаясь, себя «настоящего»; и, в новых условиях, находит — тоже нового, конечно. Жизнеупорность громадного большинства эмигрантов, с этой стороны, доказана.

Но вот, наконец, пришло время, когда сам собою явился и стал на очередь вопрос уже не о перестройке жизни отдельных зарубежников, но о жизни зарубежной России в целом; о возможно-гармоническом строении *всего миллионного народа.*

Полусознательно, просто по стихийному устремлению, подготовка к этой задаче уже шла и раньше. Подготовкой были постоянно возникавшие объединения на конкретных началах: деловые, профессиональные и другие союзы, всякие учреждения, все, что соединяет людей для реальной работы *сообща.* Постепенно отсюда вырастало и сознание необходимости утвердить, оформить как-то, бытие *общее.*

Пусть это еще не та степень сознательности, которая будет у эмиграции завтра. Достаточно и того, что сегодня она понимает: необходимо сложиться в один организм, стать фактически, реально, одним целым.

Ясно, что в данном случае речь может идти лишь о том *первом* объединении, на почве которого уже создаются все другие, т. е. объединении социально-экономическом. Да не одно ли оно, *как всеобщее*, и возможно при «народном» характере зарубежной Руси? Можно ли связать «народ» какой-нибудь одной умозрительной нитью? Даже средствами московской деспотии, перманентного кровавого насилия над телом и душой народа, — достигается лишь обманная видимость такой связи. Народ есть сложнейший организм; одного, правда, духа, но дух этот словесным определениям не поддается и в одной какой-нибудь формуле (хотя бы политической) никогда не выльется. Да чтобы расти внутренно, народу вовсе и не нужно терять свою сложность; но ему нужно *быть*, т. е. существовать, прежде всего, как организм, в социально-экономических условиях.

Вопрос о таком именно объединении, о всенародном Зарубежном Союзе на началах социально-экономических, и стоит сейчас на очереди.

III

Возражения, — все оттуда же, из «политических» кругов — еще не умолкли. Содействие такому объединению, упрочению чисто материальной жизни эмиграции, не есть ли, говорят нам, содействие просто «обывательскому благополучию?». А оно заставит эмиграцию окончательно забыть всякую «политику» (т. е. смысл своего существования) и ускорит полный ее отрыв от России...

Такие возражения одинаково свойственны самым разным политическим кругам: и тем, где на эмиграцию совсем не надеются, считая нормой для нее пассивное ожидание впуска в Россию; и другим, где мечтают, о создании объединенных

«фронтов» для какой-то прямой деятельности, прямой борьбы с Москвой... из-за далекого рубежа.

Что ж, возражения эти имели бы, пожалуй, смысл, если бы... если бы только русская эмиграция была не тем, что она, в действительности, есть. И если бы, поэтому, борьба ее за свою жизнь не была борьбой и за жизнь России. Если бы дело зарубежного русского строительства не было, в то же самое время, и делом *в России — делом России российской.*

Почему это так, почему зарубежье, выполняя свою задачу, работает на Россию, — не раз уж было сказано. Но пока есть не услышавшие, нужно, должно быть, повторяться.

Зарубежная Русь, говорит Кочаровский, должна сознать свое *посланничество.*

Что это значит?

Мне припоминается, каким недоумением были встречены — несколько лет тому назад, на диспуте об эмиграции, — слова одного из ее защитников. Когда-то, сказал он, Петр, хозяин земли русской, посылал русских людей в Европу с твердым наказом не возвращаться, пока не научатся они делу, не наберутся в чужих землях нового ума-разума, «себе *и родине* на пользу». А что, если какой-то Хозяин и теперь послал сотни тысяч русских людей в чужие страны для того же, с тем же наказом, и не возвратит их, пока они дела, за каким посланы, не сделают, новой науке не научатся, — «себе и родине на пользу»?

В то время эта брошенная мысль ни до чьего сознания не дошла. Быть может, в образной или отвлеченной форме, нет ее и в теперешнем сознании эмиграции. Между тем, по существу, она чрезвычайно проста и реальна.

Когда Россия раскололась на зарубежную и российскую — обе части ее народа, и меньшая, и большая, оказались (как уже упомянуто) в абсолютно новых жизненных условиях. Одинаково новых, — и совершенно не схожих, различных по существу. Дорогой ценой, — потерей земли, — народ зарубежный приобретал человеческую «свободу». Российский, землю сохранивший, свободу потерял, и потерял в той степени, когда

материальная и духовная жизнь уже почти не имеет образа «человеческой» жизни.

Разность потерь, разность судеб двух частей одной России, не ставит ли перед обеими и разные задачи в единой борьбе — за бытие общее?

Россия-земля проходит страшное испытание. Она приобретает опыт, которого не будет знать зарубежная Русь. Но и ей, зарубежной, послано свое испытание, и свой опыт в нем должна она приобрести. Все, чему можно научиться, что можно создать, добыть трудом и волею, живя *в условиях свободы*, все это зарубежный русский народ должен понести в Россию. Лишь с таким имением нужен он родной земле... так же, как земля нужна — ему.

Давно ведь доказано, и в самом реальном порядке: куча нищих беженцев ни на что России не годна. При любых обстоятельствах, эта беспорядочная толпа только будет для нее лишней тяжестью. А нужное, — просто материально, жизненно нужное России при первом открытии тюремных дверей, — связь с миром, запас современных культурных и технических знаний, практических и организационных навыков, — все это возьмет она, увы, не от русских, а от чужих людей; возьмет, что принесут в Россию... иностранцы.

Но тут не все. Делая свое дело, зарубежная Русь работает не только для завтрашней России, но и для сегодняшней. Ведь недаром враги ее — московская деспотия — так хлопочут, так заняты «разложением эмиграции». В их прямых интересах, чтобы миллион непокорных русских, если уж нельзя его уничтожить, пребывал в состоянии распыленности, беженской беспомощности, немоты и бесправия. Они знают (и это-то им и нужно), что никакое государство, никакая современная страна, не будет считаться с текучей иноземной массой без голоса, без упора, без лика, не умеющей связать собственных интересов. Ей можно «благотворить»; но жизнь на «благодеяния» ведет постепенно к потере человеческого достоинства, да и благотворители утомляются.

Не меняют международного положения и те тысячи средних эмигрантов, которые пошли на труд и безмолвно несут тяжесть физической, часто сверхсильной работы на разных фабриках и заводах. Никому до них нет дела, ни своим, ни чужим: «Для этих мы "мтэки", наравне с чернокожими», — пишет рядовой рабочий (не «рабочий», конечно, а рядовой русский человек, когда-то не без «культурности»).

Если так еще есть — так не будет, когда эмиграция, социально скрепленная, построит свою жизнь на основах, понятных современному цивилизованному миру, — близких к его же собственным. Международное положение *такой* России (пусть внетерриториальной, но России) совершенно изменится: у нее будет лицо, у нее будет голос, — не считаться с ней будет нельзя.

Скажет ли кто-нибудь, что все это останется без влияния на внутрирусские дела, на сегодняшнее положение России русской? Нет, конечно. Работая над выполнением своей задачи, эмиграция, столь ненавистная кремлевской власти, — уже и сейчас работает для России.

Что касается страхов политических наших деятелей — как бы социальное и материальное «благополучие» эмиграции не повредило ее «политичности» и политике вообще, — то не знаю, стоит ли на этом и останавливаться. Странно ведь не сознавать, что не для «отказа» от политики, а для самой политики нужно, чтоб была эмиграция, крепко, стройно, *реально* спаянная. Странно не видеть, что колеса всех наших политических мельниц вертятся сейчас в пустоте, без малейшей воды. Река полноводная далеко, но для работы хватило бы и здешних ручьев, если устроит настоящую запруду.

Политика — или ежесекундная реальность, или ее вовсе нет. Политику нельзя «делать», не имея за собой никакой живой, конкретной, человеческой силы, материальной среды, известной опоры. Для зарубежных русских политических деятелей такой опорой могла бы стать зарубежная Русь. И необъясним отрыв нашего верхнего слоя от средней эмигрантской массы.

Что это, результат застарелого убеждения, что эмиграция — пыль? Пыль не может, конечно, быть ни силой, ни средой, питающей политику. Но уже не пыль — эмиграция, бытийно скрепленная, с живым телом, имеющим определенные очертания — зарубежная Россия *реализованная*. Такой, думать надо, ее скоро увидят все.

И тогда, быть может, реализуется и наша политика.

IV

Трудно сказать, что именно требует осуществления в первую очередь, какое из конкретных дел сейчас нужнее. Слишком много одинаково нужных, не терпящих промедления. Нужна гласность, широкое осведомление, а для этого — необходимо создание соответственного, всем доступного, печатного органа. Нужен, для работы по связи всех, уже существующих, деловых объединений, ряд съездов выборных представителей этих объединений. Не менее нужно и создание *новых* обществ и учреждений — кредитных, кооперативных, трудовых, благотворительных, просветительных и т. д., непременно доступных участию всей широкой массы эмиграции.

Практической стороны этих задач, условий их выполнения, более подробно касается, в своей статье, Кочаровский. Но подчеркнем следующее: крайне важно чтобы все работы велись координированно, и в соответствии с заранее выработанным и установленным планом *общей* организации.

Теоретически постройка такой организации должна происходить одновременно и сверху, и снизу. Но, учитывая сложившиеся обстоятельства, надо признать, что главная работа сейчас — это работа *снизу*. Появление, например, какого-нибудь нового, пусть даже общего, Комитета, удобного, может быть, для доставания денег у американцев, ничего не разрешит. Не говорю уж о том, что в деле русского объединения вопрос об иностранных деньгах вряд ли должен играть какую-нибудь роль; но в подобный Комитет, созданный явочным порядком,

сверху, всегда могут попасть люди, эмиграции неизвестные или известные своей деятельностью в других областях (политической, например); это даст повод к недоразумениям, и запутает дело самыми неприятными сложностями.

Задача спайки эмиграции в живое народное тело есть, прежде всего, задача самой эмиграции. Путь к решению — самодеятельность, материальная и культурная *взаимопомощь*. Коллективным усилием всего миллиона «беспризорных» должен быть создан *Всеобщий русский народный Союз.*

Очень возможно, что когда план общего построения этого Союза наметится, в нем увидят очертания какого-то небывалого «государства в государствах». Но слов бояться нечего. Да и хотя русская эмиграция сама, с известной стороны, — явление небывалое, построить государство без территории нельзя. Если же на дело своего объединения зарубежная Русь будет смотреть, как на дело общественное, и, создавая его, не станет чуждаться принципов демократического государственного построения, — худого тут нет, напротив: и эта наука может со временем пригодиться, пойти как зарубежной, так и всей Руси, «на пользу».

Твердо помнить надо самое главное: только в объединении сохранит зарубежный народ свою душу и тело; только в общем Союзе не страшны «эмиграции» всех состояний, всех поколений, — старого и нового, — никакие опасности; и первая из них самая страшная: не исполнить своего долга перед родиной.

Прибавить мне остается немногое.

Знаменательно, что за все годы нашего странничества ни одна мысль (или идея, или проект) не встречала такого живого, такого пламенного отклика в эмиграции, какой встречает ныне мысль объединения зарубежной Руси на новых началах, объединения жизненного, *социально-экономигеского*. И это при сопротивляющихся политических верхах, благодаря чему дело еще не могло получить надлежащей огласки.

Трудность открыто и широко поставить вопрос на общее обсуждение имеет много неприятных сторон: если, как в данном случае, вопрос слишком животрепещущий, он все равно продолжает обсуждаться в отдельных группах эмиграции, в отдельных «углах»; и там легко подвергается искажению его первоначальная линия. Мы знаем, например, что где-то уж был выдвинут план «обогащения»(!) эмиграции (да еще чуть ли не с привлечением к этой задаче иностранных капиталов!).

А что вопрос действительно животрепещущий, это хорошо знает всякий, кому удавалось публично его коснуться. Не только статьи, – краткой, в газету случайно проскользнувшей, заметки достаточно, чтобы посыпались отовсюду (частные, конечно) письма. Пишут их, в громадном большинстве, люди, у которых нет другой возможности высказаться, даже в деле так близко, прямо, кровно их касающемся.

Письма все разные: слишком разные – по биографии, возрасту, способностям, психологии, положению «бывшему» и настоящему, – авторы. Но удивительно: люди эти, между которыми, на первый взгляд, нет ничего общего, оказываются тесно соединенными... связанными одним и тем же *отношением* к данному вопросу. Конечно, человек малодушный – боится верить, мужественный – надеется; деловитый – предлагает свои проекты; умный – рассуждает; малопонимающий – просто радуется и кого-то благодарит; но решительно все *«хотят»*, *«готовы»* приложить и свои силы к делу, которое по чувству их, необманно обещает перемену судеб зарубежья.

Может быть, и мало толку в «готовности» того или другого. Слишком обессиливает «болото» (по выражению одного «чернорабочего», затурканного жизнью), куда попадает сверхсильно трудящийся, средний слой эмиграции. Но не беда. Если одна «мысль» о деле заставляет всколыхнуться «болото», соединяет самых несоединимых, то вправе ли мы сомневаться, что дело *начавшееся* привлечет к себе, постепенно, целую армию новых работников?

А дело уже началось, уже делается. Скоро и близорукие увидят, как жива и нерушима глубинная связь, связывающая всю народную зарубежную Россию.

Письмо, которое печатается (с разрешения автора) ниже, — один из «откликов» на вопрос о новом, всеобщем объединении зарубежья. Это письмо, помимо своей яркости, интересно во многих отношениях. Прежде всего: адресованное человеку не просто незнакомому, но абсолютно далекому, другого поколения, другого опыта, чуждому жизненно и профессионально, — мне, — письмо это может, однако, назваться как бы краткой *сводкой* того, что мною сказано выше, на этих страницах; или даже вообще всего, что когда-либо говорилось мною по поводу социально-экономического объединения эмиграции. Другим голосом, в других выражениях, но те же доводы приводит в пользу объединения автор письма, г. Четвериков; и в «распыленной» эмиграции видит ту же опасность: опасность как для зарубежной, так и для всей России... Тут снова убеждаемся мы, что на общей *правде*, касающейся общей родины, могут встретиться друг с другом русские люди самого разного склада, самых разных жизненных условий.

Мнение г. Четверикова о желательности и возможности спайки зарубежья на реальной почве особенно ценно потому, что это говорит человек практики; и человек, который, по условиям дела, многолетним трудом созданного (ныне разрушенного, конечно) имел близкое соприкосновение с народными слоями на всей российской территории, не выключая Сибири. Прибавлю, что он был (и остался в эмиграции) человеком «левых» убеждений.

Все это, и все вообще, что я знаю ныне о моем корреспонденте, совершенно не было мне известно в момент получения письма, — эмигрантского «отклика» на вопрос самый жгучий, какой перед всеми нами когда-либо вставал.

Это наш (и не только наш) вопрос «быть или не быть». А решение — дело всего русского зарубежного народа.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ [1]

I

Критики у нас нет. И, может быть, это хорошо. Сами критики не хотят критики. И, может быть, они правы. Не будем вдаваться в объяснения, почему и отчего. Слишком сложно и длинно. Лучше просто примем это как факт.

Но от размышлений о литературе отказаться нельзя, да и нет причины. Размышляя, мы не делаем никаких окончательных выводов; а если и делаем — то никому их насильно не навязываем. У соседа получаются другие? Это лишь значит, что у него другое построение, другая цепь мыслей.

Предметов, частных случаев и явлений, о которых приходится размышлять, — каждый день изобилие. Всякого рода, во всех областях, в литературной, как в других. Но свойство именно «размышления» таково, что, зацепившись за какую-нибудь частность, на ней не останавливаешься, а незаметно расширяешь круг, переходя к более общим, — по этому поводу, — соображениям.

Так, к поводом к сегодняшним моим литературным мыслям послужил только что вышедший роман И. А. Бунина «Истоки жизни» («Жизнь Арсеньева»). Пиши я критику — на этом произведении я бы сосредоточился, разобрался бы, как оно построено, отметил лучшие места, сделал цитаты и т. д. Но я только размышляю, а потому даю волю всем попутным мыслям, которые приходят в голову: о русском писателе Бунине вообще, о характере и силе его творчества в прошлом и настоящем, о месте этого исключительно одаренного художника в русской литературе... что, конечно, приведет меня и к некоторым мыслям о нашей литературе вообще. Да и мало ли к чему это еще может привести! Ведь литература любой страны и народа не существует же независимо, она вкраплена в историю и судьбу народа.

Но так далеко я постараюсь не забираться.

«Истоки жизни»... Обаяние бунинского письма, чуть не гипнотическое его действие, испытал на себе всякий. В новом романе его не меньше, чем во всех прежних. Пленяет ли Бунин воображенье читателя? Или сердце? Нет; он просто «держит» человека, как его держит его собственная плоть и плоть окружающего мира. Силой словесной изобразительности Бунин подчас делает мировую материю – *ощутимой*. Это было бы невозможно, если бы, под словесными способностями изображать, не лежало у Бунина особо повышенное ощущение именно плоти мира, материи мира. Пятичувственным восприятием наше отношение к миру, к жизни, обыкновенно, не исчерпывается. Но если эти пять чувств находятся в чрезвычайном обострении и развитии, то, пожалуй, для каких-нибудь сверхчувственных ощущений уже не будет и места. Они очень могут заполнить творчество... а иногда и заполнить самого человека.

Конечно, то, что видит, чувствует, осязает, слышит и обоняет Бунин, – и с чудесной точностью передает, – подлинная жизненность. Прав и сам он, и читатели, определяя его творчество как «жизненное». Но правы и те, кто, не отрицая жизненность Бунина, ищут еще какого-то плюса, какой-то прибавки к своему отношению к жизни; и, если имеют склонность и способность к творчеству, ищут форм, чтобы его, это творчество, воплотить.

Такие, и подобные, поиски – вечны; они всегда были, во всех областях жизни, и всегда будут: это – закон *движения*. Бесполезно, не правда ли, с ним не считаться?

Во всех областях... но так как я начал размышления о литературе, да еще о русской, то к ней (не забыв в свое время Бунина) и вернемся. Тем более, что «державное течение» и этой реки тоже «покорно общему закону».

II

Что, собственно, случилось с русской литературой в конце прошлого столетия? По внешности – как будто нечто резкое, необычное; но по существу – ничего такого, что не подготов-

лялось бы и тихо не совершалось и в более ранние годы XIX века. В течении своем всякая река может набежать на порог. И тогда начинает бурлить, прыгать, даже разбиваться на рукава... Эти рукава, правда, уже перестают течь, но отбившись от главного русла, образуют тихие заводи, иногда целые озера; а река, после пенистых кипений и брызг, находит коренное русло и продолжает свой путь.

Конец столетия и был таким порожистым моментом для русской литературы.

Если зарисовать кратко, говорить по учебнику (воображаемому) — картина известна: более крупные, старые писатели сошли со сцены, или стояли на краю; общая же литература незаметно начинала принимать какие-то сероватые тона. Не потому, что больших талантов среди признаваемых писателей там не оказалось, а молодые только еще «подавали надежды»; и не потому, что не сохранилось в тогдашней литературе никаких прежних традиций. Нет, одна из множества сложных причин этой сероватости («упадка», как тогда говорили), — была упорная верность некоторым традициям... но лишь «некоторым», и выбор, для того времени, был неудачным. Свято береглись традиции «жизненности»; мало-помалу, в связи с общими историческими веяниями и с временным оскудением ярких талантов, эта «жизненность» стала претворятся в известную «реалистичность», и весьма далекую, иной раз, от искусства, ибо о нем забота явно иссякала.

Вот тогда-то, как мы знаем, и случилась эта вещь: появление «декадентов» (слово французское, но декаденты наши родились самостоятельно, без влияния Франции, да и «декадентство» у нас было другое). Литература приняла их в штыки, поняв одно: это — враги. Они против «литературы», ибо против главной ее традиции — жизненности, «реализма». Штыки насмешек, сначала добродушных, скоро сделались озлобленными. Декаденты приняли бой. Армия их все росла, а какие в ней постепенно шли изменения и перегруппировки, — присяжная литература не замечала, да и не интересовалась: для нее

это были все те же «декаденты», все те же враги, идущие против установленной «жизненности» в литературе, да еще во имя «искусства». В истории литературы они связывали себя как раз с писателями, которых «реалисты» плотно забыли, а чтимых ими — пренебрежительно свергали с пьедесталов.

«Только идиоты не знают, что искусство — в искренней, честной и возможно полной передаче окружающей нас жизни...» — говорили с раздражением писатели «признанного» стана.

«Много вы в искусстве понимаете! — отвечали им. — Да не больше и в жизни, если думаете, что она лишь то, что можно ощупать, о чем можно рассказать точными словами...».

Так «верным» отвечали уже не «декаденты»: сформировалась группа, называвшая себя «символистами».

Я не хочу касаться сейчас ни сущности символизма как понятия, ни того явления, которое известно под именем «школы символизма». Я говорю только о борьбе и определенном повороте, который, на пороге века, совершило течение нашей литературной реки.

Река победила, потекла дальше по своему руслу. Но, в процессе борьбы с препятствием, поднимаясь, она отделила от себя множество ручьев, как бы рукавов, которые уже в русло, однако, не возвратились, а образовали свои спокойные озера, или тихие заводи, затоны, порою хрустально-чистые и глубокие.

Традиционная «жизненная» литература XIX века почти вся разбилась по заводям.

III

Было бы ошибкой рассматривать литературную борьбу этого момента как борьбу поколений. Не следует также сводить ее к периодическим сменам «реализма» и «романтизма». Аналогии, при желании, всегда находятся; но действительных повторений в истории нет; их исключает закон движения. Река, на пути своем, встречает немало порогов; но все они разные, хотя и все одинаково бывают преодолены, причем какие-то струи неизменно выплескиваются, чтобы образовать, в сторо-

не, свои, неподвижные, водоемы. Кстати сказать: теперь уже видно, что и «декадентство» чистейшей марки не избегло, в свой срок, той же участи. И оно, и многообразные его отпрыски «подекадентства», с характерными концепциями «искусства» и с оттолкновением не от «жизненной» литературы XIX века, а огулом от всякой жизни в литературе (и даже та часть старого «символизма», в которую вмешаны были элементы, не способные к движению), — все это уже покоится в заводях. И когда теперь мы слышим голоса со знакомыми нотками «искусствопоклонничества», или чего-нибудь вроде, — будем осторожны: это голоса из затонов, голоса тех, кто уже не находится в главном течении литературной реки: она выплеснула их и ушла дальше. Так же, как раньше, — в свое время, — выплеснула и «жизненников» старого типа.

Но вернемся к ним и к столкновению конца XIX века.

Уже потому не было оно борьбой «поколений», что вовсе не все тогдашние «новаторы» принадлежали, по возрасту, к новому поколению; а в лагере противном было много молодежи, из которой иные, в то время «подававшие надежды», осуществили их, впоследствии, самым блестящим образом.

Один из них — Бунин; и даже первый из них, ибо можно ли оправдать «надежды» более блестяще? Лагерю, в котором находился с юности, он так и не изменил.

В творчестве писателя-художника, если он обладает большим талантом, часто можно заметить черты внутреннего трагизма. Но трагедия у каждого непременно своя, соответственная ему и сущности его творчества. Попробуйте вглядеться в трагедию Бунина. Где она, в чем — для него?

Она — тут же, в том же круге его восприятий мира благоуханного, звучащего, красочного. В самой полноте чувственного его восприятия мировых форм. Не распадаются ли формы? Не вянет ли всякая красота? Не исчезает ли благоуханье? Для Бунина ощущение «жизни» есть в то же время и ощущение смерти. И в каждый данный миг он страстно «жизнь» (вернее, свой мир-космос) принимает, и его же ненавистнически отталкивает.

Очень редко такая трагедия бывает осознанной. Между тем, не высветленная, она особенно безнадежна. Это — трагедия *неподвижности.*

Современник и очевидец того давнего литературного столкновения, о котором мы сейчас вспоминаем, — Бунин сохранил в себе до сих пор черты, свойственные своим единомышленникам и участникам, хотя бы косвенным, тогдашней борьбы. Как они — он думает, кажется, что борьба, именно эта, еще длится. Как они — Бунин не удосужился разобраться в последовательных группировках «врагов», ни присмотреться к разности их лиц: все они были и остаются «декадентами» (или символистами, или все равно, как), врагами принципу «жизненности», негодными врагами литературы. И те же, испытанные, приемы борьбы. Не помнятся ли они нам? Не звались ли «врагами», без разбора, при случае и без случая, попросту «сумасшедшими, идиотами, дураками, болванами», а то «лакеями и подлецами?».

Когда я думаю об этом, и о таком крупном писателе-человеке, как Бунин, мне становится жалко и больно. Не то жаль, что течение литературы, движение, прошло мимо него и что не понял он движения, чуждого его природе, его складу, его таланту: тут его естественное право. А, вот, понять, *что он всего этого не понимает,* — он мог бы; и мне жаль и обидно за Бунина, что такого простого понимания у него нет.

Это изменило бы многое для него самого. По новому увидел бы он, как прекрасно его широкое озеро. И разве не каждому человеку дана своя судьба, свой талант? И разве судьба писателя Бунина, талант не зарывшего, а сумевшего приобрести вдвое и втрое, — не счастлива ли·судьба? Зачем тревожная забота о «врагах», которые, кстати, и не враги вовсе? Для всего есть место на земле: и для бурливой реки, и для озера, покоящегося в зеленых берегах...

Обаятельность бунинского касанья к видимому миру такова, что, попав в этот волшебный круг, невольно останавливаешься, зачарованный. И особенно бесполезными кажутся требования, с которыми иные к Бунину подходят. Надо помнить:

он не учитель и не вождь. Научиться от него нельзя, подражать ему нет смысла, а вести.... куда может вести тот, кто сам никуда не двигается?

Бунин лишь *показывает* нам «жизнь», — вернее, широкий мир, — в блистательной неподвижности мгновенья.

Если сам художник поймет это когда-нибудь, поймет природу своей силы, ее границы, почувствует, что «жизнь» — шире, чем видят его острые глаза, — его творчество приобретет новое очарование: гармонию и спокойствие мудрости.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ [2]

1

Эта форма, — только «размышлений», не критики, — имеет, конечно, свои неприятные стороны: расплывчатость, тенденцию превратиться в «radotege» * и т. п. Но зато можно не стеснять себя одной темой, ни даже темами одного и того же порядка.

Нам есть о чем поразмышлять. Нашлось бы, говоря правду, что и покритиковать; но чем дальше, тем все яснее, что критика нам не по времени, не ко двору.

Не буду в сотый раз доказывать это и пояснять, отчего критические статьи даже самых способных наших литераторов «поражают своим ничтожеством» (как говорится). И я поразил бы тем же самым, если б принялся за такое дело.

Кое-кто еще упорствует, еще думает, что и сейчас можно о чем-нибудь высказать прямо свое мнение. Но чуть сделает попытку — немедленно получает первое предостережение. И грозное, ибо уже второе (при второй попытке) сопровождается «пересечением», и дальнейших не бывает.

Я это сам прошел, я опытен. А вот свежий случай: с Г. Ивановым, с критической его заметкой о Сирине (№ 1 «Чисел»).

* вздорная болтовня (*фр.*).

Эта заметка — очень стройно и прямо выраженное *мнение* критика о писателе, о романе «Защита Лужина» (в «Современных Записках»).

В прежние времена такие (и более остро высказанные) «мнения» спокойно появлялись во всех толстых журналах, до «Вестника Европы» включительно, во всех газетах — до «Речи». Свобода мнения признавалась, и даже если дело шло не о каком-то Сирине, но о Л. Андрееве или Чехове. На ум никому бы не пришло сказать, что, положим, «Речь» «запятнала свои страницы» мнением Икса о Л. Андрееве, как о «не очень умелом фокуснике», а «День» «опозорил себя» мнением Игрека о Чехове, «этой воплощенной неподвижности».

Иные времена, иные места, — и посмотрите: сравнительно мягкая, только прямая, заметка Г. Иванова, да еще о таком посредственном писателе, как Сирин, вызывает... бурю негодования. Самые благожелательные к «Числам» рецензенты не удерживаются от упоминания о «пятне». Даже Ходасевич не удержался, а он, при его тонком литературном чутье, уж, конечно, не очарован столь неприятно «сделанным» романом, как «Защита Лужина».

Был лишь один трезвый голос: в далекой, здесь почти невидимой, газете «За Свободу». К сожалению, эта газета отличается литературной беспризорностью: там в соседних №№ можно встретить две статьи об одном и том же, и — абсолютно противоположного содержания.

Прибавлю еще: вспоминая прошедшие «счастливые дни» критики, я взял такие «чинные» печатные органы, как «Речь», «Вестник Европы», «Русская Мысль». А если вспомнить «Весы», с которыми, кстати, «Числа» находятся в большей соответственной близости, нежели с «Русской Мыслью»? В «Весах» заметка Иванова показалась бы нежным мармеладом.

Первое предостережение Г. Иванов и «Числа», во всяком случае, получили. Посмотрим, что будет дальше. А теперь мысли мои, покинув «критику» (спи, милый друг, до радостного утра!), обращаются к журналам нашего времени, к новому, — «Числам», — преимущественно.

Если дальнейшие мои размышления не все будут чисто «литературного» свойства, — что делать! Мысль в этих границах не удержишь.

2

Кто-то недавно сказал, что «Современные Записки» — «консервативны». Это определение верно и *точно*. Создатели журнала такую и задачу себе сознательно поставили: консервирование, т. е. собирание и сохранение «русской культуры». Задача прекрасная, да и чем другим могла заняться группа старых общественных деятелей, оторванных от привычной работы?

Сознавая, что их «задание» требует расширенности, так как в понятие русской «культуры» входит громадная область художественного творчества, они не убоялись «приключить» и ее к своему делу.

«Современные Записки» не претендуют на высший суд в сфере, недавно столь чуждой их руководителям; они мудро держатся лишь несомненного, признанного, предпочитают действовать наверняка, собирают то, что по всеобщему мнению требуется «сохранить».

В ясности задачи, в посильном ее исполнении — большая заслуга «Современных Записок».

Посмотрим теперь на «Числа».

Какое «задание» у них? Во всяком случае — не задание «Современных Записок». Может быть, нет никакого?

Вряд ли. Без чего-то вроде «задания», назовем ли его устремлением воли, аспирацией или просто смыслом, — журналы не создаются.

Однако, по редакционной статье судя, это задание (или смысл) не ясно и для самих устроителей журнала. Они не знают, что из него «выйдет». Они надеются, что выйдет «что-то новое...».

Среди этих неопределенностей, и еще многих других, — вдруг очень важное, по характерности, заявление: на страницах «Чисел» не будет места *«политике»*.

Какая известная фраза, какое знакомое сочетание знакомых слов! По первому звуку мы привыкли угадывать, что это значит, в ком и в чем дело. Еще в России, Бог весть с каких годов, — появится, бывало, новенький журнал или журнальчик, объявит, в первую голову, отметение «политики», — и все сразу понимают: это новый алтарь «чистого искусства», редактора — его «служители». Обязательная фраза насчет политики сделалась, как штамп.

Этот штамп на «Числах» немедля определил бы «задания» и «лицо» журнала (кстати и редактирует его группа писателей) если бы... если б сакраментальная фраза не явилась в окружении других, весьма противоречивых. И неопределенная сложность запутывает привычные представления. Как будто создатели журнала и не хотят заезженной дороги «чистого» искусства, как будто и не «во имя» его отказываются от «политики». Но если не ради чистейшей «красоты» отказываются, то ради чего?

А главное — *от чего*, собственно, они отказываются? Как они понимают слово *политика*? Что — она? Где — она?

3

«Современные Записки» не затруднятся ответить на эти последние вопросы: тотчас определят, тотчас распределят, где политика, где искусство, все по порядку, издавна установленному.

Служители чистого искусства вовсе ничего не ответят: вот еще, разбираться в политиках! «Вне» — и кончено.

А современные наши словесники? Если они не претендуют на звание известных «служителей», то им, пожалуй, стыдно общаться со словами механически. Слова — не окаменелость. Они изменяются во времени, как живые существа. Всегда ли можно схватить слово наскоро, в готовом виде, не успев подумать о том, что оно значит для других, не дав себе отчета, что сам под ним понимаешь? Это, кроме того, и невыгодно: никто не поймет слов, если произносящий слова сам их не понимает.

Вот я и не понимаю, и мне хочется прямо спросить создателей «Чисел»: а что это такое, чему в «Числах» нет места? Как вы разумеете, — в 1930 г., в изгнании, в Париже, — это слово: «политика»? От чего и что (если не «чистое» искусство) хотите вы оградить?

Если бы дело было в «чистом» — тогда ясно. Но тогда и об эмиграции не надо бы говорить, нельзя бы даже упоминать. Что такое «эмиграция» с точки зрения «вечности и красоты»? «Числа», на этой точке зрения стоящие (предположим!), должны были бы и факт освобождения России (случись он) обойти полным молчанием. Ведь факт — «политический»! И *такие* «Числа» должны были бы, оставаясь последовательными, не потрясаемо печатать рисуночки Шагала, мистико-лирические вздохи Адамовича о поэзии, отчеты о достижениях синема, — искать «что-то новое» внутри своей ограды...

Но я не могу себе представить реальные «Числа» в таком положении. Почему-нибудь шепчут же они что-то об эмиграции, и о многом еще, с известной точки зрения незаконном. Может быть, кое-что станет яснее, если мы обратим все наше внимание на слово «политика», попытаемся доискаться, в каком виде и смысле появилось оно на первой странице нового журнала.

4

Это все будут, конечно, лишь предположения, различные «может быть». «Душа» всякого, едва начавшего, дела — потемки, особенно же если она еще потемки и для самой себя.

Итак, может быть, под словом «политика» руководители «Чисел» разумеют план Юнга, лондонскую конференцию, конфликт Италии и Югославии и отношения между последней и Болгарией? Вопрос о французских долгах Америке и германских Франции? Положение Англии в Индии, восстание Ганди? Работу Лиги Наций? Польшу и данцигский коридор? Соглашение Прибалтийских государств, Малую Антанту... и т. д., и т. д.?

Это, конечно, политика; и если «Числа», заявляя о своей аполитичности, хотят предупредить, что у них не появится статья о налоговой системе, о причинах биржевого краха в Америке, — это одно; и это понятно. Ни в журналах, ни просто в человеке, особого ущерба не происходит, если он не разбирается во взаимоотношениях Японии и Америки.

Можно, скажу в скобках, и разбираться, и тонкие стихи писать, как Поль Клодель, — это дело случая.

Но такую ли политику разумеют «Числа», объявляя себя аполитичными?

В наше время, и для нас, русских, в особенности, слово «политика» — опаснейшее. Едва коснешься, глядь, оно уж расползлось, как масляное пятно. Есть признаки, что для руководителей «Чисел» оно порядочно расползается, даже вглубь пошло.

Нужен острый глаз и немалая воля, что бы вовремя остановиться, остановить процесс. Легче легкого, расширяя «политику» (мои определения, конечно, слишком узки), захватить «общественность», далее — «всякую общественность»... Границы ведь незаметны, да и подвижны! Отсюда прямой путь к так называемому «индивидуализму»: состояние, имеющее для человека весьма реальные следствия.

Если «Числа», все еще воображая, что отказываются от «политики», уже вступили в сферу отказа от вопросов «общественности», — положение их опасно. Они будут *вынуждены* оставлять в стороне, один за другим, вопросы просто жизненные, по-новому современной жизнью поставленные.

Эмиграция, Россия, ее паденье, ее страданье, ее гибель, ее воскресенье, — что это? Политика или не политика? Придется ответить: это вопросы о каком-то устроении или неустроении *общности* людей, следовательно — политика; а от политики мы отстраняемся. Мы — вне...

Вне — чего? Да первое и бесспорное — вне жизни. Или накануне полного выхода из нее.

Старая эта истина, постоянно повторяемая и постоянно забываемая: мы способны *жить* — только если два переплетен-

ные в нас начала, — *личности и общности*, — находятся в известном равновесии. Так человек устроен. В какую бы сторону равновесие ни нарушалось, с какой бы стороны ни ущерблялся «человек», жизнь тотчас начинает в нем убывать.

Идеального равновесия, конечно, не бывает, как и последнего его нарушения, когда одно начало (безразлично, которое), заев другое, съедает и себя. Но приближений к этому страшному концу — сколько угодно.

Наше время приуготовило нам, небывало острый и четкий, реальный пример. Это — процесс, происходящий в России. Все более и более торжествующее поглощение личности — общностью (коммунизм). Победа конечная, — полное истребление личного, была бы, несомненно, и концом вообще человеческой жизни.

Русский процесс — явная «политика». Но вот, мы взглянули поглубже... и обернулся он как будто не «только политикой»... Во всяком случае, не той, от которой можно с легкостью отказаться, хотя бы в Париже сидя и литературный журнал издавая.

Мне даже приходит в голову мысль: а что, если поспешный «отказ от политики» группы русских эмигрантов, уклон (как нынче говорится) к «индивидуализму», отталкивание от всего, что похоже на общность-общественность, — просто *реакция*, вызванная отвратительным зрелищем насилия этой общности, насилия над «человеком» — в России?

Слишком естественно шарахнуться в сторону от подобной «политики», и даже в сторону прямо противоположную! Такие перегибы не опасны, если, конечно, разбираться в них более или менее сознательно.

5

Но не забудем: все, что я говорю о «Числах», о группе, журнал ведущей, — все это лишь мои предположения и догадки. Ряд «может быть...». Ведь и так может быть: хорошие писатели, сравнительно молодые, неудовлетворенные художественным отделом «Современных Записок», захотели создать в этой

области что-то лучшее и, главное, свое. Ни в какую глубь они, при этом, не забираются, никакой, может быть, и нет, а «размышления» мои — просто над пустым местом.

Я, конечно, хотел бы, чтобы это было не так, а посложнее, посерьезнее, чтобы хоть частью догадки мои оказались верны. Но я ничего не знаю.

Одно, вот, только: сложна или не сложна «душа» новорожденного журнала — она еще мало сознательна. И — что хуже — руководители журнала не проявляют к этой «душе» особо пристального внимания.

Оттого — думается мне — «Числа» и не могли бы ответить на ряд моих недоуменных вопросов, даже если бы пожелали.

Впрочем, будущее само все решит.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ [3]

О розах и о другом

Все труднее становится размышлять — даже просто думать — о «литературе».

И не то, чтобы я разделял мнения некоторых о «конце литературы», или других — о ее «упадке», или третьих, ничего не понимающих, — о ее маловажности вообще. Нет, конца литературы, по-моему, еще не видно, а насчет упадка — во все времена кто-то находил ее в упадке, кто-то в расцвете. Вопрос вечно спорный и довольно праздный.

Но бесспорно — есть время, когда луч мирового рефлектора останавливается не на области какого-нибудь искусства, даже не вблизи, а на чем-то совсем другом. Внимание и глаза большинства естественно обращены тогда на более освещенное место. Даже недавняя война, не вполне и «мировая», разве не была она таким местом?

Для искусства, как для многого еще другого, эти времена затмения, конечно, не страшны: ведь луч рефлектора скользит, не переставая. Увидим еще довольно всякой литературы, и хо-

рошей, и другой. Однако с преходящими затмениями как-то считаешься, переживаешь их, волей-неволей, и на себе.

Сейчас пятна света и тени расположены разнообразно и неровно; широких определений нельзя сделать; но, пожалуй, мы не ошибемся, сказав, что нигде в мире искусство слова (или другое искусство) не находится сейчас в главном фокусе, в центре внимания...

Ну, а если мы немножко сузимся, обратимся к частностям, — к нам, например, как к нам и «литературе» нашей, — понятным станет, почему мне (одному ли мне?) мало «думается» об этой самой литературе. Серьезно приневолив себя, я могу, конечно, написать казенную рецензию о любом эмигрантском романе, о молодом или старом беллетристе, даже о советском «ростке», «подающем надежды», — но думать, но размышлять над этими произведениями пера — не могу: тотчас мысль ускользает куда-то в сторону.

Существует, однако, в литературе (вернее, в искусстве «слова», а не в «литературе») область, которой смена времен, если и касается, то по-своему, по-особому. Там свет горит ровно всегда; и у кого есть для такого света глаза, тот всегда может его увидеть.

Область эта — поэзия.

I
Розы

Она — поэзия — не только стихи, конечно. Но я буду говорить о стихах.

Особенность стихов — это, что их нельзя вполне слить с «литературой», вместить в нее без остатка. Во времена, когда внимание отвлечено от литературы, стихи остаются. Неизвестно почему вдруг вспоминается о них, думается; и никаким сторонним, самым серьезным мыслям дума о стихах не мешает, — иногда помогает.

Впрочем, надо раньше сказать, какие стихи я разумею.

Известно, что стихов, и людей пишущих стихи, чрезвычайно много. Больше, чем пишущих не стихи. Мы разделяем стихи на хорошие, средние, плохие и, рассматривая их с литературной точки зрения, можем, подчас, доказать, что хорошие — хороши, и почему плохи плохие.

Но действительное наше отношение к стихам лежит глубже, и разделяются они не так, — на «хорошие» и «дурные». Раньше каких бы то ни было оценок, сам собою является вопрос: *«есть»* эти стихи, или их *«нет»?*

Вот на «есть» и на «нет» все стихи и делятся, без большого, притом, труда.

Надо сказать правду: после такого отбора, когда возвращены будут «во тьму небытия» стихи, которых «нет» (иногда очень хорошие), вместе со своими «творцами», — не много увидим мы других, оставшихся... Но тем лучше, не они ли одни нам нужны?

Чрезвычайно *есть* стихи, о которых сейчас я думаю, чрезвычайно *есть* за ними поэт — Георгий Иванов. Поэтическое бытие это так важно, что почти не хочется тянуть его стихи в чисто литературную плоскость, отмечая своеобразие (м. б., и однообразие) ритмов, говорить о «мастерстве», и т. д. Не трудно выискать, специально этим занявшись, и «недостатки» в стихах Георгия Иванова. Но, кажется, и они, — большинство из них, — такого рода, что в гармонии целого нужны, а потому и перестают быть «недостатками».

Внутренняя гармония — свойство стихов всякого подлинного поэта, какими бы чертами ни отличался он от другого. Поэзия Георгия Иванова в высшей степени лирична, это главная его черта. Лиричность, сама по себе, не есть еще такое непременное условие поэзии, что чем она лиричнее, тем «поэтичнее». Но преобладание лирики требует гармонии своего оттенка. И ни одним звуком поэзия Георгия Иванова против этой гармонии не погрешает. Поэт и не мог бы, вероятно, погрешить, потому что он действительно поэт-лирик; потому что

В глубине, на самом дне сознанья,
Как на дне колодца — самом дне —

Отблеск нестерпимого сиянья
Пролетает иногда во мне.
Боже! И глаза я закрываю
От невыносимого огня.
Падаю в него...

Лирика подлинной поэзии всегда свободна, подчиняясь только закону внутренней гармонии. Для стихов, которые *«есть»*, не существует ни «новых», ни «старых» слов: таинственная сила гармонии дает каждому его вечный смысл. Книга Георгия Иванова называется *«Розы»*. В течение всех последних десятилетий (о самом последнем не говорю) наши стихотворные «новаторы», даже не совсем плохие, панически боялись «соловьев», «роз» (особенно роз), «голубого» (просто голубого) моря и всего такого. А между тем море осталось голубым, соловьи из поэзии (настоящей) не думали, оказывается, улететь, и розы в стихах Георгия Иванова цветут так же естественно, как на розовых кустах и так же прекрасны, как... вот эти, громадные ноябрьские розовые розы, что стоят сейчас передо мной...

Два главных свойства отличают подлинную поэзию, подлинного поэта от всех других.

О первом свойстве я уже говорил: эта поэзия не умещается в «литературе», не сливается с ней вполне; что-то еще несет в себе не «от литературы»; живет и за ее гранями. Поэзия — не иногда, а всегда говорит нам о «последних вещах»; и язык ее, кажется, единственный, на который ближе всего переводится человеческое *ощущение* этих «последних вещей»: жизни и смерти, любви и отчаяния, гибели и спасения...

Второе же непременное свойство настоящей поэзии, создаваемой настоящим поэтом, — *современность.*

Поэт не «отдает дань своему времени» (что за нелепая фраза!) — он просто в нем, в своем, живет. Вечное преломляется для него именно в этом времени; и таким, не иным, он вечное видит.

Оттого и «нов» каждый подлинный поэт, и новым остается навсегда; ведь он дал новый образ вечного (в преломлении но-

вого, никогда еще не бывалого, времени), а все образы, всех времен нужны одинаково.

Кто назовет Лермонтова и Данте – ненужными больше, старыми? Однако, если бы Лермонтов воскрес, он писал бы сегодня не то, или не так, по другому... оставаясь Лермонтовым.

Это относится ко всем поэтам, как бы разны по существу они не были. (А они все разны, все подлинные, – потому и говорю я всегда о них отдельно, не допуская сравнений: белая роза не лучше розовой, и розовая не лучше белой, есть ли смысл их сравнивать?) На поэтах, по преимуществу лиричных, всего виднее, до какой степени не важны слова сами по себе, и как важна таинственная гармония, всегда по времени, всегда новая, делающая стихи *магичными*.

Один из наиболее лиричных поэтов – Фет. (И его беру не для сравнений – для примера.) Фет воспел все весны, все поцелуи, и трели соловьиные, и вечную любовь, и всякую измену, – ничего не оставил и, казалось, «лишь повторенья вечные сулит». А вот посмотрите, что делается из тех же, приблизительно, слов у другого поэта, тоже лирика в высшей степени, но не фетовского, а нашего времени, – Георгия Иванова:

Не было измены. Только тишина.
Вечная любовь. Вечная весна.
Только колыханье синеватых бус
Только поцелуя солоноватый вкус.
И шумело только о любви моей
Голубое море, словно соловей.
Голубое море у этих детских ног
И не было измены – видит Бог!
Только грусть и нежность, нежность вся до дна.
Вечная любовь. Вечная весна.

«Веселые лодки в дали голубой, – писал Фет, – свобода и воля горят впереди!». Но сегодняшний лирик отвечает: «Легкие лодки отчалили в синюю даль навсегда...».

И к некрасовской лирике, такой совсем особенной (неужели «старой»?) можно немало найти параллелей у лирика наших

дней. Хотя бы стихотворение «Россия, Россия... и как не отчаяться...».

Не буду продолжать, слишком много этих параллелей (разнствующих соответствий). И жалко делать выписки из «Роз»; каждое стихотворение слишком цельное, каждое, точно «один звук», раздроблять его нельзя.

Вот что еще надо сказать, однако, о поэзии очень лиричной: при всей ее подлинности, она часто насквозь *пассивна*. Воздухом пассивности пропитана, ветром ее овеяна. С безвольно отдающейся грустью клонят долу свои головки «Розы» Георгия Иванова. Поэт ни над чем не властен: «Власть? Но если нет и власти — даже над самим собой?..». Да он, кажется, и захотеть не мог бы чего-нибудь, на власть похожего. Он ничего сам не «делает»: все, — хорошее и дурное, прекрасное и ужасное, — с ним «делается». Он только слышит, «как летит земля с бесконечным легким звоном», или «трава растет», — и «голова опускается все ниже»:

Так и надо. Голову на грудь
Под блаженный шорох моря или сада.
Так и надо — навсегда уснуть —
Больше ничего не надо.

Трудно сказать: может быть, чистый лирик по существу связан с пассивностью, с безволием, и есть в нем «ущерб, изнеможенье...», а может быть, поэт-лирик наших дней, видящий вечное сквозь призму нашего времени, и должен быть таким: бездумно-пассивным, испуганно-нежным и слабым, легким-легким, как цветочная пыль, исчезающая в голубом солнце?

Так или иначе, в упрек Иванову поставить этого нельзя. Я, впрочем, и не собирался упрекать в чем-либо поэта — ни бранить, ни хвалить: я ведь, его поэзию не критикую, я просто немного задумался над этой редкой книжкой.

Всякому, кто не очень «ленив и не любопытен», я предлагаю прочитать ее самому: не для того, чтоб мои «размышления» проверить, нет, — а чтоб себя проверить и испытать. Кто

магии этих стихов не почувствует, тому, значит, дверь поэзии закрыта навсегда.

Что ж? Немало и других дверей на свете...

II
Pro domo non sua *

Поэзия не отвлекла меня от некоторых мыслей о другом. Тоже, по-моему, о «литературе», а если и не о «чистой» — беда невелика.

Давно уж я заметил, что не всегда бывает приятно оказаться правым, угадать верно. Ведь и говоришь, иной раз, и знаешь, что будет так, а где-то все же шевелится надежда: вдруг не так, иначе?

Вот я говорил, на этих страницах, что не надеюсь получить ответа от «Чисел» на мой вопрос насчет «*политики*»; втайне же надеялся: а может быть? Но вышло не по-тайному, а по-явному.

Мой вопрос был поставлен очень ясно. Даже газета, в общем дружественная, но почему-то за этот вопрос искавшая меня упрекнуть, — признала ясность; обвинение свелось к тому, что статья моя была «написана *мягко*». На это сказать нечего. С пристрастием допрашивать я не умею; да признаться, и умел бы — так не стал. Пусть уж другие, кто верит в полезность этого способа.

Как бы то ни было, ответа я не получил. С большим тщанием прочел «Дневник» Н. Оцупа, где должен был находиться ответ, но его там не оказалось. К моей статье Н. Оцуп отнесся с видимым вниманием, за что я его очень благодарю, но по существу дела я ничего не узнал. Узнал только, в виде ответа, что редакция «Чисел» «против тирании политики». Говорю «в виде ответа», потому что, какой же это ответ, раз я о тирании не спрашивал, не заикался даже, будучи заранее уверен, что ни к каким тиранствам «Числа» симпатии не питают.

* Не для себя (*лат.*).

Я спрашивал прямо о политике; о содержании и смысле, — для «Чисел» — это слова, о том, *что* под ним разумеет редакция нового журнала, объявляя, что она — против «политики»...

Искать ответа в дальнейших главах «Дневника» Н. Оцупа — было бы совсем бесполезно: там уже пошла речь о посторонних вещах. Тогда я попробовал, не найду ли косвенного ответа в журнале как таковом: против чего там восстают, или же чего в журнале совсем не будет, — то и есть для него «политика».

Не увенчалась успехом и эта попытка. Если находились статьи «против», то при всем желании невозможно их было принять, как направленные против чего-нибудь вроде «политики». Способ исключения (т. е. чего в журнале нет вовсе?) — тоже не помог: слишком многих вещей там нет, которая же «политика»?

Но действительно: ничего, даже издалека приближенного к какой-нибудь явной «политике» в «Числах» не имеется (даже дипломатии нет!). По досадному недоразумению некоторые приняли за «политику» фразу Г. Адамовича о большевиках, которые, на его взгляд, действуют «в верном направлении». Но не только мне, всякому мало-мальски внимательному читателю ясно, что и тень политики здесь не ночевала. Стоит сопоставить слова Адамовича со статьей Поплавского, чтобы понять: речь идет не о политике, но... о мире: не действовать ли так, чтобы «погасить» мир? Не это ли — действие «в верном направлении?». Адамович лишь спрашивает, но Поплавский уверен; ведь «агония — самое приличное для мира состояние».

Вопрос огромный, даже слишком огромный. Что перед ним мои скромные вопрошания насчет политики? Но все же, пока всеобъемлющий вопрос этот не решить (и скорого решения не предвидится), почему бы нам не заняться вопросами, с виду маленькими, обыденными, находящимися, как мы сами, во времени? Вопросами просто — жизни? Подвернется непременно тут и «политика». Кроме окончательных высот и широт, — нигде сегодня от нее не спастись: ни в Париже, ни в России... ни в журнале.

Журнал «Числа», пока что, спасается. До такой степени, что даже заведомые «политики», направляясь под сень его, облекают себя в одежды критиков... если не литературы, то литераторов.

Это недурно, это имеет свой стиль. Но как долго можно его выдерживать?

И все-таки я продолжаю думать, что «неинтересный» мой вопрос, — о политике (и какой?), о связи или не связи ее с искусством, о ее «месте» в жизни в разные моменты истории, — не такой уж неинтересный вопрос. Кто знает, может, и к «миру», и к «вечности» имеет он большее отношение, чем это кажется с первого взгляда?

Если группа русских людей, близкая к журналу «Числа», не дала еще, со своей стороны, никакого ответа на вопрос — то вряд ли потому, что не может им заинтересоваться. Я думаю (или хочу верить), что она еще не успела выработать в себе ясное к нему отношение. Когда это будет — будут ответы.

P. S. Эти строки были уже написаны, когда состоялся в Париже вечер «Чисел», посвященный как раз вопросу, меня занимающему: об искусстве и политике.

Не касаясь в частности ни одного из ораторов (я не пишу отчета о вечере), я должен, однако, сказать, что каким-то образом, совокупность всех речей, атмосфера залы или, может быть, несколько кем-то брошенных слов, — все это вместе очень разъяснило для меня и вопрос, и позицию «Чисел». Скажу кратко и упрощенно: мне кажется, что литературный журнал имел намерение, в программном заявлении своем подчеркнуть, прежде всего, свою литературную *преимущественность* (на которую он, естественно, имеет право). Он воспользовался ходячим словом «политика», просто-напросто желая оговориться, что статей по чисто политическим вопросам в нем не будет уже потому, что сотрудники его — литераторы по преимуществу и профессионально-политических статей писать не умеют. Это опять только естественно, и вряд ли кто-нибудь

пожелал бы (и я менее всего), чтоб было иначе, чтоб «пирожник» принялся «тачать сапоги». Но при этом — насколько я убедился — руководители «Чисел», вкупе со своими ближайшими сотрудниками, нисколько не отрицают, что «политика» — понятие растяжимое, в некоторые же времена — особенно растяжимое; и тогда вопрос, переходя границы специализма и оставаясь как бы «политическим», может рассматриваться как *вопрос жизни*.

Могли ли «Числа», да и какой-нибудь действительно литературный журнал, сказать, что к *таким* «политическим» вопросам они не имеют отношения? Нет, конечно; это было бы просто абсурдом, как заявление, что «литература не имеет ни малейшего отношения к жизни».

Пирожник может не тачать сапог, сапожник не печь пирогов (бывает и это, но, слава Богу, редко) — однако ни с того, ни с другого не снимается обязанность быть «*человеком*» (сказал один из близких сотрудников «Чисел» — Адамович). Не снимается она и с литератора; и литература, и искусство, из которого исключена малейшая черта «человечества», — будь то человеческая мораль или что другое, — уже не искусство. В искусстве — особенно видно, на каких трех китах все построено; эти киты, банальные, подобно всему вечному, — правда—добро—красота. Отнимите любого — посмотрим, что у нас будет за «искусство». Выньте какого-нибудь из широко понимаемой политики, общей жизни *человеческой* — поглядим, что у нас от нее останется...

Из-за слов, все-таки не всегда точно употребляемых, многим, вероятно, и после вечера «Чисел» осталось кое-что неясным. Есть слова (звуки), которые, от привычки, действуют гипнотически. Я старался преодолеть гипноз, и, если не все, то позиция «Чисел» по отношению к «искусству» и «политике», стала мне понятной. Она, по-моему, в существе, правильная... Быть может, некоторые из руководителей журнала еще будут спорить, найдут, что я ошибаюсь?..

Но кажется мне, что нет, не ошибаюсь.

КОММЕНТАРИИ

РАССКАЗЫ

ТИХОЕ. СТРАШНОЕ (с. 7)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1926. 4 апреля. № 1838. С. 2.

«творимой легенды» – имеется в виду роман Ф. Сологуба «Творимая легенда» (1914).

ДО ВОСКРЕСЕНЬЯ (с. 13)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1926. 2 мая. № 1866. С. 2.

«рю Дарю» – храм Александра Невского на рю (улице) Дарю в Париже. Собор был освящен (после большого ремонта) 11 сентября 1926 г. *Дарю* Пьер-Антуан (1769–1823) – французский политический деятель и писатель. В 1812 г. сопровождал Наполеона в его походе на Россию в качестве главного интенданта. С 1819 г. пэр Франции, представитель либеральной оппозиции в Верхней палате.

МЕМУАРЫ МАРТЫНОВА (с. 20)

Впервые: Звено. Париж, 1927. 13 февраля. № 211. С. 6–7 (I. Сашенька); 13 марта. № 215. С. 5–8 (II. Скандал); 27 марта. № 217. С. 7–8 (III. Смирение); 22 мая. № 225. С. 7–9 (IV. Ты – ты). Серию своих рассказов «Мемуары Мартынова» Гиппиус называла романом.

брылы – обвисшие губы или щеки.
тапер – музыкант, игравший за плату на танцевальных вечерах или при демонстрации немых фильмов.
шассер – служащий гостиницы (*фр.*).

ГОРНЫЙ КИЗИЛ
(Из мемуаров И. Л. Мартынова) (с. 50)

Впервые: Иллюстрированная Россия. Париж, 1927. 23 апреля. № 17. С. 4–6.

ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ (с. 59)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1927. 24 апреля. № 2223. С. 2. Перепечатано дважды в «Иллюстрированной России» – 14 ноября 1931. № 47 С. 4 и 6 под названием «Жюльен или не Жюльен?» и 9 января 1937. № 3. С. 1, 2, 4 под названием «Жюльен».

«Загадочные натуры» («Проблематические натуры», 1860) – первый роман немецкого писателя Фридриха Шпильгагена (1829–1911). Герой романа Освальд Штейн – романтик, изверившийся в романтизме, сентиментальный революционер. Роман имел большой успех, именами героев называли новорожденных.

Жюльен – герой романа Стендаля «Красное и черное» (1831).

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
(Из мемуаров Мартынова) (с. 65)
Рассказ

Впервые: Звено. Париж, 1927. № 1. Июнь. С. 31–39.

Мурильо Бартоломе Эстебан (1618–1682) – испанский живописец, сентиментальные образы которого проникнуты лиризмом.

«Марья Антоновна! Анна Андреевна!» – речь идет о комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836), где Хлестаков объясняется в любви одновременно дочери и ее матушке.

ОЧЕРКИ И СТАТЬИ

ПРОПИСИ (с. 77)

Впервые: Новый Дом. Париж, 1926. № 1. С. 17–20 под псевдонимом Антон Крайний.

СУДЬБА ЕСЕНИНЫХ (с. 82)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1926. 28 января. № 1772. С. 2–3. Начало статьи основано на опубликованной в той же газете 6 июля 1922 г. статье Гиппиус «Лундберг, Антонин, Есенин».

«Бродячая Собака» – литературно-художественное кабаре в Петербурге, открывшееся 31 декабря 1911 г. и просуществовавшее по 1915 г. в подвале здания Михайловского театра.

Дункан Айседора (1878–1927) – американская танцовщица. В 1921–1924 гг. жила в России. 2 мая 1922 г. Есенин женился на ней и 10 мая уехал с ней за границу, где они пробыли до августа 1923 г., после чего разошлись.

...женился... на внучке Толстого. – к Софье Андреевне Толстой-Есениной, внучке Л. Н. Толстого, поэт переехал в июне 1925 г.

Бедный Демьян (Придворов Ефим Алексеевич; 1883–1943) – поэт, автор ернических сатир на белогвардейцев, религию, прославляющих советский режим.

...отговорила <...> роща золотая... – из одноименного стихотворения (1924) С. А. Есенина. Статья М. Осоргина «"Отговорила роща золотая..." (Памяти Сергея Есенина)», с которой полемизирует Гиппиус, опубликована в «Последних Новостях» 31 декабря 1925 г.

ДВА РАЗГОВОРА С ПОЭТАМИ (с. 89)

Впервые: Звено. Париж, 1926. 14 февраля. № 159. С. 3–6.

«новы все впечатления бытия» – А. С. Пушкин. Демон (1823).

«Как сердцу высказать себя?..» – Ф. И. Тютчев. Silentium (1830).

...семнадцатилетний худенький Део... – см. рассказ Гиппиус «Мальчик в пелеринке» (1924) в наст. изд. (т. 1).

Венгеров Семен Афанасьевич (1855–1920) – историк литературы, в издательстве Брокгауз–Ефрон руководил изданием Библиотеки великих писателей.

...умер, по мнению Вл. Соловьева, в свой день и час... – имеется в виду статья В. С. Соловьева «Судьба Пушкина» (Вестник Европы. 1897. № 9).

МЕРТВЫЙ МЛАДЕНЕЦ В РУКАХ

Владимир Соловьев. Духовные основы жизни.
Paris, YMCA Press, 1926 (с. 98)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1926. 18 февраля. № 1793. С. 2.

...полного собрания его сочинений (посмертного)... – Собрание сочинений В. С. Соловьева (без его стихотворений) вышло в 8 томах в 1901–1903 гг. Второе издание в 10 томах – в 1911–1914 гг.

...«сборники» Соловьева. — Среди вышедших в эмиграции сборников работ В. С. Соловьева: «Смысл любви; Жизненная драма Платона; Красота в природе; Смысл искусства» (Берлин, 1924), «Еврейство и христианский вопрос» (Берлин, 1921 и 1925), «Три речи в память Достоевского; Исторические дела философии; Об упадке средневекового миросозерцания; О подделках; Нравственность и политика; Немезида; Тайна прогресса; О соблазнах; Небо или земля; Пасхальные письма» (Берлин, 1925) и др.

...Э. Л. Радлов делит... — речь идет о книге философа Эрнста Леопольдовича Радлова (1854—1928) «Владимир Соловьев: Жизнь и учение» (СПб., 1918).

Речь 13 марта 1881 г. — заключительная публичная лекция о литературном движении XIX века, прочитанная на Высших женских курсах, была направлена (в связи с убийством Александра II) против смертной казни, после чего Соловьев был вынужден оставить преподавательскую работу.

«в руках его мертвый младенец лежал» — И. В. Гёте. Лесной царь (1782) в переводе В. А. Жуковского (1818).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ (с. 102)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1926. 25 февраля. № 1800. С. 2.

«Дух преступления» — статья И. А. Ильина, напечатанная в газете «Возрождение» 5 февраля 1926 г.

ТОЧКА (с. 106)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1926. 7 марта. № 1810. С. 2.

«возвратился ветер на круги свои» — Екклезиаст I, 6.

Кельсиев Василий Иванович (1835—1872) — эмигрант с 1859 г., сотрудник Вольной русской типографии в Лондоне. В 1863 г. вернулся в Россию.

Сухомлин Василий Васильевич (1885—1963) — общественно-политический деятель. В эмиграции с 1918 г. В начале 20-х годов редактировал пражский журнал «Воля России». В 1954 г. вернулся в СССР.

СПОР НА КОРАБЛЕ (с. 109)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1926. 15 апреля. № 1849. С. 2—3.

«Путь» – парижский журнал под редакцией Н. А. Бердяева, выходивший с сентября 1925 по март 1940 г.

Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) – философ и богослов. Выслан из России в 1922 г.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ (с. 117)

Впервые: За Свободу! Варшава, 1926. 2 мая. № 101. С. 2 под псевдонимом Антон Крайний.

«Тоска по смерти» – статья Гиппиус в петербургском журнале «Свобода и Культура» (ранее выходил под названием «Полярная Звезда») 10 апреля 1906 г. (№ 2) за подписью Н. Ропшин.

...в 1902 г. в журнале «Новый Путь»... – статьи Антона Крайнего в журнале «Новый Путь» печатались в 1903–1904 гг.

«Литературный Дневник» – сборник статей Антона Крайнего (Гиппиус) вышел в Петербурге в 1908 г.

...мы с Савинковым познакомились. – Гиппиус познакомилась с Б. В. Савинковым в 1906 г.

«Русская Мысль» – Гиппиус печаталась в этом журнале в 1908–1914 гг.

...концом самого Савинкова... – 16 августа 1924 г. Савинков был арестован ОГПУ в Минске, куда приехал нелегально, и приговорен к расстрелу, замененному 10-летним тюремным заключением. 7 мая 1925 г. погиб в тюрьме в Москве. По официальной версии покончил самоубийством, по другой – убит чекистами.

ВСЕ НЕПОНЯТНО
(О Сергее Аркадьевиче Андреевском) (с. 118)

Впервые: Звено. Париж, 1926. 9 мая. № 171. С. 3–5; 16 мая. № 172. С. 5–7. Перепечатано под названием «Обиженная душа: о блестящем адвокате, литераторе и поэте» (с эпиграфом из лермонтовского «Ангела»: «И долго на свете томилась она...») в газете «Сегодня». 1932. 17 января. № 17. С. 5 и 20 января. № 20. С. 2–3.

Андреевский Сергей Аркадьевич (1847/48–1918) – поэт, критик, юрист. Гиппиус познакомилась с ним в 1889 г. и позднее вспоминала: «Андреевский сделался даже, потом, моей "подругой", – единственной, зато настоящей, и постоянно у нас бывал (до его смерти, уже при большевиках)» (*Гиппиус-Мережковская З.* Дмитрий Мережковский. Париж, 1951. С. 46).

Винавер Максим Моисеевич (1862–1926, 10 октября) – соредактор газеты «Звено» (1923–1926). В эмиграции с 1919 г.

«Книга о Смерти» – посмертно опубликованная автобиографическая книга С. А. Андреевского (Т. I. Л., 1924; полный текст – Ревель; Берлин, 1922. Т. 1–2).

Шекспировский Кружок Спасовича – в возникший в Петербурге в 1875 г. Шекспировский кружок входили известные адвокаты С. А. Андреевский, В. Д. Спасович, А. И. Урусов, Е. И. Утин, А. Ф. Кони.

...на собраниях у Вейнберга... – в 1897–1901 гг. поэт Петр Исаевич Вейнберг (1831–1908) был председателем Союза взаимопомощи русских писателей, позднее председателем Литературного фонда.

...сыростью Елагина... – имеется в виду Елагин остров с парком и стрелкой в Петербурге.

Реформа Александра II – речь идет о судебной реформе 1864 г., создавшей суд присяжных.

очерк о Лермонтове – написан в 1889 г., вошел в книгу С. А. Андреевского «Литературные чтения» (СПб., 1891) и в 1902 г. во второе издание, вышедшее под названием «Литературные очерки». Об очерке Андреевского высоко отозвался В. В. Розанов в статье «С. А. Андреевский как критик» (Новое Время. 1903. 27 сентября).

Мне снилось, я поэт... – см. поэму С. А. Андреевского «Мрак» (1880).

Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) – министр внутренних дел и председатель Совета министров с 1906 г. Убит эсером Д. Г. Богровым.

...в старом, милом доме Мурузи... – Мережковские жили в «доме Мурузи» (Петербург, Литейный пр., д. 24) с 1890 до 1913 г.

портрет Делэра – см. коммент. к статье «Чашка чаю» (1922) (наст. изд., т. 1).

Духов день – второй день Троицы.

«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ»
Кн. XXVII (с. 134)

Впервые: Звено. Париж, 1926. 6 июня. № 175. С. 4. Подпись: Кр.

...этюд В. Ф. Ходасевича о Есенине. – Статья В. Ф. Ходасевича «Есенин» была затем перепечатана в его книге «Некрополь: Воспоминания» (Брюссель, 1939).

ЗЕМЛЯ И СВОБОДА (с. 136)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1926. 8 июня. № 1903. С. 2.

Гермоген (Долганев Георгий Ефремович; 1858–1918) – епископ Саратовский и Царицынский (до 1912 г.).

О Н. В. ЧАЙКОВСКОМ (с. 139)

Впервые: За Свободу! Варшава, 1926. 3 июля. № 149 (1880). С. 2–3. Редактор газеты Д. В. Философов сделал примечание к этой статье: «7 мая сего года несколько русских организаций устроили в Париже торжественные поминки по Н. В. Чайковскому. Речи произнесли в числе прочих З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковский и П. Н. Милюков. Между ораторами проявилось существенное разногласие. В то время как Мережковский и Гиппиус подчеркивали религиозную сторону миросозерцания Чайковского, Милюков настаивал на том, что Чайковский был приверженцем материализма и тем как бы защищал его память от взводимых на него религиозных напраслин. На самом собрании произошла как бы полемика, которая нашла себе отражение в отчете о собрании, помещенном в газете П. Н. Милюкова "Посл. Нов.". Основываясь на этом, так сказать, "официозном" материале, я написал статью "Своеобразная богобоязнь" (см. «За Своб.». № 12). В статье этой я отметил страх русских прогрессивных кругов перед религией вообще и перед миросозерцанием, не совпадающем с рядовым материализмом, унаследованным русской интеллигенцией с добрых старых времен. В связи с этим у меня возникла переписка с З. Н. Гиппиус. Ввиду значительности этой темы мы пришли к выводу, что всего целесообразнее было бы поместить речь З. Н. Гиппиус целиком (в «После. Нов.» одна была приведена в сокращении)».

Предварительное замечание

Авксентьев Николай Дмитриевич (1878–1943) – соредактор журнала «Современные Записки». В эмиграции с 1918 г., эсер.

Н. В. Чайковский

«Слово стало плотью» – Ин. 1, 14.

«Молчи, молчи...» – стихотворение Гиппиус «Наставление», опубликованное в «Современных Записках» (1925. № 23. С. 208) и вошедшее в сборник ее стихов «Сияния» (Париж, 1938).

Нагорная Проповедь – проповедь Иисуса Христа о «блаженствах» (Мф. 5–7; Лк. 6, 17–49).

...моей статьи о Вл. Соловьеве... – «Мертвый младенец в руках» (1926) в настоящем издании.

СТИХИ, УМ И ГЛУПОСТЬ (с. 147)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1926. 22 июля. № 1947. С. 2 под псевдонимом Антон Крайний.

...коснулся В. Ходасевич... – имеется в виду «Парижский альбом» В. Ф. Ходасевича, печатавшийся в газете «Дни» в июне 1926 г.

«орда ничевоков» – «Ничевоки» – литературная группа, возникшая в Москве в 1920 г. под руководством Рюрика Рока и исходившая из теории и практики русского футуризма.

«Предметы» – сборник стихов 1924–1926 гг. князя Д. А. Шаховского (1902–1989), вышедший в Брюсселе в 1926 г.

«В дыму» – сборник стихов Н. А. Оцупа (1894–1958), вышедший в Берлине в 1926 г. 26 июня 1926 г. в газете «Сегодня» появилась рецензия на него С. Горного.

«Лучший звук» – первая книга стихов Ю. К. Терапиано (1892–1980), вышедшая в Мюнхене в 1926 г. Г. Адамович рецензировал ее в газете «Звено» 27 июня 1926 г.

«Поэзия должна быть глуповата» – А. С. Пушкин. Письмо П. А. Вяземскому, вторая половина мая 1826 г.

Рейсбрук Ян ван (1293–1381) – нидерландский писатель и теолог, автор трактатов «Красота духовного брака» (1350) и «Зерцало вечного блаженства» (1359).

«Пока не требует поэта...» – А. С. Пушкин. Поэт (1827).

ЛИК ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ И ЛИК ВРЕМЕН *(«Недавнее»)* (с. 154)

Впервые: Звено. Париж, 1926. 25 июля. № 182. С. 2–4.

«Недавнее» – книга очерков М. М. Винавера с подзаголовком «Воспоминания и характеристики» вышла вторым изданием в Париже в 1926 г. (первое издание – Петроград, 1917). В книгу вошло 22 статьи, в том числе «Строитель русской адвокатуры (В. Д. Спасович)», «Муромцев», «Отшельник в миру (А. Я. Пассовер)», «Эстет на службе правосудия (С. А. Андреевский)», «Трагедия русского парламентария (Ф. Ф. Кокошкин)», «Оратор политической весны (А. М. Колю-

бакин)», «Подвижник долга (А. И. Шингарев)», «Инстинкт правотворчества (Н. Н. Мясоедов)», «Судья тишайший (Ф. И. Проскуряков)» и др.

О «ВЕРСТАХ» И О ПРОЧЕМ (с. 161)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1926. 14 августа. № 1970. С. 2–3 под псевдонимом Антон Крайний.

«Версты» – журнал, выходивший в Париже в 1926–1928 гг. под редакцией Д. П. Святополка-Мирского, П. П. Сувчинского и С. Я. Эфрона при ближайшем участии А. Ремизова, М. Цветаевой и Л. Шестова.

«ума холодных наблюдений...» – А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Посвящение.

«Красная Нива» – еженедельный журнал, выходивший в Москве в 1923–1929 гг.

«Красный Огонек» – имеется в виду еженедельный журнал «Огонек», выходящий в Москве с 1923 г. В Петрограде в 1918 г. выходил журнал «Красный Огонек».

«Леф» (ЛЕФ) – журнал левого фронта искусств, выходил в 1923–1925 гг.

«На Посту» – журнал, выходивший в Москве в 1923–1925 гг.

Веселый Артем (Кочкуров Николай Иванович; 1899–1939) – писатель.

Аввакум Петрович (1620–1682) – идеолог церковного раскола, писатель.

«в Москву! В Москву!» – А. П. Чехов. Три сестры (1901).

конструктивисты – группа писателей, сложившаяся в Москве в 1922 г. (И. Л. Сельвинский, К. Л. Зелинский, А. Н. Чичерин, В. А. Луговской, Э. Г. Багрицкий, В. Инбер и др.).

«Госплан» – Госплан литературы: Сборник литературного центра конструктивистов (ЛЦК). М.; Л., 1925, где напечатаны цитируемые Гиппиус отрывки из эпопеи И. Л. Сельвинского «Улялаевщина» (1924).

«Мена всех» – сборник конструктивистов, вышедший в Москве в 1924 г., где напечатан цитируемый Гиппиус «Цыганский вальс на гитаре» (1922) И. Л. Сельвинского.

Лелевич Г. (Калмансон Лабори Гилелевич; 1901–1945) – критик, соредактор журнала «На посту».

...По верному замечанию критика Г. Адамовича... – имеется в виду рецензия Г. Адамовича на журнал «Новая Россия» (Звено. 1926. 18 июля).

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ (с. 172)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1926. 17 сентября. № 2004. С. 2–3.

«Зеленое Кольцо» – драма Гиппиус, изданная в Петрограде в 1916 г.

Поэтом можешь ты не быть... – перефразировка строк из стихотворения Н. А. Некрасова «Поэт и гражданин» (1856).

МЕЧ И КРЕСТ (с. 182)

Впервые: Современные Записки. Париж, 1926. № 27. С. 346–368.

«Я победил мух!» – 27 июля 1908 г. Л. Н. Толстой писал в «Записной книжке»: «Не могу жалеть мух – есть предел».

...письмо Влад. Соловьева об исторических судьбах Испании. – Имеются в виду три письма В. С. Соловьева под общим названием «Немезида: По поводу испано-американской войны» (Собр. соч.: В 10 т. СПб., 1914. Т. 10).

Иванов Петр Константинович (1876–1956) – журналист. В эмиграции писал на богословские темы. Книга «Смирение во Христе» вышла в Париже в 1925 г.

«Сим победиши» – В 312 г. римский император Константин Великий накануне сражения против Максенция увидел на небе крест с греческой надписью «Сим победиши». Константин одержал победу и под влиянием чудесного видения объявил христианство государственной религией.

ЧЕГО НЕ БЫЛО И ЧТО БЫЛО (с. 209)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1926. 15 октября. № 2032. С. 2–3.

...статья В. И. Талина «Предгрозовье»... – напечатана в «Последних Новостях» 24 сентября 1926 г. Автор пишет: «Нельзя без глубочайшего волнения читать то, что З. Гиппиус написала про "мальчиков и девочек" 1914–1916 года».

«дети страшных лет России...» – А. А. Блок. «Рожденные в года глухие...» (1914).

...примазывались к Смольному. – То есть к большевикам.

...трехдневный «редактор» газеты Ленина... – в связи с публикацией в большевистской газете «Новая жизнь» в конце 1905 г. статей М. Горького и В. И. Ленина как редактор издания Н. М. Минский (Виленкин; 1855–1937) был привлечен к суду и затем эмигрировал за границу.

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955) – организатор большевистских газет и издательств, историк.

...появилось продолжение мысли Талина... – *Талин В. И.* «Племенные» и «Бесплеменные» // Последние Новости. 1926. 1 октября № 2018.

ЕГО ВЧЕРАШНИЕ СЛОВА
(М. М. Винавер) (с. 219)

Впервые: Звено. Париж, 1926. 31 октября. № 196. С. 2–4.

Корделия – героиня трагедии У. Шекспира «Король Лир» (1606), которая не говорит лишней хвалы своему отцу-королю.

Кони Анатолий Федорович (1844–1927) – юрист, профессор Петроградского университета (1918–1922).

«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ»
Книга XXIX (с. 226)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1926. 11 ноября. № 2059. С. 3 под псевдонимом Антон Крайний.

...Степун о «Пути»... – статья философа и писателя Федора Августовича Степуна (1884–1965) «Об общественно-политических путях "Пути"».

Вышеславцев Борис Петрович (1877–1954) – философ, критик. Вместе с Н. А. Бердяевым основал в 1925 г. религиозно-философский журнал «Путь».

СИНЕМА (с. 233)

Впервые: Звено. Париж, 1926. 26 декабря. № 204. С. 3–4 под псевдонимом А. Крайний. 23 января 1927 г. в «Звене» появилась ста-

тья Н. Бахтина «Апология поневоле», в которой он возражает против «решительной апологии Великого Немого» в статье Гиппиус и пишет: «Кинематограф всегда был мне в высшей степени отвратителен». В заметке «Отвод», напечатанной вслед за статьей Н. Бахтина в том же номере «Звена» (№ 208. С. 7) Гиппиус, по ее словам, не возражает Бахтину, а как бы «делает отвод» его возражения на свою статью, не вступая в прямую полемику.

Великий Немой – такое обозначение кино возникло из выражения «Великий Кинемо» (т. е. кинематограф). 24 марта 1914 г. в Петербурге в помещении театра Суворина состоялся диспут на тему «Кинематограф и театр», устроители которого назвали диспут «Великий Немой».

МЕРТВЫЙ ДУХ (с. 237)

Впервые: Голос Минувшего на Чужбине». Париж, 1926. № 4. С. 257–266.

«Благонамеренный» – журнал издавался в 1926 г. (вышло два номера – в январе и апреле) князем Д. А. Шаховским. Из поэтов в нем печатались Г. Иванов, М. Цветаева, В. Ходасевич и др.

Таратута Виктор Константинович (1881–1926) – член большевистской партии с 1898 г.

Вардин (Мгеладзе) Илларион Виссарионович (1890–1941) – критик, один из основателей журнала «На посту» (1923–1925).

Брик Осип Максимович (1888–1945) – один из теоретиков ЛЕФа, друг В. В. Маяковского.

Варейкис Иосиф Михайлович (1894–1939) – советский партийный деятель, был репрессирован.

«Красная Новь» – первый советский «толстый» литературно-художественный и научно-публицистический журнал, выходивший в Москве в 1921–1942 гг.

ДА – НЕТ (с. 247)

Впервые: Новый Дом. Париж, 1927. № 3. С. 30–33 под псевдонимом Антон Крайний.

...как в сказке Андерсена, ваша тень делается вами... – имеется в виду сказка датского писателя Х. К. Андерсена (1805–1875) «Тень»

(1847), которая тематически восходит к повести немецкого писателя А. Шамиссо «Необыкновенная история Петера Шлемеля» (1814).

«Похвала смерти» – статья Н. М. Бахтина в газете «Звено» 14 ноября 1926 г. (№ 198).

«Приговор» Достоевского – рассуждение самоубийцы в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского за октябрь 1876 г.

Силоамская купель – водоем в Иерусалиме, упоминаемый в Библии.

«БОРЬБА ЗА РОССИЮ» (с. 253)

Впервые: Новый Дом. Париж, 1927. № 3. С. 37–39 под псевдонимом Лев Пущин.

«Борьба за Россию» – журнал, выходил в Париже в 1926–1931 гг. под редакцией В. Л. Бурцева (до августа 1928 г.), А. В. Карташева, С. П. Мельгунова, Т. И. Полнера, П. Я. Рысса и М. М. Федорова. Журнал был основан с целью послужить «широкому объединению» антибольшевистских течений эмиграции и положить начало «действенной работы для установления более тесной связи с Россией и для проповеди активизма».

О СВОБОДЕ (с. 257)

Впервые: Звено. Париж, 1927. 9 января. № 206. С. 2 – 3.

ОКОЛО РОМАНА (с. 260)

Впервые: Звено. Париж, 1927. 6 февраля. № 210. С. 2–4 под псевдонимом Антон Крайний.

Мочульский Константин Васильевич (1892–1948) – историк литературы и критик.

двоюродный брат – поэт и критик Владимир Васильевич Гиппиус (1876–1941).

«Кто он?» – стихотворение А. Н. Майкова о Петре Великом (1841).

Авсеенко Василий Григорьевич (1842–1913) – писатель, автор антинигилистических романов («Злой дух», 1881–1883 и др.).

Занд (Санд) Жорж (Дюпен Аврора, по мужу Дюдеван; 1804–1876) – французская писательница. Роман «Она и он» (1859) повествует о ее связи с писателем Альфредом де Мюссе (1810–1857).

ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА

Беседы II и III

Доклад З. Н. Гиппиус «Русская литература в изгнании» (с. 266)

Впервые: Новый Корабль. Париж, 1927. № 1. С. 35–39; № 2. С. 39–41. Доклад был прочитан Гиппиус на втором заседании «Зеленой Лампы» 24 февраля 1927 г. Председательствовал Г. В. Иванов. В обсуждении приняли участие В. Ф. Ходасевич, Д. С. Мережковский, И. А. Бунин, Ст. Иванович, М. В. Вишняк, Г. В. Адамович. На третьем заседании «Зеленой Лампы» 1 марта 1927 г. было продолжение прений по докладу Гиппиус.

«Русская Воля» – ежедневная газета, выходившая в Петрограде в 1916–1917 гг. и закрытая большевиками.

«Аполлон» – литературно-художественный журнал, выходивший в Петербурге в 1909–1917 гг.

ЗАМЕТКИ О «ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ»

Человекообразные (с. 278)

Впервые: Новый Корабль. Париж, 1927. № 2. С. 20–24 под псевдонимом Антон Крайний.

...выгнать Мицкевича... – польский поэт А. Мицкевич (1798–1855) с 1829 г. жил в эмиграции.

«Соц. Вестник» («Социалистический Вестник») – орган Российской социал-демократической партии, основанный Л. Мартыновым в 1921 г. в Берлине. Выходил по 1940 г. в Париже.

Коверда (Каверда) Борис С. (р. 1907) – монархист. 7 июня 1927 г. убил в Варшаве советского полпреда в Польше П. Л. Войкова как одного из убийц царской семьи в 1918 г.

Сазонов (Созонов) Евгений Сергеевич (1879–1910) – член «боевой организации» эсеров, убил 15 июля 1904 г. министра внутренних дел В. К. Плеве. Приговорен к каторге.

Каляев Иван Платонович (1877–1905) – член «боевой организации» эсеров, убивший 4 февраля 1905 г. московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Повешен.

ВТОРОЙ КОШМАР (с. 285)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1927. 2 марта. № 170. С. 2.

Евразийство – идейное движение русской эмиграции в 1920-е годы, пытавшееся найти пути преобразования большевистской власти. В конце 20-х годов произошел раскол движения. Вокруг газеты «Евразия» (1928–1929) образовалась группа С. Я. Эфрона и Д. П. Святополка-Мирского, симпатизировавшая сталинскому режиму.

Антанта («Тройственное согласие») – блок Великобритании, Франции и России, оформившийся в 1904–1907 гг.; в 1918–1920 гг. организовал интервенцию против большевистской России.

ЗАСТИГНУТАЯ В ПУТИ (с. 291)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1927. 31 марта. № 2199. С. 2.

Недавно на одном собрании... – на заседании «Зеленой Лампы» 24 февраля 1927 г. Гиппиус говорила, что П. Б. Струве не меняется по сравнению с довоенными годами.

«Красная Шапочка» – статья Д. С. Мережковского в газете «Речь» 24 февраля 1908 г.; вошла в его сборник статей «В тихом омуте» (СПб., 1908).

Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) – журналист и издатель газеты «Новое Время».

«когда мы <...> не мертвые <...> пробудились» – аллюзия на название пьесы Г. Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» (1899), шедшей в Московском художественном театре (1900). В 1901 г. поставлена петербургским Новым театром Л. Б. Яворской.

Ваня Пугачев – см. рассказ «Ваня Пугачев и Ваня Румянцев» (1933; см. наст. изд., т. 3).

Фундаминский (Фондаминский) Илья Исидорович (1880–1942) – публицист. В эмиграции с 1918 г. Один из организаторов журнала «Современные Записки».

«ОРДЕН»
(Из современных разговоров) (с. 295)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1927. 15 апреля. № 214. С. 2.

«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ»
Книга XXXI (с. 299)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1927. 19 мая. № 2248. С. 2.

«Заговор» – в журнале напечатано окончание романа М. А. Алданова, входящего в тетралогию «Мыслитель».

«Чертов Мост» – отдельное издание романа Алданова вышло в Берлине в 1925 г. В упомянутой неоконченной статье Гиппиус о книге «Чертов мост» (опубликована 28 марта 1957 г. в газете «Русская Мысль») говорится: «Алданов – несомненный художник. И по письму довольно своеобычный. Среди русских романистов он во многих отношениях стоит особняком. Я не знаю ни у кого такой сдержанности, такого чувства внутренней меры – даже в самых поэтических местах. Порою эта новая для нас европейская сдержанность кажется сухостью – и несправедливо. Но порой она и действительно срывается в рассказ автора о чем-нибудь, от себя; и он, рассказывая – уже не показывает. И эти срывы – как редкие пятна. В общем же выдержанному тонкому стилю романа вполне соответствует его метафизика».

Иванов Георгий Владимирович (1894–1958) – поэт и прозаик. В эмиграции с 1922 г.

Ладинский Антонин Петрович (1896–1961) – поэт и прозаик. В эмиграции с 1920 г.

«История русской революции» П. Н. Милюкова – «История второй русской революции». Париж, 1921–1924. Вып. 1–3.

Сазонова (Сазонова-Слонимская) Юлия Леонидовна (1887–1957) – писательница, критик. В эмиграции с 1920 г.

Бицилли Петр Михайлович (1879–1953) – историк, филолог, критик. В эмиграции с 1920 г.

НЕЛОВКОСТЬ

Открытое письмо редакции «За Свободу!» (с. 305)

Впервые: За Свободу! Варшава, 1927. 22 мая. № 116 (2148). Литературное приложение. С. 1 под псевдонимом Антон Крайний. Статья направлена в защиту газеты (потом журнала) «Звено», в которой Гиппиус печаталась на протяжении многих лет (1923–1927).

...в самом первом номере газеты. – В № 1 варшавской газеты «Свобода» 17 июля 1920 г. Гиппиус опубликовала статью «С того света» (см. настоящее издание).

Блюм Леон (1872–1950) – лидер и теоретик Французской социалистической партии. В 1936–1937 гг. возглавлял правительство Народного фронта.

НА МОИХ ГЛАЗАХ (с. 309)

Впервые: Звено. Париж, 1927. 5 июня. № 227. С. 6–7.

Цеппелин Фердинанд (1838–1917) – немецкий конструктор дирижаблей. Построенный им в 1905 г. «Цеппелин-II» разбился при посадке.

Райт братья Уилбер (1867–1912) и Оруэлл (1871–1948) – американские авиаконструкторы, пионеры авиации. Первыми в мире 17 декабря 1903 г. совершили краткий полет на построенном ими самолете.

Латам Ю. – французский летчик, установивший в 1909 г. рекорд высоты полета (155 м.).

Блерио Луи (1872–1936) – французский авиаконструктор и летчик. Первый перелетел через Ла-Манш (1909).

Линдберг Чарлз (1902–1974) – американский летчик. В 1927 г. совершил первый перелет через Атлантический океан (из США во Францию).

Сантос-Дюмон Альберто (1873–1932) – французский летчик, установивший в 1906 г. рекорд скорости (41 км/ч) и дальности (220 м) полета.

ДВА СЛОВА О ДВУХ СТАТЬЯХ
(Бунаков и Степун) (с. 314)

Впервые: Новый Корабль. Париж, 1927. № 2. С. 50–52 под псевдонимом Лев Пущин.

Статьи И. И. Бунакова «Пути России» и Ф. А. Степуна «Мысли о России» опубликованы в № 32 «Современных Записок» за 1927 г. Булгаков печатал серию статей «Пути России» в «Современных Записках» с 1920 по 1940 г., Степун «Мысли о России» – с 1923 по 1928 г. Рецензия П. Н. Милюкова на журнал появилась в газете «Последние Новости» 1 сентября 1927 г. (№ 2353) под названием «Факты, идеи и настроения в “Современных Записках” (“Современные Записки”. Кн. 32)».

ТРЕТИЙ ПУТЬ (с. 318)

Впервые: Возрождение. Париж, 1927. 4 декабря. № 915. С. 2–3.

Начало публикаций Гиппиус в декабре 1927 г. в монархической газете «Возрождение» вызвало недовольство в газете «Последние Новости».

...вторая книга, годы 18-й и 19-й, и действительно погибла... – В 1927 г. друг В. Злобина привез из Ленинграда рукопись дневника Гиппиус с 1 августа 1914 г. по 6 ноября 1917 г., которая была издана в Белграде в 1929 г. под названием «Синяя книга». Ранее в журнале «Русская Мысль» (София, 1921. № 1/2 и 3/4) Гиппиус опубликовала увезенные в эмиграцию записи дневника с июня по декабрь 1919 г. В 1992 г. в альманахе «Звенья» (М.; СПб. Вып. 2) были напечатаны «Черные тетради» Гиппиус – ее дневники с 7 ноября 1917 г. по 12 января 1919 г., хранящиеся в Рукописном отделении Российской национальной библиотеки (СПб.).

ОПАСНЫЙ ДЕФЕКТ
Ответ г. Талину (с. 326)

Впервые: Возрождение, Париж, 1927. № 924. С. 3.

...отвечая г. Талину... – статья В. И. Талина о статье Гиппиус «Третий путь» напечатана в «Последних Новостях» 8 декабря 1927 г. (№ 2451) под названием «Заметки журналиста. Одиночество в компании».

...борьба Троцкого со Сталиным – после смерти В. И. Ленина против Л. Д. Троцкого объединилась «тройка» членов Политбюро (И. В. Сталин, Л. Б. Каменев и Г. Е. Зиновьев, придумавший термин «троцкизм» как синоним антиленинизма). В 1925 г. Троцкий перестал быть председателем Реввоенсовета, в 1926 г. исключен из Политбюро, в ноябре 1927 г. исключен из партии, в январе 1928 г. выслан в Алма-Ату, в 1929 г. – в Турцию, в августе 1940 г. убит агентом Сталина в Мексике.

«ЗНАК»
О Владиславе Ходасевиче (с. 330)

Впервые: Возрождение. Париж, 1927. 15 декабря. № 926. С. 2–3 под псевдонимом Антон Крайний. Гиппиус пишет об итоговой книге В. Ф. Ходасевича-поэта «Собрание стихов», опубликованной 1 ноября 1927 г. (после нее он фактически перестал писать стихи). Эпиграф из стихотворения Ф. И. Тютчева «О вещая душа моя!..» (1855).

«Как сердцу высказать себя?» – Ф. И. Тютчев. Silentium (1830).

СИМВОЛИЧЕСКИЙ ВИШНЯК (с. 339)

Впервые: Возрождение. Париж, 1927. 30 декабря. № 941. С. 2–3.

статья Вишняка против меня – статья М. В. Вишняка «Пути и перепутья З. Н. Гиппиус» в газете «Дни» 14 декабря 1927 г., в которой он писал: «З. Н. Гиппиус не хочет считать себя ничем связанной, считает себя от всего и от всех "свободной". Она разрешает себе роскошь быть всеми недовольной и со всеми несогласной».

...другой моей записи... – имеется в виду дневник Гиппиус «Черная книжка», опубликованная П. Б. Струве в 1921 г. в «Русской Мысли».

...Эта заметка была уже написана, когда <...> несколько слов П. Н. Милюкова... – 29 декабря 1927 г. в «Последних Новостях» напечатана статья П. Н. Милюкова «С. Д. Сазонов».

...«перейдя к Гукасову»... – т. е. в газету «Возрождение», которую финансировал крупнейший нефтепромышленник Абрам Осипович Гукасов (1872–1969). С 1899 г. жил в Лондоне, затем в эмиграции в Париже.

ПОЛИКСЕНА СОЛОВЬЕВА (с. 347)

Впервые: Возрождение. Париж, 1959. Май. № 89. С. 118–124. Публикация В. А. Злобина. Статья написана в середине 1920-х годов и оставалась в рукописи. Продолжение статьи не было закончено, так как Гиппиус использовала некоторые ее части в своей книге «Дмитрий Мережковский». Это неоконченное продолжение Темира Пахмусс напечатала под названием «Эпоха "Мира Искусства"» в журнале «Возрождение» (1968. Ноябрь. № 203. С. 69–73). Эпизод встречи с Н. С. Лесковым освещен также в статье Гиппиус «Далекая единственная встреча» (1931, см. в настоящем издании, т. 3).

Поликсена Сергеевна Соловьева (1867–1924, псевдоним Allegro) – поэтесса, дочь историка С. М. Соловьева. Первый сборник «Стихотворения» вышел в 1899 г., сборник стихов «Вечер» – в 1914 г.

баронесса Икскуль фон Гильдебранд Варвара Ивановна (1850–1928) – прозаик, издательница, приятельница Мережковских, хозяйка литературного салона. Гиппиус писала о ней в книге «Дмитрий Мережковский».

граф Прозор Маврикий Эдуардович – дипломат, генеральный консул в Женеве.

...древний философ умер от черепахи, которую птица уронила ему на лысину... – согласно легенде, древнегреческий драматург Эсхил (525–456 до н. э.) будто бы погиб от того, что пролетавший орел сбросил ему на голову черепаху. Сохранилась античная гемма с изображением Эсхила, над которым пролетает орел с черепахой.

«Женоклуб», воспетый <...> Северяниным... – в стихотворении «Клуб дам» (1912) И. Северянин писал: «Я в комфортабельной карете, на эллипсических рессорах, / Люблю заехать в златополдень на чашку чая в жено-клуб».

Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867–1941) – критик, историк литературы, переводчица, сестра С. А. Венгерова. В эмиграции с 1921 г., близкий друг Гиппиус, принимала участие в «воскресеньях» Мережковских в Петербурге.

...в маленьком домике <...> Розанов... – с апреля 1893 г. до июля 1899 г. В. В. Розанов жил на Петербургской стороне, Павловская ул., д. 2, кв. 24, где у него бывали Мережковские.

Воспоминания Екатерины Михайловны Лопатиной (1865–1935) – под псевдонимом К. Ельцова напечатала в «Современных Записках» (1926. № 28) воспоминания «Сны нездешние: К 25-летию кончины В. С. Соловьева». См. некролог «Своими путями (О Е. М. Лопатиной)» в настоящем издании (т. 3).

Школа «Живописи и ваяния» – Училище живописи и ваяния было создано в Москве в 1830-е годы (ныне Московский художественный институт им. В. И. Сурикова).

«Тропинка» – журнал для детей, который Поликсена Соловьева и Н. И. Манасеина издавали в Петербурге в 1900–1912 гг.

...слова «интеллигенция» не было (его изобрел Боборыкин)... – П. Д. Боборыкин писал, что слово «"интеллигенция" пущено было в печать только с 1866 года» (Воспоминания. М.; 1965. Т. 1. С. 283).

Соловьев Сергей Михайлович (1885–1942) – поэт, племянник Вл. Соловьева, автор книги стихотворений «Цветы и ладан» (1907). В 1912 г. женился на Т. А. Тургеневой, сестре жены А. Белого. В 1914–1918 гг. учился в Московской духовной академии. В 1926 г. перешел в униатство (греко-католики восточного обряда). В 1931 г. был арестован, что привело его в психиатрическую больницу.

ТО ДА НЕ ТО (с. 357)

Впервые: Возрождение. Париж, 1958. Июнь. № 78. С. 138–142. Статья написана в начале 1928 г.

«Не угнаться и драматургу...» – стихотворение Гиппиус «Бродячая собака» (1922), опубликованное в газете «Возрождение» 19 марта 1929 г. (№ 1386).

ХРИСТИАНЕ НА СЛУЖБЕ (с. 365)

Впервые: Возрождение. Париж, 1928. 18 января. № 960. С. 2–3.

Ильин Владимир Николаевич (1891–1974) – философ, богослов, критик. В эмиграции с 1919 г. В его книге «Запечатленный Гроб: Пасха нетленная» (1926) дана история Страстной и Пасхальной седмиц.

О ЕВАНГЕЛИИ-КНИГЕ
В «Зеленой Лампе» (с. 373)

Впервые: Возрождение. Париж, 1928. 27 февраля. № 1000. С. 2. 18 и 27 февраля 1928 г. в «Зеленой Лампе» состоялось собеседование на тему «Толстой и большевизм». Г. В. Адамович произнес вступительное слово. Гиппиус выступила в прениях с сообщением «О Евангелии-книге».

Скобцова (Кузьмина-Караваева, мать Мария) Елизавета Юрьевна (1891–1945) – поэт, философ, общественно-религиозный деятель.

Минор (Залкинд) Осип Соломонович (1861–1932) – публицист, эсер. Эмигрировал в 1919 г. В 1920–1922 гг. соредактор газеты «Воля России».

...от имеющего мало – отнимется и дастся тому, кто имеет много – Мф. 13, 12; 25, 29.

КОМПАС (с. 377)

Впервые: Возрождение. Париж, 1928. 13 марта. № 1015. С. 2–3.

«Россия» – еженедельная газета, выходившая в Париже под редакцией П. Б. Струве в 1927–1928 гг.

«Всероссийское Учредительное Собрание» – статья М. Вишняка в № 34 «Современных Записок» за 1928 г.

«мутно небо, ночь мутна» – А. С. Пушкин. Бесы (1830).

«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ»
(XXXIV) (с. 384)

Впервые: Возрождение. Париж, 1928. 31 марта. № 1033. С. 3–4 под псевдонимом Антон Крайний.

Берберова Нина Николаевна (1901–1993) – писательница. В эмиграции с 1922 г. Ее рассказ «Жених» напечатан в журнале «Новый Дом». 1926. № 1.

Флоровский Георгий Васильевич (1893–1979) – богослов и религиозный деятель. В эмиграции с 1920 г.

Вейдле Владимир Васильевич (1895–1979) – критик, историк искусства. Его статья «Владислав Ходасевич» напечатана в «Современных Записках» (1928. № 34). В эмиграции с 1924 г.

ДВА ЗАВЕТА

В «Зеленой Лампе» (с. 391)

Впервые: Возрождение. Париж, 1928. 11 апреля. № 1044. С. 2–3. Вступительное слово Гиппиус в заседании «Зеленой Лампы» 10 апреля 1928 г. на тему «“Апокалипсис нашего времени” В. В. Розанова (о Ветхом Завете и христианстве)».

...Как Иаков боролся с Богом... – Бытие 32, 24–25.

«Последние листья» – имеются в виду публикации В. Р. Ховина после смерти В. В. Розанова в журнале «Книжный Угол» (1918. № 5; 1919. № 6; 1921. № 7).

Пуанкарэ Раймон (1860–1934) – президент Франции в 1913–1920 гг., премьер-министр в 1922–1924 и 1926–1929 гг.

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ (с. 398)

Впервые: Возрождение. Париж, 1928. 1 мая. № 1064. С. 2. Эпиграф – стихотворение Гиппиус, написанное в апреле 1918 г. и опубликованное под названием «Имя. Лавру Георгиевичу Корнилову» 13 апреля 1921 г. в газете «Общее Дело».

...в моем тогдашнем Дневнике... – в журнале «Новый Корабль» (1928. № 3. С. 13–37) напечатан отрывок из «Петербургского дневника (Синяя книга)» Гиппиус под названием «Дело Корнилова».

Корниловский мятеж 26 августа 1917 г. – Гиппиус считала, что так называемый «Корниловский мятеж» был провокацией А. Ф. Керенского, открывшей путь большевикам к власти.

ПОЛОЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ (с. 403)

Впервые: Возрождение. Париж, 1928. 24 мая. № 1087. С. 2 под псевдонимом Антон Крайний.

«Сивцев Вражек» – роман М. А. Осоргина, вышедший в Париже в 1928 г.

меледа – канитель, пустяковое дело (от старинной игры, состоящей в снимании и надевании колец на стержень).

КАКОЙ СОЦИАЛИЗМ? КАКАЯ РЕЛИГИЯ? (с. 408)

Впервые: Возрождение. Париж, 1928. 11 июня. № 1106. С. 3–4.

НЕВОСПИТАННОСТЬ (с. 416)

Впервые: Новый Корабль. Париж, 1928. № 3. С. 48–51 под псевдонимом Антон Крайний.

«не знал, через "е" или через "ѣ" пишется слово "нравственность"» – *Розанов В. В.* Уединенное. СПб., 1912. С. 155.

ДУШУ ПОТЕРЯТЬ (с. 421)

Впервые: Новый Корабль. Париж, 1928. № 3. С. 58–59 под псевдонимом Лев Пущин.

«НЕ НРАВИТСЯ – НРАВИТСЯ» (с. 425)

Впервые: Новый Корабль. Париж, 1928. № 4. С. 22–26.

Диспут «Об антисемитизме в советской России» – имеется в виду диспут на тему «Кризис еврейской колонизации в России», проведенный 11 февраля 1928 г. Союзом студентов-сионистов в Париже.

Поляков-Литовцев Соломон Львович (1875–1945) – писатель. В Париже поселился в 1910-е годы, в 1921–1922 г. редактировал берлинскую газету «Голос России».

Розанов Василий Васильевич (1856–1919) – Гиппиус написала о Розанове очерк «Задумчивый странник» (Окно. 1923. № 3; перепечатано в сборнике «Наши современники». Париж, 1924. Вып. 2. С. 271–335; вошло в книгу Гиппиус «Живые лица». Париж, 1925). Книга Розанова «Темный лик» вышла в Петербурге в 1912 г.

«Услуги еврейские как гвозди в руки мои...» – *Розанов В. В.* Опавшие листья [Короб первый]. СПб., 1913. С. 428.

«Как зачавкали губами <...> Борух и такая милая Ревекка Ю-на...» – *Розанов В. В.* Опавшие листья [Короб первый]. СПб., 1913. С. 84. Имеются в виду участник Петербургского Религиозно-Философского

Общества Борис Григорьевич Столпнер (1871–1937) и жена переводчика и критика А. М. Эфроса Ревекка Юльевна Эфрос.

«Евреи – самый утонченный народ в Европе». – Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени (1918). № 6–7. Почему на самом деле евреям нельзя устраивать погромов?

«ГЛАЗА ЛАНИ» (с. 431)

Впервые: За свободу! Варшава, 1928. 22 августа. № 195 (2527). С. 2–3. Эпиграф из стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание» (1828).

«№ 1» – имеется в виду рассказ Гиппиус «Сосед № 1» (1925; см. в наст. изд., т. 1).

Гиммер (псевд. Суханов) Николай Николаевич (1882–1940) – экономист, публицист, автор «Записок о революции» (1922–1923. Кн. 1–7).

Макаров Павел Михайлович (1872–1922) – комиссар Временного правительства в 1917 г., инженер-архитектор.

...похороны «жертв» на мерзлой Дворцовой площади. – Первоначально предполагалось похоронить жертвы Февральской революции на Дворцовой площади Петрограда, но затем похороны провели на Марсовом поле.

8 пунктов – свою программу Временное правительство изложило в декларации, опубликованной 3 (16) марта 1917 г.

Михаил – великий князь Михаил Александрович (1878–1918), брат Николая II, после отречения которого от престола также отказался 3 марта от права не престол. Убит чекистами в Перми.

...убито до 200 офицеров. – 3 марта 1917 г. Гиппиус записала в Дневнике: «В Кронштадте и Гельсингфорсе убито до 200 офицеров. Гучков прямо приписывает это “Приказу № 1”».

Кливанский С. А. – деятель партии эсеров, член Учредительного собрания.

ОКОЛО ТОЛСТОГО (с. 436)

Впервые: За свободу! Варшава, 1928. 27 сентября. № 222 (2554). С. 2–3. 30 июня 1925 г. в той же газете Гиппиус поместила статью «В Ясной Поляне» – отрывок из ее книги «Живые лица» (Париж, 1925).

Маклаков Василий Алексеевич (1870—1957) — в октябре 1917 г. выехал в Париж в качестве посла России во Франции. В 1924 г. возглавлял в Париже Эмигрантский комитет защиты русских интересов, автор книг «Толстой и большевики» (1921), «О Льве Толстом» (1929).

брошюра Гусева — Гусев Н. Н. Жизнь Л. Н. Толстого. М., 1927.

Софья Андреевна (1844—1919) — жена Л. Н. Толстого.

...в холодный майский вечер, в 1904 г. — Мережковские были в Ясной Поляне у Л. Н. Толстого 11—12 мая 1904 г.

...приводит ныне Алданов... — в «Современных Записках» (1928. № 36) была напечатана статья М. Алданова «О Толстом».

7 (20) ноября, вторник (1917 г.). — В опубликованной «Синей книге. Петербургский дневник (1914—1917)» Гиппиус (Белград, 1929) эта запись отсутствует: «7 лет со дня смерти Льва Толстого. Никто его у нас не вспомнил. Ну, я тебя вспомню, "поденщик Христов"! Вспомни и ты о нас, счастливый!». «Поденщик Христов» — статья Мережковского о Толстом в газете «Русское Слово» 14 февраля 1916 г. (перепечатана в газете «Возрождение» 20 ноября 1935 г. № 3822).

НЕЧТО ВРОДЕ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА (с. 442)

Впервые: Возрождение. Париж, 1928. 8 ноября. № 1255. С. 2.

...отрывками моего Дневника... — печатались в газете «Возрождение» 6, 8, 14, 21, 28 сентября и 5, 12, 20 октября 1928 г. под названием «О днях петербургских. Из дневника за 1914—1918 годы». Отдельное издание вышло в Белграде в 1929 г.

ПРАВДА И ИСТИНА (с. 445)

Впервые: Возрождение. Париж, 1928. 16 ноября. № 1263. С. 2.

Автор передовицы «П. Н.» — 14 ноября 1928 г. в передовой статье «Крестьянский террор» в «Последних Новостях» речь идет о Е. Д. - Кусковой, считавшей крестьянский террор в России «примитивной формой протеста».

«Сжечь все, чему поклонялся...» — из стихотворения И. С. Тургенева, вложенного в уста Михалевича в романе «Дворянское гнездо» (1859), гл. XXV. Выражение восходит к преданию об основателе Франкского государства Хлодвиге, принявшем в 496 г. христианство после того, как он проводил гонения на него.

ПИСЬМО О ЮГОСЛАВИИ (с. 448)

Впервые: За Свободу! Варшава, 1928. 7 декабря. № 282 (2614). С. 2 и 8 декабря. № 283 (2615). С. 3–4. Мережковские приняли участие в Первом зарубежном съезде русских писателей и журналистов, проходившем в Белграде с 25 сентября по 1 октября 1928 г.

Этот доклад З. Н. Гиппиус будет у нас напечатан – см. статью «Мечта» ниже.

«память сердца» – К. Н. Батюшков. Мой гений (1815).

митрополит Антоний из Карловцев (Храповицкий Алексей Павлович; 1864–1936) – глава религиозной жизни русского зарубежья в Югославии.

Можно ли говорить о добром <...> «из Назарета?» – Выражение из Евангелия (Ин. 1, 46), обратившееся в поговорку.

МЕЧТА (с. 457)

Впервые: За Свободу! Варшава, 1928. 12 декабря. № 286 (2618). С. 2–3.

Георг – король Англии (1910–1936) Георг V.

БЕЗ КРИТИКИ
(О «Современных Записках») (с. 463)

Впервые: За свободу! Варшава, 1929. 23 января. № 20 (2623). С. 3–4 под псевдонимом Антон Крайний.

...чеховская девочка написала о море: «Море было большое». – Бунин И. А. Чехов // Бунин И. А. Воспоминания. Париж, 1950. С. 79. Гиппиус читала статьи Бунина «Чехов» в «Последних Новостях» (1928. 7 июня) и «О Чехове» (Там же. 1928. 14 июля).

Лебедев Вячеслав Михайлович (1896–1969) – поэт, прозаик. В эмиграции с 1920 г. В «Современных Записках» (1928. № 37) напечатаны его «Стихи о крыльях».

Евангулов Георгий Сергеевич (Саркисович) (1894–1967) – поэт, прозаик. В эмиграции с 1921 г. В «Современных Записках» (1928. № 37) напечатана его повесть «Четыре дня».

Гаршин Всеволод Михайлович (1855–1888) – писатель, автор рассказа «Четыре дня» (1877).

Земгор (Земельно-городской комитет помощи российским гражданам за границей) — создан на деньги российского посольства в Париже в начале 1921 г. В 1922—1926 гг. издавал информационный листок.

Тимирязев (Темирязев) — псевдоним Юрия Павловича Анненкова (1889—1974), писателя и художника. В эмиграции с 1924 г. В «Современных Записках» (1928. № 37) напечатан его рассказ «Домик на 5-й Рождественской».

Руднев Вадим Викторович (1879—1940) — один из основателей журнала «Современные Записки». В эмиграции с 1919 г. В «Современных Записках» (№ 37) его статья «Религия и социализм» (начало в № 35).

Кизеветтер Александр Александрович (1866—1933) — историк, кадет. В 1922 г. выслан из России.

ОПЯТЬ О НЕПРИМИРИМОСТИ (с. 468)

Впервые: Возрождение. Париж, 1929. 30 января. № 1338. С. 2—3. 23 января 1929 г. в Париже состоялось собрание евразийцев с докладом Н. Н. Алексеева «Русское западничество (К обоснованию евразийства)».

...«недоносок» (состояние которого так прекрасно описал Боратынский). — Стихотворение Е. А. Баратынского «Недоносок» (1835).

«Евразия» — еженедельник по вопросам культуры и политики под редакцией П. Арапова, Л. П. Карсавина, Д. П. Святополка-Мирского, П. П. Сувчинского и др. выходил в Кламаре (под Парижем) в 1928—1929 гг.

Курдюмов М. (Каллаш Мария Александровна; 1885—1954) — литературовед. Эмигрировала в начале 20-х годов. Писала в журнале «Путь», в газете «Последние Новости» о судьбах Православной Церкви в России и в зарубежье.

БРОДЯЧАЯ СОБАКА (с. 475)

Впервые: Возрождение. Париж, 1929. 19 марта. № 1386. С. 2.

«Бродячая Собака» — см. комментарий к статье «Судьба Есениных» (1926) (наст. изд., т. 2).

...Стихотворение мое <...> о «Собаке»... — стихотворение Гиппиус «Бродячая Собака» (июнь 1922) впервые напечатано в этом же номере газеты «Возрождение».

Мельгунов Сергей Петрович (1879/80–1956) – историк, общественно-политический деятель. В эмиграции с 1922 г. Соредактор журналов «Борьба за Россию» (1926–1931), «Голос Минувшего на Чужой Стороне» (1926–1928).

ГОГОЛЬ И БЕЛИНСКИЙ
В «Зеленой Лампе» (с. 481)

Впервые: Возрождение. Париж, 1929. 18 апреля. № 1416. С. 2.

Доклад Н. Оцупа – 25 марта 1929 г. в «Зеленой Лампе» состоялось собеседование «Спор Белинского с Гоголем». После доклада Н. А. Оцупа в прениях выступили Г. В. Адамович, З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковский, В. И. Талин (Иванович), М. О. Цетлин и др.

«Переписка с друзьями» («Выбранные места из переписки с друзьями») – книга Н. В. Гоголя (1847), вызвавшая критику В. Г. Белинского.

«Судьба Гоголя» – книга Д. С. Мережковского, печатавшаяся сначала в журнале «Новый Путь» (1903. № 1–3), вышедшая отдельным изданием под названием «Гоголь и черт» (М., 1906) и вторым изданием под названием «Гоголь. Творчество, жизнь и религия» (СПб., 1909).

...по ибсеновской «Великой Кривой»... – Г. Ибсен. Пер Гюнт (1867). Д. 5 («Сказала Кривая: обойди сторонкой...»).

ДЕЛО ЭМИГРАЦИИ – ДЕЛО РОССИИ (с. 487)

Впервые: Возрождение. Париж, 1929. 21 мая. № 1449. С. 2–3. 11 июня 1929 г. Гиппиус опубликовала в «Возрождении» «Письмо в редакцию», в котором сообщала, что ею получено 5050 франков для «Общества взаимного страхования и взаимного кредита», если таковое будет создано.

Гольденвейзер (Любимов Николай) – автор брошюры «Да здравствует эмиграция!» (Париж, 1929).

Домоклов меч (Дамоклов меч) – нависшая над кем-либо постоянная опасность. Согласно древнегреческой легенде сиракузский тиран Дионисий Старший (V–IV вв. до н. э.) предложил на один день престол своему фавориту Дамоклу, считавшему Дионисия счастливей-

шим человеком. На пиру Дамокл увидел над своей головой обнаженный меч, висящий на конском волосе.

ЛЮБИМАЯ (с. 494)

Впервые: За Свободу! Варшава, 1929. 26 мая. № 2768. С. 2. В этом же номере газеты напечатаны два стихотворения Гиппиус о маленькой Терезе: «Девочка маленькая...» и «Сегодня имя твое...».

Тереза младенца Иисуса – Тереза Лизьеская (Мари-Франсуаза-Тереза Мартен; 1873–1897), монахиня кармелитского ордена, канонизированная в 1925 г. Мережковский написал о ней неоконченный роман «Маленькая Тереза» (опубл. в 1984 г. Т. Пахмусс).

Кармелиты – члены католического нищенствующего монашеского ордена, основанного в XII в. итальянским крестоносцем Бертольдом на горе Кармель (Палестина).

МЕЛЬКНУВШЕЕ МГНОВЕННО (с. 497)

Впервые: Сегодня. Рига, 1929. 29 сентября. № 270. С. 21. Эпиграф из «Песни» (1815) В. А. Жуковского, перевод стихотворения немецкого поэта Ф. Г. Ветцеля.

Азеф Евно Фишелевич (1869–1918) – провокатор в партии эсеров. В 1908 г. разоблачен В. Л. Бурцевым.

Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) – пропагандист марксизма. Мережковские познакомились с ним весной 1913 г. в Ментоне (Франция). На его смерть Гиппиус записала в своем дневнике 21 мая (3 июня) 1918 г.: «Он умирал в Финляндии. Звал друзей, чтобы проститься, но их большевики не пропустили. После октября, когда "революционные" банды 15 раз вламывались к нему, обыскивали, стаскивали с постели, издеваясь и глумясь, – после этого ужаса внешнего и внутреннего, – он уже не поднимал головы с подушки».

ПОЧЕМУ НАМ СКУЧНО? (с. 503)

Впервые: За Свободу! Варшава, 1930. 24 марта. № 80 (8061). С. 2–3. Доклад Гиппиус был прочитан в кружке «Зеленая Лампа» 5 марта 1930 г. под названием «Отчего нам стало скучно?» В прениях участвовали Г. В. Адамович, В. А. Злобин, Г. В. Иванов, Д. С. Мережковский, Н. А. Оцуп, Б. Ю. Поплавский, М. О. Цетлин и др.

«О ШЕСТОМ ЧУВСТВЕ»

В «Зеленой Лампе», после доклада Георгия Иванова «О шестом чувстве» (Символизм) (15 апреля 1930 г.) (с. 509)

Впервые: За Свободу! Варшава, 1930. 3 мая. № 118 (3099). С. 2.

...мои слова насчет «скуки». — См. коментарий к предыдущей статье. Доклад Г. Иванова в «Зеленой Лампе» 21 марта 1930 г. назывался «Шестое чувство (О символизме и судьбах поэзии)».

...статья вышла отдельной брошюрой... — Гиппиус З. Н., Кочаровский К. Р. Что делать русской эмиграции? / Предисл. И. И. Бунакова. Париж, 1930.

...любимое слово Блока: это несказанно. — См. стихотворения А. Блока «Ты свята, но я Тебе не верю...» (1902), «Твое лицо бледней, чем было...» (1906).

ПОЭМА ЖИЗНИ

(Рассказ о правде) (с. 515)

Впервые: Сегодня. Рига, 1930. 29 июня. № 177. С. 2.

...Недавно в Париже был вечер поэтов... — 11 мая 1930 г. в парижском зале Дебюсси проходил вечер поэзии, организованный журналом «Числа». Г. В. Адамович говорил о Тютчеве, З. Гиппиус — о Блоке, Г. Иванов — о Пушкине, Д. С. Мережковский — о Лермонтове, Н. Оцуп — о Некрасове. Гиппиус сделала сообщение о поэте-страннике Леониде Семенове, принявшем священство и расстрелянном большевиками.

Метерлинк Морис (1862—1949) — бельгийский поэт и драматург.

Добролюбов Александр Михайлович (1876—1945?) — поэт. Гиппиус познакомилась с ним в 1889 г. и писала о нем в статьях «Торжество смерти» (Мир искусства. 1900. № 7/8) и «Критика любви» (Там же. 1901. № 10; вошла в «Литературный дневник», 1908, Гиппиус).

НАШЕ ПРЯМОЕ ДЕЛО (с. 521)

Впервые в книге: Что делать русской эмиграции: Статьи З. Н. Гиппиус и К. Р. Кочаровского с предисловием И. И. Бунакова. Париж: Издание книжного дела «Родник», 1930. С. 10—18. К статье Гиппиус

приложено письмо С. И. Четверикова по поводу ее статьи «Дело эмиграции – дело России» от 23 мая 1929 г. Четвериков в эмиграции с 1920 г. Гиппиус вела с ним активную переписку до его смерти в Швейцарии в возрасте 80 лет 11 декабря 1929 г. К книге «Что делать русской эмиграции» приложен некролог Четверикова, написанный Гиппиус и датированный январем 1930 г.

Свод общих положений статьи «Наше прямое дело» Гиппиус опубликовала до выхода книги в рижской газете «Сегодня» 22 декабря 1929 г. (№ 354).

ЛИТЕРАТУРНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ [1, 2, 3] (с. 532)

Впервые: Числа. Париж, 1930. № 1. С. 144–149; № 2/3. С. 148–154; № 4. С. 149–157 под псевдонимом Антон Крайний.

«державное течение» – А. С. Пушкин. Медный Всадник (1833). Вступление.

«покорно общему закону» – А. С. Пушкин. «...Вновь я посетил...» (1835).

...заметкой о Сирине... – в № 1 «Чисел» Г. В. Иванов напечатал рецензию на книги Сирина (В. В. Набокова) «Машенька» и «Король, дама, валет».

«Вестник Европы» – журнал, выходивший в Петербурге в 1866–1918 гг. Гиппиус печаталась в нем в 1890–1898 гг.

«Речь» – ежедневная кадетская газета в Петербурге в 1906–1917 гг., в которой Гиппиус печаталась в 1908–1909 гг.

«День» – петербургская газета в 1912–1917 гг., в которой в 1914–1915 гг. Гиппиус печаталась под псевдонимом Антон Крайний.

«За Свободу!» – варшавская газета, выходившая в 1920–1932 гг. (в 1920–1921 гг. называлась «Свобода»), в которой постоянно печаталась Гиппиус.

«Русская Мысль» – журнал выходил в Москве в 1880–1918 гг. и в русском зарубежье в 1921–1924, 1927 гг. Гиппиус печаталась в нем в 1893–1914 и в 1921 г.

«Весы» – журнал выходил в Москве в 1904–1909 гг. Гиппиус печаталась в нем в 1906–1909 г.

План Ионга (Юнга) – второй репарационный план для Германии после первой мировой войны, заменивший план Дауэса. Разработан комитетом во главе с американским банкиром О. Юнгом и принят на Гаагской конференции по репарациям 1929–1930 гг.

Ганди Мохандас Карамчано (1869–1948) – руководитель национально-освободительного движения Индии. Имеется в виду «Соляной поход» Ганди 12 марта – 5 апреля 1930 г. в знак нарушения колониальной соляной монополии.

Данцигский коридор – польский город Гданьск до 1918 г. находился в Германии и назывался Данциг. По Версальскому мирному договору 1919 г. превращен в «Вольный город Данциг», представлявший собой выход (коридор) Польши в Балтийское море.

Малая Антанта – в 1920–1938 гг. блок Чехословакии, Румынии и Югославии (Королевство сербов, хорватов и словенцев).

Клодель Поль Луи Шарль (1868–1955) – французский писатель, автор пьес и стихотворного цикла «Календарь святых» (1925).

В глубине, на самом дне сознанья... – первая строчка стихотворения Г. Иванова, напечатанного в «Последних Новостях» 20 июня 1929 г. Вошло в его книгу «Розы» (1931).

Не было измены. Только тишина... – первая строчка стихотворения Г. Иванова, напечатанного в «Современных Записках» (1927. № 31). Вошло в его сборник «Розы».

Так и надо. Голову на грудь... – из стихотворения Г. Иванова «Глядя на огонь или дремля...» (Новый Дом. 1927. № 3). Вошло в его книгу «Розы».

«Дневник» Н. Оцупа – В № 2/3 «Чисел» (1930) напечатано «Из дневника Н. Оцупа» (продолжение в № 9 и 10 за 1933 и 1934 г.).

...фразу Г. Адамовича <...> «погасить» мир? – В том же № 2/3 «Чисел» Г. В. Адамович опубликовал свои «Комментарии». См.: *Адамович Г. В.* Собр. соч.: Комментарии / Сост. О. А. Коростелев. М., 2000. С. 280, 662.

Статья Поплавского – в том же № 2/3 «Чисел» статья Б. Поплавского «О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции».

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

ОЧЕРКИ И СТАТЬИ